АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ

Р Е Д А К Ц И Я
В. Г. БАЗАНОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, А. Н. ДУБОВИКОВ,
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, С. А. МАКАШИН, К. Д. МУРАТОВА,
Л. И. ТИМОФЕЕВ, Н. А. ТРИФОНОВ,
М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА (ГЛАВ. РЕД.)

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О «Н А У К А»
1 · 9 · М О С К В А · 7 · 8

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО - ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ

ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

АЛЕКСАНДР БЛОК
ПИСЬМА К ЖЕНЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 7 · 8

Том подготовлен
при участии Центрального государственного архива
литературы и искусства СССР, Москва

Вступительная статья и комментарии
Вл. Орлова

ГОД ИЗДАНИЯ СОРОК СЕДЬМОЙ

Л $\frac{70202-419}{042(02)-78}$ Без объявления

© Издательство «Наука», 1978 г.



БЛОК И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК

Фотография, 1903

Музей Д. И. Менделеева, Ленинград

ОТ РЕДАКЦИИ

В этом томе впервые публикуется один из наиболее значительных эпистолярных циклов А. А. Блока — 317 его писем к невесте, а затем жене — Любови Дмитриевне Менделеевой-Блок (53 из них были напечатаны ранее).

Письма к жене — исключительно ценная часть эпистолярного наследия поэта, которое в общей сложности составляет более 2 500 писем.

Любовь Дмитриевна, так же как и мать Блока, была наиболее близким, задушевным его корреспондентом. На протяжении шестнадцати лет (с 1901 по 1917 г.) поверял он ей, «единственной на свете», свои чувства и мысли, творческие замыслы, свое трагическое восприятие «страшного мира» и одновременно — напряженное ожидание «неслыханных перемен», «невиданных мятежей», очистительной бури грядущей революции.

Письма Блока к жене — духовная исповедь поэта. Будучи глубоко личными, они вместе с тем почти не касаются интимных подробностей или мелких семейных дел. Они написаны на ином, более высоком уровне: «Ведь я Тебе совсем не пишу о «делах». Думаешь ли Ты, что этого не нужно? Я думаю, что да. 〈...〉 Наше время не такое, чтоб очень заботиться о мелочах» (11 июня 1903 г.). Эпоха, современная Блоку, отражается не только в его лирике, драматургии, публицистике, но также и в его переписке.

Письма к жене охватывают более чем полтора десятилетия — период, соответствующий почти всему дооктябрьскому творчеству Блока, и в них по-своему зафиксирован путь его идейных и художественных исканий, говоря словами самого поэта,— «путь среди революций; *верный* путь» (VII, 355).

Письма дают обширный уникальный материал для изучения того, как реальные события, факты жизни Блока, его идеи и настроения затем творчески преобразуются в явления высокой поэзии, приобретают свою многозначность.

В письмах 1902—1903 гг., родственных по стилю «Стихам о Прекрасной Даме», отразился этический и эстетический идеал поэта. Известно более позднее намерение Блока ввести в отдельное издание «Стихов о Прекрасной Даме» отрывки из писем к Л. Д. Менделеевой. В свое время Блок нередко посылал возлюбленной в очередном письме только что созданное стихотворение. Между письмами и стихами этих лет существовала глубокая внутренняя связь, в настоящем издании она наглядно предстает перед читателями, а особенно — перед историками литературы. Публикуемые письма — важный документальный источник для исследования творческой биографии Блока и комментирования его ранней лирики.

Символ Прекрасной Дамы в стихах и эпистолярной прозе Блока наделен сходными чертами, он овеян мечтой о торжестве света и гармонии человеческих отношений, открыто противопоставляемой декадентскому мраку. Характер самой Л. Д. Менделеевой, «земной, русской девушки», как писал о ней Блок, немало способствовал этой настроенности поэта. В письме 25 декабря 1902 г. Блок настойчиво утверждает: «Я ведь не декадент, это напрасно думают. Я позже декадентов». Но чтобы выйти из декадентства, затягивавшего «бесформенностью и беспринципностью», нужно было,— пишет поэт,— «встретить то пленительное, сладостное и великое, что заключено в Тебе» (стр. 92). И далее: «Мне надо песен, когда около нет Тебя, воплощенной песни моего духа» (там же). «Воплощенной песней духа» были и стихи Блока, посвященные Л. Д. Менделеевой, и письма его к ней.

Судьба народной России волнует Блока с юности. С мечтой народа о счастье, с воспринятыми пока лишь в мистическом духе народными легендами связан образ любимой в ранних письмах поэта: «...И мне часто приходило это в голову в связи с легендами, поющими о Тебе (хотя бы посредством моих же стихов и дум), как о Царице Народной, все познавшей внутренно, молчаливой и недоверчивой к тому, что происходит здесь, что какой-то человек из народа (это был я) почуял один и стал мечтать и надеяться на Невозможное Счастье» (21 ноября 1902 г.). Здесь — истоки характерного для поэзии Блока органического слияния темы Родины и невесты — жены, темы общего трагически-трудного, но неразделимого пути.

Не следует понимать прямолинейно сложные связи между исповедальной личной темой писем и судьбами лирических героев Блока. Душевная жизнь Блока, отраженная в письмах и получившая в них своеобразное философское истолкование, представляет лишь одну из граней той действительности, которая явилась почвой для создания мира его поэзии. Так, например, трепетное ожидание встречи с любимой, постоянно выражаемое в письмах, Блок-поэт раскрывает как акт громадного общечеловеческого значения, ибо идеал Прекрасной Дамы открыто противопоставлен трагическому миру: «Растут невнятно розовые тени, /Высок и внятен колокольный зов,/ Ложится мгла на старые ступени.../ Я озарен — я жду твоих шагов».

Тревога поэта, его сомнения, удастся ли так скоро избавиться от мрака в окружающей действительности и в его собственной душе, устоит ли идеал при столкновении с жизнью,— все эти «роковые вопросы» созвучны самым интимным переживаниям Блока. Но как трансформировались они в гениальном стихотворении 1901 г. «Предчувствую Тебя»! Личное здесь неотделимо от того сложного образа катастрофического мира, который ждет обновления и голосом которого говорит поэт: «Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо, /И молча жду,— *тоскуя и любя* ⟨...⟩ О, как паду — и горестно и низко, /Не одолев смертельные мечты! / Как ясен горизонт! И лучезарность близко. / Но страшно мне: изменишь облик Ты».

Позднее, когда судьба любви Блока сложилась драматически, поэт не раз упоминает в письмах о романтическом идеале ранней юности, который и теперь влечет его, укрепляя ненависть к «страшному миру» и мечту «случайного путника» обрести общую с народом судьбу. (См., например, письмо 27 февраля 1908 г.) В стихотворениях Блока эти характерные мотивы получают новый смысл, включаясь в многоплановую художественную структуру. Образ героини юношеских стихов служит для лирического героя «Страшного мира» некоей путеводной звездой на его тернистом пути: «И вот — в непроглядном тумане / Возник позабытый напев./ И стала мне молодость сниться, / И ты, как живая, и ты... / И стал я мечтой уноситься / От ветра, дождя, темноты» («Двойник»).

Семейная драма, привычка жить в разлуке не разрушили духовной связи между Блоком и его женой. Письма 1907—1917 гг. свидетельствуют о том, что поэт по-прежнему поверяет Любови Дмитриевне самые сокровенные чувства и настроения, пишет о своем все возрастающем понимании обреченности современного уклада жизни, о неизбежности социально-политического переворота в стране, о роли народа и интеллигенции в судьбах России, о необходимости нового направления в литературе и искусстве.

Особое место занимает здесь тема современного театра, привлекавшая исключительное внимание Блока и живой интерес Любови Дмитриевны как актрисы.

Сообщая о своей работе над драмой «Песня Судьбы», о надеждах на ее постановку в Художественном театре и о других своих замыслах, Блок пишет жене, находящейся в гастрольной поездке: «Ты расскажешь мне все о себе и о театре. Нам необходимо жить вместе и говорить много, помогать друг другу» (наст. том, стр. 246). В письмах 1907—1908 гг. Блок подробно делится с женой мыслями, которые затем легли в основу его концепции, изложенной в статьях «О драме» и «О театре». Поскольку театр по природе своей—народное, массовое зрелище, Блок придавал ему первостепенное значение в своем вдохновенном плане демократизации искусства. 23 февраля 1908 г. он писал Любови Дмитриевне: «Интеллигентный театр приходит к концу. Та интеллигенция, для которой играете теперь вы и остальные,— одинаково не может быть показателем реальности театрального дела ⟨...⟩ Только народ покажет истинную ценность

той драматургии, о которой умирающая интеллигенция может судить только случайно и необоснованно 〈...〉 Народ способен воспринимать и ценить именно тот пафос высокой драмы и трагедии (например, «Гроза») и высокой комедии (например, «Женитьба»), который более не воодушевляет современную театральную публику, но о котором мечтают передовые люди эпохи» (наст. том, стр. 219). Обосновывая и развивая эти идеи в статье «О театре», Блок утверждает, что современное театральное искусство находится в состоянии кризиса, чревато коренными переменами: «Самое сердце театра дрожит, как перед подвигом 〈...〉 Рабочие и крестьяне действительно нуждаются в театре и, при всей случайности постановки этого дела у нас, доказали, что они требуют от театра не только развлечения, а чего-то более высокого, я полагаю — высокого искусства, как это явствует, например, из эффекта постановки «Грозы» Островского или «Женитьбы» Гоголя» (V, 272—273). В письмах 1913—1914 гг. Блок последовательно отстаивает искусство психологического театра, преимущественно — театра Станиславского, и решительно критикует в режиссерских работах Мейерхольда установку на подчеркнутую условность изображения, яркую, но самодовлеющую театральность. Все эти высказывания заметно углубляют представление об отношении Блока к модернизму и о противоречиях самого модернизма в русском искусстве предоктябрьского десятилетия.

В зрелом периоде творчества эпистолярный стиль Блока решительно изменяется, от мистических экзальтаций его юношеских посланий не остается и следа. Глубокий лиризм сочетается с мудрой, мужественной трезвостью, защита гражданских идеалов — с горькой и гневной иронией по поводу тех, кто не слышит музыки революции. Многие строки писем поэта к жене звучат публицистически.

Более чем за полгода до известной статьи «Интеллигенция и революция», где поэт обличал ту часть русской интеллигенции, которая не понимала и боялась революции в стране, «опоясанной бурей» (V, 9), до знаменитого его ответа на вопрос: «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» — «Может и обязана» (V, 8), Блок писал Любови Дмитриевне 21 июня 1917 г.: «Наша Демократия в эту минуту действительно «опоясана бурей» и обладает непреклонной волей, что можно видеть и в крупном и в мелком каждый день. Я был на Съезде Советов Солдатских и Рабочих Депутатов и вообще вижу много будущего 〈...〉 Если «мозг страны» будет продолжать питаться все теми же ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и перестанет быть мозгом, и его вышвырнут — скоро, жестоко и величаво, как делается все, что действительно делается теперь. Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа? А могли бы своим ответом, купленным кровью детей, поделиться с этими детьми» (наст. том, стр. 376—377).

Весной 1917 г. Блок ждет возвращения Любови Дмитриевны: «Все насыщено электричеством, и сам насыщен, и надо иногда, чтобы был рядом такой, которому веришь и которого любишь. Все это я о себе (по обыкновению, но мне суждено постоянно исходить из себя, это — натура и входит в мой план), но я все жду, чтобы совпало: и жду этого я, никогда не ошибавшийся». В канун великих революционных событий личные судьбы Блока и его жены соединяются навсегда.

Всю документальную основу настоящего тома составляют материалы архива Блока, приобретенные И. С. Зильберштейном для Государственного литературного музея в 1939 г.: автографы писем Блока и ответные письма Любови Дмитриевны, воспоминания Л. Д. Менделеевой-Блок, рисунки поэта и др. Подробнее об этом рассказано в сообщении И. С. Зильберштейна, напечатанном в данном томе.

Историко-литературное значение переписки Блока с Л. Д. Менделеевой-Блок рассматривается во вступительной статье (заглавие подсказано известной статьей Блока «Ни сны, ни явь»). В комментариях приводятся фрагменты ответных писем Л. Д. Блок и отрывки из ее воспоминаний «И быль, и небылицы о Блоке и о себе».

Л. Д. Блок начала писать воспоминания в 1937—1938 гг. и работала над ними исподволь, понемногу. Скоропостижная смерть застала ее в самом начале работы.

Приступая к воспоминаниям, Любовь Дмитриевна заявляет о своем стремлении быть до конца правдивой, искренней: «Если чему я и выучилась у Блока, то это бес-

пощадности в правде. Эту беспощадность в правде я считаю, как он, лучшим даром...» Систематическое изложение событий Л. Д. Блок довела только до 7 ноября 1902 г. (день ее решительного объяснения с Блоком). Все дальнейшее — это отдельные разрозненные наброски, касающиеся разных периодов ее совместной жизни с Блоком. Среди этих набросков есть и написанные гораздо раньше — в 1929 и даже в сентябре 1921 г., сразу же после кончины Блока. По сути дела, все эти заметки и наброски — лишь «материалы для воспоминаний». Наиболее значительные из них, непосредственно связанные с темой тома, публикуются после комментариев к соответствующим письмам.

Письма Блока подготовлены Л. М. Розенблюм; она же принимала участие в составлении комментариев. На первоначальной стадии в подготовке текстов участвовал В. Н. Орлов. Для окончательной доработки публикации редакция привлекла К. Н. Суворову, которой приносит глубокую благодарность. Редакция с признательностью вспоминает недавно скончавшегося Н. П. Ильина, проявлявшего большое внимание к работе над этим томом и сделавшего ряд ценных уточнений.

Редакторы тома — И. С. Зильберштейн и Л. М. Розенблюм.

СНЫ И ЯВЬ

Статья Вл. Орлова

I

Необыкновенны интенсивность духовной жизни Александра Блока и громадность пройденного им пути. Всего двадцать лет отделяют первые стихи из «Ante Lucem» (январь 1898 г.) от «Двенадцати» (январь 1918-го). Но какова же разница!

Невнятная ночная песня робкой, притаившейся души:

И тщетно, страсти затая,
В холодной мгле передрассветной
Среди толпы блуждаю я
С одной лишь думою заветной:
Пусть светит месяц — ночь темна...

И через двадцать лет — другая ночь, озаренная пожаром величайшей революции, и в зареве пожара — неслыханный по новизне и смелости, неотразимый по силе вложенного в него презрения гротескно-сатирический образ рухнувшего старого мира:

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

Метаморфоза, конечно, разительная. Однако теперь, более чем полвека спустя после того как Блока не стало, мы ясно видим единство, целеустремленность и неуклонность его пути. Теперь уже невозможно делить Блока надвое, как подчас делалось это раньше,— на уединившегося в своей келье мечтателя-мистика и на национального поэта, убедившегося в исторической обреченности старого мира и воздавшего хвалу и славу пролетарской революции. Юношеская лирика Блока и его Октябрьская поэма — вещи действительно разные, но и то и другое написал один поэт. Говоря о Блоке, существенно важно понять и обосновать внутреннюю закономерность пройденного им пути, связать воедино начала и концы.

Как стремительно менялась за эти двадцать лет русская жизнь, так менялся вместе с нею и Блок.

Поэту выпала судьба быть свидетелем и в известной мере участником грандиозных, эпохальных событий и решающих исторических перемен. Рост освободительного движения и создание партии большевиков, поражение царской России в войне с Японией и революция 1905 г., полоса политической и общественной реакции, а затем новая волна революционной борьбы, империалистическая война и свержение самодержавия, Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская война и начало строительства новой жизни и новой культуры — таковы главные из этих событий и сдвигов. Поистине Блок мог повторить слова одного из любимейших своих поэтов:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Основным содержанием эпохи, в которую раскрылся гений Блока, стала социалистическая революция в России — ее назревание, подготовка и победа. Поэт великого

исторического рубежа, наделенный таким могучим дарованием, не мог не отразить в своем творчестве существенные черты этого переломного времени, когда история человечества, как сказал Ленин, проделывала «один из самых великих, самых трудных поворотов, имеющих необъятное — без малейшего преувеличения можно сказать: всемирно-освободительное — значение» [1].

Отблеск русской революции лежит на всем, что написал Александр Блок. Поэт сам отчетливо видел глубинную связь своих творческих устремлений и идейных исканий с историческими судьбами России: «...какое освобождение и какая полнота жизни (насколько доступна она была): вот — я — до 1917 года, путь среди революций; *верный* путь» [2].

На этом верном, но нелегком, сложном, исполненном резких противоречий пути Блок, решительно перешагнув за рамки русского символизма, в лоне которого он начинал, вырос в крупнейшего русского поэта начала XX в., в поэта национального, решавшего идейно-творческие задачи громадного масштаба и значения.

С юных лет испытывая ни на миг не утихавшее ощущение душевной тревоги, наделенный острым чувством истории, «связи времен», поэт чутко прислушивался к «подземному шороху» назревавших событий, уловил «новый порыв мирового ветра», а если перевести эти метафоры на язык более точных понятий, жил предчувствием «неслыханных перемен», которые должны были изменить весь облик его родины.

Голос совести, великая честность художника, который привык «думать больше о правде, чем о счастье», научили Блока смотреть прямо в лицо жизни и понять ее правду. Очень рано, еще в пору нарастания и подъема первой русской революции, Блок сделал для себя решительный и окончательный вывод: правда — на стороне народа, на стороне революции, и если стоит чем жить, так только этим — жить во имя будущего.

Литературно-общественная позиция, занятая Блоком в тяжелые годы реакции, предполагала и борьбу его с самим собой, с тем, что вошло в сознание и в кровь,— с традициями семьи, воспитания, среды, с соблазнами индивидуалистического, антинародного искусства. Для Блока наступило время беспощадной переоценки многих старых ценностей, отказа от «прежних малых дум и вер», поисков прочной опоры в животворных началах национальной культуры, в наследии русской демократической мысли.

Блок подхватил эстафету великой русской литературы, унаследовал ее заветы — гуманизм и гражданственность, мучительную тоску по лучшей жизни, страстную ненависть ко всему, что калечило и унижало человека.

Главным предметом искусства Блока стал несчастный, обездоленный, запуганный человек, обреченный на страдания и гибель в «страшном мире» царской, буржуазной, мещанской, столыпинско-распутинской России. В борьбе за этого человека, за его будущее, за перерождение его в нового, душевно здорового, свободного, волевого, гармонического человека (перерождение, возможное лишь в условиях революционного переустройства мира)— Блок видел самую высокую и благородную цель искусства.

В борьбе с темными силами старого мира и, конечно, в борьбе с самим собой («старым») Александр Блок выковал свой человеческий и поэтический характер. Строгость, непримиримость, верность долгу, всегдашняя готовность к «вечному бою» во имя торжества правды — вот главные, определяющие черты этого громадного характера.

Александр Блок, призывавший думать и говорить «только о великом», вошел в историю нашей литературы как поэт, стремившийся ответить на самые большие, самые насущные и неотложные запросы русской жизни предреволюционной эпохи. Но это лишь половина того, что до́лжно сказать о Блоке.

Признав высшую историческую правду Октябрьской революции, он связал прошлое с настоящим, ознаменовал своей личностью, жизнью и творчеством преемственность русской национальной культуры. Он оказался последним великим поэтом старой России, завершившим поэтические искания всего XIX в., и его же именем как автора «Двенадцати» и «Скифов» открывается первая, заглавная страница русской поэзии советской эпохи.

На наших глазах с каждым годом все более расширяется творческий мир Александра Блока. Происходит нечто большее, нежели просто проверка временем,— само время

наполняет мир поэта своим мощным дыханием и помогает нам лучше, глубже, вернее понять, о чем думал поэт, *что* сказал и *как* сказал.

Как всякий великий художник, Блок предстает перед нами в различных аспектах и ракурсах личности, жизни, творчества, судьбы. Главным источником остается, конечно, творчество. Но полноту представлений обеспечивает все остальное, что вышло из-под пера поэта,— блестящая проза, подкупающие искренностью и откровенностью дневники, богатое эпистолярное наследие, доныне еще не собранное полностью.

Блок любил и умел писать письма. Он вел обширную переписку. Бóльшая часть ее, нужно думать, уцелела, хотя есть крупные и крайне досадные невосполнимые утраты. Переписка поэта с невестой и женой — Любовью Дмитриевной Менделеевой-Блок (за небольшими исключениями не опубликованная), наряду с письмами его к матери, безусловно составляет наиболее ценный раздел эпистолярного наследия Блока.

Переписка эта носит глубоко личный характер. Но Блок был так беспредельно и безраздельно предан своему делу — делу художника, что и здесь, в переписке, он встает во весь рост именно как художник. Эта интимная переписка обретает полноту смысла и значения как органическая часть того идейно-психологического и духовно-нравственного единства, имя которому: личность и творчество Александра Блока.

II

Переписка охватывает в общей сложности шестнадцать лет — с конца 1901 г. по июль 1917-го. В этот период укладывается почти весь творческий путь Блока — формирование его личности, созревание таланта, подъем литературной деятельности.

При всех обстоятельствах, трагически осложнивших семейную жизнь Блока, Любовь Дмитриевна до конца оставалась для него внутренне самым близким и дорогим человеком. Жизнь их разделила, но оба они берегли свою духовную связь. Отсюда — исповедальный тон переписки.

Более чем с кем-либо другим, кроме матери, Блок щедро и со всей откровенностью делился с Любовью Дмитриевной своими переживаниями, надеждами и сомнениями, самыми заветными и выношенными мыслями о жизни и об искусстве. «Никто, кроме тебя, не поможет мне ни в жизни, ни в творчестве»,— заверял он Любовь Дмитриевну в роковом для него 1908 г., когда окончательно разладилось их общее существование. Проходит еще четыре тяжелых года — и он снова твердит, что, несмотря ни на что, им суждено «чувствовать все вместе».

Переписка Александра Блока с невестой и женой может быть рассмотрена в двух аспектах.

Во-первых, она раскрывает историю самой большой любви, когда-либо пережитой поэтом, и постигшей его семейной драмы. И то и другое нашло глубокое отражение в его творчестве.

Под таким углом зрения переписка освещена и истолкована в моем обширном очерке «История одной любви», к которому я позволяю себе отослать читателя, буде он пожелает вникнуть в перипетии семейной драмы Блока [3]. Впрочем, по ходу дальнейшего изложения мне придется в сжатом виде повторить главные выводы этого очерка (оставив в стороне всю фактографию).

Выводы эти выходят далеко за пределы собственно биографической темы.

Любовь и семейная драма Александра Блока не остаются просто частным случаем, но приобретают значение более общее. Они так ярко окрашены в «цвет времени», что могут рассматриваться как выразительный и поучительный эпизод из истории нравов верхушечного слоя русской дворянско-буржуазной интеллигенции предреволюционной эпохи — именно той ее части, которая испытала заметное воздействие угасавшей культуры старого мира. В широком смысле речь идет о декадентстве как эпохальном веянии, проникавшем во все области умонастроений и даже жизнедеятельности людей данного круга — в идеологию, в мораль, в эстетику, в быт.

В Александре Блоке были заложены и громадная сила отталкивания от того мира, в котором ему суждено было существовать, и мучительное ощущение своей зависимо-

сти от него. Общее поветрие декадентских настроений коснулось и его, не могло не коснуться. Но в том-то и сказалось душевное величие Блока, что он сумел понять историческую обреченность старого мира, а вместе с ним и своей среды, и сделал из этого понимания решительные выводы.

Так и в данном случае, обращаясь к переписке Блока с женой, говорить приходится не столько о влиянии декаданса, сколько о преодолении его — правда, ценой тяжелых издержек.

Александр Блок с особенной остротой ощутил точку пересечения своей индивидуальной судьбы с движением истории (это ощущение сближает его с Герценом). В пережитой им личной драме он видел закономерное отражение резких конфликтов и противоречий, преследующих человека в «страшном мире» позднебуржуазного общества. Этот человек, обреченный жить и действовать (а вернее — бездействовать) в бесчеловечных условиях угнетения и эксплуатации, обмана и унижения, потерял почву, утратил душевное здоровье, лишился целостного взгляда на происходящее в мире.

Чувство исторического неблагополучия, которое с такой впечатляющей силой воплотил художественный гений Блока, в личном, житейском плане распространялось на все, что окружало его в быту,— вплоть до соблазнов и обманов любви и миражных утешений «домашнего очага».

Заметив в одном из писем к жене (1908), что «едва ли в России были времена хуже этого», он тут же признается: «Пойми, что мне, помимо тебя, решительно негде найти точку опоры». Это признание осталось беспоследственным: опереться на любимую женщину ему как раз и не было суждено.

Переписка отчетливо и почти равномерно делится на две части. Они резко различны по содержанию, тону, стилю.

В первой, говоря словами Блока,—«ранняя утренняя заря — те сны и туманы, с которыми борется душа, чтобы получить право на жизнь» [4]. Во второй — явь «холодного белого дня», сама жизнь, открывшаяся поэту во всей горькой правде и суровой обнаженности.

Первую часть составляют письма к невесте, относящиеся к 1902—1903 гг. В сущности, это один бесконечный страстный монолог влюбленного юноши, возведшего свое сердечное чувство в Абсолют и сделавшего возлюбленную центром некоего мифологизированного мира. Собственно говоря, это даже не письма в обычном значении слова, но целостная художественная структура, своего рода «поэма в прозе», тесно примыкающая к юношеской лирике Блока («Стихи о Прекрасной Даме»). Здесь — та же мистическая «проблематика» и в значительной мере та же стилистика. Не случайно, когда Блок в поздние годы обдумывал план нового издания «Стихов о Прекрасной Даме», он предполагал ввести в их художественную ткань отрывки из своих писем к невесте. Они должны были дополнительно обосновать жизненную достоверность и психологическую правду того, о чем говорили стихи.

Другое дело — письма последующих лет, начиная с 1907 г. В отношении их и возникает второй аспект рассмотрения. Это уже письма в обычном значении данного понятия. В основном они тоже носят глубоко личный характер. Но вместе с тем приобретают и серьезное историко-литературное значение, поскольку касаются многих сторон и отдельных знаменательных эпизодов тогдашней литературно-театральной жизни, содержат интереснейшие высказывания и оценки Блока, существенно дополняющие и уточняющие наши представления о художественных вкусах и убеждениях поэта, как сложились они в пору его творческой зрелости.

В письмах второго цикла нет того внутреннего (духовного) единства, которое обнаруживается в бурном потоке юношеских любовных откровений с их почти религиозной экзальтацией. Но в них есть другое (бесспорно высшее) единство — единство мысли и чувства зрелого, много пережившего на своем веку человека с обостренной совестью и громадной взыскательностью как к другим, так и — прежде всего — к самому себе, художника, посвятившего себя строгому подвигу служения во имя правды, искренности и нравственного назначения искусства.

Таков диапазон звучания переписки Александра Блока с невестой и женой, этого человеческого и вместе исторического документа,—от самораскрытия уединившейся

души, еще не нашедшей пути к миру, до глубокого обоснования (пусть по частным поводам) целостной эстетической программы, продиктованной пониманием сложной, диалектической связи искусства и жизни, или, говоря языком Блока, их «нераздельности и неслиянности» [5].

III

Ранние письма рождались в самый разгар острых мистических переживаний, овладевших душой юного Блока и, как он сам отметил, сливавшихся с переживаниями романическими.

С чего все началось? Летом 1898 г. семнадцатилетний Саша Блок, только что окончивший гимназию и решивший поступить в университет, безоглядно влюбился в шестнадцатилетнюю Любу Менделееву, дочь великого, тогда уже всемирно известного ученого. На первых порах все шло, как и полагается при встрече столь юных существ. Он корректно «ухаживал», старался казаться взрослым и опытным (у него уже был известный опыт романических отношений со зрелой женщиной), тайно писал страстные стихи, исподволь «давал понять» о своем чувстве. Она, девица строгая и застенчивая, сперва держалась отчужденно, потом тоже почувствовала влечение к «пустому фату», каким он ей поначалу показался.

Все решил «Гамлет» — любительский спектакль в менделеевском Боблове, по соседству с бекетовско-блоковским Шахматовым. Он был датским принцем, она — Офелией. В темный августовский вечер, после спектакля, произошло нечто вроде — нет, не объяснения, а скорее намека на него. Тут-то и завязался тугой узел на всю их жизнь, — и ни распутать, ни разрубить его было им не суждено.

Проходит не так много времени — и Блок уже придает своей любви значение особое, «ноуменальное», видит в ней жизненное претворение некоей «великой тайны».

Как разгадать, почему именно этот, а не другой человек вдруг начинает провидеть в действительности нечто таинственное, улавливать «бесконечное — в конечном», божественное в земном? Это лежит в самой природе его душевных переживаний, в особенностях психики. И этого подчас не объяснить ни воздействием среды, ни условиями воспитания. Парадоксально, что молодые русские поэты, начинавшие в самом конце XIX в. как носители платоновского начала, в лоне религиозной мистики (Андрей Белый, Александр Блок), вышли как раз из глубинных недр аристотелевской культуры, были сыновьями и внуками трезвейших позитивистов — математиков и естествоиспытателей.

Другое дело, что сама эпоха большого исторического рубежа, ломки старого общественного строя и зарождения нового, — эпоха, в которую выступили русские мистики, — в громадной мере способствовала возникновению подобных настроений и тенденций, создавала для них благоприятную почву. «Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу», — говорит Ленин, — есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился», и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, *каков* «укладывающийся» новый строй, *какие* общественные силы и как именно его «укладывают», какие общественные силы *способны* принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам «ломки» [6].

В таких исторических условиях особенно легко совершаются крутые повороты от общественной практики, от реального дела в сторону чистого умозрения и «незаинтересованного созерцания», всякого рода утопий и абсолютизаций неких абстрактных начал «мировой жизни» (Идея, Дух, Мировая Душа и т. п.).

Не приходится отрицать, что русские символисты «второй волны», с которыми Блок на первых порах связал свою литературную судьбу, тяготели к постановке и решению больших проблем познания и культуры. Андрей Белый, лидер этой группы, утверждал, что ее участники думали о «новом синтезе всех интересов, историей поднимавшихся тем вокруг новой фазы человеческой жизни, в которой личные и конкретные отношения друг к другу (в любви, братстве, в проблемах пола, семьи и т. д.) должны были отображать сверхчеловеческие отношения космоса к логосу» [7].

Вот это сопряжение личной и конкретной жизни с космосом и логосом (а не с историей, не с действительностью) и предопределило пути, а в конечном счете и судьбы этих искателей универсального синтеза. Предпринятая ими попытка осмыслить единство единичного и целого, личного и общего носила характер мистифицированный, поскольку относилась к абстрактной «мировой жизни», а не к конкретному историческому процессу.

Юного Блока с его мистическим предрасположением тревожили самому ему непонятные «знаки», которые он подмечал в природе и отчасти переносил на окружавший его человеческий мир. Свою безотчетную тревогу он таил от всех (об этом говорится в его автобиографии), но привык сопоставлять с загадочными «знаками» события своей внутренней, душевной жизни.

Некоторую опору нашел он в древней идеалистической философии, которою занялся в 1900 г. Платоновские идеи двоемирия, антиномии «духа» и «плоти» произвели на него сильное впечатление. В его разгоряченном воображении начинает «явно являться» Она — пока что еще безымянная, та, что потом окажется в его стихах Таинственной Девой, Вечной Девой, Владычицей Вселенной, Величавой Вечной Женой. Образ реальной земной героини ранней лирики Блока, его Офелии, постепенно сливается с «лучезарным видением», «принимает неземные черты» (так сам поэт впоследствии комментировал свои стихи).

Ответ на все мировые «загадки» и собственные недоумения подсказали стихи Владимира Соловьева, с которыми Блок познакомился весной 1901 г. Он придавал этому году громадное значение, считал, что он решил его судьбу.

В лирических стихах Соловьева нашли прямое отражение его мистические и эсхатологические идеи, преемственно связанные с учением Платона и неоплатоников. Центральное положение соловьевской спиритуалистики гласит о том, что земная жизнь — это всего лишь бледный отсвет и искаженное подобие потустороннего, постигаемого одной верой сверхчувственного мира «высшей» и «подлинной» реальности и что земное существование совместимо с духовным проникновением в «миры иные».

Не менее важную роль в теории и проповеди Соловьева играли христианские надежды на возрождение человечества к новой, лучшей жизни. Они были интерпретированы не в ортодоксально-церковном, но тоже в мистическом духе. Божественная сила, призванная возродить и преобразить человечество, в философских сочинениях и в стихах Соловьева воплощена в мифологическом образе Вечной Женственности (она же — Мировая Душа), что «в теле нетленном на Землю идет». Это — некое одухотворенное начало Вселенной, «единая внутренняя природа мира», и ей суждено в последние, предвещанные Апокалипсисом времена спасти и обновить мир, внести в него гармонию истинно человеческой жизни.

Все это произвело на Блока впечатление неотразимое. В его юношеской лирике и выражено в личном переживании предчувствие «грядущего переворота», долженствующего наступить «ослепительного Дня»: «Верю в Солнце Завета, вижу зори вдали...». Хранительницей Солнца Завета, источником манящих зорь оказывается Она — Вечная Дева, в образе которой растворялась реальная «розовая девушка» — Люба Менделеева.

Отношения Блока с любимой девушкой вступили к тому времени в фазу решающую. «Любовь Дмитриевна проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился»,—записал Блок много лет спустя в дневнике. Там же — запись первостепенной важности: «Началось то, что «влюбленность» стала меньше призвания более высокого, но объектом того и другого было одно и то же лицо» [8].

Здесь Блок задним числом повторяет азы соловьевской метафизики любви. Кумир его юности учил, что «высшее идеальное единство», составляющее цель и смысл жизни, осуществляется в любви. В ней — наиболее полное проявление индивидуальности, залог цельности человеческой личности, торжество над смертью, мистическая «вечная жизнь». Смысл любви, разъяснял Соловьев, в том, что за другим существом признается «абсолютное, безусловное и бесконечное значение». Утвердить за другим существом такое значение можно только верой, и таким путем рождается высшая форма люб-

ви —«верующая любовь», которая хотя и отличается от эмпирической «инстинктивной любви», но связана с нею воедино, поскольку объектом той и другой служит «одно и то же лицо в двух различных видах, или в двух разных сферах бытия — идеальной и реальной» [9].

Очень юный человек, сосредоточенный на своих темных переживаниях и целомудренно о них молчавший, а потом вдруг очертя голову полюбивший, «идеализировал» свою «инстинктивную» любовь в соловьевском смысле. В этой всеобъемляющей любви, казалось ему, открывался путь к истинному познанию. Все смешалось и в душе, и в раздумьях Блока, и в его стихах: юношеская влюбленность — и мысль о своей пророческой миссии, «розовая девушка»— и чей-то Лик, проступающий на огненном горизонте («Предчувствую Тебя...»), «суетливые дела мирские»— и «виденья, сновиденья, голоса миров иных».

При всем том влияние Вл. Соловьева, испытанное юным Блоком, не следует абсолютизировать. Дальнейшее изложение покажет, что идеи и образы Соловьева послужили для Блока точкой отталкивания для построения собственной концепции личного духовного существования в соотношении с общей «мировой жизнью».

В 1901—1902 гг. Блок переживает высокий творческий подъем. Его лирический мир расширяется и усложняется за счет возникновения новых мотивов и сюжетов — «колдовства», «двойничества», «демонизма», «жестокой арлекинады», тревожных предчувствий («Но страшно мне: изменишь облик Ты...»). В глубине погруженной в мистический транс души уже просыпается чувство будущего:

Будет день — и свершится великое,
Чую в будущем подвиг души...

Таким Блок вступил в 1902 год, когда начал регулярную переписку с Любовью Дмитриевной (первые письма не были посланы по назначению и оставались либо среди бумаг Блока, либо в тетрадях его дневника).

Главные из событий, которые нужно держать в памяти, читая ранние письма, следующие: долгие прогулки по зимнему Петербургу с заходами в Казанский и Исаакиевский соборы, с припоминанием того, что происходит в петербургских романах Достоевского, с рассказами (его — ей) о Владимире Соловьеве, с бесконечным цитированием стихов. Далее — периодически возникавшие «кризисы» в их отношениях (в конце января Любовь Дмитриевна решила порвать с Блоком, после чего он разразился сумасбродно-взвинченными письмами, угрозами убить себя,— этот эпизод освещен в набросках воспоминаний Любови Дмитриевны). Наконец — ночь с 7 на 8 ноября 1902 г., когда, после бала в Дворянском собрании, произошло их решительное объяснение и она дала ему слово стать его женой.

Дальнейшее — в переписке, которая после объяснения приобретает наиболее интенсивный характер, превращается в «поэму в прозе» и обрывается в июле 1903 г., накануне свадьбы.

IV

Если оставить в стороне малозначащие подробности бытового характера, Блок изо дня в день твердит в письмах к возлюбленной одно и то же, а именно — что любовь его ниспослана ему свыше, что произошло нечто из ряда вон выходящее, некое чудо, которое «недвижно дожидалось случая три с половиной года» и не имеет ничего общего с «обыкновенными любовными отношениями».

В этой необыкновенной любви он обрел «силу своей жизни», познал «гармонию самого себя», угадал предопределенность своей судьбы. «Нет больше ничего обыкновенного и не может быть»; «Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе».

Нет спору, юный Блок долго оставался равнодушным к тому, что лежало за пределами его духовного мира, в частности — с презрением отворачивался от всякого рода

«общественности». Но из этого не следует делать слишком прямолинейные, упрощенные выводы.

С самого начала Блок формировался как художник романтического склада и усвоил общеромантическое представление о высокой, пророческой миссии поэта, чувствующего связь с «мировым», «вселенским» и призванного содействовать торжеству «истины, добра и красоты». Поэт — чудодей, наделенный волшебной силой гармонии, преобразующей косный мир.

Хоть все по-прежнему *певец*
Далеких жизни песен странных
Несет лирический венец
В стихах безвестных и туманных,—
Но к цели близится *поэт*,
Стремится, истиной влекомый,
И вдруг провидит новый свет
За далью, прежде незнакомой...

Блажен поэт, добром проникновенный,
Что миру дал незыблемый завет...

Соловьевская мистика лишь наслоилась на эти прописи и заповеди старого романтизма.

В основе такого представления о деле поэта лежало целое жизнепонимание, которое Борис Пастернак в применении к русским символистам, и в их числе к молодому Блоку, очень точно охарактеризовал как «понимание жизни как жизни поэта» [10].

Смысл романтической формулы: «Жизнь и поэзия — одно»—не в том, что поэзия питается действительностью, но в том, что содержанием ее становится личная жизнь поэта, его духовный опыт. И обратно — поэт строит свою жизнь по типу, уже отложившемуся, нашедшему свою форму в стихах. Образуется взаимосвязь: личное переживание жизни служит предметом стихов; стихи — закрепляют образ поэта, его лирическое «я». Отсюда, между прочим, характерное для романтиков единство стиля их художественных произведений и человеческих документов (дневников, писем). Письма Блока к невесте — показательный тому пример.

И дело тут не в отдельных встречающихся перекличках, но в общности душевного переживания и его словесно-образного выражения. Уже первое (если не считать совершенно незначительной записки делового характера) не отосланное по назначению экстатическое письмо от 29 января 1902 г., уснащенное соловьевской терминологией («неподвижное солнце» и т. п.), перекликается с написанным в тот же день стихотворением «Я укрыт до времени в приделе...».

Тема письма: она таит в себе силу великой чистоты и святости, и в этом источнике он обретает силу собственной жизни, собственной душевной гармонии. Всякое «разделение» или «разлучение» с обожествленной возлюбленной для него гибельно, означает не только духовное омертвение, но и физическую смерть,— и он молит и заклинает: «Зову я Вас моей силой, от Вас исшедшей, моей молитвой, к Вам возносящейся, моей любовью, которой дышу в Вас». И вот как трансформировалась эта тема в стихах:

Мы с тобой подняться не успели,—
Загорелся мой тяжелый щит.
Пусть же ныне в роковом приделе,
Одинокий, в сердце догорит.

Новый щит я подниму для встречи,
Вознесу живое сердце вновь.
Ты услышишь сладостные речи,
Ты ответишь на мою любовь...

Мир поэта заключен в его душе, и только законами этого мира, установленными самим поэтом, определяются его дело, долг и судьба. Громче всех, пожалуй, сказал об этом Тютчев:

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум...

Однако мир, заключенный в душе поэта, вовсе не безразличен к «безбрежному океану» общей «божеско-всемирной жизни», говоря тютчевскими же словами. Поэт-романтик, живущий в себе самом, вместе с тем жаждет причаститься общей жизни, понимая под этим по преимуществу согласие со стихийными силами природы.

Так и в молодом Блоке билась и рвалась наружу настоящая, лишь до времени затаившаяся в глубине души жизненная сила. Только в то время она не нашла, да и не искала себе применения в сфере общественного бытия.

В том лирическом потоке, который захлестывает письма Блока к невесте, отчетливо прослеживается одна тема, идущая красной нитью из письма в письмо. Она отчасти помогает понять, почему из рыцаря Прекрасной Дамы, отрешившегося от действительности, вырос великий поэт, стремившийся воплотить и увековечить «все сущее».

Дело в том, что Блоку приходилось постоянно отстаивать и оправдывать свой мистицизм перед возлюбленной. Она по природе была, что называется, позитивистской натурой, да и воспитана была в духе уважения к реальности, к факту и опыту. Мистические завихрения Блока, его «сумасшедшие термины» (по его же словам) были ей не только чужды и непонятны, но и неприятны. «Пожалуйста, без мистики»— таково было обычное ее присловье. Она и порвать с Блоком решила именно потому, что усомнилась в непосредственности его чувства и хотела быть не «фантастической фикцией», созданной распаленным воображением мистика, а «живым человеком».

Поэтому Блок настойчиво разъяснял возлюбленной, что «сложность» и «вычурность» его рассуждений не более как внешняя, косноязычная форма подлинных переживаний и что вообще мистика в его понимании не есть способ ухода от жизни, но, напротив, источник жизненной силы, позволяющий ему воспринимать и переживать сущее — глубже, ярче, активнее. Вера его — не «теория», не нечто рассудочное, но идущее непосредственно от ощущения жизни, она — целиком «в пределах бытия». Блок твердит о «простом человеческом сердце своего существа», из которого, и только из него, выпевается «субстанция» его стихов.

Полноту ощущения жизни дает ему его любовь и сама личность возлюбленной: «В Тебе то, что мне необходимо нужно, не дополнение, а вся полнота моя»; «С тех пор, как Ты изменила внезапно всю мою жизнь, я чувствую с каждым днем все больший подъем духа. У меня столько энергии, сколько никогда не было»; «Ты — вся моя молодость, моя живая надежда, мое земное бытие»; «Ты — первая причина, заставившая меня вскрыть в себе свои собственные силы, дремавшие или уходившие на бессознательное. Я говорю Тебе, что мне никогда не было так легко воспринимать все жизненные явления, как теперь». И — как итог: «Свой «мистицизм» я уже пережил, и он во мне неразделен с жизнью».

Таким образом, письма Блока к невесте вносят существенную поправку в расхожее представление о первом периоде его творческой работы, проясняют картину его духовного развития, оттеняют в его юношеской лирике те мотивы, которые, в конечном счете, оказались решающими:

Я и молод, и свеж, и влюблен,
Я в тревоге, в тоске и в мольбе...

Возникает вопрос: что же привело в движение дремавшие до поры жизненные силы поэта? Только одно — именно рано пробудившееся в нем чувство *тревоги*.

В реальных общественно-исторических закономерностях он еще не разбирается вовсе, и его не тянет к этому. Но в нем растет ощущение чего-то нового, незнакомого, очень тревожного.

Характерно в этом смысле письмо от 20 ноября 1902 г.: «Здесь в мире, в России, среди нас теперь делаются странные вещи и в Москве, и в Петербурге. Бегают бледные, старые и молодые люди, предчувствуют перевороты... И волочат умы людей — и мой тоже».

Блок еще мистифицирует действительность и отчужден от происходящих в ней исторических, социальных процессов. Но в нем постепенно накапливается пока еще безотчетное, но властно берущее за душу предчувствие кризиса и перелома. Жизнь уединившейся души, устремленной в «миры иные», оказывается, как-то и в чем-то пересекается с общей жизнью в этом мире. «Мое тамошнее треплется в странностях века», — замечает Блок в том же письме.

И чем дальше, тем внимательнее вглядывается он уже не в загадочные потусторонние «знаки», но в столь же загадочные для него «странности века», чреватые «переворотами», и даже пытается разобраться в них.

Тема власти «века» над индивидуальной душой приобретает для Блока все бо́льшее значение, и он уже начинает в условиях времени, в ощутимом неблагополучии эпохи искать разгадку человеческих трагедий, той проклятой раздвоенности, которая истерзала современного человека.

В одном из мартовских писем 1903 г. Блок заговорил о расколотости человеческой души как о характерном и истинно трагическом явлении современной жизни: «Теперь у нас такое время, когда всюду чувствуется неловкость, все отношения запутываются до досадности и до мелочей, соображениям нет числа, и, особенно, в крайне резких и беспощадных чертах просыпается двойственность *каждой* человеческой души, которую нужно побеждать; если хочешь, даже марьонетки, дергающиеся на веревочках, могут приходить на ум и болезненно тревожить».

При этом делается многозначительный и решительный вывод: «Всему этому нет иного исхода, как только постоянная борьба и постоянное непременное ощущение того, что есть нечто выше и лучше, даже чище и надежнее, настоящее *счастье*, к которому нужно прийти так или иначе *сознательно*».

Очень важные слова! Здесь уже предвосхищены в известной мере проблематика и мотивы «Балаганчика» с его темой неподлинной, марионеточной жизни. Вот где, выясняется, берет начало постоянное для зрелого Блока тяготение к душевной цельности, стремление его разогнать назойливых «двойников», победить сомнения, преодолеть марионеточную издерганность души, чтобы прийти к жизни светлой, прекрасной, гармоничной. Наиболее замечательна уверенность двадцатидвухлетнего поэта в том, что путь к истинному счастью — это путь *сознательной борьбы*.

Через всю жизнь Блок пронес одно беглое и в общем-то случайное впечатление, вынесенное в юности. В его записной книжке под 23 июля 1902 г. есть кратчайшая и, казалось бы, ничего не говорящая запись: «Пели мужики».

Прошло без малого двадцать трудных лет — целая жизнь, полная душевных испытаний, неустанной работы мысли и воображения, напряженных поисков правды, удивительных художественных открытий, — и в марте 1921 г. уже «уходящий в ночную тьму» Блок в который раз возвращается к этому давнему воспоминанию в лирических заметках «Ни сны, ни явь».

Откуда же эта властная сила воспоминания о давно прошедшем и о чем, в сущности, это воспоминание? Что же случилось в июле 1902 г.?

Шахматовские господа, всем семейством, на закате пили чай под липами, — из оврага уже поднимался туман. В тишине стало слышно, как мужики, вышедшие косить соседний луг, начали точить косы. Вдруг один из них завел песню. «Мужики подхватили песню. А мы все страшно смутились. Я не знаю, не разбираю слов; а песня все растет... Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в далекий угол сада».

Почему смутились, почему стало неловко и защекотало в горле, почему убежал? Да потому, что песня мужиков растревожила душу, разбудила *совесть*, — как когда-то тревожила она, эта русская, полная боли и тоски песня, и Радищева, и Пушкина, и Лермонтова, и Некрасова.

«После этого все и пошло прахом», — говорит Блок дальше. Старая, еще казавшая-

ся устойчивой жизнь стала расползаться по швам. Песня — стихийно ворвавшийся в мирную тишину и смутивший «господ» голос народа — это, конечно, метафора.

Но за нею стоит нечто реальное: ощущение катастрофизма эпохи, непрочности ее уклада и ее догм — государственных, общественных, правовых, моральных,— ощущение, которое, как засвидетельствовал Блок, охватило его еще в юности, когда он был так далек от всякой «общественности»: «А что там неблагополучно; что везде неблагополучно, что катастрофа близка, что ужас при дверях,— это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией»[11].

V

Нужно принять в расчет, что в переписке есть более чем трехлетний перерыв, который пришелся на чрезвычайно важный период идейно-творческого развития Александра Блока. Этот отрезок своего пути (1904—1906) он прошел в обстановке назревания и подъема первой русской революции, интенсивно и стремительно — пережил кризис своего юношеского религиозно-мистического мировоззрения, перенес приступы скепсиса и жестокой иронии, обращенной на собственное прошлое («Балаганчик»), испытал соблазны декаданса и обрел выход к большим национально-историческим и социальным темам: Россия, народ, революция.

Эти годы оказались также временем резких конфликтов и надломов в личной жизни поэта. О них надобно сказать здесь хотя бы коротко, ибо без этого останется непроясненным содержание дальнейшей переписки его с женой.

Перед свадьбой Блок и сам верил и невесту заверял, что встреча их — «на всю жизнь». Так и казалось им обоим, а на деле все обернулось совсем иначе. Любовь Дмитриевна в набросках воспоминаний о Блоке и о себе сказала, что в ее семейной жизни с самого начала дала о себе знать «ложная основа». С этим приходится согласиться.

«Люблю Тебя страстно, звонко, восторженно, весело, без мысли, без сомнений, без дум»,—писал Блок невесте. На деле же были и мысли и сомнения — не в том смысле, что он сомневался в своей любви, но касавшиеся самой природы ее.

Да, в Блоке копилась «жизненная сила». Но и гнездилась в нем мистическая схоластика. В противоборстве этих начал складывался его характер. При всех заверениях, что он, наперекор и вопреки умозрительным «теориям», следует зову «простого человеческого сердца» и придавая женитьбе значение громадное («самая важная вещь в моей жизни»), Блок, к несчастью, позволил «теории», причем совершенно ложной, возобладать над чувством. Результат оказался необыкновенно тяжелым.

В одном из ранних писем к Любови Дмитриевне Блок обмолвился, что никак не может «изобрести форму», подходящую для «весьма сложного случая отношений», которые завязались между ними. Сумасшедшая вера в возлюбленную как в «земное воплощение» божественного начала не допускала обычных, нормальных «форм». Владимир Соловьев возвещал, что «перенесение плотских, животно-человеческих отношений в область сверхчеловеческую есть величайшая мерзость и причина крайней гибели».

У Блока не хватило решимости «повернуть все проще», и он внушал трезвой Любе Менделеевой, что близость их не должна быть сведена к «вульгарным формам», которые способны лишь помешать установлению между ними душевной гармонии. Ближайший друг юности, экспансивный и ортодоксальный «соловьевец» Сережа Соловьев (племянник философа), со своей стороны, подливал масло в огонь, пускаясь в бредовые рассуждения об Афродите небесной (Афродита Урания) и Афродите площадной (Афродита Пандемос), о темной стихии астартизма, о «драконе похоти» (соловьевский образ), которого надлежит низвергнуть в «бездну», чтобы реализовать торжество истинной, вечной и святой любви («белая любовь Иоаннова» христианских мистиков).

Между тем Любовь Дмитриевна ждала от брака того, чего ждет каждая нормальная, впервые полюбившая девушка,— полноты чувства и безусловности счастья. И она горько обманулась в своих простых ожиданиях. Дело осложнялось тем, что причастники «белой любви» оставляли за собой свободу действий: астартизм нельзя было переносить в область «сверхчеловеческую», а в области просто человеческой он допускался.

Любовь Дмитриевна рассказывает, как Блок внушал ей, что отношения астартические не могут быть ни прочными, ни длительными, что все равно «он уйдет к другим».

хотя такого рода уходы и не должны поколебать установившуюся между ними «гармонию». Она наивно спрашивала: «А я?»—«И ты так же»,— отвечал он безжалостно. Впрочем, она продолжала еще ждать и надеяться. А когда надеждам уже не осталось места, сперва только «рыдала с бурным отчаяньем», а потом, предоставленная сама себе, вступила на тот же путь. Так христианская мистика сплеталась воедино с декадентским нигилизмом — одна из характерных черт психологии и поведения определенного круга людей того времени.

В достаточной мере выяснена история сложных отношений Александра Блока с другим виднейшим представителем русского символизма — Андреем Белым (Борисом Николаевичем Бугаевым). Отношения эти начались с экзальтированной близости, прошли через затаенное недопонимание, взаимное отчуждение, открытую ожесточенную полемику, дуэльные вызовы, полный разрыв и завершились «далековатой дружбой» [12].

Летом 1905 г. к идейно-литературному расхождению бывших побратимов, к тому времени уже явно определившемуся, добавился острый личный конфликт. Андрей Белый, до тех пор охваченный мистико-платоническим чувством поклонения Любови Дмитриевне как Прекрасной Даме блоковских стихов, попросту, самым «вульгарным» образом влюбился в нее, открылся ей в своей любви, а она, в свою очередь, посвятила в происшедшее Блока и его мать.

Началась длинная, трехлетняя изнурительная неразбериха, в ходе которой Любовь Дмитриевна то принимала, то отвергала любовь Андрея Белого и совершенно замучила и его и себя. Свойственная Белому душевная неуравновешенность сильнейшим образом осложнила жизнь всех трех втянутых в неразбериху лиц. Он попеременно то ссорился, то мирился с Блоками, клялся в любви и дружбе, упрекал и обвинял, каялся, требовал сочувствия, унижался, угрожал самоубийством.

Блок внешним образом занял в этой истории позицию сдержанного наблюдателя, отошел в сторону. Такая уклончивость, конечно, вносила дополнительные осложнения. Впоследствии Блок записал в дневнике: «Сережа Городецкий, не желая принимать никакого участия в отношении своей жены ко мне (как я когда-то сам не желал принимать участия в отношении своей жены к Бугаеву), сваливает всю ответственность на меня (как я когда-то на Бугаева, боже мой!)» [13].

Опуская подробности неразберихи, остановимся на итогах. После бесконечных колебаний Любовь Дмитриевна осталась с Блоком. Но к лету 1907 г., когда начинается вторая часть переписки, их общая жизнь была уже полностью расшатана.

Любовь Дмитриевна, пережив крушение своего мучительного романа с Белым, оказалась в трудном положении. Блок в это время (с декабря 1906 г.) испытывал сильнейшее кружение сердца, далеко вышедшее за границы обычных его увлечений (встреча с Н. Н. Волоховой, ставшая на целый период источником творчества: «Снежная маска», «Фаина», «Песня Судьбы»).

Решив остаться с Блоком (речь заходила о разводе), Любовь Дмитриевна была охвачена вполне понятным чувством растерянности и обиды (это ясно сказалось в ее дилетантских стихах, которые она начала сочинять). Блок, несмотря ни на что, продолжал заверять ее: «Ты важна мне и необходима необычайно», но, как вскоре выяснилось, переоценил силу своего воздействия на нее.

В поисках самоутверждения и внутренней эмансипации Любовь Дмитриевна ищет реальное дело — и находит его в театре, становится драматической актрисой и в феврале 1908 г. уезжает в длительную гастрольную поездку. Актерским талантом она не обладала, и театр в дальнейшем принес ей больше горя, чем радости.

Тут-то она и соскользнула на путь вседозволенности, которой так безответственно похвалялись в декадентско-интеллигентской среде во имя призрачной «свободы личности». Любовь Дмитриевна тоже называла это: «Найти себя». Начались ее «дрейфы» — пустые, ни к чему не обязывавшие романы и случайные связи. Привели они к последствиям для нее катастрофическим: ожидание ребенка, задержавшееся объяснение с Блоком (который «принял все», и чужого ребенка тоже), рождение и смерть мальчика (февраль 1909 г.), глубочайший душевный надлом.

О том, что творилось в это время в душе Блока, с необыкновенно впечатляющей силой говорят его тревожные и любящие письма к Любови Дмитриевне.

Жизнь переучивала, опровергала декадентскую ложь, заставляла учиться на собственных ошибках. Меняется представление о том, что такое личная свобода. Блок не только ставит в иронические кавычки расхожую декадентскую формулу: «свобода от всего рабского», но и сопровождает ее вопросом: «и от всего свободного?» (т. е. истинно свободного). Личность Александра Блока, естественно, заслонила личность его жены. Но нельзя, говоря по совести, не вникнуть и в ее человеческую драму.

Любовь Дмитриевну никак нельзя назвать личностью заурядной. В ней чувствовался человек нелегкого, крайне замкнутого характера, но, бесспорно, очень сильной воли и очень высокого представления о себе, с широким кругом духовных и интеллектуальных запросов, с жадным интересом к жизни и к людям и со своеобразным подходом к ним. Иначе почему бы Блок, при всей сложности их отношений, неизменно обращался к ней, к ее мнению и опыту в самые трудные минуты своей жизни?

Однако драмы, пережитые Блоком и Любовью Дмитриевной,—все же вещи разные.

Блок всю жизнь расплачивался за допущенную им роковую ошибку, и самой дорогой ценой — сознанием вины, терзаниями совести, отчаяньем. Он не переставал любить свою «единственную на свете» вопреки всему, что с ними обоими происходило. Она — «святое место души». В 1910 г. он записывает: «Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь... Люба на земле — страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но—1898—1902〈годы〉 сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее». И через семь лет: «Никогда не умел ее любить. А люблю»[14].

С нею же все повернулось гораздо проще. Серьезных душевных мук она не испытывала, смотрела на вещи трезво и эгоистично. Целиком уйдя в свою личную жизнь, она в то же время взывала к жалости и милосердию Блока, утверждая, что если он оставит ее, она погибнет. «Если откажешься от меня, жизнь моя будет разбитая. Фаза моей любви к тебе — требовательная. Помоги мне и этому человеку»,— говорила она Блоку в разгар очередного своего увлечения[15]. И он помогал.

Он оставался для нее «надежным», потому что она хорошо знала его благородство и верила в него. И он принял на себя эту тяжелую миссию.

Я не только не имею права,
Я тебя не в силах упрекнуть
За мучительный твой, за лукавый,
Многим женщинам сужденный путь...

Эта прядь — такая золотая
Разве не от старого огня?—
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная, прости меня!

VI

Эта личная драма со всеми ее житейскими обстоятельствами, тяжелыми переживаниями и бурными конфликтами, просвечивающими в переписке, стала предметом высокого искусства — в творческом преображении вошла важнейшей темой в лирику Александра Блока и тем самым приобрела многозначность и общезначимость.

Именно в этом прежде всего и заключается первостепенное *литературное* значение писем поэта к его жене.

Бесконечная, тянувшаяся из года в год путаница отношений с Любовью Дмитриевной была для Блока источником тяжких душевных мучений. Но она же питала его творчество, и мы обязаны ей возникновением многих лирических шедевров поэта.

Образ «единственной на свете», сладостные и горькие воспоминания о том «чудесном», что происходило в 1898—1902 гг., сознание своей вины и безвыходности того, что случилось,— эта нить в лирике Блока не рвется до самого конца.

Но вот что самое главное: в данном случае обнаруживается нечто большее, нежели простое «отражение» личной драмы в стихах (какое находим, к примеру, в знаменитых

стихотворениях «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Приближается звук...» или «Перед судом»).

Она, эта личная драма, преобразившись в явление искусства, органически вошла в общий исторический и идейно-нравственный контекст поэзии Блока. Такое проникновение интимно-личного в общее, в историческое объясняется спецификой стиля и поэтики зрелого Блока.

История, время всегда присутствуют в том, что написал Блок. В основе его творческой работы лежал принцип нерасторжимого единства частного и целого, личного и общего в целостном ощущении данного исторического момента, эпохи.

«Личная страсть» поэта, доказывал Блок, «всегда насыщена духом эпохи». Время внушает поэту не только идеи, темы, содержание стихов, но и их ритмы и даже размеры,—«ибо в поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он «свое» и «не свое»; поэтому в эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой» [16].

Буря и тревога. Эти слова ближе и точнее всего обозначают самое существо поэзии Блока, ее природу и атмосферу. Трагическое ощущение катастрофичности эпохи проникает в этой поэзии и в частное бытие человека. Буря жизни, бушующая вокруг поэта, потрясла и его личный мир, приобщила его человеческую судьбу к тому, что происходит в большом, общем мире.

Поэтому в стихах Блока самые, казалось бы, сокровенные события его душевной жизни оказываются связанными очень тонкими, подчас нелегко уловимыми ассоциациями и соотношениями с самыми широкими, общими темами.

С особенной, пожалуй, наглядностью можно проследить эти глубинные связи в стихах, так или иначе вызванных к жизни отношениями Блока с его «единственной на свете».

Ограничимся несколькими примерами.

В стихотворении «Ангел-Хранитель», написанном в самый разгар первого акта семейной драмы (август 1906 г.). все личное не включено даже, а впаяно в горестные раздумья о человеке, теряющем волю к борьбе за свою свободу и достоинство, за свое будущее.

Стихотворение проникнуто некрасовским пафосом душевного страдания, упреков совести, гнева и мести (в тексте обнаруживаются следы прямого воздействия Некрасова). И не случайно оно подверглось цензурному гонению за «возбуждение к тяжким и преступным деяниям».

Личный конфликт в этом стихотворении, дышащем гражданским пафосом, объясняется через историю, через обстановку времени, через судьбу страны и народа, частицей которого ощущает себя лирический герой:

...За то, что не любишь того, что люблю,
За то, что о нищих и бедных скорблю.

За то, что не можем согласно мы жить.
За то, что хочу и не смею убить —

Отмстить малодушным, кто жил без огня,
Кто так унижал мой народ и меня!

Кто запер свободных и сильных в тюрьму,
Кто долго не верил огню моему.

Кто хочет за деньги лишить меня дня,
Собачью покорность купить у меня...

За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои — поколенье рабов,

И нежности ядом убита душа,
И эта рука не поднимет ножа...

А вот пример такого же органического, но гораздо более сложного и тонкого слияния личного и общего. Речь пойдет о стихотворении «Ты отошла — и я в пустыне...» (1907), которым Блок неизменно открывал в своем трехтомнике важнейший раздел «Родина».

Стихотворение это и воспринимается как типическое произведение гражданственно-патриотической лирики Блока,— говорится в нем, бесспорно, о родине, России, «родной Галилее».

Однако из переписки поэта с женой узнаем, что стихи эти непосредственно вызваны были глубоко интимными переживаниями, связанными с их разладом, и поначалу обращены были не к кому иному, как к ней.

Не следует думать, однако, что Блок, написав стихи к жене, в дальнейшем просто «переосмыслил» их, переадресовав родине. Нет, в том-то и суть дела, что в собственно поэтическом, семантическом смысле стихотворение двупланно и вместе с тем целостно.

Понятия «жена» и «родина» здесь взаимодействуют. Они вмещены в один емкий образ, играющий разными гранями смысла. (Нужно иметь в виду, что у Блока, в отличие от старых русских поэтов, родина, Россия — чаще всего не мать, а именно жена или невеста, красавица-возлюбленная.)

Также и Сын Человеческий в этих стихах — одновременно и лирическое «я» поэта, и некий обобщенный образ гонимого по миру несчастного человека, подсказанный воспоминанием об евангельском Христе, пришедшем в мир, чтобы собственным страданием искупить грехи всего человечества.

И потому интимно-лирическая тема, расширяясь в своем значении, наполняется историческим содержанием, и стихи воспринимаются уже не как обращение к любимой женщине, которая «отошла» от поэта (в смысле реально-житейском) и стала жертвой обывательской «дикой молвы», но как нечто сказанное о судьбах родины и ее обреченного на скитания сына:

И пусть другой тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву:
Сын Человеческий не знает,
Где приклонить ему главу.

Другой выразительный пример столь же тесного, но еще более сложного сплетения мотивов жены-родины и жены-возлюбленной, ждущей возвращения своего «князя»,— в стихотворении «В густой траве пропадешь с головой...» (1907). Так же двоится образ жены и в стихотворении «Осенний день» (1909), где в первой строфе содержится обращение к женщине, спутнице («Идем по жнивью не спеша, с тобою, друг мой скромный»), а в заключительной — возникает обычное у Блока взаимопроникновение образов родины и возлюбленной:

О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?

Такое расширение лирической речи входило в творческую задачу Блока и в гениальном стихотворении «Под шум и звон однообразный...» (1909), тоже связанном с переживанием личной драмы.

В основе своей стихотворение обращено к любимой женщине, которую безрассудно покинул лирический герой и в возвращении к которой он видит свое спасение.

Под шум и звон однообразный,
Под городскую суету
Я ухожу, душою праздный,
В метель, во мрак и в пустоту...

Метель, мрак, пустота здесь (как и обычно у Блока) — это не просто конкретности данного случая, не просто метельная и темная ночь. Семантическая природа лирики Блока такова, что образы эти обозначают нечто более общее: мрак и пустоту «страшного мира». Сила поэтического обобщения, которая была так доступна Блоку, превращает стихотворение в исповедь «сына века», обращенную уже не к частному (к любимой, но покинутой женщине), но к целому (к некоему духовному идеалу, которому «изменил» лирический герой).

Чтò, если я, завороженный,
Сознанья оборвавший нить,
Вернусь домой уничиженный, —
Ты можешь ли меня простить?

Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк,
Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак?

В разговор о себе и о своем («Ты можешь ли меня простить?») свободно, естественно вторгаются иные ноты, иные — многозначительные — образы, имеющие в поэзии Блока устойчивое смысловое значение: «дальняя цель», «путеводительный маяк».

И такая трансформация смысла закономерно вызывает представление о родине, о гражданском призвании поэта, что и выражено с полной отчетливостью в заключительной строфе:

Иль можешь лучше: не прощая,
Будить мои колокола,
Чтобы распутица ночная
От родины не увела?

Здесь знаменателен, полон глубокого смысла весь образно-семантический строй стихотворной речи. Метели, бред, мрак, пустота, ночная распутица — это образы того темного, что посягает на душу и мысль поэта. Но за мраком и бредом есть в жизни иное — светлое, благородное, обнадеживающее, что будит в душе «колокола», исторгающие высокие и чистые звуки. И это влекущее и желанное, хотя и труднодоступное, воплощается в произнесенном под самый конец слове: родина.

Произнося это большое, ответственное слово, Блок одновременно думал и о той, к кому стихотворение, в тесном смысле, было обращено. Недаром же, делясь с Любовью Дмитриевной трагическим переживанием реакции, камнем навалившейся на Россию, он тут же признавался, что, кроме как в ней, в своей Любе, ему негде найти «точку опоры».

И когда Блок рисует картины «страшного мира», он не может отрешиться от памяти о своей личной драме, которая, как он понимает, есть тоже порождение этого мира, покалечившего души людей, расшатавшего их нравственные устои.

Вот одно из наиболее сильных и характерных стихотворений этого плана — «Ночь — как ночь, и улица пустынна...» (1908). Безвыходность существования, призрачность счастья, бессильное богоборчество — все эти мотивы интегрируются в болезненном ощущении «сырой мглы», окутавшей мир. Но и здесь звучит пронзительная нота личной беды:

Для кого же ты была невинна
И горда?

И обратно: в «своем», личном — неизменно сквозит историческое. Даже воспоминание о «меховой шубке», в которой когда-то, давным давно, в памятный день, была любимая девушка, переплетается с размышлением о «мировой чепухе», какою представляется поэту окружающая его неблагополучная жизнь.

Над человеческим созданьем,
Которое он в землю вбил,
Над смрадом, смертью и страданьем
Трезвонят до потери сил...

Над мировою чепухою;
Над всем, чему нельзя помочь;
Звонят над шубкой меховою,
В которой ты была в ту ночь.

Так личная драма, о которой мы узнаем из второго цикла писем Блока к жене, громко откликалась в лирических сюжетах, сообщивших его поэзии такую громадную, эмоционально заразительную драматическую силу.

VII

В письмах второго цикла возникает уже совсем другой Блок. От восторженного юноши, погруженного в мистические фантазии, ничего не осталось. Перед нами художник суровый и гневный, строгий судия, беспощадный ко всякого рода лжи и безответственному «легкому веселью».

Для этого нужно было во многом, чему Блок на первых порах поверил, усомниться, многое переоценить и отвергнуть. И прежде всего — собственное декадентство, которое после «Стихов о Прекрасной Даме», в эпоху «Балаганчика», «Нечаянной Радости» и «Снежной маски», притягивало его своими соблазнами, но которое он научился ненавидеть. И еще ему нужно было преодолеть упорное сопротивление той общественной и художественной среды, которая его окружала и не хотела выпустить из своих цепких объятий.

Непросто было Блоку прийти к убеждению (высказанному в самое глухое время реакции), что «современная жизнь есть кощунство перед искусством, современное искусство — кощунство перед жизнью» [17] и что только революционное преобразование жизни способно привести к новому подъему и расцвету искусства. Позже он в таких четких выражениях сформулирует свою выношенную мысль: «Возвратить людям всю полноту свободного искусства может только великая и всемирная Революция, которая разрушит многовековую ложь цивилизации и поднимет народ на высоту артистического человечества» [18]. (Под «цивилизацией» Блок понимал механистическую, «безмузыкальную» цивилизацию буржуазной эпохи, которую он противопоставлял духу истинной гуманистической, целостной культуры.)

Наиболее важно понять внутреннюю логику пути, пройденного Александром Блоком. Множество препятствий возникало перед поэтом, когда он буквально *пробивался* к жизни, к народу, к революции после тщетных блужданий в лабиринте мистических утопий и всяческого утонченного спиритуализма. Касаясь своих ранних стихов, Блок говорил о «*тюрьме* сладких гармоний», в которую он «засадил *юношу*» — самого себя [19]. Вырваться из этой тюрьмы — значило переступить через самого себя. Это всегда страшно трудно, неизбежно связано с тяжелыми издержками. Но дело решают не издержки, а достижения.

Именно то время, когда берет начало вторая половина переписки Блока с женой, оказалось в творческой биографии поэта резко обозначившимся *рубежом*.

Весной 1907 г. Блок записывает для себя: «Реалисты исходят из думы, что мир огромен и что в нем цветет лицо человека — маленького и могучего. Они считаются с первой (наивной) реальностью, с психологией и т. д. Мистики и символисты не любят этого — они плюют на «проклятые вопросы», к сожалению. Им нипочем, что столько нищих, что земля кругла. Они под крылышком собственного «я»... Они слишком культурны, потому размениваются на мелочи (индивидуализм), а реалисты — «варвары». Мысли знакомые» [20].

Тут в немногих словах заложена целая программа. Ее-то Блок и попытался реализовать в 1907—1908 гг. в обширном цикле литературно-критических и публицистических выступлений, проникнутых боевым, наступательным духом. Как известно,

выступления эти вызвали сильное раздражение в декадентско-символистской среде и привели Блока к открытому разладу с «лучшими друзьями» и непрошенными «покровителями», начиная с Андрея Белого и Мережковских.

Весьма значительна мысль Блока о том, что мистики и символисты преобременены культурой — и потому «размениваются на мелочи».

Своего рода исторический парадокс был в том, что «новейшие течения» в общеевропейском искусстве позднебуржуазной эпохи питались угасавшей культурой старого мира, истощившей себя в решении утонченных, но измельченных задач.

Большое, жизнеспособное искусство дышит художественным обобщением, духом интеграции. Оно вырабатывает взгляд на мир как на целое, воплощает в образе то «единство во множественности», которое составляет важнейший принцип реалистической эстетики.

Декадентское же (в широком смысле этого понятия) искусство, напротив, уничтожает представление о цельности, раздробляет жизнь на лишенную единства множественность разрозненных явлений. Так и русские символисты чаще всего уходили от постановки и решения больших проблем, поскольку оказывались бессильны построить целостную концепцию мира.

В эпоху «александрийского» заката старой культуры даже высокоодаренные художники истощали себя в атомистической раздробленности мысли и, соблазненные «духом мелочей, прелестных и воздушных», разменивали и жизнь и искусство на элегантные пустяки. Отсюда — столь характерные для художественной практики декаданса судорожные поиски непременно «новой» формы, как правило, не наполненной серьезным содержанием, демонстрация всякого рода мелочных «открытий» и «изобретений», лишенных подлинной эстетической ценности.

Блок, начиная с 1907—1908 гг., нисколько не претендуя на роль теоретика, охотно уступая ее Брюсову, Вячеславу Иванову, Белому и исходя только из собственного опыта, единственный из русских символистов, смотрел в корень — думал и говорил о самом простом, но и самом важном: «Нигде не жизненна литература так, как в России, и нигде слово не претворяется в жизнь, не становится хлебом или камнем так, как у нас» [21].

С полной свободой подходил Блок к самым большим и самым насущным, пусть «старым», но всегда неотвратимым вопросам искусства. Такая свобода свойственна только гениальным художникам, которые любой, казалось бы уже решенный, вопрос ставят и решают словно впервые.

Мысль Блока неделима. Он не разграничивает эстетику и этику. В замечательной статье «Три вопроса» (февраль 1908 г.) он обращается к одной из «вечных» проблем классической русской эстетики, которую декаденты высокомерно игнорировали,— к соотношению между прекрасным и должным.

Блок устанавливает, что вопрос «как» (вопрос о формах искусства) уже решен: овладение формой стало делом настолько легким и общедоступным, что для ловкого имитатора уже ничего не стоит заключить в красивую оправу стекляшку вместо бриль· та.

Перед настоящими художниками, призванными оберегать русскую литературу «от вторжения фальсификаторов», вырос второй вопрос — о содержании, о том, «что имеется за душой у новейших художников, которые подозрительно легко овладели формами?»

А за этим неизбежно возникает и властно требует ответа третий, самый острый, самый тревожный вопрос — «зачем?»: «Перед русским художником вновь стоит неотступно этот вопрос *пользы*... К вечной заботе художника о форме и содержании присоединяется новая забота о *долге*, о должном и недолжном в искусстве». И Блок отвечает на этот третий вопрос с полной прямотой, без каких-либо оговорок и околичностей: «В сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, которое произвело его, художник находит силу ритмически идти единственно необходимым путем».

Вариант ответа — в письмах Блока к жене. «Не забывай долга — это единственная музыка. Жизни и страсти без долга нет»,— предупреждает он Любовь Дмитриев-

ну в марте 1908 г., сразу после того как была написана статья «Три вопроса». В том же письме — знаменательное признание: «Беспочвенности и усталости я одинаково не принимаю к сердцу,— им нет места среди нас — художников».

Спрашивается, что означает «беспочвенность» в понимании Блока? Именно то, что содержится в самом понятии: утрату почвы, корней. Прежде всего — атрофию необходимой для художника способности размышлять «о живом, о том, что во времени и пространстве». Но также — и забвение заветов и традиций национальной культуры, притом культуры гуманистической, прогрессивной, демократической. Всякого рода новомодные трескучие и пустопорожние идеи и программы, вроде «мистического анархизма», встречают отпор у Блока прежде всего потому, что он обнаруживает в них «не бережное» отношение к культуре. Перечитывая русских классиков и наблюдая в Шахматове крестьянскую жизнь с ее неотразимой и жестокой правдой, Блок мечтает о создании журнала «с традициями добролюбовского «Современника».

Владевшее Блоком романтическое чувство неотвратимо надвигающегося всемирно-исторического перелома, неизбежного конца старого мира было неотделимо в его сознании от задачи возвращения национальной культуры на благодатную почву общенародной жизни — и тем самым обновления ее. «Приобщение к народной душе» становится для Блока наивысшим критерием оценки всякой духовной деятельности, в первую очередь — дела художника, писателя, несущего особо высокую ответственность перед народом. С народом — все пути, в народе — все надежды.

Народ — венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам:
Не миновать господня лета
Благоприятного — и нам.

Конечно, не следует нарочито выпрямлять сложный, в перспективе неуклонный, но отнюдь не однолинейный путь Блока и сглаживать резкие противоречия его мировоззрения, наложившие печать и на его творчество. Но вместе с тем нельзя не заметить, что на пути поэта возникали и внешние, независимые от его воли препятствия, которые, в свою очередь, замедляли переход его на позиции общенародного искусства. Нужно было написать «Двенадцать» и «Скифов», чтобы этот переход стал очевидным для всех. Но в годы реакции, несмотря на глубокий внутренний разлад с лидерами символизма, определившийся уже к 1908 г., Блок внешним образом, формально числился «по этому ведомству», и лишь очень немногие, наиболее чуткие и тонкие читатели понимали, что он перерос всех поэтов символизма и встал вровень с великими лириками прошлого.

А сам Блок между тем жадно искал выход к большому читателю. Знаменателен в этом смысле эпизод с несостоявшимся, в конечном счете, приглашением Блока к участию в горьковских альманахах «Знание». Из переписки поэта с женой видно, сколь важное значение придавали они оба этой приоткрывшейся было возможности. Блок хотел отдать в «Знание» лучшее, чем тогда располагал,— «Вольные мысли». В этих гениальных стихах, может быть, с наибольшей художественной силой и прямотой отразился пережитый Блоком духовный кризис, и легко представить себе, каков был бы литературно-общественный эффект своевременного появления такого Блока в издании, снискавшем прочные симпатии широкого круга демократических читателей.

Но Блоку выпало на долю в одиночестве делать свое дело, идти своим путем, вырабатывать свою эстетику и поэтику.

Свой творческий путь Блок осмыслял как «вочеловечение»: «Один — и за плечами огромная жизнь — и позади, и впереди, и в настоящем... Настоящее — страшно важно, будущее — так огромно, что замирает сердце,— и один: бодрый, здоровый, не «конченный», отдохнувший. Так долго длилось «вочеловечение»,— пишет он Андрею Белому в марте 1911 г., в разгаре работы над поэмой «Возмездие» [22].

Незадолго перед тем он признался матери: «Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме и на моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декадентства» отошла».

Именно в поэме «Возмездие», проникнутой, как заметил сам поэт, «яростной ненавистью» к царизму и всем его порождениям, как и в отпочковавшемся от поэмы цикле гражданской лирики «Ямбы», особенно ясно видны устремленность Блока в будущее, жадное ожидание им неотвратимо приближающихся великих социальных перемен, складывавшаяся в его сознании концепция «юной» — могучей и обновленной — России, «мужающей в сердце русской революции».

VIII

Вокруг понятий правды и лжи, долга и безответственности, основательности и беспочвенности, человечности и марионеточности применительно к искусству и завязался спор, который вел зрелый Блок в письмах к жене. Поскольку Любовь Дмитриевна связала свою судьбу с модернистским театром, суждения Блока касаются, главным образом, этой области искусства.

Вот характерная запись в дневнике Блока от 11 октября 1912 г.: «Вечер закончился неприятным разговором с Любой. Я постоянно поднимаю с ней вопрос о правде нашей и о модернистах, чем она крайне тяготится. Она не любит нашего языка, не любит его, не любит и вообще разговоров. Модернисты все более разлучают ее со мной» [23].

Исходя из своих мыслей о пользе и общественном назначении искусства, Блок в письмах к жене особо останавливается на глубоко заинтересовавшем его вопросе о «народном театре», обращенном к «свежей публике» и способном не только просветительски «поучать со сцены», но и воплотить в своей практике самую суть большого искусства. Эта задача, доказывает Блок, не по плечу модернистам, у которых «нет стержня, а только — талантливые завитки вокруг пустоты».

В эстетике Блока очень важное место занимает антиномия красивого и прекрасного. Красивое — это не более как нарядная, но дешевая оболочка, прикрывающая никчемность или полную пустоту содержания. Еще в 1908 г. умело написанные стихи бывшего своего друга Сергея Соловьева Блок предает самому строгому, можно сказать — беспощадному осуждению именно за «ловкость», с которой они сложены, за изобретательные рифмы и лощеную гладкость, потому что за всем этим словесным фейерверком чувствуется «полное пренебрежение к внешнему миру» [24]. Прекрасное — единственный верный критерий художественности, потому что в нем гармонически объединяются «красота» и «польза».

Отсюда ясно, почему столь решительный протест Блока вызывал эстетский (в ту пору) театр Всеволода Мейерхольда. Блок высоко ценил талант этого смелого реформатора русской сцены, осуществленную им в 1906 г. постановку «Балаганчика» назвал «идеальной». Но дальнейшее направление творческих исканий Мейерхольда встретило со стороны поэта самый резкий протест.

Блок хотел видеть на сцене лицо живого человека, а не надетую на него нарядную или комическую маску. Он утверждал, что Мейерхольд как художник «погибнет, если не опомнится, не бросит вовсе кукольное и не вернется к человеку».

Кукольное на языке Блока — синоним формалистического. Тут приоткрывается очень важная сторона эстетических воззрений Блока — его постоянный, резкий, бескомпромиссный протест против всяческого штукарства в искусстве.

Блок считал, что искусство требует столь же осторожного с ним обращения, как, скажем, радий. Малейшая доля искусства (не фальшивого, а настоящего) способна чудесным образом «радиоактировать» все, к чему прикоснется художник, даже «самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное» [25].

Поэтому, говорил Блок, не следует «перегружать произведение искусства искусством», или, как стали говорить позже «обнажать прием». Художник должен быть строго экономным в расходовании «радиоактивных» средств искусства. Перегрузка в этом отношении, всякого рода излишества и ухищрения только мешают искусству. И в этом смысле полноценные художественные создания отличаются тем, что в них «больше не искусства, чем искусства».

Человек и человеческое — самая заветная тема размышлений Блока об искусстве в 1912—1913 гг. Человек — как предмет искусства, человечность — как мерило его

(искусства) ценности. Мысли Блока на данную тему были тесно связаны с его очередной творческой работой — созданием драмы «Роза и Крест».

Блок придавал этому произведению очень большое значение («написал наконец настоящее»), хотел сказать в нем о самом дорогом, выношенном, глубоко пережитом.

Не приходится, конечно, искать в этой драме, написанной на материале французского средневековья, прямого отражения того, что происходило в 1912—1913 гг. между Блоком и Любовью Дмитриевной. Но вместе с тем нельзя не заметить, что в момент, когда отношения их претерпевали новое сильнейшее испытание, он был поглощен работой над произведением, главное в котором — трагедия человеческой любви, не «духовной» и не «астартической», а именно человеческой.

«Роза и Крест», как разъяснял Блок, прежде всего «драма человека Бертрана», который искал примирения «Розы никогда не испытанной Радости с Крестом привычного Страдания» [26]. Бертран беззаветно (и безответно) любит «темную и страстную», «хищную, жадную, капризную», наделенную «здравым смыслом» графиню Изору. Но она неспособна «оценить преданную человеческую только любовь, которая охраняет незаметно и никуда не зовет». В этой трудной любви раскрывается сила и красота человеческого самопожертвования.

Особенно значительна в этом смысле финальная сцена драмы, когда истекающий кровью верный Бертран стоит на страже любовного свидания Изоры с пошлым красавчиком Алисканом. Едва ли будет натяжкой увидеть за этой сценической ситуацией отсвет действительных событий, о которых мы знаем из писем и дневников Блока за 1912—1913 гг.

«Искусство связано с нравственностью»,— утверждал Блок. Нравственное начало, которым всецело проникнута «Роза и Крест», стало для зрелого Блока самой сутью истинного искусства. Этой мерой он мерил все в современном искусстве, в том числе и то, что еще недавно казалось ему близким и значительным и оставалось таковым для Любови Дмитриевны, восторженной поклонницы Мейерхольда. Таким образом, и на эти, неличные, темы они тоже говорили уже не на одном языке, как было прежде, в молодости.

Начиная в тяжелом для него 1912 г. дневник, Блок размышлял о том, что когда люди, «долго пребывавшие в одиночестве», выходят в настоящую жизнь, они часто оказываются беспомощными, и, чтобы «не упасть низко», чтобы устоять в «буре русской жизни» или хотя бы «иметь надежду подняться, оправиться, отдохнуть и идти к людям», они должны обрести в себе главное и решающее — «большие нравственные силы» [27].

В обретении нравственных сил и заключался пафос идейно-художественных исканий Александра Блока. Буря русской жизни подняла его на свой гребень, и на этой высоте в полную меру проявились владевшие им чувства совести и правды, ответственности и долга.

Переписка поэта с женой завершается 1917 годом в преддверии жизненного подвига и высшего творческого свершения Александра Блока — признания им величия и всемирно-исторического значения Октябрьской революции и создания поэмы «Двенадцать».

Любовь Дмитриевна в набросках своих воспоминаний (см. наст. том, стр. 380) прекрасно сказала, что нельзя было жить вместе с Блоком и не почувствовать обжигающего дыхания революции. Дыхание это ощутимо и в их переписке. В замечательном письме от 21 июня 1917 г. Блок писал: «Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия».

Содержанием всей жизни!..

Нужно отдать справедливость Любови Дмитриевне. В ответственнейший час истории она встала рядом с Блоком.

В трудных условиях первых послереволюционных лет связывавший их (так или иначе) дух «товарищества» окреп. В истории русской советской литературы заслуживает быть отмеченным тот факт, что первым исполнителем «Двенадцати», причем не только в художественно-интеллигентской, но и в рабочей, солдатской, матросской аудитории была Л. Д. Блок (под театральным псевдонимом: Басаргина).

В первую годовщину Октября Блок записал: «Празднование октябрьской головщины с Любой... Исторический день — для нас с Любой полный... Днем в городе — украшения, процессия, дождь у могил. Праздник... Никогда этого дня не забыть»[28].

Смерть Блока потрясла Любовь Дмитриевну. Сохранилось письмо ее к младшей сестре: «Сашина смерть — гибель гения, не случайная, подлинная, оправдание подлинности его чувств и предчувствий. И мое состояние — как мы представляем себе после смерти — все понятно, все ясно и тихо. Сердце мое уже по ту сторону жизни и неразрывно с ним».

На этой умиротворенной, но щемящей ноте обрывается исполненная восторгов и отчаяний, обманутых надежд и неизбывной горечи житейская повесть, зеркалом которой служит публикуемая здесь переписка.

Но писал эти письма действительно гений, художник необыкновенной силы, неотразимого обаяния. И тем самым общее, историко-литературное значение переписки, конечно, гораздо шире, нежели то, которое можно извлечь из пережитой корреспондентами тяжелой драмы.

В письмах неизменно присутствует громадная литературная личность Блока, через заблуждения и метания стремительно двигавшаяся к постижению и художественному претворению правды жизни и исторической правды века, что и сделало его, Александра Блока, великим национальным поэтом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 78.

2 А. Блок. Собрание сочинений в восьми томах. М.— Л., 1960—1963, т 7, стр. 355 (в дальнейшем указываются только том и страница).

3 Вл. Орлов. Пути и судьбы. Литературные очерки. Изд. 2. М., 1971, стр. 636—743.

4 А. Блок, т. 2, стр. 371.

5 Там же, т. 3, стр. 296.

6 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 102.— В. И. Ленин указывает, что такой эпохой «ломки» в России был период с 1862 по 1904 г.

7 Андрей Белый. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке.— «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 22.

8 А. Блок, т. 7, стр. 344.

9 В. С. Соловьев. Смысл любви.— Собр. соч., т. 7. Изд. 2, б. г., стр. 44.

10 Борис Пастернак. Охранная грамота. Л., 1931, с. 112.

11 А. Блок, т. 6, стр. 131.

12 См. мою статью «История одной дружбы-вражды».— Вл. Орлов. Пути и судьбы. Литературные очерки. Изд. 2. М., 1971, стр. 507—635.

13 А. Блок, т. 7, стр. 109.

14 А. Блок. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965, стр. 166.

15 А. Блок, т. 7, стр. 211.

16 А. Блок, т. 6, стр. 83.

17 А. Блок. Записные книжки, стр. 132.

18 А. Блок, т. 6, стр. 22.

19 Там же, т. 8, стр. 385.

20 А. Блок. Записные книжки, стр. 94; 108—109.

21 А. Блок, т. 5, стр. 247; 234—238.

22 Там же, т. 8, стр. 385; 331, 277.

23 Там же, т. 7, стр. 163.

24 Там же, т. 5, стр. 153.

25 А. Блок. Записные книжки, стр. 214; 213.

26 А. Блок, т. 4, стр. 529.

27 Там же, т. 7, стр. 117.

28 А. Блок. Записные книжки, стр. 434—435.

I. ПИСЬМА 1901—1903 гг.

1901

1

<29 ноября 1901. Петербург>

Многоуважаемая Любовь Дмитриевна.

Благодарю Вас очень за Ваше сообщение, непременно буду сегодня у Боткиных, если только не спутаю адреса.

Глубоко преданный Вам Ал. Блок[1]

29/XI 1901 СПб.

[1] Ответ на следующее письмо Л. Д. Менделеевой от 29 ноября 1901 г.: «M-me Боткина опять поручила мне, Александр Александрович, передать Вам ее приглашение; только теперь уже не на бал, а на их чтения, о которых я Вам говорила. Екатерина Никитична просит Вас быть у них уже сегодня часов в восемь. Надеюсь, на этот раз исполню ее поручение лучше, чем в прошлый. Л. Менделеева».

Боткины — семья художника и коллекционера Михаила Петровича Боткина (1839—1914). *Екатерина Никитична* (ум. в 1917 г.) — жена М. П. Боткина. О балах и литературных чтениях в доме Боткина (на углу Николаевской набережной и 18-й линии Васильевского острова) см. ниже в воспоминаниях Л. Д. Менделеевой. Блок неоднократно бывал у Боткиных. Имея в виду конец 1901 г., он записал впоследствии: «Тут — Боткинский период» (VII, 345).

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«Прибавились встречи у Боткиных, наших старинных знакомых, М. П. Боткин — художник, друг отца, а Екатерина Никитична дружила с мамой. Три дочери — мои сверстницы, и мальчик и девочка младшие. Очаровательные люди и очаровательный дом. Боткины жили в своем особняке на углу набережной и 18 линии Васильевского острова. Сверху донизу это был не дом, а музей, содержащий знаменитую боткинскую коллекцию итальянского искусства эпохи Возрождения. Лестница, ведшая во второй этаж в зал, была обведена старинной резной деревянной панелью, ступени покрыты красным толстым ковром, в котором тонула нога. Зал также весь со старым резным орехом. Мебель такая же, картины, громадные пальмы, два рояля. Все дочери — серьезные музыкантши. В зале никогда не было слишком светло, даже во время балов,— это мне особенно нравилось. Зато гостиная рядом утопала и в свете, и в блестящем серебристом шелке мягкой мебели. И главная ее краса — зеркальное окно, не закрываемое портьерой и — вечером — с одним из самых красивых видов на Петербург, Неву, Исаакий, мосты, огни.

В этой гостиной в зиму 1901 года сестры Боткины устраивали чтения на разные литературные темы; одной из тем были, помню, «Философические письма» Чаадаева, кажется, еще не очень в то время цензурные, во всяком случае мало известные. Лиля Боткина была со мной на курсах. До того мы дружили сначала по-детски, потом я стала бывать у них гимназисткой на их балах — самые светские мои воспоминания, эти их балы. Круг знакомых их был очень обширен, было много военных, были очень светские люди. Бывал молодой Сомов, который пел старинные итальянские арии. Бывал В. В. Максимов — еще правовед Самусь. Много музыкантов, художники. И мать и все три дочери были очень похожи и очаровательны общим им семейным шармом. Очень высокие и крупные, с русской красотой, мягкой, приветливой, ласковой мане-

Многоуважаемая
Любовь Дмитриевна.

Благодарю Вас очень за
Ваше сообщение, непременно
буду сегодня у Боткиных,
если только не спутаю
адреса.

Глубоко преданный Вам
Ал. Блок.

29/XI 1901. Спб.

ПИСЬМО БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ 29 НОЯБРЯ 1901 г.
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

рой принимать и общим им всем своеобразным певучим говором, они создавали атмосферу такого радушия, так умели казаться заинтересованными собеседниками, что всегда были окружены многочисленными друзьями и поклонниками.

Зная о моей дружбе с Блоком, Екатерина Никитична просила меня передать ему приглашение — сначала на бал, куда он не пошел, потом на чтения, где он бывал несколько раз».

...Молодой Сомов — Константин Андреевич *Сомов* (1869—1939) — художник, принадлежавший к творческому содружеству «Мир искусства».

В конце 1907 г. Сомов исполнил портрет Блока, который вызвал у поэта сложное отношение. «Мне портрет нравится, хотя тяготит меня»,— признавался он матери в письме 5 марта 1908 г. («Письма к родным», стр. 197). Современный исследователь, анализируя сомовский портрет Блока, помогает понять причины такого восприятия: «Художник передает цветными карандашами холодный, «зимний» взгляд серо-голубых глаз Блока, розоватость полуоткрытых губ, белилами — вертикальную складку, перерезающую гладкий лоб. Лицо Блока, обрамленное шапкой густых вьющихся волос, напоминает застывшую маску. ⟨...⟩ Сомов в своем портрете возвел в абсолют эту мертвенность черт и тем лишил образ Блока той многогранности, духовного богатства, которые составляли сущность его личности» (Н. Лапшина. «Мир искусства». Очерки истории и творческой практики. М., 1977, стр. 249—250). Биограф Блока М. А. Бекетова передает разговор матери поэта с Сомовым об этом портрете: «Мне не нравится,—сказала мать. — Вы совершенно правы, мне тоже не нравится, — грустно промолвил художник». «К сожалению, этот портрет довольно распространен,— добавляет автор,—а между тем он дает превратное представление о Блоке» (М. А. Бекетова. Александр Блок. Л., «Academia», 1930, стр. 108.)

Бывал В. В. Максимов — Владимир Васильевич *Самусь* (1878—1937), впоследствии стал известным драматическим актером (сценический псевдоним: Максимов).

1902

2

‹17 января 1902. Петербург›

Если в один из трех дней Вы не будете у собора [1] от 8—10 вечера, Вам угрожает тоска на всю жизнь без оправданий. Последние отклики еще не замерли, последняя мысль о любви еще жива в нетленности памяти — будьте у собора и не смущайтесь, встречаясь с сумраком непрестанной гармонии.

17 янв. 1902. СПб.

[1] Имеется в виду, очевидно, Казанский собор, где часто встречались Блок и Л. Д. Менделеева.

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«Началась зима, принесшая много перемен. Я стала учиться на курсах М. М. Читау, на Гагаринской.

Влияние Блока усиливалось, так как неожиданно для себя я пришла к некоторой церковности, вовсе мне не свойственной.

Я жила интенсивной духовной жизнью. Закаты того года, столь известные и по стихам Блока, и по Андрею Белому, я переживала ярко. Особенно помню их при возвращении с курсов, через Николаевский мост. Бродить по Петербургу — это и в предыдущую зиму было большой, насыщенной частью дня. Раз идя по Садовой мимо часовни у Спаса на Сенной, я заглянула в открытые двери. Образа, трепет бесчисленных огоньков восковых свечей, припавшие, молящиеся фигуры. Сердце защемило от того, что я вне этого мира, вне этой древней правды. Никакой Гостиный двор — любимый мираж соблазнов и недоступных фантасмагорий блесков, красок, цветов — не развлек меня. Я пошла дальше и почти машинально вошла в Казанский собор. Я не подошла к богатой и нарядной в брильянтах, чудотворной иконе, залитой светом, а дальше, за колоннами, остановилась у другой Казанской, в полутьме с двумя-тремя свечами, перед которой всегда было тихо и пусто. Я опустилась на колени, еще плохо умея молиться. Но потом это стала моя и наша Казанская, к ней же приходила за помощью и после смерти Саши. Однако и тогда, в первый раз, пришли облегчающие, успокоительные слезы. Потом, когда я рассказала, Саша написал:

Медленно в двери церковные
Шла я душой несвободная...
Слышались песни любовные,
Толпы молились народные.

Или в минуту безверия
Он мне послал облегчение?
Часто в церковные двери я
Ныне вхожу без сомнения.

И бесконечно глубокие
Мысли растут и желания,

Вижу я небо далекое,
Слышу я божье дыхание.

Падают розы вечерние,
Падают тихо, медлительно.
Я же молюсь суевернее,
Плачу и каюсь мучительно.

Я стала приходить в собор к моей Казанской и ставить ей восковую свечку. Ученица А. И. Введенского понимала, к счастью, что «бедный обряд» или величайшие порывы человеческого ума равно и малы и ценны перед лицом непостижимого рациональному познанию. Но у меня не было потребности ни быть при церковной службе, ни служить молебна. Смириться до посредничества священника я никогда не могла, кроме нескольких месяцев после смерти Саши, когда мне казалось менее кощунственно отслужить на его могиле панихиду, чем предаваться своей индивидуалистической, «красивой» скорби.

В сумерки октябрьского дня (17 октября) я шла по Невскому к собору и встретила Блока. Мы пошли рядом. Я рассказала, куда иду и как все это вышло. Позволила идти с собой. Мы сидели в стемневшем уже соборе на каменной скамье под окном, близ моей Казанской. То, что мы тут вместе, это было больше всякого объяснения. Мне казалось, что я явно отдаю свою душу, открываю доступ к себе.

Так начались соборы, сначала Казанский, потом и Исаакиевский. Блок много и напряженно писал в эти месяцы. Встречи наши на улице продолжались. Мы все еще делали вид, что они случайны. Но часто после Читау мы шли вместе далекий путь и много говорили. Все о том же. Много о его стихах. Уже ясно было, что связаны они со мной. Говорил Блок мне и о Соловьеве, и о душе мира, и о Софье Петровне Хитрово, и о «Трех свиданиях», и обо мне, ставя меня на непонятную мне высоту. Много о стихотворной сущности стиха, о двойственности ритма, в стихе живущего:

И к мидианке / на колени
Склоняю / праздную/главу...

или

И к мидианке на колени
Склоняю / праздную главу...

Раз, переходя Введенский мостик, у Обуховской больницы, спросил Блок меня, что я думаю о его стихах. Я отвечала ему, что я думаю, что он поэт не меньше Фета. Это было для нас громадно, Фет был через каждые два слова. Мы были взволнованы оба, когда я это сказала, потому что в ту пору мы ничего не болтали зря. Каждое слово и говорилось и слушалось со всей ответственностью».

... На курсах М. М. Читау — Л. Д. Менделеева училась на драматических курсах Читау (см. наст. том — стр. 50). *«Медленно в двери церковные ∾ Плачу и каюсь мучительно»* — приведена по рукописи первоначальная редакция стихотворения, написанного 17 октября 1901 г. В печати Блок исключил третью строфу. *«Бедный обряд»* — слова из стихотворения Блока «Вхожу я в темные храмы...» (1902 г.):

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.

Близ моей Казанской — ср. стихотворение Блока «Там, в полусумраке собора...» (14 января 1902 г.):

Глубокий жар случайной встречи
Дохнул с церковной высоты. . .

О Софье Петровне Хитрово — Софья Петровна Хитрово (1837—1896) — почитательница Вл. Соловьева и предмет его мистического увлечения. *«Три свидания»* — поэма Вл. Соловьева, в которой он говорит о посетивших его мистических видениях «Души мира». *И к мидианке на колени...*—стихи Вл. Соловьева («Неопалимая купина»).

Если въ одинъ изъ трехъ
дней Вы не будете у
собора отъ 8–10 вечера,
Вамъ угрожаетъ тоска
на всю жизнь безъ оправданій.
Последніе отклики еще
не замерли, последняя мысль
о любви еще жива въ нетлен-
ности памяти — будьте же у
собора и не слушай тѣхъ,
встрѣчаясь съ сумракомъ
непрестанной гармоніи.

17 янв. 1902.
Спб.

ПИСЬМО БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ 17 ЯНВАРЯ 1902 г.

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

3

29 января 1902. СПб.

То что произошло сегодня, должно переменить и переменило многое из того, что недвижно дожидалось случая три с половиной года [1]. Всякая теория перешла непосредственно в практику, к несчастью, для меня — трагическую. Я должен (мистически и по велению своего ангела) просить Вас выслушать мое письменное покаяние за то, что я посягнул или преждевременно, или прямо вне времени на божество некоторого своего Сверхбытия; а потому и понес заслуженную кару в простой жизни, простейшим разрешением которой будет смерть по одному Вашему слову или движению. Давно отошло всякое негодующее неповиновение. Теперь передо мной впереди ныне только чистая Вы, и, простите за сумасшедшие термины,— по отношению к Вам,— бестрепетно неподвижное Солнце [2] Заве-

та, я каюсь в глубочайших тайниках, доселе Вам только намеревавшихся открыться — каюсь и умоляю о прощении перед тем, что Вы (и никто другой) несете в Себе. Это — сила моей жизни, что я познал, как величайшую тайну и довременную гармонию самого себя,— ничтожного, озаренного тайным Солнцем Ваших просветлений. Могу просто и безболезненно выразить это так: моя жизнь, т. е. способность жить, немыслима без Исходящего от Вас ко мне некоторого непознанного, а только еще смутно ощущаемого мной Духа. Если разделяемся мы в мысли или разлучаемся в жизни (а последнее было, казалось, сегодня) — моя сила слабеет, остается только страстное всеобъемлющее стремление и тоска. Этой тоске нет исхода в этой жизни, потому что, даже, когда я около Вас, она ослабевает только, но не прекращается; ибо нет между нами единения «должного», да и окончательного не могло бы быть (здесь — ясный переход, прямо здраво логического, не говоря о прочем, свойства: если окончательного единения быть в этой жизни не может, а чистая цель есть окончательное единение, то не оторваться ли от этой жизни? — и т. д.). Но, если Вы так «обильны», как говорит мне о Вас мое «мистическое восприятие», то я, вспоминая Ваши пророчественные речи о конце Вашей жизни,— безумно испытываю Ваше милосердие; ибо нет более мне исхода, и я принужден идти по пути испытаний своего бога,— и Вы — мой бог, при нем же одном мне и все здешние храмы священны. И вот, испытуя и злодействуя, зову я Вас, моя Любовь, на предпоследнее деяние; ибо есть в жизни время, когда нужно это предпоследнее деяние, чтобы не произошло прямо последнее. Зову я Вас моей силой, от Вас исшедшей, моей молитвой, к Вам возносящейся, моей Любовью, которой дышу в Вас,— на решающий поединок, где будет битва предсмертная за соединение духов утверждаемого и отрицаемого. Пройдет три дня. Если они будут напрасны, если молчание ничем не нарушится, наступит последний акт. И одна часть Вашего Света вернется к Вам, ибо покинет оболочку, которой больше нет места живой; а только — мертвой. Жду. Вы — спасенье и последнее утверждение. Дальше — все отрицаемая гибель. Вы — Любовь.

[1] Это и два следующих письма были вызваны размолвкой Л. Д. Менделеевой с Блоком. В своих воспоминаниях Л. Д. Менделеева подробно говорит о том, почему она решила «порвать» с Блоком и о предшествующем периоде их отношений, комментируя при этом некоторые записи из позднего дневника Блока 1918 г. (см. ниже). Письма Блока (№№ 3, 4 и 5) не были посланы по назначению. Л. Д. Менделеева пишет по поводу них: «Впоследствии Блок мне отдал три наброска письма, которое он и хотел мне передать после «разрыва» и также не решился это сделать, оттягивая объяснение, необходимость которого чувствовалась и им». (см. стр. 44).

[2] Ср. в стихотворении Вл. Соловьева «Бедный друг! Истомил тебя путь...»:

Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«...Саша соединяет два лета в одно — 1899 и 1900. Лето 1899 года, когда по-прежнему в Боблово жили «Менделеевы», проходило почти так же, как лето 1898 года, но, с внешней стороны, не повторялась напряженная атмосфера первого лета и его первой влюбленности.

Играли «Сцену у фонтана», чеховское «Предложение», «Букет» Потапенки.

К лету 1900 года относится: «Я стал ездить в Боблово как-то реже и притом должен был ездить в телеге (верхом было не позволено после болезни).

Помню ночные возвращения шагом, осыпанные светлячками кусты, темень непроглядную и суровость ко мне Любови Дмитриевны. (Менделеевы уже не жили в этом году; спектакль организовала двоюродная моя сестра, писательница Н. Я. Губкина, уже

с благотворительной целью, и тут мы играли «Горящие письма» Гнедича. Ездил ли к Менделеевым в этот год, не помню).

К осени (это 1900 год.— *Л. Б.*) я, по-видимому, перестал ездить в Боблово (суровость Любови Дмитриевны и телега). Тут я просматривал старый «Северный вестник», где нашел «Зеркала» З. Гиппиус. И с начала петербургского житья у Менделеевых я не бывал, полагая, что это знакомство прекратилось». ⟨...⟩

К разрыву отношений, произошедшему в 1900 году, осенью, я отнеслась очень равнодушно. Я только что окончила VIII класс гимназии, была принята на Высшие курсы, куда поступила очень пассивно, по совету мамы и в надежде, что звание «курсистки» даст мне большую свободу, чем положение барышни, просто живущей дома и изучающей что-нибудь вроде языков, как тогда было очень принято. Перед началом учебного года мама взяла меня с собой в Париж, на Всемирную выставку. Очарование Парижа я ощутила сразу — и на всю жизнь. В чем это очарование, никому в точности определить не удается. Оно так же неопределимо, как очарованье лица какой-нибудь не очень красивой женщины, в улыбке которой тысяча тайн и тысяча красот. Париж — многовековое лицо самого просвещенного, самого переполненного искусством города, от Монмартрской мансарды умирающего Модильяни до золотых зал Лувра. Все это в воздухе его, в линиях набережных и площадей, в переменчивом освещении, в нежном куполе его неба. ⟨...⟩

Хоть я и поступила на курсы не очень убежденно, но с первых же шагов увлеклась многими лекциями и профессорами, слушала не только свои — первого курса, но и на старших. Платонов, Шляпкин, Ростовцев, каждый по-разному открывали научные перспективы, которые пленяли меня скорее романтически, художественно, чем строго научно. Рассказы Платонова, его аргументация были сдержанно пламенны, его слушали затаив дыхание. Шляпкин, наоборот, так фамильярно чувствовал себя со всяким писателем, о ком говорил, со всякой эпохой, что в этом была своеобразная прелесть, эпоха становилась знакомой, не книжной. Ростовцев был красноречив, несмотря на то, что картавил, и его «пегиоды, базы, этапы» выслушивались с легкостью благодаря интенсивной, громкой, внедряющейся речи. Но кем я увлеклась целиком — это А. И. Введенским. Тут мои запросы нашли настоящую пищу. Неокритицизм помог найти место для всех моих мыслей, освободил всегда живущую во мне веру, и указал границы «достоверного познания» и его ценность. Все это было мне очень нужно, всем этим я мучилась. Я слушала лекции и старших курсов, по философии, и с увлечением занималась своим курсом, психологией, так как меня очень забавляла возможность свести «психологию» (!) к экспериментальным мелочам.

Я познакомилась со многими курсистками, пробовала входить даже в общественную жизнь, была сборщицей каких-то курсовых взносов. Но из этого ничего не вышло, так как я не умела эти сборы выжимать, и мне никто ничего не платил. Бывала с увлечением на всех студенческих концертах в Дворянском собрании, ходила в маленький зал при артистической, где студенты в виде невинного «протеста» и «нарушения порядка» пели «Из страны — страны далекой». «Расходились» по очень вежливым увещеваниям пристава. На курсовом концерте была в числе «устроительниц» по «артистической», ездила в карете за Озаровским и еще кем-то, причем моя обязанность была только сидеть в карете, а бегал по лестницам приставленный к этому делу студент, такой же театрал, как я. В артистической я благоговела и блаженствовала, находясь в одном обществе с Мичуриной в французских Академических пальмах, только что полученных ⟨ею⟩. Тут же Тартаков (всегда и везде!), Потоцкая, Куза, Долина. Быстро отделавшись от обязанностей, шла слушать концерт, стоя где-нибудь у колонны, с моими новыми подругами-курсистками Зиной Линевой, потом Шурой Никитиной ⟨...⟩

После концерта начинались танцы в зале, и продолжались прогулки в боковых помещениях, среди пестрых киосков с шампанским и цветами. Мы не любили танцевать в тесноте, переходили от группы к группе, разговаривали и веселились, хотя бывшие с нами кавалеры-студенты были так незначительны, что я их даже плохо помню.

Бывала я и у провинциальных курсисток, на вечеринках в тесных студенческих комнатках,— реминисценции каких-то шестидесятых годов, не очень удачные. И рас-

суждали, и пели студенческие песни, но охотнее слушали учеников консерватории, игравших или певших «Пою тебя, бог Гименей...», и очень умеренно и скромно флиртовали с белобрысыми провинциалами — технологами или горняками.

Так шла моя зима до марта. О Блоке я вспоминала с досадой. Я помню, что в моем дневнике, погибшем в Шахматове, были очень резкие фразы на его счет, вроде того, что «мне стыдно вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами...» Я считала себя освободившейся.

Но в марте (у Блока мы узнали, в каких числах) около курсов промелькнул где-то его профиль,— он думал, что я не видела его. Эта встреча меня перебудоражила. Почему с приходом солнечной, ясной весны опять образ Блока? А когда мы оказались рядом на спектакле Сальвини, причем его билет был даже рядом со мной, а не с мамой (мы уже сидели), когда он подошел, поздоровался, до того как были сказаны первые фразы, я с молниеносной быстротой почувствовала, что это уже совсем другой Блок. Проще, мягче, серьезный, благодаря этому похорошевший (Блоку вовсе не шел задорный тон и бесшабашный вид). В обращении со мной почти нескрываемая почтительная нежность и покорность, а все фразы, все разговоры — такие серьезные; словом, от того Блока, который уже третий год писал стихи и которого от нас он до сих пор скрывал.

Посещения возобновились сами собой, и тут сложился их тип на два года. Блок разговаривал с мамой, которая была в молодости очень остроумной и живой собеседницей, любившей поспорить, пусть зачастую и очень парадоксально. Блок говорил о своих чтениях, о взглядах на искусство, о том новом, что зарождалось и в живописи и в литературе. Мама с азартом спорила. Я сидела и молчала, и знала, что все им говорится для меня, что убеждает он меня, что вводит в этот открывшийся ему и любимый мир — меня. Это за чайным столом, в столовой. Потом уходили в гостиную, и Блок мелодекламировал «В стране лучей» А. Толстого под «Quasi una fantasia» или еще что-нибудь из того, что было в грудах нот, которые мама всегда покупала.

Мне теперь нравилась его наружность. Отсутствие напряженности, надуманности в лице приближало черты к статуарности, глаза темнели от сосредоточенности и мысли. Прекрасно сшитый военным портным студенческий сюртук красивым, стройным силуэтом условных, жестких линий вырисовывался в свете лампы у рояля, в то время как Блок читал, положив одну руку на золотой стул, заваленный нотами, другую — за борт сюртука. Только, конечно, не так ясно и отчетливо все это было передо мной, как теперь. Теперь я научилась остро смотреть на все окружающее меня — и предметы, и людей, и природу. Так же отчетливо вижу и в прошлом. Тогда все было в дымке. Вечно перед глазами какой-то «романтический туман». Тем более Блок и окружающие его предметы и пространство. Он волновал и тревожил меня; в упор его рассматривать я не решалась и не могла.

Это ведь и есть то кольцо огней и клубящихся паров вокруг Брунгильды, которое потом было так понятно на спектаклях Мариинского театра. Ведь они не только защищают валькирию, но и она отделена ими от мира и от своего героя, видит его сквозь эту огненно-туманную завесу.

В те вечера я сидела в другом конце гостиной на диване, в полутьме стоячей лампы. Дома я бывала одета в черную суконную юбку и шелковую светлую блузку, из привезенных из Парижа. Прическу носила высокую — волосы завиты, лежат тяжелым ореолом вокруг лица и скручены на макушке в тугой узел. Я очень любила духи — более, чем полагалось барышне. В то время у меня были очень крепкие «Coeur de Jeannette». Была по-прежнему молчалива, болтать так и не выучилась, а говорить любила всю жизнь только вдвоем, не в обществе.

В это время собеседниками для серьезных разговоров были у меня брат мой Ваня, его друг Розвадовский и особенно его сестра Маня, учившаяся в ту зиму живописи у Щербиновского, очень в вопросах искусства подвинутая. В разговорах с ней я научилась многому, от нее узнала Бодлера (почему-то — «Une Charogne»!*), но, особенно, научилась более серьезному подходу к живописи, чем царившее дома передвижниче-

---

* «Падаль» (*франц.*).



УСАДЬБА ШАХМАТОВО
Акварель Е. А. Красновой-Бекетовой, 1880-е гг.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ство, впрочем давно инстинктивно мне чуждое. Живописи я много насмотрелась в Париже, вплоть до крайностей скандинавских «символистов», очень упрощавших задание, сводивших его к сухой умственной формуле, но помогавших оторваться от веры в элементарные, бытовые формы. Что я читала в эту зиму, я точно не помню. Русская литература была с жадностью вся проглочена еще в гимназии. Кажется в эту зиму все читали «Так говорил Заратустра». Думаю, что в эту зиму я и читала французов, для гимназистки запретный плод: Мопассан, Бурже, Золя, Лоти, Доде, Марсель Прево, за которого хваталась с жадностью, как за приоткрывавшего по-прежнему неведомые «тайны жизни». Но вот уж верная-то истина: «чистому все чисто».

Далее, говоря о возобновившихся встречах с Блоком, Любовь Дмитриевна приводит свое письмо к нему, а также ответ Блока от 29 ноября 1901 г. и отмечает, что они ярко рисуют «внешнюю отдаленность при такой уже внутренней близости, которая была в ту зиму».

«Вот каков был внешний обиход!

От Боткиных провожал меня домой на извозчике Блок. Это было не совсем строго корректно, но курсистке все же было можно. Помню, какими крохами я тешила свои женские претензии. Был страшный мороз. Мы ехали на санях. Я была в теплой меховой ротонде. Блок, как полагалось, придерживал меня правой рукой за талию. Я знала, что студенческие шинели холодные и попросту попросила его взять и спрятать руку. «Я боюсь, что она замерзнет».— «Она психологически не замерзнет». Этот ответ, более «земной», так был отраден, что врезался навсегда в память.

И тем не менее в январе (29-го) я с Блоком порвала. У меня сохранилось письмо, которое я приготовила и носила с собой, чтобы передать при первой встрече на улице, но передать не решилась, так как все же это была бы я, которая сказала бы первые, ясные слова, а моя сдержанность и гордость удержали меня в последнюю минуту. Я просто встретила его с холодным и отчужденным лицом, когда он подошел ко мне на Невском, недалеко от собора, и небрежно, явно показывая, что это предлог, сказала, что боюсь, что нас видели на улице вместе, что мне это неудобно. Ледяным тоном: «Прощайте!» — и ушла.

А письмо было приготовлено вот какое:

«Не осуждайте меня слишком строго за это письмо... Поверьте, все, что я пишу, сущая правда, а вынудил меня написать его страх стать хоть на минуту в неискренние отношения с вами, чего я вообще не выношу и что с вами мне было бы особенно тяжело. Мне очень трудно и грустно объяснять вам все это, не осуждайте же и мой неуклюжий слог.

Я не могу больше оставаться с вами в тех же дружеских отношениях. До сих пор я была в них совершенно искренна, даю вам слово. Теперь, чтобы их поддерживать, я должна была бы начать притворяться. Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода ни с вашей, ни с моей стороны, стало ясно — до чего мы чужды друг другу, до чего вы меня не понимаете. Ведь вы смотрите на меня, как на какую-то отвлеченную идею; вы навоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, которая жила только в вашем воображении, вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели...

Вы, кажется, даже любили — свою фантазию, свой философский идеал, а я все ждала, когда же вы увидите меня, когда поймете, чего мне нужно, чем я готова отвечать вам от всей души... Но вы продолжали фантазировать и философствовать... Ведь я даже намекала вам: «надо осуществлять...» Вы отвечали фразой, которая отлично характеризует ваше отношение ко мне: «Мысль изреченная есть ложь». Да, все было только мысль, фантазия, а не чувство хотя бы только дружбы. Я долго, искренно ждала хоть немного чувства от вас, но наконец, после нашего последнего разговора, возвратясь домой, я почувствовала, что в моей душе что-то вдруг навек оборвалось, умерло; почувствовала, что ваше отношение ко мне теперь только возмущает все мое существо. Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо. Да, я вижу теперь, насколько мы с вами чужды друг другу, вижу, что я вам никогда не прощу то, что вы со мной делали все это время,— ведь вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и... скучно.

Простите мне, если я пишу слишком резко и чем-нибудь обижу вас; но ведь лучше все покончить разом, не обманывать и не притворяться. Что вы не будете слишком жалеть о прекращении нашей «дружбы», что ли, я уверена; у вас всегда найдется утешение и в ссылке на судьбу, и в поэзии, и в науке... А у меня на душе еще невольная грусть, как после разочарования, но, надеюсь, и я сумею все поскорей забыть, так забыть, чтобы не осталось ни обиды, ни сожаления...»

Прекрасная Дама взбунтовалась!〈...〉

Но письмо передано не было, никакого объяснения тоже не было, nach wie vor *, так что «знакомство» благополучно продолжалось в его «официальной» части, и Блок бывал у нас по-прежнему.

Впоследствии Блок мне отдал три наброска письма, которое и он хотел мне передать после «разрыва» и также не решился это сделать, оттягивая объяснение, необходимость которого чувствовалась и им. Вот эти наброски» (имеется в виду данное письмо и два следующих).

«Сцена у фонтана» — из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». *Платонов* — Сергей Федорович Платонов (1860—1933) — историк России; *Шляпкин, Ростовцев* — Илья Александрович Шляпкин (1858—1918) — литературовед и Михаил Иванович Ростовцев (1870—1952) — историк античного мира. *Введенский* — Александр Иванович Введенский (1856—1925) — философ-идеалист. *За Озаровским* — Юрий Эрастович Озаровский (1869—1920) — драматический актер и режиссер. *С Мичуриной* — Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова (1866—1948) — драматическая актриса. *Академические или Университетские пальмы* — орден, учрежденный Наполеоном в 1808 г. *Тартаков* — Иоаким Викторович Тартаков (1860—1923) — известный оперный артист и режиссер. *Потоцкая, Куза, Долина* — Мария Александровна Потоцкая (1869—1940) — драматическая актриса; Евфросиния Ивановна Куза̀ (1868—1910) — певица; Мария Ивановна Долина (1868—1919) — певица, активная пропагандистка русской

* после, как и перед тем (*нем.*).

музыки... *На спектакле Сальвини* — Томазо Сальвини (1829—1916) — известный итальянский драматический актер, гастролировавший в Петербурге. Имеется в виду спектакль «Король Лир» Шекспира в Малом (Суворинском) театре. «*Quasi una fantasia*» — соната Бетховена. *Брунгильда* — персонаж оперы Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга». ...*У Щербиновского* — Дмитрий Абрамович Щербиновский (1867—1926) — художник импрессионистского направления. «*Так говорил Заратустра*» — книга Ф. Ницше.

4

5 февр‹аля 1902. Петербург›

Наступает уже то время, когда все должно двинуться вперед далеко [1]. Прежде в стихах изливалась неудовлетворенность стремлений,— теперь и стихи не могут помочь, и страшное мое влечение приняло размеры, угрожающие духу. Надежда еще где-то высоко в небе звенит вдохновительно для слуха. Я призываю Вас всеми заклятиями. Откликнитесь и поймите, что молчанье не может продолжаться и кончится если не так, то иначе... Ибо возврата на старые пути нет — эти пути одряхлели для моей жизни [2].

Было бы невозможно изложить все земные пути и все земные слова, которые могут встретиться в этом положении вещей. И я, отбрасывая землю, прошу Вас верить, что задену ее только там, где она прямо касается неба; здесь-то корень зла. А корень добра, затемненный теперь до последней возможности, еще может открыться, поверьте мне. Главное, что Вас может смутить и удивить, что я разумею и разумел всегда, говоря с Вами, это то, что «что-то определено нам с Вами судьбой»,— в это я верю больше, чем во все другое, и так же, как в то, что Вы, что бы ни было с Вашей стороны, останетесь для меня окончательной целью в жизни или в смерти. А в том и в другом Вы властны относительно меня вполне, так что я никогда не задумаюсь над тем или другим, если *Вы* прикажете. Вот это пускай Вам укажет всю степень важности того, чтобы я мог Вас увидеть, хоть один еще раз, чтобы сказать Вам то, что здесь не может быть сказано, и чтобы окончательно можно было решить, что *мне* делать; ведь и *Вам* не может быть неощутительно, хоть в малой мере, странное и туманное положение вещей. Подумайте об этом, пожалуйста, и, если сочтете возможным, исполните мою просьбу — — — [3], хоть поскольку она касается Вашей определенности. Я же, и в случае Вашего отказа, как согласия, совершенно не могу по отношению к Вам изменить себя и, в каком бы ни было виде, останусь с Вами на всю жизнь.

[1] О таком ощущении времени писала в своих воспоминаниях Л. Д. Менделеева-Блок (см. ниже, на этой стр.).

[2] Дальнейший текст (после черты) — карандашом.

[3] Три тире — в подлиннике.

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«А вы попробуйте перенестись в конец девяностых годов, когда Блок уже писал «Стихи о Прекрасной Даме», конечно и не подозревая, что он что-либо подобное пишет. Ловит слухом и записывает то, что поется около него, в нем ли — он не знает. Попробуйте перенестись во время до «Мира искусства» и его выставок, до романов Мережковского, до распространения широкого знакомства с французскими символистами, даже до первого приезда Художественного театра. Помню чудный образчик «уровня» — концерт на Высших женских курсах уже в 1900 году: с одной стороны, старый, седой, бородатый поэт Позняков читает, простирая руку под Полонского, «Вперед без страха

и сомненья...», с другой, Потоцкая жеманно выжимает сдобным голоском что-то Чюминой: «...птичка мертвая лежала».

Пусть семья Блока тонко литературна, пусть Фет, Верлен и Бодлер знакомы с детства, все же, чтобы написать любое стихотворение «Ante Lucem», какой прорыв, какая неожиданность и ритма и звуковой инструментовки, не говоря об абсолютной *непонятности* в то время и хода мыслей и строя чувств.

Помню ясно, как резнули своей неожиданностью первые стихи, которые показал мне Блок в 1901 году. А я была еще к новому подготовлена, во мне самой назревало это новое совершенно в других слоях души, чем показные, парадные. Может быть, именно благодаря тому, что я пережила этот процесс рождения нового, мне ясно, где и как искать его корни «в творчестве» у великих.

С показной стороны я была — член моей культурной семьи со всеми ее широкими интересами в науке и искусстве. Передвижные выставки, «Русская мысль» и «Северный вестник», очень много серьезной музыки дома, все спектакли иностранных гастролеров и трагических актрис. Но вот (откуда?) отношение мое к искусству обострилось, разрослось совсем по-другому, чем это было среди моих. Это и была основа всего идущего *нового* — особое восприятие искусства, отдавание ему без остатка святого-святых души. Черпать в нем свои коренные жизненные силы и ничему так не верить, как тому, что пропоет тебе стих или скажет музыка, что просияет тебе с полотна картины в штрихе рисунка.

С Врубеля у меня и началось. Было мне тогда лет четырнадцать-пятнадцать. Дома всегда покупали новые книги. Купили и иллюстрированного Лермонтова в издании Кнебеля. Врубелевские рисунки к «Демону» меня пронзили. Но они-то как раз и служили главным аттракционом, когда моя просвещенная мама показывала не менее культурным своим приятельницам эти новые иллюстрации к Лермонтову. Смеху и тупым шуткам, которые неизменно, неуклонно порождало всякое проявление нового — конца не было. Мне было больно (по-новому!). Я *не могла* допустить продолжения этих надругательств, унесла Лермонтова и спрятала себе под тюфяк; как ни искали, так и не нашли. Так же потрясла душу и взгромоздила в ней целые новые миры Шестая симфония Чайковского в исполнении Никиша. Все восхищались «прекрасным исполнением», я могла только, стиснув зубы, молчать.

Я знаю, что понять меня современному читателю трудно, то есть трудно представить себе, что это романтически звучащее «высокое» восприятие искусства, сейчас порядочно-таки старомодное, в свое время было передовым двигателем искусства, и двигателем большой мощности. Не только осознать умом, но и ощущать всеми жизненными силами, что самое полное, самое ощутимое познание основ мироздания несет искусство — вот формула, упуская из виду которую, трудно разбираться не только в творчестве Блока, но и многих его современников».

...До первого приезда Художественного театра — Московский Художественный театр гастролировал в Петербурге в первый раз в феврале — марте 1901 г. *Позняков* — Николай Иванович Позняков (1856—1910) — мелкий поэт. *«Вперед без страха и сомненья...»* — стихотворение А. Н. Плещеева. *Потоцкая* — Мария Александровна Потоцкая (1869—1940) — драматическая актриса. *Что-то Чюминой* — Ольга Николаевна Чюмина (1862—1909) — поэтесса и драматург. *«Ante Lucem»* («Перед светом») — заглавие первого раздела в собрании стихотворений Блока; здесь сосредоточена его избранная юношеская лирика (1898—1900 гг.). *...В исполнении Никиша* — Артур Никиш (1855—1922) — венгерский дирижер, часто выступавший в России.

5

⟨Между 5 и 7 февраля 1902. Петербург⟩

Именем бога всемогущего, который ближе к Вам, чем ко мне, но держит в своей благодати равно Вас и меня, обращаюсь к Вам уже не с обыкновенным письмом, ибо нет более места обыкновенному, а скорее с проси-



А. А. БЕКЕТОВА (МАТЬ БЛОКА) В ЮНОСТИ
Фотография, 1878
Центральный архив литературы и искусства, Москва

тельной проповедью, как это ни странно, может быть, для Вашего сравнительного равновесия. Прошу Вас совершенно просто и внимательно отнестись к этому и решить, может быть, трудную, но доступную Вашему бессмертию, в которое я верю больше, чем в свое, загадку целой жизни. Еще раз говорю Вам твердо и уверенно, что *нет больше ничего обыкновенного — и не может быть*, потому что Судьба в неизреченной своей милости написала мне мое будущее и настоящее, как и часть прошедшего, в совершенном сочетании с тем, что мне неведомо, а, потому самому, служит предметом только поклонения и всяческого почитания, как бога и непрямого источника моей жизни или смерти. Может быть то, что мне *необходимо* сказать Вам, будет очень отвлеченно, но зато вдохновенно, а все вдохновенное Вы поймете. Я же *должен* передать Вам ту тайну, которой владею, пленительную, но ужасную, совсем непонятную людям, потому что об этой тайне я понял давно уже главное,— что понять ее можете только *Вы одна*, и в ее торжестве только *Вы* можете принять участие. В том,

что я говорю, нет выдумки, потому что так именно устроена жизнь, здесь корень ее добра и ее зла. И от участников этой жизни зависит принять добро и принять зло. Примите же Высшее Добро, не похожее на обыкновенное, в том свете, который Вам положено увидеть от века. Я знаю Вашу вещую веру в конец Вашей жизни, который воплотился на земле в Идею самоубийства, о чем мы говорили не раз. Кроме того, я знаю и чувствую то неизреченное, которое Вас томит, от которого Ваша душа «скорбит смертельно» [1], о котором Вы хотели сказать и говорили мало, потому что нельзя передать, которое я ощутил тогда, как ощущаю теперь, ибо нет моей большей близости внутренней к Вашим помыслам, чем величайшая моя отдаленность от Вас во вне.

[1] «Душа моя скорбит смертельно» — слова Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, XXVI, 38).

6[1]

7 февраля ⟨1902. Петербург⟩

1) Прежде всего, позвольте мне просить у Вас извинения за то, что было 29 января [2].

2) Я должен сказать Вам, что то, что недослушано Вами и недосказано мной [3], должно сохранить свою силу до времени; теперь же Вы, кажется мне, не хотите, а м.б., и не можете этого выслушать. Говорю так потому, что другой выход всякий мне предвидится как худший, «то, что было невозможно...»

3) Относительно факта моего бывания у Вас. Следует ли его продолжать для Вас же [4]?

[1] Черновик неотправленного письма, подклеенный в тетради дневника Блока за 1902 г.

[2] См. примеч. 1 к письму № 3.

[3] Перифраза из стихотворения Я. П. Полонского «Утрата»:

Все недосказанное вами
И недослушанное мной.

[4] Как пишет Л. Д. Менделеева в воспоминаниях, «знакомство» благополучно продолжалось в его «официальной» части, и Блок бывал у нас по-прежнему» (стр. 44 наст. тома).

О своей жизни в эти дни Блок так писал отцу 8 февраля 1902 г.: «Вообще я мало где бываю и чувствую себя в некоторой отделенности от внешнего мира, совершенно, однако, естественной и свободной, находящей свое разрешение в довольно большом количестве стихов, по-прежнему, несмотря на гражданские струи, лишенных этих преимуществ» (VIII, 28—29).

7[1]

29 августа 1902. Шахматово

Пишу Вам, как человек, желавший что-то забыть, что-то бросить — и вдруг вспомнивший, во что это ему встанет. Помните Вы-то эти дни — эти сумерки? Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было. Но, боже мой, если Вы были! Тогда вдруг звенела и стучала, захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет от тусклой желтой лампы [2]. Показывалась Ваша фигура — Ваши линии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с любовью наблюденные. На Вас бывала, должно быть, полумодная шубка с черным мехом, не очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный тяжелый золотой узел

волос — ложился на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки в черной перчатке — шерстяной или лайковой. В другой руке держали муфту, и она качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь (от Марьи Михайловны [3]). (Мне все дорого.) Такая высокая, «статная», морозная. Изредка, в сильный мороз, волосы были спрятаны в белый шерстяной платок. Когда я догонял Вас, Вы оборачивались с необыкновенно знакомым движением в плечах и шее, смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрагивалась (и вообще-то Ваша рука всегда торопится вырваться). Когда я шел навстречу, Вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные глупости (м.б. пошлости), падал духом; вдруг душа заливалась какой-то душной волной («В эти сны, наяву непробудные» [4]). И вдруг, страшно редко,— но ведь было же и это! — тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, м.б. мимолетная дрожь,— или все это было, лучше думать, одно воображение мое. После этого, опять еще глуше, еще неподвижнее.

Прощались Вы всегда очень холодно, как здоровались (за исключением 7 февраля [5]). До глупости цитировались мной стихи. И первое Ваше слово — всегда легкое, капризное «Кто сказал?», «чьи?» Как будто в этом все дело. Вот что хотел я забыть; о чем хотел перестать думать. А теперь-то что? Прежнее, или еще хуже?

P. S. Все, что здесь описано, было на самом деле. Больше это едва ли повторится. Прошу впоследствии иметь это в виду. Записал же, как столь важное, какое редко и было, даже, можно сказать, просто в моей жизни такого и не бывало,— да и будет ли? Всё вопросы, вопросы — озабоченные, полузлобные... Когда же это кончится, господи? [6]

Один только раз мы ходили очень долго.— Сначала пошли в Каз⟨анский⟩ собор (там бывали и еще), а потом — по Казанской и Новому переулку — в Исаакиевский. Ветер был сильный и холодный, морозило, было солнце яркое, холодное. Собор обошли вокруг, потом вошли во внутрь. Тихонько пошептались у дверей монашки (это всегда — они собирают в кружки) — и замерли. В соборе почти никого не было. Вас поразила высота, громада, торжество, сумрак. Голос понизили даже. Прошли глубже, встали у колонны, смотрели наверх, где были тонкие нити лестничных перил. Лестница ведет в купол. Там кружилась, наверное, голова. Вы стали говорить о самоубийстве, о том, как трудно решиться броситься оттуда вниз, что отравиться — легче. Есть яд, быстродействующий. Потом ходили по диагонали. Солнце лучилось косо. Отчего Вам тогда хотелось сумрака, пугал Вас рассеянный свет из окон? Он портил собор, портил мысли, что же еще?— ... Потом мы сидели на дубовой скамье в противоположной от алтаря части, ближе к Почтамтской. А перед тем ходили *весь день*. Стало поздно, вышли, опять пошептались монашки [7]. Пошли по Новому и Демидову переулкам, вышли на Сенную. Мне показалось ужасно близко. Вы показали трактир, где сидел Свидригайлов [8]. Вышли к Обуховскому мосту, дошли до самой Палаты [9]. Еще с моста смотрели закат, но Вам уже не хотелось остановиться. Это было *в последний раз*. Кто-то видел нас. Следующий раз были уже на Моховой, на углу Симеоновского переулка и набер⟨ежной⟩ Фонтанки и на Невском около Глазунова [10], близ Каз⟨анского⟩ собора. Это уже лучше и не вспоминать и не напоминать. Это было 29 января [11],— а уж 7 февраля [12] — полегче. Это было необыкновенно, кажется, очень важно, разумеется, для меня. Для Вас — мимолетность. Но чтобы я когда-нибудь забыл что-нибудь из

этого (и Р. Келер [13*] и т. д.— подробности Вам знакомые),— для этого нужно что-нибудь совсем необыкновенное, притом того же порядка [14].

[1] Черновик письма, не отправленного по назначению (а, может быть, и не предназначавшегося для вручения адресату), записанный в дневнике.

[2] Впоследствии Блок вспоминал: «Любовь Дмитриевна ходила на уроки к М. М. Читау, *я же ждал ее выхода, следил за ней и иногда провожал ее до Забалканского с Гагаринской* — Литейной (конец ноября, начало декабря)» (VII, 345).

Об этом же — в стихотворении, написанном 1 мая 1902 г.:

Там — в улице стоял какой-то дом,
И лестница крутая в тьму водила.
Там открывалась дверь, звеня стеклом,
Свет выбегал,— и снова тьма бродила.

Там в сумерках белел дверной навес
Под вывеской «Цветы», прикреплен болтом.
Там гул шагов терялся и исчез
На лестнице — при свете лампы желтом...

См. также стихотворения «Я долго ждал — ты вышла поздно...» (27 ноября 1901 г.) и «Высоко с темнотой сливается стена...» (11 января 1902 г.).

[3] Мария Михайловна *Читау* (1859—1935) — руководительница частных драматических курсов, которые Л. Д. Менделеева посещала с осени 1901 г.; курсы помещались на Гагаринской ул.).

[4] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Вижу очи твои изумрудные...»

В эти сны наяву, непробудные,
Унесет нас волною одной.
Вижу очи твои изумрудные,
Светлый облик стоит предо мной.

[5] Очевидно, под впечатлением встречи 7 февраля, обрадовавшей Блока, было написано следующее стихотворение (датированное 8 февраля 1902 г.):

Ты была светла до странности
И улыбкой — не проста.
Я в лучах твоей туманности
Понял юного Христа.
Проглянул сквозь тучи прежние
Яркий отблеск неземной.
Нас колышет безмятежнее
Изумрудною волной.
Я твоей любовной ласкою
Озарен — и вижу сны.
Но, поверь, считаю сказкою
Небывалый знак весны.

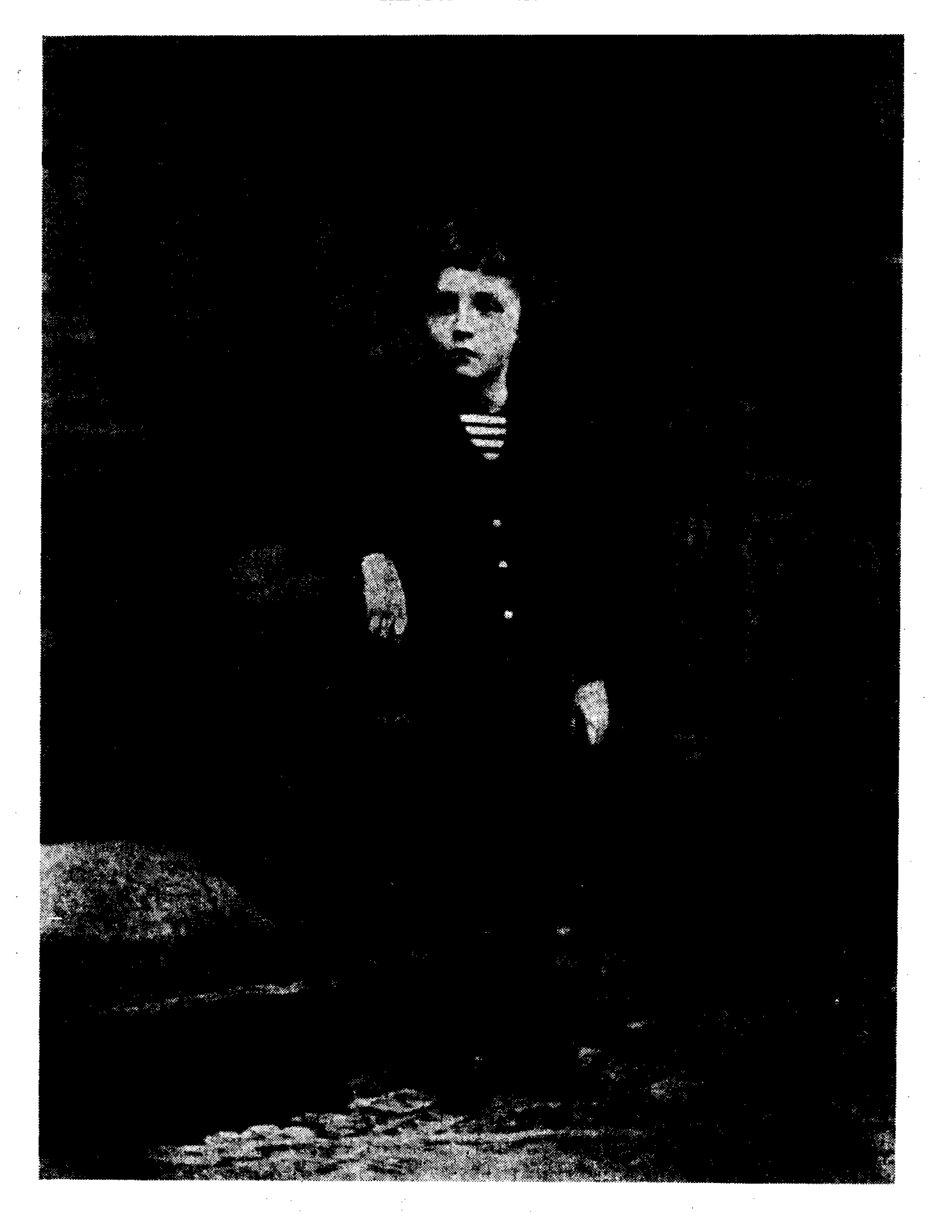
[6] Этот абзац («Post-Scriptum») — вне текста письма. Это как бы автокомментарий, дневниковая запись.

[7] См. стихотворения: «Там, в полусумраке собора...» (14 января 1902 г.), «Мы преклонились у Завета...» (18 января 1902 г., с пометой: «Исаакиевский собор») и «Мы в храме с тобою — одни, смущены...» (март 1902 г.). Ср. воспоминания Л. Д. Менделеевой (стр. 37—38 наст. тома).

[8] *Свидригайлов* — персонаж романа Достоевского «Преступление и наказание». Имеется в виду сцена встречи Свидригайлова и Раскольникова в трактире возле Сенной площади (ч. VI, гл. 3).

---

* В Москве я видел его же. (Позднейшее примечание Блока.— *Ред.*)



БЛОК ПЯТИ ЛЕТ
Фотография, 1885
Центральный архив литературы и искусства, Москва

[9] Палата мер и весов (на Забалканском проспекте), в здании которой находилась казенная квартира Д. И. Менделеева.

[10] Книжный магазин Глазунова.

[11] О «разрыве» 29 января 1902 г. см. примеч. 1 к письму № 3.

[12] См. выше, примеч. 5.

[13] Парфюмерный магазин Р. Келера.

[14] Накануне, 28 августа, Блок писал своему другу А. В. Гиппиусу: «...Я приеду в город 1 сентября уже, в день, когда начнутся лекции. Пора уезжать отсюда. Лето прожито мной серовато. Осень — лучше. Осенью и всегда-то больше красок и больше жизни. В этом году мне почти чуждо то, что Вы пишете об умирающей грусти. У ме-

ня — «горящих осень ищет взоров» (Фет). Ездил на сутки в Москву, смотрел главным образом Кремль. Впечатлений так много, что лучше передать их изустно, тем более, что некоторые из них опять-таки отвлеченны. А большой отвлеченности в последние дни и мне уже даже не требуется. Вы же также устали от нее — да и все устали — мои родные и знакомые. В этом году у меня не было и спектаклей (т. е. сам я ни в одном не участвовал). С летом счеты сведены, с здешней осенью — тоже. Ничего мне не прибавилось (или «почти» ничего), а убавилось ли — не знаю. Физически чувствую себя бодрым, не устаю от сорокаверстных поездок верхом. Остается — петербургская осень (все из того же еще цикла впечатлений). Зима — совсем иначе. Должен сказать вам, что с некоторых пор у меня нравственно открыт рот от удивления на многие события, касающиеся лично меня» (VIII, 43—44).

8[1]

16 сентября ⟨1902. Петербург⟩

Прошу Вас прочесть это письмо до конца. Оно может быть интереснее, чем Вы думаете. Я, пишущий эти строки (он же —податель письма), не думаю говорить ничего обыкновенного. Потому не примите скандальную обстановку за простые уловки с моей стороны. Дело сложнее, чем кажется.

Приступлю прямо к делу. Четыре года тому назад я встретил Вас в той обстановке, которая обыкновенно заставляет влюбляться. Этот последний факт не замедлил произойти тогда же. Умолчу об этом времени, потому что оно слишком отдаленно. Сказать можно не мало, однако — не стоит. Теперь положение вещей изменилось настолько, что я принужден уже тревожить Вас этим документиком не из простой влюбленности, которую всегда можно скрывать, а из крайней необходимости. Дело в том, что я твердо уверен в существовании таинственной и мало постижимой связи между мной и Вами. Слишком долго и скучно было бы строить все перебранные уже мной гипотезы, тем более, что все они, *как и должно быть*, бездоказательны. Потому я ограничиваюсь констатированьем своего внутреннего убеждения, которое (продолжаю) приводит меня *пока* к решению, вероятно довольно туманному для Вас. Для некоторого пояснения предварительно замечу, что т.н. жизнь (среди людей) имеет для меня интерес только там, где она соприкасается с Вами (это, впрочем, чаще, чем Вы можете думать). Отсюда совершенно определенно вытекает то, что я стремлюсь давно уже как-нибудь приблизиться к Вам (быть хоть Вашим рабом что ли — простите за тривиальности, которые не без намеренья испещряют это письмо). Разумеется, это и дерзко и в сущности даже недостижимо (об этом еще будет речь), однако меня оправдывает продолжительная и глубокая вера в Вас (как в земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, если Вам угодно знать). Другое оправдание (если нужно оправдываться) — все-таки хоть некоторая сдержанность (Вы, впрочем, знаете, что она иногда по мелочам нарушалась). Итак, веруя, я хочу сближений — хоть на какой-нибудь почве. Однако, при ближайшем рассмотрении, сближение оказывается недостижимым прежде всего по той простой причине, что Вы слишком против него (я, конечно, не ропщу и не дерзну роптать), а далее — потому что невозможно изобрести форму, подходящую под этот весьма, доложу Вам, сложный случай отношений. Я уж не говорю о трудностях, заключающихся во внешней жизненной обстановке, которые Вам хорошо известны.— Таким образом все более теряя надежды, я и прихожу *пока* к решению.

. . . . [2]

[1] Черновик незаконченного письма, записанный в дневнике.

[2] Строка точек — в подлиннике.

9

⟨18 сентября 1902. Петербург⟩
Петербургская Сторона
Гренадерские казармы, кв. 7

Многоуважаемая Любовь Дмитриевна.

Сегодня я видел в университете Александра Павловича Ленца [1]. Его сестра сегодня же была на курсах, а брат поступил на математическое отделение в университет. Живут они там же, где в прошлом году (Николаевская 84). Извините, что сообщаю Вам это не лично, а письменно, не имел времени зайти раньше завтрашнего дня, а так — скорее.

Пожалуйста, кланяйтесь от меня Вашей маме.

Преданный Вам Ал. Блок

18 сент. 1902.

[1] *Ленцы* — знакомые Менделеевых и через них — Блока.

10[1]

31 октября ⟨1902. Петербург⟩
Перед ночью

Мне было бы страшно остаться с Вами. На всю жизнь тем более. Я и так иногда боюсь и дрожу при Вас, незримый. Могу или лишиться рассудка, или самой жизни. Это бывает больше по вечерам и по ночам. Неужели же Вы каким-нибудь образом не ощущаете этого? Не верю этому, скорее думаю наоборот. Иногда мне чувствуется близость полного и головокружительного полета. Это случается по вечерам и по ночам — на улице. Тогда мое внешнее спокойствие и доблесть не имеют границ, настойчивость и упорство — тоже. Так уже давно и все больше дрожу, дрогну. Где же кризис — близко или еще долго взбираться? Но остаться с Вами, с Вами, с Вами...

[1] Черновик неотправленного письма или дневниковая запись, обращенная к Л. Д. Менделеевой.

11[1]

⟨10 ноября 1902. Петербург⟩ [2]

Ты — мое Солнце, мое Небо, мое Блаженство. Я не могу без Тебя жить ни здесь, ни там. Ты Первая моя Тайна и Последняя Моя Надежда. Моя жизнь вся без изъятий принадлежит Тебе с начала и до конца. Играй ей, если это может быть Тебе Забавой. Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе. Твое Имя здешнее — великолепное, широкое, непостижимое. Но Тебе нет имени. Ты — Звенящая, Великая, Полная, Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного. Мне дано видеть Тебя неизреченную. Не принимай это как отвлечение, как теорию, потому что моей любви нет границ, преград, пределов ни здесь ни там. И Ты везде бесконечно Совершенная, Первая и Последняя. И я везде для Тебя блаженный и без сомнений, в конечном безумии, в последнем сумасшествии совершу все, что Ты велишь — все великое, как убийство, все малое, все ничтожное, серое,— и оно уже не будет серым и малым, потому что сойдет от Тебя, в Твоем тайном и сладостном велении. Мои мысли все бессильны, все громадны, все блаженны, все о Тебе, как от века, как большие, белые цветы, как озарения тех лампад, какие я возжигал Тебе. Если Тебя посетит уныние, здешняя, земная, неразгаданная скорбь, тайна земная и темная, я возвеличу Тебя, возликую

близ Тебя, окружу Тебя цветами великой пышности, обниму Тебя и буду шептать Тебе все очарования, и шопот мой, и голос мой будет, как шум водный, и я найду для Тебя слова и звуки священные, царственные, пророческие. Я найду все и вскрою все тайное, ибо я недаром ждал Тебя, звал и тосковал о Тебе и провидел смутно, но наяву, близко и далеко вместе — Твои откровения, которых я и до сей поры не могу постичь и измерить,— то, что Ты назвала мое имя и сошла ко мне. Напиши мне только слово, только черту от Твоей руки, как вздох и память, символ и знак. Я не могу видеть Тебя, потому что болен и жар, но я знаю Тебя и чувствую Тебя. Все проникнуто Тобой, и моему счастью нет границы и меры, как у меня нет слов и нет логики, один оглушающий звон, благовест, звуки Любви, «сны, наяву непробудные» [3]. Я не знаю, в чем мне клясться Тебе, и клянусь Тобой, моя Любовь. Вот Тебе стихи, глупая, сонная сказка, недосказанная и недостойная Твоей Неизреченной Красоты. Я — Твой раб, слуга, пророк и глашатай. Зови меня рабом. И прости за бессилие этих слов.

Безмолвный призрак в терему,
Я черный раб проклятой крови.
Я соблюдаю полутьму
В Ее нетронутом алькове.

Я стерегу Ее ключи
И с Ней присутствую незримо,
Когда скрещаются мечи
За красоту Недостижимой.

Мой голос глух, мой волос сед.
Черты до ужаса недвижны.
Со мной всю жизнь — один Завет:
Завет Служенья Непостижной [4].

[1] Первое письмо, посланное после решительного объяснения с Л. Д. Менделеевой, которое произошло в ночь с 7 на 8 ноября 1902 г. В «Воспоминаниях» она подробно рассказывает об этом поворотном событии в их отношениях (см. ниже, на этой стр.).

[2] Дата почтового штемпеля. В дальнейшем следует учесть, что письма, датированные датой почтового штемпеля, как правило, писались накануне.

[3] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Вижу очи твои изумрудные...»

[4] Стихотворение было написано 18 октября 1902 г. В окончательной редакции шестой стих читается: «И с Ней присутствую, незримый».

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«Подходило 7-е ноября, день нашего курсового вечера в Дворянском собрании. И мне вдруг стало ясно — объяснение будет в этот вечер. Не волнение, а любопытство и нетерпение меня одолевали. Дальше все было очень странно, если не допускать какого-то предопределения и моей абсолютной несвободы в поступках. Я действовала совершенно точно и знала, что и как будет.

Я была на вечере с моими курсовыми подругами Шурой Никитиной и Верой Макоцковой. На мне было мое парижское суконное голубое платье. Мы сидели на хорах в последних рядах, на уже сбитых в беспорядке стульях, недалеко от винтовой лестницы, ведущей вниз влево от входа, если стоять лицом к эстраде. Я повернулась к этой лестнице, смотрела неотступно и знала: сейчас покажется на ней Блок.

Блок подымался, ища меня глазами, и прямо подошел к нашей группе. Потом он говорил, что, придя в Дворянское собрание, сразу же направился сюда, хотя прежде на хорах я и мои подруги никогда не бывали. Дальше я уже не сопротивлялась судьбе; по лицу Блока я видела, что сегодня все решится, и затуманило меня какое-то странное



НА КРЫЛЬЦЕ ДОМА В ШАХМАТОВЕ

Слева направо: Блок, М. А. Бекетова, Н. Н. Бекетов, А. Н. Бекетов, А. Ф. Кублицкий-Пиоттух, А. А. Кублицкая-Пиоттух, Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух

Фотография, 1894

Центральный архив литературы и искусства, Москва

чувство — что меня уже больше не спрашивают ни о чем, пойдет все само, вне моей воли, помимо моей воли. Вечер проводили как всегда, только фразы, которыми мы обменивались с Блоком, были какие-то в полтона, не то как несущественное, не то как у уже договорившихся людей. Так, часа в два он спросил, не устала ли я и не хочу ли идти домой. Я сейчас же согласилась. Когда я надевала свою красную ротонду, меня била лихорадка, как перед всяким надвигающимся событием. Блок был взволнован не менее меня.

Мы вышли молча и молча, не сговариваясь, пошли вправо по Итальянской, к Моховой, к Литейной — нашим местам. Была очень морозная, снежная ночь. Взвивались снежные вихри. Снег лежал сугробами, глубокий и чистый. Блок начал говорить. Как начал — не помню, но когда мы подходили к Фонтанке, к Семеновскому мосту, он говорил, что любит, что его судьба в моем ответе. Помню, я отвечала, что теперь уже поздно об этом говорить, что я уже не люблю, что долго ждала его слов и что если и прощу его молчание, вряд ли это чему-нибудь поможет. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала. Я отдавалась привычному вниманию, привычной вере в его слова. Он говорил, что для него вопрос жизни в том, как я приму его слова и еще долго, долго. Это не запомнилось, но письма, дневники того времени говорят тем же языком. Помню, что я в душе не оттаивала, но действовала как-то помимо воли этой минуты, каким-то нашим прошлым, несколько автоматически.

В каких словах я приняла его любовь, что сказала,— не помню, но только Блок вынул из кармана сложенный листок, отдал мне, говоря, что если бы не мой ответ,

утром его уже не было бы в живых. Этот листок я скомкала, и он хранится весь пожелтевший, со следами снега:

«В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне «отвлеченны» и ничего общего с «человеческими» отношениями не имеют. Верую во едину святую соборную и апостольскую церковь. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.

Поэт Александр Блок.

Мой адрес: Петербургская сторона, казармы Л. Гв. Гренадерского полка, кв. полковника Кублицкого № 13.

7 ноября 1902 года. Город Петербург» (воспроизведение записки см. на стр. 65).

Потом он отвозил меня домой на санях. Блок склонялся ко мне и что-то спрашивал. Литературно, зная что так вычитала где-то в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни.

Думаете, началось счастье? Началась сумбурная путаница. Слои подлинных чувств, подлинного упоенья молодостью для меня, и слои недоговоренностей и его и моих, чужие вмешательства — словом, плацдарм, насквозь минированный подземными ходами, таящими в себе грядущие катастрофы.

Мы условились встретиться 9-го в Казанском соборе, но я обещала написать непременно 8-го. Проснувшись на другое утро, я еще вполне владела собой, еще не поддалась надвигавшемуся «пожару чувств», и первое мое смешливое побуждение было пойти рассказать Шуре Никитиной о том, что было вчера. Она иногда работала за отца корректором в газете «Петербургский листок», я подождала ее выхода, провожала домой и со смехом рассказывала: «Знаешь, чем кончился вечер? Я целовалась с Блоком!..»

Отправленная мной записочка совершенно пуста и фальшива уже потому, что никогда в жизни не называла я Блока, как в его семье, «Сашурой».

Но на этом мои конфиденции Шуре Никитиной и прекратились, потому что 9-го я расставалась с Блоком завороженная, взбудораженная, покоренная. Из Казанского собора мы пошли в Исаакиевский. Исаакиевский собор, громадный, высокий и пустой, тонул во мраке зимнего вечера. Кой-где, на далеких расстояниях, горели перед образами лампады или свечи. Мы так затерялись на боковой угловой скамье, в полном мраке, что были более отделены от мира, чем где-нибудь. Ни сторожей, ни молящихся. Мне не трудно было отдаться волнению и «жару» этой «встречи», а неведомая тайна долгих поцелуев стремительно пробуждала к жизни, подчиняла, превращала властно гордую девичью независимость в рабскую женскую покорность.

Вся обстановка, все слова — это были обстановка и слова наших прошлогодних встреч, мир, живший тогда только в словах, теперь воплощался. Как и для Блока, вся реальность была мне преображенной, таинственной, запевающей, полной значительности. Воздух, окружавший нас, звенел теми ритмами, теми тонкими напевами, которые Блок потом улавливал и заключал в стихи. Если и раньше я научилась понимать его, жить его мыслью, тут прибавилось еще то «десятое чувство», которым влюбленная женщина понимает любимого.

Чехов смеется над «Душечкой». Разве это смешно? Разве это не одно из чудес природы, эта способность женской души так точно, как по камертону, находить новый лад? Если хотите, в этом есть доля трагичности, потому что иногда слишком легко и охотно теряют свое, отступают, забывают свою индивидуальность. Я говорю это о себе. Как взапуски, как на пари, я стала бежать от всего своего и стремилась тщательно ассимилироваться с тоном семьи Блока, который он любил. Даже почтовую бумагу переменила, даже почерк. Но это потом. Пока поджидало меня следующее. На другой день мы опять встретились у Исаакиевского собора, но лишь мимолетно. Блок сказал, что пришел только предупредить меня, чтобы я не волновалась, что ему запрещено выходить, надо даже лежать, у него жар. Он только умолял меня не беспокоиться, но ничего больше сказать не мог. Мы условились писать друг другу каждый день, он — ко мне на курсы...»

«Мой адрес∾ Поэт Александр Б л о к». — Эта записка была опубликована в «Лит. наследстве», т. 27—28 (1937), стр. 370. См. наст. том, стр. 65. *...Волнению и жару этой встречи.* — См. также стихотворение Блока «Там, в полусумраке собора...» (14 января 1902 г.).

12

〈12 ноября 1902. Петербург〉[1]

Мой Ангел, моя Возлюбленная, ради Себя Самой прости меня за то, что я не писал вчера. Верь мне, что минута забвения о Тебе — мне все равно, что последняя минута, смерть без исхода. Верь мне, что я с Тобой вечно, неизменно, во всех обстоятельствах, во все часы, глубоко и страстно торжествую, праздную последний сон свидания, жажду Тебя бесконечно. Мне препятствует теперь проклятое благоразумие, и я подчинюсь ему только для будущего, для неизмеримо-радостного. Я не знаю, когда это, наконец, возможно, клянусь Тебе, что сделаю все, что в моих силах. Я хочу быть перед Тобой полным бодрости и духовной силы, а Любовь не измерится и не погаснет ни теперь, ни после, никогда. Я клянусь Тебе, что Любовь к Тебе больше моей жизни и моей смерти, больше всего во вселенной, звенящая, ликующая, что мне мало трех жизней [2], мало вечности, мало человеческой силы, чтобы выразить Тебе, высказать хоть ближе к Вечной Неподвижной Правде все, чем Ты была, есть и будешь для меня. И песен моих мне мало, и часто я жалею о них, о их бледности, о самой невозможности языка человеческого сказать все, что бессильно вырывается и не может прорваться. Нужны церковные возгласы, новые храмы, небывало целомудренные, девственные одежды, неслыханные, нездешние голоса и такие своды, которым и конца нет. И звук уйдет и не вернется больше,— тогда я узнаю и поверю, что он был истинно великолепен и истинно непомерен, что Ты приняла его достойного, не одетого в эти жалкие, хоть и царские, лохмотья земной поэзии. Чтобы оттуда в наш поэтический сумрак просился новый и «беззакатный день» [3]. Ты — Заря моя, Ты взглянула на всю мою ночь, на все бесчисленные обломки моей души, на дымный красный костер, бог знает как, откуда, что шепнуло Тебе, что все это истинно Твое, хоть такое разбитое, разнокалиберное, неединое? Я перед Тобой, коленопреклоненный, клянусь Тебе, что это так, что мне без Тебя — смерть, а с Тобой — Любовь.

Твой, пока живу, пока дышу, до конца.

Пиши мне еще, ради бога, что Ты пишешь — несказанно [4].

[1] Дата почтового штемпеля: 13 ноября 1902 г.

[2] «Мне хоть три жизни дайте,— мне и тех будет мало»,— говорит Аркадий Долгорукий, герой романа Достоевского «Подросток» (часть I, глава IV, 2).

[3] Выражение Фета — в стихотворении «Среди звезд»:

Нам нет числа. Напрасно мыслью жадной
Ты думы вечно догоняешь тень;
Мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный
К тебе просился беззакатный день.

[4] Л. Д. Менделеева писала (почтовый штемпель 11 ноября 1902 г.): «Долго мы еще не увидимся? Боже мой, как это тяжело, грустно! Я не в состоянии что-нибудь делать, все думаю, думаю без конца о тебе, все перечитываю твое письмо, твои стихи, я вся окружена ими, они мне поют про твою любовь, про тебя, и мне так хорошо, я так счастлива, так верю в тебя... Только бы не эта неизвестность! Ради бога, пиши мне про себя, про свою любовь, не давай мне и возможности сомнений, опасения!» И в другом письме (почтовый штемпель 12 ноября): «Мой бесконечно дорогой, милый, единственный! Нет у меня слов, чтобы сказать тебе все, чем полна душа, нет выражений для моей люб-

ви, я не умею сказать, как мне хочется скорей, скорей быть опять с тобой... Прости мне, что я мало пишу тебе и ничего не умею высказать! Но ведь ты, я знаю, ты должен меня понять, должен почувствовать, что я живу и жила лишь для того, чтобы давать тебе счастье и что в этом мое единственное блаженство, назначенье моей жизни...».

13

〈13 ноября 1902. Петербург〉[1]

Моя дорогая, я могу написать Тебе только несколько слов, прости меня, у меня 40 градусов жару. Это пустяки, но писать трудно. Я люблю Тебя страстно и навек. Напиши мне несколько слов. Прости, до свиданья, люби меня. Твой до конца.

[1] Дата почтового штемпеля неотчетлива: 13 или 14 ноября 1902 г.

14

〈14 ноября 1902. Петербург〉

Моя Милая, мое Сердце, я боюсь Тебя, боюсь, что Ты забудешь меня, потому что все в мире бесследно теряется, точно куда-то ушло, кануло в вечность. И это особенно в здешней напряженной блестящей жизни городов, где всюду манит безмирная, безликая маска. Ты знаешь, что я никому во всем мире не верю так, как Тебе, потому что больше Тебя для меня ничего нет. Но боюсь, потому что человек. Напиши мне только два слова. Я ведь пойму многое, даже то, почему Ты не пишешь теперь. И если очень трудно писать, потому ли, что лучше говорить, или по другому, тогда не пиши совсем. Мне бесконечно легче знать, что Ты во всем вполне свободна, моя Возлюбленная, Дорогая, Милая, Нежная. Помни всегда, что я безмолвен перед Тобой и раб, слабый сердцем, и всему покорен, и бесконечно недостоин. И мне ли просить Тебя? Я люблю Тебя, мое Вдохновение, моя Полная и Совершенная Красота, и хочу говорить с Тобой о многом, «умном» и «неумном», небесном и земном. Но это приходится отложить до времени, ибо нужно выздороветь и «исполнить всякую правду» [2], чтобы жить и дышать около Тебя, если Ты позволишь, и умереть, если Ты потребуешь.

Я и молод, и свеж, и влюблен,
Я в тревоге, в тоске и в мольбе,
Зеленею, таинственный клен,
Неизменно склоненный к Тебе.

Теплый ветер пройдет по листам,—
Задрожат от молитвы стволы,
На лице, обращенном к звездам —
Ароматные слезы хвалы.

Ты придешь под широкий шатер
В мои бледные, сонные дни.
Заглядеться на милый убор,
Размечтаться в зеленой тени.

Ты одна, влюблена и со мной,
Нашепчу я таинственный сон,
И до ночи — с тоскою — с Тобой,
Я с Тобой, зеленеющий клен.

Это еще летнее стихотворение [3].

Люблю Тебя.

Твой [4].

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» — цитата из Евангелия от Матфея, III, 15.

[3] Стихотворение было написано 31 июля 1902 г.

[4] В ответном письме (почтовый штемпель 15 ноября 1902 г.) Л. Д. Менделеева писала: «Как напугало меня твое первое письмо, мой дорогой, как я раскаивалась, что не бросила вчера всех и все, чтобы сходить за ним на курсы! Но, слава богу, скоро пришло и второе, ты можешь мне писать, тебе лучше! Да теперь ты скоро, скоро поправишься. Бог должен услышать мою молитву, потому что я молилась за тебя в Казанском соборе, со всей моей любовью и бесконечной верой...».

15

⟨15 ноября 1902. Петербург⟩[1]

Моя Дорогая, моя Несравненная, Ты напрасно думаешь, что мне так плохо и тяжело. Все мое несчастье в том, что я не могу раньше срока выходить из дому, а жар и все прочее бывает при всех болезнях, для меня же тяжелы совсем не они, а связанность и неизвестность. Я совсем не знаю, когда, наконец, увижу Тебя. К Тебе стремительно направлены все мои помыслы и желания. Твои письма неизведанно прекрасны, они мне праздник и свет. Люблю Тебя той несгорающей любовью, в которой сгорает все, кроме нее самой. Все эти мысли, неотвязные и часто тяжелые, об этих живых и мертвых Антихристах и Христах, иногда превращающиеся в какое-то недостойное ремесло, аппарат для повторений, разговоров и изготовления формул,— все они, преследуя меня и теперь, расцвечены и схвачены, и освящены, и умудрены Твоей Великой и Пышной близостью ко мне. И все они часто разбиваются у ног Твоих, как маленькие и безвредные волны, вздохи искренние, но недостаточно могущественные для того, чтобы пересилить то, чем владею я. А если бывает жар, то после него все яснее и Ты — Новое Торжество. И чувствуется глубокая мудрость, иначе даже трудно назвать это, потому что здесь говорю не о мудрости ума, а о мудрости всего существа. Чувство: то прошло, раскалилось и перегорело в сознании, а Это — здесь, при мне и будет при мне. Завидуйте. Ты — моя Обетованная Земля, и мне еще много нужно сказать Тебе и многим дохнуть на Тебя, и многое услышать, и многому учиться у Тебя. Ты — Первая Истина, которую я ощутил (а не понял),— сама Жизнь, и главное — моя Жизнь, мое Бытие и тот Закон, «его же мне не преступить». Те «боги, скитальцы и дети» гасят свой небосвод и скрываются от меня в пучинах мрака [2]. Это — я сам — бывший, прежний, «умный». А теперь — вот я — новый и юный. Это случилось оттого, что Ты — здесь. Здесь — мое сердце, мой разум и моя воля, мое единое и многое. Все цвета, как одна Белая Голубица — Ты. И вот — Ангел моего Завета. Напиши, умоляю Тебя, Очаровательная, Волшебная, Прелестная.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] *«Боги, скитальцы и дети»* — цитата из стихотворения Блока «Хранила я среди младых созвучий...» (17 октября 1901 г.): «Идите прочь, скитальцы, дети, боги!» Среди незавершенных стихотворных набросков Блока, относящихся к февралю 1902 г., есть один, который начинается строкой: «Боги гасят небосвод...» (см. I, 488).

В дневнике Блока 1901—1902 гг. записи о встречах с Л. Д. Менделеевой, черновики неотправленных писем к ней перемежаются с заметками литературного и фило-



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА
Фотография, 1898
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

софского содержания, в которых уже в это время ощущается стремление поэта отделить свой светлый поэтический мир от декадентского «мрака» и «изготовленных формул» чуждого ему мировосприятия. Образ возлюбленной был для Блока олицетворенным символом такого мира (ср. в письме 20 ноября 1902 г. — «Солнце моего Мира»). Задумав статью о русской поэзии, он записал в дневнике: «Это критика от наболевшей души, которая стремится защитить от современников белые и чистые святыни. Кроме того — это труд малый, но вдохновенный — его-то желаю я оставить по себе, кроме песен. ⟨...⟩ Есть два рода литературных декадентов: хорошие и дурные; хорошие—это те, которых не следует называть декадентами (пока только отрицательное определение); дурные—те, кому это имя принадлежит как по-существу, так и этимологически. Заранее оговорившись относительно терминов, легче разобраться. Будем же понимать под словом декадент то, что̀ это слово значит—именно: упадок, ибо другие значения, навязываемые ему (отчего это происходит — скажу ниже), очевидно совершенно нелепы. ⟨...⟩ Декадентство — «décadence» — упадок» (VII, 21—26).

Вспоминая об этом времени, Л. Д. Блок отмечала свое психологическое несходство с большинством людей из круга символистов: «Я была по складу души, по способу



БЛОК
Фотография, 1898
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ощущения и по устремленности мысли другая, чем соратники Блока эпохи русского символизма. Отставала? В том-то и дело, что теперь мне кажется — нет. ⟨...⟩ Может быть, от символизма меня отделяла его все же какая-то нарочитость, правда, предрешенная борьбой с предшествующей эпохой тенденциозности, но был он гораздо менее от этой же тенденциозности свободен, чем того хотел бы, чем должно искусству большой эпохи».

16

⟨17 ноября 1902. Петербург⟩ [1]

Что писать, когда мое сердце страстнее и звонче всех слов? Я с Тобой и больше ничего не вижу. Ты — здесь, шепчущий голос, певучая мысль. Весна моей души, Лель приветный [2] и сладостный, до свиданья! Мне ничего не нужно больше, чем видеть Тебя. «Людские так грубы слова — их даже нашептывать стыдно» [3], и мне невозможно сказать Тебе, что я чувствую теперь, в эту минуту.

Прекрасней Тебя — нет. Желанней Тебя — нет. Обольстительней Тебя — нет. Ты — вся женственность, не оставившая женщины, и женщина, не возмущающая женственности. Верь мне, что этого таинственного и редкого в мире сочетания почти никогда нельзя встретить. Это граничит с невозможностью, для этого нужно то, чего нет у других, такую силу прелести и всех совершенств, которые почти не сочетаемы в одном. Но я люблю тебя не за это. Я люблю Тебя так, ни за что, зная все и понимая по крайней мере неизмеримость Твоей Величайшей Красоты! И эта любовь верная и неисходная. Ни за что, не «за муки» и не «за состраданье к ним» [4], а без причины, без цели, по велению Ангела моего, сохраняющего меня во всех путях. *Потому что Ты встретилась со мной*, потому что это единственная настоящая встреча. *И Ты пожелала*. Ты — Святая, Великая, Недостижимая, о Которой я не мог мыслить без страха; Ты, у которой «волна кудрей» светла, «как колос спелый» [5]. Ты, о Которой после каждой, даже мимолетной, встречи я думал без конца, так что все сердце обливалось горячими и страстными волнами. Ты — Красавица, лучше Которой я не знал и не видел.

Ты вечером (или ночью) 7 ноября слушала мои бессмысленные, сбивчивые слова просто и без гнева. Я не знаю, что это было. Лучше пока не вспоминать об этом. Что же все остальное после этого, все, что окружает меня, как не пустота и не бессилие?

Боже мой, дай мне скорее возможность еще раз узнать, что это — сон или явь?

Твой, очарованный, овеянный Твоими Великими Снами.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] *Лель* — бог любви в славянской мифологии. См. стихотворение Блока «Приветный Лель, не жду рассвета...» (29 января 1900 г.).

[3] Начальные строки стихотворения Фета.

[4] Цитата из трагедии Шекспира «Отелло» в переводе П. И. Вейнберга.

[5] Источник цитаты не установлен.

17

〈18 ноября 1902. Петербург〉 [1]

Эти письма я пишу большей частью поздним вечером, когда уж никто не может помешать, и когда в тишине станут всходить передо мной с новой ослепительной силой Твои черты, глаза, волосы, слова прежние и нынешние. Духом чистым и высоким веет оттуда, из города затихающего, замирающего, дремлющего. Что бывает ночью, того не может быть днем. Говорили когда-то, что, когда мы были детьми, мы гуляли и встречались [2]. Ни одно совпадение не бывает случайностью. На языке, например, Боткиных (если я точно передаю) в прошлом году это называлось «друзья детства». И все в прошлом еще году было не меньше странно и кошмарно, потому что мне, вырвавшемуся только теперь из чада полного опьянения, полного чувства невозможности видеть когда-нибудь одну Твою настоящую улыбку,— мне припоминаются теперь мои поступки, с наглядностью показывающие неумеренность и недостаточную скрытность с моей стороны. Я боюсь только того, что для Тебя в этом было что-нибудь оскорбительное, потому что некоторые (между кот〈орыми〉 были и достаточно зоркие) не могли этого не заметить.

Еще я боюсь того письма, которое я послал вчера в белом конверте с бледной надписью, потому что в тот же день послал Твоей маме программу концерта в сером конверте с черной надписью. Напиши мне, можно ли писать к Тебе еще или *всегда* на курсы. Женщины, особенно матери, страшно чутки [3].

Моя Божественная, Милая, Ласковая, я пишу все что-то чиновничье и вялое и, право, не потому, что не расположен писать, а потому что все это меня действительно тревожит. А еще, я чувствую вдруг в эти дни, что я ужасно много видел и узнал в жизни, и мне уже хочется иногда, так близко от Тебя, ощутить неподвижность настоящего ключа этой жизни [4], верного и единственного, «от нужд и бед Тебя спасая, как тяжелый, ударами избитый щит» [5]. И потому я пишу сегодня о житейском. Люблю Тебя, как никого и никогда мне не снилось любить. Прежде я видел Тебя в вещих снах. Такие странные и яркие, большей частью осенние, и потому я люблю осень и Тебя, и желтый и красный дикий виноград на Блобловском балконе [6].

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Биограф Блока, его тетка М. А. Бекетова, пишет: «Когда Саше Блоку было три года, а Любе Менделеевой два, они встречались на прогулках с нянями... Сознательно они встретились в первый раз в Боблове, когда Ал. Ал. было 14, а Л. Дм.— 13 лет» (М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Изд. 2. Л., 1930, стр. 61). Через три года отношения «друзей детства» приобрели совершенно иной характер.

[3] Л. Д. Менделеева в ответном письме (почтовый штемпель 18 ноября 1902 г.) писала: «Мой дорогой, пиши мне и домой, и на курсы, только как можно чаще, больше! Я теперь и живу только ожиданием твоих писем, перечитываю их без конца, хочу через них понять и прочувствовать все, что у тебя на душе. И в то же время я в последнем письме все надеюсь прочитать, что тебе лучше, что мы скоро увидимся. Господи, да когда же это будет? А знаешь, я на тебя вчера чуть не обиделась. Утром я каждую минуту ходила смотреть, нет ли письма от тебя; наконец, твой конверт, твой почерк... и вдруг письмо маме! Сначала я, я не знаю чего-то, невыносимо испугалась; но мама ничего не говорит, значит — бояться нечего, и мне стало обидно и больно, до самого твоего письма, вечером. Оттого я и не написала тебе вчера, мне не хотелось упрекать тебя, не зная, в чем дело, а писать другое я не смогла бы. Я пишу все эти глупости, чтобы ты понял, в каком я теперь приподнятом, напряженном состоянии; я готова малейшее молчание, малейшее холодное слово истолковывать в самую невероятную, дурную сторону... И какое счастье, какая радость — твои слова любви, когда я перечитываю их, я спокойна и счастлива, и так благодарна тебе за них, и так люблю тебя, люблю, люблю без конца!»

[4] Ср. в стихотворении Блока «Снова ближе вечерние тени...» (14 октября 1901 г.):

Чуть во мраке светильник завижу,
Поднимусь и, не глядя, лечу.
Ты ж и в сумраке, милая, ближе
К неподвижному жизни ключу.

[5] Неточная цитата из стихотворения Я. П. Полонского «Холодная любовь»:

Любовь моя давно чужда мечты веселой,
Не грезит, но зато не спит,
От нужд и зол тебя спасая, как тяжелый,
Ударами избитый щит.

[6] О посещениях Блоком Боблова Любовь Дмитриевна писала в воспоминаниях (см. ниже).

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«О день, роковой для Блока и для меня! Как был он прост и ясен! Жаркий, солнечный июньский день, расцвет московской флоры. До Петрова дня еще далеко, травы стоят некошенные, благоухают. Благоухает душица, легкими, серыми от цвета колосиками обильно порошащая траву вдоль всей «липовой дорожки», где Блок увидал впервые ту, которая так неотделима для него от жизни родных им обоим холмов и лугов, которая так умела сливаться со своим цветущим окружением. Унести с луга

в складках платья запах нежно любимой, тонкой душицы, заменить городскую прическу туго заплетенной «золотой косой девичьей», из горожанки перевоплощаться сразу по приезде в деревню в неотъемлемую часть и леса, и луга, и сада, инстинктивно владеть тактом, уменьем не оскорбить глаз какой-нибудь неуместной тут городской ухваткой или деталью одежды — это все дается только с детства подолгу жившим в деревне, и всем этим шестнадцатилетняя Люба владела в совершенстве, бессознательно, конечно, как, впрочем, и вся семья.

После обеда, который в деревне кончался у нас около двух часов, поднялась я в свою комнатку во втором этаже и только что собралась сесть за письмо — слышу: рысь верховой лошади, кто-то остановился у ворот, открыл калитку, вводит лошадь и спрашивает у кухни, дома ли Анна Ивановна? Из моего окна ворот и этой части двора не видно; прямо под окном — пологая, зеленая железная крыша нижней террасы, справа — разросшийся куст сирени загораживает и ворота и двор. Меж листьев и ветвей только мелькает. Уже зная подсознательно, что это «Саша Бекетов», как говорила мама, рассказывая о своих визитах в Шахматово, я подхожу к окну. Меж листьев сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню, да невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твердые, решительные шаги. Сердце бьется тяжело и глухо. Предчувствие? Или что? Но эти удары сердца я слышу и сейчас, и слышу звонкий шаг входившего в мою жизнь.

Автоматически подхожу к зеркалу, автоматически вижу, что надо надеть что-нибудь другое, мой ситцевый сарафанчик имеет слишком домашний вид. Беру то, что мы так охотно все тогда носили: батистовая английская блузка с туго накрахмаленным стоячим воротничком и манжетами, суконная юбка, кожаный кушак. Моя блузка была розовая, черный маленький галстух, черная юбка, туфли кожаные коричневые, на низких каблуках. Шляпы в сад я не брала.

Входит Муся, моя насмешница — младшая сестра, любимым занятием которой было в то время потешаться над моими заботами о наружности: «Mademoiselle велит тебе идти в Colonie, она туда пошла с шахматовским Сашей. Нос напудри!» Я не сержусь на этот раз, я сосредоточена.

Colonie — это в конце липовой аллеи наши бывшие детские садики, которые мы разводили во главе с mademoiselle, не меньше нас любившей и деревню и землю. Говорят, липовая аллея цела и посейчас, разросшаяся и тенистая. В те годы липки были молодые, лет десять назад посаженные, еще подстриженные, не затенявшие целиком залитую солнцем дорожку. На полпути к Colonie деревянная скамейка, лицом к солнцу и виду на соседние холмы и дали. Дали — красу нашего пейзажа.

Подходя немного сзади через березовую рощицу, вижу, что на этой скамейке и «занимает разговорами» mademoiselle сидящего спиной ко мне. Вижу, что он одет в городской темный костюм, на голове мягкая шляпа. Это сразу меня как-то отчуждает: все молодые, которых я знаю, в форменном платье. Гимназисты, студенты, лицеисты, кадеты, юнкера, офицеры. Штатский? — Это что-то не мое, это из другой жизни, или он уже «старый». Да и лицо мне не нравится, когда мы поздоровались. Холодом овеяны светлые глаза с бледными ресницами, не оттененные слабо намеченными бровями. У нас у всех ресницы темные, брови отчетливые, взгляд живой, непосредственный. Тщательно выбритое лицо придавало в то время человеку «актерский» вид — интересно, но не наше. Так, как с кем-то далеким, повела я разговор, сейчас же о театре, возможных спектаклях. Блок и держал себя в то время очень «под актера», говорил не скоро и отчетливо, аффектированно курил, смотрел на нас как-то свысока, откидывая голову, спуская веки. Если не говорили о театре, о спектакле, болтал глупости, часто с явным намерением нас смутить чем-то не очень нам понятным, но от чего мы неизбежно краснели. Мы — это мои кузины Менделеевы, Сара и Лида, их подруга Юля Кузьмина и я. Блок очень много цитировал в то время Кузьму Пруткова, целые его анекдоты, которые можно иногда понять и двусмысленно, что я уразумела, конечно, значительно позднее. У него в то время была еще любимая прибаутка, которую он вставлял при всяком случае: «O yes, mein Kind» *. А так как это обращалось иногда

* О, да, мое дитя (*англ.* и *нем.*).

Въ моей смерти прошу никого не винить. Причины ея вполнѣ „отвлеченны" и ничего общаго съ „человѣческими" отношеніями не имѣютъ. Вѣрую во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Чаю Воскресенія мертвыхъ. И Жизни Будущаго Вѣка. Аминь.
Поэтъ Александръ Блокъ.

Мой адресъ: Петербургская Сторона, Казармы Л.-Гв. Гренадерскаго полка кв. полковника Кублицкаго № 13.

7 ноября 1902 года.
Городъ Петербургъ.

ЗАПИСКА БЛОКА 7 НОЯБРЯ 1902 г.
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

и прямо к тебе, то и это смущало некорректностью, на которую было неизвестно, как реагировать.

В первый же этот день кузины пришли вскоре, проводили время вместе, условились о спектаклях, играли в «хальму» и крокет. Пошли в парк к Смирновым, нашим родным; это была громадная семья — от взрослых барышень и студентов до детей. Играли все вместе в «пятнашки», в горелки. Тут Блок стал другой, вдруг свой и простой, бегал и хохотал, как и все мы, дети и взрослые.

В первые два-три приезда выходило так, что Блок больше обращал внимания на Лиду и Юлию Кузьмину; они умели ловко болтать и легко кокетничать и без труда попали в тон, который он вносил в разговор. Обе очень хорошенькие и веселые, они вызывали мою зависть. Я была очень неумела в болтовне и в ту пору была в отчаянье от своей наружности. С ревности и началось.

Что было мне нужно? Почему мне захотелось внимания человека, который мне вовсе не нравился и был мне далек, которого я в то время считала пустым фатом, стоящим по развитию ниже нас, умных и начитанных девушек? Чувственность моя еще совсем не проснулась; поцелуи, объятия — это было где-то далеко-далеко и нереально. Что меня не столько тянуло, сколько толкало к Блоку?.. «Но то звезды веленья»,—сказал бы Леонор у Кальдерона. Да, эта точка зрения могла бы выдержать самую свирепую критику, потому что в плане «звезды» все пойдет потом как по маслу: такие совпадения, такие удачи в безнаказанности самых смелых встреч среди бела дня — что и не выдумаешь! Но пока допустим, что Блок, хотя и не воплощал моих девченкиных байронически-лермонтовских идеалов героя, был все же и наружностью много интереснее всех моих знакомых, был талантливым актером (в то время ни о чем другом, о стихах, тем более, еще и речи не было), был фатоватым, но ловким «кавалером», и дразнил какой-то непонятной, своей мужской, неведомой опытностью (это что? кажется,

из Толстого?) и жизнью, которая не чувствовалась ни в моих бородатых двоюродных братьях, ни в милом и симпатичном, понятном Суме, студенте, репетиторе брата.

Так или иначе, «звезда» или «не звезда», очень скоро я стала ревновать и всеми внутренними своими «флюидами» притягивать внимание Блока к себе. С внешней стороны я, по-видимому, была крайне сдержанна и холодна,— Блок всегда это потом и говорил мне и писал. Но внутренняя активность моя не пропала даром, и опять-таки очень скоро я стала уже с испугом замечать, что Блок,— да, положительно,— перешел ко мне, и уже это он окружает меня кольцом внимания. Но как все это было не только не сказано, как все это было замкнуто, сдержанно, не видно, укрыто! Всегда можно сомневаться, да или нет? Кажется или так и есть?

Чем говорили? Как давали друг другу знак? Ведь в этот период никогда мы не бывали вдвоем, всегда или среди всей нашей многолюдной молодежи, или, по крайней мере, в присутствии mademoiselle, сестры, братьев. Говорить взглядом мне и в голову не могло прийти; мне казалось бы это даже больше, чем слова, и во много раз страшнее. Я смотрела всегда только внешне-светски и при первой попытке встретить по-другому мой взгляд, уклоняла его. Вероятно, это и производило впечатление холодности и равнодушия.

«Нет конца лесным тропинкам...» — это в Церковном лесу, куда направлялись почти все наши прогулки. Лес этот — сказочный, в то время еще не тронутый топором. Вековые ели клонят шатрами седые ветви; длинные седые бороды мхов свисают до земли. Непролазные чащи можжевельника, бересклета, волчьих ягод, папоротника, местами земля покрыта ковром опавшей хвои, местами заросли крупных и темнолистых, как нигде, ландышей. «Тропинка вьется, вот-вот потеряется». «Нет конца лесным тропинкам». Мы все любили Церковный лес, а мы с Блоком особенно. Тут бывало подобие прогулки вдвоем. По узкой тропинке нельзя идти гурьбой, вся наша компания растягивалась. Мы «случайно» оказывались рядом. Помолчать рядом в «сказочном лесу» несколько шагов — это было самое красноречивое в наших встречах. Даже красноречивее, чем потом, по выходе из леса на луговины соседней Александровки, переправа через Белоручей — быстрый, студеный ручей, журчащий и посейчас по разноцветным камушкам. Он не широк, его легко перепрыгнуть, ступив один раз на какой-нибудь торчащий из воды большой валун. Мы всегда это легко проделывали одни. Но Блок опять-таки умудрялся устроиться так, чтобы без невежливости протянуть для переправы руку только мне, предоставляя Суму и братьям помогать другим барышням. Это было торжество, было весело и задорно, но в лесу, понятно, было большее.

В «сказочном лесу» были первые безмолвные встречи с другим Блоком, который исчезал, как только снова начинал болтать, и которого я узнала лишь три года спустя».

...*«Золотой косой девичьей»* — цитата из стихотворения Блока «Разгораются тайные знаки...» (1902 г.):

Убегаю в прошедшие миги,
Закрываю от страха глаза,
На листах холодеющей книги —
Золотая девичья коса.

Анна Ивановна — Анна Ивановна Менделеева (1860—1942) мать Любови Дмитриевны. *Леонор у Кальдерона* — в драме Кальдерона «Врач своей чести» в переводе К. Д. Бальмонта («Сочинения Кальдерона», вып. 3. М., 1912, с. 43). *«Нет конца лесным тропинкам ...»* — первая и последняя строфы стихотворения 1901 г., помеченного «Церковный лес»:

Нет конца лесным тропинкам.
Только встретить до звезды
Чуть заметные следы. . .
Внемлет слух лесным былинкам.

«Тропинка вьется, вот-вот потеряется».— Может быть, имеется в виду строка из Вл. Соловьева «Все та же вдаль тропинка вьется снова...» (из стихотворения «Нет, силой не поднять тяжелого покрова...»).

18

〈20 ноября 1902. Петербург〉[1]

У меня нет холодных слов в сердце. Если они на бумаге, это ужаснее всего. У меня громадное, раздуваемое пламя в душе, я дышу и живу Тобой, Тобой, Солнце моего Мира. Мне невозможно сказать всего, но Ты поймешь, Ты поняла и понимаешь, чем я живу, для чего я живу, откуда моя жизнь. Если бы теперь этого не было,—меня бы не было. Если этого не будет — меня не будет. Глаза мои ослеплены Тобой, сердце так наполнено и так смеется, что страшно, и больно, и таинственно, и недалеко до слез. Еще несколько дней я не могу, говорят, Тебя видеть, т. е. выходить. Это ужасно. Ты знаешь, что это так надо, но мне странно. И еще страннее, что я подчиняюсь нелепому благоразумию. К великому счастью, я только подчиняюсь ему, но оно вне. Во мне его *нет*. Пока я знаю, что дело идет о нескольких днях (сколько —несколько?) и что от этого зависит будущее, я терплю еще. Но если бы это были недели или месяцы и болезнь была бы непрерывна и мучительна, я бежал бы ночью, как вор, по первому Твоему слову, по первому намеку. Теперь, когда пройдут эти дни и я увижу Тебя, знай, что я сделаю все.

Будет говорить страсть, не будет преград. Вели — и я выдумаю скалу, чтобы броситься с нее в пропасть. Вели — и я убью первого и второго и тысячного человека из толпы *и не из толпы*. Вся жизнь в одних твоих глазах, в одном движении. Ты не увидишь перемены, кроме внешней, кроме ежечасно, ежедневно меняющихся т.н. «настроений». Во всех будет лежать печать рабства Тебе — от скептицизма мирового до печальной мудрости, от экстаза до неподвижности. Здесь в мире, в России, среди нас теперь делаются странные вещи и в Москве, и в Петербурге. Бегают бледные, старые и молодые люди, предчувствуют перевороты и волочат за собой по торжищам и по утонченным базарам, и по салонам, и по альковам красивых женщин, и по уютам лучших мира сего — знамена из тряпок и из шелка, и из неведомых и прекрасных тканей Востока и Запада. И волочат умы людей — и мой тоже. Но сердце, сердце незабвенное и все проникающее, знает Тебя. И покоряет ум и волю, и властвует над ними, и приказывает им. Там — мне нет числа. Здесь — я с Тобой и один. Мое тамошнее треплется в странностях века. И все оно собирается здесь, у Твоих ног, как непокорная змея, желавшая познать и заслушавшаяся лучшей и неслыханной Музыки. Твоя воля открыть мне все бездны, и я безвольно и безмысленно исчезну в них [2].

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Л. Д. Менделеева писала в ответном письме (почтовый штемпель 20 ноября 1902 г.): «Твои письма кружат мне голову, все мои чувства спутались, выросли, рвут душу на части, я не могу писать, я только жду, жду, жду нашей встречи, мой дорогой, мое счастье, мой бесконечно любимый!»

19

〈21 ноября 1902. Петербург〉[1]

Мысли в таком вихре и так разбиваются, что мне трудно говорить Тебе о связном и возможном. Только любовь имеет право теряться в бесконечном. Ничего не стоит столкнуть с берега самые грузные заключения и самые тяжеловесные теории. Но вернуть их обратно часто уже невозможно. Они плывут и погружаются, возвращаются назад только легкие щепки — отзвуки прошедших времен. Ты в одну ночь сбила бесчисленное количество спокойных элементов в одну груду, из которой я до сих пор извле-

каю с успехом и распознаю только мечты и сны о Тебе. Все другое беспорядочно, и у меня редко бывает желание приводить в порядок. Основы все те же, но все перевернуто вверх дном. Теперь я только каждый день все это констатирую. Часто все это давит неразрешенностью, но чаще только сладкая боль, только волненье, разбивающееся у подножия Твоей скалы.

Ты все точила мой гранит —
И в сладостном влеченьи —
Я знал, я знал, что мне сулит
Любви предназначенье [2].

Для меня свершилось то, что не повинуется моей магии. Прежде многое я собирал изнутри, имея власть усыпить одних чудовищ и расшевелить других. Теперь я вижу, что над этой собирающей силой стоит другая совершеннейшая Твоя Сила извне. Потому я и говорю Тебе, что в Твоей власти теперь сделать все «мое», потому что я слепое орудие — не больше. У меня даже и стихи не выходят. Боюсь тех слов, которые обозначают действительное, нынешнее, когда Ты со мной. Я узнал все слова из тех легенд, которые говорят о том, что Тебя нет и не будет со мной. И привык к ним,—и с ними был, как у себя. Я знаю разлуку, мучительную и нескончаемую. Свиданья я еще не знаю. Твоей близости я еще не знаю. Все ново и непривычно, все люди кругом по-другому. Ты понимаешь это? И потому, Моя дорогая, я боюсь, что в моих словах Ты не найдешь того, что нужно. Не младенческие ли они, не бессвязный ли это лепет, не кощунственно ли говорить все это Тебе, с которой я говорю всегда с мыслью — можно ли это, годятся ли эти слова простые и человеческие? Ты представляешься мне в эти минуты Существом, знающим все это наперед, надышавшимся лилий и роз в странах Неведомых для нас, для меня, как для толпы. И мне часто приходило это в голову в связи с легендами, поющими о Тебе (хотя бы посредством моих же стихов и дум), как о Царице Народной, все познавшей внутренно, молчаливой и недоверчивой к тому, что происходит здесь, что какой-то человек из народа (это был я) почуял один и стал мечтать и надеяться на Невозможное Счастье.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Цитата из стихотворения польского поэта Адама Асныка (1838—1897) «Чудесный сон» в переводе В. Лебедева. Это стихотворение очень понравилось Блоку; он переписал его в особую тетрадь (позднее озаглавленную: «Моя декламация, роли, заметки, стихи разных поэтов, выписки из книг и пр.») и полностью привел в письме к А. В. Гиппиусу от 28 июля 1901 г. (VIII, 21).

20

〈22 ноября 1902. Петербург〉 [1]

Моя Дорогая, моя Бесконечно любимая, мое бесконечное Счастье. Сегодня я получил письмо от Боткиной с приглашением быть у них в воскресенье 24-го. И меня осенила мысль, я почувствовал, что могу увидеть там Тебя, и решил, что сделаю все, что могу, чтобы быть у них. Думаю, что меня выпустят не раньше этого. Будешь ли Ты там — одна или с мамой? Напиши мне, прошу Тебя, об этом скорее, мне необходимо это знать [2]. Можно ли сделать так, чтобы от Боткиных я проводил Тебя? Или Ты думаешь, что лучше встретиться не у них и в другой день. Мне кажется, что это самое лучшее, потому что самый ранний срок. Будет ли Тебе это неприятно — встретиться там и сразу все скрывать и казаться другими? Напиши мне об этом, Любовь моя, мне это страшно необходимо все знать



БЛОК В РОЛИ ГАМЛЕТА
Фотография, 1898
Музей Д. И. Менделеева, Ленинград

и ко всему этому приготовиться. Я ни о чем не думаю теперь, мне кажется все, что Солнце всходит; я вижу день, когда встречу Тебя. Это будет полно света и блаженства для меня и для всего мира! Теперь я ничего не понимаю, меня дергают со всех сторон и тащат, а я овеян и очарован, и ослеплен, и очень даже глуп снаружи, потому что довольно бессмысленно улыбаюсь не тогда, когда этого требует тема. Если бы мне сказали, что мой знакомый повесился, я бы в восторге обнял говорящего и нашел бы это обстоятельство приятным. Ты — лучше всех, важнее всех, глубже всего, все скрываешь за Собой от меня, Тебе нет равных, я люблю, люблю Тебя, моя Светлая, моя Дивная, Чудесная, Великолепная, Святая. Люблю Тебя страстно, звонко, восторженно, весело, без мысли, без сомнений, без дум, в снах, непробудных наяву, блаженных, как Ты. Тебе, Тебе и только Тебе вся моя жизнь, счастье и горе, все повергаю к Твоим ногам. Ты пишешь мне то, чего я не могу понять, так оно страстно, так

обнимает меня, ослепляет меня. Я сам без себя и с Тобой, с Тобой одной только, безраздельно. У меня нет слов. Я Твой, я Твой, верь и знай и не сомневайся в том, что бесконечна моя страсть. Все конечно, все ничтожно, когда я встречу Тебя, увижу Тебя опять, взгляну в Твои глаза и мимолетно и недолго, среди людей; и, мож⟨ет⟩ быть, мне удастся сказать Тебе два слова, урывками, незначительных и неважных. Знай, что Ты — моя жизнь. Каждое движение, улыбка, поворот впиваются мне прямо в душу. Я люблю Тебя, люблю одну Тебя, только Тебя одну и никого и ничего в мире, кроме Тебя. Пою, пламенею и молюсь. Жду Твоего ответа, Твоего согласия.

Твой, Любовь моя, Твой раб до Смерти.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Л. Д. Менделеева в тот же день написала Блоку: «Мой дорогой, мы не будем у Боткиных, а ты приходи к нам в воскресенье, может быть, мама и уедет куда-нибудь, а если нет, все-таки будет лучше, чем у чужих, в толпе. Наконец-то, наконец-то! Господи, какое счастье!..»

21

⟨23 ноября 1902. Петербург⟩ [1]

Конечно, я приду завтра вечером [2]. Конечно, я написал опять Боткиным, что, «к несчастью», не могу у них быть. Пусть думают, что хотят. Мне лучше, но «рекомендуется» побольше сидеть дома. Я не знаю, когда, наконец, увижу Тебя, моя Любовь, не у Вас, а в другом месте, когда мы будем вдвоем. На днях я получил письмо от Зин⟨аиды⟩ Мережк⟨овской⟩ с приглашением. По тону можно было ждать чего-то важного, по крайней мере увидеть там редактора или Брюсова. Так как это близко, то поехал, застал дам и чуть не раскаялся. Но было забавно. Узнал только, что в первом № моих стихов не будет, но будут непременно позже [3]. Хуже мне не стало. Все, что там было и есть, и будет,— мне все равно. Я говорю об одном, а думаю о другом. «Здесь тайны все мои велики» [4]. Мне или грустно, или томительно, и я на стену лезу без Тебя, моя очаровательная. Хочу видеть Тебя одну во всем Твоем молчаливом и ароматном очаровании, сводящем с ума «скитальцев, детей и богов» [5]. Боюсь встретиться с Тобой завтра—Ты понимаешь, почему и о чем мои думы. Прежде страх был другой, я чувствовал, что я один боюсь и могу побороть страх в этих стенах, иногда заглушать его, иногда замаскировывать. Теперь боюсь еще потому, что у меня довольно расстроены нервы. Но все это пустяки и «сон мимолетный» [6], «только сердца напрасная дрожь» [7], потому что ближе и понятнее, и таинственнее глубокий сон моей страсти к Тебе и скрытая радость быть около Тебя, чувствовать Тебя рядом и верить близости. Бог знает, сколько тут еще несбыточного, непонятого нами в этой страстной и туманной поре. Молодость делает свое дело, облекает мир в свои думы, в свои линии, путает числа, года и месяцы. Я уже иногда не верю и не помню, кто Ты, прежняя, обманчивая, манящая фея, так бесчисленны и многогранны, и многолетни были мои думы и мечты о Тебе, все о Тебе. Как молния иногда мелькнет ночью в лесу с лунными бликами, лошадь дрожит и шарахается в сторону. И право, я не знал тогда, где Ты, не здесь ли, и все допускал, все невероятное и все невозможное, и сам дрожал от восторга и ожидания. И часто не мог понять, где огонь, какой огонь, что в этом огне, не знак ли это расцветающей страсти. И чудилась Ты в лилиях Офелии, с тяжелыми потоками золотых кос [8]. И кусты шевелились. Все это было, я знаю, что это было. И зима, и город, и внезапные встречи,— все вспыхивает и все безотчетно. Любви нет выхода из золотых сеток. Где я увижу Тебя? Лучше напишу послезавтра. Можно?

Скажи мне завтра, если будет можно. Если завтра не будет ни минуты



БЛОК В РОЛИ ГАМЛЕТА
Фотография, 1898
Музей Д. И. Менделеева, Ленинград

возможной, все-таки напишу. Или ты напиши, можно ли, только можно ли? Я получу письмо в понедельник или завтра ночью, когда приду от Вас.

Завтра будет «Вы» [9], и мне будет страшно и мятежно. Кончаю последнее письмо перед тем, как встречу Тебя. И «Вы» простите меня за кошмарность всех этих писем и бессмысленных мыслей. Et Vous, Ma Dame, верьте и помните, что «L.D.M своею кровью начертал он на щите» [10]. Завтра вы будете опять в отдаленном сиянии. И я целую Вашу ручку и прошу простить меня за все.

[1] Дата почтового штемпеля: 24 ноября 1902 г.

[2] То есть 24 ноября (письмо было написано накануне). См. предыдущее письмо.

[3] В письме от 20 ноября 1902 г. З. Н. Гиппиус-Мережковская (1869—1945) приглашала Блока в этот день к себе. В это время кружок Мережковского — Гиппиус подготавливал к изданию первую книжку журнала «Новый путь», где должны были

впервые появиться стихи Блока. Еще 9 июля 1902 г. З. Гиппиус писала Блоку: «Нам, наконец, разрешили журнал «Новый путь». Надеюсь, дадите мне стихов (не декадентских, а мистических, какие у Вас есть)». Далее, 15 сентября 1902 г., З. Гиппиус сообщила Блоку: «Ваши стихи... пойдут, я надеюсь, в первой книжке... Перцов в Вас просто влюблен» (неизданные письма — ЦГАЛИ). Редактор «Нового пути» П. П. Перцов (1868—1947), в свою очередь, писал Блоку 1 ноября 1902 г.: «Я с искренней радостью прочел Ваши стихи: мало что на свете радует больше, чем встреча с истинным, «божией милостью» талантом, в какой бы то ни было области, в области поэзии особенно. Мне лично Ваша поэзия «Прекрасной Дамы», как говорите Вы, или «Бого-природы», как говорю я, на языке моей философии,— особенно близка и понятна. Пусть же Она пошлет Вам лучшие свои вдохновения!» (неизданное письмо — ЦГАЛИ). Ответное письмо Блока от 5 ноября 1902 г. см. в книжке Перцова «Ранний Блок» (М., 1922, стр. 13), там же — подробности о сотрудничестве Блока в «Новом пути». Стихи Блока (десять стихотворений под общим заглавием «Из посвящений») были напечатаны лишь в мартовской книжке «Нового пути». Собираясь навестить З. Н. Гиппиус, Блок надеялся встретиться у нее с приехавшим из Москвы В. Я. Брюсовым, который принимал близкое участие в «Новом пути». Встреча их состоялась лишь в следующий приезд Брюсова в Петербург, 30 января 1903 г., в редакции «Нового пути».

[4] Цитата из первоначального, рукописного текста стихотворения Блока «Стремленья сердца непомерны...», написанного в сентябре 1902 г. (I, 680).

[5] См. примеч. 2 к письму № 15.

[6] Цитата из стихотворения А. А. Фета «Измучен жизнью, коварством надежды...»:

И все, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотской и бесплотный,—
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, только сон мимолетный.

[7] Неточная цитата из стихотворения А. А. Фета «День проснется — и речи людские...»:

И мои зажурчат песнопенья,—
Но в зыбучих струях ты найдешь
Разве ласковой думы волненья,
Разве сердца напрасную дрожь.

[8] Имеется в виду представление «Гамлета» в Боблове 1 августа 1898 г., когда Л. Д. Менделеева исполняла роль Офелии. Свидание с Блоком после этого спектакля Любовь Дмитриевна описала в своих воспоминаниях (см. ниже, на этой стр.).

[9] То есть обращение на «вы» при встрече «на людях».

[10] Цитата из стихотворения Пушкина «Легенда», с заменой латинской аббревиатуры A. M. D. («Ave, Mater Dei» — «Радуйся, матерь божия») инициалами Л. Д. Менделеевой.

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«Первый и единственный за эти годы мой более смелый шаг навстречу Блоку был вечер представления «Гамлета». Мы были уже в костюмах Гамлета и Офелии, в гриме. Я чувствовала себя смелее. Венок, сноп полевых цветов, распущенный напоказ всем плащ золотых волос, падающий ниже колен... Блок в черном берете, колете, со шпагой. Мы сидели за кулисами в полутайне, пока готовили сцену. Помост обрывался. Блок сидел на нем, как на скамье, у моих ног, потому что табурет мой стоял выше на самом помосте. Мы говорили о чем-то более личном, чем всегда, а главное, жуткое: я не бежала, я смотрела в глаза, мы были вместе, мы были ближе, чем слова разговора. Этот, может быть, десятиминутный разговор и был нашим «романом» первых лет встречи, поверх «актера», поверх вымуштрованной барышни, в стране черных плащей, шпаг и беретов, в стране безумной Офелии, склоненной над потоком, где ей суждено погибнуть. Этот разговор и остался для меня реальной связью с Блоком, когда мы встречались потом в городе уже совсем в плане «барышни» и «студента». Когда еще позд-

нее мы стали отдаляться, когда я стала опять от Блока отчуждаться, считая унизительной свою влюбленность в «холодного фата», я все же говорила себе: «Но ведь было же...» Был вот этот разговор и возвращение после него домой. От «театра» — сенного сарая — до дома, вниз под горку сквозь совсем молодой березничек, еле в рост человека. Августовская ночь черна в Московской губернии и «звезды были крупными необычно». Как-то так вышло, что еще в костюмах (переодевались дома) мы ушли с Блоком вдвоем в кутерьме после спектакля и очутились вдвоем Офелией и Гамлетом в этой звездной ночи. Мы были еще в мире того разговора, и было не страшно, когда прямо перед нами в широком небосводе медленно прочертил путь большой, сияющий голубизною метеор. «И вдруг звезда полночная упала...»

Перед природой, перед ее жизнью, и ее участием в судьбах мы с Блоком, как оказалось потом, дышали одним дыханием. Эта голубая «звезда полночная» сказала все, что не было сказано. Пускай «ответ немел», — «дитя Офелия» и не умела бы сказать ничего о том, что просияло мгновенно и перед взором и в сердцах.

Даже руки наши не встретились, и смотрели мы прямо перед собой. И было нам шестнадцать и семнадцать лет».

...Был вечер представления «Гамлета».— Представление состоялось в Боблове, в сенном сарае, 1 августа 1898 г. Описание этого любительского спектакля см. в книгах: М. А. Бекетова. Александр Блок. Изд. 2, Л., 1930, стр. 62—63; М. А. Рыбникова. Блок—Гамлет. М., 1923, стр. 9—14. Факсимильное воспроизведение рукописной афиши этого спектакля (автограф Блока) см. в наст. томе, стр. 119. *«И вдруг звезда полночная упала...»*— цитата из стихотворения Блока «Я шел во тьме к заботам и веселью...» (1898), которое Любовь Дмитриевна вслед за тем приводит полностью.

22

〈24 ноября 1902. Петербург〉[1]

ОФЕЛИЯ

Они шептали мне много, много,
Шептали страшное, страшное.
И, как он, искали дорогу,
А я забыла вчерашнее —
    забыла вчерашнее.

Вчера и сегодня — давно ли?
Отчего он такой молчаливый?
    такой молчаливый.
Я не нашла моих лилий в поле,
Я не искала плакучей ивы —
    ах, не искала плакучей ивы.

И не помню, не помню — скрою,
О чем берега шептали —
    берега шептали.
Ах, давно ли! Со мною, со мною
Говорили и меня целовали.

Он такой печальный и строгий,
Отчего он такой молчаливый —
    такой молчаливый?
Я скажу ему много, много
Про лилии, про песни, про ивы.

Он ушел по той же тропинке,
Куда уходили вчерашние —
уходили вчерашние...
И было в каждой былинке
Лицо его страшное —
такое страшное.

А я оставалась в поле,
Ах, оставалась в поле.
И не стало больше печали.
Вчера и сегодня — давно ли!
Со мной говорили — и меня целовали.
Меня целовали [2].

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Первоначальный текст стихотворения «Песня Офелии», написанного 23 ноября 1902 г. Без третьей и четвертой строф и с вариантами было в первый раз напечатано в журнале «Новый путь», 1904, кн. 11.

23

〈30 ноября 1902. Петербург〉 [1]

Я, изнуренный и премудрый,
Восстав от тягостного сна,
Перед Тобою, Златокудрой,
Склоняю долу знамена.

Конец всеведущей гордыне —
Прошедший сумрак разлюбя,
Навеки преданный Святыне,
Во всем послушаюсь Тебя.

Зима пройдет — в певучей вьюге
Уже звенит издалека.
Сомкнулись царственные дуги,
Душа блаженна, Ты близка [2].

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Стихотворение было написано 30 ноября 1902 г. и в первый раз напечатано в журнале «Новый путь», 1904, кн. 6.

24 [1]

〈6 декабря 1902. Петербург〉 [2]

Я страшно тороплюсь писать. Мое единственное счастье, Ты написала мне то, чего я *никогда* не забуду. Каждое слово— перл [3]. Мне нужно говорить с Тобой; завтра у меня реферат у г-на Варнека [4] от 2-х до 3-х часов дня. Это разбивает весь день. Кроме того, я боюсь, что Ты не получишь этого письма [5]. Все это, все, что было вчера с посыльным, и сегодня, когда я ждал письма днем,— ужасно. Я думал, что мама [6] все узнала или что-ниб〈удь〉 в этом роде. У меня нет слов, чтобы ответить на все, что Ты пишешь. Даю Тебе клятву последней и высочайшей святости, что я *думал* обо всем. Успокойся. Все происшедшее в эти 3 дня мистичнее, чем когда-нибудь. Третьего дня я нанял комнату [7]. Вчера я получил письмо и пошел на курсы [8], где Тебя не было. Оттуда — в эту комнату, которая оказалась *отданной* (почему — объясню после). При всем этом 2 *молчаливых* письма от Тебя (там не было причин)— с посыльным и после концерта [9]. Наконец — последнее письмо Твое. Так произошло это все. И я опять *клянусь* Тебе так же непреложно, что Ты *можешь* быть *свободна от сомнений*.

Я понял все до конца в Твоем письме. Сути настоящего я еще не понял окончательно, будущего — тоже не окончательно. Этого еще *нельзя* понять. Я только твердо и непреложно знаю, что Ты *теперь должна* быть свободна от сомнений и *МОЖЕШЬ* твердо *ВЕРИТЬ* [10] мне в том, о чем Ты думаешь. Все это я не могу довольно ясно выразить в эту минуту. Но *знай*, что *теперь* полновластны «свет, христианство и трагедия» [11], по причинам, частью темным для Тебя, а частью для меня. Говорю *теперь* (это теперь предположительно), верь, что это так, часть причин *должна* быть неизвестна, другую часть я попробую передать на языке, не достойном *Твоих* откровений и *Твоего* величия [12]. Завтра, если Ты можешь, будь в Исаакиевском соборе в 4 часа дня, мне *нужно* сказать, и я страстно хочу Тебя видеть. Верь и будь спокойна. Рассуждать и придумывать буду я.

[1] Это письмо (как и следующее) откололось от коллекции и сохранилось среди бумаг Л. Д. Менделеевой-Блок в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР.

[2] Дата почтового штемпеля: 7 декабря 1902 г.

[3] Приводим полностью письмо Л. Д. Менделеевой (почтовый штемпель 6 декабря 1902 г.), свидетельствующее, в частности, о том, что она пыталась усвоить мистическую «проблематику» и фразеологию Блока: «Мой дорогой, любимый, единственный, я не могу оставаться одна со всеми этими сомнениями, помоги мне, объясни мне все, скажи, что делать!.. Если бы я могла холодно, спокойно рассуждать, поступать теоретично, я бы знала, что делать, на что решиться: я вижу, что мы с каждым днем все больше и больше губим нашу прежнюю, чистую, бесконечно прекрасную любовь. Я вижу это и знаю, что надо остановиться, чтобы сохранить ее на век, потому что лучше этой любви ничего нет на свете; победил бы свет, Христос, Соловьев... Но нет у меня силы, нет воли, все эти рассуждения тают перед моей любовью, я знаю только, что люблю тебя, что ты для меня весь мир, что вся душа моя — одна любовь к тебе. Я могу только любить, я ничего не понимаю, я ничего не хочу, я люблю тебя... Понимать, рассуждать, хотеть—*должен* ты. Пойми же все всей силой твоего ума, взгляни в будущее всей силой твоего провидения (ты ведь знал, что придут и эти сомнения), реши беспристрастно, объективно, что должно победить: свет или тьма, христианство или язычество, трагедия или комедия. Ты сам указал мне, что мы стоим на этой границе между безднами, но я не знаю, какая бездна тянет тебя. Прежде я не сомневалась бы в этом, а теперь... нет, и теперь, несмотря ни на что, я верю в тебя, и потому прошу твоей поддержки, отдаю любовь мою в твои руки без всякого страха и сомнения».

[4] Борис Васильевич *Варнеке* (1874—1944)— в 1902 г. приват-доцент Петербургского университета по кафедре классической филологии.

[5] Письмо было адресовано на Высшие женские курсы.

[6] А. И. Менделеева.

[7] С 8 декабря 1902 г. по 31 января 1903 г. Блок и Л. Д. Менделеева время от времени встречались в меблированных комнатах, помещавшихся на Серпуховской ул., дом № 10. По этому адресу частично шла их переписка. В дальнейшем «Серпуховская» будет упоминаться неоднократно.

[8] Высшие женские курсы.

[9] 6 декабря Блок был на концерте певицы М. А. Олениной-д'Альгейм. Ровно через год, после другого ее концерта, Блок писал С. М. Соловьеву: «Был концерт Олениной. Со мной делалось сначала что-то ужасно потрясающее изнутри ⟨...⟩ Она пела, между прочим, «Лесного царя», «Двойника», «Два гренадера». К счастью, не было «Песен и плясок смерти», но была «Детская» Мусоргского. Люба была совсем потрясена, так же действовало и на маму. ⟨...⟩ Возвращаясь домой, я собирался написать о ней в «Весы», но вместо того вышла рецензия на «Urbi et orbi» в «Новый путь» (VIII, 72—73).

[10] Слова «можешь» и «верить» подчеркнуты дважды.

[11] Слова из письма Л. Д. Менделеевой (см. выше примеч. 3).

[12] Т. е. на языке поэзии.

25

〈13 декабря 1902. Петербург〉[1]

Я все думаю о волшебном, о Тебе. И сквозь эти бесконечно прекрасные, удаленные от всех людей (они все без исключений не понимают или не знают, в чем дело) думы,— постоянное житейское беспокойство о Тебе, о том, что, может быть, Тебе лучше не приходить в эту комнату на Серпуховской, пока я болен, потому что все эти люди какие-то грубые и подозрительные. Вчера я не мог дождаться ни дворника, ни Османа [2], говорил с женой управляющего и со швейцаром. Они оба более или менее отвратительны. У меня, в конце концов, просто чувство отвращения ко всем им и к тому внутренне нечистому, что они говорят, а главное — думают. Не лучше ли устроить так, чтобы в какие-либо личные отношения и разговоры с ними входил только я. А иначе Тебе (Тебе!) придется говорить, например, о письмах. Кроме того — это меблиров〈анные〉 комнаты, какое-то подозрительное и подмигивающее слово. И все они тоже подмигивают. Напиши мне прежде всего, что Ты думаешь об этом и можно ли писать Тебе, например, на курсы [3] (а, м.б., к Шуре? [4]). Тогда, по крайней мере, для этих серпуховских людей Ты будешь совершенно мимолетна. Понимаешь, что я боюсь не за одно имя, которое конечно никому из них не известно и не будет известно, а и за лицо, которое им примелькается, на которое они будут смотреть с любопытством (не с улыбкой ли еще?). Во всяком случае, моя репутация у них не высока, но это мне совершенно все равно, и я боюсь только за Тебя. Так как я говорил с ними не раз, то и имею основания для опасений. Если Ты согласишься, у меня сразу упадет гора с плеч, а так я и вчера и сегодня думаю об этом, и это отравляет самые чистые мысли. Как Ты получишь это письмо, меня тоже беспокоит. Напиши мне, как только можешь скорей, если хочешь, только несколько слов об этом [5]. Я лежу в постели и еще пока без жару. Не могу и просто не хочу догадываться о том, что говорила Тебе мама; думаю, что то, что она сказала, не похоже ни на что, что она необыкновенно далека от всего, что есть [6]. Имею дерзость и смелость так думать — и чувствовать, что я во всем своем бессилии и во всей тленности могу лучше хранить Твою вечную юность, чем все остальные, и имею на это неисповедимое право.

[1] Датировано по сопоставлению с письмом Л. Д. Менделеевой от 13 декабря 1902 г. (Дата почтового штемпеля— 14 декабря 1903 г.). См. примеч. 1 к письму № 24.

[2] *Осман* — очевидно, лакей в меблированных комнатах на Серпуховской.

[3] Высшие женские курсы.

[4] *Шура* — Александра Михайловна *Никитина* (1883—1942), подруга Л. Д. Менделеевой по Высшим женским курсам. Она была посвящена в роман Блока и Л. Д. Менделеевой; через нее иногда шли их письма. В дальнейшем имя ее будет встречаться неоднократно.

[5] В ответном письме (почтовый штемпель 14 декабря 1902 г.) Л. Д. Менделеева писала из комнаты на Серпуховской: «Мой дорогой, конечно я не буду ходить сюда, если это тебе хоть немного неприятно; пока же все было хорошо, я разговаривала только с Османом о письме, он и принес мне его сегодня. Мне будет немножко жалко не ходить сюда, здесь так хорошо думать, вспоминать о тебе у того же стола, на том же кресле, когда никто не может помешать. Ну, да все равно, я не буду ходить, милый, не беспокойся за меня. А писать ты можешь и на курсы, и домой иногда, например, завтра, в воскресенье». В дальнейшем Л. Д. Менделеева все же посещала меблированные комнаты на Серпуховской.

[6] Опасения Блока были вызваны следующим письмом Л. Д. Менделеевой (почтовый штемпель 13 декабря 1902 г.): «Мой дорогой, моя радость, что-то ты теперь делаешь, думаешь? Очень тебе плохо? А я сижу в нашей комнате, перечитываю твои стихи, но

больше все вспоминаю, вспоминаю... Знаешь, пожалуй, и лучше, что нам нельзя видеться, потому что тебе необходимо сидеть дома: приезжают к нам Менделеевы из Москвы, завтра или в понедельник; мне, конечно, придется почти все время быть с ними; и если бы только это мешало нам встречаться, мне было бы слишком досадно, я не выдержала бы, пожалуй, наделала бы глупостей и выдала себя. А я этого страшно боюсь теперь, мама что-то меня все рассматривает, а вчера даже говорила, что у меня какое-то усталое лицо; ну, да я решила теперь хорошенько взять себя в руки и притворяться во всю — буду весела, буду ходить с Менделеевыми по театрам, они еще, пожалуй, кстати теперь приехали, помогут мне! А отдыхать, думать о тебе, ждать тебя, вспоминать буду приходить сюда, в нашу комнату, когда удастся вырваться на минуту. Только ты не бойся за меня, поверь, уж я сумею разубедить и успокоить маму, я поняла, что нужно для этого, из ее же «того самого» разговора...». В следующем письме (от 14 декабря) Л. Д. Менделеева успокаивала Блока: «Знаешь, мой дорогой, мы можем совершенно успокоиться насчет мамы, я в этом убедилась вчера, хоть и немного неприятным образом, но зато уже наверно: мы с мамой сильно поссорились. Началось с пустяков и общих вопросов,〈...〉вспомнился «тот» разговор, и тут-то я и убедилась, что мама ничего не подозревает; она сама говорила, что просто хотела меня предупредить на всякий случай. Мы были настолько возбуждены, что мама не могла бы не высказать, если бы она знала или подозревала что-нибудь, но она даже не намекнула ни на что. Сегодня мама захотела продолжать и вчерашний, и «тот» разговор, но мне было слишком невыносимо и оскорбительно за нас слушать такие вещи, так что мы с мамой поссорились окончательно».

26

〈14 декабря 1902. Петербург〉[1]

Все, что только Тебе угодно, Ты должна исполнять. Если я буду иногда бояться за Тебя — ничего, если Тебе самой никогда не неприятно приходить в эту комнату, и даже немножко жалко не приходить. Теперь ночь, и я пишу один после целого дня стихов, разговоров и известий, литературных и политических. Я, наконец, написал настоящие хорошие стихи [2]. Сейчас ушел от меня Гиппиус (Александр) [3]. Все это не так важно и не так интересно, лучше потом рассказать, смотря в Твои глаза. Я весь день — через все — исполнен Тобой. Во втором Твоем письме о ссоре с мамой [4] мне все-таки мерещатся какие-то опасения. Какова была для Тебя эта ссора? У меня не было жара, я что-то надеюсь, что поправлюсь скорее. Лучше пока не думать о том, когда, потому что все может повернуться иначе. Я хочу все время писать о другом, чем пишу,— и не нахожу форм. Хочу сказать, что нет ничего обыкновенного (опять то же и так же бледно!), что нет ни сомнений, ни вопросов, что я люблю Тебя безумной, сумасшедшей частью души, самой глубокой и отдаленной, которая теперь охватила уже всю душу, безраздельно властна и могуча. Разум продолжает делать построения, душа горит и сгорает неугасимо. И опять о житейском: напиши мне, куда писать завтрашнее письмо, на Серпуховскую (если нет препятствий) или на курсы? Пока все это не устроится, не угнездятся все эти домашние птицы, я не могу не говорить о мелочах, не спрашивать Тебя о ненужном, потому что мне необходимо, чтобы Ты была устранена от мелкой практики, даже от заглазной критики недостойных. Прости меня, мне каждый день прибавляет знания о Твоем Совершенстве. Тут уж не о «небесном» даже я говорю. Это все — после, теория, не наше настоящее. Настоящее все вокруг Тебя, живой и прекрасной русской девушки. В Тебе то, что мне необходимо нужно, не дополнение, а вся полнота моя. Если Тебя не будет, я совершенно исчезну с лица земли, «исчерпаюсь» в творении и творчестве. Без Тебя я так немыслим, что, я думаю, некоторые просто видят, наконец, что действую не я сам, а что-то внутреннее вдохновляет. И уж конечно эти не

знают, кто это внутреннее, это Ты, и уж конечно я знаю, что это — Ты, что весь сложный механизм движется от Одного Двигателя — Тебя и Тобой. Тут вся моя цель и вся загадка и разгадка, «узел бытия», корни и цветы. Опять отвлеченно [5]. «Из окна» я вижу (теперь редко), как снег и Нева [6], и все ждет весны. Это я жду Тебя.— Не лучше ли писать реже на Забалканский [7]? Прости за все скачки и нелепости. Думаешь ли Ты, что я пишу неискренно? Больше этого не бывает. Я всегда хочу писать, и всегда при этом недоволен собой. Бледно, вяло. Прости меня, целую складки Твоего платья.

Твой.

[1] Дата почтового штемпеля: 15 декабря 1902 г.

[2] Имеется в виду стихотворение «Царица смотрела заставки...», написанное 14 декабря 1902 г. См. его ниже.

[3] Александр Васильевич *Гиппиус* (1878—1942) — друг юности Блока, товарищ его по юридическому факультету Петербургского университета; в молодости писал стихи, некоторые из них появились в третьем выпуске сборника «Русские символисты. Лето 1895 года» (под псевдонимом: Г. Заронин), другие, при посредстве Блока, были напечатаны в 1915 г. в журнале «Любовь к трем апельсинам» (под псевдонимом: Александр Надеждин).

[4] См. примеч. 6 к письму № 25.

[5] Л. Д. Менделеева 15 декабря писала Блоку в этой связи: «Твое письмо искренно и такое, которое я больше всего люблю — ты пишешь, что пишется, что приходит в голову; только зачем ты говоришь: «опять отвлеченно»? Разве ты думаешь, что мне «отвлеченное» менее интересно?»

[6] Неточность Блока: он жил на берегу Большой Невки, а не Невы.

[7] На Забалканском проспекте жили Менделеевы.

27

〈15 декабря 1902. Петербург〉 [1]

Пишу наудачу на курсы — и лучше без житейского, чище, свободнее и искреннее. Днем говорили, вечером говорили, теперь вечер кончается, и все говорят — и многое о ненужном. У литераторов делается чорт знает что! Мы будем смотреть со стороны и скоро увидим и услышим удивительные вещи. Все это теперь так меня касается, что я не могу не интересоваться этим, но если бы Ты знала, как это ни одной чертой, ни одной точкой не прикосновенно к моим глубочайшим и сокровеннейшим, всегда лучшим из всего, что было, есть и будет, мыслям о Тебе, песням о Тебе. Все кричат, а я молчу до неприличия, и через все так неизмеримо высоко и звонко поются песни о Тебе — слова и фразы, или одни только мелодии без звуков, иногда с случайными протекающими в голове словами — так же непроизвольно и безвольно, как шум деревьев, когда их качает ветер. Поет, поет — и все забывается, все светло и ярко, торжественно и тайно. Тут какая-то великая тайна «жизни по любви». Совершается закон лучшей награды за прежние и нынешние невозмутимые сны. Ты проходишь мимо, Ты здесь вся, неизгладимо вырезанное письмо на камне, глубокие черты сильной и верной руки Промысла. Вся судьба здесь. Я просматривал дневники, статьи и заметки, черновые стихи и прозу [2]. Там все то же и опять по-новому прекрасно, новая память, новые мысли. Вспоминаю Тебя всюду, неисчерпаемо и страшно — до жуткости богато. Не могу исчислить всех этих сгораний сердца, которые я, часто незаметно для Тебя, расточал перед Тобой и о Тебе — в опасные минуты, когда загоралось, «занималось» сердце, и держала мои слова уже не воля, а судьба — значит судьба. Если бы она тогда не управляла мной,— все бы было или потеряно или удалено бесконечно. Сегодня от Тебя не было

Офелія.

Они шептали мнѣ много, много,
Шептали страшное, страшное.
И, какъ онъ, искали дорогу,
А я забыла вчерашнее —
забыла вчерашнее.
Вчера и сегодня — давно-ли?
Отчего онъ такой молчаливый?
такой молчаливый.
Я не нашла моихъ лилій въ полѣ,
Я не искала плакучей ивы —
Ахъ, не искала плакучей ивы.
И не помню, не помню — скрою,
О чемъ берега шептали —
берега шептали.
Ахъ, давно-ли! Со мною, со мною
Говорили и меня цѣловали.
Онъ такой печальный и строгій,
Отчего онъ такой молчаливый —
такой молчаливый?
Я скажу ему много, много
Про лиліи, про пѣсни, про ивы.
Онъ ушелъ по той же тропинкѣ,
Куда уходили вчерашнія —
уходили вчерашнія.
И было въ каждой былинкѣ
Лицо его страшное —
такое страшное.
А я оставалась въ полѣ,
Ахъ, оставалась въ полѣ.
И не стало больше печали.
Вчера и сегодня — давно-ли!
Со мной говорили — и меня цѣловали.
Меня цѣловали.

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ БЛОКА «ПЕСНЯ ОФЕЛИИ» (1902 г.)

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

письма. Пиши только, когда хочешь. Напиши, куда писать, если хочешь, на Серпуховскую. Мне кажется, что я буду скорее здоров и скорее увижу Тебя. Ты «развлечена» теперь с Лид⟨ией⟩ Дмитр⟨иевной⟩ [3], мож⟨ет⟩ быть, это лучше? Напиши мне вдруг, внезапно, когда все смолкнет вокруг,— только несколько слов. Тут в эти мгновения, в этом внезапном молчаньи и отрешении, в этом возврате на мгновенье, я уверен, что-то есть. Мы еще поговорим об этом. В таком же внезапном «да» после длинного и тягучего «нет» (м. б., целого дня — понимаешь?) я уверен, что когда-нибудь найду для Тебя незабываемое слово или ощущение, или что-нибудь выходящее из обыкновенных рамок, из этой груды моих беспорядочных, хоть и любящих слов, которые я расстилаю перед Тобой устно и письменно. Тут нам откроется внезапное — и мы *поймем* до конца.

[1] Дата почтового штемпеля: 16 декабря 1902 г.

[2] См. примеч. 2 к письму № 18.

[3] Имеются в виду дневник 1898—1900 гг. (впоследствии уничтоженный Блоком) и дневник 1901—1902 гг., в состав которого входят наброски статей и художественной прозы (этот дневник впервые был опубликован в 1937 г. в «Лит. наследстве», т. 27—28).

Среди этих заметок выделяется рукопись под заглавием: «Возражение на теорию Мережковского». Полемическая запись, вызванная впечатлением от книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», постепенно переходит в сатирическую зарисовку личности ее автора. Бесславный конец личной судьбы как бы символизирует безысходность идеологической позиции Мережковского: «... Это констатированье мирового процесса, который во всей своей разоблаченности и представляет титаническую скуку до своего разрешения. Констатированье без разрешения. ⟨...⟩ Скука — потому, что это *не* конец *мира*, а только исторического процесса. Усталый взгляд назад, конспект углубленного разделения (не мир, а меч). Обетование без провиденья. ⟨...⟩ Таким образом констатированье собственной внутренней трагедии, субъективное, лирика между двух стульев. ⟨...⟩ Жизненная драма человека (ангелы, не забывшие своего начальства, но оставившие свое жилище) и общественного деятеля (полупробужденность вселенского сознания). Неудача в жизни (приходится стоять на сквознике), в творчестве (поздно, не то мало—не то много), в религии («Скорей, скорей! Зина, скоро ли?— (через несколько лет): ... Еще долго. У меня в моем новом романе—вечное углубление, вечное раздвоение... Хоть бы кто-нибудь плюнул в мою сторону... У меня великая грусть... Попы, «Ипполит», журнал... все равно. Зина, ты так кричишь, что через все двери слышно!»). Нет и не будет последнего вопля, все вопли — предпоследние. Договорил все, пришло время кричать — простудился, нет голоса. Поехал лечиться к Симановскому — вернулся, испугавшись мороза.

Внезапно в доме № 24 по Литейной сверху донизу во всех этажах раздадутся звонки. На пустой лестнице застучат — не шаги, не беготня, не вздохи. Ни старые, ни молодые ничего не поймут. Все будут смотреть в темноту. Он поймет. Он услышит и не взглянет. Но медленно, удрученный тяжелой мозговой ленью, пройдет в загроможденный кабинет к ленивому ужасу бесконечных томов и бумаг, ляжет на жесткий диван; бедный, скромный, больной, измученный, истоптанный, заброшенный. И... уже нельзя будет даже сойти с ума. А как нужно, как своевременно, как жалко» (VII, 67—68).

Эта заметка развивает тему более ранних набросков Блока к статье о русской поэзии в дневнике 1901—1902 гг. (см. прим. 2 к письму № 15). Ироническое определение: «ангелы не забывшие своего начальства...» впервые употреблено Блоком в письме к З. Н. Гиппиус 14 сентября 1902 г.: «Декаденты ведь ангелы, не забывшие о своем начальстве, но «оставившие» свое жилище» (VIII, 46). Имея в виду связь своей поэтической темы с чувством к Л. Д. Менделеевой, Блок писал: «Если будет и дальше все в таком роде, моя литургия и моя симфония будет достойна тех надежд, которые я возлагаю на нее с давних пор» (там же). Знаменательно, что вскоре, 25 декабря 1902 г., Блок писал Л. Д. Менделеевой о той роли, которую ей, вернее поэтическому образу, наве-

янному его любовью к ней, суждено было сыграть в отходе поэта от декадентства: «Я ведь не декадент. Это напрасно думают. Я позже декадентов. Но, чтобы мне выйти из декадентства современного мне, затягивавшего меня бесформенностью и беспринципностью, нужно было волею божиею встретить то пленительное, сладостное и великое, что заключено в Тебе» (наст. том, стр. 132).

[4] Лидия Дмитриевна *Менделеева* — приехавшая из Москвы родственница Л. Д. Менделеевой, участница любительских спектаклей в Боблове летом 1898 г.

28

〈15 декабря 1902. Петербург〉 [1]

Только я послал письмо, как получил Твое. Все разошлись, ночь, слава в вышних богу [2]. Ты, немеркнущая, мой голос, мой дух, мой Восторг, моя песня! Я хочу сказать красивей еще и еще, глубже еще, и еще, и еще. О, как я чувствую и думаю искренно! О, как я верю всему, зная все. Полубезумное сознание, сознательный бред; неужели Ты думаешь, что я не пишу отвлеченно (т. е. стараюсь не писать) потому, что мне кажется, что Тебе это не интересно. Я сам не хочу теорий, они только помогают, они сбоку, они — цветное стекло в сверкающем переливчатом окне. В Твоем окне, моя Любовь, моя жизнь! И к Тебе на это окно слетают белые голуби. Под это окно прихожу я, то задумчивый, то страстный, и не смолкну. Прикажи мне петь — и я буду петь; шептать — и я буду шептать. Ты теперь осталась одна — и это лучше. Тебе будет легче и тише, может быть. Я еще наговорю Тебе теорий, и напишу. Теперь же — я Твой безумный, восторженный, неумело слагающий думы. Вот стихи, они — хорошие, но что же стихи, когда Ты — здесь, Ты — со мной. Угадай, кто царица. Я уж и на нее не всегда (!) сержусь. Не могу уж сердиться, очень далеко, в тридесятом царстве! Постарайся и ты не сердиться, будет легче, будет звонче.

Царица смотрела заставки,
Буквы из красной позолоты.
Зажигала красные лампадки,
Молилась Богородице Кроткой.

Протекали над книгой Глубинной
Синие ночи царицы.
А к Царевне с вышки голубиной
Прилетали белые птицы.

Рассыпáла Царевна зерна,
И плескались белые перья.
Голуби ворковали покорно
В терему под узорчатой дверью.

Царевна румяней царицы,
Царицы, ищущей смысла.
В книге на каждой странице
Золотые, да красные числа.

Отворилось облако высоко,
И упала Голубиная Книга.
А к Царевне из лазурного ока
Прилетела воркующая птица.

Царевне так томно и сладко —
Царевна — Невеста, что лампадка.
У царицы — синие загадки,
Золотые, да красные заставки.

Помолись царица Царевне,
Богородице с золотыми косами,
От твоей глубинности древней —
Голубиной Кротости мудрой.

Ты сильна, царица, глубинностью,
В твоей книге раззолочены страницы.
А Невеста румянцем да невинностью
Твои числа замолит, царица [3].

[1] Дата почтового штемпеля: 16 декабря 1902 г.

[2] Слова церковной молитвы.

[3] Стихотворение было написано 14 декабря 1902 г. Впервые напечатано в «Новом пути», 1903, кн. 3— с вариантами в седьмой и восьмой строфах (см. I, 249—250). В этом стихотворении нашло отражение народнопоэтическое предание о Глубинной (или Голубиной) книге, упавшей с неба на землю. Это одно из самых популярных произведений духовной литературы явилось средоточием церковной мудрости русского средневековья.

Глубинной книгу называли от глубины премудрости, в ней заключенной, голубиной — по известному символу «духа святого». У Блока это предание переосмыслено в плане противопоставления «глубинной», книжно-рационалистической мудрости царицы и подлинно мудрой (религиозно-мудрой) «голубиной кротости» царевны. Судя по вопросу, который Блок задал в письме к Л. Д. Менделеевой («Угадай, кто царица...» и т. д.), можно предположить , что он приноравливал символику своего стихотворения к З. Н. Гиппиус («царица») и к Л. Д. Менделеевой («Царевна»), но само собой разумеется, что такое приноровление носило характер шутки. В седьмой строфе, очевидно, описка Блока; нужно: «Богородице златокудрой» (в окончательном тексте: «Царевне златокудрой»).

29

〈16 (?) декабря 1902. Петербург〉 [1]

Сегодня я приходил днем даже в уныние от разговоров с мамой и пр. Разговоры неприятные о том, что «вообще» (Тебе знакомые). Но, как-то до конца мы, к счастью, не договорились, и я обратился к греческой философии, которая очень помогает мне теперь. Удивит ли Тебя это? Как ни странно, не только греческая философия (особенно, времен Христа), но и всякая «настоящая» книга, трактующая о вечном, теперь понятна и близка мне. Я уже могу найти там Твое изображение. Более или менее длинные лестницы философских, литературных и исторических (даже естественноисторических!) понятий — все идут к Одному Незыблемому и Затерянному в тех Эдемах, куда я силюсь восходить, чтобы услышать там ясный и близкий Страх божий, запечатленный в моем существе *от века* (это уж религия), как *Твое* откровение. В этой запутанной формуле коренится однако вся суть «моего» и в ней же—приблизительное изображение моей молитвенной любви к Тебе. Оттого, что «все имеет свое место», как звено непрерывной цепи, все должно вступить в *органическую* связь с моим последним выражением, с тем, что составляет мою цель и полное уничтожение моего личного «я» — с Тобой в будущем. Здесь (как это ни странно) я все еще стою на точке зрения не собственной только, а на мировой, вселенской, постигнутой многими, как и непостижимой для многих, мистической философии. И без конца, если бы это было нужно, я разви-



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА В РОЛИ ОФЕЛИИ
Фотография, 1898
Собрание В. Н. Орлова, Ленинград

вал бы очень стройную, далеко не рассудочную (это важно) систему, которая свелась бы к объяснению моих отношений к Тебе — к объяснению их отличия (резкого, крайнего, полного) от «обыкновенных» любовных отношений. Но это теперь не нужно, потому что, во 1-х, об этом лучше говорить, чем писать, во 2-х — теперь время еще первое, туманное, мы еще пробуждаемся, я еще «не угадал Твоего имени» [2], еще так ослеплен Твоим благоуханным настоящим, что не постигаю пророчески твоего будущего. Только еще, храня Страх божий, не смею взглянуть в лицо Тому, от Кого исходит этот Страх. Ты хотела верить, не смейся же теперь. Не думай, что все это один рассудок, воображение, идеализация, «небесное». Главное, об этом прошу Тебя; если не можешь верить этому, верь пока тому, что я в это верю. Помни одно: если бы я относился к Тебе теперь иначе, более обыкновенно, клянусь Тебе, что я бы *заставил* Тебя поверить во все чудесное. Это было бы кратковременно, но Ты бы верила, и теперь вот, в настоящую минуту — испытывала бы удивление, экстаз почти безумный. Но Ты для меня теперь — глубина неисповедимая, и я не имею силы до времени испытывать Твой Дух. Пока я только уверен сам, но уверять Тебя иначе, чем словами — не в моей власти.

Твой

Прости меня за это письмо. Ни оно, ни я, и ничего — не достойно Тебя.

[1] Датировано по связи с окружающими письмами. Это письмо было отправлено не по почте, а, очевидно, с посыльным и в адрес А. М. Никитиной (подруги Л. Д. Менделеевой). На конверте — надпись: «С просьбой передать Любови Дмитриевне Менделеевой».

[2] Измененная цитата из стихов Вл. Соловьева (см. ниже — примеч. 7 к письму № 31).

30

〈17 декабря 1902. Петербург〉 [1]

И я, как Ты, сегодня и днем и вечером много говорил. У меня был Грек [2], опять говорили о самоубийстве, я ему говорил спокойные и здравые слова, во многом скрывая мою мятежность, мой страстный порыв к Твоему солнцу. Кружится голова и возникают мечты и сны непрестанные, блаженные, тревожные — все о Тебе. При нем получил Твое письмо и распечатал его только сейчас, когда он ушел и я совершенно один, и никого нет в квартире. На меня дохнуло Твоей жизнью, Твоей чистотой и молодостью,— мне больше этого не надо, здесь — все. Брожу около этих берегов и слушаю волны. Твои слова прекрасны, им нет равных. Помни, что будет несказанно прекрасное, чего мы не поймем, а только будем счастливы. Не тревожься, помирись с окружающим [3]. Когда я ждал тебя в то отдаленное и прекрасное время Твоего молчания, мне были незаменимы часто простые люди, простые слова, разговоры, театры. В этом мимолетном, бесцельном можно все время прислушиваться, можно сгорать сердцем, чуя где-то вдали скрытое и готовое вспыхнуть мерцание другого сердца. Там бьется и замирает другое и близкое. И во всем невинном хаосе окружающего, как будто ненужном, всплывает прекрасное и доброе, как бы веет тихое, греющее, пророческое знамя. И в его теплых складках таятся мгновения, готовые снизойти и осуществиться. Это хорошо, это — так надо. Через это вся простая жизнь примиряется с желанной жизнью как будто в каком-то «голосе тонкого холода» [4]. И теперь, моя Тайна, моя Любовь, Ты, светлый и белокрылый Ангел, мне это чувство часто знакомо, через всю тревогу, через все глубокое потрясение, через вихрь моей Любви к Тебе. Ты устала теперь вообще, от «разного», от «нового», а не только от окружающих людей и слов. И я иногда чувствую эту усталость от «сладкого бремени». Она легка и выносима, потому что близка к томно-зовущему голосу. Ведь и райские птицы устают от счастья. Когда Ты очень устанешь, не пиши, Тебе трудно. Я все пойму и все знаю, и, хотя Ты бесконечно высоко надо мной, и в мои долины смотрит то же солнце — один и тот же луч. Помни все время, что я сердцем с Тобой, что Ты — властная, а я — подвластный, и нет больше моей Любви к Тебе; что никакая сила в мире не страшна для Тебя по отношению ко мне. Верь этому и будь хоть в этом спокойна. Мне нужна только Твоя жизнь, бьющаяся около, и в этом я сам чувствую свою силу и свою власть над остальным — бедным и преходящим. Для Тебя — мое сердце, все мое и моя последняя молитвенная коленопреклоненность.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Виктор Викторович *Грек* (ум. в 1914 г.)— товарищ Блока с детских лет (сын одного из офицеров л.-гв. Гренадерского полка, сослуживца отчима Блока). Биограф Блока, М. А. Бекетова, сообщает: «В годы ученья в гимназии Блок дружил и с Греком, который был уже тогда юнкером, а потом и офицером Гренадерского полка. Они разошлись уже после женитьбы поэта просто потому, что жизнь их пошла различными путями, но у них сохранились хорошие отношения до самой смерти Грека, который был убит в германскую войну в одном из первых сражений. Грек был очень умный, страстный, самолюбивый юноша демонического склада, верил в судьбу, носил в кар-

мане заряженный револьвер. Одно время увлекался спиритизмом. По свидетельству его жены, очень крупной и своеобразной женщины, Блок занимал в его жизни исключительное место, и такого друга, по словам покойного, у него уже после никогда не было» (М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Изд. 2. Л., 1930, стр. 50).

[3] Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 17 декабря 1902 г.): «Весь день ждала я этого часа, когда останусь одна вечером, в тишине. Думала, что смогу сказать тебе мои бесконечные думы о тебе, мою любовь... Но я так устала за день от всех людей, мне так нужно все время напрягать внимание и волю, пока я с ними (а сегодня у меня не было ни минуты покоя), что даже писать тебе мне трудно — прости, опять глупое, вялое письмо! Утром была я на курсах, не успела хорошенько вчитаться в твои письма (если бы я умела говорить о стихах, я сказала бы самые восторженные слова об этих, но я могу сказать только, что люблю их так же, как и все, что ты пишешь), пришла Шура, пришлось долго говорить с ней, ничего не рассказывая, а это трудно — не потому, что мне хочется рассказать, теперь этого со мной никогда не бывает, трудно отклонять вопросы или неопределенно отвечать на них, когда она знает так много. Сегодня же вернулась Лида, и с ней пришлось «проболтать» весь вечер, а завтра весь день тоже должна быть с ней, вечером идем опять в театр. Хорошо еще было бы, если бы хоть кончилось все скоро, но ведь, представь себе, мой дорогой, на рождество приезжает тетя (мамина сестра), я обыкновенно все время проводила с ней, часто ходили в театр,— как мы будем видеться? Такая досада на всех и тоска без тебя!»

[4] «Глас хлада тонка»— выражение из славянской Библии, примененное Вл. Соловьевым в стихотворении «В стране морозных вьюг...».

31

⟨18 декабря 1902. Петербург⟩ [1]

Сейчас я вошел в свою темную комнату и увидал на столе письмо. Когда зажег лампу, оказалось не от Тебя, а от Лучинской (матери) [2], которая просит читать у них на вечере в четверг. Разозлился на все и, конечно, написал отказ. Во 1-х — письмо не от Тебя. Кроме того, во 2-х — там говорится о том, что я, мож⟨ет⟩ б⟨ыть⟩, могу (все-таки!) возобновить в памяти все, «что забыто в силу новых вкусов и идеалов». В сущности, это ничего не значит, но я везде вижу намеки и злюсь. Какое им всем дело до того, что им и присниться не может! Час от часу, миг от мига все страстнее хочу Тебя видеть, думаю о несбыточном. Велят сидеть дома, но я сокращу сроки, как только возможно. Что Ты делаешь, что Ты думаешь? Что вокруг Тебя? Думаешь ли Ты, как я, я о том, что когда-нибудь, скоро, совершится то, о чем мы и подозревать не можем — с нами? И скоро — «во мгновение ока» [3]. Я не даром надышался твоих вербен, и не даром пригрезилось мне много странного и великого в эти годы. Ты сильна той Лазурью [4], которая не может «быть» без проявления (как истинное «бытие»). Нас колышет, нас влечет и дразнит. Одна женщина, принадлежавшая к Пифагорейской общине [5], в VI веке до Р⟨ождества⟩ Хр⟨истова⟩ (заметь, заметь!) написала между прочим вот что: «Когда женщина победит низшие побуждения и овладеет гневною силою духа, тогда родится в ней божественная гармония» [6]. И все эти Пифагоровы братья и сестры считали себя «равными блаженным богам». И еще много чего «странного» есть в истории. «Люди» не поверят всему этому. Хочешь верить *Ты*? Я верю. Но мне нужно «угадать Твое имя», потому что уже «тает лед, расплываются хмурые вьюги, расцветают цветы» [7]. Солнце повернуло на весну. Как красиво и как тревожно! — Я почему-то опять беспокоюсь о том, что у Тебя вышло с мамой. Не указывает ли это на то, что она о чем-нибудь догадывается? Конечно, это пустяки, и Ты будь

спокойна. Кончатся ли курсы 20 или 21 (в субботу)? Вот видишь, пишу опять, о чем пишется, о большом и о малом — все вместе. Сегодня опять были разговоры о Мережк⟨овских⟩, о религ⟨иозно⟩-фил⟨ософском⟩об-щ⟨естве⟩, и т. п. Скоро мы «оставим всех Мережковских»[8]. Зин⟨аиду⟩ Ник⟨олаевну⟩[9] я понял еще больше, она мне теперь часто просто отвратительна. Чем больше я узнаю о «петербургском», тем глубже и чаще думаю и чувствую по-«московски». Чего хотят все эти здешние «на освященном месте»[10]? Скоро все это откроется. Знаменательно теперь новое появление г-на Добролюбова на литерат⟨урно⟩-мистических горизонтах[11]. О, как они все провалятся! Я же с Тобой и от Тебя беру всю мою силу противодействия этим бесам. А силы понадобится много.

Твой безраздельно.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] *Лучинские* — знакомые Блока с осени 1900 г. В их доме устраивались литературные вечера, в которых принимал участие и Блок (см. «Письма к родным», стр. 57).

[3] Цитата из «Первого послания к коринфянам» апостола Павла (XV, 52).

[4] Ср. в стихотворении Блока «Не сердись и прости...» (10 июня 1901 г.):

Мыслью сонной цветя, ты блаженствуешь много,
Ты лазурью сильна.
Мне — другая и жизнь, и другая дорога,
И душе — не до сна.

[5] *Пифагорейцы* — религиозно-мистическая секта и политическая партия, действовавшая в Греции в VI—IV вв. до н. э. и считавшая своим учителем математика и философа Пифагора (ок. 580—500 до н. э.). Мистика пифагорейцев была тесно связана с орфическими учениями о бессмертии души, о переселении душ и т. п.

[6] Блок вычитал о пифагорейцах в «Очерках древнейшего периода греческой философии» М. Н. Каткова, напечатанных в сборнике «Пропилеи», кн. 1, М., 1851, стр. 305—359. Среди бумаг Блока имеется сделанный им как раз в 1902 г. конспект очерков Каткова; здесь подчеркнута именно та фраза, которую Блок привел в письме к Л. Д. Менделеевой. В ответном письме (почтовый штемпель 18 декабря 1902 г.) Л. Д. Менделеева писала: «Ты пишешь что-то, что я не совсем понимаю, но раз ты веришь всему этому, буду верить и я, пойму потом. Только где я возьму «гневную силу духа»? Не знаю, ведь теперь-то уж никакой ни воли, ни силы у меня нет; сила любви — что-то похожее на полное бессилие. Но я все-таки твердо верю, что, когда это нужно будет для тебя, я сумею и силу найти, сумею и понять все, пойму, где твое счастье и что я должна делать. А теперь я понимаю только, что мне нужно видеть тебя, что пока я тебя не вижу, я точно не живу, так пусто и ненужно все кругом».

[7] Цитаты из стихотворения Вл. Соловьева «Лишь забудешься днем...» в первоначальной редакции («Книжки Недели», 1898, № 12, стр. 49):

Тает лед, утихают сердечные вьюги,
Расцветают цветы...
Только имя одно Лучезарной подруги
Угадаешь ли ты?

(в окончательной редакции первая строка читается: «Тает лед, расплываются хмурые тучи...»; Блок, очевидно, непроизвольно сконтаминировал первую редакцию с окончательной).

[8] Фраза Л. Д. Менделеевой, занесенная Блоком в его записную книжку № 3 (август — осенние месяцы 1902 г.): «Я прошу Вас оставить всех Мережковских» (З. К., 42). Л. Д. Менделеева относилась неприязненно к кружку Мережковских и особенно — к З. Н. Гиппиус (в последнем случае примешивалось и чувство ревности).

[9] З. Н. Гиппиус-Мережковская.

[10] Блок в это время испытывал острое разочарование в «новохристианских» идеях Мережковских. Особенно раздражен он был их пренебрежительным отношением

к мистической проповеди и к литературному наследию Вл. Соловьева, которое для Блока было «освященным местом». Так, в письме к М. С. Соловьеву (брату философа) от 23 декабря 1902 г. Блок, откликаясь на известие о том, что стихи его должны появиться в альманахе «Северные цветы», утверждал: «Мне лично тут еще, кроме всего другого, особенно важно, что мои стихи будут помещены в *московском* сборнике — оттого, что Ваша Москва чистая, белая, древняя, и я это чувствую с каждым новым петербургским вывертом Мережковских...». И далее: «M-me Мережковская однажды выразилась, что Соловьев устарел и «нам» надо уже идти дальше. Чем больше она говорила таких (а также и многих других!) вещей, тем больше я на нее злюсь, и иногда даже уж до такой степени злюсь, что чувствую избыток злобы и начинаю напоминать себе о ее несомненных талантах» (VIII, 48—49).

[11] Александр Михайлович *Добролюбов* (1876—1944?) — поэт-декадент, предававшийся и в быту всем крайностям декадентского «демонизма», но в 1899 г. неожиданно обратившийся к религиозному аскетизму и проповедничеству. Впоследствии он основал в Поволжье многолюдную секту «свободных христиан» («добролюбовцев»). В 1902 г. после скитаний по монастырям Добролюбов на короткий срок снова появился в Петербурге и якобы был намерен «вернуться в жизнь интеллигенции» (см. Валерий Брюсов. Дневники. М., 1927, стр. 117 и 126). Блок в сентябре 1902 г., отмечая «отсутствие идеалов у декадентов», назвал Добролюбова — автора бессмысленных и бесталанных виршей —«главой лапососания» (З. К., 43). В декабре 1902 г. в цитированном выше письме к М. С. Соловьеву Блок, говоря об отрицательном отношении Мережковских к Вл. Соловьеву, добавлял: «В довершение всего на сцену выступает г-н Добролюбов, который «выздоровел»! Наше место свято» (VIII, 49),—в декабре 1902 г. А. М. Добролюбов по требованию матери был помещен в психиатрическую лечебницу, но по медицинскому освидетельствованию был признан душевно здоровым. Впоследствии, в апреле 1903 г., Блок, отчасти под впечатлением религиозно-нравственного проповедничества Добролюбова, посвятил ему сочувственное стихотворение («А. М. Добролюбов»), в котором охарактеризовал его, как «больное дитя». Еще позже, в 1906 г., Блок писал И. М. Брюсовой, приславшей ему книги А. М. Добролюбова («Собрание сочинений», М., 1900, и «Из книги невидимой», М., 1905): «У меня за последние годы все еще только приготовляется какое-то «отношение» к Добролюбову. Часто я закрывал глаза на него; иногда мне казалось воистину, что А. М. Д. «своею кровью начертал он на щите»... Кажется, я начну теперь понимать в этом (добролюбовском) направлении все больше. Мало удовлетворяли анекдоты, да и сам Добролюбов, просящий сахару в чай у «сестры Зинаиды Гиппиус» (это было раз при мне)» (VIII, 150—151). О Добролюбове см. в издании «Русская литература XX века», под ред. С. А. Венгерова, т. 1, М., 1914, стр. 265—287.

32

〈19 декабря 1902. Петербург〉[1]

Утром 18 декабря на это письмо я, конечно, написал, что не приду. Послал также Мережковской свою Голубиную книгу (последние стихи, больше еще не написал) [2]. Можешь ли Ты устроить так, чтобы нам увидеться завтра (в пятницу 19-го) вечером в половине 9-го (8 ½) на Серпуховской? Пойти к Шуре, например? Боюсь, что это трудно. Во всяком случае, до завтрашнего вечера Ты успеешь написать. Если нельзя, то напиши про субботу — днем, или вечером. Выйти мне, в сущности, можно и в пятницу. Хочу Тебя видеть больше всего на свете, расскажу Тебе «про лилии, про песни, про ивы» [3]. На Зинаидином письме пишу нарочно — для веселья.

Твой поэт и поклонник.

[1] Дата почтового штемпеля. Написано на обороте следующей записки З. Н. Гиппиус:

«Среда 17

Не придете ли завтра (четверг) вечером к нам? Я все время была больна, да и теперь еще не совсем выздоровела. Завтра, может быть, будет первый экземпляр «Пути».

Ваша З. Гиппиус».

² Стихотворение «Царица смотрела заставки...» (см. письмо № 28).

³ Из стихотворения Блока «Офелия» (см. письмо № 22).

33

⟨23 декабря 1902. Петербург⟩ [1]

Если бы только увидеть Тебя скорее, остальное все прекрасно. Ты знаешь, что я молодею около Тебя. С тех пор, как Ты изменила внезапно всю мою жизнь, я чувствую с каждым днем все больший подъем духа. У меня никогда не бывало зим без долгих и бесплодных часов апатии. Теперь нет давно уже ничего подобного, у меня столько энергии, сколько никогда не было. Твоя близость действует незримо и таинственно, дает сознание какой-то «породы», очищающейся и расцветающей. Сегодня я уходил днем в город, был на Забалканском и у нас [2]. Когда я вошел, я увидел свет над дверью (там была поднята штора) и стал открывать ее и шевелить без ключа, и мне казалось, что я опять услышу за дверью шорох Твоего платья, и Ты откроешь мне. Почему-то мне казалось так, хотя я и не надеялся. И был немного разочарован. Но это будет, скоро и вместе как долго! Завтра, 25-е и потом только вечером 26-го — и Ты будешь не одна. Тогда нам лучше стараться не делать ни малейших намеков, это и легче даже, потому что от намеков разгорается сердце. Я читал Твое письмо [3], которое Ты дала мне, и подумал, что если бы я получил его тогда же, в прошлом году (т. е. после 29 янв⟨аря⟩ [4]), я и тогда же разубедил бы Тебя во всем. Я бы понял тогда сразу, что разом с отвлеченных намеков нужно перейти к реальному и страстному до сумасшествия признанию во всем. Может быть, Ты до сих пор думаешь, что было когда-нибудь время, когда я *только* думал о Тебе, и не чувствовал Тебя, живую, источник моей *жизни*, а не моей фантазии. Этого никогда не было. Было только время, когда Твоя холодность принимала такие размеры, что мне *оставалось* только ждать загробных свиданий. Но не было дня, когда бы я на первое слово, движение, улыбку в мою сторону не ответил бы Тебе со всей земной страстью; и Ты напрасно думаешь и теперь, что бывают у меня дни отвлеченные и реальные. Бывают *более* отвлеченные, когда я надышусь метафизикой из книг или от людей, которые все говорят, в сущности, об одном. Тогда я только чувствую еще и будущие миры. Но никогда, раз навсегда клянусь Тебе, я не в силах уйти в полную отвлеченность. Я *никогда* не забуду, что Ты живая и молодая, такая, как Ты есть перед глазами, в простом человеческом сердце моего существа. Ты принимаешь за отвлеченное, м. б., иногда образы и фантазии в рифмах. Но ведь стихи и образы не рассудочны. Только форма их гранится рассудком (окончательная), а содержание и, главное, «субстанция» всегда выпевается из сердца прямо, непосредственно. Воля, которая выражается в стихах, есть страстная, а не разумная воля. Я люблю Тебя так, как наверно никогда и никого не любил и не полюблю. Ты — вся моя *молодость*, моя *живая* надежда, мое *земное* бытие. Ты — мой идеал не только «там», но и «здесь». И это было так всегда с тех пор, как я Тебя встретил. И *всегда* я сказал бы Тебе о моей страсти, если бы Ты *позволила* мне в прежние года говорить не только о бесстрастном. Но Ты никогда *не позволяла* мне этого, и это было так *надо*. Я писал бы Тебе сейчас всю ночь. Я полон Тобой весь день. Я хочу обнять Тебя, гладить Твои волосы, смотреть в Твои глаза. Напиши мне о том, что Ты чувствуешь, какое настроение, приехала ли Твоя



БЛОК В РОЛИ ГАМЛЕТА («ГАМЛЕТ»)
В роли королевы Гертруды — Серафима Дмитриевна Менделеева
Фотография, 1898
Музей Д. И. Менделеева, Ленинград

тетя? Я получил очень интересное и важное письмо, которое покажу Тебе,— от Мих⟨аила⟩ Серг⟨еевича⟩ Соловьева, который спросил Брюсова, будет ли он печатать мои стихи в «Северных цветах», на что Брюсов ответил: «О, да — и как можно больше». Это приятно во многих отношениях [5]. А Ты поверь мне до конца, что я люблю Тебя земной любовью, что больше этой любви нет пока, а *потом* только настанут иные времена. Но мне *не надо* их *теперь*, потому что в Тебе такой, как Ты есть,— мое все, моя вера, мой бог.

[1] Дата почтового штемпеля: 24 декабря 1902 г.

[2] На Забалканском — т. е. у Менделеевых; у нас — т. е. в меблированных комнатах на Серпуховской улице.

[3] Вероятно, имеется в виду письмо Л. Д. Менделеевой от 29 января 1902 г., которое она передала Блоку позже.

[4] См. примеч. 1 к письму № 3.

[5] «Ваше известие о Брюсове, которого я в Петербурге не видел, обрадовало нас с мамой очень сильно. Еще раз благодарю Вас за все это», — писал Блок М. С. Соловьеву 23 декабря 1902 г. (VIII, 48). Михаил Сергеевич *Соловьев* (1862—1903) — педагог и переводчик, брат Вл. Соловьева и редактор посмертного издания его сочинений; был близок с символистами. Был женат на двоюродной сестре матери Блока и содействовал установлению связей Блока с московскими символистами, в частности — с В. Я. Брюсовым. В октябре 1902 г. он передал Брюсову стихи Блока. Тогда же, говоря о знакомстве своем с произведениями ряда молодых поэтов, Брюсов записал в дневнике: «Всех этих мелких интереснее, конечно, А. Блок, которого я лично не знаю» (Валерий Брюсов. Дневники. М., 1927, стр. 122). См. также примеч. 10 к письму № 31.

[6] Ольга Михайловна *Соловьева* (1855—1903) — жена М. С. Соловьева, художница и переводчица — с большим интересом и сочувствием отнеслась к первым произведениям Блока. Стремясь содействовать их опубликованию, она послала два стихотворения З. Н. Гиппиус. Отрицательный отзыв Гиппиус и Мережковского вызвал возмущение Соловьевых и друга их сына Сергея—юного поэта Бориса Бугаева (Андрея Белого). 19 сентября 1901 г. О. М. Соловьева писала матери Блока: «Мне кажется, я виновата перед тобой и Сашей. Меня колет это сознание ⟨...⟩ Да, я виновата, я послала Гиппиус Сашины стихи, на что не получала от него никакого разрешения и не знаю, позволил ли бы он. Двое стихов: «Предчувствую тебя» и «Ищу спасенья». Я не скрыла имени автора, но ни о каком «Мире искусства» или чем-либо подобном не упоминала. Это было бы похоже на искание протекции. Просто послала с прибавлением всех наших мнений. Гиппиус разбранила стихи, написала о них резко, длинно, даже как будто со страстью. Я почувствовала себя предательницей и мне стало нехорошо.

Теперь я в первый раз за всю нашу переписку сердита на Гиппиус. Можешь себе представить Борю и Сережу! Сережа говорит, что «вся эта компания, и Гиппиус, и все они» принадлежат к партии Антихриста и что в случае с Сашей видны рожки» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 55, лл. 49—50 об.).

В «Автобиографии» Блок писал: «Первыми, кто обратил внимание на мои стихи со стороны, были Михаил Сергеевич и Ольга Михайловна Соловьевы» (VII, 14). Вероятно, и о них он думал, говоря: «Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства, которое через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных кругах» (там же).

34

⟨24 декабря 1902. Петербург⟩ [1]

Прости меня, что я не приду сегодня. Сейчас получил Твое письмо (утром). Чувствую себя так, что знаю, что, если выйду сегодня, должен буду просидеть дома еще несколько дней. А это хуже еще, чем мой сегодняшний отвратительный поступок — сиденье дома, когда Ты ждешь меня. Но Ты простишь, я верю и все-таки раскаиваюсь и сержусь на себя. Но ведь лучше один день, чем несколько. Отчего Ты просишь разорвать письмо, оно прекрасно [2]. Напишу еще вечером, потому теперь прекращаю. Прости меня еще раз — в том числе и за это бестолковое письмо. Хуже трудно написать. Вот его-то и нужно уничтожить.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] В этом письме (почтовый штемпель: 23 декабря 1902 г.), которое Л. Д. Менделеева охарактеризовала как «чепуху», она сообщала о незначительных семейных событиях и уславливалась с Блоком об очередной встрече: «Тетя приехала сегодня. Сейчас они с мамой уехали, а я сижу дома и досадую, что не знала раньше, что это будет так, и что ты так далеко и поздно предупредить тебя. Но завтра я хочу видеть тебя во что бы то ни стало и, кажется, это можно устроить так: я пойду за билетами в Итальянскую оперу, а оттуда на Серпуховскую часа в два. Только мне можно пробыть никак не позже 4 часов. Если хочешь, приходи к 2 часам, я постараюсь быть непременно, выдумаю что-нибудь».

35

〈24 декабря 1902. Петербург〉

У меня опять жар, и потому я пишу карандашом (а бумага нарочно другая — от мамы). Все это нелепо и возмутительно. Пожалуй и 26-го придется сидеть дома. Теперь я совсем один, наши уехали. Средств примирения у меня два: 1) Постоянная бодрость духа, которую даешь мне только Ты. 2) Надежда на сравнительно скорое выздоровление. Если бы не Ты, мне было бы довольно все равно, есть или нет жар. Но такая моя частая связанность постоянно беспокоит меня по отн〈ошению〉 к Тебе. Есть, пожалуй, еще утешение, что теперь праздники, и мы все равно не могли бы видеться каждый день. Несмотря на все эти «преимущества», мне очень тяжело и тоскливо без Тебя. Твое утреннее письмо было такое живое и свежее. Какая досада, что в то время, как Ты вчера была дома одна, я был на Серпуховской и смутно надеялся Тебя видеть! Ко всему еще досадно, что после моего выздоровления, мне придется отбыть несколько праздничных условных посещений. И это отнимет время. Сегодня Ты ждала меня, это всего ужаснее. Сердишься ли Ты на меня? Во всем этом, конечно, виноват опять-таки я. Сколько времени Ты ждала меня? Неужели два часа? Напиши, прошу тебя. Я напишу завтра еще. Не лучше ли писать не только к Тебе, а также через Шуру [1]. Если Ты не боишься серпуховских швейцаров, приходи туда, если это может доставить Тебе сколько-нибудь удовольствия. Прости меня, до свиданья.

Твой

СПб. 24 дек. 1902.

[1] А. М. Никитина.

36

〈25 декабря 1902. Петербург〉 [1]

Пишу Тебе, очертя голову, не зная, как Ты получаешь письма. Беспокоюсь об этом. Сегодня — два твоих письма, боже мой, какие небывалые, несказанные слова! Я совершенно окружен излучинами Твоего сердца, думаю о том, когда мы увидимся, упрекаю себя за вчерашнее. Кажется, у меня до сих пор жар — придется ждать. Наконец-то у Тебя озарены глубины Твоей души. Я думал, что туда, в загадочную для меня область, в мое несбыточное, не проникнут мои лучи при всем их пылании. Но здесь, очевидно, судьба, дело какого-то светозарного бога, ангела, благосклонного ко мне. Здесь завязываются узлы каких-то заранее предначертанных целей, как у Ап. Григорьева:

Да, я знаю, что с Тобою
Связан я душой.
Между вечностью и мною
Встанет образ Твой [2].

«Знаю только одно, что безумно люблю» [3]. Это и есть моя вечность, моя углубленная стихия, последняя цель, с которой издавна связывалось все происшедшее в моей жизни. Сегодня у меня нет слов, я предпочел бы петь. Написал хорошие стихи, но теперь не пошлю их Тебе. Они совсем другого типа — из Достоевского, и такие христианские, какие я только мог написать под Твоим влиянием [4]. Часто я хочу теперь всех простить. То, что в прошлом году воспринималось с болью и ожесточением, теперь чище и светлее. Из сердца поднимаются такие упругие и сильные стебли, что часто кажется, будто я стою на пороге всерадостного познания—и хочу говорить: «Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии— и Аз упокою вы. Ибо бремя Мое легко» [5]. Жизнь светлая,

легкая, прекрасная. К счастью, мы переходим из эпохи чеховских отчаяний в другую, более положительную: «мы отдохнем» [6]. И это правда, потому что есть от чего отдыхать: перешли же весь сумрак, близимся к утру. Чего только не было — и романтизм, и скептицизм, и декаденты, и «две бездны» [7]. Я ведь не декадент, это напрасно думают. Я позже декадентов. Но, чтобы мне выйти из декадентства современного мне, затягивавшего меня бесформенностью и беспринципностью, нужно было волею божиею встретить то пленительное, сладостное и великое, что заключено в Тебе. И открылось дремавшее сердце. В Тебе — все спасение, от отчаянья, потому что непрестанно можно черпать из живого родника, неиссякающего, неутомимого. Ты нужна мне, как религия. Чувствую, что все что будет еще когда-нибудь нужно, я найду в Тебе. «Сияй же, указывай путь, веди к недоступному счастью того, кто надежды не знал» [8]. Прости, что все цитирую чужих. Но мне надо песен, когда около нет Тебя, воплощенной песни моего духа.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля: 26 декабря 1902 г.

[2] Из стихотворения Ап. Григорьева «Е. С. Р.»

[3] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Нет вопросов давно, и не нужно речей...».

[4] Имеется в виду стихотворение «Все кричали у круглых столов...», написанное 25 декабря 1902 г. Л. Д. Менделеева в ответном письме (почтовый штемпель 27 декабря 1902 г.) писала: «Пришли же христианские стихи, а то выходит, что я их недостойна, а я не настолько учена, чтоб не обижаться, как Зинаида ⟨Гиппиус⟩». Блок исполнил эту просьбу, стихи были посланы в письме от 28 декабря.

[5] Цитата из Евангелия от Матфея, XI, 28, 30.

[6] Слова Сони — героини драмы Чехова «Дядя Ваня», которыми заканчивается пьеса.

[7] *Две бездны* («верхняя» и «нижняя») — термин мистической спиритуалистики Д. Мережковского, символизирующий дух и плоть, «начало» и «конец», жизнь и смерть. Поэтическое раскрытие термина — в популярном некогда стихотворении Д. Мережковского «Двойная бездна»:

...И смерть и жизнь — родные бездны:
Они подобны и равны,
Друг другу чужды и любезны,
Одна в другой отражены.
Одна другую углубляет,
Как зеркало, а человек
Их съединяет, разделяет
Своею волею навек...
Ты сам — свой бог, ты сам — свой ближний,
О, будь же собственным творцом,
Будь бездной верхней, бездной нижней,
Своим началом и концом.

[8] Слова П. П. Рындина к романсу М. И. Глинки «Как сладко с тобою мне быть...» (1840). Этот романс входил в песенный репертуар М. А. Олениной-д'Альгейм.

37

⟨26 декабря 1902. Петербург⟩ [1]

Я придумал следующее: не писать ли письма к Тебе пока так: Загородный, 14; 2-е почтовое отделение. До востребования. Литеры, например, АМД. Можно ли так? Следующее письмо я напишу так, потому что еще не получу ответа. Для того, чтобы получить, нужно прийти и спросить

письмо с литерами АМД (Alma Mater Dei) [2]. Если хочешь другие буквы — напиши, только не Л. Д. М., во избежание каких-нибудь подозрений, могущих проявиться всл⟨едствие⟩ непредвиденного случая. Если Ты думаешь, что это пошло, напиши тоже. Но уверяю Тебя, что это все зависит от нас самих — вся внешность; мы совершенно вольны изменять по своей прихоти весь внешний жизненный обряд. Для меня это несомненно. Как Ты думаешь об этом? Сегодня утром я получил Твое письмо о том, как Ты ждала меня, и о «ветре, задувающем свечи» [3]. Если бы этот ветер был до сих пор властен надо мной внутренно, как был некогда, это было бы ужасно. Но я чувствую только его последнее озлобление, невозможность повредить в корне. Уже он бессилен, потому что наступило Твое царство. Болезнь временна и пройдет. Это только мелкая досада. А мои «белые думы» далеки от этого смрадного ветра, глубоко гнездятся «у заветных тропинок души» [4]. Прости, что я так бессвязен сегодня и вообще не всегда пишу ровно. За окном — весенние струи, тающие снега, Твое дуновение, «песни весенней язык» [5]. Мне иногда мучительно хочется встретить Тебя и вместе с Тобой оградиться от всех людей разноцветным щитом любви. Может быть, от некоторых и не надо ограждаться, но теперь я чувствую, что от *всех*, потому что даже понимающие поймут что-то свое, другое, а не наше; все чужие. Это то, что Ты пишешь мне, это наша одинаковая песня, наше ближайшее [6]. Лучшее в жизни должно быть хранимо. И если это лучшее не перенято от других, то нет причины вверять его и делить с другими, которые не принимали участия в устроении наших тайнодействий, алтарей и священных обрядов; и даже я, больше, чем Ты, связанный с житейским, неодолимо свободен и осенен Твоей девственной ризой [7]. Вот вчерашнее стихотворение, не то, о кот⟨ором⟩ я писал [8], а еще другое и больше идущее к дню Рождества Христова.

Покраснели и гаснут ступени.
Ты сказала сама: Приду.
У входа в сумрак молений
Я открыл мое сердце — и жду.

Что скажу я Тебе — не знаю.
Может быть, от счастья умру.
Но, огнем вечерним сгорая,
Привлеку и Тебя к костру.

Расцветает красное пламя.
Неожиданно сны сбылись.
Ты идешь. Над храмом, над нами —
Беззакатная глубь и высь [9].

А сейчас вечер 26-го, когда я мог бы видеть Тебя!

Твой

[1] Дата — по заключительной фразе письма.
[2] Описка Блока. Нужно: «Ave, Mater Dei» (см. примеч. 10 к письму № 21).
[3] См. стихотворение Блока «Мы всюду. Мы нигде. Идем...» (5 декабря 1902 г.):

Мы всюду. Мы нигде. Идем,
И зимний ветер нам навстречу.
В церквах и в сумерки, и днем
Поет и задувает свечи.

. . . .

Я знаю все. Но мы — вдвоем.
Теперь не может быть и речи,
Что не одни мы здесь идем,
Что Кто-то задувает свечи.

Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 25 декабря 1902 г.): «Милый, бедный, опять ты болен!.. Это становится уж совсем несправедливо и жестоко со стороны судьбы... Ведь это не хорошая судьба насылает на тебя болезнь, а «ветер, который задувает свечи», с ним надо воевать и делать ему все на зло. Спрятаться бы от него куда-нибудь, как мы спрятались в нашу комнату! Без тебя мне не хочется больше ходить туда, буду вспоминать, как я ждала тебя, а это было совсем не весело: я больше часу просидела в кресле, все слушала, ждала твоих шагов, боялась пошевелиться, чтобы не пропустить их...».

[4] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Белые колокольчики»:

Мы живем, твои белые думы
У заветных тропинок души.

[5] Цитата из стихотворения Блока «Ветер принес издалека...» (29 января 1901 г.), в первоначальной редакции:

Ветер принес издалека
Песни весенней язык,
Где-то светло и глубоко
Небо разверзлось на миг.

[6] Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 25 декабря 1902 г.): «Настроение у меня теперь всегда одинаковое, когда я одна без тебя: полная нечувствительность ко всему, что не касается тебя, не напоминает о тебе; читать я могу теперь только то, что говорит мне о тебе, что интересует тебя, потому я и люблю теперь и «Мир искусства», и «Новый путь», и всех «их», люблю за то, что ты любишь их и они любят тебя. Страшно это! Ведь после 7-го ноября, когда я увидала, поняла, почувствовала твою любовь, все для меня изменилось до самой глубины; весь мир умер для меня и я умерла для мира; я всем существом почувствовала, что я могу, я должна и хочу жить только для тебя, что вне моей любви к тебе нет ничего, что в ней мое единственное возможное счастье и цель моего существования. Я повторяю, кажется, что писала прежде, но мне хочется говорить об этом, я так ясно сознаю, ощущаю это сегодня. Как бы ты ни любил меня, моя любовь к тебе всегда одна, потому что она вся глубина души моей, то, что в ней постоянно и вечно и не может изменяться. Раньше я не знала, не понимала, что у меня в этой глубине души, я все старалась найти себя (это ты мне сказал, и это правда), теперь я нашла себя».

[7] См. у Блока, в стихотворении «Я понял смысл твоих стремлений...» (26 февраля 1901 г.):

Но риза девственная зрима,
Мой день с тобою проведен...

[8] См. примеч. 4 к письму № 36.

[9] Стихотворение было написано 25 декабря 1902 г. Впервые напечатано (с незначительными изменениями) в сборнике Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).

38

⟨27 декабря 1902. Петербург⟩ [1]

Прости меня, я ничего не сообразил и написал Тебе в почтовое отдел⟨ение⟩, которое очень далеко от Тебя. Есть гораздо ближе, куда я и напишу следующее письмо: Измайловский просп⟨ект⟩ 7, 5-е почт⟨овое⟩ отд⟨еление⟩ (также— А. М. Д. до востреб⟨ования⟩). Если Ты находишь все эти предосторожности совершенно излишними, я напишу не туда, а опять прямо к Тебе. Тебе это виднее, а мне все что-то кажется, что мама [2] может что-нибудь заметить.

Теперь день, и ветер свистит в трубе. А мне это необыкновенно безразлично. Прежде и дни и вой ветра ложились на душу гнетущим ужасом, и только вечером становилось легче, когда я знал, «завершая дневные дела», что «Ты снова придешь» [3]. Теперь все иначе, особенно, когда я знаю



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА В РОЛИ ОФЕЛИИ. БЛОК В РОЛИ КОРОЛЯ КЛАВДИЯ («ГАМЛЕТ»)
В ролях: королева Гертруда—Серафима Дмитриевна Менделеева,
Лаэрт—Лидия Дмитриевна Менделеева
Фотография, 1898
Музей Д. И. Менделеева, Ленинград

из Твоего письма, что и Тебе не тяжело и не тоскливо, как было раньше. Когда-то я гнал от себя дневные, нервные, мелкие томления, но это было искусственно, потому что я знал, что изгнанное сегодня возвратится завтра и будет, наконец, день (как оно и бывало), когда иссякнет самое желание изгонять и наступит очередь апатичного подчинения «греху, проклятию и смерти» [4]. Ибо «не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» (Ев‹ангелие› Иоанна, IV,[5] 27). Никакое насилие над собственной волей не поможет, если в ней самой не заложено чувство духовного роста, *священное* устремление к предмету культа. Тут различается истинная любовь от неистинной: к неистинной нужно принуждать себя. Нужно представить себе, «вообразить» предмет любви так, как этого хочешь. Здесь, значит, внешнее принуждение. И так как всякое желание, идущее извне, а не изнутри, имеет свой предел, то и здесь потухает искусственно раздутый огонь и начинается медленный и естественный, ничем не истребимый прилив простой житейской скуки —

«охлаждение», как говорят циничные и пошлые люди, которые сами себе даже отказывают в разукрашеньи собственной несостоятельности. Согласна ли Ты с такими формулами не теории, но жизни? Истинная любовь сама в себе заключает непрерывный поток, расширяющийся по мере своего течения. И потому, обратно тому, как в ложной привязанности, под конец ее, всегда сожалеют (только) о «красивом» начале, в истинной любви, удаляясь от этого туманного начала, уже не жалеют о нем, а только сладко и благодарно вспоминают об истоке вод, который теперь, все расширяясь, проникает все области жизни, освящает и освещает их. Некогда жалеть о прошедшем, когда прекрасно настоящее. Нечего также жалеть о прошедшем, если существо его не изменилось, а только разрослось и еще разрастется, и всегда будет заключать в самом себе силу этого роста. А в ложном, наоборот, изменяется *как будто* самое существо, потому что то, что сначала *кажется* истинным, оказывается под конец выдумкой. Здесь основание всякого «искушения». В нем — мера истинного чувства. Истинное не перегорит ни в одном горниле — его не отдашь и за «царство над вселенной» (хотя бы в искушении Христа), когда его обещает соблазнительно «приступающий» диавол [6]. Ложное не выдержит никакого искушения: у него нет сопротивления, оно «мишурно», эластично, поддельно. И никогда «свергнувшегося вниз» с *ложной* вершинки не понесут Ангелы и не поддержат «крылами своими». Он «преткнется о камень» [7]. Даже, пожалуй, он и не полетит. Ему только покажется; он испытает невинное головокружение. А камень, о который он преткнется, будет мировая, громадная, серая «скука», которая всех поджидает внизу, и стоит потушить огонь, чтобы остаться в потемках, сбиться с дороги и погрузиться в неизвестность и безысходность не жизненного, а житейского процесса.— Прости, что пишу все это Тебе. Ты все это знаешь еще лучше и совершеннее меня. Но это — воля, бьющаяся во мне, не знающая, куда деваться, не видящая Тебя вблизи, рядом, устремляющая к Тебе одни слова от невозможности (временной) действовать. Будь бодра, разгорайся, верь во все, во что Ты веришь теперь,— что нам «не суждено» «*врозь*» «выше восходить к сиянию Правды Вечной» [8]. Ты видишь теперь уже ясно, что все это — не метафизика, не выдумка, не мой самообман, а вся моя жизнь. Нечего отсылать религию за пределы бытия, как это делали средневековые и некоторые нынешние, невольно «средневековствующие», монашествующие по бессилию, сами того не сознавая (даже напротив, будучи глубоко уверены, что они «сводят небо на землю», разумею, конечно, Мережковского). Но с другой стороны, нечего и утверждать религию на «матушке сырой земле» (разумею Вас〈илия〉 Вас〈ильевича〉 Розанова) [9]. Последнее очень талантливо, но тоже «слишком» умно. Все — теория, теория. Религия сама здесь, среди нас, «идеже *два* или трие во имя Мое — ту есмь посреди их» [10]. Земля низко, небо — далеко, высоко. Между ними нет *середины* (всякая середина— ужас и смерть). Но есть то неопределимое (для чистых теоретиков), неисповедимое, куда вступили мы, куда привела нас не теория, а жизнь, откуда мы простим других и приблизимся к богу. А Он — не в огне (сверхмирном), не в землетрясении (земном), а в «гласе хлада тонка» [11]. Мы слушаем этот глас.

Твой бесконечно.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] А. И. Менделеева.

[3] Цитата из стихотворения Блока «Днем вершу я дела суеты...» (5 апреля 1902 г.):

Как ты лжива и как ты бела!
Мне же по сердцу белая ложь...
Завершая дневные дела,
Знаю — вечером снова придешь.

[4] Источник цитаты не установлен.

[5] Ошибка Блока. Нужно: Ш.

[6] Имеется в виду евангельский рассказ о том, как Сатана искушал Христа, обещая ему господство над миром (От Матфея, IV, 8—10).

[7] См. Евангелие от Матфея, IV, 5—6.

[8] Цитата из стихотворения А. К. Толстого «О, не спеши туда...»:

Слиясь в одну любовь, мы цепи бесконечной
Единое звено,
И выше восходить в сиянье правды вечной
Нам врозь не суждено!

[9] Василий Васильевич *Розанов* (1856—1919) — реакционный философ, публицист и литературный критик, много писавший по вопросам религии и пола. Один из видных деятелей Религиозно-философского общества. Отличался крайней беспринципностью и цинизмом. «Признаюсь тебе, что редкий талант отвратительнее его»,— заметил о Розанове Блок в письме к С. М. Соловьеву от начала апреля 1903 г. («Письма Александра Блока». Л., 1925, стр. 52).

[10] Цитата из Евангелия от Матфея, XVIII, 20: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их».

[11] См. примеч. 4 к письму № 30.

39

〈27 декабря 1902. Петербург〉[1]

Сейчас получил Твое длинное письмо. Я глубоко виноват перед Тобой в том, что не прислал стихов, о которых писал (они здесь), и в том, что послал сегодня по глупости одно письмо в почтовое отд〈еление〉 на Загородный. Оно там и будет лежать с завтрашнего дня. Если нечего бояться, буду опять писать к Тебе, а Ты еще простудилась и не можешь выходить.— Это — о «делах». Сейчас, когда все утихнет, буду писать о том, что мне необходимо говорить Тебе каждую минуту, для чего слов и мало и много, отчего я в странном восторге.

Оттого, что прежде я находил шаткие истины, которых я сам боялся. Оттого, что Ты далеко и невнятно от меня совершала тот таинственный путь, который привел нас к одному — теперешнему. Тогда я не знал этих очарований настоящего. Все они были в будущем, предчувствовались только и было опасно проходить по краям пропастей. Но теперь дорога вывела, и почва тверда. Истина близка, она — в Твоем Существе. Зачем Ты пишешь, что сила «немного» от Тебя. Она — вся Твоя, все остальное призрак, бегающие двойники, смесь непонятных исчезновений. У Гейне есть очень туманное романцеро — «Ночное плаванье»[2]. Я в него не вник и не очень хочу вникать. Но вся мелодия говорит о каком-то тревожно-колеблющемся призраке. Так все колеблется, все прежние истины колеблются. Каждый обречен (из ищущих, конечно) проходить через леса исчезающего и временного, пока не достигнет настоящего и вечного. И эти леса именно потому заманчивы и не сразу ясна их временность,— что в них уже лежит предчувствие будущей настоящей истины. Каждый стебель моих теорий, каждый цветок и каждая ветвь говорила мне о Тебе. Но это было о Тебе и не Ты. Ты — убегающая, блуждающий огонь. Ты замыкалась и исчезала, когда я подходил, и, как только отходил, опять манила и мелькала факелом. Но я любил вечно, неудержимо, стремительно, сознательно: знал, что раскроется круг и будет мгновенье, когда Ты, просиявшая, сомкнешь его уже за мной, и мы останемся в нем вместе, и он уже не разомкнется для того, чтобы выпустить меня, или впустить третьего, черного, бегущего по следам, старающегося сбить с дороги, кричащего всеми голосами двойника-подражателя. И вот мы и с нами бог, и «третий» безвластен. Любовь победила. — Теперь о том, что Ты пи-

шешь. Зачем Ты думаешь, что мне «не нравится», что Ты не миришься с мамой? Этого не может быть. Я понимаю это только, как способ выражения. Мне *все* нравится — без исключений. Если хочешь, если можешь — помирись, это я думаю, для Тебя лучше. Лучше, чтоб не было натянутых отношений, маленького диссонанса в доме, особенно, когда этого не нужно и можно обойтись без него.

«Новый путь» [3] не прислали, это не говорит в пользу компании Мережк⟨овских⟩. Думаю, что журнал очень интересный. Нравится ли Тебе и что именно? Занятен Тернавцев [4]. Вероятно, талантлив Розанов, Минский в прозе бледен, хороши некоторые стихи (Сологуб?), а о Толстом и Нитцше по отрывкам и говорить трудно [5].

Мне лучше, но лучше не буду загадывать на будущее. Напиши, какие у Тебя планы в начале января. Если будешь не в настроении писать,— не пиши. Твое чувство ожидания и невозможной надежды у меня постоянное. Иногда кажется, что Ты вошла и около меня. Завтра напишу еще.

* * *

Все кричали у круглых столов,
Беспокойно меняя место.
Было тускло от винных паров.
Вдруг кто-то вошел — и сквозь гул голосов
Сказал: — Вот моя невеста.

Но никто не слыхал ничего.
Все визжали неистово, как звери.
А один, сам не зная отчего,
Качался и хохотал, указывая на него
И на девушку, вошедшую в двери.

Тогда она уронила платок,
И все они — в злобном усильи,
Как будто поняв какой-то намек,
Разрывали с визгом каждый клочок
И окрасили кровью и пылью.

Когда все опять подошли к столу,
Притихли и сели на место,
Он указал им на девушку в углу
И звонко сказал, пронизывая мглу:
— Господа! Вот моя невеста.

И вдруг тот, кто качался и хохотал,
Бессмысленно протягивая руки,—
Прижался к столу, задрожал,
И все, кто прежде безумно кричал,
Услышали — плачущие — звуки.

25 декабря [6]

Что ты скажешь про это?

Это — *не* декадентство? Это не бесформенно. Это просто и бывает в жизни, на тех ее окраинах, когда Ставрогины кусают генералов за ухо [7]. Но это «скорпионисто» [8] и надо будет отдать Брюсову. Здесь [9] не понравится. А, мож⟨ет⟩ б⟨ыть⟩, это чепуха? Напиши об этом. Всего важнее, что думаешь Ты.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля: 28 декабря 1902 г.

[2] «Ночное плаванье» Гейне Блок знал, очевидно, в переводе Вл. Соловьева.

[3] Только что вышедшую в свет первую книжку «Нового пути» (январскую за 1903 г.).

[4] Валентин Александрович *Тернавцев* (1866—1940) — чиновник Синода и писатель по церковным вопросам, видный деятель Религиозно-философского общества. В «Записках Религиозно-философских собраний в С.-Петербурге», печатавшихся в качестве приложения к журналу «Новый путь», были опубликованы (при первой книжке) тезисы доклада В. А. Тернавцева «Русская церковь перед великою задачею».

[5] В первой книжке «Нового пути» в числе другого материала были напечатаны: очерк В. Розанова «Мимоходом (Из случайных впечатлений)» — о древности еврейского народа; трактат поэта и философа Н. М. Минского (1855—1937) «О свободе религиозной совести»; стихи К. К. Случевского, З. Н. Гиппиус, К. Д. Бальмонта и Ф. К. Сологуба («Как часто хоронят меня!..» и «Пойми, что гибель неизбежна...»); «Дополнения к оконченным частям Заратустры» Фридриха Ницше и извлечения из писем Л. Н. Толстого к М. А. Н⟨овоселову⟩.

[6] Стихотворение было написано 25 декабря 1902 г. Впервые напечатано (с незначительными изменениями) в сборнике «Стихи о Прекрасной Даме» (1905).

[7] См. роман Достоевского «Бесы» (ч. I, гл. 1, 3).

[8] Имеется в виду издательство символистов «Скорпион», литературным руководителем которого был В. Я. Брюсов.

[9] Т. е. в редакции журнала «Новый путь», в кружке Мережковских.

40

⟨28 декабря 1902. Петербург⟩

Пишу на Измайловский пр⟨оспект⟩ [1], но боюсь, что Ты опять придешь на Загородный из-за моей путаницы.

Сейчас у нас было все семейство Кублицких [2], и потому теперь у меня одно из тех страстных желаний видеть Тебя здесь сию минуту, какие всегда приходят с особ⟨енной⟩ яркостью после пребывания в чуждой обстановке. Тебе это знакомо.

А сегодня днем и вечером перед их приездом было нечто очень странное: разговор у нас с мамой. Очень трудно даже описать его, до такой степени он был сложен и вместе не выходил за пределы жизненной практики. Один из самых необыкновенных, и из них — самый необыкновенный. Прежде всего, помня (как и во все продолжение разговора), что Ты мне говорила один раз на Серпуховской — относительно того, что Тебе *не* неприятно, если мама (моя) знает нечто и подозревает остальное,— я скажу Тебе, что теперь она знает *почти все* (кроме, конечно, нашего главного, заключающегося *только* в нас, незнакомого никому и чего выдать нельзя по самому его существу). Но, останавливаясь на этом пункте, я прежде всего ужасно жалею, что Ты не знаешь мою маму. Во всяком случае, если можешь, поверь мне пока на слово, что большего *сочувствия всему* до подробностей и более положительного отношения встретить нам никогда не придется. Кроме того, все, что возможно, она понимает, зная и любя *меня* больше всех на свете (без исключений). Подробностей разговора я даже пока не напишу Тебе, потому что они сравнительно второстепенны. Разговор начала она сама, и во все время его (он был *без* имен) я имел две руководящие нити: во-первых — помнил то, что говорила мне Ты — поразительное для меня до крайности, чему я придаю теперь значение громадное; во-вторых — все время все-таки говорил *минимум* того, что можно и *нужно* было сказать (раз уж принять во внимание первое), *сдерживал* себя в словах. Теперь мне, конечно, всего важнее то, как отнесешься к этому *Ты*. Если можно, напиши мне как можно ско-

рее только несколько слов. Во всяком случае все это очень важно. В случае Твоего положительного и благосклонного ответа в совершившемся факте откроются многие горизонты, в том числе даже практического свойства. Если же Ты *хоть на одну иоту недовольна этим*, даю Тебе клятву, что я *прекращу немедленно* всякие расспросы со стороны мамы и все будет так, как будто она *ничего не знает* (а это она сумеет сделать). При этом имей в виду, что мама относится *к Тебе* более, чем хорошо, что ее образ мыслей направлен вполне в *мистическую* сторону, что она *совершенно* верит в предопределение по отн⟨ошению⟩ ко мне. Кроме того, *необходимо*, чтобы Твоя мама *менее чем когда-нибудь* могла подозревать что бы то ни было, потому что здесь (как Ты и сама, конечно, чувствуешь) *или* то, *или* другое. На этом я пока и кончаю — и мне *необходимо* знать, что думаешь Ты, ради бога, до глубины искренно. Малейшее принуждение может повернуть *даже нас* на ложный путь, потому что мы еще вполне, как я теперь совершенно ясно вижу,— в критическом периоде. Если Ты *сколько-нибудь против*, ради бога, так и скажи — и я ручаюсь, что *все будет по-прежнему*. Жду Твоего ответа. Сегодня я не написал Тебе ни одного красивого слова. Все слова житейские. Но это так надо.

Мое настроение все такое же бодрое, только я злюсь на тех, кто ровно ничего ни в чем не понимает. Но злюсь, а не раскисаю. Стихов новых еще нет. Я злюсь на тех, кто не Ты, Ангел Светлый, Ангел Чистый, моя Судьба, мое Все.

Твой

Напиши.

Целую Твое платье.

28. XII. 1902. СПб.

[1] Т. е. до востребования в почтовое отделение на Измайловском проспекте.

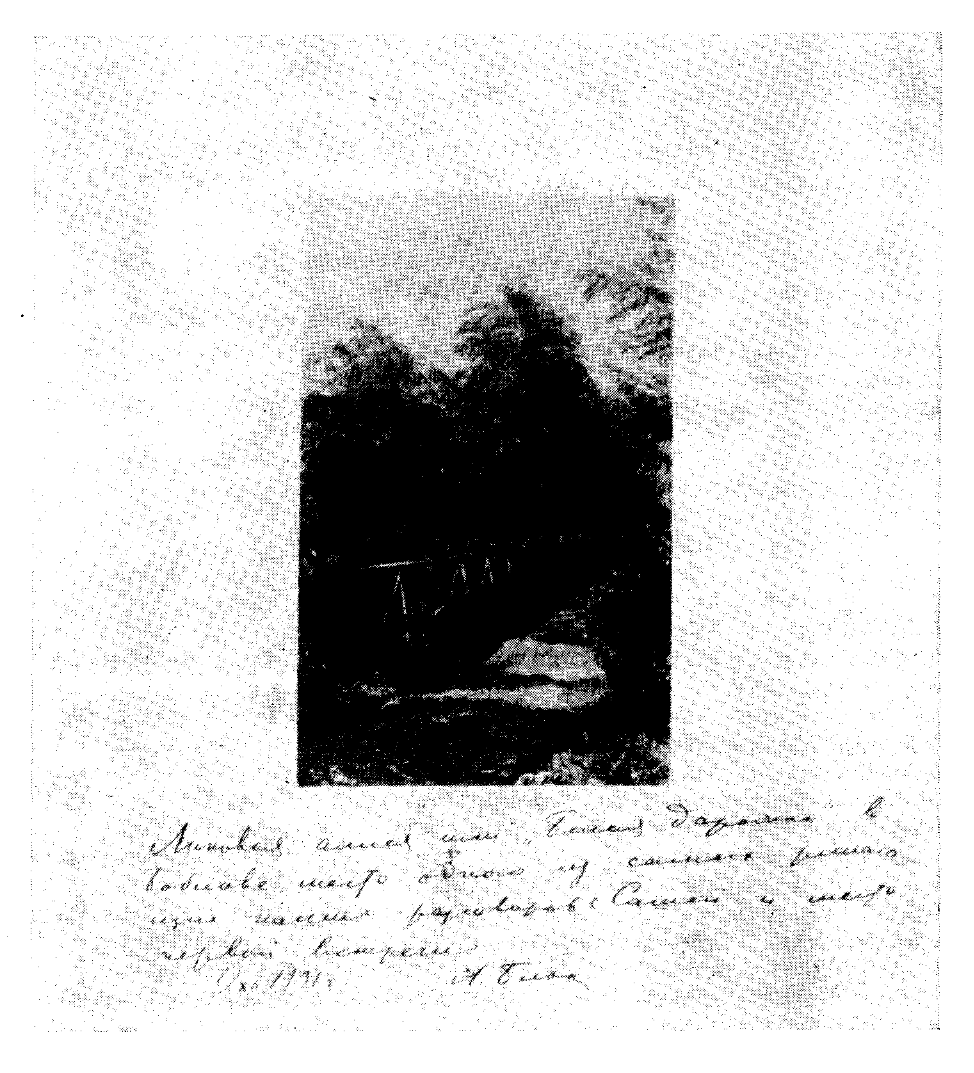
[2] *Кублицкие-Пиоттух* — Адам Феликсович (1855—1932), брат отчима Блока, крупный чиновник Удельного ведомства; жена его Софья Андреевна (1857—1919), тетка Блока (сестра его матери); сыновья их — Андрей Адамович (1886—1960) и Феликс Адамович (1884—1970). Блок недолюбливал эту чиновную и чопорную семью, жившую совершенно иными, нежели он, интересами. Впрочем в ранней молодости он поддерживал дружеские отношения с двоюродными братьями.

41

⟨29 декабря 1902. Петербург⟩ [1]

Жду с нетерпением Твоего ответа на мое вчерашнее письмо к Тебе о маме. Потому пока об этом еще не буду писать. Напишу лучше в ответ на Твой вопрос о том, не кажешься ли Ты мне мертвой [2]. Этого не только никогда не было, но я думаю еще, что в Тебе такая глубокая сила истинной жизни, что Ты свободно и безболезненно-спокойно все время отдаешь часть ее мне, и эта часть так громадна, что я чувствую себя совершенно возродившимся и необыкновенно бодрым. Все в другом свете. Об этом я уже писал Тебе. Кроме того еще сила развивается все время через мою связь с Тобой, и в этом постоянном упражнении духа несомненно кроется энергия будущего. Но главное — все от Тебя. Ты — первая причина, заставившая меня вскрыть в себе свои собственные силы, дремавшие или уходившие на бессознательное. Я говорю Тебе, что мне никогда не было так легко воспринимать все жизненные явления, как теперь.

Если Ты не можешь помириться с мамой теперь, это ничего. Если даже что-нибудь теряется от этого теперь, то наверстается потом. Но мне кажется, что даже и теперь от этого мало теряется, потому что причина ссоры лежит не очень глубоко, а основана главным образом на том, что мама совершенно не понимает Тебя и едва ли вникает в сложность Твоей



ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ В БОБЛОВЕ

Фотография, 1890-е гг.

Надпись рукой Л. Д. Менделеевой-Блок: «Липовая аллея или «Белая дорожка» в Боблове, место одного из решающих наших разговоров с Сашей и место первой встречи. 1/XII 1931 г. Л. Блок»

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

развивающейся души, забывая, как это часто бывает, свое собственное прошлое. Едва ли ее можно винить за это, тем более, что она и не могла бы понять, при всем желании даже, Твоих исключительно громадных сил, частью еще покоющихся, частью начинающих приходить в брожение. Тем хуже для нее, если она не может присутствовать при Твоем пробуждении и расцвете, которому я, кажется (и дай бог), единственный сознательный и восхищенный свидетель. Это необходимо должно быть именно так, потому что к нашему возрасту особенно применимы евангельские слова об «оставлении человеком отца своего и матери» [3] — соверш⟨енно⟩ естественном. Все придет впоследствии само собой, теперь же период более чем критический, окраина жизни, на которой *все* отношения никоим образом не могут быть уравновешены, потому что это было

бы в ущерб *главным*, что вполне немыслимо (думаешь ли и Ты так?) и, если выбирать, то нельзя не предпочесть первое — иначе выйдет *середина* — хуже безнравственности, просто отсутствие всякой нравственности и всего настоящего и сильного.

Думаю, что нам можно буд⟨ет⟩ увидеться в первых числах января. Твои письма для меня целебны. Я у Твоих ног и непрестанно с Тобой.

[1] Дата почтового штемпеля: 30 декабря 1902 г.

[2] Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 29 декабря 1902 г.), делясь своими впечатлениями от первой книжки «Нового пути»: «Новый путь» для меня был очень интересен; именно то, что ты пишешь, и еще один рассказ «Вымысел», забыла фамилию автора, а журнал у мамы. Там молодая девушка, кот⟨орая⟩ кажется «ему» древней, тысячелетней и не живой, с мертвыми глазами. Ты меня тоже называл древней, а мертвой я тебе не кажусь? Стихи мне понравились Зиночкины, «Снег», и Сологуба. Когда же они напечатают твои?» (автор рассказа «*Вымысел*» — Л. Денисов; *Зиночка* — З. Н. Гиппиус; «*Снег*» — стихотворение З. Гиппиус).

[3] См. Евангелие от Матфея, X, 35—37.

42

⟨30 декабря 1902. Петербург⟩

Сегодня я целый день думал и говорил, и вдруг меня охватила непомерная жажда Тебя видеть и говорить с Тобой, и я почувствовал страшное беспокойство, какую-то непонятную тревогу. Это также и оттого, что целый день напряженно ждал Твоего ответа, и теперь уже нет и не может быть письма до завтрашнего утра. Неужели что-нибудь случилось. Может быть, Ты рассердилась на меня за мои два предыдущие письма? Ответь мне на это, прошу Тебя. Нам можно будет встретиться скоро. Можешь ли и хочешь ли Ты *2* января в 3 часа дня на Серпуховской. Или — лучше вечером там же. Если бы Ты могла уйти к Шуре [1], у которой Ты давно не была? Я совершенно стосковался о Тебе, между тем раньше нет никакой возможности, а Тебе, может быть, и тогда нельзя. Если нельзя то 3-го, когда угодно, только бы видеть Тебя и слышать. Напиши мне обо всем этом, как это можно устроить. В первый день января я не буду делать никаких визитов и буду «потом» извиняться, а вечером придется поехать на Вас⟨ильевский⟩ Остр⟨ов⟩ к Ник⟨олаю⟩ Ник⟨олаевичу⟩ Бекетову [2]. Завтра вечером мы будем «встречать Новый Год» у Кублицких [3]. Все это мне не повредит, надеюсь, потому что выходить уже можно, я чувствую себя лучше. У меня какая-то тоскливая сила, энергия жизни, вечно бьющееся сердце, и, пока я Тебя не увижу, будет все тревожнее и тяжеле. Не знаю, куда девать себя. Это пусть будет последнее письмо, потому что 1-го Ты едва ли можешь достать письмо с почты, все будет закрыто. Если бы Ты могла 2-го вечером или хоть днем. Разве не лучше вечером? Мне вместе тоскливо и весело и страшно тревожно, я боюсь, что есть какая-ниб⟨удь⟩ причина в Тебе, потому что о чем же я могу тревожиться, если не о Тебе. Послезавтра Новый Год. Пусть будет и Новое Счастье. Я безумен, но лучше безумие, чем что-нибудь темное. Пускай мне снятся падучие звезды и вихри мировой страсти, все кошмары и ужасы, только бы Ты была светла вечно и ничто не омрачило Тебя. Только скажи мне слово, и я отрекусь от всего и от себя и забуду все прошлое и настоящее, и открою окно на будущие зори, и под Твоим окном, у Твоих ног мне будет жутко и весело и страшно. Ответь мне на это письмо, даже если Ты написала уже ответ на те два, хоть одно слово, чтобы я знал опять, как я знал это вчера, что Ты не проходишь мимо, как лучезарное светило, к которому я влекусь всем существом и не могу уловить мелькающий луч. Это все не рито-

рика, и Ты прости меня за бессвязность и туманность. Ты видишь, что необходимы и неизбежны минуты величайших напряжений, когда утрачивается даже чутье слов и мерной красоты. Я говорю бог знает что. Прости меня и будь благословенна.

Безраздельно Твой

30 дек.

[1] А. М. Никитина.

[2] Николай Николаевич *Бекетов* (1827—1911) — брат деда Блока, А. Н. Бекетова, выдающийся ученый (физико-химик), академик.

[3] См. примеч. 2 к письму № 40.

43

Вечер. 31 ⟨декабря 1902. Петербург⟩

Сейчас я получил Твое письмо [1]. Вчера я послал вечером письмо, которого Ты, может быть, не получишь. Оно глупое и беспокойное. Теперь все иначе, чем было вчера, когда я чего-то вдруг испугался и сегодня с утра опять был в глупейшем беспокойстве. Теперь все прошло — после Твоих Слов, проникающих в сердце. Ты пишешь, все-таки, то, чего нет, о чем и речи не может быть, что кто-то должен прощать Тебя. Неужели Ты не видишь, что у меня может быть мысль не о прощении, а только о бесконечном поклонении. Ты, без сомнения, все время указывала мне дорогу среди ночи и, когда я стал сбиваться, внезапно подняла факел и брызнула мне в глаза ослепительным светом Истины, Добра и Красоты. Ты, не переставая, ведешь меня по неуклонной дороге все дальше, все цветистее, все шире, указываешь мне в синюю даль. В этом для Тебя не должно быть сомнения, так же как я верю в это с каждым днем тверже. Ты учишь меня счастью. Я учусь, но «никогда не буду выше Учителя» [2].

Я писал Тебе, что мы можем видеться 2 января (четверг). Можно вечером? Если Ты уже написала, не пиши больше. Если нельзя, назначь когда угодно потом, и я брошу все, если что-нибудь нужно будет бросить.

Относительно разговора (с мамой) мы лучше будем говорить. Он был «практический» и больше не повторялся. Но мама довольна всем «этим». Она многого не знает еще, все-таки. И о мистической сути я ей говорить не буду, она только может думать об этом сама. Больше никому говорить не буду[3]. Что будет в 1903 году? Я молюсь о счастье, Ты сияешь мне. Нет минуты, не освященной Тобой.

[1] Л. Д. Менделеева писала (почтовый штемпель 30 декабря 1902 г.): «Мой дорогой, я рада, что мама знает все, я давно этого хотела в глубине души, потому что хотела, чтобы она знала, что тебе хорошо теперь, что ты счастлив и что если я и сделала тебе что-нибудь злое в прошлом году, то теперь и ты, и мама можете мне все простить за мою любовь. Кроме того, я твою маму люблю теперь больше всех на свете, после тебя, и мне хотелось всегда, чтобы и она хоть немного знала меня и любила... Мама ничего не знает и теперь ей и подозревать нечего. Помни, что, кроме моей любви и тебя, у меня ничего нет на свете, я верю только тебе, делай что хочешь, говори все, кому хочешь, а маму твою я люблю и верю ей».

[2] Цитата из Евангелия (От Матфея, X, 24; От Луки, VI, 40).

[3] По этому поводу Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 2 января 1903 г., см. письмо 44, примеч. 1) и признавалась: «Ни о чем другом не хочется писать. Я все время всей душой с тобой, жду письма, жду нашей встречи; так нужно, наконец, поговорить, не скажешь всего в письме, что хочется сказать».

1903

44

2 января ⟨1903. Петербург⟩
5 часов

Сегодня вечером я буду на Серпуховской, хотя у меня нет почти никакой надежды. Досадно, что Ты не получила двух писем (одно — в почт⟨овое⟩ отд⟨еление⟩ на Изм⟨айловском⟩, а другое — к Тебе прямо. Не случилось ли с ним чего-нибудь неприятного?). Если можешь, будь на Серпуховской завтра (3-го) вечером. Если это письмо получится завтра утром, можно телеграфировать одно слово: «буду» (или — «не буду»). Может быть, сегодня Ты не могла бы все равно — это хоть некоторое утешение. Я безумно хочу Тебя видеть прежде всего, и потом уж говорить обо всем, но сначала — видеть и слышать голос. Сегодня утром было Твое письмо о разговоре [1]. Я опять не напишу подробно, лучше поговорим. Тут есть то «странное», о котором пишешь Ты и о кот⟨ором⟩ трудно писать. Во всяком случае, маме известна «внешняя» сторона дела. Во внутреннюю я не посвящу никого, потому что она священна. Церковная проскомидия [2] проходит тайно — вне народа, хотя бы и молитвенно настроенного. У меня бесконечные думы и бесконечные силы, не знающие, куда себя деть, ждущие Тебя. Если бы Ты могла прийти завтра! Если нельзя, напиши и назначь, когда Тебе угодно и когда Ты можешь. Адрес на конверте напишет мама [3] — это ведь совсем «внешнее»,— так же, как она знает в общих чертах о наших прошлогодних встречах, о переписке, о Курсовом вечере [4] и о комнате [5]. Если Ты не получила писем, надеюсь, что это новогодняя путаница на почте — не более того. Дай бог, чтобы это дошло.

Твой [6]

[1] Л. Д. Менделеева писала (почтовый штемпель 2 января 1903 г.): «Мой дорогой, теперь я жду твоего письма о маме и беспокоюсь, не понимаю, отчего ты так долго не пишешь об этом... Пожалуйста, напиши мне скорее, этот разговор так важен, мне так нужно знать, что говорит и думает мама, что — ты».

[2] *Проскомидия* — один из разделов православного богослужения, когда священник и дьякон приготовляют просфоры и вино для причащения.

[3] В целях конспирации,— поскольку Л. Д. Менделеева скрывала от домашних свою переписку и встречи с Блоком.

[4] Бал, устроенный слушательницами Высших женских курсов в зале Дворянского собрания 7 ноября 1902 г., после которого произошло решительное объяснение Блока с Л. Д. Менделеевой.

[5] О комнате, снятой на Серпуховской улице.

[6] После этого письма в переписке — перерыв до 31 января, а вслед за тем — до 22 февраля (сохранились лишь две телеграммы Л. Д. Менделеевой от 4 и 13 января). Это объясняется известной легализацией отношений: 2 января Блок сделал формальное предложение Л. Д. Менделеевой, получил принципиальное согласие ее



БЛОК В РОЛИ ЧАЦКОГО, Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА В РОЛИ СОФЬИ
(«ГОРЕ ОТ УМА» ГРИБОЕДОВА)

Фотография, 1898

Литературный музей, Москва

родителей (срок свадьбы не был определен) и стал открыто встречаться с невестой («конспиративные» встречи на Серпуховской, однако, продолжались). Тем самым отпала необходимость в ежедневной переписке.

45

‹31 января 1903. Петербург›

Милая, пишу Тебе до воскресенья, чтобы Ты знала, что особенно беспокоиться не о чем [1]. Сегодня же, как только Ты ушла, я пошел к управл‹яющему› и узнал от него, что во вторник ночью на Серпух‹овской› была полиция, между прочим *и у нас*. Хорошо, что нас не было. Управл‹яющий› очень любезен, кажется, не виноват, получил выговор от пристава за то, что я не прописан у него в доме. Оказывается, что недавно градонач‹альник› подтвердил, что без прописки отдавать комнаты нельзя и пр. Обо всем этом даже писать неприятно, разорви это письмо. Управл‹яющий›

сам предлагает оставаться до 8 февраля, но предупреждает, что есть *всегда* риск *(даже и днем)*. Потому мне кажется, что больше оставаться там нельзя *ни в каком случае*, иначе может случиться ужасная неприятность, тем более, что обыски обставлены очень грубо и гадко; кроме того, если мы и будем рисковать, все время будет беспокойно. Поверь мне, что это очень важно и, прошу Тебя, согласись. Завтра (в субботу) я пойду на Серпух⟨овскую⟩ и возьму оттуда *все* (даже Твои булавки и мои письма) к себе. В воскресенье мы встретимся в 2 часа и погуляем, если погода будет не опасная для Твоей простуды. Сегодня все обговорил с мамой. Видеться совершенно можно у меня. Мама поговорит с отчимом, *который отнесется ко всему более чем очень хорошо*. А главное, *мы не будем видеть* (если Ты не захочешь) *ни маму, ни отчима*. Мама будет у себя в комнате на другом конце квартиры, а отчим, когда будет дома,— там же. Ничего не слышно совсем, везде ключи. Самое ужасное — расстояние [2], но придется помириться пока. Через мосты есть закрытая конка. Подумай об этом и согласись. Все подробности, из которых многие я уж обдумал, обговорим в воскресенье. Комнаты никакой уже придумать нельзя, потому что везде опасно. А здесь, у меня, *лучше и чище* всех других (наемных) комнат.

Ничего обыкновенного нет. Я говорю об этой «практике» только потому, что без нее не обойдешься. Но мне не жалко, не больно, меня она не заботит. Ничего нет обыкновенного. «Там» расцветают новые цветы, уже более благоуханные, чем *были* здесь. Внутри поднимается и растет. Сердце занялось. Комната (на Серп⟨уховской⟩) *ОСТАНЕТСЯ НАШЕЙ* [3]. Я оставлю там знак [4]. Завтра все это будет сделано и пройдет. Память останется. Если и жаль, то только стен. Но не жалей, потому что нет потери. Там самый воздух запоет. Здесь, у меня, Тебе понравится. Больше я ничего не скажу. Сказать нельзя. Мне хорошо теперь, завтра и всегда. Не думай об ужасном. Мне хорошо.

Твой

31 янв. 1903. СПб.

[1] Речь идет о полицейском осмотре меблированных комнат на Серпуховской улице, при котором выяснилось, что Блок занимал там комнату, не будучи прописан. Позднее он отметил: «31 января—очень неприятный конец Серпуховской» (VII, 425).

[2] Квартиры Менделеевых (на Забалканском пр.) и Кублицких-Пиоттух (в казармах Гренадерского полка на Петроградской стороне) были очень удалены друг от друга.

[3] Подчеркнуто дважды.

[4] В дневнике 1921 г. непосредственно после слов «Очень неприятный конец Серпуховской» Блок записал: «Мистическая записка под полом» (VII, 425).

46

⟨22 февраля 1903. Петербург⟩

Это — вечернее письмо. Мама на панихиде [1] — никого нет. Мне свободно и страшно грустно. Страха нет никакого, он прошел вместе с вчерашним вечером, и ушел в ту же сереющую, туманную ночь, куда ушла Ты. Там он дожидается, может быть, вернется, но не сегодня. И совсем не в нем *самом* дело.

Ты не пугайся, что я пишу Тебе. Все неизменнее, чем когда-нибудь. Но мне вдруг пришло в голову, что написать лучше, чем говорить, о том, о чем я думаю уже несколько дней. Ты во мне *чувствуешь* эти думы и постоянно спрашиваешь, не «сержусь» ли я, даже иногда говоришь, что я «притворяюсь», когда смеюсь, чтобы что-то такое скрыть. Но это не так, потому что я *перед Тобой не* притворяюсь, а, когда смеюсь, то смеюсь оттого, что весело, или оттого, что *Ты близка*, или оттого, что мы говорим друг другу смешные вещи. Я люблю Тебя — это так ясно, так неизменно,

и так само собой разумеется, что говорится только в страстные минуты, или в минуты нежного веселья сердца, как дополняющий певучий аккорд. Но это уже не требует повторения, как *подтверждений* — и Ты, я *думаю*, знаешь это уже теперь до *конца*.

Но Ты не знаешь, что мне было нужно пройти, чтобы любить Тебя так, как теперь. Этого всего все равно не опишешь, и не расскажешь; все это можно только *пережить*. А то, что пережито, совершенно «вросло», уже неизгладимо и навсегда. Свой «мистицизм» я уже пережил, и он *во мне* неразделен с жизнью. Может быть, Ты замечала, что, говоря с «людьми», я мало спорю об «основах», про них молчу, прямо-таки «пугаясь хулы и похвал» [2], пугаясь не за самый мистицизм, а за то, что еще лишний раз кто-то совершенно чужой мне, не любящий меня и не желающий вникнуть (таковы все «люди»), будет бередить и возмущать, все равно, что без всякой причины *и цели* (главное — без цели!) делать надрез на живом теле дрянненьким маленьким перочинным ножичком. То же самое и о «стихах». Если кто-нибудь скажет, что стихи не важны, а гораздо, например, важнее «помогать ближним», или: «Как вы можете *этим* заниматься, когда у вас в университете беспорядки?» (последнее сказал мне покойный В. П. Острогорский, редактор «Мира божьего», когда я принес ему стихи) [3],— я *ничего не* возражаю по существу, а скорее стараюсь быть благодушным, если же злюсь, то — про себя. Ибо, что же отравляться *чужим* непониманием. Да, наконец, самый этот «*мистицизм*» (под которым Ты понимаешь что-то неземное, засферное, «*теоретическое*») есть *самое лучшее*, что во мне когда-нибудь было; он дал мне *пережить* и *почувствовать* (не пере*думать*, а пере*чувствовать*) все события, какие были в жизни, особенно 1) ярко, 2) красиво, 3) глубоко, 4) таинственно, 5) религиозно. И главное, он дал мне *полюбить Тебя любовью*, не требующей оправданий, *почувствовать* перед Тобой правоту сердца, увидать все ближайшие и *многие дальнейшие* цели этой как будто бесцельной любви (как бывает *бесцельна* красота в природе... в «Мире искусства») [4]. «Мистицизм» дал мне всю силу *к жизни*, какая есть (если ее не так много, то это уже лежит в натуре; но, во всяк⟨ом⟩ случае, она проявилась хотя бы в тех же стихах, а я думаю, что еще сильнее в том, что я чувствую по отн⟨ошению⟩ к Тебе, ибо и стихи — отсюда). Это — все мое лучшее «я»— лучшее, и *САМОЕ НУЖНОЕ ТЕБЕ* — потому что Тебе *НУЖНА* моя любовь. Теперь же, когда Ты *близка*, это и *ВСЕ*[5] мое «я», потому что нет ни одной области в жизни, которую бы не проникала Ты, Твое присутствие,—через этот же самый «мистицизм». Мистицизм не есть «теория»; это — *непрестанное* ощущение * и констатированье в самом себе и во всем окружающем таинственных, *ЖИВЫХ* [6], ненарушимых связей друг с другом и через это — с Неведомым. Это — религиозное сознание, а не бессознательное затуманивание головы. Твой отец [7] совершил *мистический* поступок, когда в великом напряжении энергии своего творчества открыл *биологический* закон (*жизненный*), и самые эти *биологические* законы *мистичны*, потому что говорят *о причинности*, т. е. «*детерминизме*» (зависимости от...). Когда по стеблю поднимаются *живые* соки — происходит *мистический* процесс. Мистика происходит от греческого слова misterion (Μυστήρια), что значит — *тайна*. Тайны в конце не отрицают и матерьялисты (их разновидность — *позитивисты*), говоря, что открыто *почти* все, осталось открыть только еще «небольшой кусочек». Вопрос — откроют ли они это, разложат ли, анализируют ли *бога* жалкие дети земли. «Земля — и в землю обратятся» (revent itur in terram suam unde erat. Et spiritus redit ad Deum,—qui dedit illum!) ** Нет ни одного чело-

---

* Не в психологическом смысле. (Сноска Блока.— *Ред.*)

** «Вернется в землю свою, которою был, и дух отдаст богу, который даровал его» (*лат.*).

века, в котором не был бы заложен мистический элемент уж по одному тому, что он живет себе спокойно, а в минуту смерти вдруг ему станет *отчего-то* жутко. Мистики совсем не юродивые, не «олухи Царя Небесного», а только разряд людей особенно ярко и непрерывно чувствующих связи с «Иным», притом чувствующих не только в минуту смерти, а на протяжении всей жизни.

Не думай, что я один называю именно это «мистицизмом». Это — общее понимание (конечно, не специально ученых философов и пр.). Тут нет точного определения, но его и вообще нет для мистицизма в самом широком смысле, как нет определений для неисповедимых путей божиих.

Вот что такое «мистицизм». Он проникает меня всего, я в нем, и он во мне. Это — моя природа. От него я пишу стихи.

Через него я полюбил Тебя. Бог один знает, как это произошло. И оттого я всегда говорю, что в моей любви к Тебе — *необыкновенное. Непрестанно* люблю, как молюсь. Знаю, что это *не просто* любовь — *не такая, как между неведающими и неверующими. Я ЗНАЮ* многое, *БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ* [9]. Дай бог, чтоб узнал еще и еще больше. Влад⟨имир⟩ Серг⟨еевич⟩ Соловьев, человек *редкой* учености и *энциклопедической* образованности, по ночам плакал и молился розовой тени. Мне каждая вечерняя заря приносит неслыханное обетование о Тебе.

Все неизменно. Но невыразимо грустно, когда Ты изгоняешь из меня меня же самого, как бесов. Если хочешь, мы не будем говорить о тайнах. Нам много можно говорить о будущем счастье, в реальность которого я верю совершенно. Но только позволь мне не убивать себя самого, свою душу, которая вся направлена к Тебе одной. Когда Ты говоришь «пожайлуста, без мистицизма», Ты как будто произносишь смертный приговор над моими стихами даже. А они поют Тебе и о Тебе.

Вот все — и прости меня. В понед⟨ельник⟩ я буду ждать Тебя в 2 часа между курсами и 1-й линией В⟨асильевского⟩ О⟨строва⟩ [10]. А сегодня я буду Тебе и о Тебе молиться.

Твой

22 февр. 1903. СПб.

Вот, я написал стихи перед письмом. Теперь после письма уж не так грустно. Я люблю Тебя. Я молюсь Тебе.

Снова иду я над этой пустынной равниной.
Сердце в глухие сомненья укрыться не властно.
Что полюбил я в Твоей красоте голубиной,—
Вечно прекрасно,— но сердце несчастно.

Я не скрываюсь, что плачу, когда поклоняюсь,
Но, перейдя за черту человеческой речи,
Я и молчу — и в слезах на Тебя улыбаюсь —
Проводы сердца — и новые встречи.

Снова нахмурилось небо — и будет ненастье.
Сердцу влюбленному негде укрыться от боли.
Так и счастливому страшно, что кончится счастье,
Так и свободный боится неволи [11].

[1] По ком была панихида — не установлено.

[2] Цитата из стихотворения Блока «Я к людям не выйду навстречу...» (14 января 1903 г.):

Я к людям не выйду навстречу,
Испугаюсь хулы и похвал.

[3] Об этом эпизоде Блок рассказал в «Автобиографии»: «От полного незнания и неумения сообщаться с миром со мною случился анекдот, о котором я вспоминаю

с удовольствием и благодарностью: как-то в дождливый осенний день (если не ошибаюсь, 1900 года) отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда «Мир божий». Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься *этим*, когда в университете бог знает что творится!» — и выпроводил меня со свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем обо многих позднейших похвалах» (VII, 14). Виктор Петрович *Острогорский* (1840—1902) — педагог. «*Мир божий*» — литературный и общественно-политический журнал (1892—1906), вокруг которого группировались «легальные марксисты».

[4] «*Мир искусства*» — художественный и литературно-критический журнал (1899—1904). С полным основанием А. М. Горький считал, что в этом журнале было представлено «целое течение, возродившее русское искусство». А. В. Луначарский назвал это объединение художников «главным отрядом нашего изобразительного искусства» (см. И. С. Зильберштейн. Парижские находки. Лучший иллюстратор Пушкина.— «Огонек», 1966, № 52, стр. 9).

[5] Подчеркнуто четыре раза.

[6] Подчеркнуто три раза.

[7] Д. И. Менделеев.

[8] Слова католической погребальной молитвы.

[9] Подчеркнуто четыре раза.

[10] Высшие женские курсы находились на 10-й линии Васильевского острова, д. 33.

[11] Впервые напечатано в журнале «Вопросы жизни», 1905, № 6, с вариантом в 3-м стихе («красоте лебединой»). В рукописи озаглавлено: «Безумец».

47

〈26 февраля 1903. Петербург〉

Очень досадно и глупо! Приехала сестра отчима [1], которая будет у нас в пятницу днем!

Если можно вечером в пятницу уйти к Шуре [2] (вариант: к Зине Линевой [3]? К Ленцам [4]? К Вере [5] под предлогом того, что она Шурина подруга и именинница!), я буду ждать у Сампс〈ониевского〉 моста у конки в 8 часов. Можно уйти в 12 ч〈асов〉 домой — все-таки 4 часа. *Если получишь это письмо завтра (в четверг утром), напиши сейчас же два слова — можно ли?*

Как и оказалось, я вечером не мог ничего делать и только хотел Тебя видеть. Поехал с мамой к Кублицким [6]. Так как, придя домой, получил огромное письмо от Бугаева [7], то сначала вечером пошел к Перцову [8], а к Кублицк〈им〉 пришел только в $\frac{1}{2}$ 12-го. Подробности после, но могу хвастаться своей честностью *перед Тобой*. Пишу все это ночью.

Если нельзя в пятницу вечером, то буду днем ждать Тебя, где Ты хочешь, и будем где-нибудь опять блуждать. Но это неприятно. Попробуй устроить вечером — что же делать? Завтра будет очень трудно без Тебя. Буду учиться и пойду в университет. И после завтра — целый день!

Твой

Среда. 26 февр. 1903. СПб.

[1] Фелиция Феликсовна Лозинская, по второму мужу — Бражникова (1858—1934).

[2] А. М. Никитина.

[3] Подруга Л. Д. Менделеевой.

[4] Знакомые Л. Д. Менделеевой и Блока.

[5] Очевидно, Вера Макоцкова, также одна из подруг Л. Д. Менделеевой.

[6] См. примеч. 2 к письму № 40.

[7] Борис Николаевич *Бугаев* (1880—1934) — настоящее имя Андрея Белого. Письмо, о котором идет речь, см. в книге: «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка». М., 1940, стр. 20—26 (напечатано в выдержках).

А. Белый, в частности, писал: «Прежде всего о Ваших стихах: как и всегда, я в восторге (и это не комплимент — совсем нет). «Запевающий сон, зацветающий цвет» — сколько тут милой ясности и свежести! Врубелевская глубина и не врубелевская нежность — слиянно, нераздельно. Скажу откровенно: последние Ваши стихи, по моему убеждению, наиболее глубокие и поэтически прозревающие» («Александр Блок и Андрей Белый. Переписка», стр. 20).

[8] См. примеч. 3 к письму № 21.

48

⟨22 марта 1903. Петербург⟩

Моя Дорогая, Радость моя, мне вдруг показалось ужасным не видеть Тебя два дня. Если сколько-ниб⟨удь⟩ возможно, приходи завтра вечером (воскресенье). Буду ждать у конки от 8-ми до $\frac{1}{2}$ 9-го (у моста). Если нельзя, или не хочешь, напиши. Может быть, *я* могу прийти в понед⟨ельник⟩ вечером? Кроме того, во вторник угрожает опасность раннего прихода Катиньки [1]. Если Тебе лучше завтра вечером быть дома, в как⟨ом⟩-ниб⟨удь⟩ отношении, прошу Тебя, *не* приходи, а только напиши относительно понедельника — могу я прийти, или нет. Прости за растрепанность письма. Мне почему-то немного страшно; Ты сегодня была грустная, тихая, ленивая и озабоченная. Я скоро уйду в «Нов⟨ый⟩ путь», там будут чужие и далекие сердцем; а когда я уйду, будет казаться особенно несправедливым, что я не сейчас же увижу Тебя. Зачем, ах, зачем Ты беспокоишься за меня относ⟨ительно⟩ г-жи Гиппиус [2], или кого бы то ни было! Если бы Ты знала до какой степени я *не могу* сравнивать Тебя со всеми остальными! Если бы Ты была уверена в моей уверенности и верности! Если бы Ты не сомневалась, как я хочу, чтобы все осталось позади и далеко от нас двоих, до какой степени все это часто просто давит однообразием; знаю наизусть, кто что скажет. Спорить и разговаривать просто лень. Защищаться не стоит [3]. Пускай все отдалится и, хоть на время, забудется. Остаться с Тобой — прямая и несомненная цель.

22 марта. 1903. СПб. Твой

[1] *Катинька* — может быть, Екатерина Евгеньевна Хрусталева, дальняя родственница Блока, в ту пору молодая талантливая пианистка.

[2] См. примеч. 8 к письму № 31.

[3] Это настроение Блока, все более определенно ощущавшего самобытность своих духовных исканий, перекликается с тем, что было высказано в письме к Белому за два дня до того, 20 марта 1903 г.: «Прекрасна молчаливая зоркость. Мне чудятся надежды в некоторой уступке нашей всеобщей напряженности. Бросая «эстетизм», необходимо сохранять *красоту*. Еще рано отбрасывать то, что единственно может приготовить сердце» («Александр Блок и Андрей Белый. Переписка», стр. 28).

49

⟨30 марта 1903. Петербург⟩

Что с Тобой происходит, моя Светлая Радость? Отчего Ты не скажешь никогда прямо, почему все Твое существо возмущается вдруг против меня? Ведь Ты никогда ничего не говоришь об этом, кроме редких намеков, иногда ужасно горьких, почти всегда не прямых, скрытых, запрятанных так, что их надо раскутать,— и они запоминаются особенно резко и особенной тяжестью какой-то неразгаданности ложатся на душу. Потом через два дня Ты опять приходишь, а я иду к Тебе навстречу и все еще те-



БЛОК В РОЛИ САМОЗВАНЦА («БОРИС ГОДУНОВ» ПУШКИНА)
В роли Марины Мнишек — С. Д. Менделеева
Фотография, 1898
Литературный музей, Москва

ряюсь в догадках, никогда не зная, какова Ты, что произошло у Тебя в сердце, прекрасном, добром, молодом, благоуханном, неожиданно богатом и до того неоткровенном в самой глубине. Большая часть Твоих слов о чем бы то ни было содержит в себе еще что-то, что я силюсь и не могут понять. Самого глубокого тайника Ты и сама не знаешь и, по крайней мере, не мо-

жешь открыть мне, и не мне его узнать, может быть. Но отчего не сказать когда-нибудь хоть о том, что Ты сама называешь «нервами», и что, по-моему, лежит гораздо глубже простых нервов, и, во всяком случае, сложнее их бесконечно. Я подозреваю эту сложность, подозреваю сложнейшие чувства, целые лабиринты препятствий, по которым Ты часть не хочешь сказать, часть не можешь, часть ленишься, часть, *мож⟨ет⟩ быть*, боишься. Теперь у нас такое время, когда всюду чувствуется неловкость, все отношения запутываются до досадности и до мелочей, соображениям нет числа, и, особенно, в крайних резких и беспощадных чертах просыпается двойственность *каждой* человеческой души, которую нужно побеждать; если хочешь, даже марьонетки, дергающиеся на веревочках, могут приходить на ум и болезненно тревожить. Всему этому нет иного исхода, как только постоянная борьба и постоянное непременное ощущение того, что есть нечто выше и лучше, даже чище и надежнее, настоящее *счастье*, к которому нужно прийти так или иначе *сознательно*. Не скрывайся от меня, все, что только могу, я пойму и обдумаю, все, что Ты ни скажешь, приму, как *очень важное*. Помни, что все произойдет среди нас *двоих*, и, что бы ни произошло, будет как будто забытым для других *всех без исключения*, потому что моя *гордость Тобой* совершенно исключает все остальное и я уже никуда не возвращусь больше в этом главном души, просто *не поведаю и не открою органически*. Теперь подумай: Ты внезапно становишься на такую точку, что я могу бояться за *все*. Как будто Тебе доставляет необъяснимое очарование сознание того, что Ты в одну минуту можешь расшатать и свалить все здание. Боишься Ты этого очень (я думаю). Тяжело Тебе от этого непомерно. Вдруг останавливается всякое движение, еще минута — и душа совершенно опустеет (это называется «трах»). В Твоих руках в эту минуту все, и, если была у меня власть (ничтожная, слабая власть минуты, состоящая только в том, что вся жизнь напряжена и вся ее сила дрожит и трепещет от Твоего дыхания) — она вся распадается и обрывает все свои нити. После этого — мы расстаемся (обыкновенно еще тут играет огромную роль эта, специально наша, опять-таки сложнейшая психология разлуки, ее двухдневной перспективы, и т. д., и т. д.). И после этого опять два дня — у Тебя — разговоров с Шурой [1], мыслей, отрывочных забот об экзаменах и и мн⟨огого⟩ др⟨угого⟩ чего? Ты не говоришь, у меня — тоже мыслей, тоже забот—и опять мы встречаемся и не знаем, *победоносны* ли были эти два дня? Я не могу угадать, Ты молчишь, и мы оба *замалчиваем*. Если говорить *по заказу*,— ничего не будет. Надо, чтобы *хотелось* говорить и было легко, а от разговора — еще легче. Надо привыкнуть друг к другу и легче относиться к окружающему. А для этого помнить не переставая, что я всегда с Тобой, где бы и при каких обстоятельствах это ни было (напр⟨имер⟩, при разговоре с мамой (моей) и всегда всей душой около *Тебя* и за *Тебя*, что я боюсь дуновения ветра на *Тебя* и особенно зорок и придирчив, когда что-ниб⟨удь⟩ касается Тебя (впрочем, тут я говорю, конечно, не о маме, которая сама очень чутка и всей душой к Тебе; но — я все понимаю в этом, что Ты чувствуешь и думаешь). Для примера следующее: если при мне бранят Пушкина или «старую церковь», я буду возражать или соглашаться в том и другом *мягко*. Если при мне издали хоть сделают намек о Тебе, или о чем-ниб⟨удь⟩, Тебя касающемся, Тебе близком, или, даже, связанном с Тобой отдаленно, я буду до последней степени *резок* и совсем не перенесу малейшего недоброжелательства. Года три тому назад я до неприличия грубо выбранил моего дядюшку (действит⟨ельного⟩ статск⟨ого⟩ советника Качалова [2]) за то, что он сказал что-то умеренно пошлое о Твоем папе. *Так будет и теперь*. Если это будешь *Ты сама*, то человеку, посмевшему что-н⟨ибудь⟩ сказать, будет очень неприятно. И Ты думаешь, что есть какая-то область, сравнимая с Тобой для меня! Когда *ТЫ* [3]— источ-

ник всех сил и надежд; до такой степени, что я жизнь мою отдам за то, чтобы Ты теперь не мучилась так ужасно, как, напр<имер>, сейчас мучилась, уходя. Делай, что хочешь, решай, что хочешь, будь определеннее (мож. б., *безжалостнее*) теперь, чтобы не запутать бесчисленных узлов и не довести до самого невыносимого и болезненного разрубания их в последнюю минуту. Помни, что все во мне будет похоронено, как в могиле, и никогда не выйдет наружу, что нет ничего святее и целомудреннее во мне, что это все «останется между нами» и *НИКОГДА* [3] не будет вынесено наружу. Или — будем проще, будем говорить, будем опять-таки распутывать узлы немедленно, чтобы их не накопилось столько, сколько ни одна человеческая сила не может распутать.

Теперь скоро 3 часа, сейчас опущу письмо, перечитал его, но пошлю все-таки. Если Тебе совсем не по настроению будет писать, напиши слово «*Приду*»— и больше ничего (или, наоборот: «*Не приду*»). Говорю про вторник, 8 часов веч<ера>. Если можешь, напиши что-нибудь [4]. Я клянусь Тебе, что беру совершенно на себя — безраздельно все, что Ты решишь относительно нас теперь и в будущем (говорю неясно, но пойми). «Никто не соблазнится о нас» [5]—и я сам не сделаю никакого «скандала» (вроде самоубийства). Письма, пожалуйста, не показывай никому. Если причины ближе, попробуй сказать мне о них, м.б.— написать. Я пойму, что в моих силах.

Твой

30 марта 1903.

[1] А. М. Никитина.

[2] Николай Николаевич *Качалов* (1852—1909) — муж тетки Блока (сестры его отца), Ольги Львовны Блок, директор электротехнического института.

[3] Подчеркнуто дважды.

[4] В ответном письме (с пометой Блока: «31 марта 1903») Л. Д. Менделеева писала: «Конечно, я приду во вторник. Я очень хотела бы написать тебе, чтобы ты не боялся и не беспокоился обо мне. «Траха» не будет и не может быть. Совсем не в нем дело. Но в чем — мне совершенно невозможно объяснить тебе. Я все-таки, может быть, даже попробую написать тебе вечером, когда не нужно будет торопиться, но уверена почти, что такие вещи не высказываются. Только ты не думай, что мне нужно решать что-то, мне нужно бы только объяснить тебе мои идиотские поступки и настроения, а, для этого, правда, пришлось бы быть к себе очень «безжалостной». Мне кажется, в этом случае нам лучше бы было говорить». Письма Л. Д. Менделеевой с «объяснениями» нет; очевидно, объяснение имело место при встрече.

[5] Цитата из Евангелия (От Матфея, XI, 6; От Луки, VII, 23).

50

<5 или 6 апреля 1903. Петербург> [1]

Вот они — белые звуки
Девственно горних селений...
Девушки бледные руки,
Белые сказки забвений...

Медленно шла от вечерни,
Полная думы вчерашней...
У колокольни вечерней
Таяли белые башни...

Белые башни уплыли,
Небо горит на рассвете...
Песню цветы разбудили —
Песню о белом расцвете [2].

[1] Датируется как пасхальное поздравление.

[2] Стихотворение было написано 5 апреля 1903 г. В рукописи (тетрадь беловых автографов) — посвящение Л. Д. Менделеевой и помета: «При посылке белой азалии». Впервые напечатано в альманахе «Гриф» (1904), с посвящением: Л. Д. М.

51

⟨7 апреля 1903. Петербург⟩

Моя Милая, моя Дорогая, сейчас я получил письмо. Счастлив без конца [1]. Весь день были ужасные разговоры. Все измучились. Я уж написал Тебе растерянное письмо [2]. В эту минуту получил Твое.

Думаю, что будем венчаться осенью, потому что за границу ехать надо [3]. Что Ты думаешь об этом? Потом останемся в Шахматове. Обо всем нужно говорить. Завтра приедет мама. Нужно скорее написать отцу [4]. Твой папа, как всегда, решил совершенно необыкновенно, по-своему, своеобычно и гениально. О пятнице думаю, как об обетованном дне. Моим думам о Тебе нет и не будет конца.

Твой

7 апр., вечер.

[1] В этот день, 7 апреля, Блок получил от Л. Д. Менделеевой письмо, в котором она извещала о согласии родителей назначить срок свадьбы. Вот это письмо: «Милый, дорогой, не знаю, как и начать рассказывать. Папа, папа согласен на свадьбу летом! Он откладывал только, чтобы убедиться, прочно ли «все это», «не поссоримся ли мы». И хоть он еще не успел в этом убедиться, но раз мы свадьбы хотим так определенно, он позволяет! Началось это очень плохо: мы с мамой стали ссориться из-за этого же, конечно. Вдруг входит папа. Мама (очень зло, по правде сказать) предлагает мне сказать все сначала папе, а потом уже строить планы. Я и рассказала. А папа, совсем по-прежнему, спокойно и просто все выслушал, спросил, на что ты думаешь жить, я сказала, и папа нашел, что этого вполне довольно, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ он может мне давать в год 600 р⟨ублей⟩. Теперь он хочет только поговорить с твоей мамой о подробностях, узнать, что она думает. Я прямо и поверить не могу еще, до чего это неожиданно! Мы-то думали ведь, что папу будет труднее всех уговорить, а он смотрит так просто и видит меньше всех препятствий. У него все вышло так хорошо, что и мама сдалась, хотя и пробовала сначала возражать, приводить свои доводы. Жаль ужасно, что мы с ней опять поссорились. После разговора с папой я пошла просить у нее прощения за первую ссору, а вышло еще хуже. Но я непременно помирюсь с ней завтра. Теперь все зависит от нас, т. е. от тебя. Бедный, мне тебя жаль — столько придется обдумывать, устраивать, хлопотать, ужасно много надо будет энергии и воли. Я-то помочь ведь почти не могу, знаешь ведь, какая у меня энергия. Хорошо хоть, что не очень долго все будет продолжаться, потом «мы отдохнем, мы отдохнем». А все-таки бедный ты! Не привык ты к таким скучным, практическим делам. А тут еще экзамены твои! Ты думай все время обо мне, а у меня нет минуты, кот⟨орая⟩ не была бы твоя.— Мы сейчас, утром, помирились с мамой». На другой день мать Блока побывала у Менделеевых. Она привезла Блоку следующее письмо от невесты: «Дорогой мой, как хорошо все выходит! Они все сговорились и все согласны. Поговорить бы и нам скорей! Ну, до пятницы, приду к вам. Ты не будь в плохом настроении, как говорит мама! Ведь теперь же все так дивно хорошо выходит! Ну, до свиданья, мама ждет. Твоя» (на письме — помета Блока: «Незапечатано. Привезла мама 8 апреля»).

[2] Это письмо, по-видимому, было уничтожено Блоком.

[3] Блок должен был сопровождать мать в Бад-Наугейм (курорт в Германии).

[4] Письмо Блока к отцу, в котором он извещал его о предстоящей женитьбе, не сохранилось. Ближайшее по времени письмо (от 24 апреля) является уже ответом на письмо А. Л. Блока, в котором он давал согласие на брак сына (см. «Письма к родным», стр. 84).

52

⟨8 апреля 1903. Петербург⟩ [1]

Если я и посылаю это письмо, то не знаю зачем? Могу ли я что-нибудь новое прибавить; думаю, что страстно желаю музыки Твоей души, оттого и пишу. Пока пишу, слушаю. И пока слушаю, могу расслышать то, чего нет здесь. Не знаю, как бы Тебе выразить, что обозначают мои резкости и разговоры с мамой. Иногда я думаю, что этого нет и другой «ссорится», а не я, который может и вовсе не ссориться. «Инерция страдательности», если хочешь. Оставим. До такой степени жизнь переполнена, точно чаша до краев и наверху медленно и верно вскипает. Что это — оно? (оно — вскипающее). Я не знаю. Я никогда этого не встречал. Пока я любил Тебя отдаленно, были звезды, были цветы и было все прекрасное, что есть в мире, было здесь — при мне. Верные прислужники метафизических прихотей — цветы и звезды. Они исполняли меня и они выводили в равнину, где ближе, чем думалось, и дальше, чем хотелось,— где-то — вне времен, воли, жизни даже — билось Твое Сердце. И оно билось — этого я до сих пор не пойму. И вот еще: этому я никогда в жизни *окончательно* не поверю. Не испугайся. Это все — к Тебе. Я только хочу сказать, что я никогда не постигну моего собственного «достоинства», т. е. той моей лучшей части, которая прикликала Тебя. И вот что вышло. Ты стоишь около и видишь меня — такого, как я есть на самом деле! Ты — такая, как Ты есть, видишь и *хочешь* видеть. Ты — белее стен Нового Иерусалима, Невесты Христовой [2] и краше цветов, распускающихся ночью в тех странах, куда никогда никто не придет, которых никто никогда не увидит, которых — *нет*. Такой белизны Твоего внутреннего Света никогда не будет. Таких цветов, каких Ты краше, никогда не было. Но Ты — есть — теперь — в настоящем — и живая. И отчего это — для меня? Что я *могу*? Что мне может *присниться* о Тебе? Где во мне То, к чему Ты пришла? Я не знаю Его — и не встречу. Это — Знак — благодать божия, «данная бедным в дар и слабым без труда» [3]. Когда я узнаю Это, я узнаю в то же мгновенье, что Ты — *вдвоем* со мной. Раньше я не буду видеть, не буду знать, буду слеп, как Савл, у которого очи в чешуе [4]. Но будет время, когда я стану Твоим Апостолом.

Вот, когда я любил Тебя отдаленно, я знал, что вся природа мне служит Символом Твоим. Я часто был верен и дерзок, как верна дерзкая рука, пишущая Тебе эти строки. Я знал тогда, что Ты *не сойдешь*,— и ошибался. Так же и только обратно ошибался черный невольник, которого отталкивала Царица. И он умирал тогда — его жизнь сгорала. Но я ошибся не так, Ты пришла и повеяла. И значит, я не должен умереть. Или правда, что я «не умру, *но изменюсь* скоро, во мгновение ока, по Последней Трубе»? (ап⟨остола⟩ Павла послание к Коринф⟨янам⟩). Прости, прости и прости меня — я вечно буду *требовать* Твоего прощения. За что Ты (или Ты не одна, и Тебя ведут в сумерках по белым ступеням Невидимые Руки Той, с кем у Тебя завет?) — за что Ты *воскрешаешь* меня? Отчего Ты избираешь меня из толпы, которая до сих пор нестройно и безразлично для Тебя колыхалась перед Твоими голубыми окнами [5]?

Великий «грех» и великая ересь молиться женщине. Но бог видит, какова моя молитва и, может быть, простит мне не только это, но и все, что было и что будет, даже смерть от счастья быть с Тобой и угадывать Тебя. Сердце как будто хочет раздаться в своей напряженности. Если в нем тот драгоценный камень, который привлек Тебя и которого искали в сумерки у ворот своего города люди с неподвижными глазами в длинных струящихся сединах, люди страны забытой и несуществовавшей (это — мой миф, прости, что я его сейчас придумал), если Этот Камень — в моем сердце, то он треснет и по нему побегут бесчисленными линиями, разбегаясь

и скрещиваясь, как тонкие паутинки, струи Откровения. Но — все равно:

Как тогда — с безгласной улыбкой
Ты прочтешь на моем челе —
О Любви, неверной и зыбкой,
О Любви, что цвела на земле [6].

Довольно. Оставим опять. Через два дня Ты придешь. Сегодня я не напишу ни слова о «делах». «Дела» мои и наши сегодня закутались от меня в «дни». А дни ведь все Твои, и у них такие длинные, бесчисленные складки в одеждах, что мне невозможно миновать их. И я хочу туда возвращаться. Прости опять. Все это длинно и тяжело. Теперь ночь — и завтра днем будет опять иначе. Но всегда — хорошо. Жизнь переполнена до краев — и вот она — Твоя до смерти.

Да простит мне бог! Но в каждой церкви я вижу Твои образа. Он знает, что это значит,— и простит. И ты прости.

[1] Дата почтового штемпеля: 9 апреля 1903 г.

[2] См. «Откровение св. Иоанна», XXI, 2.

[3] Источник цитаты не установлен.

[4] По евангельской легенде, апостол Павел, называвшийся в бытность его язычником Савлом, из яростного гонителя христиан превратился во вдохновенного проповедника новой веры. По пути в Дамаск ему явился Христос и поразил его слепотой; когда же Савл обратился к христианству и прозрел духовно, «тотчас как бы чешуя отпала от глаз его» («Деяния апостолов», IX, 18).

[5] Ср. в стихотворении Блока «Ты была у окна...» (12 октября 1900 г.):

Ты была у окна,
И чиста и нежна,
Ты царила над шумной толпой.
Я стоял позабыт
И толпою сокрыт
В поклоненьи любви пред тобой.

Мне казалось тогда,
Что теперь и всегда
Ты без мысли смотрела вперед.
А внизу, у окна,
Как морская волна,
Пред тобой колыхался народ.

[6] Цитата из стихотворения Блока «Будет день, словно миг веселья...» (31 октября 1902 г.).

53

⟨19 апреля 1903. Петербург⟩ [1]

Должно быть, я слишком много пишу Тебе. Но я не могу иногда не писать. Я совершенно не могу иногда не говорить с Тобой, потому хоть пишу. Такой полноты счастья у меня никогда еще не было. Таких настроений — тоже никогда. Были сплошные таинственные восторги одиночества. То было совсем не так. Потому что я знал, что следующий час будет опять в затишьи. Теперь я знаю, что Ты завтра придешь, и этим живу. У Тебя будут новые очарования; а у меня — снова открытое сердце. И кроме того, самое главное, все это совсем не так, и совсем иначе, а как, я никогда не могу ни сказать, ни написать. Но это ничего, потому что Ты знаешь, как.

Глухая полночь медленный кладет покров.
Зима ревущим снегом гасит фонари.
Вчера высокий, статный, белый подходил к окну.
И Ты зажгла лицо, мечтой распалена.

Один я жду, я жду, я жду Тебя, Тебя.
У черных стен Твой профиль, стан и смех.
И я живу, живу, живу сомненьем о Тебе —
Приди, приди, приди — душа отравлена.

Горящий факел к снегу, к небу вознесла
Моя душа Тобой, Тобой, Тобой распалена.
Я трижды звал — и трижды подходил к окну
Высокий, статный, белый — и смеялся мне.

Один я жду, я жду Тебя, Тебя, Тебя Одну [2].

Ты не сердись на это стихотворение и никому его не показывай. Оно плохо в литерат⟨урном⟩ отнош⟨ении⟩, по-моему. Это — моя страсть к Тебе. Размер — величавость и напряженность Гете и древних трагедий. Так говорила Троянская Елена.

Ты придешь завтра. Я буду ждать [3]. Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Стихотворение было написано 18 апреля 1903 г. В рукописи (тетрадь беловых автографов) озаглавлено: «Его шаги». Впервые напечатано в альманахе «Корона» (1908).

[3] Ответное письмо Л. Д. Менделеевой (почтовый штемпель 21 апреля 1903 г.): «Ты изгоняешь бесов, вот что! Я сегодня тиха и кротка так, что даже жаль, что ты не увидишь. Но я твердо решила изо всей силы держаться за такие настроения, вот увидишь в четверг, какая я могу быть смирная, смирная... Я рада, что мне удалось так скоро тебя послушаться и понять. Теперь не нужно будет рассаживаться по разным углам, все будет хорошо так, само по себе. Я не раскаиваюсь и не прошу прощенья, за то, что было,— ты не можешь на меня сердиться. Ведь в этом безумии вся моя душа, она тобой, тобой, тобой распалена и только ты же своим приказаньем можешь укротить ее, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ я вся в твоей власти, приказывай, делай со мной, что хочешь... Вот у меня теперь опять такое время, что я усиленно чувствую себя твоей Дианкой; так хочется быть около тебя, быть кроткой, кроткой и послушной, окружить тебя самой нежной любовью, тихой, незаметной, чтобы ты был невозмутимо счастлив всю жизнь, чтобы любить тебя и «баловать» больше, чем мама...» (*Дианка* — отзвук популярного в эстрадном исполнении стихотворения А. Н. Апухтина «Письмо»,— речь идет о влюбленной женщине:

Она отдаст последний грош,
Чтоб быть твоей рабой, служанкой,
Иль верным псом твоим — Дианкой,
Которую ласкаешь ты и бьешь!

Кстати сказать, у молодого Блока в Шахматове была собака, которую тоже звали Дианкой).

54

⟨21 апреля 1903. Петербург⟩ [1]

Я сегодня не могу написать много, в третий раз разрываю и бросаю. Мне так хорошо и спокойно. Хочу только, чтобы Ты совсем не боялась и помнила, как мы прочно, неразрывно и несомненно связаны. Мы бесстрашны и свободны, и вчера я говорил то, что Тебе не нравилось, не от

страха и не от рабства. Будь спокойна и тиха, я с Тобой все время. Ничего дурного мы не сделали и не можем сделать. Если бы Ты знала, с какой уверенностью я это пишу и как я близок к Тебе, Ты ни минуты не боялась бы и не сомневалась. С Тобой, моя Белая Невеста, я думаю, дышу и живу.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

55

⟨21 апреля 1903. Петербург⟩ [1]

Моя Дорогая, Ты, если понадобится, скажи папе, что отец прислал мне 1000 р⟨ублей⟩ [2]. Письмо я пишу не так, чтобы показывать, да и кто же может спросить? Сейчас вернулся, скоро 12 ч⟨асов⟩. Главное, будь спокойна, не очень волнуйся. За Тебя я беспокоюсь и мне очень больно, что Твое молодое и прекрасное время так тревожно, и главное — тревоги все какие-то не молодые и не прекрасные, и разговоры Твои с мамой [3] все тяжелые и не тонкие. Совсем Тебя не щадят, Тебе совсем *не нужно* говорить о том, о чем говорится, и это — самое горькое и самое несправедливое. Когда мы будем жить вместе, Ты увидишь, что *можно* не говорить о многом, о чем не хочется или неприятно говорить. А теперь я Тебе прямо говорю, что я *не понимаю*, как это выходит, что такая «серость» забирается во все без исключения самые святые и самые неприкосновенные тайники. Я старше Тебя и мужчина, и прожил всю жизнь без этих навязчиво-ненужных подробностей, какого-то обихода, который только тогда имеет значение, когда к нему относятся не кисло. И, главное, все это ведь не настоящая практика и не окончательная трезвость взглядов, которую я могу понять, а какие-то мелочи — дрянь, из-за которой нечего трудиться. Ведь никому не весело и никому не хорошо, значит никто ни иоты не выигрывает, к чему же все это? Все устроится, будь спокойна, Ты можешь, потому что Ты — добрая, ласковая и милостивая. За все это прости, я, право, только из-за Тебя, да я и пойму, мож⟨ет⟩ быть, все это, если только увижу хоть какую-нибудь причину. А я сам в этом трескучем и докучном шепоте не теряюсь, у меня только разгорается душа, и я все яснее, яснее и яснее знаю о Тебе, о нашем счастье, о нашей свободе, о красоте нашего близкого будущего. Право, незачем все это, все пустяки какие-то, что-то несерьезное и какие-то полумеры. Тебя жаль так, как никогда, помни, что я отдам Тебе все, что в силах отдать. Мама [4] сейчас приехала, говорит, что, когда Тебя видит, не знает, что ей сказать. Нравишься Ты ей с каждым разом все больше, и очень она Тебя любит.

А я Твой безраздельно и вечно, Ты знаешь, что об этом нечего говорить.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля: 22 апреля 1903 г.

[2] «В конце апреля я получил от отца 1000 руб., с очень язвительным и наставительным письмом»,— записал Блок впоследствии (VII, 425).

[3] С А. И. Менделеевой. Разговоры, нужно думать, касались вопросов материальных и бытовых — в связи с предстоящей свадьбой.

[4] А. А. Кублицкая-Пиоттух.

56

⟨22 апреля 1903. Петербург⟩

Что-то Ты думаешь и делаешь теперь? Ночь и гроза, все небо в зарницах и молниях. Все какое-то глухое беспокойство. Что с мамой? Твое письмо я получил утром [1], мож⟨ет⟩ быть, завтра будет еще? Так устал, что не

ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ.

Сегодня 1 августа 1898 года имѣетъ быть спектакль въ Бобловскомъ театрѣ.

НАЧ. ВЪ 8 ЧАС.

Представлено будетъ:

НАЧ. ВЪ 8 час.

I

Отрывки изъ трагедіи Шекспира

Гамлетъ, принцъ Датскій.

Дѣйствующіе:

Король Даніи . . . . г-нъ × × ×

Гертруда, жена его . . . . . . г-жа С. МЕНДЕЛѢЕВА.

Гамлетъ, ея сынъ . . . . . . г-нъ БЛОКЪ.

ЛАЕРТЪ, придворный . . . . г-жа Лид. МЕНДЕЛѢЕВА

Офелія — сестра его . . . . г-жа Люб. МЕНДЕЛѢЕВА

Свита, народъ, и пр. . . . || Дѣйствіе въ Эльсинорѣ.

II.

Монологъ изъ „Орлеанской дѣвы" Шиллера, прочтетъ г-жа С. Д. МЕНДЕЛѢЕВА.

III.

БУКЕТЪ.

Комедія въ 1 дѣйствіи И. Потапенко.

Людмила Николаевна Топорцева . . . . г-жа С. Менделѣева.

Екатерина Александровна Боброва . . . г-жа Люб. Менделѣева.

Евгенія Ивановна Полинская . . . . г-жа Лид. Менделѣева

Владиміръ Петровичъ Ростовцевъ . . . г-нъ Блокъ.

Маша, горничная Топорцевой . . . . Муся Менделѣева.

Разсыльный изъ гостинницы . . . . Вася Менделѣевъ.

АФИША ПРОЩАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ В БОБЛОВСКОМ ТЕАТРЕ, НАПИСАННАЯ БЛОКОМ

Автограф, 1898

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

напишу много. Думаю о Тебе, Ты знаешь сколько. Думаю вообще, все думаю — и не знаю, где «несчастья» будущей жизни? Вижу только Твою весну, вижу так ясно и так просто.

Нам будет хорошо. Ты знаешь, где счастье, я понимаю, где счастье. Мне не изменяет мое чутье и моя молодость. Я вижу над головой звезду и знаю, куда Ты ведешь меня. Твой ученик, Твой жрец, Твой раб.

Послезавтра я жду Тебя. Вот письмо Панченки [2]. И многие, и самые разные люди относятся именно так. Отчего бы и нам не прожить так? Я не вижу, отчего молодость такое большое несчастье... или недостаток? У меня в долине — цветы и страстная мгла. Приходи — и увидишь. У меня в душе для Тебя целый мир нераскрытых песен. То, что я еще не спел, я спою — и Ты услышишь. Ведь мои песни, цветы и страсти — одно, и это одно — для Тебя одной, о Тебе одной. И я Твой ученик, Твой жрец, Твой раб.

Гроза прекрасна и воздух чист. Я думаю о Тебе весенней ночью. Какое счастье!

Твой

22 апр. 1903. СПб.

[1] Вопрос связан с какими-то разговорами, которые Л. Д. Менделеева должна была вести с родителями относительно своей свадьбы. В письме от 22 апреля Л. Д. Менделеева писала Блоку: «Мама не выходила из своей комнаты весь вечер, у папы кто-то сидит. Разговоров не было. Жду твоего письма с известием от отца. Как только будет что-нибудь новое, я напишу тебе... Сегодня папу не увижу, ложусь спать».

[2] Семен Викторович *Панченко* (1867—1937)— композитор, знакомый семьи Бекетовых. Будучи много старше Блока, он оказывал на него довольно сильное влияние; молодой Блок прислушивался к мнениям и советам Панченко, но в зрелые годы относился к нему несколько иронически. Многочисленные письма Блока к С. В. Панченко не сохранились; о значительности этой переписки можно судить по ответным письмам Панченко (ЦГАЛИ). Блок переслал Любови Дмитриевне письмо С. В. Панченко от 18 апреля (1 мая) 1903 г., в котором тот писал: «Сыплю на Вашем пути цветы, папоротники и душистые травы. Пусть это будет Вам ковром на всю Вашу жизнь, столь длинным, сколь долог будет путь Вашей жизни. Пусть по сторонам этого ковра — вашего пути — юноши греческие прекрасные встречают Вас торжественной музыкой флейт и гобоев, в строях дорийском, фригийском, ионийском. Пусть поэты слагают Вам звучные стихи. Пусть на пути Вы будете встречать священные рощи Беклина для отдохновения — рощи тенистые, таинственные и задумчивые. И пусть там Вам жрицы прекрасные и стройные поют гимны под аккомпанемент арф многострунных. А над Вами, во все время пути Вашей жизни, пусть непрестанно льются серебряные песни светлых серафимов. Пусть Ваш путь весь, до самой крайней черты, будет счастлив и добр» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 358).

57

⟨25 апреля 1903. Петербург⟩

Сегодня я кругом виноват. Но прошу и Тебя: не будем больше. Это — [1] мое твердое и несомненное. Только Ты будь тверже и еще несомненнее. Лучше об этом теперь не говорить — это и трудно и ненужно. Если хочешь, поговорим в след⟨ующий⟩ раз, но я все сказал и все заключаю в одном: не *легкомысленно* ли дразнить смехом и *СТРАШНОЙ* [2] близостью красоты? Если Ты придаешь значение моему *лицу*, то легкомысленно. А в отнош⟨ении⟩ к m-me Мережковск⟨ой⟩ я не мальчик и Ты напрасно подозреваешь, разные возможности [3]. Моя Дорогая, не то время и не таков я, чтобы переносить на меня эти подозрения в возможностях. По крайней мере, когда завязана в моем сердце мистическая поэма о Тебе, оно —

не слепо и *свободно* направлено *только* к Тебе — и нет ни одной точки, на которой можно бы было успешно построить что-ниб⟨удь⟩ противное этому. А Твои подозрения возможностей совсем не имеют оснований, потому что я *имею право* осуществлять свободу своего сердца в рабстве *Одной Тебе*. Ведь не вопрос же это, в сам⟨ом⟩ деле, к чему же я пишу столько? В субб⟨оту⟩ я *не* пойду в «Нов⟨ый⟩ п⟨уть⟩» — *не оттого*, что Мережк⟨овская⟩, а оттого, что там будет Розвадовский [4] и, главное, некогда и не хочется. Выбери субботу и воскресенье. В один из эт⟨их⟩ дней я приду к вам, а в другой — Ты придешь, если захочешь и сможешь — вечерами. Уйти нужно непременно раньше, обещаю Тебе. Как Тебя встретил папа? Буду ждать письма — с завтр⟨ашнего⟩ вечера? Еще вот что: если один раз что-ниб⟨удь⟩ неприятно — в другой всегда лучше. А мелочи, напр⟨имер⟩, мимолетные неприязни, *должны* вычеркиваться. Будем милостивы вообще и теперь особенно. Тогда все будет хорошо. Теперь утро — светает.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Подчеркнуто дважды.

[3] См. примеч. 8 к письму № 31.

[4] Александр Иванович *Розвадовский* (1883—1946)— польский граф, в 1903 г. студент физико-математического факультета Петербургского университета, товарищ брата Л. Д. Менделеевой — Ивана Дмитриевича, на свадьбе Блока был шафером невесты. Воинствующий католик, целиком погруженный в религиозно-мистические настроения и ратовавший за внесение «западных начал» в русскую жизнь, Розвадовский уже тогда «готовился к пострижению в монахи» (см. «Письма Александра Блока». Л., 1925, стр. 20). Осенью 1903 г. он уехал за границу, в конце 1904 г. принял монашество (в Польше). Блок был заинтересован этим, по его характеристике, «странным человеком», вел с ним «длинные разговоры» (см. там же. стр. 68) и находился с ним в переписке (письма Блока к Розвадовскому не выявлены). См. также «Письма к родным», стр. 92—93; «Ал. Блок и А. Белый. Переписка». М., 1940, стр. 51.

58

⟨25 апреля 1903. Петербург⟩ [1]

Все устраивается так, что Тебе необходимо прийти завтра (в субб⟨оту⟩ вечером), если Ты хочешь и можешь. В воскресенье будут обедать Гиппиус[2] и Ферољь [3]. Во вторник, в день экзамена, Ферољь придет днем, так что нам не придется видеться днем и вечером; я лучше приду к вам в этот день (29) вечером. Вообще все это так сложно, главное оттого, что мы запираемся и не выходим. Например, если завтра кто-ниб⟨удь⟩ придет случайно, невозможно запираться, потому что из этого выходит целая история. Приходи, пожалуйста, завтра вечером, нам необходимо и об этом поговорить. Если Ты получишь письмо во-время, приходи завтра днем, чтобы остаться обедать — ведь можно обедать у Шуры [4]? Если не придешь днем, ответь, можешь ли прийти вечером. Все это до того оказывается сложно, потому что весной всегда приходит гораздо больше народу, и так, как теперь, продолжать невозможно.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Александр Васильевич *Гиппиус*— друг Блока (см. примеч. 14 к письму № 7). В письмах и дневниках Блок неизменно упоминает о Гиппиусе с чувством сердечной привязанности. Позднее, в июне 1911 г., Блок писал ему:«Много хочу тебе сказать и обо многом говорить, всегда люблю тебя и надеюсь, что мы когда-нибудь будем жить в одном городе» (VIII, 348).

[3] Феликс Адамович *Кублицкий-Пиоттух* — двоюродный брат Блока.

[4] А. М. Никитина (см. примеч. 4 к письму № 25).

59

‹25 апреля 1903. Петербург›[1]

Я опять пишу Тебе. Мне ужасно трудно, больно и тяжело говорить об этом. Мы с мамой сегодня утром ужасно поссорились, а теперь помирились. Она ужасно обиделась вчера, и вообще ей все время кажется, что мы хотим не обращать на нее никакого внимания. Ты знаешь, до какой степени она от всей души делает все. Она — ужасно больная и ужасно нервная. Ведь Ты поймешь, в каком смысле она обиделась? Ты не сердись на меня сразу за это, а подумай, что нам надо жить вместе. Нельзя ее так игнорировать. Ведь Ты знаешь, как я это говорю и что Ты для меня. Пойми все это, ради бога, если Ты любишь меня, и не сердись на первое слово. Ведь я не за нее заступаюсь, потому что Ты знаешь, что мне нельзя заступаться перед Тобой даже за нее. Но мне ее невыразимо жаль, и она так несчастна все эти дни, если бы Ты знала. У меня душа болит за то, как ты отнесешься к этому письму. Если Ты сразу примешь враждебный тон, как вчера, когда я хотел пойти к маме, чтобы сказать ей, чем все кончилось,— нам нужно решить не жить вместе, а жить отдельно, не на этой квартире. Ты знаешь мои отношения с мамой всю жизнь — это совсем необыкновенное. Я для Тебя сделаю все, Ты знаешь. Если Ты не сделаешь этой уступки, тогда нам нужно будет уйти. Но разве Ты не видишь и не чувствуешь, что тут, как это сравнительно просто улучшить,— к чему же, к чему же? А Ты знаешь, почему мы никогда не выходим и не пускаем к себе маму. Брани меня, как хочешь, называй холодным или еще хуже, но Ты все увидишь и поймешь потом, если захочешь, если любишь меня. Господи, как все это трудно и тяжело, если бы Ты знала, если бы Ты видела, если бы Ты слышала все эти наши разговоры. Ты снизойди и будь милосерднее. Я пишу, потому что знаю, как Ты можешь быть милосердна[2]. А если рассердишься и не захочешь понять, тогда скажи определенно, жить или не жить вместе на этой квартире. Завтра я жду Тебя. Будь благосклонная и добрая, как Ты умеешь, и прости меня за все это.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 27 апреля): «Когда я буду с вами, и мама увидит, что я не «отгораживаюсь», увидит на деле, как я отношусь к ней. Мы не можем не быть счастливы все, все!.. Так бы хотелось знать, что ты спокоен и весел и что мама не сердится больше на нас. Скажи ей про меня что-нибудь хорошее, если есть что».

60

‹27 апреля 1903. Петербург›[1]

Я пишу мало. Ушел Гиппиус[2] ночью, и я ничего уж не понимаю. Я Твой, я с Тобой без конца. Спасибо Тебе за Твои слова в письме[3]. Приду во вторник вечером. Можно видеться в среду? Можешь Ты прийти на весь день? Или — когда? Ответь, как хочешь. Если писать не хочется, скажи во вторник. Я счастлив. Я Твой. Мне хорошо, и весело, и радостно. И все хорошо. Я Твой. Я не видел Тебя без конца. Ты видишь теперь, что думает мама? Ты получила ее письмо? Я счастлив всем. Я с Тобой.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля: 28 апреля 1903 г.

[2] А. В. Гиппиус.

30 апреля Блок написал ему: «Больше уж не приду к вам. У меня все складывается странно радостно. Сплелось столько всего, что ни написать, ни рассказать кратко

немыслимо. Но все это — цепкое, весеннее, пахучее, как ветки сирени после весенних ливней» (VIII, 56).

[3] См. примеч. 2 к письму № 59.

61

⟨28 апреля 1903. Петербург⟩[1]

Я ждал Твоего письма, моя Дорогая, теперь уж, вероятно, не будет (9 час⟨ов⟩ веч⟨ера⟩). Если будет, я все сделаю, что будет написано, а если нет, то после экзамена пойду домой и вечером приду к вам. Это письмо Ты получишь уже придя с экзамена [2]. Только бы Ты не дожидалась меня на курсах. Мне кажется, что я Тебя не вижу без конца. Ты, впрочем, давно знаешь и видишь все. Как все хорошо! Ты придешь в среду? Скажи мне завтра. Обещаю Тебе быть менее бездарным в письмах после всех экзаменов.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля: 29 апреля 1903 г.

[2] И Блок и Л. Д. Менделеева в эти дни готовились к сдаче экзаменов в университете и на Высших женских курсах. Блок был занят экзаменами с 15 апреля по 20 мая.

62

⟨1 мая 1903. Петербург⟩

Каюсь перед Тобой, коленопреклоненный, во всем, что я Тебе делаю злого. У меня скверный и неровный характер, и Ты постоянно, кажется, чувствуешь это. Я буду уравнивать его после экзаменов и летом. Прости теперь за мою Любовь, она сильна, она безмерна — и за мою страсть. И еще — нам нужно вместе исповедываться и причащаться [1], я часто думаю и об этом и о многом другом, и, когда Ты присутствуешь — здесь, или у вас,— все эти думы ускользают. А когда мы обручимся? Мне хочется ехать за границу обрученным с Тобой, и Ты говорила, что хочешь этого. О загранице мы сегодня разговаривали, кажется, что нужно решить отъезд на 25-е мая, позже уже трудно будет найти пансион или отель — и дороже. Еще нам надо вместе купить кольца, где? В субботу поговорим об этом. Еще мы непременно снимемся, только когда? Все это нужно обговорить, а мы все не можем разговаривать и все — я, уверяю Тебя.

Передо мной — Твои ландыши, совсем свежие, а сирень опустилась и совсем завяла. О том, что было третьего дня ночью, думается сонно — сквозь туман. И письма нет никакого. Мне, однако, скоро захочется спеть или расшевелить рифму о безумном романтике, о сером рассвете, о серых ступенях, по которым Ты всходила и сходила. Когда в верхней квартире были смехи и возгласы, я стоял ниже, под желтой лампой, и видел в домике на дворе вечный красный огонь — целый костер. Там, надо полагать, занимались каким-то «производством» и «промышленностью». Но я не вникал и до сих пор не знаю. По правде Тебе сказать, я до сих пор вхожу на эти ступени и слушаю шорох Твоего платья и кладу земные поклоны, и целую серые ступеньки. И не верю, не верю, что я не прав, что я романтик. Я верю в Другое. Много из сердца осталось в этих стенах лестницы под желтой лампой. Слишком много там было истинной, нечеловеческой дрожи и радости страданья, чтобы покидать это. И к чему? Ты понимаешь, что Там вместе с моей памятью осталась и Твоя — Твоя Розовая Тень — *Твоя*. А где прошла Ты, то навеки священно и навеки — поет. Ты — Певучая, Ласковая, Розовая — без имени и в венце из имени: Любовь.

Твой

1 мая 1903. СПб.

[1] Перед обручением. Исповедовались они 24 мая, причастились и обручились — 25 мая в университетской церкви (VII, 425).

63

⟨2 мая 1903. Петербург⟩

Знаю, что Ты придешь завтра. Эта мысль — самая ясная, остальные — неясны. Сегодня днем я почувствовал такую головную усталость, что ушел гулять и был в поле за Петербургом и на Гагаринской (!) [1]. Ты удивишься или рассердишься. А скорее — ни то, ни другое. Тебе это не может быть неприятно, моя Дорогая. Писал очень плохие стихи [2]. Но не думай, что не учился — также и учился. А все-таки, в поле трава зеленая, дали голубоватые и подозрительные,— точно там что-то есть (последнее для меня даже не «точно», а «наверное»). Я чувствую скорое освобождение. Весна идет в этом году неуклонно, потому что я твердо знаю, что будет за ней. А прежде ведь никогда не знал — ничего о Тебе. Сердца не могу забыть и запрятать, от этого плохо сковывается ум. А между тем перевожу с греческого диалог Платона о благоразумии... рассудительности... самообладании и пр. [3] Credo equidem, nec vana fides, genus esse deorum (Платон) *, однако в моем случае он оказался под влиянием Сократа, а потому и наговорил много несвойственного собственной величавой и седой душе. Впрочем, много и очень умного, и при всем весеннем и порывистом настроении, не могу не согласиться, что многое мне по нраву, но... по-гречески, а главное — перед экзаменом.

Я ужасно несмирен и горжусь в глубине души. Горжусь Тобой. Получили ли «Новый путь»? На этот раз мои произведения мне не нравятся ни качеством, ни количеством. Надо бы получше и побольше [4].

Завтра Ты придешь — и в этом часе Твоего прихода и в кратких часах Твоего свидания со мной расположено все предыдущее и последующее — до нового свиданья. Так всегда. Счет дней аккуратен в моей голове — аккуратнее всего, что ее загромождает в большом количестве и в некотором беспорядке. Приходи, как можешь раньше, моя Дорогая, Несравненная, Единственная.

Твой

2 мая 1903.

[1] То есть возле Драматических курсов М. М. Читау, где раньше училась Л. Д. Менделеева. Это место было дорого Блоку по воспоминаниям.

[2] Имеется в виду стихотворение «Нам довелось еще подняться...», снабженное пометой: «Поле за Петербургом». Блок это стихотворение ни разу не напечатал.

[3] Перевод одного из диалогов, составляющих книгу Платона «Пир», для экзамена в университете.

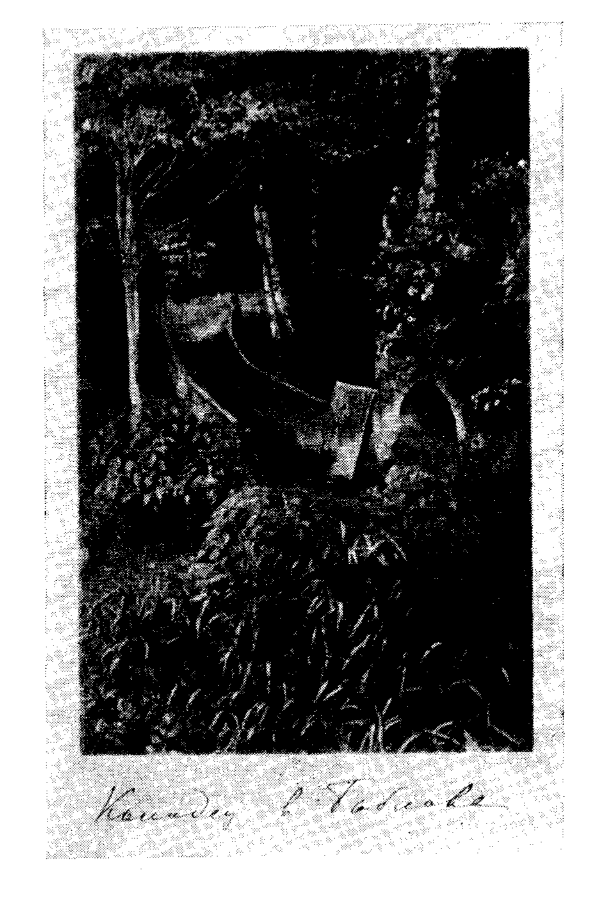
[4] В апрельской книжке «Нового пути» были напечатаны заметка Блока о «Симфонии» Андрея Белого (в отделе «Из частной переписки») и краткая рецензия на роман А. Зарина «Спирит» (за подписью: Ал. Бл.). Это была первая напечатанная проза Блока.

64

⟨7 мая 1903. Петербург⟩ [1]

Не думай, что я пишу так коротко оттого, что не в настроении. У меня душа слишком переполнена, оттого мне можно сказать всего несколько слов, а больше — нельзя. Все равно, какие слова. Но не сказать нельзя чего-нибудь нежного. И, к тому же, Ты так привыкла к моим словам. Есть ли что-нибудь *новое* для Тебя во всем строе моей любви? Может быть, нет. А, может быть, и есть. Как угадать все, что в Твоей бездонности заключено? И, может быть, я иногда *опошляю* Твои несбыточные мечты? «Убей

* Верю, есть племя богов, и вера моя не напрасна.— Латинское стихотворное изречение.



КОЛОДЕЦ В БОБЛОВЕ
Фотография, 1900-е гг.
Надпись — рукой Л. Д. Менделеевой-Блок (1931)
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

раба...» Знай, что если опошляю, то невольно и под влиянием недобрых созвездий. Но вечно праздную Твой праздник, Тебя, несбыточная и сбывшаяся мечта, Тебя, живое воплощение, Тебя, Кроткая Прелесть моя! Слова мои — старые, глупые, малозвучные слова, но есть во мне огоньки новых надежд. Оттого я и вышел на распутья в Твою зеленую ночь и гляжу, расширяя зрачки. Какой я некрасивый и бледный перед Твоим факелом! Какую Ты мне розовую сказку рассказываешь? Сказку о том, что я живу, думаю, цвету и пою. Ты увидала меня во сне. И, все-таки, я думаю, что получу от Тебя письмо — тонкие, бесконечно дорогие, любимые черты Твоей детской и женской руки. Мне хотелось бы закрасться в Твою душу.

Твой

Вышло не очень кратко, но — все равно.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

65

⟨8 мая 1903. Петербург⟩ [1]

Я еще вчера (в среду) получил Твое письмо, моя Дорогая. Отчего Ты всегда думаешь, что в Твоих письмах «идиотский тон» [2]? Я люблю его, как все, что от Тебя. И, кроме того, что я его люблю, в нем вот что: женская, женственная, до глубины женственная манера, будто вялая, на самом деле — тонкая, нежная, как тонки буквы. Я люблю всякую букву. Буквы все убегают в длину фраз, а фразы длинные, как жемчужная нитка — нижутся, нижутся слова о любви. Вот, например, передо мной письмо от

12 ноября [3] — две страницы, а все состоит из трех фраз, из которых две разделены только многоточием. И все о любви. Не ленивое и не вялое — и какое женское! До чего нет ни тени грубости, а когда пишет мужчина (настоящий), всегда даже должно быть, пожалуй, резче. У Тебя письма цельные, в них есть и Твой профиль, и Твои движения. Благоухание Твоих писем в том, что они — будто холодны, сначала. Потом — верность и неуклонность, какая-то вера помимо времени, вера сверх минуты, будто мгновение из жизни, а не из мгновения жизнь: нет принуждения (кроме внешнего), пишется, как пишется. И вся лень Твоей походки, «мягко-ниспадающей», призывной для избранного... Обаяние скатывающейся звезды, цветка, сбежавшего с ограды [4], которую он перерос, ракеты, «расправляющей», «располагающей» искры в ночном небе, как «располагаются» складки платья — и с таким же не то вздохом, не то трепетом и предчувствием дрожи. Ты не оправдывайся в письмах, я знаю их, знаю, о чем они. В них — мои вести и мои сказки. Между строк вырастают для меня предания о временах прошедших и будущих. И где же лучше располагать эти предания, как не между строк *Твоих* писем. Малая церковь Твоя — для меня эти письма, и я бы хотел украшать их любовной живописью. Ношу с собой последнее письмо и перечитываю, распеваю в сердце, учусь мелодии Твоей лени, Твоих линий, Твоего ума. И вся Ты передо мной за исключением того, чего я не знаю, чего узнать все не могу, что и Ты не расскажешь, потому что не знаешь сама,— то тайное, любимое дуновение, от которого Ты — сказочная Царевна. И вот, Ты придешь в субботу, наверное, я давно жду субботы. Ты устаешь теперь? Да. Не отвечай, оттого что Тебе не... отвечать. Слово пропускаю, потому что его не существует, но я его очень хорошо знаю так. Я хожу в Ботанический сад на $^1/_2$ часа, там черемуха цветет, вся мокрая, белая и светло зеленая. Прохожу по дорожкам, где проходила Ты. Размышляю. Зелено, сыро, никого нет.

Т в о й

[1] Дата почтового штемпеля: 9 мая 1903 г.

[2] В этом письме (без даты) Л. Д. Менделеева писала: «Нет, лучше не буду писать, такой глупый тон, что самой противно, а лучше не могу».

[3] См. примеч. 4 к письму № 12.

[4] Ср. в стихотворении Блока «Я буду факел мой блюсти...» (4 декабря 1902 г.):

Я буду факел мой блюсти
У входа в душный сад.
Ты будешь цвет и лист плести
Высоко вдоль оград.

Цветок — звезда в слезах росы
Сбежит ко мне с высот...

66

⟨10 мая 1903. Петербург⟩ [1]

Моя Дорогая, моя Несравненная, я получил Твое удивительное, необыкновенное письмо [2], спасибо Тебе, жду Тебя всей силой души в субботу вечером. Ты получишь это письмо, когда вернешься с экзамена, усталая и сонная, и все-таки придешь. Скоро все это кончится — и экзамены, и расстояния, и все, даже мелочи и хлопоты, будут веселые, без постоянной озабоченности. Почтительно и страстно целую Твои маленькие, белые руки и Твои золотые волосы.

Т в о й

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] В этом письме (без даты) Л. Д. Менделеева писала: «... то вспоминаю, то пред-

ставляю себе, что будет дальше; и все такое хорошее, все «несбыточные мечты» так несбыточно, сказочно сбываются. Ведь вот ты не знаешь, как я тебе благодарна, прямо-таки благодарна за твою любовь, за счастье. Иногда тебе кажется, что я становлюсь равнодушной; это когда я устаю быть откровенной, до такой непривычной степени устаю открывать тебе, отдавать в твои руки всю душу. Тебе кажется тогда, что душа закрыта для тебя, ты не видишь ее; а всегда, всегда каждое твое слово, взгляд, ласка проникает ее всю, она жадно ловит их и хранит все, и дрожит от счастья, и благодарна тебе, и любит, любит, любит. Вот мне не хватает слов, не нужно бы писать все это так по-детски некрасиво и слабо, а хочется иногда, вот как сейчас, хоть как-нибудь сказать, хоть так уж, если не умею лучше. А в твоих словах всегда музыка и сила и красота; ты не думай, я всей душой понимаю их музыку и ее смысл, за смыслом самих слов. Пусть слова старые иногда, но я всегда слышу их новую музыку, новую с каждым разом. Я, может быть, понимаю немного больше, чем ты думаешь, чем это кажется из того, что я говорю; конечно, почти всему научил меня ты; еще давно началось это переучиванье, с мистического года, и все это верно так подошло, что ли, ко мне, что кажется, будто и мое собственное» (*Мистический год* — на языке Блока и Л. Д. Менделеевой — с лета 1901 по лето 1902 г.).

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«И вот пришло «мистическое лето» ⟨1901 года⟩.

Встречи наши с Блоком сложились так. Он бывал у нас раза два в неделю. Я всегда угадывала день, когда он приедет; это теперь — верхом на белом коне и в белом студенческом кителе. После обеда в два часа я садилась с книгой на нижней тенистой террасе, всегда с цветком красной вербены в руках, тонкий запах которой особенно любила в то лето. Одевалась я теперь уже не в блузы с юбкой, а в легкие батистовые платья, часто розовые. Одно было любимое — желтовато-розовое с легким белым узором.

Вскоре звякала рысь подков по камням, Блок отдавал своего Мальчика около ворот и быстро вбегал на террасу. Так как мы встречались «случайно», я не обязана была никуда уходить и мы подолгу, часами, разговаривали, пока кто-нибудь не придет. Блок был переполнен своим знакомством с «ними», как мы называли в этих разговорах всех новых, получивших название «символистов». Знакомство пока еще лишь из книг. Он без конца рассказывал, цитировал так легко запоминаемые им стихи, привозил мне книги, даже первый сборник «Северных цветов», который был чуть ли не заветнейшей книгой. Я читала по его указанию первые два романа Мережковского, «Вечных спутников»; привозил он мне Тютчева, Соловьева, Фета. Говорил Блок в то время очень трудно, в долгих переплетах фраз ища еще не пойманную мысль. Я следила с напряжением, но уже вошла в этот уклон мысли, уже ощущала, чем «они» берут и меня.

Раз как-то я в разгаре разговора спросила: «Но ведь вы же наверно пишете? Вы пишете *стихи?*» Блок сейчас же подтвердил это, но читать свои стихи не согласился, а в следующий раз привез мне переписанные на четырех страницах листка почтовой бумаги: «Αγραφα Δόγματα», «Servus — Reginae», «Новый блеск излило небо...», «Тихо вечерние тени...» Первые стихи Блока, которые я узнала. Читала их уже одна.

Первое было мне очень понятно и близко; «космизм» — это одна из моих основ. Еще в предыдущее лето, или раньше, я помню что-то вроде космического экстаза, когда, вот именно, «тяжелый огонь окутал мирозданье...» После грозы на закате поднялся сплошной белый туман и над далью и над садом. Он был пронизан огненными лучами заката — словно все горело: «Тяжелый огонь окутал мирозданье». Я увидела этот первозданный хаос, это «мирозданье» в окно своей комнаты, упала перед окном, впиваясь глазами, впиваясь руками в подоконник в состоянии потрясенности, вероятно очень близком к религиозному экстазу, но без всякой религиозности, даже без бога, лицом к лицу с открывшейся вселенной...

От второго — «Порой слуга — порою милый...» щеки загорелись пожаром. Что же — он говорит? Или еще не говорит? Должна я понять, или не понять?..

Но последние два ⟨стихотворения⟩ — это образец моих мучений следующих месяцев: меня тут нет. Во всяком случае, в таких и подобных стихах я себя не узнавала, не находила, и злая ревность «женщины к искусству», которую принято так порицать, закрадывалась в душу. Но стихи мне пелись и быстро запоминались.

Понемногу я вошла в этот мир, где не то я, не то не я, но где все певуче, все недосказано, где эти прекрасные стихи так или иначе все же идут от меня. Это обиняками, недосказанностями, окольными путями Блок дал мне понять. Я отдалась странной прелести наших отношений. Как будто и любовь, но, в сущности, одни литературные разговоры, стихи, уход от жизни в другую жизнь, в трепет идей, в запевающие образы. Часто что было в разговорах, в словах, сказанных мне, я находила потом в стихах. И все же порою с горькой усмешкой бросала я мою красную вербену, увядшую, пролившую свой тонкий аромат так же напрасно, как и этот благоуханный летний день. Никогда не попросил он у меня мою вербену, и никогда не заблудились мы в цветущих кустах...

И вот в июле пришел самый значительный день этого лета. Все наши, все Смирновы собрались ехать пикником в далекий казенный сосновый бор за белыми грибами. Никого не будет, даже и прислуги, останется только папа. Останусь и я, я решила. И заставлю Блока приехать, хотя еще и рано по ритму его посещений. И должен быть, наконец, разговор. На меня дулись, что я не еду, я отговаривалась вздорными предлогами. Улучила минуту одиночества и, помню, в столовой около часов всеми силами души перенеслась за те семь верст, которые нас разделяли, и сказала ему, чтобы он приехал. В обычный час села на свой стул на террасе с книгой и вербеной. И он приехал. Я не удивилась. Это было неизбежно.

Мы стали ходить взад и вперед по липовой аллее нашей первой встречи. И разговор был другой. Блок мне начал говорить о том, что его приглашают ехать в Сибирь, к тетке, он не знает, ехать ли ему, и просит меня сказать, что делать; как я скажу, так он и сделает. Это было уже много, я могла уже думать о серьезном желании его дать мне понять об его отношении ко мне. Я отвечала, что сама очень люблю путешествия, люблю узнавать новые места, что ему хорошо поехать, но мне будет жаль, если он уедет, для себя я этого не хотела бы. Ну, значит он и не поедет. И мы продолжали ходить и дружески разговаривать, чувствуя, что двумя фразами расстояние, разделявшее нас, стремительно сократилось, пали многие преграды.

Жироду, в романе «Белла», говорит, что героев его в первые две недели их встреч ничто не тревожило на пути, не встречалось ничего, нарушающего гладкое течение жизни и плоскости пейзажа. У нас совсем наоборот; на всех поворотных углах нашего пути, да и среди ровных его перегонов, вечно «тревожили» нас «приметы». Никогда не забылся ни Блоком, ни мной мертвый щегленок, лежащий в траве на краю песчаной дорожки, ведущей в липовую аллею, по которой мы ходили, и при каждом повороте яркое пятнышко тревожило душу щемящей нотой обреченной нежности.

Однако этот разговор ничего внешне не изменил. Все продолжалось по-старому. Только усилилось наше самоощущение двух заговорщиков. Мы знали, то, чего другие не знали. Это было время глухого непонимания надвигающегося нового искусства, в нашей семье, как и везде. Осенью гостили у нас Лида и Сара Менделеевы. Помню один разговор в столовой, помню, как Блок сидел на подоконнике еще со стеком в руках, в белом кителе, высоких сапогах, и говорил на тему зеркал, отчасти гиппиусовских, но и о своем, еще не написанном «И встанет призрак беззаконный, холодной гладью отражен...» Говорил, конечно, рассчитывая только на меня. И кузины, и мама, и тетя и отмахивались, и негодовали, и просто хихикали. Мы были с ним в заговоре, в одном, с неведомыми еще никому «ими». Потом кузины говорили, что Блок, конечно, очень повзрослел, развился, но какие странные вещи говорит — декадент! Вот словцо, которым долго и вкривь и вкось стремились душить все направо и налево!

Это понимание и любовь к новым идеям и новому искусству мгновенно объединяло в те времена и впервые встретившихся людей,— таких было еще мало, очень мало. Нас же разговоры «мистического лета» связали к осени очень крепкими узами, надежным доверием, сблизили до понимания друг друга с полуслова, хотя мы и оставались по-прежнему жизненно далеки».

...Два романа Мережковского — то есть первую и вторую части трилогии «Христос и Антихрист» — «Смерть богов» (1896) и «Воскресшие боги» (1901). *«Вечных спутников».* — «Вечные спутники» — Сборник историко-культурных очерков Д. С. Мережковского (1897, изд. 2 — 1899 г.). «Тяжелый огнь окутал мирозданье...»— Строка из стихотворения «Αγραφα Δόγματα» («Неписанные догматы»). «Порой — слуга; порою — милый» — строка из стихотворения «Servus — Reginae» («Слуга — Царице»). *...Мне будет жаль, если он уедет...*— Блок отметил в своих воспоминаниях: «Любовь Дмитриевна проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился. Она дала мне понять, что мне не надо ездить в Барнаул, куда меня звали погостить уезжавшие туда Кублицкие. Я был так преисполнен высоким, что перестал жалеть о прошедшем» (VII, 344). *...На тему зеркал, отчасти гиппиусовских...*— Имеется в виду повесть З. Гиппиус «Зеркала». *«И встанет призрак беззаконный, холодной гладью отражен...»* — неточная цитата из стихотворения «Пытался сердцем отдохнуть я...», написанного 27 августа 1902 г.

67

〈14 мая 1903. Петербург〉 [1]

Моя Дорогая, прошу Тебя, не выходи совсем на улицу 16-го мая, и 17-го лучше тоже. Я ужасно боюсь что-то за Тебя, говорят, что многие уезжают из Петербурга [2]. Я думаю, что приду 17-го вечером и принесу карточку [3]. Напишу еще, жду Твоего письма завтра. Я хотел писать длинное и хорошее письмо, стал писать стихи, они не вышли [4], оттого и ничего не вышло. Лучше отложу, прости, что так уж бессмысленно.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Опасения Блока были связаны с тем, что 15—16 мая 1903 г. в Петербурге начинались юбилейные торжества по случаю 200-летия со дня основания столицы. Опасались больших скоплений на улицах и всякого рода эксцессов.

[3] Фотографический снимок Блока с невестой (В наст. томе воспроизведены два снимка, сделанные одновременно (см. фронтиспис и стр. 189).

[4] Имеется в виду стихотворение «На Вас было черное, закрытое платье...».

68

〈15 мая 1903. Петербург〉 [1]

Ужасно странное чувство — исполнимость невозможного. Вся эта зима представляется теперь каким-то страшно долгим временем, исполненным тысячью событий и чувств. Все время не было чего-то, были какие-то границы —«Ты серебрилась вдали» [2]. Теперь (и то еще не часто, потому что все время отбивают многое хорошее и сознательное экзамены) я начинаю вдруг просыпаться, будто сознавать уже совершенно ясно и непреложно, *что будет скоро*. И все это еще сквозь целую зимнюю усталость, сквозь строй всего, что было, точно теперь-то и начнется весна, а пока еще лежит тонкой пеленой голубой снег событий. Внезапно, точно из какого-то откровения, чисто религиозно, как ἄγναδτος ϑεός *[3] (понимаешь?) появляется, возникает и опять пропадает: мысль непривычная еще, мысль небывалая, Неизреченного Света, простейшая в красоте, торжественная в величии. До какой степени в этот последний месяц все «заброшено» (если можно так сказать), многие нити не в руках, не усвоено все то, что я скоро усвою, как Величайшую Радость, перл Моей жизни, ее гордость, *вполне недоступную* никому, кроме Тебя и — меня. Вчера я перечитал ночью «Ундину» Жуковского (перевод) (после того как написал такое отвратительное письмо к Тебе) — и почувствовал, что бывает на свете,

* Неведомый бог (*греч.*).

и что *надо* вспомнить и чему служить. Ты увидишь меня другим и, дай бог, чтобы лучшим, чем я теперь. Теперь уже всплывают передо мной мои вины перед Тобой за это последнее время. Молчу, когда нужно говорить, или наоборот — и, вообще, мало чуткости и мистического внимания к Тебе. Моя Дорогая, моя Милая, моя Несказанная, до чего я опять хочу сегодня быть с Тобой вдвоем *только* и больше ни с кем никогда. Отделиться от всего стенами, не слышать ни одного звука других голосов, не видеть ни одного лица. И, точно так же, не знать и не верить ни одному событию, ни великому, ни малому из посторонних нашему Счастью. Знаешь, что это такое? То, что я давно почти ничему не удивляюсь, очень глубоко все знаю и потому не осуждаю уже никого и никогда просто. Давно известно то, что еще удивляет и пугает многих, многое из этого уже скучно и ненужно. Ты знаешь, что это *не* апатия, и ничего подобного. Но устаю от обычного и не всегда хочу совсем необычного. Теперь вот это так. И потому, вот в эту минуту, чувствую, что мне нужно особенно того, что Ты, кроме совсем необычного и Одной Тебе свойственного, можешь дать мне — одна во всем мире: женской любви — *женской*. Это и есть то наше отдельное и наше будущее, о чем я сейчас думаю: одни стены, одна комната, одна обстановка, одни мысли, одно и то же чувство, одна душа, полное «сочувствие»— то, что дается *только* одним условием — брака; *не* страсти, *не* маскарад, *не* маски, *не* цыганские песни, *не* искры в глазах среди пестрой толпы. Все это будет еще, как было, никуда не ушло, и Тебе и мне дорого и необходимо. Брак *НЕ* [4] исключает этого, я знаю. Но то, о чем я говорю в эту минуту, возможно только тогда, когда мы будем связаны неразлучно. Чувствуешь ли Ты, как я вот сейчас, что беззаконность и мятежность совсем *не* исчезают в браке, они вечно доступны, потому что мы, как птицы, свободны и можем, как птицы, замирать и биться высоко в воздухе, с тем же криком, с тем же клекотом и призывностью молодой свободы. И знаешь ли Ты еще, что *законность* и безмятежность также необходимы в другие минуты, доступны *только* знающим о неразрывности своих связей, проникшим глубоко в тайну своего, отделенного от всех других, круга, имеющим *право* не впустить в него *никого*, ибо «что бог соединил, человек не разлучает». И Ты думаешь еще, что я «жалею» чего-то. Ты не жалей, а я то уж никогда не буду. Что же для меня *все* остальное (если хочешь, даже все остальные женщины, ибо это единственное, о чем мне, Ты думаешь, можно жалеть?), когда я так твердо и так неоспоримо знаю, что мне, кроме Тебя, никого не нужно? И может ли быть иначе, когда я все время чувствую, день ото дня сильнее, всевозможную связь с Тобой? Если бы Ты теперь вдруг, почему-нибудь, отошла от меня, я совсем не мог бы остаться. Что уж говорить о грехе, когда самоубийство стало бы глубоко законным для меня и ни одна струна не шевельнулась бы во мне против него. И ты думаешь, что я жалею!

Твое письмо пришло только в 5 часов, я уже томился от беспокойства. Оно (письмо) не глупое и не холодное [5]. Родственный вечер [6] произвел хорошее впечатление, Ты не беспокойся. Твой папа вот какой: он давно *ВСЕ* [7] знает, что бывает на свете. Во все проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности, у простых людей такого не бывает. У него нет никаких «убеждений» (консерватизм, либерализм, и т. д.). У него есть все. Такое впечатление он и производит. При нем вовсе не страшно, но всегда — неспокойно. И никому из Твоей семьи не спокойно, это оттого, что он все и давно знает, без рассказов, без намеков, даже не видя и не слыша. Это всепознание лежит на нем очень тяжело. Когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает *обо всем* вместе. Ничего отдельного или отрывочного у него нет — все неразделимо. То, что другие говорят, ему почти всегда скучно, потому что он все знает лучше всех, кто к нему приходит. Но он никогда *не захочет* поверить, и ему



БЛОК В РОЛИ ДОН-ГУАНА («КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» ПУШКИНА)
Фотография, 1899
Литературный музей, Москва

не надо верить в то, что кто-нибудь может быть с ним откровенен и прост. Это ему очень тяжело, но он верит, что иначе не может и не должно быть, и никто в мире не убедит его в противном. Он считает необходимым долгом, например, «занимать» и т. п. Иначе он никогда делать не будет, но это ему тяжело и часто невыносимо, даже физически. Твоя мама страдает, между прочим, и от этого, и, вообще, до какой степени я понимаю, как она может страдать и от чего,— и мне часто ее страшно жаль, а в прошлый раз хотелось все время как-нибудь ей это выразить и ее приласкать. Но что этого нельзя было сделать и вообще делать нельзя (по кр⟨айней⟩ м⟨ере⟩ теперь) — это я тоже вполне и до конца знаю. Дай бог, чтобы мама поправилась нервами летом. И больше всего на свете, я чувствую Твою жизнь, Тебя и то, сколько будет счастья.

Если можешь, напиши мне. Ты свободна теперь. Я приду 17-го вечером с карточкой. Лучше уж учиться, я боюсь потерять последнюю сообразительность и память, если буду часто видеть Тебя теперь. Прости, что так, Ты понимаешь.

Письмо мое несвязно и недостойно Тебя. Опять! Напиши, ради бога, Ты сама, хоть немного [8]. Господь с Тобой, моя Прекрасная, Золотокудрая, моя Принцесса, моя Царевна.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Цитата из стихотворения Блока «В полночь глухую рожденная...» (24 декабря 1900 г.).

[3] См. «Деяния апостолов», XVII, 22—23: «...я нашел и жертвенник, на котором написано: «*Неведомому богу*». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (слова апостола Павла).

[4] Подчеркнуто дважды.

[5] Л. Д. Менделеева писала в этом письме (без даты): «Мой дорогой, не буду тебе много писать, в голове нет ничего, кроме беспорядочных отрывков из русской литературы. Держала экзамен около 8 ч⟨асов⟩ вечера, получила 5 за отцов церкви и за Голубиную книгу. Шляпкин очень добродушно улыбнулся на мое кольцо, советую и тебе одеть, когда будешь держать. Очень мне неприятно писать такое холодное и глупое письмо, а лучше не могу. Напишу завтра, может быть. А твоего письма жду ужасно, напиши и завтра, вот хорошо бы опять по нескольку писем в день, как бывало прежде, а то теперь мне делать нечего и будет скучно, скучно без тебя. Какое впечатление произвел на всех ваших родственный вечер?». Об И. А. Шляпкине см. примеч. к письму 3, наст. том, стр. 44. (*Кольцо* — обручальное).

[6] У Менделеевых, куда были приглашены мать и отчим Блока.

[7] Подчеркнуто трижды.

[8] Приводим ответное письмо Л. Д. Менделеевой (без даты): «Ну, как отвечать на такое письмо, как твое последнее? Слишком хорошее оно, я не могу об нем писать. Я даже совсем не хотела бы писать тебе сегодня, ничего не выйдет, да боюсь — ты испугаешься. Вообще, пожалуйста, не беспокойся обо мне, уж буду сидеть дома, для тебя.

Завтра уезжает мама сначала в Боблово, а потом к тете в Ростов, и вернется с ней по Волге; это очень хорошо, она и отдохнет и развлечется. А мне приходится оканчивать массу дел, так что я опять буду очень занята. Прости, но я, право, что-то совершенно не в состоянии писать сейчас. Перечитала опять твое письмо, не хочется после него писать о «делах», а хорошего не могу. Уж не сердись, ведь ты знаешь, что я не мастерица на слова и знаешь все, все, что я могу сказать тебе после твоего письма, что я чувствую. А от тебя жду еще, пиши, милый! Приходи пораньше 17-го, может быть прямо из фотографии к обеду, уж теперь совсем запросто, мамы ведь не будет. Или как хочешь, только пораньше. Уж я не хотела жаловаться на твои противные занятия, да не могу, уж очень скучно не видеть тебя так долго».

69

⟨15 мая 1903. Петербург⟩ [1]

Я написал Тебе длинное письмо и забыл еще раз просить Тебя не выходить совсем ни 16-го, ни 17-го. Все равно, магазины закрыты [2]. Вечером 17-го я приду — в субботу.

Напиши, прошу Тебя

Твой, Твой, Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] См. примеч. 2 к письму № 67.

70

⟨16 мая 1903. Петербург⟩ [1]

Кажется мне, что завтра будет письмо от Тебя.

Сегодня принесли два шкапа. Зеркальный ужасно испортили красным лаком, потому красное дерево потеряло аристократизм. Другой шкап очень красивый, по-моему, красивее.

Я пишу так, потому что совсем вне себя. Вне себя от желанья быть с Тобой. Чувствую опять все — и небесное и земное. «Жадно впиваюсь» в Твою бесконечность [2], моя Изумрудная Дева, моя Звезда. Все знаю, точно Архангел опять рассек грудь. «И горний Ангелов полет, и гад морских подземный ход, и Дольней Лозы прозябанье» [3].

Весь Твой Образ в моих упругих змеиных кольцах [4]. Вот:

На Вас было черное, закрытое платье.
Вы никогда не поднимали глаз.
И только на груди, может быть, над Распятьем,
Вздыхал иногда и шевелился газ.

У Вас был голос серебристо-утомленный.
Ваша речь была таинственно проста.
Кто-то Сильный и Знающий, может быть, Влюбленный
В Свое Создание,— замкнул Вам уста.

Кто Он был — я не знаю и никогда не узнаю,
Но во мне к Нему ревность и нечеловеческий страх.
Ревную к Божеству, кому песни слагаю,
К Божеству, или Демону — на Ваших устах [5].

И знаю гораздо больше, чем пишу и чем могу выразить — в стихах ли, в прозе ли. И больше не буду писать, Ты знаешь и так — больше меня.

Я приду в субботу.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] См. стихотворение Вл. Соловьева «Прощанье с морем»:

Снова и снова иду я с тоскою влюбленной
Жадно впиваться в твою бесконечность очами.

[3] Цитата из стихотворения Пушкина «Пророк» (с опиской; нужно: «И гад морских подводный ход»).

[4] Ср. в стихотворении Вл. Соловьева «Песня офитов»:

Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея.
. . . .
Чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего змея.

[5] Стихотворение было написано 15 мая 1903 г. Впервые напечатано в «Литературных приложениях» к «Ниве», 1908, № 2, с изменениями в третьей строфе.

71

⟨16 мая 1903. Петербург⟩ [1]

Я знаю, что приду завтра, и все-таки не могу не писать. Если бы нам пришлось не видеться с Тобой еще дольше, я бы не мог. Теперь еле-еле удерживаюсь от того, чтобы не прийти. Всякая вещь говорит о Тебе. Всякое настроение говорит о Тебе.

Разве у Тебя много «дел»? Тебе нужно еще (кроме той бумаги, которая у меня) «разрешение родителей» и метрическое свидетельство. Скажи еще мне завтра, когда будет перебита мебель. Ее бы лучше прислать при нас. И вообще, Ты рассказывай мне «дела», мне интересно и нужно знать. Очень хорошо, что мама[2] уехала в Боблово и к тете, она, правда, отдохнет. Я все думаю о том времени, когда мы будем совсем вместе и совсем вдвоем — и не знаю, как думать. Сон какой-то.

Вчера вечером и ночью я постигал всю бесконечность. Прощал все одушевленные и неодушевленные существа. Но это, как часто, досталось не легко. Опять приходил «Он» (чорт?) и пугал. Он очень неотвязен. Вчера показался мне простым, грустным и мутным. Впрочем, я никогда еще (кажется) не видел Его, а только чувствовал Его присутствие. Вероятно, Он бросит свои старые приемы — пугать бесконечностью и «растягивать» время, пространство и цепь причин. Будет ласкаться по-собачьи.

Сегодня Его нет. Завтра будет Дева. Все это мне известно, потому и пишу так просто Тебе, которая должна знать это обо мне.

Завтра приду пораньше. Знай, что я весь — Твой и больше никому не принадлежу. Все, что во мне шевелится и живет — для Тебя.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля: 17 мая 1903 г.

[2] А. И. Менделеева.

72[1]

18 ⟨мая 1903. Петербург⟩
Утро

Ты, главное, успокойся, моя Дорогая, насколько только можешь. Я очень много думаю о том, что Ты говорила [2]. *Надеюсь*, что придумаю даже. И Ты надейся и верь мне в этом. Я имею разные мысли, о которых мы с Тобой говорить не будем. Во всяком случае знай, что мнения у нас с Тобой об этом очень сходны, и Ты напрасно упрекаешь меня в теориях по этому поводу. Сокрушаться о том, о чем Ты главным образом сокрушаешься, Тебе *вероятно не* придется. Беру это на себя. Об остальном, о чем Ты говорила, мы можем говорить и будем, а 20-го я приду, но не знаю, в котором часу. Мама советует не менять шкапа, он не так плох. Лучше бы Тебе посмотреть сначала, думаю, что мы пойдем к нам, когда я к Тебе приду.

Жду от Тебя письма, а теперь постараюсь учиться.

Если можешь, не говори особенно много *об этом* с Шурой [3] и, главное, ничего об этом моем письме. Мне бы хотелось, чтобы это осталось нашим. Как Шура ни хороша — она — чужой человек, и потому хорошо бы об этом и перед ней и перед всеми другими умалчивать. Откровенность едва ли прибавит что-нибудь, а Ты лучше «не называй меня небесным и у земли не отнимай» [4], и в этом, насколько можешь, понадейся на меня.

Твой

[1] Это письмо откололось от основного фонда писем и находится среди бумаг Л. Д. Менделеевой-Блок в Рукописном отделе Института русской литературы Академии наук СССР.

[2] Предмет разговора не известен; очевидно, речь шла о каких-то бытовых неурядицах.

[3] А. М. Никитина.

[4] Перефразированная цитата из стихотворения Н. Ф. Павлова (1805—1864) «Романс» (1834), вошедшего в песенный репертуар (положено на музыку М. И. Глинкой, а вслед за ним А. С. Даргомыжским.)

73

⟨19 мая 1903. Петербург⟩[1]

Тысячу раз прости, прости, прости. ⟨...⟩

Забудь, забудь, умоляю именем моей страсти. Я буду лучше. Забудь, забудь, забудь, прости мою дерзость. Я прочитал Твое письмо. Прости, хоть и трудно прощать мне столько, моя Любовь.

Я раб Твой[2]

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Написано, очевидно, в ответ на следующее письмо Л. Д. Менделеевой (без даты): «Лучше бы я не обещала тебе писать, ты ждешь, а написать что-нибудь сегодня невыносимо трудно, почти невозможно. Ну что я тебе скажу? У меня еще не настолько смягчилось, раскаялось сердце, чтобы слова находились сами. Я не могу еще так раскаяться, пожалеть тебя за все несправедливости, кот⟨орые⟩ я тебе говорю, за всю мою жестокость, чтобы защемило сердце, чтобы я заплакала. Когда я ужаснусь того, что я сделала, я найду слова, я сумею все загладить, может быть, заставить забыть. Трудно забыть и простить такую эгоистичную, бессмысленную жестокость, как моя, но я знаю, что ты любишь и простишь, даже забудешь. Ведь это отвратительно так — рассчитывать на силу твоей любви, после всего. Ну, прости меня, не беспокойся; ты только прости от всего сердца, всей любовью, и ты не будешь ничего бояться, ты увидишь, что ведь не всегда же я такая, что это прошло. Не буду оправдываться, не имею права, ты сам прости! Ты ведь сам знаешь, что я твоя всегда, что чтобы я ни делала, мне не уйти от тебя, и хоть я не достойна тебя, твоей любви (если бы ты знал, как я это теперь чувствую), все-таки я на век твоя, твоя. Напиши мне, ради бога, не скрывая ничего, все, что ты думаешь, хоть и не стою этого».

74

⟨27 мая (9 июня н. ст.) 1903. Кенигсберг⟩
27 V/9 VI 1903 Königsberg

Едем, едем, едем[1].

Пыль и грязь. Мама отвратительно чувств⟨ует⟩ себя. Я ничего не понимаю, кроме будущего. Завтра вечером будем в N⟨auhei⟩m'e.

А что я думаю о Тебе, знаешь только Ты и я.

Твой

Напишу из N⟨auhei⟩m'a

[1] Письма №№ 74—112 относятся ко времени заграничной поездки Блока: он сопровождал мать, поехавшую лечиться в Бад-Наугейм (курорт в Германии). В Бад-Наугейме Блок уже побывал раньше — летом 1897 г. В дневнике 1921 г., вспоминая время своего жениховства, Блок записал: «В конце мая (по-русски) уезжаем в N⟨auhei⟩m. Скряжническое и нищенское житье там, записывается каждый пфенниг. Покупка плохих и дешевых подарков. В середине европейского июля возвращаемся в Россию (через С.-Петербург в Шахматово). Немедленные мысли о том, какие бумаги нужны для свадьбы, оглашение, букет, церковь, причт, певчие, ямщики и т. п.— В Bad Nauheim'е я большей частью томился, меня пробовали лечить, это принесло мне вред. Переписка с невестой — ее обязательно-ежедневный характер, раздувание всяких ощущений — ненужное и не в ту сторону, надрыв, надрыв...» (VII, 425—426).

75

⟨29 мая (11 июня н. ст.). Бад-Наугейм⟩

Вчера вечером мы приехали в Н⟨аугейм⟩ совершенно удачно, т. е. в смысле крушений, потому что остальное на железной дороге было отвратительно для мамы и для меня неприятно. Нашли виллу в тот же вечер, ком-

наты внизу с пенсионом. Сегодня ходили по городу и парку и были у доктора. Относительно мамы он сказал не очень ободрительно (нашел у нее еще, кроме порока сердца, ревматизм, по-видимому, сердечный), а относит⟨ельно⟩ меня сказал, что я совсем здоров, только einwenig * нервен и малокровен и т. д.

И вот я пишу *так* оттого, что совсем не знаю, что писать и о чем писать. То бесконечно много, то мало. Целые вихри чувств и мыслей.

Я оторвался от Тебя как-то вдруг. Точно без приготовления и прямо вслед за «третьим звонком». До этих пор точно ничего не было, даже все приготовления к отъезду были чужды и мало заметны. Все, точно я еще держал Твои руки и целовал их, и вдруг Ты судорожно обняла и бросила, и ушла в толпу, и там только Твоя фигура видна с отходящего поезда. Это — последнее [2].

Вот почему я чувствую теперь «роман». Понимаешь? Не только, как жених к Невесте, но как-то еще, точно не сбылось. И меня дразнит и манит еще какая-то новая неизвестность Твоего обаяния. Вижу, что будет опять новое.

Расстояние так громадно, что я не могу подозревать, что Ты будешь чувствовать в ту минуту, как получишь письмо. И это опять меня дразнит.

И оттого такие тяжелые «сухие» слова. Уж слов мало. Я совсем не могу и приблизительно ими сказать всего — и т. д. Понимаешь?

Ты осталась одна. Но только Ты не ушла в толпу и не слилась с ней. Ты точно поднялась из нее — и высоко остановилась. И вот — миг один, и моя душа сочтет Тебя Девой Марией. И она считает и считала Тебя Ею. Но *сказать* этого уже нельзя, это можно только *знать*. И знаешь это Ты, и знаю я. Но еще и еще мы знаем бесчисленное. Мы знаем вот теперь, в эту минуту (все равно — и Ты, и я), что Твое лицо живет, и пылает и дышит. Оно прекраснее всех лиц человеческих (сегодня я видел без числа курортные женские лица, но — боже мой!) Твои руки выточены и белы, их движения божественно-величавы. Но Тот, Высокий и Сильный [3], разлил по ним яркую, требующую кровь, и Ты вся горишь этой кровью. И я, только взглянув, только вспомнив, сам вспыхиваю.

У нас будет время требований. Ты будешь требовать, Твое великолепие будет требовать. Твои руки откроются и замкнутся. Я не то пишу. Я не о том пишу и не то хочу писать. Я весь, весь, весь исполнен Тобой. Нет места «другим». Ты знаешь, Ты слышишь, Ты видишь, Ты чуешь.

Больше *не надо* писать сегодня.

Пиши мне, точный адрес на карточке. Окно выходит на жел⟨езную⟩ дорогу и в поле. Все зелено. Деревьев очень много везде, парк красивый и большой. Я все знаю с прошлого раза [4]. «Никого» не встречал. Завтра (30 мая) начнем брать ванны (5 ванн в 6 дней, потом — перерыв). Если хочешь, напишу подробнее. Но теперь не могу! И все, что написал, никуда не годится. Видишь сама? Если бы существовали слова для того, что во мне! Я буду скоро петь. Не забывай меня. Что за чепуху я пишу!

Твой

Пиши подробнее о «делах» — о Мелиус [5], мебели и пр. Застанет ли Тебя письмо? От Тебя нет на почте.

Если только можешь, пиши чаще, хоть понемногу.

[1] Датируется по сопоставлению с письмом № 74.

[2] Л. Д. Менделеева писала Блоку во втором письме после его отъезда: «Ну, хочешь расскажу, как было после вашего отъезда? Я стояла и смотрела, пока поезд скрылся; все меня ждали...».

* Немного (*нем.*).



БЛОК В РОЛИ СКУПОГО РЫЦАРЯ («СКУПОЙ РЫЦАРЬ» ПУШКИНА)
Фотография, 1899
Литературный музей, Москва

[3] См. стихотворение Блока «На Вас было черное, закрытое платье...» (письмо № 70).

[4] То есть со времени пребывания в Бад-Наугейме летом 1897 г.

[5] Очевидно, модистка. Имя это несколько раз упоминается в письмах Л. Д. Менделеевой к Блоку.

76

31 мая (наше) 〈(13 июня н. ст.) 1903. Бад-Наугейм〉

Моя Любовь, моя единственная.

Я получил сегодня два твоих письма. Даже сказать Тебе о них ничего не могу. И, вообще, трудно говорить с Тобой, опять трудно на таком расстоянии, в такой непривычной обстановке. Здесь совсем животная жизнь, разленивающая и скучная. Мы встаем в 7 час〈ов〉 ут〈ра〉, ждем ванны, после ванны лежим 1 ч〈ас〉. Так проходит время почти до Mittag'а * (12 1/2). После него — шатанье по городу и парку, потом в 7 час〈ов〉 веч〈ера〉 — ужин, потом можно идти на террасу слушать музыку, а в 11 час〈ов〉 веч〈ера〉 все запирают. Все уже устроилось, наши комнаты внизу, в довольно тихом месте, все расстояния маленькие. Город я помню наизусть. Боимся знакомств, между тем сегодня утром приходили какие-то 2 господина и не застали нас, сказали, что придут nach Mittag **, а мы

* Обеда (*нем*).
** После обеда (*нем*).

ушли от них кататься на лодке по озеру, сейчас вернулись и боимся их прихода. Теперь день — длинный, длиннее русского. По вечерам бывает странное и скверное чувство отчужденности и отдаленности от всего. Я скоро устрою себе заполнение дня, по возможности, приятное и полезное. Вчера начал писать Тебе и бросил, так бесцветно и пусто выходило. Так и теперь выходит пусто и бесцветно. Лучшее, что есть, я вычитываю из Достоевского, но так нельзя. А немцы до такой степени буржуазно-скучны на вид, что о них совсем нечего писать. Страна страшно деловая, сухая. Из роз выглядывают серые лица. Пышность деревьев и цветов и плодородие земли точно ни к чему не обязывают. Нет ни одной хорошей фигуры ни у мужчин, ни у женщин. Женские лица просто на редкость безобразны, вообще нет ни одного красивого лица, мы не встречали по крайней мере. Все коренастые и грубые, заплывшие жиром. Тому же впечатлению способствуют больные, у которых ноги еле ходят, лица бледные и распухшие. Все старики и старухи, молодых меньше. И почти никого, при первом взгляде, по-настоящему не жалко, до того бессмысленным кажется их существование.

И все-таки, если бы мы были здесь с Тобой вдвоем, просто так, не обращая внимания на леченья и лечащихся, было бы хорошо. Можно бы было почти никого не видеть и уходить в парк и за парк, на озеро и в поле. Несмотря на однообразие, было бы то преимущество, что мы бы были совсем вдвоем. Не было бы даже третьей — России [1]. Здесь, по-моему, русский (особенно русский) совсем отделен — без земли, без языка и без людей, и даже к вилле прикреплен только минутой. Вот какое письмо! Я не люблю ни фактов, ни публицистики. И все-таки написал тебе то и другое. А все от того, что выбился из колеи. Скоро отыщу точки устоя у Соловьева и Достоевского. Нужно «*задуматься*», чтобы понять хоть что-нибудь. Первые здешние думы были вялы. А немцы не «задумываются», и все остальные видимые люди тоже. На лицах нет той складки, которая даже у нас на улицах различима. Вот где истинно плоски лица, так это здесь — и по всей длине прусских железных дорог. Прости за мои письма. Я знаю, что Ты там, севернее меня и лучше меня. И помню все, но не могу выразить, или еще не смею снова начинать выражать, оглушенный ужасно прозаической обстановкой. Здесь нужно «осмелиться» сквозь целую ватагу людей, «живущих звериным обычаем», воззвать к богу и к Тебе. Нужно писать стихи и молиться Твоему богу. А здесь нет бога, его не видели здешние люди.

Твой

[1] Это характерное признание Блока. Уже ранние дневники 1901—1902 гг. свидетельствуют о неизменном присутствии в духовной жизни поэта темы России, русского народа, хотя в это время Блок еще воспринимает их в свете своих мистических ощущений и переживаний. Напр.: «*26 июня* 〈1902 г.〉, *перед ночью*. Сегодня почти весь день сеет дождь. Ночь ужасно темная. Еще вечером, за чаем толкнул меня ужас — вспомнилось одно бобловское поверье. 〈...〉 В Иванов день (24-го) я ходил с Анной Ивановной 〈Менделеевой, матерью Любови Дмитриевны.— *Ред.*〉 вдвоем мимо «театра» к березовой аллее. Она рассказала мне: недавно был в Боблове неурожай. Мужики нуждались в деньгах. Она задала им какую-то *в сущности ненужную* работу (землянную) и указала бугорок, который много лет был уже среди парка. Крестьяне на *незначительной* глубине нашли под бугорком скелет» (VII, 47). Скелет принадлежал человеку, «*убитому* здесь бывшим управляющим. Церкви и кладбища на этом месте не запомнят. Тело было зарыто не так, как хоронят покойников,— с руками на груди, а с *раскинутыми* руками. Итак, значит в нескольких шагах от трупа жили и не знали об этом. Так она кончила свой рассказ 〈...〉 Но ужаснее и «глубиннее» всего поверье о том, что «она» «мчится» по ржи. Как оно попало в народ? Кто занес эту страшную легенду?» (VII, 48). На эту тему

сделана запись еще в январе 1902 г. со ссылкой на летние впечатления: «24 июля 1901 года. В Боблове поверье: «она» «мчится» по ржи» (VII, 38).

Значительно позднее, в статье «Стихия и культура» (декабрь 1908 г.), говоря о «разрыве между Россией и интеллигенцией», Блок вновь обратился к этому старому воспоминанию, к «бобловской легенде», которую трактует в широком общественном смысле: «Народ до времени «пребывает во сне», создает сказки и легенды, «а когда двинется,— все, как есть, пойдет: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам ⟨...⟩ и пойдет вся земля» (V, 356—357). И далее: «Так или иначе, мы переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в *сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа*. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под нами — громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы» (там же, 359).

77

31 мая. Вечер ⟨(13 июня н. ст.) 1903. Бад-Наугейм⟩

Настал вечер, и я нашел себя. Нашел великую, бьющую волнами любовь, сердце, как факел, все дрожащее и бьющееся. Нашел Твою песню в воздухе. Лица людей слились с ночью, их не различить, и они не мешают. Жадно и сильно вспоминаю; ночь сырая и звездная. Ты, Ангел Светлый, Ангел Величавый, Ты — Богиня моих земных желаний. Я без конца буду влюбленный, буду страстный, буду Твой поклонник и раб. Если иногда будут времена упадка и слабостей — ничего. Я впился в Твою жизнь и пью ее. Вся тебе знакомая сложность, может быть вычурность, моих рассудочных комбинаций временами, как теперь, бросается в сердце, там плавится и пылает, и все это, как огромный бушующий огонь, я чувствую и знаю, будет по-земному, по-здешнему — Твое до конца, без разделений. Будет время, которое оглушит меня самого. Я ни о чем не буду думать, буду только весь в одном чувстве. Так бывает, поверь, поверь! То, что Ты называешь не непосредственностью, вдруг будет непосредственным. Знаешь ли Ты, что меня страстно влечет к такой жизни, к такому вихрю. Пусть «роман»— он прекрасен. Пусть все, что угодно, не нужно ни слов, ни названий, ни дум, ни сомнений, ни рассудка. Я точно усну на то время, буду совсем другой. Не будет того «смеха», который давил Тебя, помнишь? Я уж говорю прямо. Будет, как служение, как молитва, как ураган — без тишины, без успокоенности. Знаешь ли — без «тихого угла», без «семейности», будешь Ты и буду я — одно. Об этом вихре, об этих мгновениях сладких и безумных, о которых мы всю жизнь не забудем, теперь мне говорит память о Тебе. В Твоих глазах, в Твоих движениях, в очертаниях Твоих, в Твоих дрожащих руках я видел и узнал это — то, что будет. Я никогда не знал истинной влюбленной страсти — этого поразительного сочетания. Как же можешь Ты отрицать во мне возможность почувствовать ее? Я говорю Тебе, что я все забуду. Я уже теперь забываю все. Я влюблен, знаешь ли Ты это? Влюблен до глубины, весь проникнут любовью. Я понимаю, я знаю любовь, знаю, что «ума» не будет, я не хочу его, бросаю его, забрасываю грязью, топчу ногами. Есть выше, есть больше его. Ты одна дашь мне то, что больше, от этого и свято все наше прошедшее. Оно передо мной, как громадная, бесконечная, сложная, красивая, движущаяся змея. Всей этой истиной последних 5-ти лет, сплошь заполнившей жизнь, наводнившей ее, я живу и буду жить. Лучшего не было. Но все это лучшее покрывает один зовущий звук Твоего голоса. Знаешь ли Ты, что мне не нужно «тонкостей», извращенно-утонченных, «декадентско-мистических излияний», «мужских» умствований. Мне нужно скачку, захватывающую дух, чувство Твоей влажной руки

в моей, ночь, лес, поле, луны красные и серебряные; то, о чем «мечтают» девушки и юноши отвлеченно, то мне нужно наяву. Опьяненности и самозабвения какими угодно средствами — пусть опера, пусть самая элементарная музыка, самые романтические бредни итальянских любовников, романсы со словами «розы — слезы», «мечта — красота», «вновь — любовь» и т. д. Только пусть голос поющего призывающий, пусть Ты около, Ты, гибкая, как стебель, влюбленная, зовущая в ночь — и знать, что замолчит голос, потушат огни — и мы уйдем, и будет ночь, и будем вдвоем, и никакие силы не разделят, и будет упоение и все — забвение, сила сплетающихся рук, Твои поцелуи, Твои белые зубы, Твои плечи, Твое благоуханное дыхание, замирающие движения, красота, страсть и безумья долгих мгновений. Чтобы знали оба, что принадлежат друг другу во всем, и был ответ на вопрос без слов и без мыслей. О, я знаю, что это может быть! Я не напрасно полюбил Тебя, не напрасно вызвал Тебя из Твоего отрочества я, а не другой, мы не напрасно подали друг другу руки. Мы влюблены и верим друг другу. И многих, и многих слов уже не нужно.

Ты не хочешь верить, как я чувствую, а не только понимаю то, что Ты говоришь иногда, как будто раскаиваясь, что сказала. Я с Тобой единодушен, одушевлен одним и тем же, отзываюсь не всегда оттого только, что разные впечатления предшествовали или сопутствуют этому. Но отзовусь и запою одним голосом какой Ты хочешь страсти, до бешенства и безумия пойму и приму все, отдамся весь Тебе и Ты мне. Эти времена будут повторяться и будут прерываться, так нужно и так, Ты знаешь сама, неизбежно, но еще мы оба знаем, что это ничего, что у Тебя самой будут перерывы. Так будет волнующаяся жизнь, и мы будем опьяненные высоко, на гребнях волн, и будем стремительно, в вихре и пене нырять до самых глубоких и тайных проникновений в жизни друг друга. Оттого мы совсем узнаем и поймем друг друга только тогда — и во все остальные мгновения будет памятно это стремительное и бурное познание друг друга без мыслей и разговоров, без слов и рассуждений. Так Ты хочешь, я знаю, но знай, что и я хочу именно так, не иначе. Я хочу быть без конца влюбленным в Тебя и Твою духовную и телесную красоту (прости!) и сердцем, сердцем, сердцем узнавать и любить. Поэт же, как бы он ни глубоко погрузился в отвлеченность, остается в самой глубине поэтом, значит любовником и безумцем. Когда дело дойдет до самого важного он откроет сердце, а не ум и возьмет в руки меч, а не перо, и будет рваться к окну, разбросав все свитки стихов и дум, положит жизнь на любовь, а *не* на идею. Корень творчества лежит в Той, которая вдохновляет, и она вдохновляет уже на все, даже на теорию, но, если она потребует и захочет, теории отпадут, и останется один этот живой и гибкий корень. Так и я теперь, верно, опять приближаюсь к т. н. «эротической» области поэзии, в стихах, которые скоро будут, мелодия уже поет иначе. Пока все еще поет одна мелодия, слов нет. Но я уже открываю глаза, понимаю небо и землю, восстаю из праха, исполняюсь гордостью о Тебе. Содержания и слов еще почти нет, но уже знакомое чувство близко. Так бывает перед стихами. Когда напишу, пришлю Тебе. Если и содерж⟨ание⟩ будет не совсем то, Ты не обращай внимания. Наверное, будет песня рыцарского склада, там прислушаюсь я к цветению роз красных, розовых и белых на Твоей груди и на Твоем окне. Руки Твои белые, изваянные, дрожащие, горячие, прижимаю к губам, мое Откровение, мой Свет, моя Любовь.

Твой. Напиши.

Пиши. B⟨ad⟩ Nauh⟨eim⟩. Villa Gertrud. Zimmer 6.

Все уже заперто, опущу письмо завтра утр⟨ом⟩.

78

<1 (14 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм>
Bad-Nauheim. 1 (14) июня 1903.

В последний раз пишу Тебе в Петербург [1]. Сегодня пришло Твое письмо, где сказано, что Ты уедешь не раньше 4-го. Бедненькая моя, Ты совсем измучилась, я думаю. Слава богу, главное, что Тебя не угнетают, а только утомляют все эти дела [2]. Отдыхай в Боблове по-настоящему и больше не худей. Думаю, что Ты еще похудела. Когда дела будут кончены, Ты о них забудь пока и не беспокойся совсем, ведь это возможно. Здесь дни все еще какие-то тоскливые, видишь, что не пишется (теперь день). Трудно устроить дни без скуки посредине. Факты вот какие: 2 господина, которые приходили, оказались студентами, предложили участвовать в вечере в пользу пострадавших от кишиневского погрома <...> от них повеяло столь скверным <...> либерализмом и нахальством, что мама их прогнала. Вообще, и этот факт не вышел из ряда остальных, вполне бесцветных фактов, о которых даже вспоминать тошно. Я написал таблицу дней, чтобы вычеркивать. Как бы то ни было, это время пройдет и придет лучшее, но долго так жить я бы ни за что не согласился. Попробую придумать какую-нибудь поездку что ли в соседние места, замечательные, впрочем, одинаковыми серыми башнями незапамятных времен, из которых все выдохлось, осталась труха стен и палка, неизменно торчащая сверху. И при этом разыгрывать роль туриста под руководством немца, лопочущего всякий вздор на мало понятном наречии — с кашей во рту. А люди здесь все безобразны и никогда, по моему убеждению, лучше не будут. Зашли в католическую церковь, там не оказалось и тени божества. Деловитым и сдобным голосом говорил с кафедры господин, тщательно причесанный. Орган лучше. Вчера вечером были около музыки, а сегодня будет большой концерт на террасе, и мы пойдем туда, я попробую понимать. Но — каково положение: курорт, Kurgäste *, курзал, терраса: музыка, серые дорожки, «культура», различные Strassen **, которые горничные (Zimmermädchen) метут щетками, мостики, решеточки, ручейки: фонтанчики, островки — все, как по писанному. Скука, расписанная по фиртелям [3] часов, все ежедневно одинаковое и вполне самодовлеющее. Если Sonntag *** как сегодня, немки садятся вчетвером на скамейку в парке и, веселясь только оттого, что Sonntag, едят каждая ein Viertel яблока. Также веселятся от того, что поднесут к носу ein Blümen ****, а еще того более, если поднесет его к их носу немец столь плюгавый, что неприятно смотреть. И это — главные впечатления. Иностранцы тоже хороши. Англичане рассаживаются на садовых стульях около модного отеля и чопорно скучают. В курзале — огромная, серая, темная Lesezimmer *****, там всегда сидят уткнувшись в газеты. Всюду запах пива и сигар. До того неудивительно и «привычно» — все так и знаешь заранее, что и как будет. Утром все зевают около ванн в ожидании своего Nummer. Вечером все те же на террасе пьют пиво, слушают попури из «Кармен» (впрочем, бывает и Вагнер) и зевают. Символами одобрения, умиления, восхищения и мн<огого> др<угого> служат междометия «So» и «doch» ******. И т. д. И т. д. Даже писать скучно. А читать Тебе еще скучней. Твои письма в последние 3 дня — каждый день, для меня великая награда. Милая, сколького у меня нет без Тебя. Ты — мой праздник — и Твои письма.

Твой

---

* Лечащиеся на курорте (*нем.*).
** Улицы (*нем.*).
*** Воскресенье (*нем.*).
**** Цветок (*нем.*).
***** Читальня (*нем.*).
****** Так, как же (*нем.*).

[1] Л. Д. Менделеева 4 июня 1903 г. уехала в Боблово.

[2] Хлопоты перед свадьбой.

[3] *Viertel* — четверть (*нем.*).

79

〈2 (15 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм〉

Я вернулся сейчас с поля, очертив большой круг вдоль озера. Лебеди белые и важные, на лодках смеются и потупляются женщины — лиц не рассмотреть (пусть — так-то лучше). Травы тонкие, небо такое голубое [1]. Васильки и маки. Принес целый сноп мышиного горошка — синевато-лилового, такого крупного, как у нас редко бывает. Поезда шумят, рельсы, как змеи, греются на солнце. В тени солнце нарисовало замысловатые узоры из листьев. Парк такой романтический и романический, и днем и вечером, что мы с мамой негодовали вчера, как царь Берендей, что в этом царстве мало заметно романов. Ночью листва черная и электрический свет бросает пятна сквозь нее. И при этом слышна громкая зевота и громкий немецкий (и русский) говор. Нет ни шепота, ни прячущихся в тень, ни напряженных лиц, ни ожиданий. Всякое ожидание, всякая внутренняя жизнь, неподвижность своего сделали бы все эти лица красивее, особенно вечером. Пахнут каштаны, падают их цветы, медленные, задумчивые, белые, гравий скрипит под ногой, так что влюбленному легче слышать легкие шаги, вкрадчивые. И все вечером такое вкрадчивое, обаятельно-«лживое» (это называется «ложь»!) и каштаны, как «белая ложь»* [2].

Знаешь что? У меня роман. Я иду по дорожке, а впереди, сзади, сбоку, везде — идет высокая, стройная, молодая женщина [3]. Волосы у нее золотые, походка ленивая. Совсем сказочная. Румянец нежный и яркий. Ей на вид 16 лет, такая нежная девическая ласковость во всей ее фигуре. У ней и походка, и взгляд, и фигура совсем особенные, я таких других никогда не видел. Она вся удивительно мягко склоняется, точно упадет ко мне на руки. А сама не поднимает глаз, идет и закрыла их длинными ресницами. Держит платье белой рукой, руку сквозь кисею я видел, только не могу рассказать; Ты сама увидишь. Вчера вечером был симфонический концерт. Мне очень понравилась Liebestod ** Тристана и Изольды [4]. Сначала Tristan mouru pour son amour *** — целые вопли, титанические возгласы. Потом la belle Isolda **** начала тосковать. Стало очень тихо, «настала Великая тишина» [5]. Потом она запела, и опять завизжали скрипки и раздались титанические крики. Так она умерла — и все-таки было тихо. Elle mouru pour le pur tendresse*****. Так я понимал, потому что Изольда была женщина и, наверное, не поверила ни своей, ни Тристановой смерти. Она любила дикую горную «ложь» страсти, которая никогда не умирала и не умрет. Так я понимал, и мне нравилось. Также, кажется, нравилось и моей Даме. Ей должно быть, знакомо и близко чувство сильной страсти, наивной и некультурной, большей, чем немецкая Akkurat-Liebe ****** (если есть такой термин, а я не придумал его) — страсти сверхнемецкой, т. е. уже значит германской страсти Валькирий и Богов (богов). Вот какова моя Дама. Она постоянно со мной, но никогда не разговаривает. Подозреваю, что Она вообще редко любит говорить, больше слушает, но, когда слушает, понимает даже гораздо больше, чем сам говорящий. Т. е., гово-

---

* Соврал. Не каштаны, а белая акация. Каштаны давно отцвели. Прости. (Примеч. Блока.)

** Смерть от любви (*нем.*).

*** Тристан умер от своей любви (*франц.*).

**** Прекрасная Изольда (*франц.*).

***** Она умерла от чистой нежности (*франц.*).

****** Аккуратная любовь (*нем.*).



А. Н. БЕКЕТОВ (ДЕД БЛОКА)
Рисунок Блока, 10 января 1900 г.
Центральный архив литературы и искусства, Москва

рящий-то с Ней понимает, но он в это время находится на седьмом небе и совершенно поглощен Ее созерцанием.

Пишу Тебе в Боблово, моя розовая Дама. Первое письмо! Никогда не писал сюда, только приезжал и смотрел на Тебя с великолепиями в сердце, с тайной, глубоко скрытой надеждой. Осторожно вкрадывался в Твое горячее сердце.

Обнимаю Твои стройные ножки, целую Твое платье. Ты здесь со мной, только еще не так, как будешь. Ходишь, плывешь в воздухе, молчишь, ленивая, прекрасная, прекрасная.

Твой

2 июня 1903. Bad-Nauheim.

¹ См. стихотворение Блока «Если только она подойдет...» (в письме № 81).

² См. в стихотворении Блока «Днем вершу я дела суеты...» (5 апреля 1902 г.).

³ Далее воссоздан «словесный портрет» Л. Д. Менделеевой.

⁴ Имеется в виду музыкальная драма Р. Вагнера «Тристан и Изольда».

⁵ Цитата из Евангелия от Матфея, VIII, 26: «...и сделалась великая тишина».

80

〈3 (16 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм〉
3 июня 1903. B. N.

Если в Твою милую головку придут какие-нибудь грустные мысли, пиши мне и о них, моя Радость. Ты должна знать, как я приму. Приму, как хочешь, приму тихо и бережно. И никто не узнает. У меня все бывает в сердце, Ты сама можешь видеть по письмам. Бывает тоскливо без Тебя, бывает бурно, бывает тихое веселье. Пиши мне все, что только придет Тебе на ум, для меня ничего нет на свете дороже всего Твоего, всего, что близко от Тебя, моя Голубка, моя родная. Ведь у Тебя меняется настроение, у Тебя сердце неспокойное и, может быть, Ты мне не скажешь чего-нибудь, что лучше для Тебя сказать. Ты знай, что я люблю все в Тебе, все, что знаю и чего еще не знаю. На всем живом, что в мире, навсегда для меня легла Твоя золотистая тень; все, что мне дорого, связано так или иначе с Тобой. Никогда не забывай своего вечного первенства, своего величайшего права над моей жизнью, для меня блаженного и рокового. Это так серьезно и так свято, до того — не игрушка, не прихоть и не выдумка. Тут не о чем даже говорить, а просто, вот Ты вошла, вот Ты села, встала, повернулась, кушаешь, спишь, думаешь — и все это у меня вот здесь, в душе и наяву, а не сонные фантазии, и все это я каждую минуту знаю и сознаю, и вокруг этого все мои планы, и все это для меня больше, чем необходимо и дорого. Это такое самое глубокое и строгое веселье души, вокруг которого приходит пора для человека разместить жизнь, из которого эта жизнь будет излучаться и принимать соотв〈етствующие〉 формы. Вот так-то и мне хочется неусыпно знать о Тебе больше и лучше всех. Не подумай, будто мне кажется, что Ты что-то от меня скрываешь. Я так только, пришлось по душе, оттого и пишу, чтобы еще раз издали гладить Твою душистую матово-золотую головку, чувствовать Твое горячее душистое дыхание.

Я узнал из газеты, что у Бугаева умер отец [1]. Из этого заключаю, что едва ли он сможет и захочет быть у нас шафером. Я ему только что написал, ничего не подозревая, письмо маловыразительное и короткое [2]. От Тебя сегодня нет письма. Я два раза ходил на почту. Все эти дни были — (всего 4 письма, которые Ты послала 28, 29, 30 и 31 мая. Если Тебе будет трудно писать каждый день, не пиши, напиши только об этом (что, мож〈ет〉 б〈ыть〉, не будешь), а то уж мне что-то страшно, не случилось ли чего-ниб〈удь〉. Мы с мамой взяли уж по 4 ванны. Она чувствует себя не особенно, а погода холодная, иногда идет дождь. Познакомились с русскими, которые с нами обедают, уж начали ими тяготиться — не интересны и не без навязчивости. Остальное все по-старому. Что Ты думаешь? Что Ты чувствуешь? Я все с Тобой и все о Тебе думаю, и так избалован памятью о Твоей наружности, и о Твоем существе, голосе, разговорах, платьях,— что решительно все кажутся мне не стоящими даже мнений, не только внимания. Все такие серые и непраздничные. А сравнивать кого-нибудь с Тобой мне не придет и в голову, да и можно ли это? Посуди сама. Что мама [3]? Пишет ли она? Она вернется, по моим расчетам, около 10 июня, напиши мне о ее здоровье и настроении. Мне пора навести справки о «Нов〈ом〉 пути» и для это〈го〉 написать m-me Гиппиус. Ты позволишь и не испугаешься теперь, мне что-то кажется так. Вместе с письмом к Тебе, конечно, ни писать ни посылать не буду. Напишу не много и не слишком распространюсь о себе. Ты позволишь, моя Ясная [4].

Твой

Если Мережк〈овская〉 ответит, я пришлю письмо Тебе.
Твои письма идут 2 дня. Мои, верно, также?

[1] Отец Андрея Белого — Николай Васильевич Бугаев (1837—1903), видный математик, профессор Московского университета. Скончался в Москве 29 мая 1903 г.

[2] Блок в письме от 28 апреля 1903 г. сообщил А. Белому о своей предстоящей женитьбе и просил его быть шафером у невесты. А. Белый 9 мая поблагодарил Блока, «за честь», но предупредил, что, может быть, не сумеет приехать в Шахматово на свадьбу, так как должен сопровождать больного отца на Кавказ. Блок ответил ему 29 мая (11 июня) из Бад-Наугейма, еще не зная о смерти Н. В. Бугаева (см. «А. Блок и А. Белый. Переписка». М., 1940, стр. 30—31). На свадьбе Блока А. Белый не присутствовал.

[3] А. И. Менделеева.

[4] См. примеч. 8 к письму № 31.

81

⟨4 (17 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм⟩ [1]

Милая, Милая, Единственная, Ненаглядная, Святая, Несравненная, Любимая, Солнце мое, Свет мой, Сокровище мое, Жизнь моя — или лучше без имен. Я ничего, ничего не могу выговорить. Верь мне, я с Тобой, я всю жизнь буду у Твоих ног, я мучительно люблю, торжественно люблю, звездно люблю, люблю всемирной любовью Тебя, Тебя, Тебя Одну, Единственную, Жемчужину, Единственное Святое, Великое, Могущественное Существо, Все, Все, Все. Это и стихи [2] написано не в одно время. Теперь ночь, и я не могу молчать, как в этих стихах. Ведь я вечно молчу, томительно молчу, убийственно молчу, проклинаю себя за то, что молчу перед Тобой, зачем я молчу, зачем я мало высказал Тебе, зачем я не умел и до сих пор не умею ничего, ровно ничего выразить и зачем нет слов ни на каком языке для того, чтобы небо и землю расшатать словами любви и страсти. Я в прахе перед Тобой, обнимаю Твои колени, я не смею и не дерзаю большего и все это пишу, пишу Тебе на проклятой, бездушной бумаге проклятыми бездарными словами, бессильно, за тысячи верст от Тебя, не знаю, что Ты в эту минуту, где Ты, как Ты, что Ты думаешь и делаешь. Чувствую свое убожество перед Тобой, целую Твои ноги, недостойный и страстный, страстный, измученный тем, что столько не видел Тебя. Больше ничего, все, больше не нужно, подол Твоего платья целую горящими недостойными его губами, я, пыльный человек, Ангелу Света, былинка у ног Твоих, Розовая, Крылатая, Светлая, Дивная, Чудесная.

Любочка, Любочка, если бы Ты знала, сколько молитвы! Ты знаешь все, все видишь; Любочка Ненаглядная!

I

Если только Она подойдет —
Буду ждать, буду ждать...
Голубой, голубой небосвод...
Голубая, спокойная гладь.

Кто прикликал моих лебедей?
Кто над озером бродит, смеясь?
Неужели средь этих людей
Незаметно Заря занялась?

Все равно — буду ждать, буду ждать...
Я — один, я в толпе, я, как все...
Окунусь в безмятежную гладь —
И всплыву в лебединой красе.

3 (16) июня [3]

Ненужные бездарные стихи.

II

ЕЩЕ СТАРИК

Когда я стал дряхлеть и стынуть,
Поэт, привыкший к сединам,
Мне захотелось отодвинуть
Конец, сужденный старикам.

И я опять, больной и хилый,
Ищу счастливую звезду.
Какой-то образ, прежде милый,
Мне снится в старческом бреду.

Быть может, память изменила,
Но я не верю в эту ложь,
И ничего не пробудила
Сия пленительная дрожь.

Все эти росказни далече —
Они пленяли с ранних лет,
Но старость мне согнула плечи,
И мне смешно, что я — поэт —

Певец каких-то откровений,
Я, умирающий старик,
Едва сгибающий колени,
Создатель безрассудных книг,

Давно уставший верить книгам
Таких же розовых глупцов!
Проклятье снам! Проклятье мигам
Моих пророческих стихов!

Наедине с самим собою
Дряхлею, сохну,— душит злость,
И я морщинистой рукою
С усильем поднимаю трость...

Кому поверить? С кем мириться?
Врачи, поэты и попы!
Ах, если б мог я научиться
Бессмертной пошлости толпы!

4 (17) июня

(довольно неожиданный вариант на старую тему) [4].

Всего этого не надо, так уж посылаю. Ты хотела. Твой шут, Твой Пьерро, Твое чучело, Твой дурак, уж Тебе не понравится, а уж я все-таки унижаюсь, не могу, уж так надо, такая уж черта. Прости за это все, Всепрощающая, Дивная, Ласковая, за Твои письма Твои ноги целую.

Прости.

[1] Дата почтового штемпеля: 5(18) июня 1903 г.

[2] Стихи, посланные при этом письме.

[3] Впервые напечатано в альманахе «Белые ночи» (1907).

[4] Впервые напечатано в газете «Наша жизнь», 1906, 11 марта (Приложение, № 9) — под заглавием «Поэт» и без пятой строфы. Называя это стихотворение, вызванное впечатлениями курортного быта в Бад-Наугейме, «вариантом на старую тему», Блок имел в виду свое стихотворение «Старик» («Под старость лет, забыв святое...»), написанное 29 сентября 1902 г. Выражение «*бессмертная пошлость*», как отметил сам Блок, заимствовано у Тютчева:

Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!

82

〈5 (18 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм〉[1]

Ничего, ничего не выйдет из того, что я, безумно влюбленный, безумно разрывающийся сердцем о Тебе, моя Любовь, моя Дивная, могу сказать Тебе на Твое письмо, которое сейчас пришло, о письме, в котором вся душа Твоя тоскует и плачет [2]. Я попробую сказать, осмелюсь и дерзну сказать. Прежде всего, все, что я скажу об этом, будет бледнее и меньше, чем я чувствую, в миллионы раз. Слабейшее подобие моих чувств об этом, о том, что Тебе необходимо от меня услышать, будет здесь, Ты помни, каждый миг помни своим громадным, самым нежным сердцем о том, как мало можно сказать и как много можно почувствовать и дать почувствовать. Ты помни, прежде всего, и больше всего, что я, человек недостойный и малый перед Твоей Чистотой, знаю это больше, все больше каждый миг, каждым фибром своим ощущаю и роникаюсь этим. И знаю при том, что безмерно мое Преклонение перед Тобой, знаю, что все, что в моей слабой воле, человечески покорной Тебе воле, я сделаю, чтобы Ты, Нежная, Страдающая, бесконечно Любимая, бесконечно Самоотверженная для меня, Отдавшая и Отдающая мне то, чего я и осмыслить совсем не могу, чтобы Ты, вот Такая, какова есть и будешь и была, меньше всего, слабее всего почувствовала все это. Я жизнь свою на это положу, сверх себя сделаю, все, что потребуешь, сделаю, мож〈ет〉 б〈ыть〉, что *невозможно*, сделаю, чтобы только дать Тебе поверить в меня, в мою нежность и ласковость.

Сознаю я их в себе, могу я с ними справиться, могу их проявить, я, что хочешь, но не грубый человек, я убийства не совершу, я ответствен перед Тобой, я Тебя, как бога моего, вижу перед собой ежеминутно, каждому шагу Твоему отдаюсь, каждое в Тебе движение свято, свято, свято принимаю. Не будет меры моей нежности, моей ласковости, моей любви; я представить себе правда не могу, каковы твои мысли теперь, мне ли представить их, но, я клянусь Тебе, на коленях клянусь, платье Твое целуя, клянусь всеми самыми страшными клятвами, что мне жутко, мне страшно, я сердце все распял и изъязвил от Твоих Золотых Слов, страдающих и блаженных для меня, что я, хоть не представил, но узнал как-то, вот по предчувствию узнал, сверх себя узнал это Твое страдание, всеми Твоими муками мучаюсь,— и, потребуй только, потребуй — уж Ты видишь, что *все* сделаю, на *все* пойду, от *всех*, *КРОМЕ ТЕБЯ* [3], отрекусь. Горести эти Твои, муки Твои — все, все, все сберегу, всеми перестрадаю, весь в них сгорю, ни одной малой черточки бесчувственной в душе не оставлю, весь в них переселюсь, предчувствиями их уловлю. У меня все сердце, как на угольях, горит и сгорает, без одного слова; жалкие слова, нищие слова, слова, как лохмотья, только нежность и ласку к Тебе я чувствую не нищенскую и не бедную. Весны-то Твоей, Ты думаешь, я не сознаю, Весны Твоей, моя Девица Красная? Ты вот не поверишь,

сколько казней для меня, когда Ты говоришь о «последней». Душа моя, Любочка моя, Ясноокая моя Зоренька, не последняя Твоя весна. Знаю это твердо, как то, что весь я Твой, для Тебя на свете живу и для Тебя каждую минуту умереть готов. Больше мне говори об этом, распинай меня, терзай меня, как Твое Бедное Сердце захочет, бей меня Твоими нежными, сладостными, бессмертными словами,— а я буду и буду говорить Тебе, у ног Твоих, что Твоя весна не последняя, Ты еще, еще, еще, еще увидишь, услышишь, почувствуешь, я ее не отниму у Тебя, я Тебе ворочу ее, и весны Ты узнаешь еще, и счастье, и ласку, и нежность мою Ты узнаешь, ибо несравненна моя любовь, мое обожание. Не мучайся Ты так, не терзай себя, не плачь. А то, плачь, от слез легче, я все Твои слезы приму, каждую слезинку на сердце положу, с собственной кровью смешаю. Я не зверь, не жестокий, не бесчувственный, я бережно и нежно буду слушать Твое сердце. Вот, не полегче ли? Не свободнее ли? Не лучше ли? Не меньше ли болит Твое сердце? Я бы все боли на себя принял, все бы за Тебя выстрадал, если б только можно было. Ты успокойся, будешь Тихая, Тихая, а я буду Твое дыхание слушать, ворожить и гадать буду, углубляться буду, Волю Твою свято исполнять и хранить, законы Твои соблюдать. Приказывай, приказывай; знаешь, какое мне счастье Тебе хоть малое утешение дать. Вот я и сказать не могу ничего. А Ты и так видишь. Только помни Ты, моя Милая, что будет счастье, будут весны, все будет, так мне нагадывается, такое предчувствие во мне, так по судьбе выходит. Не оставляю я ни на минуту мысли о Тебе, Ты плачь, если легче, а я уж с Тобой вместе буду, никуда не отойду, косу Твою беречь буду. Не заметишь, не узнаешь, без горя, без боли, без страдания, моей Царицей станешь, моей Госпожей, моя Ненаглядная, моя Ясная. Уж поможет нам в этом бог, верю, что поможет. Пиши, лучше ли Тебе или все больнее, а уж я все Твои страдания сам почувствую, никому не расскажу, знай хоть, что заодно с Тобой распинаюсь, может быть все-таки легче будет. Уж я почувствую хоть не так точно, только не слабее, весь в Тебе повторюсь. Только я сквозь всю боль Твою Счастье чувствую и новую весну будущих лет и сам не знаю, куда броситься — в Страдание Твое или в будущее Счастье Твое. Будет Оно, будет, будет, будет, я недаром говорю, и Весна будет — все будет, в бога веруй, мне верь, слабому, жалкому, Тебе навсегда, навеки отданному. В ноги Тебе кланяюсь, туфельки Твои целую. Твой до безумия, Твой навеки, Т в о й.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] В этом письме (от 3 июня ст. ст. 1903 г.) Л. Д. Менделеева писала: «Сегодня я провожу последний вечер на этой квартире, завтра уезжаю. Я *уверена*, что ты не можешь себе представить, до чего мучителен каждый час расставания с прежней девической жизнью. Точно я хороню себя, точно никогда уже *мне* не видать весны, не видать ничего, что до сих пор было счастье и радость. И до отчаянья жаль и последней весны моей, и комнатку мою, и родных, и косу мою, мою бедную косу девичью. Ты пойми, что я люблю тебя по-прежнему, по-прежнему вся душа стремится к тебе, только к тебе. Да если бы это не было так, разве можно было бы выдержать это разрывание сердца, будь хоть чуть-чуть меньше моя любовь, и я все бы бросила, от всего бы отказалась, только бы не отрываться, не отрываться так мучительно от прежней жизни, только бы еще раз видеть весну. Это чувство до странности связано с прошедшей, кончившейся весной, моей «последней» весной, мысль о «последней весне» прямо преследует и доводит до слез; и жалко, что провела ее в городе, что пропустила ее — последнюю-то. Успокой, утешь меня! Скажи, что не умру я прежняя, останусь та же, что и я увижу еще весну, увижу весну еще, еще и еще, что ты так ласково, нежно расплетешь мою косыньку девичью, что и не заплачу я. Скажи, скажи мне скорей, чтоб не боялась я, чтоб не плакала». В следующем письме, от 4 июня, Л. Д. Менделеева снова возвращалась к этой теме: «Не надо было мне писать последнего письма, голубчик мой милый.



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА
Фотография, 1900
Институт русской литературы АН СССР. Ленинград

Зачем тебя так беспокоить, огорчать? Мне теперь стыдно и ужасно жаль. Ведь то настроение находит только минутами, потом проходит, а ты можешь подумать, что мне так тяжело все время или большую часть. Нет милый, мне хорошо; а твои письма столько будят в душе, так поглощают ее в эти мечты».

[3] Подчеркнуто дважды.

83

⟨5 (18 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм⟩ [1]

Ужасно то, что я получаю Твои письма только через 2 дня и мои идут столько же, так что, если даже я пошлю сейчас же, в ответ на Твое письмо, то проходит время 4—5 дней (м.б.,— больше?) и все меняется. Сегодня я получил Твое мучительное, гениальное, несказанное письмо [2], и ответил сейчас же. И вот, Тебе нужно было что-нибудь сказать в ту же минуту, как Ты подумала, и ничего не было сказано, Ты не нашла ничего, никакого отголоска даже, Твое письмо кануло и ушло от Тебя, то, что Ты из самой глубины сердца вынула, не нашло никакого отклика и прошло тысячи верст. Может быть, ведь, у Тебя снова и еще и о другом болит душа, а я отвечаю на Твое самое яркое и острое чувство только через 4 дня.

Я хотел телеграфировать, но сейчас же почувствовал всю глупость этой мысли.

Вся моя душа в Твоих страданиях. Только теперь я буду меньше писать. Я могу целые потоки слов, непохожих на то, что у меня в сердце, наговорить. И мож‹ет› быть, когда-нибудь, правда, бывает лучше от этого вихря слов. Но теперь мне хочется прислушаться к Твоим слезам и отвечать им; сколько есть только любви, вся Твоя. Все Твое. И Ты, моя Родная, не всегда плачешь, и у Тебя не одни слезы в сердце. Верно, и у Тебя бывает надежда на счастье, как у меня она вечно есть. Девичество Твое, Молодая, Голубиная Чистота Твоя, Она здесь, со мной, о Ней я не только говорю, но и думаю со страхом божиим, с благоговением; вспомнила ли Ты грубость мою, неумение мое, бестактность мою? Ведь это все так, сверху, а внутри у меня такие нежные, такие деликатные, такие божественные чувства к Тебе, всегда моя Нежная, всегда моя Красавица. Мне-то, Ты думаешь, не жутко и не страшно, не хочу я молиться, не хочу я простираться перед Тобой? Просто ли, по-мужски ли грубо, без понимания касаюсь Красоты Твоей, ощущаю Прелесть Твою? Рукой нежной, рукой молчаливой и трепещущей глажу Твои тяжелые душистые девичьи косы, только сердце вздрагивает и удивляется. Если захочешь после слушать, расскажу Тебе после, свободнее и легче, сколько всегда было, есть и *будет* во мне этой бережности, только казалось, м. б. не так, но минуты, секунды другой не было, душой-то я правдиво всегда удивлялся Тебе, восхищение мое было и будет вечно весеннее, молодое, настоящее, душой-то я перед Тобой всегда на коленях стою, так и буду, и не изменюсь, не переступлю. Тебя мои слова не утешат, потому что все-таки мои слова, чувствую, что верно не мне утешать Тебя по-настоящему вот теперь, именно в том, о чем Ты говорила и мучилась. Да я и не смею многого сказать и долго не посмею, ибо груб слишком и жених Твой. Только Ты на меня больше, ради бога больше, изливай душу свою, все, что Ты из меня изгнать хочешь, изгоняй, ничего не щади, будто не со мной говоришь и не меня гонишь, а так, если будет злоба, злобу изливай, если страдать будешь, пиши, что страдаешь, все, что захочешь и сможешь, пиши, точно письма не ко мне попадают, а к тебе возвращаются, да так оно и есть; точно меня нет на свете, пиши, знаешь? Знаешь ли еще, что я счастлив, что мы оба весенние, что я от счастья задыхаюсь, что и Ты будешь счастлива?

Твой

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Письмо от 3 июня 1903 г. См. примеч. 2 к письму № 82.

84

6 ‹19 н. ст.› июня ‹1903. Бад-Наугейм›

Сегодня нет Твоего письма. Значит, в день отъезда [1] Ты ничего не писала. Какой был день вчера! Твое последнее письмо пришло, когда кончился утренний разговор с мамой, неприятный (впрочем, теперь реже неприятные разговоры, чем в Петербурге). Я вышел из комнаты и нашел письмо [2], распечатал с тем, что там есть что-нибудь жуткое. И когда прочел, мне показалось, что Ты прошла по самому краю пропасти и увела меня туда — и все-таки вышла. Вышла ли теперь? Что если бы не хватило любви, если бы она была «чуть-чуть меньше»? И эта поразительная зловещая красота всех слов, их глубина просто грозовая, мучительная до того, что очевидно напряглись до последней степени все струны.

Теперь так тихо кажется после этого последнего письма — тихо и страшно. Я боюсь, что Ты замолчала, после того как силу страдания

Твоего довела до высшей точки,— и замолчала, просто вся дрожа. Что будет завтра и будет ли хоть несколько слов — и что еще будет — я жду и думаю. Молился. Душа у меня бунтует, я Тебя не вижу и вместе, слишком смутно и неопределенно знаю, что сделала бы Ты, если бы увидела меня сейчас? Я не знаю, что сделал бы сам, и представлять не хочу, слишком невозможно и отчаянно страшно и хорошо.

Твое вчерашнее письмо было седьмое. Верно, не пропало ни одно. Может быть, пропадают мои, а я потерял им счет, вчера послал три. И что эти письма, когда я вечно повторяю, что нет слов? Я и теперь готов повторять одно это. Моя душа никогда еще в жизни не доходила до той точки, на которой она теперь. Она точно отделяется от меня и вся передается Тебе. Прежде я, например, чувствовал какой-то клочок самолюбия и гордости, который никогда не отдавался и всегда протестовал. Теперь и его нет, я чувствую, что нет части души, которая бы пряталась и противилась. Потому и говорю, чтобы Ты изгоняла и душила всякую чуждую Тебе тень. Понимаешь ли — все скрыто и священно перед всеми и открыто для каких угодно *ТВОИХ* влияний. Точно перед Тобой я сам от себя отрекся, а это еще ни разу в жизни не случалось, Ты сама это знаешь обо мне прежнем. И я не удивляюсь этому. Теперь настало время в жизни, какого еще не было, и, знаешь ли? Я не на словах и не придуманно знаю, что *могу и хочу* «душу свою положить за Тебя» («нет больше Той Любви...») [3]. Это и есть «ночь на исходе» [4]. Пишу все это не затем, чтобы говорить специально о себе, потому что не *обо мне* речь. Ну, Ты знаешь.

Меня только поставил бог на Твоей дороге. И это я знаю. Знаю, как я груб, как мало во мне тонкости, чуткости. Я мужчина. Я — не Ты! Но знаешь ли? Меня «ласкало» вдохновение, я щедро наслушался сказок от «Вечности», о которой давно кричал, молился и писал стихи. И все это сослужит Тебе верную и нужную службу. Это самое «вдохновение», которого Ты же была источником, мне поможет найти для Тебя мягкость, ласку, тепло, нежность, сделает «незаметным» (Твое слово) во мне то, чего Ты вдруг судорожно испугалась, что пришло Тебе на мысль в вечерний час, в час острой разлуки с тем, о чем сказать не сумею, но молиться сумею. Я и весну Твою сохраню.

И Ты «прежняя» «не умрешь».

Т в о й. Не плачь.

[1] 4 июня, в день отъезда в Боблово.

[2] Письмо от 3 июня 1903 г. См. примеч. 2 к письму № 82.

[3] Цитаты из Евангелия от Иоанна (XIII, 37 и XV, 13).

[4] Цитата из стихотворения Андрея Белого «Знаю», написанного летом 1901 г. под впечатлением первого знакомства со стихами Блока (еще в рукописях, сообщенных Белому М. С. и О. М. Соловьевыми). См. Андрей Б е л ы й. Золото в лазури. М., 1904, стр. 226; ср. М. А. Б е к е т о в а. Александр Блок и его мать. Л.—М., 1925, стр. 76—78.

85

⟨6 (19 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм⟩

Сейчас я получил Твое восьмое письмо. Или Ты не видишь, что со мной? Или Ты не знаешь, что то, что *Ты* говоришь — не «огорчение», не «беспокойство» — это больше, клянусь, это ярче, клянусь Тебе, это пламенная неутолимая, неподвижная мечта, это все, что всегда во мне, это боль Твоих ран и вместе — неиспытанное никогда блаженство — без меры, без границ, без отдыха. Неужели *Ты* будешь меня успокаивать! Неужели *Тебе* это делать! Неужели я *не* перенесу *Твоих* страданий! Неужели *Ты* каешься! Стыдишься! Просишь прощенья у раба, Госпожа моя, Милая моя, богом данная Владычица, Царица моя! И неужели я подумаю, что

Ты *только* терзаешься, неужели я не чувствую, что Ты *помнишь*, как я счастлив, как я поражен и изумлен блаженством! Ради бога, больше, больше нежных слов, я *смею* просить их, я так пламенно и неукротимо жду Тебя, что... *достоин* умолять о Них на коленях. Их не мало, все, которые Ты пишешь, меня преображают, днями звенят во мне весельем, но еще, еще, еще — пиши все, пиши о страданиях, пиши о муках Твоих, но пиши и о страсти Твоей, ибо я *знаю* о ней, Ты рассказала мне о ней, Ты, Дивная, вдохнула ее в меня, Ты заставила меня просить и молить Тебя о ней.

Когда Ты отдохнешь, напиши.

Как можешь, напиши. Я безумен и дерзок, м. б., не должен просить об этом, но я прошу, я припадаю к Твоим ногам и умоляю об этом. Я сам забрасываю Тебя словами, бледными, не выражающими того, что есть, не теряют ли они значения, всегда ли Ты их чувствуешь? Не сливаются ли все письма в общую беспорядочную громоздкую массу? Ведь я и сам не помню, как пишу, я не думая пишу, я скорей кричу, скорей ловлю пустой воздух руками, ветер вдыхаю полной грудью! Веришь ли, веришь ли Ты, это иногда мучит меня, представь! Знаю, что веришь, но повтори! Повторяй тысячи раз, повторяй, чтобы я метался здесь один, как безумный! Но и о мучениях пиши, умоляю, заклинаю, пиши, ничего не скрывай. Я буду ждать, подумай, я безумно дерзок, что прошу, но такова душа, такова мечта, такова здешняя отдаленность моя. Знаю, что недостоин, но знаю, что и достоин вместе. Никогда, никогда этого со мной не было, ничего подобного не было, мне *страшно* так любить, неизведанно хорошо так любить! Слова-то, слова-то какие, жалкие, каменные, точно бьюсь о камень и бессилен. Веришь? Веришь? Повтори, что веришь *всему*? Повтори, Искра божественная, повтори, Дева, Богородица, Матерь Света! Повтори, Любочка!

Твой

6 июня

86

8 ⟨21 н. ст.⟩ июня ⟨1903. Бад-Наугейм⟩

Ты меня избаловала письмами. И вдруг, кончается второй день, и нет писем. Я знаю, что 5-го Ты приехала в Боблово — и очень устала. Верно, не написала и 6-го, а почта идет страшно долго, должно быть, дольше, чем из Петербурга. Всем этим я стараюсь себя успокоить, но не совсем выходит. А я вчера не написал оттого, что сразу, после 5-ти писем, почувствовал, что не надо столько слов. Все равно, ими не скажешь. Потому и теперь пишу просто так. Бродил сегодня и сейчас, кажется, опять буду бродить. В парке «воскресная» музыка.

Сердце, как полная чаша. А высказать не могу. И боюсь — отчего?

Скажи мне то, чего просит моя душа. Скажи...

Нет ли в моих письмах чего-нибудь тяжелого и давящего? Нет ли во мне самом этого? Было бы так ужасно, что я бы каялся и изгонял.

Изгони.

Изгони все, чего не хочешь видеть во мне. Я готов.

Здесь я не даром. Точно что-то переучивается во мне. Ты «влияешь» издалека.

Должно быть, действительно, многое из прежнего я оставляю. Я «вырос», мож⟨ет⟩ быть. Сравниваю себя прошлогоднего и теперешнего. Какая-то разница.

Учи. Твои уроки я чувствую. *Верю* им. А до сих пор ничьим *так* не верил.

Я жду, упорно жду письма. Проникновенно жду, даже вздрагиваю от шагов.

Голубушка моя, прости, что не пишу больше, Теперь не надо. Я уж просто боюсь «расписаться»: напишу то, что не понравится Тебе. А Ты не скроешь, что не понравится? Видишь, как я глуп. Но...

Жду, жду, жду. Твой. Молчу.

Можно не писать на конверте «Zimmer 6»

87

9<22 н. ст.> июня <1903. Бад-Наугейм>

Что же мне делать, если у меня такой дурацкий характер? Высчитываю по дням, когда может быть письмо от Тебя, и выходит, что не раньше, чем завтра. Даже пример налицо, из Шахматова письмо, написанное 5-го пришло 9-го утром. Если Ты написала 6-го — будет завтра, а вернее, что Ты устала и не хочется писать, и потому письмо будет не завтра, а послезавтра (11). Но к вечеру кровь бросается в голову от беспокойства. А знаешь, почему? Потому что я ревную — просто по сумасшедшему, ревную Тебя ко *всем*, кто Тебя видит. Не подумай, что к «кому-нибудь» — этого *НЕ МОЖЕТ БЫТЬ* [1]. Просто, ревную к родным, даже к детям. Я еще постараюсь, чтобы у меня хватило соображения на то, чтобы догадаться, что почта еще не организовалась и письма можно посылать не каждый день. Тогда ведь письмо может прийти даже позже 11-го. Получила ли Ты мои бессвязные письма?

И этим я еще могу волновать Тебя, которой и без того бывает тоскливо! У Тебя самой глубокое, священное для меня волнение, о котором Ты написала вечером накануне отъезда. Уж лучше я опять не буду оправдываться. Только тон вот этого письма — которое сейчас пишу — поверь, отвратителен мне самому. Мне «*ДОСАДНО*» [1] (бессмысленное слово!), что *я* такой как *я* есть (а какой бы я был — ей богу не знаю!) такое великое счастье от *Тебя* принимаю (ей богу же чувство-то не такое глупое, как оно здесь изволило «начертаться»). От *ТЕБЯ* [1], от *ТЕБЯ* [2]! (опять отступление и скобки: пишу, точно начитался скверных романов и вообразил себя злодеем! Но — скверных не начитался, да и вообще от сочинителей подальше, я и сам сочинитель! Еще глупее?) И *все-таки* продолжаю: от *ТЕБЯ* [1], Которой Имя я почти никогда не могу произнести («почти» глупо, но ведь для точности, для полного, так сказать, отчета в моей «честности», потому что, правда, иногда я могу сказать: *ЛЮБА*[1],—скажу и запнусь —)...— Так вот: мне *страшно* поверить *собственному* счастью, которое вот в эту самую уединенную мою минуту меня всего насквозь пронизало. Страшно его испытывать так *много* и так *сильно*.

А Ты читаешь и думаешь: «Кривляется. Манерничает. Опять теории. «De la littérature» *. Так вот же! все *свои* плоские, беззубые слова я сейчас брошу и буду списывать (с переменой женского рода на мужской) с одной «весьма ценимой мною» рукописи, которой и Ты и я верим, как собственному своему сердцу.

Шутка ли?

«Все еще не получал Твоего письма и совершенно suspensum insomnia terrent **. Не знаю, как Ты, не знаю, что писать, а пропустить дня не хочется, ведь и Тебе приятно, и мне совершенно необходимо написать Тебе хоть слово каждый день, хоть повторить в тысячный раз те же слова, что Ты моя Единственная, Любимая, Милая, Родная, что я Тебя люблю, люблю, люблю, Голубушка моя ненаглядная! Пока пишешь Тебе, точно

* Литература (*франц.*).
** Меня сновиденья пугают (*лат.*). См. Вергилий, «Энеида», IV, 9 (перевод С. Ошерова).

Ты ближе, легче как-то. А вот будет счастье получать Твои письма, ведь Ты так пишешь, так дивно пишешь, ну Ты сама знаешь. Ты мне напишешь, грустно ли Тебе или Ты бодро себя чувствуешь. Знаешь, я как-то не очень тоскую, грущу, только все время чувствую, что Тебя нет, Ты далеко, что не увижу Тебя долго...»[3].

Это *я* получил *такое* письмо. Неужели же Ты не понимаешь, чему я тут удивляюсь? Да это ясно, как божий день: удивляюсь, что *я* получил *его*. И вот, еще и по этому поводу, болтаю, когда нужно *молчать*. Впрочем, оправдаюсь: я молчу, действительно много, только в письмах к Тебе разбалтываюсь, точно горох сыплется. А так, если бы увидели меня хотя бы, например, немцы, наверное бы сказали: «Видели дурака? Сидит, молчит и краснеет, как красная девица (rote Mamselle)». Действительно, краснею один, с самим собой — от счастья, ни от чего другого — от счастья и «беспокойства» о Тебе.

Пошел и посмотрел, нет ли письма. Нет, конечно. Вечер холодный и голубой, иду бродить. Прости за арлекинаду письма. Право, даже как будто сквозь слезы, уж прости. Ревнивый и болтливый пошляк — это я. Тоже, мож‹ет› быть, кривляка. Скажи-ка, скажи-ка, правда?

Ко всему прибавлю, что *такое* мое письмо еще попадет к Тебе в руки в неудобную минуту. Мысли-то твои — каковы они? Может быть, ведь не того Тебе нужно? А? Господи, какой я сумасшедший!

Скажи, Любочка, скажи.

Твой

Знаешь, мы приедем в начале июля. Почти наверное все леченье к концу июня кончится. В Петербурге пробудем два дня.

[1] Подчеркнуто дважды.

[2] Подчеркнуто четыре раза.

[3] Блок цитирует (с переменой женского рода на мужской) письмо Л. Д. Менделеевой от 31 мая 1903 г. Конец фразы, не дописанной Блоком, такой: «и это как-то отнимает всякую силу, иногда прямо руки опускаются, сижу долго, долго, и только думаю о тебе, о будущем, и вспоминаю все, и этот год, и первый, и мистическое лето».

88

10 ‹23 н. ст.› июня ‹1903. Бад-Наугейм›

Если Ты не будешь писать так долго, я дойду до безумия. Я не капризничаю, Ты знаешь. Но я четвертый день ничего не знаю. Если телеграфирую, испугаю телеграммой Тебя и всех. И что же я могу телеграфировать? Если бы Ты написала одно слово, когда приехала в Клин[1], хоть о том, что столько-то дней нет почты. Или, если есть почта, одно слово о том, что Ты устала и потому не пишешь. Ведь мне нужно только одно слово, а без малейшей вести провести четыре дня в этом проклятом городишке очень трудно. Когда пишешь, пиши число, и, вообще, пиши, сколько времени идут, напр‹имер›, мои письма—и обо всем этом. А главное, предупреди, что не будешь писать еще приблизительно столько-то времени. Я ведь, еще день, и подумаю бог знает что. Разве ничего не случилось? Уж лучше больше не писать. Ты не можешь представить, Ненаглядная, какая тоска. А завтра — 5-й день, и опять не будет письма. Завтра неделя, как Ты написала из Петербурга — последнее (8-е) письмо, еще 4-го июня. У меня руки опустились. Если есть что-нибудь, телеграфируй. Посылаю это письмо так уж, бессмысленно.

Твой

[1] По пути в Боблово (до Клина ехали поездом, дальше — на лошадях).

89

11 — утро ⟨(24 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм⟩

Вчера сидел в парке — был длинный вечер. «Скрипка стонет под горой — в сонном парке вечер длинный — вечер длинный, Лик Невинный, Образ Девушки со мной» [1]. Был в смертельном ужасе, написал Тебе бестолково и путанно. И вдруг сегодня утром, сразу 3 письма! Ничего не скажу. А вчера даже стихи написал (прилагаемые). Как я счастлив! Знаешь, если Тебе будет очень трудно писать каждый день, Ты предупреждай или пиши *одно* слово. А то уж очень у меня беспокойно на душе, когда нет ничего. Я точно воскрес после четырехдневной тоски. И все проклятая почта. Я лучше вечером напишу. Мама каждый раз Тебя целует, когда узнает, что я пишу. Я уж Тебе не писал и не пишу об этом — знаешь отчего? От ревности. Да Ты поймешь. Спасибо Тебе, Показавшей мне Свет. А письма Ты бранишь напрасно. Они еще мокрые от росы с Твоих лепестков. Дивная моя!

Твой

Я ведь потому прошу писем, что они дают тон всему дню. Я без них теряю нити жизни — самой будничной и мелочной даже. А с ними — я — ну... счастлив.

Твой

* * *

День был нежно серый, серый, как тоска.
Вечер стал матовый, как женская рука.
В комнатах вечерних прятали сердца
Усталые от нежной тоски без конца.
Пожимали руки, избегали встреч,
Укрывали смехи белизною плеч.
Длинный вырез платья, платье, как змея,
В сумерках белее платья чешуя.
Над скатертью в столовой наклонились ниц,
Касаясь прическами пылающих лиц.
Стуки сердца чаще, напряженней взгляд,
В мыслях — он — глубокий, нежный, душный сад.
И молча, как по знаку, двинулись вниз.
На ступеньках шорох белых женских риз.
Молча потонули в саду без следа.
Небо тихо вспыхнуло заревом стыда —
Может быть, скатилась красная звезда.

Утро
B⟨ad⟩ N⟨auheim⟩ [2]

* * *

Многое замолкло. Многие ушли.
Много дум уснуло на краю земли.

Но остались песни и остались дни.
Истина осталась: Мы с Тобой одни.

Все, что миновалось,— вот оно, смотри:
Бледная улыбка утренней зари.

Сердце все открыто, как речная гладь.
Если хочешь видеть,— можешь увидать.

Июнь 1903 [3]
B⟨ad⟩ N⟨auheim⟩

[1] См. примеч. 2 к письму № 96.
[2] Стихотворение было впервые напечатано в альманахе «Гриф» (1904).
[3] Стихотворение было впервые напечатано в альманахе «Корона» (1908).

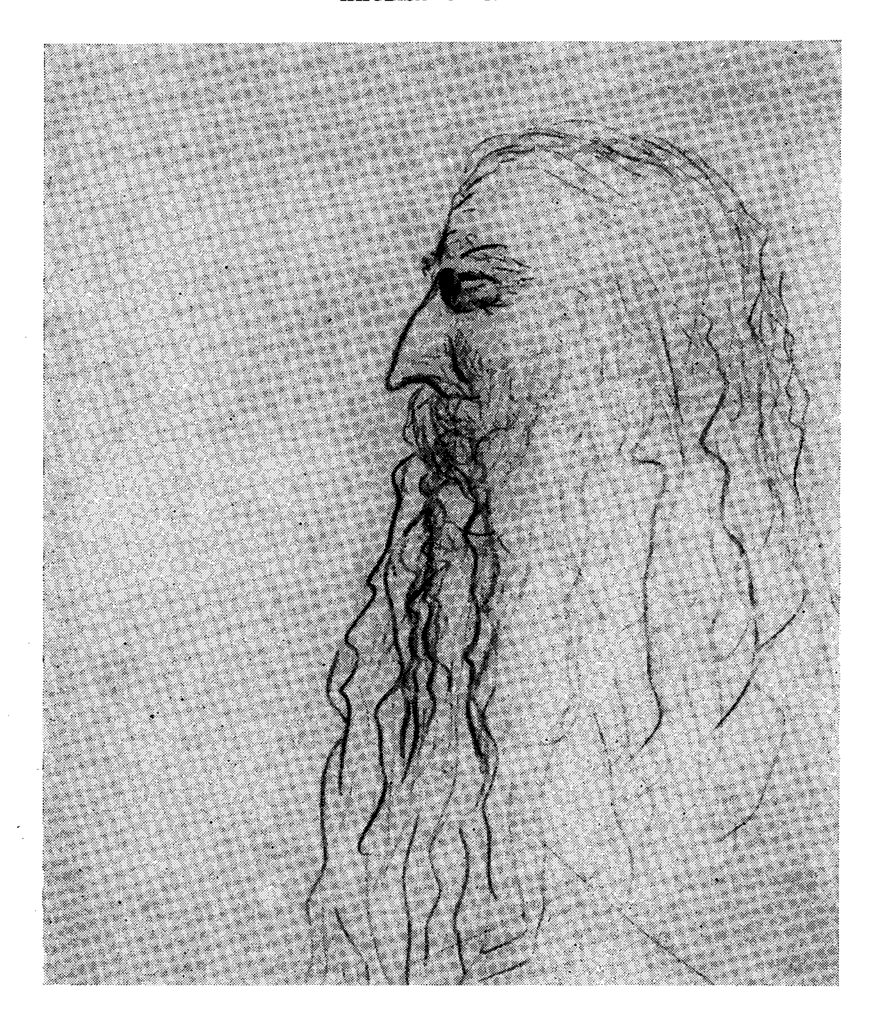
90

11 — вечером ⟨(24 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм⟩

Я так обрадовался и успокоился от 3-х Твоих писем, что стал днем писать Тебе разные психологические рассуждения. Исписал пять страниц, перечитал, соскучился и разорвал. Потом ушел на гору (Johannisberg). И вдруг меня, как молнией, поразила самая ясная, но никогда еще в такой ясности не приходившая в голову, мысль; очень трудно все-таки ее выразить: мысль о том, что Ты совсем расцвела, распустилась, как распускаются цветы — и именно белые, влажные, ночные красавицы. Если бы это было так только, нечего бы было повторять. Эти мысли в т⟨ак⟩ наз⟨ываемых⟩ «поэтических» образах, конечно, не раз были у меня. Удивительно, что теперь точно прямо от Тебя ко мне, не проходя ни через какую «поэтическую» среду, точно на меня повеяло Твоей жизнью. И это было ужасно *серьезно*, главное — *серьезно*. И именно то, что Ты *совсем* расцвела, что называют «выросла», и опять не так, как у Полонского:

Для чего расцвела? Для кого развилась?
Для кого это небо — лазурь ее глаз...,

а совсем иначе. Не в дымке «поэтической» грусти, или «выдумки», или «настроения», а совсем особенном виде — «*серьезном*» (хоть ведь и то серьезно, но иначе). Я не могу об этом «талантливо» написать, но это ужасно важно. Я прежде, давно, когда мы играли «Гамлета», сильно мучился тем, кто Ты — девушка или еще вовсе ребенок [1]. В Тебе тогда и того и другого было ужасно много. Ты обещала быть истинно-замкнутой, какова Ты теперь, а все-таки временами прорывалась детская и ужасно наивная искренность и откровенность (теперь Ты замкнутая, а не неискренняя, я это хочу сказать, конечно). Ведь и я был во многом ребячлив больше, чем теперь. И после Ты стала на глазах закрываться, в чем это было, не сказать уж, конечно. Взгляд Твой, что ли, стал останавливаться еще реже, но зато чуть-чуть дольше на мне, и на щеках у Тебя появились не детские, а задумчиво девические тени. Вот передо мной Твоя карточка с мандолиной,— я ее не люблю теперь, потому что она Тебя не передает, на ней много прошлогоднего и что-то «хищное»,— и все-таки на ней совсем уж ясна эта перемена овала лица. Теперь, я заметил на Мусином [2] детском личике появляются эти же тени. Ну и вот — теперь, на Твоем Лице все эти черты ярки. Я думаю о них и думаю, что они означают ожидание. Видишь, что я думаю, не сердись, я это *ласково* думаю. И на карточке, где Ты с книгой сидишь — тоже ясно, она лучше.— Так вот, знаешь, что я при этой мысли сейчас же почувствовал? что, когда я приеду, что буду я на эти полтора месяца до свадьбы? Если я *этого* не понимаю? Если мне кажется *дерзким* даже смотреть на Тебя теперь, потому что ведь я же груб, и я мужчина, и меня хватает только на то, чтобы понять *дерзость* своего присутствия? Точно я — что-то лишнее. И единственно, что может «сгладить» эту *ненужность* моего присутствия — это молчание и восхищенность. Ведь восхищенность всегда искупала и искупает многое. Вот, я только описываю, что было, а ведь это в одну секунду промелькнуло. Но не прошло, и я унес это чувство с горы в город и вот сюда. А теперь я думаю, какие бывают еще мужчины и, оказывается, бывают грубее меня. Бывают и такие, которые вовсе игнорируют мысли Невест. А мысли



ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ‹?›
Рисунок Блока
Центральный архив литературы и искусства, Москва

и мучения Невест значат *многое*, и хоть часть из этого *многого* жениху необходимо вместить, а если он не понимает, хоть каяться в этом, чтоб быть хоть на каплю достойнее. И «возраст» Невесты надо вместить и *надо* понять хоть издали, хоть немного, что значит девушка двадцати лет.

Ведь я Тебе совсем не пишу о «делах». Думаешь ли Ты, что этого не нужно? Я думаю, что да. Дел для разговоров и писаний о них, можно при желании найти много, но, по-моему, у Тебя нет этого желания. У меня — нет. Наше время не такое, чтоб очень заботиться о мелочах, думаешь ли и Ты то же? Я думаю скорее и легче о том, что написал Тебе, и о многом подобном. Но могу думать и о «делах». Неправда ли — слово «дела» такой же жупел, как «муж»?

Милая, Ненаглядная, Ты все-таки пиши хоть одно слово. И так уж почта отвратительна.

Помнишь, как порывисто Ты обняла меня в вагоне, в последнюю минуту. Сколько Ты дала мне тогда понять! А я был сух и глуп. Завтра напишу.

Твой

[1] К этому времени относится первоначальная редакция стихотворения Блока «Я шел во тьме к заботам и веселью...» («Воспоминание о «Гамлете» 1 августа 〈1898 г.〉 в Боблове»).

[2] *Муся* — младшая сестра Л. Д. Менделеевой, Мария Дмитриевна (1886—1952), по мужу Кузьмина.

91

12 〈25 н. ст.〉 июня 〈1903. Бад-Наугейм〉

Ты принимаешь мои письма, как повесть [1]. Значит, так надо. Ведь если я задаю вопросы, то такие, которые не требуют точного ответа. По крайней мере, в Твоих письмах без прямых ответов я нахожу то, что мне надо, то *главное*, что меня будит: Твою любовь. А мои вопросы сами собой расплываются в Твоем зеленом саду, в зеленой тени, когда Ты смотришь из трав в голубое небо.

Только что же Ты все оправдываешься? Я рад Твоей лени. Любуюсь на нее. Дорожу ей. Она и в письмах [2]. Разве мне нужно от тебя что-то чуждое Тебе? И разве Твои письма не прекрасны сами по себе, не только для меня?

Ты спрашиваешь, что писать? Пиши: «Все хорошо. Твоя». Здесь прожить осталось $2^1/_2$ недели. Вот напиши, что Ты об этом думаешь?

Мы с мамой говорим иногда об ее прошлом. Она рассказала мне разные подробности о моем отце и первом времени после венчанья. Я спросил, могу ли рассказать все это Тебе? Она сказала, что она даже хочет, чтобы Ты знала о ней все, что знаю я. Я расскажу Тебе потом.

Странный человек мой отец, но я на него мало похож.

Ты думаешь, что не умеешь рассказывать факты? Это неправда. Видишь, как я заразился Твоей ленью? Я с Тобой — там — в зеленой траве.

Ты прислушайся к земле и напиши, что Ты услышала.

Вчера я видел фейерверк, уж второй. Очень трогательно и торжественно. Особенно — ракеты. А сегодня я опять был на горе — с мамой вместе. Очень хорошо и далеко видно. А все-таки поскорей бы прошли $2^1/_2$ недели. Дни тянутся, как ломовые извозчики. Источник, в котором я купаюсь, таинственный — зеленовато-голубой.

Сегодня утром я получил Твое двенадцатое письмо. Что будет в тринадцатом?

Что думаешь Ты о двух с половиной неделях? На этот вопрос ответь. Голубушка, Милая, Ласковая, Нежная, когда-то я Тебя увижу? И какая Ты будешь?

Напиши, вернулась ли мама и как она?

Ты худеешь или нет? Спишь? Кушаешь? Очень устаешь от жары? Если Ты обо всем этом напишешь, я буду рад. И теперь я счастлив. Только дни длинные.

Господь с Тобой, Голубушка.

Твой

[1] Л. Д. Менделеева писала 8 июня 1903 г.: «Хотелось бы мне сказать про твои письма, только ты и сам знаешь, какие они хорошие, как захватывают, как много, много говорят...».

[2] 9 июня 1903 г. Л. Д. Менделеева сообщала Блоку: «Милый мой голубчик, сегодня я много, много бродила по полям, там, где мы ходили вместе. Жарко, тихо, трава душистая, я совсем одна — так хорошо вспоминать о тебе. Я теперь только и делаю, что думаю о тебе, ничего и читать не хочется, и не работается, и гулять ни с кем не хочется, надо идти скоро и далеко; а брожу потихоньку или лежу в траве около конопли. Много цветов теперь, так хорошо, я заставила всю комнату, розы и красные ли-

лии. А лучше всего безделье и лень, лень. Ты наверно отлично представляешь себе это настроение. А все-таки сквозь лень неприятно, что уж второй день от тебя не получала письма, сегодня воскресенье и не бывает у нас почты».

92

13 ‹26 н. ст.› июня ‹1903. Бад-Наугейм›

Я опять не могу писать трезво и опять не знаю, что писать. Я одинок без Тебя. Я тоскую без Тебя. Странной мне представится дорога из Боблова в Шахматово. Совсем другое было все еще год тому назад. Ты приедешь в Шахматово в тот день, когда мы приедем, или нет? Хочешь приехать или нет? Можешь приехать? Напиши, чтоб я знал наверное. Жить здесь осталось две недели, и потом еще около 5-ти дней (дорога и Петербург). Я не знаю, скоро ли это? С одной стороны скоро и даже страшно, а с другой — дни ужасно медленно волокутся. Я кончаю свои ванны, и доктор сказал, что я очень здоров, громко хохотал и жал руку. Впрочем, он и в первый раз не говорил, что я болен. Только тогда я действительно страшно устал. Маме осталось 10 ванн, а они берутся по 3, потом пауза. В Петербурге мне-таки опять придется иметь дело с университ‹етской› канцелярией [1]. Я Тебе напишу точно, когда совсем определятся все дни отъездов и приездов. Сегодня нет от Тебя письма, но я почти не беспокоился. Прости меня, что я прошу Тебя писать столько — каждый день. Ты, пожалуй, и не пиши, а скажи только, когда не будешь писать. Мы живем очень тихо, русские очень приставали (соседи), а теперь угомонились — хоть не совсем.

Не могу связать двух слов, а потому бросаю письмо. Какой-то сумбур в голове. Может быть, потом напишу лучше. Что-то нужно было Тебе сказать, я опять забыл. Верно не очень важное. Прости, моя Радость, за такое письмо.

Твой

[1] Речь идет о получении документов, необходимых для венчания.

93

14 ‹27 н. ст.› июня ‹1903. Бад-Наугейм›

Сегодня 14 июня. Я получил сейчас Твое письмо от 9-го — тринадцатое. В нем все, что мне было нужно эти дни, и больше того. Я даже не буду говорить о нем просто, так оно несомненно прекрасно по самому существу [1]. Ты издали тонко чувствуешь и знаешь, что мне нужно в таком удалении от Тебя, и удивительно верной рукой и ласковой рукой прогоняешь что-то мне самому не видное. То, что называется «надежностью», я чувствую у Тебя постоянно и чувствовал всю зиму, только редко сознавал. Этого всего, конечно, мало сказать и даже глупо говорить. Удесятери все, что я умею сказать и написать, и все-таки не будет того, что я хочу. Притом, Ты постоянно пишешь, что не умеешь говорить и писать. Между тем, даже когда Ты пишешь мало, у Тебя слова ужасно веские и *всегда* есть что-то, кроме слов. Твердости в Твоей ласковости и снисходительности ко мне ужасно много. Например, если уж Ты написала, что будет счастье, я твердо знаю, что Ты величаво «согласилась» на счастье, и притом из самой глубины души. Ты никогда не отдашься *словесному* порыву, и в этом прямо выражается Твоя непреклонность в изв‹естном› смысле, и я постоянно чувствую, что есть черта, которой Ты не перейдешь. У Тебя такая глубокая серьезность души, что она чувствуется даже и не для меня одного. Помнишь, я говорил Тебе, что мама [2] как-то сказала,

что она никогда не встречала ничего подобного, и когда Ты раз была с ней вдвоем (кажется, после первого экзамена), она потом сказала мне, что в Тебе есть что-то совсем новое и невиданное ей (а сколько она видела!), именно в этом спокойствии и невозмутимости самого главного. Ну, это сказала мама, совсем не зная Тебя. А я Тебе скажу, что я знаю в тысячу раз больше, и знаю еще, что в Тебе совмещаются никогда еще непредположенные мной «качества» (а я, если не видел, то «предполагал» очень много) — вот эта невозмутимость главного и та «непосредственность», которую Ты в самой себе знаешь так уверенно и спокойно опять-таки, и которую я знаю и понял совершенно твердо. Я думаю, что такое соединение дается или страданием довольно долгой жизни, или так, как у Тебя, от избытка природы и «породы», от удивительной свежести и чистоты рода и от безымянного (по крайней мере для меня) гения, свойственного Тебе самой *недаром*. Знаешь ли, что я искал долго и страстно именно этих непоколебимых устоев, из которых постоянно «возникает» жизнь; они — нечто вроде «живой воды», постоянно текущей, кристальной и никогда не иссякающей, все обновляющей. Благодаря этому Твоему основному смыслу и моему страстному стремлению к нему и твердой вере в него, *только* благодаря *ему*, мы не почувствовали психологических последствий этой зимы. Понимаешь, о чем я говорю? Помнишь, как я постоянно трусил того, о чем я говорю. Я еще не знал тогда так твердо и ясно, как теперь, после ряда писем и после того, как нашлось «время» подумать об этом,— не знал этого Твоего качества и все боялся, что оттолкну Тебя от себя невольно, и что то, что было зимой и весной, «испортит» все. Напомню Тебе еще, что в первых числах декабря, когда я нанимал комнату сначала на Троицкой, а потом на Серпуховской, *Ты сама боялась*, что мы «*губим*» свое счастье. Это Ты написала мне, но письма я оставил в Петербурге и помню точно именно слово «губим» [3]. Значит, было же и Тебе это сомнительно и жутко (я знаю, что не совсем то, что мне, но это все равно и не так важно). Ну, а теперь я окончательно понял, как молчаливо поняла Ты еще раньше меня, конечно,— что *нельзя* было уж ничего погубить. Я понял, что именно Ты главное (я, благодаря Тебе) сохранила мудрость и силу для того, чтобы быть счастливыми нам обоим. Никто не сделал бы этого лучше, тише, невозмутимее и увереннее. Заметь, что, когда Ты каялась, то каялась *не в том*, и это я оценил теперь только, как вообще, м. б., поздно принимаю всякие благословения, сходящие от Тебя и с неба. Вот на этой Твоей «надежности», «постоянстве» Твоем и строилось медленно и прочно теперешнее здание (найди мои старые стихи «Медленно, тяжко и верно...»: «Тяжкая верность заложит медленный камень труда»). Строится и теперь для будущего, потому что я «надеюсь на Тебя, как на каменную гору», что называется, и Ты, главное Ты, так же на себя надеешься. Это Лермонтов еще так неудачно (пошловато) сказал:

От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро —
Зато не разлюбит уж даром [4].

Этим самым Твоим гением молчаливой надежды Ты, кроме утверждения прочности нашей будущей жизни (ведь это канва — и все остальное *с этим* не страшно), делаешь *для меня* великую вещь: «опрощаешь» меня. Я сам замечаю, что то, что я прежде (еще даже в зимних письмах к Тебе) мог выразить расплывчато и туманно (теорией), теперь могу сказать яснее и проще. С этим кончается для меня ужас той самой страшной фразы, которую Ты сказала мне весной: что Тебе придется «стать мистичной», а иначе будет «ужасно». Я исповедал это священнику, и, должно быть,



РИСУНКИ БЛОКА С ЕГО ПОМЕТАМИ (1903 ?):
«Проф. А. И. Введенский», «Тип бретонской крестьянки», «И. Репин...
Н. А. Ярошенко. Уезжают! 1923 передвижная выставка»
Центральный архив литературы и искусства, Москва

стал попроще — на словах. Ведь тут именно слова пугали, потому что чувства мои Тебе угодны, надо их и выражать соответственно, а не кутаться в «литературу» там, где можно обойтись без нее. Прошу Тебя благосклонно принять мою простоту и еще увеличивать ее. Ведь «туманности» и для жизни опасны. Главное, чтобы Ты чувствовала меня покорным и ласковым, чтобы чувствовала тепло и жар, а то ведь у меня свойство скрывать невольно то самое, что хочется сказать или сделать.

Ты знаешь еще очень хорошо, что я «мучился», когда мог бы не мучиться. Тут было много упрямства,— Ты уже простишь, а я все еще не в себе. Но мучиться, когда Ты страдаешь, для меня необходимо и я хочу этого. Зачем же Ты каешься в своем седьмом письме (2 июня)? Мне прежде всего надо знать побольше всего, что Тебя касается, и, чтобы Ты не скрывала потом того, что не говорится теперь (а почему теперь не все скажется, это я знаю и перед этим преклоняюсь, и совершенно доволен одними догадками).— Вот Ты пишешь, что «мои слова чувствуются», значит, и Ты привыкла к моему способу выражения, а, м. б., и я стал получше выражаться. Я знаю, что Ты все поймешь, но ведь Ты понимаешь, что я хочу, чтобы Ты больше, чем сказано, поняла?

Ты не думай, что будет «другая» весна. Зачем так уж отказываться от прежней? «Прежняя» Ты и прежние Твои вёсны для Тебя страшно дороги, а для меня — Ты знаешь *не меньше* (на этом я твердо стою). А Ты как-то думаешь, что я-то и прогоню память о них, даже самую память. Нет, останется много. Ты задумайся,— и останется. Будут вечные белые думы, все равно, что старые и милые цветы переменят цвет. Но будут все те же *белые думы* над другими цветами. Я так много передумал, перепел и переискал этих неподвижных и неизменных, вечно милых, всю жизнь ласкающих снов (не знаю — другое бы слово), и Ты столько «помогла» мне в этом и столько сама дала мне их, что я верю в неизменность дорогого и в то, что каждая весна носит в себе одну молчаливую неизменность для всех «верующих» в это — холостых и женатых. Заря будет такая же заманчивая и свободная, а мы будем... еще свободнее. Ласковость бирюзового неба и Твой румянец и глубина Твоих глаз и жемчужины Твоих зубов — все одно и то же, одно счастье.

Твоя верность, о которой Ты молчишь, потому что сжилась с ней и чувствовала ее развитие давно, не знаю с какого возраста,— по-моему, вернейший залог постоянного счастья. Пока будет это — все остальное будет мелочь. Видишь, сколько я говорю об этой верности? Значит, что я уж разглядел ее и понял, а потому не боюсь говорить. Да и Ты ее в себе знаешь и ценишь, я чувствую, что Ты знаешь ее, потому что всегда молчала о ней, только раз сказала, и то намеком; я знаю также, что Тебе хорошо и Ты не всегда тоскуешь. Все это я знаю и люблю страстно, люблю до гордости.

В этом письме (последнем, от 9-го июня) Ты еще думаешь, что осталось 5 недель. А их осталось две с половиной. Мама эти дни так отвратительно себя чувствует, что пришлось чуть-чуть отложить ванны, и все-таки мы уедем едва ли позже 30 июня. А если бы осталось 5 недель, то правда можно было бы «совсем сбиться с письмами». Это удивительно тонко Ты сказала, у меня было это самое чувство [5]. Писать хорошо, а говорить (*с Тобой*) еще гораздо лучше.

Ты не кайся и вспомни, сколько Ты сделала для меня. Я не могу этого вычислить. И вообще, вычисления гадко действуют на меня теперь, особенно вычисления небесного огня. Мы с Тобой близки теперь и скоро будем еще ближе. Помнишь, как я боялся, что Ты рассказываешь Шуре [6]? Я только теперь понял, до какой степени Ты «не выдашь» и до какой степени я «уверен» в Тебе. Это гадко с моей стороны, что так поздно, а все-таки лучше теперь хоть знать это наверное. Видишь, что я в этом

письме не казнюсь. Мне самому странно это, но у меня иногда проходит это желание (не всегда, впрочем), и я иногда чувствую (даже страшно сказать), что могу быть Твоим «*другом*». Прости за слово и прости за форму. Знаешь, я чувствую это вместе с той мыслью, о которой я писал Тебе,— что Ты совсем выросла и стала из ребенка женщиной. И потому мне иногда сразу представляются *рядом* наши возрасты, оба сильные, молодые и жгущие друг друга. Слово «друг» не то, что «муж». Это значит только поверяющий Тебе все самое сокровенное, о чем ни за что не станет говорить другим. И «друг» ничего не исключает другого, потому не бойся и согласись стать мне подругой.

Ты написала письмо, подождала и подумала. Потом сделала приписку быстрой и стыдливой рукой. Я целую Тебя в губы, «как я хочу целовать» — «долго и горячо» [7]. Я прижимаю Тебя близко и чувствую, что Ты дышишь «долго и горячо». Вижу близко Твои брови, Твои волосы, Твои глаза, Твое горящее лицо. А все-таки — ноги и платье, прости, я не могу не поклоняться. Я целую Твой горячий след. Я страстно жду Тебя, моя Огненная Царевна, Мое Зарево. Я все думаю о том, приедешь ли Ты в Шахматово в тот день, как мы приедем. Ты говорила, что это может быть. Я возьму Тебя за руку и уведу в зеленую тень. Хочешь? Если нельзя, так я приеду. Ты напиши, Радость моя, Весна моя.

Твой

[1] В этом письме Л. Д. Менделеева писала: «Мне так досадно теперь на то, что я делала после письма 2-го июня: сама успокоилась и не подумала, что замучила совсем тебя, отделывалась короткими, ленивыми письмами. Бедный ты мой голубчик! Ведь знаю я, как мучу тебя всегда, знаю, что ты все чувствуешь бесконечно больнее и глубже меня, и не могла во-время вспомнить, писать, чтобы загладить, успокоить. Ужасно это расстояние, ведь теперь столько времени пройдет опять, пока ты получишь это письмо; я получаю только на четвертый день. Господи, когда-то это кончится! Ну что я могу сказать в письме? Когда ты пишешь, все чувствуется, что у тебя на душе, твои слова проникают и захватывают всю, талантливые, милые, дорогие слова. А я не умею; вот если бы ты был тут, ты видел меня тихую, покорную и счастливую твоей любовью, я целовала бы твои руки, сидела бы у твоих ног, как там, помнишь? Я сумела бы загладить, смягчить, заставить забыть боль, кот⟨орую⟩ я причинила тебе. А ведь ты знаешь, как на меня налетают и потом быстро проходят всякие настроения, хотя, правда, и глубоко захватывают, и тяжело бывает. Теперь совсем прошла тяжесть и горечь. Жалко, конечно, жалко, без этого нельзя, девичьей жизни; только я, как и ты, твердо знаю, знала и до твоего письма, а теперь еще тверже знаю, что будет счастье, бесконечное, на всю жизнь, только теперь-то не могу себе этого представить, ведь будет все совсем, совсем другое, и счастье другое, и весна другая, а мне жаль всего теперешнего и кажется, что без него и счастье не в счастье; да разве тебе самому меня теперешней не будет жаль потом; подумай! Только я тебе говорю, я ведь знаю, что я теперь только так думаю, а тогда буду счастлива; Господи, да ведь в тебе же все счастье, я же знаю! Ведь и ты знаешь, как будет хорошо, ты пиши мне, ты понимаешь, как мне необходимы, дороги эти письма, я зачитываюсь ими...».

[2] А. А. Кублицкая-Пиоттух.

[3] Письмо Л. Д. Менделеевой от 6 декабря 1902 г. См. примеч. 3 к письму № 24.

[4] Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «М. А. Щербатовой» («На светские цепи...»).

[5] В том же письме от 9 июня 1903 г. Л. Д. Менделеева писала: «Боюсь, что под конец совсем собьемся с этими письмами. Ну да ничего, ведь вот две недели прошли довольно скоро, проживем как-нибудь».

[6] А. М. Никитина.

[7] Приписка Л. Д. Менделеевой в письме от 9 июня 1903 г.: «Милый, милый мой, ненаглядный, голубчик, не надо и в письмах целовать ноги и платье, целуй губы, как я хочу целовать — долго, горячо».

94

15 ‹28 н. ст.› июня ‹1903. Бад-Наугейм›

Я понял, моя Радость, то, что Ты написала мне [1]. Я знаю, что Ты тогда испугалась не меня. Но Ты же должна понять, почему я пишу так. Я хочу, чтобы Ты чувствовала мою постоянную ласку и покорность Тебе и чтобы Ты знала, что я всегда готов «изгнать» ненужное Тебе; я приписываю себе часть Твоих страданий для того, чтобы Ты по крайней мере видела, что мое сердце открыто и чутко прислушивается. Я понимаю тоже, что Тебе было прежде «больно», когда я хотел, чтобы Ты изгоняла. Но ведь тогда в этом было «чуть-чуть правды». Если теперь это «неправда», то это еще новое счастье для меня, но я никогда не хотел бы *успокоиться* и решить, что во мне будет что-нибудь, не подлежащее *Твоему суду*. Если теперь хорошо,— пусть будет так, но, если захочешь, намекни только, и я буду стараться стать таким, каким Ты бы хотела видеть меня. И я не «мучаю» себя этим, а я со всем желанием моего сердца стремлюсь к тому, чтобы Тебе было хорошо и во мне не осталось и внешней «колючести», как не осталось следа ее в моей душе. Я знаю тоже, что Ты «жалеешь о том, что в Тебе». Это и прежде было. Ты скажешь мне об этом еще, а в письме, правда, не сказать. Только зачем жалеть, когда *Ты передо мной права*, если позволительно говорить такие «малые истины», когда рядом с ними стоят «великие» — все, что в Тебе — близко и свято для меня. Ты не беспокойся о том, что я не понял того письма [2], я о нем много думал и не мог *только* страдать, потому что там ясно и твердо сказано: «Будь хоть чуть-чуть меньше моя любовь, и я все бы бросила, от всего бы отказалась». Ведь это так просто и вместе так много. А то, что Ты пишешь теперь? Разве же это не уверенно? Разве это не «каменная гора»? Мне *это* необходимо, потому что я знаю и вижу, что на *этом* бесконечно надежном основании протекают Твои дни. И с *этим* я могу смотреть в лицо всему вполне бесстрашно и с ясностью. Я не то, что «не понял» Твои слова, а скорее — возвел их в слова своих молитв и писал Тебе о них, как о самом священном для меня. А слова молитв всегда звучат «страшнее», и к ним больше благоговения, чем к простым, потому и мой собственный голос перешел в крик и смутил Тебя неожиданностью. Впрочем, едва ли совсем «неожиданностью». Ведь Ты знала, какое значение мог я придать этому и какое, *по-моему*, *должен* был придать. Не беспокойся об этом, и помни, что, если мне придется что-нибудь объяснять, то я пойму скорее и как только можно скорее, потому что мое желание понимать *правдиво и так, как Ты хочешь, чтобы я понимал*, беспредельно. Завтра я напишу Тебе. Милая, Ты для меня дороже *всего*, это не забудь, Милая.

Твой

Я получил странное письмо от Бугаева [3]. Как только отвечу на него, так перешлю его Тебе.

[1] Имеется в виду письмо Л. Д. Менделеевой от 11 июня 1903 г., в котором читаем: «Родной мой, я перечитала твои последние письма и вижу, что ты не совсем понял меня, ты понял все хуже для себя, чем я чувствовала и писала. Ты перечитай то письмо и увидишь, что испугалась я чего-то совсем не в тебе, и не говори, что я хочу изгонять из тебя что-то, ты уж прежде говорил мне это, и тогда это было больно, хотя тогда, может быть, и было в этом хоть чуть-чуть правды. А когда мы говорим про это теперь, еще больней, п‹отому› ч‹то› это неправда, и жалко, зачем ты себя этим мучаешь. Ведь трудно в письмах говорить о всем, что думаешь, а в мои попадает только самая маленькая частица! Вот и ты не знаешь, что я теперь, как никогда, знаю и уверена, что ты такой, как я могла только мечтать для себя, а мечтала я об единственном, о самом луч-



МЕНДЕЛЕЕВЫ В БОБЛОВСКОМ САДУ

(Анна Ивановна, мать Л. Д. Менделеевой, в центре, Любовь Дмитриевна (перед мольбертом), ее брат Иван Дмитриевич и сестра Мария Дмитриевна)

Фотография

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

шем на свете. То, о чем я жалею, во мне, только, знаешь, трудно писать об этом, лучше будем говорить, когда увидимся, а что это и тогда не потеряет интереса, я знаю».

[2] Письмо Л. Д. Менделеевой от 3 июня 1903 г. См. примеч. 2 к письму № 82.

[3] Письмо от 10 июня 1903 г., в котором Андрей Белый с излишней прямолинейностью спрашивал Блока относительно соловьевской «Лучезарной Подруги»: является ли она для него, Блока, «Душой Мира» или «определенной личностью»? Блок ответил 18 июня большим письмом (см. «А. Блок и А. Белый. Переписка». М., 1940 стр. 32—37).

95

⟨16 (29 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм⟩ [1]

Я не знаю, как я буду говорить с Тобой, когда приеду. Еще ни разу с 7 ноября [2] мы не расставались на месяц. Мои дни здесь — жаркие, утомительные и сонные. Когда наступает вечер, у меня начинается смятенье в душе, а к ночи, когда кричат коростели и шумят поезда, поднимается целая буря, и мне хочется медленно красться и прятаться в тени белых вилл и старых деревьев, точно Ты назначила мне тайное свидание где-то и близко и далеко, в тени, у воды. Тут будто вся ночь только для того, чтобы незаметно и тайно от всех сильно и страстно сжать Тебя в объятиях в шепчущей тишине, прижаться к Твоим губам, увести Тебя на край города, будто на край земли, слушать Твой долгий медленный шепот. Мне нужно, чтобы Ты зажала мне губы поцелуями без конца и заставила все забыть, чтобы предаться Тебе страстно и надолго, без единой мысли. Я пишу все это, точно одурманенный сонной грезой Твоего Присутствия, отдельной от всех, сознавая, что я законно ничего не понимаю больше в эту минуту и ровно никому не обязан признаваться столь томительно страстными словами, кроме Тебя. Кроме Тебя, нет ничего, и все слилось в Тебе, все мое прошлое и будущее, и настоящее, и ночь, и тихие росы, и знойные мысли. Я дерзок и свободен сказать Тебе, что красивее нас вдвоем нет ничего. Никогда не было у меня прежде этих забвений, этого праздника сердца, чтобы я мог так целиком свернуть шею уму и погасить все огни, кроме ночных поцелуев. Там в парке кружится теперь целый рой летучих светляков, и вода поет, башня задумалась, внизу и на горе — молчание, город задремал; все эти хромые, убогие, больные и нищие силой, если мучаются, то у себя, так что не видно, и не слышно, и не нужно. Осталась задумчивость розовых кустов, и шопот в полях, и гибкость в травах, и ниспадающая роса, и эта летучая гибкость в руках, стремящихся обвиться кругом Твоей талии, и непомерная, небывалая ласковая дерзость сердца.

Довольно. Прости.

Твой

[1] Дата почтового штемпеля.
[2] С 7 ноября 1902 г.

96

⟨17 (30 н. ст.) июня 1903. Бад-Наугейм⟩ [1]

Скрипка стонет под горой.
В сонном парке вечер длинный,
Вечер длинный — Лик Невинный,
Образ Девушки со мной.

Скрипки стон неутомимый
Напевает мне: живи...
Образ Девушки Любимой —
Повесть ласковой любви.

Июнь 1903.
B⟨ad⟩ N⟨auheim⟩ [2]

ФАНТАЗИЯ

Сердито волновались нивы.
Собака выла. Ветер дул.
«Ее» восторг самолюбивый
Я в этот вечер обманул.

Угрюмо шепчется болото.
Взошла угрюмая луна.
Там — в поле — бродит, плачет кто-то:
«Она»! Наверное она!

Она смутила сон мой странный —
Пусть приютит ее другой:
Надутый, глупый и румяный
Паяц в одежде голубой [3].

* * *

Ей было пятнадцать лет. Но по стуку
Сердца — Невестой быть мне могла.
Когда я, смеясь, предложил Ей руку,—
Она засмеялась и ушла.

Это было давно. С тех пор проходили
Никому не известные годы и сроки.
Мы редко встречались и мало говорили,
Но молчанья были стооки.

И зимней ночью, верен сновиденью,
Я вышел из людных и ярких зал,
Где душные маски улыбались пенью,
Где я Ее глазами жадно провожал.

И Она вышла за мной — покорная,
Сама не ведая, что будет через миг.
И видела лишь ночь городская, черная,
Как прошли и скрылись: Невеста и жених.

И в день морозный, солнечный, красный
Мы встретились в храме, в глубокой тишине.
И поняли, что годы молчанья были ясны,
И то, что свершилось,— свершилось в Вышине.

Этой повестью долгих, блаженных исканий
Полна моя душная песенная грудь.
Из этих песен создал я зданье,
А другие песни — спою когда-нибудь.

16 июня 1903.
B⟨ad⟩ N⟨auheim⟩ [4]

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ИЛИ: ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ЖИТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ! «ПОЛИТИЧЕСКИЙ» ПАМФЛЕТ, ЗАПРЕЩЕННЫЙ В РОССИИ

Эпиграф

Когда я спал,— ко мне явился дьявол
И говорит: я сделал все, что мог...

К. Бальмонт [5]

Посеял я двенадцать маков
На склоне голубой мечты.
Когда я спал — явился Яков
И молча вытащил цветы.

Меж тем, проснувшись, с длинной лейкой
Я вышел поливать цветник.
Хотя б один «листочек клейкий» [6]
Оставил пакостный старик!
Я сел в беседке, роковому
Поступку не придав цены,
Решив, однако, к мировому
Его представить седины.
Бесстыдник чуял, что последствий
Он избежать уже не мог:
Он обронил в поспешном бегстве
Изящный носовой платок —
С своей *неизгладимой* меткой...
Но все *загладить* * пожелав,
Преступник встал перед беседкой
С «корнями неизвестных трав» **.
Те травы, с моего согласья,
Он предложил мне посадить,
Прибавив:— Дочь мою, Настасью
Пришлю сегодня же полить,—
И я одобрил предложенье
Полупрезрительным кивком,
Настасья полила растенья,
Старик ушел с своим платком.
Когда взошла его крапива
(Я так и знал, хотя был строг!),
Старик, взойдя на холм, игриво
Сказал: — Я сделал все, что мог,—
И положил в карман спесиво
Изящно вышитый платок ***[8].

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] Стихотворение было написано 10 июня 1903 г. Впервые напечатано в «Литературном приложении» к «Ниве», 1907, № 3.

[3] Стихотворение было написано 12 июня 1903 г. Впервые напечатано в газете «Слово», 1908, 27 июля. Связано с воспоминаниями о «первой любви», пережитой летом 1897 г. в Бад-Наугейме, где Блок встретился с Ксенией Михайловной Садовской (1860—1925). Этим объясняется, что, посылая стихотворение Л. Д. Менделеевой, которая ревновала его к этой «тени», он поставил слова «Ее» и «Она» в иронические кавычки. В сборнике Блока «За гранью прошлых дней» (1920) стихотворение напечатано с посвящением: К.М.С.

[4] Стихотворение было впервые напечатано в газете «Слово», 1909, 31 января,— с поправкой в 8-м стихе: «Но молчанья были глубоки». Здесь в поэтическом преображении переданы обстоятельства встречи Блока с Л. Д. Менделеевой 7 ноября 1902 г. (на студенческом балу в зале Дворянского собрания), их решительного объяснения и следующей встречи (9 ноября) в Казанском соборе.

[5] См. поэму К. Бальмонта «Художник-дьявол» (гл. 6 — «Наваждение»), вошедшую в его сборник «Будем как солнце» (1903).

[6] Слова Ивана Карамазова — героя романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (книга 5, глава 3).

[7] Леонид Дмитриевич *Семенов* (1880—1917) — поэт-символист, товарищ Блока по университету. Студент-академист, придерживавшийся очень правых убеждений, после

* Следует обратить внимание на мастерскую игру слов. (Примеч. Блока.)

** Из стихотворения Леонида Семенова [7]. (Примеч. Блока.)

*** Запрещенный смысл этого стихотворения — политика любой державы. (Примеч. Блока.)

9 января 1905 г. он пережил резкий духовный перелом, отказался от веры в «доброго царя», вскоре «ушел в народ» и сблизился с сектантами, оставив литературную деятельность. В «Собрании стихотворений» Л. Семенова (СПб., 1905) цитированного Блоком стиха не обнаружено.

[8] Это шуточное стихотворение, написанное в «прутковской манере», впервые было опубликовано в Собр. соч., т. 12 (1936).

97

18 июня ‹1 июля н. ст.› ‹1903. Бад-Наугейм›

Боже мой, сколько времени я не писал Тебе. Вчера послал дурацкие стихи, а сегодня опять совсем другое. Если бы эти настроения менялись на Твоих глазах,— а так мне от себя ни тепло, ни холодно, и месяц вычеркивается из жизни. Дни молчат. Сегодня я с таким трудом отвечал на письмо Бугаеву [1], как никогда. Мыслям хорошо только около Тебя. Сегодня не было письма от Тебя, вчера было о мальчике из Подсолнечной [2]. Тебя не затащили играть в Рогачево [3]? Я, правда, начинаю путаться в письмах и должен видеть Твое Лицо. За это письмо прости и не сердись. Я не раскис, а только истомился от того, что Тебя нет, когда все кругом просит только о Тебе. Прости, Милая, Добрая, Ласковая. Я завтра напишу. Ты спрашивала, о чем разговоры с мамой. Я говорю страшно много вздору, лениво шучу и балаганю. Иногда говорим серьезно; спорим о мистических предметах очень мало. Все-таки редко говорим по-настоящему, я брожу иногда один, устаю, сплю днем. Дни так долги, как никогда, и иногда приятно проснуться часа через два — время-то и прошло!

Читаю Достоевского, Гофмана, с «Оправданием добра» [4] мало выходит путного. Самые резкие, напряженные счастливые мысли и чувства по вечерам. Окрестности надоели невыразимо. Все — в будущем. Скоро кончится это полезное времяпрепровождение (оно, впрочем, полезно для поправки здоровья). Завтра жду Твоего письма, моя Милая, моя Любимая. Отсчитываются часы и дни. И все еще долго — пожалуй, уедем 1 июля. Прости за письмо.

Твой

[1] См. примеч. 3 к письму № 94.

[2] Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 14 июня 1903 г.): «У нас интересное приключение, милый. Вчера вечером мы нашли около театра мальчишку лет одиннадцати, который собирался там ночевать. Он идет один из Подсолнечной, где жил на фабрике, домой за Рогачево. Он очень забавный, разговаривает, как взрослый. Отец его пьяница, и мир отнял их избу. Мы сейчас повезем его в Рогачево, к доктору Григорьеву, посоветоваться, что с ним делать. Он ночевал у нас, очень доволен, все рассматривает, особенно мамину живопись на балконе». (*Театр* — амбар в Боблове, в котором молодежь устраивала любительские спектакли. *Подсолнечная* — железнодорожная станция, ближайшая к Шахматову и Боблову. *Рогачево* — большое село в окрестностях Шахматова и Боблова.) Несколько позже (19 июня 1903 г.) Л. Д. Менделеева сообщила Блоку дополнительные сведения об этом мальчике: «Вчера в Рогачеве мы узнали, что наш мальчик ушел, не захотел никаких забот и помощи от доктора; он, оказывается, уж давно бродит и его все знают, нам было жаль его, такой славный мальчишка».

[3] В селе Рогачево жила молодежь (учителя, врачи, фельдшерицы), с которыми Л. Д. Менделеева поддерживала дружеские отношения. В этой среде увлекались любительским театром. Блок, как видно это из последующих писем, относился к общению Л. Д. Менделеевой с «рогачевскими» крайне ревниво.

[4] «*Оправдание добра*» — богословское сочинение Вл. Соловьева. Год спустя Блок снова пытался читать эту книгу, и снова без успеха: «...я в этом месяце силился одолеть «Оправдание добра» Вл. Соловьева и не нашел там *ничего*, кроме некоторых остроумных

формул средней глубины и непостижимой *скуки.* Хочется все делать *напротив*, на зло. Есть Вл. Соловьев и его стихи — единственное в своем роде откровение, а есть «Собр. сочин. В. С. Соловьева» — скука и проза» (письмо к Е. П. Иванову от 15 июня 1904 г.— VIII, 105—106).

98

19 июня ‹2 июля н. ст.› ‹1903. Бад-Наугейм›

Я получил Твое удивительное письмо от 14-го — длинное [1]. Боюсь, что своими письмами «заставляю» Тебя писать длинно. А Тебе лень, и Ты не отдохнула. Твои письма мне не только *всегда* интересны со всеми подробностями и мелкими фактами. Ты это знаешь. Они — главное событие дня. Я не потому хотел, чтобы Ты повторила слова любви, что не знаю или забыл Тебя. Мне тогда вдруг захотелось их слышать — еще раз. И Тебе хочется слышать их не один раз. Разве это не должно быть так? Ты придаешь иногда моим словам значение легкого упрека Тебе. Этого никогда не бывает. Этого не может быть, мне ли упрекать Тебя? Я не требую совсем, а могу только просить — разве это не ясно? Моя Сказка, не думай этого. Ты пишешь все, что надо мне, и больше, чем надо Тебе писать. Я знаю, как трудно написать без настроения и в усталости.

Когда я прочел, что Ты, может быть, будешь играть в Рогачеве, чего-то испугался. Приписке, что Ты не будешь играть, обрадовался. Но ведь все это «чему-то» и «отчего-то». Если только Тебе захочется, умоляю Тебя играть и не обращать внимания на меня. Я и сам уж больше не испугаюсь. Только, если Тебе по-настоящему захочется. Я чувствую Твое настроение по этому поводу, что «иногда вдруг захочется, а потом не можешь понять, как это могло прийти в голову».

Поездка, я чувствую, наконец, на ущербе. Осталось 10—11 дней здешнего житья. И письма мои тоже на ущербе, я пишу совсем уж скверно, потерял всю способность говорить письменно о самом важном, чувствую его также, м. б., даже еще напряженнее с приближением осени. С каждым днем ближе. То, что Ты написала о счастье приближающегося свиданья, для меня слишком хорошо. Как сказать Тебе, я не знаю: не подумай опять, что я о Тебе беспокоюсь. Так же, как Ты о себе, так и я о себе же. Боялся того, что *я* приеду слишком рано, понимаешь, *я* — и буду Тебе мешать. Только не Ты будешь это чувствовать, может быть, а я же. Но я постараюсь не мешать, м. б., это правда напрасно приходило мне в голову. Приходило в голову, что жених *лишний* перед свадьбой, понимаешь? Ну, оттого, что я, как ни хочу, мало пойму во всей мистерии Твоей девической жизни. Я писал Тебе об этом, и все еще очень недоволен собой по поводу своего мужского непонимания. Утешаюсь тем, что многие еще меньше и грубее понимают. Ах, Красота моя Несравненная, я ревную там, где нужно поклониться. Но *разве Ты хочешь, чтобы я совсем не ревновал*? Думаю, кажется, что нет. Но я знаю, как нежен возраст Твоей любви. Знаю и чувствую, что необходимо найти в себе ласковую покорность. Я найду ее. Сплетенья кос, как сплетенья самых нежных душистых весенних трав. Обвяжи мне голову косой, чтобы я лучше слышал Твои желания. Ты убьешь этим боль моего непонимания и моей грубости. Брани за каждое грубое слово, которое может быть сказано мной. Я буду чутко слушать и постараюсь все понять. А жить здесь без Тебя — очень одиноко, я в первый раз подумал об одиночестве, в прежние годы довольствовался своей особой. Пришло время Тебе учить меня, к Тебе я прислушиваюсь.

Твой

[1] Вот это письмо: «Ненаглядный мой, ты все хочешь, чтобы я написала тебе, как я люблю тебя, будто ты не знаешь или забыл меня. Ведь я все та же и так же люблю тебя,

милый, и хотела бы сказать это тебе так, чтобы ты почувствовал, но ведь ты сам знаешь, что для этого нужно особенное настроение, а у меня его давно нет, все время мне и лень, и устаю еще все от всяких пустяков, как поездка в Рогачево и т. п., еще не набрала силы, после города. И письма пишутся с трудом и не выходят, еще раз прошу тебя, милый, «не сердиться» на это! В Рогачеве вчера мы с Мусей провели почти весь день у доктора Григорьева. Они опять, конечно, устраивают спектакль и зовут меня, хотя неизвестно, что будут ставить, я еще совершенно не знаю, захочу ли я даже играть; иногда вдруг захочется, а потом не могу понять, как это могло прийти в голову.— Сейчас вдруг днем принесли почту и твое письмо, кто-то ездил в Клин.— Бедный, я так и знала, что письмо будет идти бесконечно, а я слишком знаю, что значит ждать письма хотя бы только день. Родной мой, я глазам не верю, что вы приедете так скоро, теперь, значит, меньше трех недель. Повтори, ради бога, еще раз это, такая радость!— Милый, ненаглядный мой, зачем ты пишешь всякие нехорошие вещи и про себя и про свои письма? Ведь мне же больно, ведь я же люблю, люблю тебя, голубчик мой милый, всем сердцем, всегда читаю и храню твои письма, всем сердцем переживаю их. Милый, милый, и подумать не могу, что опять, уж навсегда, мы скоро будем вместе, не нужно будет и писать за тысячи верст, а будем вместе, всегда; такое счастье. Ты только не беспокойся обо мне теперь, мой родной, я жду тебя, мне хорошо.

Твоя

Играть не буду, ведь это было отчасти чтобы убить время, а так оно и само пройдет скоро, я так рада».

99

19 июня ‹2 июля н. ст.› ‹1903. Бад-Наугейм›

Сейчас я получил вот это письмо от Мережковской [1]. *Теперь Ты можешь видеть, в какой мере ТЕБЕ [2] нечего бояться за меня.* Мне страшно не хочется комментариев, и я все-таки не могу от них воздержаться. Подробно расскажу Тебе все *не в письме.* Прежде всего письмо страшно важно не по маленькому своему тону, а потому, что *содержание* его открывает мне глаза на многое. Ответ последовал удивительно скоро (на мое короткое недавнее письмо), и из него видно, что «там» мной интересуются (!). Если *ВСЕ* [2] о Бугаеве *НЕ* [2] ложь (а, вероятно, ложь многое, по кр‹айней› мере), то — каков Бугаев! Отчего он прямо не написал мне, к чему «экивоки» и отговорки. Но пока я не узнаю лично от Бугаева всего, я не поверю [3]. Если и он с «ними» (с петербургскими мистиками) [4], то мы с Серг‹еем› Соловьевым [5] остаемся *ВДВОЕМ* [2], остальные все против. Слава богу, что это *так* уясняется, *я не боюсь ровно ничего*, потому что сердце у меня предано Тебе и в этом заострено так, *что, при случае, будет колоться.* А остаться *одному даже* в покидаемом литературном лагере мне не только не страшно, но и весело, и хорошо, и дерзостно. Господа мистики, «огорченные дисгармонией» (каково!?), очевидно, совершенно застряли в непоколебимых математических вычислениях. Я *в первый раз* увидел настоящее *дно* этого тихого омута, посыпанное безобиднейшим желтым житейским песочком (повторяю, если все это *действительно* не сплошная ложь). Что значит «дисгармония», когда я ответствен перед богом за женитьбу (что называют они женитьбой? Пошлость?) и за стихи, обращенные *к Тебе же* и взятые *из Твоей* сокровищницы? Если таков «абсолют», «с т‹очки› зр‹ения› которого» говорит г-жа Гиппиус, то я ее не поздравляю. Я ясно выразил еще весной, что я «молчу» (в отнош‹ении› мистических вопросов) и теперь *молчу еще более.* Никто из них *ничего* не поймет из *моего.* Я буду говорить *ВСЕ* [2] *Тебе* — от сердца и с сознанием полной правоты. Пойми — то, что я буду *им* говорить (редко, много по-прежнему буду молчать), будет *не все* и *не от сердца.* Они не святые, чтобы возносить мои молитвы и стихи к богу. Вот пока ничего не скажу, а Ты скажи, как Ты отнесешься к этому

«истинно мережковскому» письму. Придаешь ли Ты ему хоть то значение, которое я придаю [6]. Внешним образом, как видишь, дело не меняется (право, они бы были последовательнее, если бы сказали, что навеки извергают меня, вместо того чтобы... предлагать написать «что-нибудь» в хронику. О погоде?). *Теперь* я не отвечу на это письмо, отвечу, *сообразуясь с тем, как примешь это Ты*, и отвечу, не будучи от Тебя отделен тысячами верст. Бугаеву на его письмо, которое я послал Тебе заказным, я ответил, еще не получив письма Гиппиус [7]. Будем *говорить* с Тобой об этом подробнее, *если Ты снизойдешь до них.* Теперь же скажу, что я знал все это раньше и поразил меня Бугаев (*вероятно*, напрасно), а потом — Карташов [8], узнавший, где-то (где? у Семенова [9]? Но и Семенов не знал) Твое Имя. Так⟨им⟩ обр⟨азом⟩, я весьма *определенен* в мнении об этом и *придаю этому* для себя *значение*, но *должен узнать Твои мысли* [10]. Научи.

Т в о й, безраздельно Т в о й

[1] Приводим приложенное Блоком письмо З. Н. Гиппиус-Мережковской от 17 июня 1903 г. (из Луги): «Дорогой Александр Александрович. Ваше письмо я благополучно получила в Луге. Отвечаю вам за границу, еще успеете получить там. Как это вы забыли, что давно сообщили мне о вашей женитьбе? Еще, кажется, в начале или конце марта, в тот вечер, когда переписывали письмо. Вы не говорили мне имени вашей невесты, но сказали, что женитесь, и даже не прибавили, что это секрет, а потому я и не держала этого втайне. После Карташов сообщил мне имя вашей будущей жены. Я была в Москве и видела Бугаева, мы с ним говорили о вас и о том, что вы предлагали ему быть шафером (отец Бугаева тогда был еще жив). Но даже если б и отец был жив — думаю, Бугаев вряд ли согласился бы шаферствовать, он был очень удручен вашей женитьбой и все говорил: «Как же мне теперь относиться к его стихам?» Действительно, к вам, т. е. к стихам вашим, женитьба крайне нейдет, и мы все этой дисгармонией очень огорчены; все, кажется, даже без исключения. Вы простите, что я откидываю условности и, вместо того, что принято по-житейски говорить в таких случаях,— говорю лишь с точки зрения абсолюта. По-житейски это все, вероятно, совсем иначе, и я нисколько не сомневаюсь, что вы будете очень «счастливы». Хочу отдохнуть от непосильных забот о «Новом пути» и с жадностью сдала его приехавшему Перцову. Не знаю, что там и делается. Надо написать рецензию о «Скорпионе» и «Грифе», она на мне лежит, но я все-таки ничего не делаю, только лежу в гамаке. Отчего так скоро возвращаетесь из-за границы? В Наугейме я не была, но около Фр⟨анкфурта⟩ долго живала, там очень хорошо. Если вздумаете написать что-нибудь в хронику «Нов⟨ого⟩ пути»,— присылайте сюда, Перцов опять скоро уедет. До свиданья, поправляйтесь. Ваша З. Г и п п и у с».

[2] Подчернуто дважды.

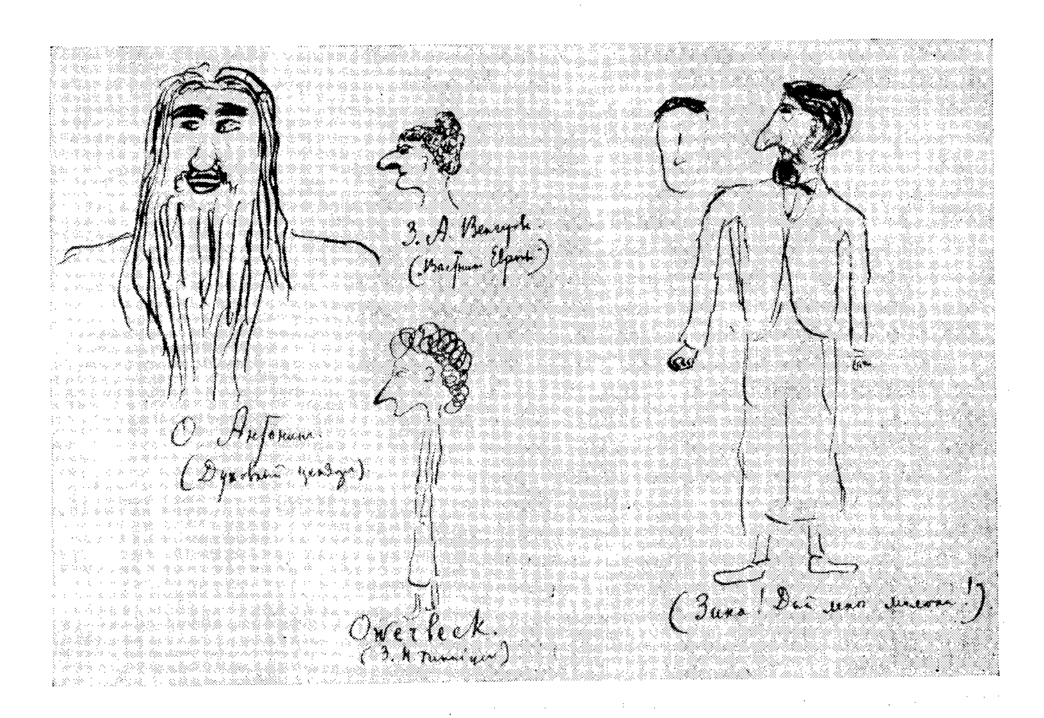
[3] В дальнейшей переписке Блока с Б. Н. Бугаевым (Андреем Белым) вопрос этот не затрагивался.

[4] То есть с Мережковскими.

[5] Сергей Михайлович *Соловьев* (1885—1942) — троюродный брат Блока (сын М. С. и О. М. Соловьевых), племянник Вл. Соловьева, ближайший друг Андрея Белого, поэт-символист, филолог и переводчик, впоследствии православный священник.

[6] В ответном письме от 26 июня 1903 г. Л. Д. Менделеева писала: «Милый, я получила письмо Гиппиус. Лучше поговорим о нем, когда приедешь, я еще и разобраться не могу хорошенько в том, что думаю о нем, одно знаю, что очень мне было неприятно, даже больше чем неприятно, когда прочла его; сбило оно совсем с толку».

[7] См. примеч. 3 к письму № 94. По поводу письма Андрея Белого Л. Д. Менделеева писала Блоку 27 июня 1903 г.: «Вот так письмо написал Бугаев! После Зинаидиного оно ведь совсем просто и понятно, он и спрашивает без «экивоков». Но *что*, *как* ты ему отвечал, вот главное! Меня это невыносимо интересует и даже мучает теперь. А письмо Бугаева мне страшно не нравится, такое не теплое, просто, пожалуй, грубое, похоже не на «Симфонию», а на его портрет». «*Симфония*» — книга Андрея Белого: «Симфония (2-я, драматическая)». М., «Скорпион», 1902.



РИСУНКИ БЛОКА С ЕГО ПОМЕТАМИ (1903?):
«О‹тец› Антонин (духовный цензор); З. А. Венгерова («Вестник Европы»); Owerbeck (З. Н. Гиппиус); ‹Мережковский›: (Зина! Дай мне молока!)»
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

[8] Антон Владимирович *Карташов* (1875—1960) — профессор Духовной академии, один из руководителей Религиозно-философского общества; в 1917 г., при Временном правительстве, был назначен обер-прокурором Синода, после Октября — эмигрант. Блок познакомился с Карташовым у Мережковских в сентябре 1902 г.

[9] Леонид Дмитриевич *Семенов* (см. о нем примеч. 7 к письму № 96).

[10] По поводу осудительного отношения З. Гиппиус к его женитьбе Блок вскоре высказался в письме к отцу (от 25 июня (8 июля) 1903 г.): «З. Н. Гиппиус... со всеми своими присными не сочувствует моей свадьбе и находит в ней «дисгармонию» со стихами. Для меня это несколько странно, потому что трудно уловить совершенно рассудочные теории, которые Мережковские неукоснительно проводят в жизнь, даже до отрицания реальности двух непреложных фактов: свадьбы и стихов (точно который-нибудь из них не реален!). Главное порицание высказывается мне за то, что я, будто бы, «не чувствую конца», что ясно вытекает (по их мнению) из моих жизненных обстоятельств» («Письма к родным», стр. 86—87).

100

20 июня ‹3 июля н. ст.› ‹1903. Бад-Наугейм›

Может быть, в эту минуту и Ты пишешь письмо. И так же, как я, думаешь, что то, что пишется, должно бы дойти до меня сейчас же. Иначе теряется очень много смысла, и совсем несвоевременно доходят до нас старые известия.

Как Ты много пишешь теперь. Если еще стоит (осталось немного времени), пиши меньше, когда Тебе трудно. Я постоянно чувствую, что Ты огорчаешься не тем, что много пишешь, а тем, как, по-Твоему, выходят Твои письма.

Наконец, Ты просишь меня, чтобы я сказал «попросту», «очень ли мне неприятно», «сержусь» ли я и что думаю о том, как Ты «мало и плохо» пишешь. Ты все не хочешь верить, думаешь, что у меня «попросту» так, а не попросту иначе. Как же мне уверить Тебя, моя Родная? Право, мне показалось утром, что опять что-то спутывается, спутывается — и не распутать. Ведь это манера или «слог», что я облекаю все мои слова в такие формы, которые Ты принимаешь за *одну* только половину — «непростую». А я между тем *всей* душой могу всегда повторить Тебе только одно: что Твои письма для меня — клад, но, что я знаю очень хорошо, что Ты ими всегда недовольна так же, как постоянно недовольна Собой. Этим недовольством Ты постоянно отравляешься, и когда пишешь письма — тоже. Я тоже постоянно недоволен собой и пишу Тебе об этом. Но Ты отравляешься как-то медленно и безнадежно, а я нагромождаю слова, готов их истребить, проклинаю свой «стиль» и все-таки посылаю. И Ты посылаешь. Слава богу, что посылаем, а то бы ничего не знали друг о друге.

Письма так устроены, что нельзя разобрать тона и звука голоса говорящего. Я уверен, что на словах мог бы убедить Тебя гораздо лучше. Ты не слышишь, как я теперь говорю с Тобой — и вообще все это время,— а я говорю-то совсем попросту, только заволакиваюсь облаками «слога», который, с одной стороны, портит Тебе впечатление (иногда), а с другой — Ты сама не хочешь, чтобы я писал иначе, потому что «слог»-то мой. Я не придумываю *ничего*, мне хочется передать быстро и непосредственно, а Ты думаешь, что я загромождаюсь образами и символами, чтобы, например, самого себя убедить, что Ты пишешь прекрасно. Это — вечная наша история, пора к ней привыкнуть нам обоим. Я так привык, что знал заранее, что так будет. Так же знаю, что Ты в эту минуту думаешь, будто я «огорчен» этим, или что-ни⟨будь⟩ такое. Право, нет. Право, если бы я был «огорчен», это было бы с моей стороны тупостью и упрямством. Я совсем не держусь за свой «слог» и готов убеждать Тебя всеми доступными мне слогами, попросту и непопросту, что Твои письма я люблю, что я им верю, что я в них вижу то, чего Ты сама в них не видишь, и вижу без выдумки, на самом деле. Опять письмо о письмах. Уж мне не хочется Тебя уверять, от Тебя зависит верить или не верить. А может быть, Ты не хочешь, чтобы я писал «Ты» с большой буквы? Мне это серьезно приходило в голову. Но, если Тебя это коробит, скажи. Может быть, это непросто или похоже на официальность (!)? Может быть, Тебе в этом чувствуется то же, что чувств⟨уется⟩, когда я целую ноги и платье? Поверь, что все это — страсть, глубокая и верная *на этот раз* черта в моем отношении к Тебе. За нее я стою, но проявления ее, которые Тебе не по сердцу, могу без всякого разочарования заменить другими. А уж какие-нибудь проявления будут — не те, так другие. Скажи об этом прямо, и я исполню. Это надо сказать прямо.

Напиши, какое впечатление произвело Шахматово? Впрочем, Ты напишешь это, м. б., раньше, чем получишь письмо. Приедешь ли Ты туда одна, без мамы? Приедешь ли, когда мы приедем? Что Ты думаешь о письме m-me Гипп⟨иус⟩ [1]? Я переслал Тебе все «важные» письма.

Мы с мамой говорим не всегда хорошо. Она ужасно боится, что Тебя не знает и что трудно узнать. Просит все меня рассказывать разные мелкие и крупные вещи о Тебе, а я все молчу о Тебе, и у меня язык не поворачивается. Ты знаешь меня, знаешь, как мама ко мне относится, потому можешь все это предположить. Я все говорю, что разговоры ни к чему не поведут, а практика покажет. Она сердится на меня, а я на нее. С моей стороны это все скверно, а все-таки *о Тебе* говорить—для меня нож вострый, даже с мамой. Потому из этих разговоров почти ничего, кроме неприятного, не выходило еще. Мы будем говорить с Тобой и об этом. Много нам надо говорить. Жара стоит невыносимая, камни жгутся. Мне часто

противно все, что вокруг. Постараюсь устроить так, чтобы эти дни прошли благополучнее. Пожалуйста, не говори ни с кем об отношении m-me Гиппиус и других ко мне. Мне как-то хочется сообщать все по этому и по другим поводам именно только Тебе. И чтобы побольше осталось среди нас двоих. Законно ли это желание?

Голубушка моя Розовая, напиши обо всем этом. Только, когда жарко, лень, устала, не хочется, пиши меньше или пропускай один день. Поздно я говорю Тебе об этом. Но может случиться, что маму задержат ванны еще на несколько дней — немного (2—3). Я еще совсем не могу точно определить дня выезда, но, во всяк<ом> случ<ае>, *гораздо* раньше, чем предполагалось. Не имей в сердце ничего против меня. Милая, Ласковая моя Красавица.

Твой

[1] См. примеч. 1 к письму № 99.

101

Вечер 21 июня <(4 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм>

Какой я буду [1]? Влюбленный, восхищенный. Если нужно будет привыкать, ничего. В чем же Ты могла измениться? Измениться так, что мне надо сызнова привыкать? Я верю в Тебя — а Ты в меня? Сейчас с мамой вышел первый хороший разговор — о Тебе, о будущей зиме. Для нее он, вероятно, прибавил хорошего. Для меня — не много, главное потому, что я в ту же минуту начал невыносимо беспокоиться. Если в одном месте хорошо, в другом часто плохо, Ты знаешь это, так бывало и в эту зиму. Напиши, не было ли чего-нибудь неприятного 21 июня (суббота) вечером?

Крайний срок нашего отъезда отсюда — среда 2 июля. Значит — 4-го в Петерб<урге>, 6-го или 7-го — в Шахматове. Долго, бесконечно.

Я не хочу, чтобы Твое письмо, хоть одно пропало здесь. Значит, пиши так, чтобы я получил последнее письмо не позже 1 июля, т. е. пошли его *не позже* 28-го (а пишешь Ты накануне — значит 27). Если Ты можешь, напиши в Петербург к 4-му июля несколько слов, а то я буду без конца без писем.

Милая, Ненаглядная, пиши меньше, Ты все время пишешь много, Тебе трудно. Мне только бы знать, не случилось ли чего-нибудь? Если Ты в апатичном и вялом настроении, я хочу вдохнуть в Тебя все мои беспокойные и страстные чувства этой минуты. Их столько, что я лучше буду молчать сегодня.

Прости.

Твой

Нет, лучше чтобы не так мало было, напишу «факты». Здесь Писарев [2], устраивает вечер в пользу недостаточн<ых> студентов. Нас, конечно, притянули. Вечер будет в субботу 28-го (11 июля n. st.), я, мож<ет> быть, пойду слушать, как нынче либеральничают. А сегодня — 4 июля нов<ого> ст<иля> — Американская независимость [3], — я надеюсь на фейерверк поздним вечером, он помогает и развлекает. Завтра приедут какие-то «Sänger» * из Франкфурта, им настроили по дороге уродливых декораций с надписью Willkomm ** — и относительно Wein, Weib und Gesang ***. Все это ощутительно мизерно и убого, плохо действует на эстетические чувства. Черт с ними, буду их смотреть!

---

* Певцы (*нем.*).
** Привет (*нем.*).
*** Вина, женщин и песен (*нем.*).

Весело, беспокойно, некуда деваться, все мысли о Тебе, о Тебе, о Тебе, Милая, Дивная, Несказанная.

Твой

[1] Блок отвечает на письмо Л. Д. Менделеевой от 17 июня 1903 г.: «Мне иногда интересно очень, как мы встретимся; ведь мы успеем совершенно отвыкнуть друг от друга. Уж и весной, когда мы не виделись дня четыре, и то было очень заметно, нужно было привыкать опять, мне по крайней мере. А теперь-то, после шести недель. Да я уж и по письмам чувствую, что ты меняешься, будешь другой, а вот какой? Да и я буду не такая, как была...».

[2] Модест Иванович *Писарев* (1844—1905) — известный драматический актер; с 1885 г. состоял в труппе петербургского Александринского театра.

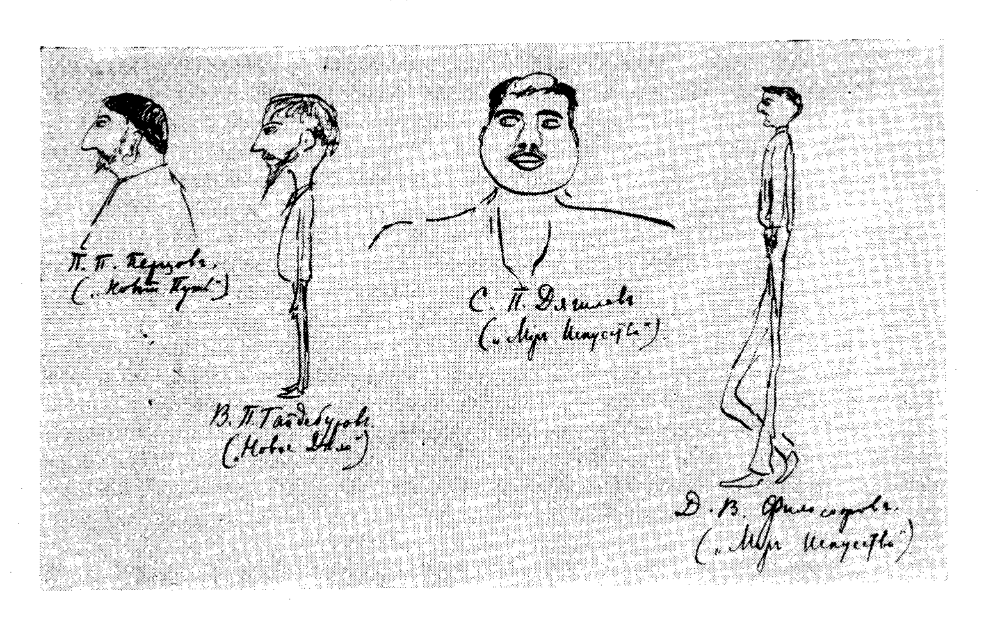
[3] Национальный праздник Соединенных Штатов Америки — в память 4 июля 1776 г., когда Конгресс принял «Декларацию независимости» и провозгласил образование США в качестве самостоятельного государства.

102

22-го утром ⟨июня (5 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм⟩

Я знаю очень хорошо, что это письмо я пишу поздно и Тебе будет неприятно. Но я рассчитываю только на то, что Ты примешь его так, как мне необходимо, чтобы Ты приняла. Я сейчас получил письмо о спектаклях [1]. Я бы все сделал, чтобы не чувствовать того, что чувствую. И даже не знаю, с чего начать.

Наше венчание в августе. *Весь* июль (я стою на том, что *весь*, потому что одним спектаклем не ограничится, а если и ограничится, то будут разговоры без конца) — будет набит этими изобретениями Над⟨ежды⟩ Яковл⟨евны⟩ [2]. Нам с Тобой *нужно* говорить, *нужно* быть одним, *необходимо в это лето* не отвлекаться. Я знаю, что́ это будет, это пойдет дальше «увеселений», совершенно чуждые люди будут все время обращать внимание на то, что мы — Невеста и жених. Что у Над⟨ежды⟩ Яковл⟨евны⟩ в голове? Неужели она не *понимает*, что она делает? Заставляет *Тебя* играть старуху Бальзаминову! Меня самого совершенно к черту, я себе сам противен до последней степени в эту минуту, потому что чувствую, что случись мне разговаривать с Над⟨еждой⟩ Яковл⟨евной⟩ сейчас, я бы наговорил ей черт знает чего. Я *могу* играть купца, лавочника, вихрастого либерального идиота, решительно все равно, но заранее знаю, что не произнесу ни одного слова как следует, буду все время не обращать ни малейшего внимания ни на что и ни на кого, кроме Тебя, буду страшно мучиться тем, что *Тебя* разглядывают, о *Тебе* говорят пьяные мужики и рогачевская кампания [3]. Ради бога, прости меня за все это, я против рогачевских не имею решительно ничего в принципе, но я еще в прошлом году готов был разорвать их всех на клочки за одно то, что они любезны с Тобой. Прости, я от всего этого отвлекусь на минуту, чтобы сказать Тебе, что теперь у меня совсем дикая полоса, я сам одичал до того, что мне и здесь невыносимо разговаривать с чужими, кроме того, я сам не знаю, как только протянуть это лето, как мне насмотреться на тебя *одному*, а тут еще все эти истории. Тебе *не должно быть неприятно*, что я в Одной Тебе поместил все мое существование, что я до дерзости предан Тебе весь с головой, что я с невыразимой болью чувствую все время вокруг Тебя толпу чужих людей (я ведь не говорю о твоих близких). Мне в прошлом году было, может быть, меньше ужасно видеть, как Тебя окружили в Рогачеве все эти люди, которых я сию минуту готов только за одно это оскорблять. Смешно? А мне не смешно. Я глуп, невыносим, по всей вероятности, в эту минуту, но я не могу не сказать всего этого. Одно оправдание, что я совер-



РИСУНКИ БЛОКА С ЕГО ПОМЕТАМИ (1903?):
«П. П. Перцов («Новый путь»), В. П. Гайдебуров («Новое дело»), С. П. Дягилев («Мир искусства»), Д. В. Философов («Мир искусства»)»
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

шенно несчастен в эту минуту, и ничего в себе не раздул, все осталось, как было, когда я получил письмо. Я хотел ждать с ответом, но ничего все равно не выйдет, я иначе не почувствую. Неужели Ты не видишь, что для меня все остальное, кроме Тебя, все равно, хоть мир провалится, хоть светопреставление наступит. Еще вот откуда можно посмотреть: разве нам вся эта кутерьма *напомнит* прежние спектакли? *Нет*, я говорю, определенно и уверенно, что нет. Хоть бы *переждать* это время (это лето), остаться *с Тобой вдвоем перед самой свадьбой*, не отвлекаться. Нам говорить нужно без конца, все силы уйдут на Над⟨ежду⟩ Яковл⟨евну⟩. Я лучше об ней писать не буду. И больше вообще писать не буду.

Только одно может заставить меня на все это пойти. Твое спокойное и твердое решение. Скажи, что это ничего не испортит и не спутает. Скажи, *что Ты этого хочешь*, что все, что я говорю,— эгоизм, капризы, выдумки, жестокость. Я *сейчас же* все эти мысли брошу. Я буду играть все, что хочешь, что *Ты велишь* мне, но играть так, что Над⟨ежда⟩ Яковл⟨евна⟩ упадет в обморок. Я знаю неуклонно, что мне до игры не будет никакого дела, решительно никакого и *ни до чего*, кроме Тебя. *Разрываться НЕ БУДУ* [4], буду около Тебя, пусть все, что хотят делают, я от Тебя не уйду, если будут над этим издеваться, не уступлю и наговорю больше, чем можно. Прими все *только* так: все зависит от Тебя. Вели — и я буду играть. Я себя даже убедить постараюсь, что к этому отнестись надо *легче*. А теперь не могу, упорно не могу. А это проклятое письмо придет только на четвертый день.

Но, если Ты откажешься в ущерб Себе, мне будет гораздо хуже, чем теперь. Не оставь ничего недоговоренного. Пусть, кто хочет, думает, что я паясничаю, мне все равно. Я Твой безраздельно. Не сердись на меня, я повторяю, что Тебе не должна быть неприятна моя *РЕВНОСТЬ* [4]. Больше в жизни этих месяцев *НЕ ПОВТОРИТСЯ* [4] (до свадьбы), разве они для народных гуляний? Прости, прости, прости.

Твой.

[1] Л. Д. Менделеева писала Блоку (почтовый штемпель 19 июня 1903 г.): «Известия этого письма тебе не очень понравятся, я думаю. Над⟨ежда⟩ Яков⟨левна⟩ устраивает опять «folle jorne» и спектакль, набрала себе актеров на фабрике и у Егоровых, даже Мусю уговорила играть, придется и нам с тобой; идет «Праздничный сон до обеда», я буду играть старуху Бальзаминову, а тебя умоляют сыграть купца Неуеденова, роль не очень большая; ждать вашего приезда будут во всяком случае, и, пожалуй, тебе придется согласиться участвовать, Н⟨адежда⟩ Я⟨ковлевна⟩ уверяет, что все спрашивают, будешь ли ты, и будут разочарованы, если нет. Я ведь играю тоже, конечно, только чтобы не «подвести» и после долгих упрашиваний; а пока это займет время, и отлично: ведь и две с половиной недели это еще невыносимо долго, правда? Сегодня мы опять едем в Рогачево, навестить нашего мальчишку, отвезти докторам программу гулянья, она уже готова, и каких только чудес там не наобещали, везу им и «Новый путь», они очень им интересуются из-за рел⟨игиозно⟩-фил⟨ософских⟩ собраний⟨...⟩ А вдруг я буду играть и в Рогачеве — ты ничего, не очень это будет тебе не нравиться? А мне хочется наполнить чем-нибудь время, а то ничего не делается, даже читать не интересно. Нехорошие я вещи написала, милый, все тебе не нравится? Правда? Ответь, если еще успеешь, до приезда!» (*Муся* — младшая сестра Л. Д. Менделеевой. «*Праздничный сон до обеда*» — комедия А. Н. Островского).

[2] *Надежда Яковлевна* — Губкина (1855—1922), племянница Д. И. Менделеева и его биограф, автор ряда беллетристических произведений.

[3] См. примеч. 3 к письму № 97.

[4] Подчеркнуто дважды.

103

22 вечером ⟨июня (5 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм⟩

Наверно, мое утреннее письмо произведет на Тебя ужасное впечатление. Ты рассердишься, может быть. Я не могу иначе смотреть до сих пор. Ты знаешь, чего мне жаль. Того, что самые драгоценные уединенные задумчивые минуты пропадут бесследно среди суетни. Ведь, если Ты соглашалась, то думала, что иначе «подведешь». Право, если бы это одно, то нельзя было соглашаться. Ты не представляешь себе всего этого, не представляешь, что в единственное и самое важное время жизни невозможно, до боли невозможно так отвлекаться. И для чего? Для того, чтобы играть безобразную старуху.

Я говорю, что я невыносим. Но я прав в одном: нельзя, чтобы это лето было так разбито. Все, что теперь предполагается, можно тысячу раз исполнить. Но теперь, теперь? Я знаю, что мне легче писать все это одному, здесь, когда меня не трогают, но Тебе гораздо труднее. Я знаю, что ставлю Тебя в неопределенное и тяжелое положение. Может быть, будут смеяться, и Тебе будет это неприятно. Мало что вообще. Но я говорю Тебе: не одна моя ревность виновата в этом. Если бы один я, так можно было бы меня усмирить и из меня все это «изгнать» (*только* от *Тебя* я перенес бы это). Но здесь не я один. Я знаю, наверное знаю, что это убьет драгоценные часы, может быть, потом Ты сама об этом вспомнишь. Я тысячу раз виноват, что говорю все это так поздно и такими гадкими словами. Что же мне делать; скажи, что все это ничего, и Ты не раскаешься. Мало того, что все это должно быть так, *убеди* меня силой Твоей мудрости. А *я сам* не убежусь никогда. Тебе в руки дана власть надо мной. Зачем же Ты не приказываешь, а пишешь таким тоном, точно неуверенным, колеблющимся, что, «пожалуй», придется согласиться? Если *надо* наверное, по-Твоему, если *для Тебя* это ничего, или приятно, или нельзя отказаться (последнего *не может быть*), говори прямо, что я должен и дело с концом. Но повторяю Тебе, если Ты теперь откажешься, не считая этого нужным, а только из-за меня, то это будет хуже. Я с трудом говорю о Тебе *с мамой.* Как же я буду говорить о Тебе с рогачевским учителем? Как же мне упоминать Твое имя человеку, которого я легче задушу своими руками. Прости за «силь-

ные выражения». Но, я повторяю снова, Ты должна чувствовать, что *теперь, до свадьбы*, в эти минуты, которые *никогда не повторятся*, я ревную Тебя к ветру и воздуху, не только к людям, *всем без исключения более или менее*. Дай мне остыть, остыть не в любви, которая вечна, а в ревности, которая чрезмерна, но *не смешна*, потому что от нее у меня все внутри дрожит и трепещет. Вот она — та ревность, которой *Ты хотела. Ты хочешь ее*, в ней много сильного и *угодного для будущего*. И она колет всех, не входящих в *наш* круг, состоящий из *нас двух*. Ведь 5 лет это чувство росло, часто со страшной болью. Пощади. Почувствуй его, почувствуй, что Ты его хочешь,— и Тебе будет легче встать на мою точку зрения. *Почувствуй*, что в нынешнее, теперешнее время *можно* и *должно* допускать Тебя, *ПОТОМ* [1] (меньше) меня, *потом — никого*. Я торжественно и твердо отрекаюсь на это время от всяких «глубоких» отношений, *все* опостылели и осточертели: «Новые пути», старые пути, Скорпионы [2], хорошие знакомые, друзья и пр. и пр. и пр. *Я с Тобой*, облекись же, ради бога, в свою белую, несуетную ризу, и так, все это время, я внутренно простою перед Тобой на коленях. Я глубоко верю, что Ты поймешь меня, но придашь ли Ты этому значение, помимо моей страсти, доведшей меня до этой бешеной ревности. Это так сильно, что не мож<ет> быть пошло. Так *не зависит от меня*, что, *наверное*, имеет долю *правды*. Я старался передумать со всех точек, и только еще больше «нравственно зачахнул» от того, что предстоит. Гулянья повторятся, а эта минута не повторится. Это самое главное и непреложное. Тысячную часть того, что во мне, пишу Тебе. Ведь я же «без ума», я же сумасшедший, разве Ты не слышишь? Ведь Тебя же влечет ко мне, потому что я весь — одна страсть, одно безмерное, вылившееся из границ чувство. Прими меня так, как теперь, Ты в этом не раскаешься. Господи, если бы я все это мог сказать Тебе сейчас! Что я делаю! А иначе не могу. Прости и услышь, и пойми, пойми, пойми, Ненаглядная, что я не жесток, не требую, что это *не всегда так будет*,— но *теперь, теперь*, в эти летние ночи, в это безумное время. Ненаглядная, Божественная, прости, не сердись, не негодуй, делай как по-Твоему нужно, так, чтобы после не упрекать меня. Тебе самой будет от этого тяжеле. Ненаглядная, Солнце мое, прости.

Твой

[1] Подчеркнуто дважды.

[2] Имеются в виду писатели-символисты, группировавшиеся вокруг московского издательства «Скорпион».

104

22 июня вечером (5 июля н. ст.) <1903. Бад-Наугейм>

Сегодня — 3-е письмо.

Я приду, схвачу Тебя за руки и никуда не отпущу. Посмотрю Тебе прямо в глаза, и Ты все, все, все поймешь. Откажись, я говорю. Мне весело. Тебе тоже будет весело. Весело оттого, что я Тебя люблю. Побудь со мной наедине.

Сладким вином на прощанье —
Кипрским вином напою!
Выпьем за наше свиданье,
Выпьем за удаль мою [1].

Это старый романс. Ты пой мне романсы, я их больше всего люблю. Я простой, простой. Тут только одно лишнее — «на прощанье». Я прощаться не хочу, и Ты тоже. Если Тебе лень, я Тебя расшевелю. Помучился — и будет. Обнимаю Твою талию, целую Твои губы, прямо.

Твой

Анна Ивановна и Дмитрій Ивановичъ Менделѣевы

имѣютъ честь извѣстить Васъ о бракосочетаніи дочери ихъ

Любови Дмитріевны съ Александромъ Александро-

вичемъ Блокомъ,

имѣющемъ состояться въ воскресенье 17 Августа 1903 года въ при-

ходской церкви имѣнія Шахматова Моск. губерніи Клинскаго уѣзда.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СВАДЬБЕ БЛОКА И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ 17 АВГУСТА 1903 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

[1] Неточная цитата из стихотворения Н. Ф. Щербины «Сила песни», вошедшего в романсный репертуар.

105

23 утром ‹июня (6 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм›

Сейчас я получил Твое письмо от 19-го, где сказано, что Тебе опять не хочется играть [1]. В этом все дело, что Ты неопределенна и уступчива. Если не очень хочется, то, ради бога, откажись. Я уверен, что это лучше. Свали все на меня одного (это так и есть), если Тебе не «стыдно», что я такой. Но только не соглашайся, потому что, если рассуждать о том, что «подведешь», и *из-за этого* играть, то *мы* потеряем, а это поважнее. Потеряем, если не так много времени, то больше, чем можно,— понимаешь чего? (нет слова). Над‹ежда› Яковл‹евна› могла бы и сама об этом догадаться,— что теперь не время. Кроме того, прости, она выказала, главное, поразительное безвкусие и грубость, заставив Тебя играть старуху Бальзаминову. По-моему, это — *выше меры*, за это я на нее до сих пор злюсь страшно. Наверное, Твоя мама найдет это безвкусным так же, как я; Ты, если хочешь, спроси ее об этом. Я знаю, как трудно отказаться, но, по-моему, если Тебе так неопределенно — то хочется, то не хочется — то лучше отказаться теперь, чем потом. Эта роль тебя не удовлетворит, тебе станет скоро лень, такой спектакль нам ничего не напомнит. Что в Рогачеве ничего не устраивается, по правде сказать, меня больше чем радует. Пускай Над‹ежда› Яковл‹евна› достает себе актрису хоть оттуда, наверное кто-нибудь да найдется, она уж теперь из упрямства и «по традиции» требует Тебя и не догадывается, что произошло нечто *совсем новое*, и об этом тоже следует подумать. И все это с подкладкой легкомысленного народолюбства, Ты знаешь эту ее черту, и мама знает, даже при мне смеялась над ее изобретениями в таком роде.

Знаю, что пишу Тебе рискованные письма. Но я пишу, совсем все до-

Александра Андреевна Кублицкая-Піоттухъ
имѣетъ честь извѣстить Васъ о бракосочетаніи сына ея
Александра Александровича Блока съ Любовью
Дмитріевной Менделѣевой,
имѣющемъ состояться въ воскресенье 17 Августа 1903 года въ приходской церкви имѣнія Шахматова, Моск. губерніи Клинскаго уѣзда

ИЗВЕЩЕНИЕ О СВАДЬБЕ БЛОКА И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ 17 АВГУСТА 1903 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

говаривая, не оставляя ничего. По-моему, так. Если Тебе ни в каком случае не удастся отказаться (хотя, ведь все дело в том, как кто отнесется), то напиши, уж теперь в Петербург, вероятно. Мы уезжаем наверное во вторник 1 июля, значит последнее письмо от Тебя может быть от 26-го июня (пойдет 27-го), в крайнем случае — от 27-го (пойдет 28-го). В Петербурге 3-го.

Мне страшно интересно, что Ты видела в Шахматове и понравилось ли Тебе там [2]. Я считаю дни и часы, иногда совсем вне себя, чтобы видеть Тебя скорее. Теперь уж и утром, и днем, и вечером.

Находит ли все-таки мама, что Тебе надо играть? Чувствуешь ли Ты, Милая, Дорогая моя, определенно, после моих писем, что лучше не играть? Ты понимаешь, Милая, что я рад бы не говорить этого,— может быть, из-за пустой вещи даже. Но мне кажется, что здесь много правды, что даже эта пустая вещь может напутать.

Если бы Ты приехала [3], когда мы приедем! Понимаешь, почему я хочу? Потому что мы останемся совсем одни, можем уйти и пропасть. Мне так необходимо это — быть вдвоем с Тобой — хочу этого упрямо, страстно, ревниво, Милая, Милая.

Твой

[1] Л. Д. Менделеева писала 19 июня 1903 г.: «Спектакля там ⟨в Рогачеве⟩ не устраивается, да теперь мне опять уж не хочется играть ни там, ни у нас, но у нас-то придется».

[2] В письме от 20 июня 1903 г. Л. Д. Менделеева излагала свои впечатления от поездки в Шахматово: «Были вчера в Шахматове, уж лучше не буду писать о том, как мне оно понравилось, ты сам можешь себе представить, ты знаешь его. Я только удивляюсь, как ты мало про него рассказывал и как мог хотеть уехать из него куда-то в деревню или Вологодскую губ⟨ернию⟩. Мы были не очень долго и ходили немного, так что я мало еще видела и мне ужасно хочется поехать еще раз и побродить везде. Убирали сено...»

[3] В Шахматово. Л. Д. Менделеева писала Блоку 19 июня 1903 г.: «Ты все спрашиваешь, приеду ли я в день вашего приезда; я думаю, да, если не помешает что-нибудь...». Как видно из дальнейших писем, мать Л. Д. Менделеевой сочла поездку невесты к жениху поступком неблаговидным.

106

23-его вечером ‹июня (6 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм›

Мне хочется, чтобы Тебе не было тяжело от моих писем. Чтобы не было досады на меня за то, что я хочу расстроить то, что уже наладилось и пошло своим чередом. У Тебя бывают настроения, когда Ты досадуешь на меня, по крайней мере — были. О теперешнем я лучше даже не буду говорить; Ты сама сказала, что переменилась опять с тех пор, как мы расстались, потому я не загадываю. А еще потому, что Ты уже не можешь ответить мне на это и следующие письма иначе, как в Петербург разве.

У меня бывают совсем новые и странные мне самому мысли — хорошие. Я не скажу какие, очень долго и не выйдет — лучше Ты сама разбери, в чем мои перемены. А они есть. И именно Твое влияние я чувствую во всей силе. Какое хорошее и свежее! Мне уж хочется так попроще сказать, чтобы опять не уйти в слова, которыми все равно ничего не скажешь.

Мне бы хотелось сказать Тебе сейчас что-нибудь совсем необыкновенное, да не выйдет. И, что не выйдет, мне даже ничего, а Ты, если хочешь, сама почувствуй, какая у меня дума. Не то чтобы определенное что-нибудь, а так — вообще хорошо. Мне только кажется, что Тебе не совсем хорошо иногда бывает. Лень, от лени устаешь, а та лень, которая недавно нравилась (когда Ты бродила в полях и лежала в траве),— перестала нравиться. Собой не очень довольна.

Долго как еще нам не видеться. Около двух недель. Хоть бы как-нибудь дошла до Тебя моя дума. Как-нибудь из Шахматова, где Ты была 19-го. Только бы побыть с Тобой вдвоем и выспросить у Тебя побольше. Милая, Милая, Милая. Я ужасно Т в о й

107

24-ого утром ‹июня (7 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм›

Милая, как я рад, что Тебе понравилось Шахматово [1]. Я не рассказывал о нем, потому что всегда мало ценишь то, к чему привык. А как вспомнишь, так кажется теперь, что нет лучше места, где б нам с Тобой жить. Единственно не совсем приятно, что на будущее лето там могут оказаться Кублицкие [2] (не на все лето), но мы можем (и умеем) вполне эмансипироваться от них. Ты видишь по моим письмам и по всему моему тону, что я страстно хочу нашей отдельной жизни и ревную Тебя ко всякой другой. Страстно хочу, чтобы нам удалось теперь, когда я вернусь, бродить по Шахматову вдвоем, главное вдвоем, пропадать надолго, не попадаться на глаза никому. Все Шахматово создано для этого, окружено лесом, холмисто, долинно, прохладно. Ничего нет лучше. Хочешь? Я даже хочу в первый же день, потому и прошу Тебя приехать. Это такое сильное желание, такая безумная тоска о Тебе Одной, такая дикость ко всему другому, что, право, может быть хоть некоторым оправданием всего, что я писал. Вчера вечером я опять думал о том, что предстоит делать просто фактически перед свадьбой, и решительно убедился, что я неспособен и думать о спектакле, до того много надо обсуждать, представлять себе. И, если я об этом буду думать, будет только необыкновенно хорошо, если же пойдут развлечения,

то я буду бросаться из стороны в сторону и ничего, как следует, сделано не будет. Да я и шагу ступить не сумею ни в чем, что не касается Тебя прямо, такое острое, томительно ревнивое время. Я пишу все — «ревность». Это правда, я наконец нашел окончательно это слово и стою за него. Ты должна быть втайне и явно *не недовольна* им, мне так чувствуется. Ты и прежде этого хотела и сама от этого страдала. Мне нет дела до Зинаиды Гиппиус и проч⟨их⟩, вообще к делам, не касающимся нашей свадьбы, приходится принуждать себя (напр⟨имер⟩, к более или менее покорному сиденью в Наугейме, даже, хотя это касается мамы). К черту все, пока я не увижу Тебя Одну, не услышу Твоего голоса отдельно от других, не буду свободен от всяких других отношений. Ужасно я одичал, Ты не можешь себе представить, часто трудно выговаривать слова, по вечерам хочется спрятаться в парке. Все Ты, все Ты, и больше ничего на уме. Надо думать, что 6-го июля утром мы приедем в Шахматово (отсюда — 1-го, в Петерб⟨ург⟩ — 3-го, из Петерб⟨урга⟩ — 5-го). Я уж и писать разучился (если писал лучше), и все как-то «сводится на нет», все дела и дни проходят, как посторонние и досадные, также и слова. Терпенья уж мало. Милая, Ты чувствуешь все это во мне?

Т в о й

[1] См. примеч. 2 к письму № 105.

[2] Семья тетки Блока — С. А. Кублицкой-Пиоттух (см. примеч. 2 к письму № 40).

108

24-ого вечером ⟨июня (7 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм⟩

Около нас есть маленький городок Фридберг. Я там сегодня провел уже второй день. Там две замечательные вещи: собор и дворец нашей нынешней императрицы (когда она была просто Алисой Гессенской). Собор строго готический, весь упирается в небо своими острыми верхушками. Под крышей выглядывают безобразные существа полузвери (как на Notre Dame) [1]. Окна узкие, длинные, точно растянулись в постоянном бегстве к небу и так застыли, испещренные тончайшей и сложной канвой узоров. Между двумя башнями приютилась маленькая Богородица с Младенцем, протестантски некрасивая статуя. Двери окованы так крепко, точно для того, чтобы не выпустить мирян из мрака Лютеровой религии. Красота всего здания совсем исключает многие из евангельских текстов, а небо как раз серое, и ходит упрямый ветер. Такой страшный Божий Дом. Когда от него пойдешь по главной улице с домами, крытыми черно-красной черепицей, открывается вид на древний «кремль», окруженный рвом. Главная башня (самая высокая из окрестных) окружена приземистыми стенами и круглыми короткими башнями в трещинках, с окнами для всяких «лыцарских пищалей» (дрянью же они стреляли!). Единственный мост через ров; на нем наверное визжали ворота, часовой кричал и стучал алебардой, под своды въезжали неуклюжие, закупоренные в латы всадники, густобровые, рыжеусые, герольды в беретах — все пришпиленные к лошадям тяжестью одежд. Потом все опять затворялось ржавыми ключами и наверху загорался сторожевой огонь.— Внутри кремля (ведь он был один сначала, а позже подбежал к нему пестренький городок) — все те же башни с бойницами, толща стен, дворец новейшей постройки. Латинские надписи на воротах, на фонтане, кое-где гербы, памятник какому-то, очевидно, недавнему придворному музыканту или композитору,— ничего очень интересного. Сквозь маленькую дверку можно пройти в королевский (или герцогский) сад. Там-то я и застрял. Сад небольшой и разбит совсем особенно — вверху и внизу. Кругом — верхняя дорожка на высоте стенных

зубцов, а в середине — глубокая лощина с дорожками и старыми деревьями, увитыми плющем. Сначала идешь, будто крадешься, по узкой дорожке вдоль стены, там темно и холодно понурым розам и георгинам. Потом — поворот — и внезапный вид на огромную Гессенскую равнину, на обилие земных соков и культурных ухищрений немцев. Под стеной (весь сад на стенах) бежит железная дорога. Дальше — все оттенки дали — от ярко-зеленого — до туманно-синего, на горизонтах — горы. У самого края стены — выступы и беседки из деревьев, и последняя как венец сада, угрюмая, высокая, почти ужасная, выстроенная из толстых неочищенных древесных стволов — серых и узловатых, точно умерших только тогда, когда уже образовалась из них стена. И в беседке — такие же громадные кресла и стол, на которых подобало бы сидеть трехаршинному сюзерену с толстоногим позолоченным кубком. Это не все еще. Главное меня поразила и как-то уколола одна аллея из стриженых лип, образующих длинную, сплошь замкнутую вверху галерею. И среди лета — настоящая осень, вся аллея шумит от желтого листа под ногой. С одного боку — обрыв в среднюю лощину, плющ завил стволы сплошь. С другого — мелькает вид на равнину, но чаще кажется, что все кончается сейчас же за обрывом стены, заросшей кустами. Кое-где ютятся холеные, холодные розы, опять розы и георгины, усталые от ветра и здешней осени. Если выбрать минуту полного одиночества и взглянуть вдоль аллеи (она прямая, французского типа),— все ждешь узорного пажа, который бежит шаловливо, вприпрыжку, и напрасно разыскивает «ее и его» — местную владелицу замка и заезжего остроумного рыцаря (остроумного, когда ему удалось, наконец, стащить доспехи). Где они? Не разберешь, не поймет и тот, кто знает сад, кто сам провел здесь ночь с возлюбленной. Такой уют, несмотря на угрюмость стен, весь сад пропащий (оттого, что там можно пропасть и, надеюсь, не раз пропадали легкомысленно-нарядные пары. А старый граф качал только головой, а поделать ничего не мог,— да и не хотел). И на долю пажей кое-что перепадало, наверное (хоть бы поцелуй короткий и томный, чтобы зажать рот красивому мальчишке), и «наперсницам» бросали кошельки. Все было просто и страстно-интимно, потому что за стеной кончалась жизнь — и начиналась только в следующем таком же замке, непременно вокруг башни, не переходя за границу стен, на равнину. Как заскрипят ворота и гости уедут,— все опять тихо. Все думают: владелец, его дочь и вино в подвалах — каждый заветно и без огласки.— Когда сам ходишь там, все это приходит в голову непосредственно, ждешь подслушать древнюю клятву в верности, застрявшую в рыхлой стене, ждешь увидеть на дорожке розу такую же сырую от росы и свежую, как она была, когда упала с квадратного выреза толстого негнущегося платья. Хоть давнишнее, а живое. А главное, я представил себе, как ты идешь со мной рядом и как мы могли бы прожить на стене в саду целое лето, отделившись от всех. Потому я и заметил все это, что представил Тебя Одну со мной. Там хорошо, наверное, в горячую ночь после знойного дня. Мы бы вышли оттуда одичалые и сильные — после такого лета. Но это так, потому что я был там, а не в другом месте. Думаю, что мы и при других условиях можем одичать. Хочешь одичать? Я страстно хочу, хочу, чтобы было поменьше мыслей и ума — и никого, кроме нас [2].

Я писал Тебе на этих днях все отвратительные письма. Ты сердишься, негодуешь, досадуешь — не знаю. Но знаю, что я готов похищать Тебя, чтобы быть с Тобой вдвоем. Это преследует меня и кружится, кружится до головокружения, до полета. Теперь — одни, одни, одни, почаще, побольше, подольше, потом — все будет видно. Дивная Ты, Красавица, Ты у меня стащила рассудок, бросила его со стены, вот и останься со мной вдвоем.

Твой

[1] Собор Парижской богоматери.

[2] Свои впечатления о замке Фридберга Блок изложил также в наброске «Девушка розовой двери», датированном 10 июня 1903 г. (см. ЗК, 48—50). Из этого наброска впоследствии выросла вторая часть статьи Блока «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (ноябрь 1906 г.). См. стихотворение Блока «Влюбленность» (1905), тоже навеянное пейзажем Фридберга.

109

25 июня ⟨8 июля н. ст. 1903. Бад-Наугейм⟩

Сегодня нет от Тебя письма, моя Радость, потому что в воскресенье 22-го Ты не могла послать. Может быть, завтра и я пропущу день, потому что завтрашнее письмо должно опять прийти в воскресенье — 29-го. Кроме того, я тогда пропущу хоть один день, чтобы Ты не получила запоздалых на 9 дней слов, мож⟨ет⟩ быть, о том, о чем Ты уже давно писала. Я чувствую себя точно в тюрьме от необходимости подчиниться этой медленности получения писем, а теперь особенно, потому что забросал Тебя письмами, требующими решения вопросов — и долго еще ничего не узнаю.

О постороннем не хочется писать. Я изобретаю средства провести время, хожу далеко, курю сигары,— а толку мало. Кажется, скоро с той же целью уеду во Франкфурт и поброжу там — это недалеко. В Петербурге, кажется, к нашему приезду (3 июля) будут готовы наши с Тобой комнаты, и я могу хоть приблизительно их устроить. Главный ремонт (переделка кухни) еще не будет готов долго (т. е., к нашему-то приезду в августе, будет).

Я нарочно пишу вяло. Теперь время идет бесконечно, но скоро пойдет очень быстро, и я, рассчитывая на это, совсем исключаю возможность посторонних занятий, как спектакли. Кроме того, Ты знаешь, почему я не хотел бы играть. Чаще всего мне представляется это справедливым, реже я думаю, что Тебе втайне хочется играть и, может быть, отвлечься, и Ты не знаешь, что делать.

Это письмо Ты получишь уж после того, как ответишь, потому я лучше не буду писать об этом. Утешаюсь тем, что есть положения лучше моего, и я сам скоро буду в лучшем. Осталось 8 дней до Петербурга. А пока — ничего не поможет. Чтобы прекратить эту лямку, я прекращу писать. Как у вас там хорошо, а у нас ко всем немецким прелестям прибавилась серая и холодная погода. Вот уж не жалко-то будет уезжать. Ты спрашивала, есть ли тут Ксения [1]? Если бы была, я бы написал Тебе. Но ее не было. Да мне ее и не нужно, говоря попросту.

Прости меня за тоскливость письма. Но при взгляде на окружающие предметы меня одолевает полный скептицизм к немецкому производству, нравам и населению. Вчера видел в товарном вагоне крупных свиней, очень похожих на здешнего начальника станции.

Твой

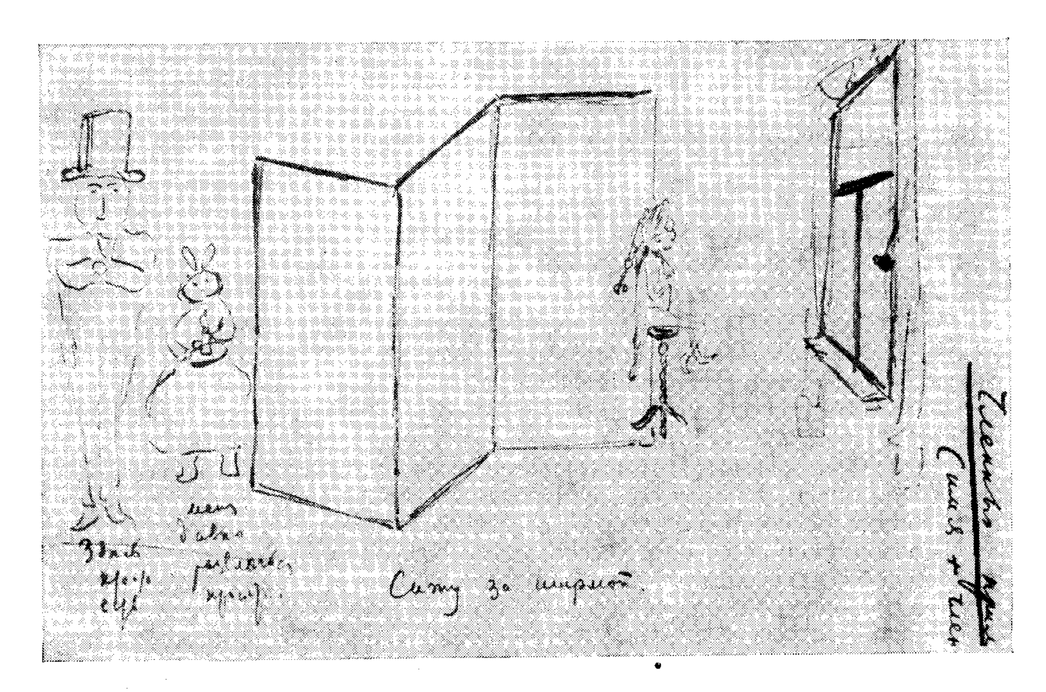
[1] Ксения Михайловна Садовская (см. примеч. 3 к письму № 96).

110

26 июня ⟨9 июля н. ст. 1903. Бад-Наугейм⟩

Сегодня я получил такое ласковое Твое письмо. Если бы Ты знала, как мне приятны все *эти* «дела», о которых Ты пишешь с извинениями! Конечно, мы закажем ширму и туалет осенью. Пакет от Мякишевой [1] привезу. Если есть еще что-нибудь, напиши мне непременно в Петербург к 3-му, я сделаю.

Последние дни здесь проводить трудно. Кажется, что уж все равно, что здесь, и нетерпение одолевает. Мне, как Тебе, трудно писать под конец,



ШУТОЧНЫЙ РИСУНОК БЛОКА НА МОТИВЫ ЕГО СТИХОТВОРЕНИЯ «СИЖУ ЗА ШИРМОЙ...» (18 ОКТЯБРЯ 1903 г.)

Изображен И. Кант. Женская фигура слева, с надписью: «Меня давно развлечься просят»— шарж на Л. Д. Блок.

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

у меня мысли то о том, чтобы ничего не упустить и все сделать во-время, то просто расплываются и тонут, и замирает сердце при мысли о том, как встречу Тебя в первый раз, как Ты отнеслась к моим последним письмам (о спектакле),— и я боюсь встречи, боюсь видеть Тебя и слышать, так Ты прекрасна, так давно Ты стояла в сумерках на платформе, так давно мы все пишем без конца, не видя друг друга, ощупью. И прямо не могу представить минуты нашей встречи — на всю жизнь. И все это так непонятно хорошо, как никогда не было, и когда это чувство охватит, от него кружится голова. Я дня не пропустил, а писать между тем не могу, хоть и хочу. Может быть, пропущу завтра (оттого, что в воскресенье у вас почты нет). Это письмо Ты получишь верно накануне нашего отъезда отсюда. Мне хочется все бросить и знать об Одной Тебе, Милая.

Твой

Я не знаю, как труднее встретиться: для того, чтобы быть вместе всю жизнь, или разлучаться на всю жизнь. Одинаково не могу представить. Как мне хорошо!

[1] *Мякишева* — модистка.

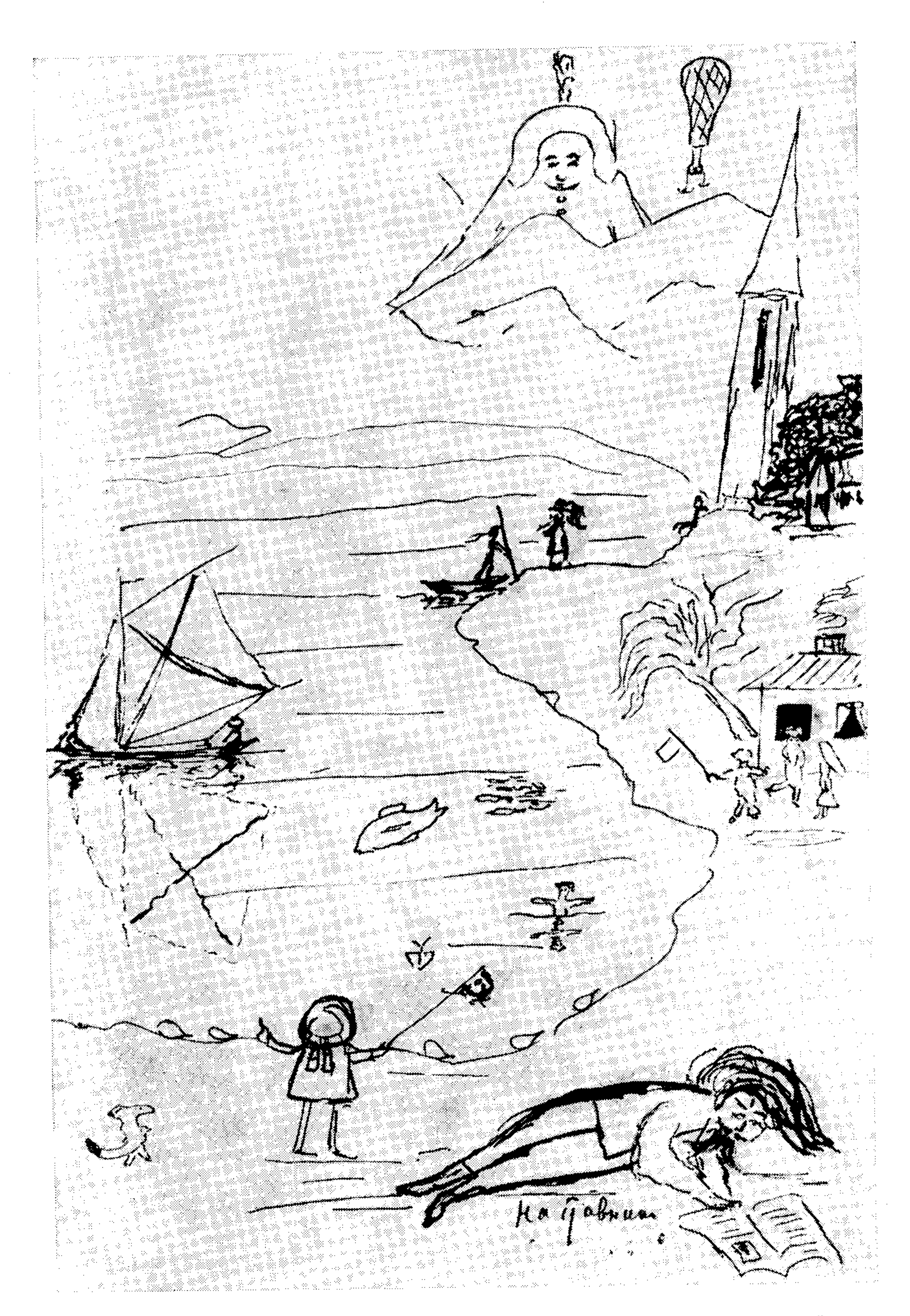
111

⟨28 июня (11 июля н. ст.) 1903. Бад-Наугейм⟩

Прости, что пишу мало.

Часто необыкновенно странно, удивительно хорошо все.

Я увижу Тебя скоро — и не могу представить. Как я счастлив, что Ты приедешь [1]. Днем? Утром? Надолго? Это будет 6 июля — воскресенье. Напиши в Петербург, мы будем там 3-го и 4-го. 5-го уедем.



ШУТОЧНЫЕ РИСУНКИ БЛОКА НА МОТИВЫ ЕГО СТИХОТВОРЕНИЙ
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Мне странно, необыкновенно странно, моя Милая, моя Несказанная, что все это так скоро. Даже не могу говорить об этом.

Твой

28 июня

[1] Л. Д. Менделеева писала 23 июня 1903 г.: «Непременно постараюсь быть в Шахматове в день твоего приезда, если он не совпадет с папиным, тогда мне будет стыдно приехать, приезжай ты».

112

29 июня ⟨12 июля н. ст. 1903. Бад-Наугейм⟩

Пишу Тебе в последний раз отсюда — послезавтра мы уедем. Милая, Дорогая, Любимая, мне нечего сказать, нет слов похожих на настоящее. Я в страшной тревоге, боюсь и не нахожу места. Какая Ты будешь? Все остальное — такое маленькое, такое неважное. Здесь все опротивело до последней степени, и во Франкфурте ничего хорошего не нашел. Думаю все только об одном, мне странно и страшно и весело и тоскливо. Мы будем *одни* наконец в следующее воскресенье, уйдем и будем говорить, и говорить будет сразу трудно, а писать уж совсем невозможно, ни Тебе, ни мне.

А в Петербург Ты все-таки напиши к 3-му или 4-му июля.

Сразу, после этого мертвого города, встретить Тебя, молодую, красивую, розовую, ласковую, любящую, любимую — разве это не странно и не страшно?

Твой

113

3 июля ⟨1903⟩. Петербург

Моя Дорогая, Родная, бесконечно Милая, я увижу Тебя скоро. Зачем Ты думаешь, что мне неприятно то, что Ты написала, что не приедешь 6-го [1]. Представь себе, я последние дни как раз подумал об этом точно так же, как Ты. Это не просто «приличие», которое нужно игнорировать, а, конечно, больше. Я понимаю и вовсе не огорчен, а приеду просто сам, скорее всего вечером (в воскресенье), если достану только лошадь (мою придется утром запречь, чтобы везти нас со станции). Видишь, я все-таки стал сам соображать такие вещи, и Тебе не придется меня убеждать. Но пока еще так медленно соображаю, что не написал Тебе об этом. А мне бы хотелось все-таки, чтобы Ты еще побывала теперь в Шахматове и чтобы я показал его Тебе. Ты можешь приехать с мамой, а, может быть, когда-нибудь и одна? Мы будем говорить об этом, но уверяю Тебя, что я понял и согласен с Тобой и с мамой. Как здесь хорошо после заграницы! Я все что можно было убрал в нашей квартире, моя комната при лампе ужасно напомнила мне Серпуховскую [2], Тебе, пожалуй, понравится. А у Тебя ужасно пусто, нет письменного стола, ширм, туалета, мебели, но будет уютно и хорошо. Мне все ужасно нравится. Сейчас я был у Мякишевой [3], она обещала прислать завтра вечером, если не надует, привезу. Тетя Маня [4] пишет, что была у вас, видела Тебя в розовом платье и побоялась сказать Тебе, какая Ты была восхитительная. И вообще, Ты боялась ее, а она Тебя, как полагается. А другие два раза (в Шахматове и в церкви) Ты была бледная. Когда мне все это читают, я чувствую, что знаю все это лучше и больше всех, и моим надеждам нет границ.

Я люблю Тебя, Золотокудрая Розовая Девушка, люблю больше моих сил, мне весело и хорошо так, как не было никогда. Сегодня я смотрел Твои карточки, видел Твои письма, все, что Ты писала своей рукой, мне дорог каждый кусок бумаги, на котором Ты провела черту. Как хорошо, что мы не будем играть [5], Ты меня обрадовала бесконечно. Больше не буду писать



БЛОК И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК
Фотография, 1903
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

об этом, Ты знаешь. Какой Вася хороший! А разве кто-ниб⟨удь⟩ кроме Над⟨ежды⟩ Як⟨овлевны⟩ очень недоволен тем, что Ты отказалась играть?

Боже мой, как я хочу видеть Тебя скорее и все забыть сначала, когда увижу Тебя, не думать ни о чем, даже не говорить, только смотреть в Твои глаза, моя Милая, моя Красавица, Ненаглядная, Счастье мое! Может быть, нужно написать еще о делах. А я не пишу. Зачем Ты не поручила мне ничего? Я могу только без конца писать страстные слова, больше у меня в эту минуту ничего нет в мыслях. И последнее письмо! Я не помню, не верю своему счастью, не понимаю, что со мной, откуда это?

Если я не приеду в воскр⟨есенье⟩, то в понед⟨ельник⟩ приеду. До свиданья, по-настоящему, как редко бывает в жизни, моя Дивная, моя Чудная, мне страшно и весело.

Твой[6]

[1] Приводим полностью письмо Л. Д. Менделеевой от 1 июля 1903 г.: «Милый, совершенно и не понятно и не верится, что ты приедешь через четыре дня, так хорошо! Я напишу тебе только несколько слов, так приятно знать, что писать не нужно, будем говорить. Прежде всего прости меня за мою глупость, уж я так теперь каюсь, так стыдно, что согласилась играть. Вот я скажу тебе потом все-таки, как мне не хотелось. Теперь я отказалась от всякого участия и за себя и за тебя; от этого был в восторге Вася (они уехали позже, чем думали), он страшно против моего участия в спектакле,



БЛОК. «СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ»
М., «Гриф», 1905
Титульный лист

вообще он не одобряет, был очень рад, что нашел союзника и просил непременно передать тебе его поцелуй. В воскресенье была у нас Мар⟨ия⟩ Андр⟨еевна⟩, которая только что вернулась из Трубицына. Кажется, она не успела написать вам, что скоро приедет в Шахматово Софья Григорьевна с Сережей, как только он вернется из поездки в село Михайловское и другие места там, где жил Пушкин. Сегодня мы были в белой Таракановской церкви, на обедне; ведь я была там в первый раз. Ну, а теперь я должна тебя, кажется, огорчить: я не приеду в Шахматово 6-го; и маме это давно не нравилось, только она, оказывается, не говорила, да и мне показалось, что это одно из таких «приличий», кот⟨орые⟩ существуют не только для того, чтобы дать богатый материал для сплетен всем Смирновым и Капустиным, но имеет и смысл настоящий,— как ты думаешь? Только вот тебя мне жалко, ведь ты ужасно устанешь; может, очень устанешь, приезжай на другой день; а уйти и говорить можно и у нас. Ну, прости меня; я знаю, что тебе неприятно, милый, родной мой!» *Вася* — младший брат Л. Д. Менделеевой, Василий Дмитриевич (1886—1922). *Мария Андреевна* — Бекетова (1862—1938), тетка Блока, писательница. *Трубицыно* — подмосковное имение С. Г. Карелиной, двоюродной бабки Блока (*Софья Григорьевна*). *Сережа* — С. М. Соловьев (см. о нем выше — примеч. 5 к письму № 99). *Таракановская церковь* — в селе Тараканово, близ Шахматова; в этой церкви происходило венчанье Блока и Л. Д. Менделеевой. *Смирновы* и *Капустины* — соседи и родственники Менделеевых.

[2] См. примеч. 7 к письму № 24.

[3] Модистка.

[4] М. А. Бекетова.

[5] В любительском спектакле.

[6] Этим письмом завершается первый раздел переписки Блока с женой. Приводим последнее письмо Л. Д. Менделеевой от 2 июля 1903 г.: «Милый, я забыла написать тебе, когда лучше приехать к нам. Приезжай или до 4-х часов, или после 5-ти, потому что мы обедаем в это время теперь, и, конечно, будет неприятно нам очень встретиться за обедом, при всех. До обеда и после я буду тебя ждать где-нибудь, вероятно, у парка; ничего, если ты устанешь и не приедешь, я не обижусь и не рассержусь; приезжай тогда на другой день, так же. Так скоро теперь, милый, так хорошо!»

II. ПИСЬМА 1907—1917 гг.

1907

114

13 мая ⟨1907. Петербург⟩

Милый мой друг, маленькая Люба. Я получил твое письмо со станции сегодня [1]. Очень хочу знать о тебе все, и чтобы ты мне писала часто. Вот что я делал: с вокзала побежал к Ивановым [2] и занял у Марьи Петровны [3] 30 рублей. Вернувшись домой, укладывался до 3-х часов ночи, а с 1/2 9 утра (вчера) приехали перевозчики, и мы перевозили все почти без перерыва до 7-го часа вечера. Чувствовал себя очень бодро все время — и теперь. Все готово, склад недорого стоит, за месяц я уж заплатил [4]. В мастерскую свез все ящики, загромоздил весь угол и еще расставил местами разные вещи. Приехав в казармы [5], нашел прилагаемое письмо твоей мамы, сразу было неприятно, но потом я решил, что это просто глупое письмо, и написал ответ очень вежливый, что она права, денег, конечно, не надо менять, без постройки можно обойтись и т. д. [6] Ване написал, что ты просишь привезти тебе остатки и что 1000 р. я не возьму [7]. Мы с мамой решили занять у Аннушки [8] 100 р., чтобы заплатить за квартиру (пристают) и долг М. П. Ивановой. Это очень легко, и Аннушка охотно даст, это уже почти сделано все. Сегодня я получил письмо от Рябушинского [9], крайне любезное, где выражается удовольствие по пов⟨оду⟩ моего согласия на критику, но просит сбавить «жалованье» — я уж сбавлю на 40 рубл. [10] Приходили сегодня Кузмин [11], Ауслендер [12] и Чулков [13], но к счастью меня не застали. Я уже основался, никого не хочу видеть, хочу много думать, писать, читать и вообще работать.

Все эти глупости я тебе пишу просто уж так. У меня душа какая-то омытая, как я сам сейчас в ванне. Чувствую себя как-то важно и бодро. Ты важна мне и необходима необычайно; точно так же Н. Н. [14] — конечно — *совершенно* по-другому. В вас обеих — роковое для меня. Если тебе это больно — ничего, так надо. Свою руководимость и незапятнанность, несмотря ни на что, я знаю, знаю свою ответственность и веселый долг. Хорошо, что вы обе так относитесь друг к другу теперь, как относитесь. Мне бы хотелось, чтобы все это ты, когда думаешь обо мне, неотступно знала. Напиши мне, что ты думаешь об этом теперь и не преуменьшай этого ни для себя, ни для меня. Помни, что ты для меня необходима, я твердо это знаю.

Мне кажется, это время одиночества (до приезда в Шахматово) будет мне очень важно. Я много пойму, постараюсь видеть меньше народу, работать и думать. Время предстоит очень важное.

Целую твои маленькие ручки и щечки, глажу твои светлые волосы, милый мой друг. Напиши о нашем саде.

Саша

Сейчас 3-й час утра, светает, пароходы кричат. Хорошо. Буду читать, потом спать.



БЛОК
Фотография, 1906
Исторический архив Ленинградской области, Ленинград

[1] Л. Д. Блок 6 мая 1907 г. уехала из Петербурга в Шахматово. Имеется в виду письмо, посланное со станции Подсолнечная (Николаевской ж. д.), откуда до Шахматова нужно было ехать на лошадях.

[2] Семья Е. П. Иванова, друга Блока.

[3] Мать Е. П. Иванова.

[4] Блок освобождал квартиру (Лахтинская ул., д. № 3), где жил с осени 1906 г. Домашнее имущество временно было перевезено на склад, а Блок поселился у матери.

[5] Казармы Гренадерского полка, где находилась квартира отчима Блока.

[6] Письмо А. И. Менделеевой не сохранилось. Также не выявлено и ответное письмо Блока к А. И. Менделеевой.

[7] *Ваня* — И. Д. Менделеев, брат Л. Д. Блок (см. о нем ниже,— стр. 320). Переписка касалась, очевидно, раздела наследства, которое оставил детям Д. И. Менделеев, скончавшийся незадолго перед тем (20 января 1907 г.).

[8] *Аннушка* — Анна Ивановна Шелгунова, прислуга М. А. Бекетовой, прожившая с ней более тридцати лет.

[9] Николай Павлович *Рябушинский* (1876—1951)— крупный московский капиталист, игравший роль «мецената» и сам дилетантски занимавшийся искусством — живописью и литературой (под псевдонимом: Н. Шинский), в 1906—1909 гг. издавал литературно-художественный журнал «Золотое руно», после Октября — эмигрант.

[10] В апреле 1907 г. Н. Рябушинский предложил Блоку взять на себя систематическое ведение критических обозрений текущей литературы в журнале «Золотое руно». Блок ответил согласием, и в апрельской книжке журнала (стр. 74) появилось следующее извещение «От редакции»: «Вместо упраздняемого с № 3 библиографического отдела редакция «Золотого руна» с ближайшего № вводит критические обозрения, дающие систематическую оценку литературных явлений. На ведение этих обозрений редакция заручилась согласием своего сотрудника А. Блока, заявление которого, согласно его желанию, помещено ниже». Вслед за тем было помещено заявление Блока, в котором



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК
Рисунок А. И. Менделеевой (?)
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

он, между прочим, писал следующее: «Для того, чтобы успеть отметить своевременно все ценное, я намереваюсь объединить в каждом из первых очерков maximum того, что мне представляется возможным объединить. Так, я думаю, можно говорить о современном реализме, охватывая большой круг очень разнообразных писателей. Точно так же можно собрать много литературных фактов в главах о новой драме, о лирике, о критике, о религиозно-философском движении наших дней. Задача моя облегчается тем, что я буду иметь в виду по преимуществу художественную литературу, согласно с существом журнала. Первый очерк в ближайшем номере «Золотого руна» я посвящу реалистической беллетристике последних месяцев. Исчерпав объединяющие очерки возможно скорее, я постараюсь давать ежемесячные отчеты о выдающихся литературных явлениях со всею возможной полнотой» (V, 675). Реализацией этого плана и явился цикл нашумевших в свое время литературно-критических статей Блока: «О реалистах», «О лирике», «О драме», «Литературные итоги 1907 года» и «О современной критике» (последняя статья по случайным причинам была напечатана не в «Золотом руне», а в газете «Час»).

[11] Михаил Алексеевич *Кузмин* (1872—1936) — поэт, драматург, прозаик и композитор-дилетант, видный участник символистского движения; был дружен с Блоком, написал музыку к пьесе Блока «Балаганчик».

[12] Сергей Абрамович *Ауслендер* (1886—1943) — прозаик и драматург, близкий к символистским кругам, племянник М. А. Кузмина. В советское время писал прозу для детей.

[13] Георгий Иванович *Чулков* (1879—1939) — поэт, беллетрист, драматург, критик и историк литературы, видный участник символистского движения; был дружески близок к Блоку в 1904—1908 гг.

[14] Наталия Николаевна *Волохова* (1878—1966), артистка театра В. Ф. Коммиссаржевской. Ей посвящен сборник стихов «Снежная маска» и ряд других стихотворений 1906—1908 гг.

115

⟨21 мая 1907. Петербург⟩

Моя милая. Пишу тебе в постели очень усталый, после ванны. 2 твоих письма получил — хорошие и ясные [1]. Я твои письма люблю и много о тебе вспоминаю. Ты для меня очень светлая, и без тебя мне темнее. Свободнее, мож⟨ет⟩ быть, думать, потому что вообще одному свободнее думать. Но темнее мысли и иногда страшно, как не бывает при тебе. Я написал много — заступился за Горького; об Андрееве; выругал Философова и Мережковского [2]. Рябуш⟨инский⟩ все не отвечает. Получил 37.50 за первое видение «Незнакомки» и корректуру. «Незн⟨акомка⟩» будет в 3-х №№ — по одному видению в каждом, но ведь это мне все равно [3]. Мама на это обиделась.— Сейчас был Г. И. [4] А вообще я все один и думаю очень много, так что устаю. Гуляю, пью вино иногда. На Финл⟨яндской⟩ дороге хорошо, только все не могу дойти до цветов — в долину, был на Шуваловском озере. Все-таки пусто и холодно одному, хотя хорошо и свободно. Какая-то длинная вязь мыслей, сильных, в каком-то зареве, иногда слишком зловещем. А о тебе я все время знаю ясно, что ты светлая мне и сильная и непомерно близкая. И немножко мне как-то не по себе и тревожно, что ты одна и не со мной.— Ничего, что ты, маленькая Люба, лентяй и глупый — у тебя щечки потолстеют и порозовеют. Ты самый, самый настоящий маленький заяц Бу.

Саша

21 мая. Ночь.

Ты мне пиши, милая. Господь с тобой, будь, крошка, здорова [5].

Бумагу из опеки получил и переслал Мусе [6].— Вышел «Цветник ор» [7] — не слишком хороший.

[1] Письма Л. Д. Блок были посвящены впечатлениям от Шахматова и хозяйственным вопросам.

[2] Имеется в виду статья «О реалистах», в которой Блок резко полемизировал с Д. Философовым и Д. Мережковским, объявившими о «конце» М. Горького.

Хотя сам Блок начинает статью с критики последних произведений Горького, он заявляет далее: «Мучительно слушать, когда каждую крупицу индивидуального, прекрасного, сильного Мережковский готов за последние годы свести на «хлестаковщину», «мещанство» и «великого хама». Когда эти термины применяются к Горькому и особенно к Чехову,— душа горит; думаю, что негодованию в этом случае и *не должно быть пределов*» (V, 101—102).

[3] «Незнакомка», лирическая драма в трех «видениях», была напечатана в трех книжках журнала «Весы» 1907 г. (май, июнь, июль).

[4] Г. И. Чулков.

[5] Далее следует записка на отдельном листе, вложенная в конверт письма № 115 от 21 мая.

[6] М. Д. Менделеева.

[7] Альманах стихов «Цветник ор». Кошница первая. СПб., 1907. Здесь был напечатан цикл стихотворений Блока «Пред ликом Твоим».

116

⟨24 мая 1907 Сестрорецк⟩

Милый друг.

Я пишу тебе с Сестрорецкого вокзала. Сижу и пью. Пьеса [1] подвигается. Я сейчас был в *Левашове* — на той лесной дороге, где мы были с тобой давно [2]. Там так же хорошо, как было. Лесной воздух, елка и вечерний туман. Большая часть первого акта — о тебе [3]. Твое письмо получил —

Любѣ.

Люблю тебя, Ангелъ-Хранитель, во мглѣ,
Во мглѣ, что со мною всегда на землѣ.

За то, что ты свѣтлой невѣстой была,
За то, что ты тайну мою отняла.

За то, что связала насъ тайна и ночь,
Что ты мнѣ сестра, и невѣста, и дочь.

О, да, и за то, что намъ цѣпь суждена,
О, даже за то, что мы — мужъ и жена!

За цѣпи мои и заклятья твои,
За то, что надъ нами — проклятье семьи.

За то, что не любишь того, что люблю,
За то, что о нищихъ и бѣдныхъ скорблю.

За то, что не можемъ согласно мы жить,
За то, что хочу и не смѣю убить —

Отмстить малодушнымъ, кто жилъ безъ огня,
Кто [redacted] такъ унижалъ мой народъ и меня!

Кто заперъ свободныхъ и сильныхъ въ тюрьму,
Кто тамъ не повѣрилъ огню моему.

Кто хочетъ за деньги лишить меня дня,
Собачью покорность купить у меня.

Кто деньги даетъ за свободу мою,
Кого я душой — не рукою убью, —

БЛОК, СТИХОТВОРЕНИЕ «ЛЮБЕ»
Автограф, 17 августа 1906 г.
Собрание В. Н. Орлова, Ленинград

Знаешь, что я слабъ и смиренно гордъ,
Что предки мои были — стадо рабовъ,
И [illegible] ледомъ убита душа,
И эти руки не поднимутъ ножа.

Но люблю я тебя и за слабость мою,
За горькую долю и силу твою.

Что огнемъ сожжено и свинцомъ залито, —
Того разорвать не посмѣетъ никто!

Съ тобою смотрѣлъ я на эту зарю,
Съ тобой въ эту черную бездну смотрю.

И двойственно намъ приказанье судьбы:
Мы — вольные души! Мы — злые рабы!

Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!
Огонь или тьма — впереди?

Кто кличетъ? Кто плачетъ? Куда мы идемъ?
Вдвоемъ — неразрывны — навѣки вдвоемъ!

Воскреснемъ? Погибнемъ? Умремъ?

17 августа 1906.
Шахматово.

Александръ Блокъ.

БЛОК. СТИХОТВОРЕНИЕ «ЛЮБЕ»
Автограф, 17 августа 1906 г.
Оборотная сторона
Собрание В.Н. Орлова, Ленинград

и книгу. Когда приеду — не знаю. Думаю, что приеду [4]. Мыслей очень много. И какая-то глубокая, подстерегающая усталость. Пиши мне и помогай.

Саша

24 мая. Ночь

Этот листик [5] из того леска в Левашове, где мы были с тобой. Там совсем шахматовское — елки, рябина и брусника на мху.

[1] «Песня Судьбы», над которой Блок начал работать в апреле 1907 г.

[2] С окрестностями Левашова (станция Финляндской ж. д. под Петербургом) у Блока были связаны воспоминания о встречах и прогулках с Л. Д. Менделеевой в годы юности.

[3] В образе Елены, одной из героинь драмы «Песня Судьбы», различимы черты Л. Д. Блок. Драма вообще носит в известной мере автобиографический характер.

[4] Вскоре, 10 июня, Блок ненадолго уехал в Шахматово (до 21 июня).

[5] В конверт вложен листок дерева.

117

26 мая ⟨1907. Петербург⟩

Моя милая.

Без тебя одиноко. Небо слишком высокое, вода слишком глубокая. Сейчас ночь, и я смотрел в окно. К тебе очень большая нежность. Буду писать. Рябушинский очень любезен — будет платить жалованья 40 р. [1] «Кор⟨оль⟩ на площади» — только 225 ⟨рублей⟩ ($1^1/_2$ листа) — будет с Сапуновской картинкой [2]. В «Руси» опять мои стихи [3].— Вчера были с Чулковым вечером и ночью в саду (увеселительном) около театра Коммиссаржевской. Говорили много и ели, а пили мало. Сад очень ускушнительный, как все.— Сегодня я получил письмо через «Скорпион» [4] от какой-то дамы под инициалами, которая желает прийти ко мне и говорить «на далеком расстоянии», потому что ей не с кем говорить, а я написал: «Кто придет — будь как Ангел светел — прими его просто, будто видел во сне» [5]. Я ответил, что буду ждать ее на этих днях около 7 ч. веч. Вот новости. Сейчас был Женя [6]. Придет во вторник обедать. В сущности, из всех здешних людей хочу видеть его одного. Кузмин мне прислал свои две книжечки — очень красивые [7].

Я ничего тебе не посылаю, потому что обо всем буду писать [8]. Мож⟨ет⟩ быть, с мамой пришлю.

Пиши мне, моя маленькая кроха. Когда от тебя нет долго писем, я о тебе беспокоюсь. Ты как обо мне думаешь?

27 мая — днем

Пришло твое письмо, маленькая Люба, и застало меня за отчаянным писанием. Все — критика [9]. Миленькое ты пишешь [10]. А я был в Лесном на днях и видел белку на елке. Кроме того, за забором скачек, когда я подошел, на всем скаку упал желтый жокей. Подбежали люди и подняли какие-то жалкие и совершенно [неподвижные] мертвые, болтающиеся руки и ноги — желтые. Он упал в зеленую траву — лицом в небо [11]. Вот и все мои жизненные впечатления. Я тоскую немного в Петерб⟨урге⟩ — слишком город, и не прочь к тебе приехать, но надо еще много писать.

А вот на вопросы... Бомарше, издание Суворина («Деш⟨евая⟩ библиот⟨ека⟩») я тебе пришлю, другого перевода не знаю. И «Парашу Сибирячку» поищу. Всяких книжек пришлю (и «Евдокию»), *когда напишу о них*, а теперь не могу, потому что обо всем надо писать, одно отчаянье [12].

А тетя [13] едет завтра, а сегодня воскрес⟨енье⟩ и одеколону не достать, если у тебя есть еще, я пришлю с мамой, которая не знаю, когда поедет. Денежки не надо, у меня будет много.

Ну господь с тобой, Люба. Веселись, маленький зайчичек. Ты, миленькая Люба, моя.

Саша

[1] См. письмо № 114 и примеч. 10 к нему.

[2] Лирическая драма «Король на площади» была напечатана в апрельской книжке журнала «Золотое руно» за 1907 г., в сопровождении эскиза декорации работы художника Н. Н. Сапунова (см. о нем ниже, стр. 282).

[3] В приложении (№ 20) к газете «Русь» от 26 мая 1907 г. было помещено стихотворение Блока «Я в четырех стенах — убитый...».

[4] Т. е. через издательство «Скорпион», выпускавшее журнал «Весы».

[5] Цитата из стихотворения Блока «Не строй жилищ у речных излучин...».

[6] Е. П. Иванов.

[7] Имеются в виду книжки М. Кузмина «Приключения Эме Лебефа» и «Три пьесы», вышедшие в свет в мае 1907 г. в миниатюрном формате, с рисунками К. Сомова. На принадлежавшем Блоку экземпляре первой из этих книжек имеется дарственная надпись автора: «Александру Александровичу Блоку — высокому и милому поэту. М. Кузмин» (собрание В. Н. Орлова).

[8] Блок имел в виду писать о книжных новинках в критическом обозрении для журнала «Золотое руно».

[9] Блок писал статью «О реалистах».

[10] Имеется в виду письмо Л. Д. Блок от 24 мая 1907 г., в котором она писала: «Сегодня мы сажали лютики. Сначала в саду около дома: Катя, я, Андрей и даже тетя Софа. Посадили очень скоро. Потом все помогали сажать и у нас. Табак, как всегда; против него вербены, резеда и флоксы, а на круглой клумбе, где маленькая новая роза,— всякие остатки. Нарциссы цветут уже все. Наши деревца и кусты, кажется, будут очень пушистые, хотя теперь еще вся зелень не совсем выросла. Я эти дни провела разнообразнее; вот сегодня посадка, а вчера я надела свои новые сандалии на босые ноги, почувствовала себя страшно весело, пошла гулять через угольные ямы, на Прасоловскую поляну и Малиновую гору. На болотце там я увидела великолепные белые цветы; ты, может быть, их знаешь? Все болото покрывают, похожи на гиацинты, но внутри пушистые〈...〉 Сегодня был первый дождь после хорошей погоды, полил наши посадки. Вышли на дорожку веселые лягушки, а вчера вечером около малинника шевелился наш зверь, только не показывался. И еще вчера вдруг запела в кустах на дворе зарянка — та же, так же, как в прошлом году и прежде. Когда я вышла из дома вечером после чая и вдруг опять ее услыхала,— даже пошатнулась (в самом деле); вечер тихий, она поет, как сумасшедшая, за полем, за елками — светлое нежное небо. Стояла на балконе, и так близки, так живы были наши поцелуи в такие вечера, а потом, когда мы затихали в нашей комнате, зарянка продолжала, продолжала свою милую, одну и ту же без конца песню, так громко, под окном. У меня дыханье захватило, когда все это ожило, и если ты не помнишь, не любишь это теперь, вспомнишь и полюбишь потом, непременно».

[11] Эта сцена запечатлена в первом стихотворении цикла «Вольные мысли» («О смерти»), написанном в июне 1907 г.:

Я проходил вдоль скачек по шоссе...
Я шел и слышал быстрый гон коней
По грунту легкому. И быстрый топот
Копыт. Потом — внезапный крик:
«Упал! Упал!» — кричали на заборе,
И я, вскочив на маленький пенек,
Увидел все зараз: вдали летели
Жокеи в пестром — к тонкому столбу.
Чуть-чуть отстав от них, скакала лошадь
Без седока, взметая стремена.
А за листвой кудрявеньких березок,
Так близко от меня — лежал жокей,



«ДОЖИДАЮТСЯ ПОЕЗДА В КЛИНУ»
Рисунок Блока с подписью: «6 марта 1906. Блок»
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Весь в желтом, в зеленях весенних злаков,
Упавший навзничь, обратив лицо
В глубокое ласкающее небо.
Как будто век лежал, раскинув руки
И ногу подогнув. Так хорошо лежал.
К нему уже бежали люди. Издали,
Поблескивая медленными спицами, ландо
Катилось мягко. Люди подбежали
И подняли его...
И вот повисла
Беспомощная желтая нога
В обтянутой рейтузе... и т. д.

[12] Любовь Дмитриевна запрашивала Блока в письме от 25 мая 1907 г.: «Я прочитала «Свадьбу Фигаро» Бомарше. Это великолепная пьеса, ее необходимо поставить, а мне страшно хочется если не играть, то хоть попробовать разучить роль Сюзанны.

Есть ли хороший русский перевод? Милый, узнай, если есть, пришли его мне, пожалуйста; а если нет, необходимо перевести. Кому бы? Может быть, мамаша летом? 2. Пожалуйста, купи мне «Парашу-Сибирячку», пьесу Полевого, и пришли. 3. Еще мне ужасно хочется «Евдокию». *Мамаша* — мать Блока А. А. Кублицкая-Пиоттух, переводившая в стихах и в прозе. «*Евдокия*» — пьеса М. Кузмина «Комедия о Евдокии из Гелиополя, или Обращенная куртизанка», напечатанная в альманахе «Цветник ор» (СПб., 1907). Блок сочувственно отозвался об этой пьесе в статье «О драме» (V, 182—186).

[13] М. А. Бекетова, уезжавшая в Шахматово.

118

30 мая ⟨19⟩07. ⟨Петербург⟩*
Ночь (белая)

Получил два твоих письма, милая крошка. Мама тебе уж писала о том, как при Жене [1] пришли Г. И. [2] и Вяч⟨еслав⟩ Ив⟨анович⟩ [3] и как говорили. А я гуляю и пишу много (критику) [4]. 1 июня буду обедать у Жени и гулять с ним. Мне тоскливо без тебя; я думаю, что тебе будет приятно вот это *стихотворение* [5], которое, в сущности, исчерпывает все, что я могу написать тебе. Мне оно нравится, но я его написал только сию минуту — ночью, усталый. И переписал на первую страницу новой тетради. Напиши мне о нем, моя родная. Пусто без тебя.

Саша

На твой вопрос отвечаю, что Лидия Дмитриевна [6] — здесь (Таврическая, 25). Я наверно пойду скоро к ним — очень люблю их обоих. Но тут у меня сложнейшие планы и комбинации — литературные, в зависимости от Горького, Андреева [7], Бори [8], парижан [9] и пр. Буду тебе излагать, когда приеду. Хочется приехать, но не знаю — когда. Драма [10] плохо пишется.

Л. Д. Б.

Ты отошла,— и я в пустыне
К песку горячему приник.
Но слова гордого отныне
Не может вымолвить язык.

О том, что было, не жалея,
Твою я понял высоту:
Да. Ты — родная Галилея
Мне — невоскресшему Христу.

И пусть другой Тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву:
Сын Человеческий не знает,
Где приклонить Ему главу.

Александр Блок

1907
Весна
СПб. [11]

[1] Е. П. Иванов.

[2] Г. И. Чулков.

[3] Вячеслав Иванович *Иванов* (1866—1949) — поэт и филолог, видный теоретик символизма, был близок с Блоком в 1906—1907 гг., в дальнейшем поддерживал с ним неровные отношения (новое сближение — в 1910—1912 гг.).

---

* В некоторых случаях Блок обозначал месяц римской цифрой; в датах, помещаемых над письмом, они заменены названием месяца.

30. V. 07.
Ночь (бѣлая).

Получилъ два твоихъ письма, милая крошка. Мама тебѣ ужъ писала о томъ, какъ при Женѣ пришли Г. И. и Вяч. Ив. и какъ говорили. А я гуляю и пишу много (критику). 1 іюня буду обѣдать у Жени и гулять съ нимъ. Мнѣ тоскливо безъ тебя; я думаю, что тебѣ будетъ пріятно вотъ это стихотвореніе, которое, въ сущности исчерпываетъ все, что я могу написать тебѣ. Мнѣ оно нравится, но я его написалъ только сію минуту — ночью, усталый. И переписалъ на первую страницу новой тетради. Напиши мнѣ о немъ, моя родная. Пусто безъ тебя.

Саша.

На твои вопросы отвѣчаю, что Лидія Дмитріевна — здѣсь (Таврическая, 25). Я завтра пойду скоро къ нимъ — очень люблю ихъ обоихъ. Но тутъ у меня сложнѣйшіе планы и комбинаціи — литературные, въ зависимости отъ Горькаго, Андреева, Бори, парижанъ и пр. Буду тебѣ излагать, когда пріѣду. Хочется пріѣхать, но не знаю — когда. Драма плохо пишется.

ПИСЬМО БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК 30 МАЯ 1907 г.
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

[4] Статью «О реалистах».

[5] Стихотворение «Ты отошла — и я в пустыне...», приложенное к письму.

[6] Лидия Дмитриевна *Зиновьева-Аннибал* (1872—1907) — жена Вяч. Иванова, писательница (драматург и прозаик). Л. Д. Блок в письме от 27 мая писала: «Мне хочется написать Лидии Дмитриевне, как я бегаю босиком, она это тоже любит».

[7] Имеется в виду Леонид Андреев. «Планы» Блока были связаны с намечавшимся участием его в горьковских сборниках «Знание» (см. письмо № 121 от 28—29 июня 1907 г.).

[8] Б. Н. Бугаев (Андрей Белый).

[9] *Парижане* — Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус и Д. В. Философов, находившиеся в это время в Париже.

[10] «Песня Судьбы».

[11] Стихотворение было впервые напечатано в альманахе «Корона» (1908). В дальнейшем Блок открывал этим стихотворением раздел «Родина» в собрании своей лирики (без посвящения Л. Д. Блок).

119

3 июня ⟨1907. Петербург⟩

Милая моя.

Сегодня я получил от Руна 265 рублей (из них 40 — жалованье) [1]. Скоро отошлю первую статью [2]. Угрожает знакомство с Л. Андреевым, чего я не очень хочу [3]. Устал и хочу тебя видеть. Много злюсь — из газет ты, мож⟨ет⟩ быть, знаешь, какие вещи происходят здесь [4]. Мы с Женей [5] катались на лодке в Шувалове. Все о тебе думаю, мой зайчичек, и беспокоюсь. Очень тебя люблю. Еще твое письмецо (с ландышем) получил. Что ты думаешь о стихотворении? [6]

Саша

[1] *Жалованье* — за ведение критических обозрений в «Золотом руне».

[2] «О реалистах».

[3] С Л. Н. Андреевым Блок лично познакомился лишь 15 сентября 1907 г. (см. «Письма к родным», стр. 169; «Переписка Блока и Белого», стр. 216) и знакомство привело Блока к еще большей заинтересованности личностью и творчеством Л. Андреева. Ср. очерк Блока «Памяти Леонида Андреева» (29 октября 1919 г.), в котором он так писал о своем чувстве духовной близости с Андреевым еще до встречи: «Связь моя с Л. Андреевым установилась и определилась сразу, задолго до знакомства с ним; ничего к ней не прибавило это знакомство; я помню потрясение, которое я испытывал при чтении «Жизни Василия Фивейского» в усадьбе, осенней дождливой ночью. Ничего сейчас от этих родных мест, где я провел лучшие времена жизни, не осталось; может быть, только старые липы шумят, если и с них не содрали кожу. А что там неблагополучно, что везде неблагополучно, что катастрофа близка, что ужас при дверях,— это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией, и вот на это мое знание сразу ответила мне «Жизнь Василия Фивейского», потом «Красный смех», потом — особенно ярко — маленький рассказ «Вор». О рассказе этом я написал рецензию, которая была помещена в журнале «Вопросы жизни» (VI, 130—131).

[4] Третьего июня 1907 г. царским манифестом было объявлено о роспуске Государственной думы, после чего правительство перешло к открытой политике жесточайшего контрреволюционного террора. Блок откликнулся на это событие двумя стихотворениями — «Я ухо приложил к земле...» и «Тропами тайными, ночными...», написанными 3 июня 1907 г.

[5] Е. П. Иванов.

[6] О стихотворении «Ты отошла,— и я в пустыне...» Л. Д. Блок отозвалась в письме от 6 июня: «Получила твое письмо со стихотворением. Оно мне ужасно приятно и очень нравится. Только в последней строфе мысль выражена нехорошо, непонятно с первого раза. Надо бы переделать первые две строки». Блок не внял этому совету: никаких

Л. Д. Б.

Ты отошла, — и я въ пустынѣ
Къ песку горячему приникъ.
Но слова гордаго отнынѣ
Не можетъ вымолвить языкъ.

О томъ, что было, не жалѣя,
Твою я понялъ высоту:
Да. Ты — родная Галилея
Мнѣ — невоскресшему Христу.

И пусть другой Тебя ласкаетъ,
Пусть множитъ дикую молву:
Сынъ Человѣческiй не знаетъ,
Гдѣ приклонить Ему главу.

Александръ Блокъ

1907.
Весна.
С-П-Б.

БЛОК. СТИХОТВОРЕНИЕ «Л.Д.Б.», ПОСЛАННОЕ В ПИСЬМЕ 30 МАЯ 1907 г.
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

следов переработки заключительной строфы в его бумагах не обнаружено. Л. Д. Блок еще раз вернулась к этому стихотворению в письме от 8 июня: «Мне даже теперь не хочется и говорить ни о чем, только бы тебя видеть, быть с тобой и чтобы тебе казалось хоть иногда, что есть где «приклонить главу».

120

22 июня ⟨1907. Петербург⟩

Маленькая Люба.

Я приехал очень хорошо в почти пустом вагоне III кл⟨асса⟩ [1]. Поезд опоздал на 2 часа, полотно размыло ливнем между Калашниковым и Спировым. Очень было красиво видеть с поезда, идущего шагом в полутемной ночи,— костры в туманах, красные огни и семафоры и толпы рабочих над развороченными шпалами и грудами песку. Все поезда опоздали. Дома был в 11 час⟨ов⟩ у⟨тра⟩, сейчас был в ванне. *Онежский полк* (*Ревельский*) *получен*, они рады и в хорошем настроении [2]. Мама скоро думает приехать в Шахматово. Твои розы очень хорошо дошли, кроме белых, кот⟨орые⟩ осыпались,— и незабудки совсем живые. Сейчас был в ванне. «Руна» нет. Напишу туда. Пока буду видеться с людьми и гулять. Сейчас должно быть куда-ниб⟨удь⟩ пойду. Завтра посылаю (заказн⟨ой⟩ бандеролью) тебе «Трагич⟨еский⟩ зверинец» с очень хорошей надписью, Лид⟨ия⟩ Дм⟨итриевна⟩ прислала и просила переслать [3]. Мама уж читает «Зверинец» и тоже в восторге, говорит, что это ее детство. Сейчас половина восьмого вечера. Ножку лечи. Здесь пока прохладнее, чем вчера было в Шахматове. А на днях было 44° на солнце. Господь с тобой, маленькая крошка. Твое письмецо прочитал, которое пришло после моего отъезда. Я устал с дороги. Скверно летом жить на свете, всюду не по себе, душно.

Господь с тобой.

Саша

[1] 10 июня Блок уехал в Шахматово, где пробыл до 21 июня. Письмо написано в день возвращения в Петербург.

[2] *Они* — мать Блока и его отчим Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух, назначенный командиром Онежского 90-го пехотного полка, расположенного в Ревеле.

[3] «*Трагический зверинец*» — сборник рассказов Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (изд-во «Оры».СПб., 1907). Блок весьма сочувственно отозвался об этой книге в статье «Литературные итоги 1907 года», написанной уже после смерти Зиновьевой-Аннибал: «Замечательна книга — «Трагический зверинец»⟨...⟩ Страстная душа ее автора так любила жизнь и землю, как будто не была душою писательницы; того, что могла она дать русской литературе, мы и предположить не можем: это было только еще начало — дикое, порывистое, тревожное; с каким-то упорством первобытной души ломала она свой стиль, все еще непокорный⟨...⟩ Книга рассказов «Трагический зверинец» одинаково волнует простые души и останавливает внимание одряхлевших под бременем литературного опыта» (V, 226).

121

28—29 июня ⟨1907. Петербург⟩

Люба крошка.

Получил два твоих письмеца. Я уж тут и писал много прозы и стихов [1], и видел и Георг⟨ия⟩ Ив⟨ановича⟩ [2], и Городецкого [3] десять раз, и Пяста [4], и был в забавных оперетках и фарсах, и пьянствовал, и ездил в море с прис⟨яжным⟩ пов⟨еренным⟩ Соколовым [5], Аничковым [6] и Чулковым на моторной лодке. Часть этого описана в стихах [7], которые, я думаю, надо отдать «Знанию» (Л. Андреев передал через Чулкова официальное приглашение мне и Ауслендеру) [8], а часть — лучше рассказать, а то очень много



БЛОК

Фотография, 1907

С дарственной надписью Г. И. Чулкову: «Георгию Чулкову с любовью. Александр Блок. V 07»

Литературный музей, Москва

писать. Пришло хорошее «Руно» с «Королем на пл⟨ощади⟩» (рис⟨унок⟩ Сапунова очень хороший — во весь лист) и с моим заявлением [9]. Скоро выйдет № с моей статьей [10], которой редакция довольна и придает ей значение, а № 6 выйдет во 2-ой половине июля, туда я должен к 15-му послать статью о лирике, уже начатую, а потом — думаю приехать в Шахматово и писать статью о драме. Планов и событий по обыкновению так много, что всего не напишешь. Стихи я привезу, конечно, они длинные [11]. Обо мне и о всех нас очень много и обстоятельно пишут в «Руси» [12]. Кугель уже где-то разнес «Незнакомку» [13]. Получила ли «Зверинец» [14]? Вячеслав [15]

в Могилевской губернии.— Больш⟨ей⟩ ч⟨астью⟩ — все жарко, свежее всего по ночам — и сейчас ночь. Пишу, вернувшись от Пяста. От Аничковской работы [16] я совсем отказался. Привезу тебе много новых интереснейших книжек.

Господь с тобой, моя милая.

Саша

Куда мне, милая Люба, вещи девать? В мастерскую — можно? [17]

[1] По возвращении из Шахматова (22 июня) Блок работал над статьей «О лирике» и над стихотворным циклом «Вольные мысли».

[2] Г. И. Чулков.

[3] Сергей Митрофанович *Городецкий* (1884—1967) — поэт и беллетрист, участник символистского движения; был дружески близок с Блоком в 1905—1908 гг.

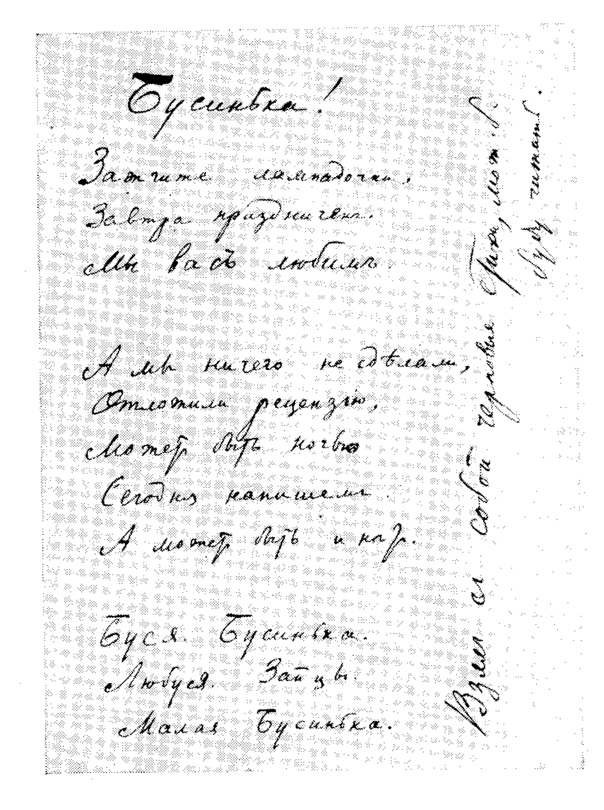
[4] Владимир *Пяст* — литературный псевдоним Владимира Алексеевича Пестовского (1886—1940), поэта-символиста, с которым Блок начиная с 1905 г. поддерживал тесные дружеские отношения (порванные Пястом после Октябрьской революции).

[5] Очевидно, имеется в виду Николай Дмитриевич *Соколов* (1870—1928) — видный петербургский юрист, присяжный поверенный, получивший известность в качестве защитника в ряде больших политических процессов. Член социал-демократической партии (меньшевик), Н. Д. Соколов в 1917 г. был членом Исполнительного комитета Петроградского совета и принимал участие в работе Чрезвычайной следственной комиссии, на заседаниях которой встречался с Блоком (см. VIII, 498).

[6] Евгений Васильевич *Аничков* (1866—1937) — литературовед и критик, близкий к руководящим кругам кадетской партии; после Октября — эмигрант.

[7] См. третье стихотворение цикла «Вольные мысли» («В северном море»), снабженное пометой: «Сестрорецкий курорт». Об этой морской прогулке рассказывает К. И. Чуковский в своих воспоминаниях о Блоке («Литературная Москва». М., 1956, стр. 784).

[8] Этот эпизод освещается следующими материалами. В 1916 г. Л. Н. Андреев, приглашая Блока участвовать в газете «Русская воля», писал ему: «Девять лет назад, ставши редактором сборников «Знание», я написал Вам пригласительное, в сотрудники, письмо, но оно не было послано: Горький восстал против участия Вашего и Сологуба, и кончилось тем, что я сложил с себя звание редактора сборника» («Реквием». Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930, стр. 87). Л. Н. Андреев известил А. М. Горького о желательности привлечь Блока, Ф. Сологуба и С. Ауслендера 22 июля 1907 г. В ответ Горький написал с Капри (26—30 июля 1907 г.): «Мое отношение к Блоку — отрицательно, как ты знаешь. Сей юноша, переделывающий на русский лад дурную половину Поля Верлена, за последнее время прямо-таки возмущает меня своей холодной манерностью, его маленький талант положительно иссякает под бременем философских потуг, обессиливающих этого самонадеянного и слишком жадного к славе мальчика с душою без штанов и без сердца. Нет, ты его оставь в покое года на три, может быть, он подрастет за это время и научится говорить искренно о простых вещах...» («Литературное наследство», т. 72, 1965, стр. 287). В 1912 г., выясняя с с А. М. Горьким историю их запутавшихся отношений, Л. Н. Андреев напоминал ему: «Кстати, ты помнишь, почему по возвращении с Капри в Россию я отказался редактировать сборник «Знание»? Я хотел пригласить Блока и Сологуба, но ты восстал против этого и дал невозможно резкие характеристики того и другого. Теперь Блок — в «Знании»...»(там же, стр. 333). На это А. М. Горький ответил: «Блок в «Знании», как пример моей непоследовательности,— плохой пример: Блока печатают Пятницкий и Миролюбов, а я, как и раньше, не вижу в этом нужды, но и мешать этому не хочу, ибо мое отношение к «Знанию» изменилось» (там же, стр. 338). Л. Д. Блок в ответном письме А. А. Блоку от 5 июля 1907 г. писала: «Новости ужасно интересные. Как хорошо, что ты в «Знании»; надо только в первый раз там что-нибудь важное для тебя напечатать. Хочу очень знать твои новые стихи; хорошо как, если они годятся! А Ауслендеру, конечно, совсем по-другому важно приглашение в «Знание»: это ему поможет стать серьезным писателем, поневоле будет подтягиваться. Я это ему выразила иносказательно, что «Знание» дает твердую почву и честное, заслуженное оружие в руки. А кто



Бусинька!

Зажгите лампадочки.
Завтра праздничекъ.
Мы васъ любимъ.

А мы ничего не сдѣлали,
Отложили рецензію,
Можетъ быть ночью
Сегодня напишемъ.
А можетъ быть и нѣтъ.

Буся. Бусинька.
Любуся. Зайцы.
Малая Бусинька.

Взялъ съ собой черновые [illegible] буду читать.

ЗАПИСКА БЛОКА
Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК
Автограф
Центральный архив литературы
и искусства, Москва

еще приглашен?» В результате вмешательства А. М. Горького Блок в 1907 г. к участию в сборниках «Знание» привлечен не был; лишь в марте 1912 г. стихи его появились (единственный раз) в XXXVIII сборнике. С. А. Ауслендер (см. о нем примеч. 12 к письму № 114) в сборниках «Знание» также не участвовал. В дальнейшем Горький пересмотрел свое отношение к творчеству Блока.

[9] См. примеч. 10 к письму № 114.

[10] Статья «О реалистах».

[11] Имеется в виду цикл «Вольные мысли».

[12] В большой и многотиражной газете «Русь», в разделе «Книги и писатели», в течение апреля — июня 1907 г. часто появлялись хроникальные заметки о писателях-символистах и отзывы на их произведения. В частности, много внимания уделяла газета Блоку, неизменно выделяя его из круга остальных символистов. В апреле в газете была напечатана большая статья М. Волошина о сборнике Блока «Нечаянная радость» (№ 101 от 11 апреля). В дальнейшем стихи Блока были похвалены в заметках, посвященных альманахам «Проталина» (№ 136 от 28 мая) и «Белые ночи» (№ 162 от 24 июня); в отзыве об апрельской книжке «Золотого руна» (№ 167 от 29 июня) было особо выделено «лишь одно произведение, заслуживающее внимания,— драма Александра Блока «Король на площади». О внимании газеты к Блоку свидетельствует также и заметка, появившаяся в № 152 от 14 июня: «Среди декадентов начинается раскол, отразившийся уже в № 5 «Весов». Намечается два течения: молодое и старое. Первое проявляет сильный наклон к реализму как в своем творчестве, так и в отношении к писателям-реалистам. Так, помещенная в № 5 «Весов» пьеса А. Блока «Незнакомка» наряду с персонажами прежнего типа вроде «Голубого» и «Звездочета» имеет действующими лицами «посетителей кабачка и гостиной», «двух дворников». По непонятным соображениям редакции, пьеса помещена только частью (одно «видение») и потому о целом говорить нельзя. Вообще такая система печатания — плохая услуга А. Блоку.— Того же А. Блока журнал «Золотое руно» пригласил вести критический отдел. Имеющая появиться первая статья его «О реалистах», написанная простым и ясным языком, сделает,

вероятно, эпоху в отношении декадентов к сотрудникам «Знания». Помещенная в том же 5 № «Весов» статья З. Гиппиус «Человек и болото», наоборот, развенчивает Л. Андреева за последние его произведения».

[13] Влиятельный театральный критик А. Р. Кугель — редактор журнала «Театр и искусство» — в своих «Заметках Профана» в крайне грубой форме отозвался о «первом видении» драмы Блока «Незнакомка», появившемся в «Весах» (см. «Театр и искусство» 1907, № 24, стр. 397—398). Блок узнал об этом из следующей заметки в газете «Русь» (№ 156 от 18 июня): «А. Блок вызвал своей «Незнакомкой», появившейся в «Весах», горячо негодующую статью критика «Театра и искусства».— Это, говорит критик, какой-то бред, да не простой, а претенциозный, рассчитанный на шум, на скандал. Тут все дико, начиная с самих персонажей и кончая их разговорами... Фразу одного из действующих лиц — полового («это непонятно, но весьма утонченно-с») критик «Театра и искусства» обращает против самого Блока... Негодование критика «Театра и искусства» понятно. Тот отрывок, который «Весы» напечатали, не может произвести иного впечатления. Это только «первое видение» из трех. Понять настоящий смысл всей вещи по этому отрывку более чем трудно, и негодующее недоумение критика вполне законно.— Плохую услугу оказали А. Блоку «Весы», разорвав на куски его пьесу! При всех своих странностях, она все же интересна. В ней чрезвычайно много общего, по характеру, с «Жизнью Человека» Л. Андреева, особенно с известной сценой «Бал Человека».

[14] *«Трагический зверинец»* — сборник рассказов Л. Зиновьевой-Аннибал (см. примеч. 3 к письму № 120).

[15] В. И. Иванов.

[16] Е. В. Аничков хотел привлечь Блока к участию в коллективной «Истории русской литературы», которую он редактировал совместно с проф. А. К. Бороздиным. Блоку было предложено написать статьи о лубочной литературе и о творчестве Н. А. Некрасова (см. «Письма к родным», стр. 155).

[17] Эта фраза приписана карандашом.

122

29 июня. Днем ⟨1907. Петербург⟩

Маленькая Люба.

Еще не послал тебе письмо, как получил твои розы. Все осыпались, и белые лепестки пожелтели, остались только красные — очень свежие. Я их рассыпал по столу. Жара смертная, а сейчас нужно писать о Городецком [1] — как тут писать?

Саша

[1] Раздел, посвященный сборнику С. Городецкого «Перун» в статье «О лирике» (V, 145—151).

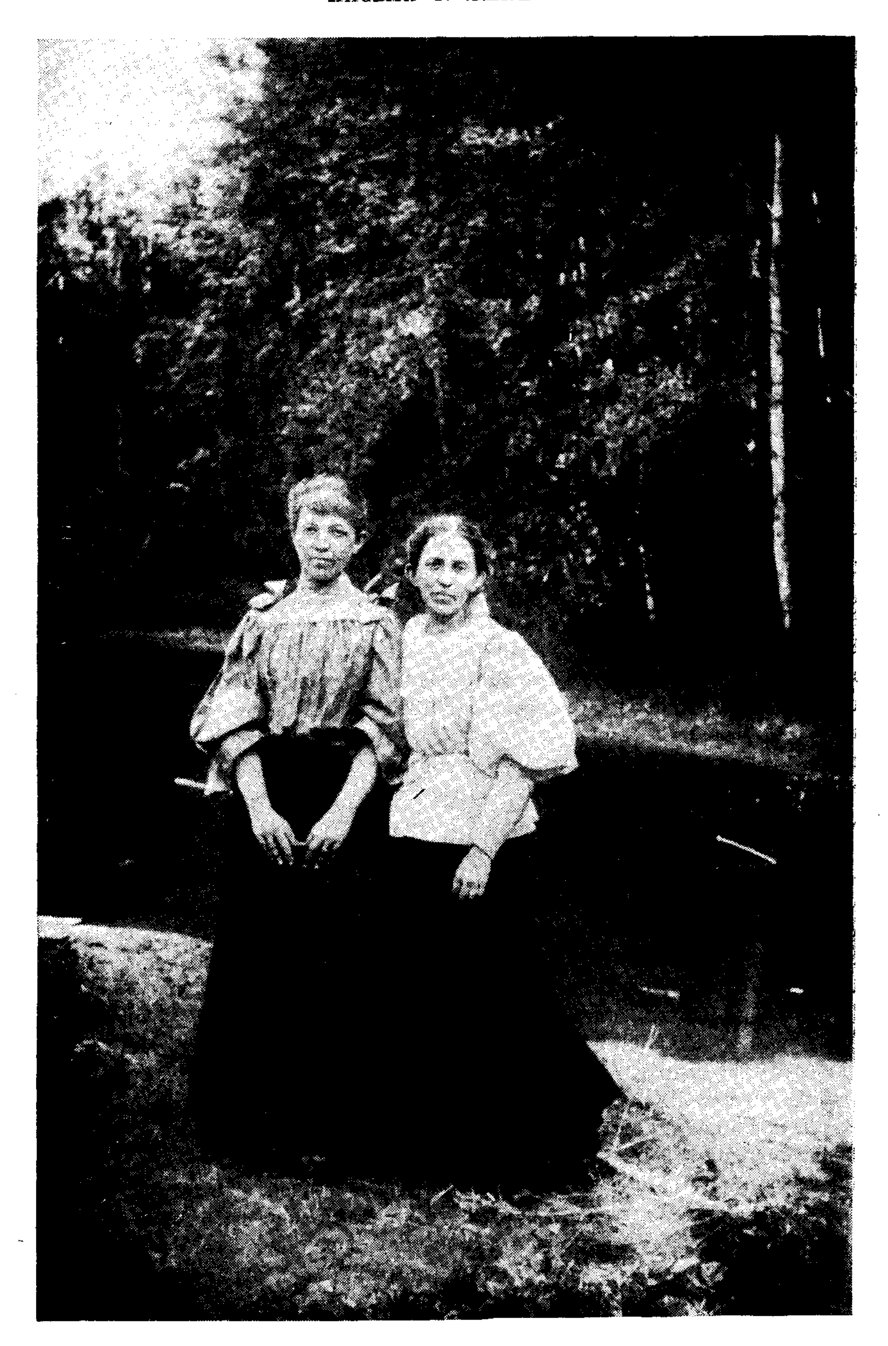
123

⟨2 июля 1907. Петербург⟩

Маленькая моя.

Я получил твое письмо с Бориным, и стало немножко неприятно, что опять начинается все это. Можно ли быть таким беспомощным человеком, как он! Посмотрим, что он тебе напишет. Письмо я выброшу, а Борю, в сущности, люблю, или только жалею — уж не знаю [1].

Статья о лирике подвинулась очень, скоро я надеюсь кончить ее, несмотря на то, что стоят мучительные жары, от которых мы все очень страдаем. Напиши мне поскорей, можно ли вещи свезти в мастерскую, потому что я хочу приехать в Шахматово после 10-го, может быть, прежде мамы, которой еще нужно получить деньги и справиться с укладчиком мебели.



А. А. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ (МАТЬ БЛОКА) И М. А. БЕКЕТОВА В ШАХМАТОВЕ
Фотография, 1890-е гг.
Литературный музей, Москва

Было, кажется, покушение на Леонида Андреева, очевидно — Союза р⟨усского⟩ н⟨арода⟩ [2]. Мы виделись последнее время с Городецким и Пястом. Я был на отпевании Ольги Кузьминичны [3] — один. Федор Кузьмич [4] был очень трогателен и, кажется, рад. Понес гроб — маленький, без шляпы, и вдруг — потерял туфлю. Тут я подошел и крепко поцеловал его. Потом мы шли за гробом, и он рассказал мне, что его, за выслугой срока, отставили от места инспектора [5] и дали крошечную пенсию — всего 500 рублей. Все это случилось одновременно. Что ему необходимо печататься, и он будет писать в «Руно» большую статью: «Вечная сестра» [6], что истинная трагедия потерять сестру, больше, чем потеря Прекрасной Дамы и матери. Потом мы ели кутью на могиле, и я ушел в город, купил тебе три журнала, уж не знаю, послать или привезти.

Напиши, Люба маленькая, поскорей.

Твой Саша

2 июля 07.

[1] Уже в конце 1905 г. взаимоотношения Блока и Андрея Белого сильно осложнились как на личной почве, так и в силу обозначившихся серьезных идейно-литературных разногласий (см. Вл. Орлов. Пути и судьбы. Изд. 2. М., 1971.— Очерки: «История одной любви» и «История одной «дружбы-вражды»). В феврале — апреле 1906 г. их личная драма, связанная с увлечением Андрея Белого Любовью Дмитриевной Блок, достигла предельного напряжения. Летом 1906 г., когда Блоки жили в Шахматове, А. Белый, по его же словам, «забрасывал» их «залпами писем» (адресованных главным образом Л. Д. Блок), весьма истерических по тону и содержащих обвинения в «лицемерии» и «мещанстве». В августе 1906 г. Блок и Белый встретились (в Москве) для объяснения, но встреча эта привела лишь к тому, что они «не простились». Вслед за тем А. Белый вызвал Блока на дуэль, которая, впрочем, не состоялась. В конце августа произошло новое свидание (в Петербурге), на котором сообща было решено не общаться в течение года. Переписка между Блоком и Белым постепенно затухала и в марте 1907 г. прервалась вовсе. К этому времени А. Белый перешел к открытым нападениям на Блока в печати (рецензия на сборник «Нечаянная Радость» в февральской книжке журнала «Перевал»). Между тем А. Белый, нарушив обещание, снова вступил в переписку с Л. Д. Блок. В письме из Шахматова от 29 июня 1907 г. она писала Блоку: «Вот тебе, во-первых, письмо, кот⟨орое⟩ я получила с прошлой почтой от Бори. Я отвечаю ему с этой⟨почтой⟩ очень большим письмом, в два моих голубых листка, на его вопрос «за что гоните?» Кажется, хорошо, но во всяком случае честно, без чертовщины. Пишу о его лжи, виляньях, притворствах, называю это «шулерством», имея хорошие карты в руках; о статье, об Сереже, как пример его деятельности за эту зиму; говорю, что теперь никакие уверения с его стороны об исправлении не уверят меня, а я сама ему скажу, когда он освободится от лжи, первая, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ прошла и его ложь и освобождение от нее. Говорю, что меня спасла любовь, а он свою любовь обратил в орудие лжи же, и ему остается только гимнастика и обливание холодной водой в переносном смысле. Под конец несколько слов схематичных, о моей теперешней жизни, как знак доверия к нему; что я теперь иду прямо на соблазны, и это лучшее средство, чтобы они распались⟨...⟩что жизнь легкая и веселая от волны событий; об актерстве моем; что от того, что было, не отрекаюсь, не боюсь этого, но благодарю бога за спасение. Вот и все». Письмо А. Белого к Л. Д. Блок, как выясняется это из письма А. А. Блока, было последним уничтожено. В следующем письме к мужу (от 9 июля) Л. Д. Блок писала: «Ты был совершенно прав относительно письма этого «Бори». Получила от него многолистное повествование о его доблести и нашей низости в прошлогоднем подлом тоне. Отвратительное! Сожгла сейчас же и пепел выбросила. Не хочу повторять его слова письменно, если тебе интересно будет, лучше расскажу. Одно утешительно, что как будто не собирается больше писать и ничего не просит, только отругивается. Я, во всяком случае, буду впредь отсылать его письма нераспечатанными.— Господи, как хорошо, что ты приедешь. ⟨...⟩Какой ты надежный, неизменно прямой,



БЛОК. «СНЕЖНАЯ МАСКА».
СПб., «Оры», 1907
Титульный лист и фронтиспис. Литография по рисунку Л. Бакста
С дарственной надписью Блока: «Любе. 10.IV.07»
Собрание В. Н. Орлова, Ленинград

самый достоверный из всех, а мне — спаситель, я даже думала просто — Христос, все лучшее, что я знаю или узнаю — в твоем духе, окрашено тобой. А «Боря» мне теперь и не представляется иначе, как антихрист, противоположный тебе и главный мой соблазн; теперь он побежден тобой и мое дело — знать и не поддаваться соблазну, и он мне совершенно не соблазнителен сейчас, но ведь и ты и я знаем меру моей глупости, когда она вдруг налетит! ‹...› А больше всего я хотела бы, и все об этом думаю — жить только тобой; но как? Как тебя не мучить этим и не мешать, а если не мешать, то не закиснуть? Хочется мне и сцену сделать только «занятием», не отдаваться ей и всему, что она порождает,— во мне это будет очень плохое. А к сцене возвращаюсь постоянно потому, что, ты знаешь, она единственное дело, для меня сносное, а без дела нельзя».— Через месяц, в начале августа 1907 г., конфликт между Блоком и А. Белым снова до крайности обострился: после резких литературных объяснений, в ходе которых А. Белый грубо назвал статью Блока «О реалистах» — «прошением», обвинив его в заискивании перед писателями враждебного символистам лагеря, Блок вызвал Белого на дуэль.

[2] Петербургская черносотенная газета «Свет» в № 168 от 29 июня 1907 г. сообщила, что 28 июня в Териоках два неизвестных покушались на жизнь Леонида Андреева (дважды выстрелили в него). Вслед за тем в прессе было указано, что сообщение «Света» — «совершенно вымышленно» (см., например, «Товарищ», 1907, № 309 от 4 июля). *Союз русского народа* — черносотенная организация.

[3] *Ольга Кузьминична* — сестра Федора Сологуба.

[4] Федор Кузьмич *Сологуб* (Тетерников) (1863—1926) — поэт, драматург и прозаик, одна из виднейших фигур русского символизма.

[5] Ф. К. Сологуб долгое время служил инспектором городского училища в Петербурге.

[6] По-видимому, речь шла о статье, посвященной хореографическому творчеству Айседоры Дункан. Статья эта, под заглавием «Мечта Дон Кихота», появилась в журнале «Золотое руно», 1908, № 1.

124

6 июля ‹1907. Петербург›

Люба, маленькая моя.

Статью [1] кончаю. Между 10 и 15 думаю приехать. Тогда расскажу разные новости ‹...›. Поедем вместе в П‹етер›б‹ург› в конце июля — искать квартиру? Напиши еще.‹...›

Твой Саша

Почему ты не получила моих писем — я послал 4.

[1] «О лирике».

125

7 июля ‹19›07. ‹Петербург›

Милая моя, я уж послал тебе сегодня заказное письмо — утром. Сейчас получил твое — интереснейшее. На все твои вопросы лучше буду устно отвечать [1]. Чувствую себя прекрасно. *Раньше* 14-го не уеду, потому что 13-го читаю в концерте в «Териоках» (устраивает Мейерхольд) [2]. Сегодня приходил приглашать Неволин [3]. Все пока хорошо, слава богу. Ты мне напиши еще, если успеешь, а я тебе пока не буду писать подробностей, лучше все расскажу.

Господь с тобой, миленькая моя.

Твой Саша

[1] Имеется в виду письмо Л. Д. Блок от 5 июля 1907 г., частично приведенное выше (см. примеч. 8 к письму № 121).

[2] В театре-казино финляндского курорта Териоки состоялся «Вечер нового искусства» под режиссерским руководством В. Э. Мейерхольда. Блок участвовал в первом, литературном, отделении (вместе с С. Городецким, С. Сергеевым-Ценским, К. Чуковским, Г. Чулковым и др. писателями).

[3] Борис Сергеевич *Неволин* — драматический артист.

126

Телеграмма

‹7 октября 1907. Лида Виленской губ.›[1]

Восьмого утром приедем с Борей Саша [2]

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] После очередного выяснения отношений в августе 1907 г. Блоки А. Белый возобновили переписку. В самом начале октября (1-го или 2-го числа) Блок получил от Белого телеграмму с просьбой принять участие в «Вечере нового искусства», который устраивала в Киеве редакция тамошнего журнала «В мире искусств» (Блок сотрудничал в этом журнале). Ответив согласием, Блок 2 октября выехал в Киев, где встретился с А. Белым и 4 октября выступил с чтением стихов в Киевском городском театре; А. Белый на этом вечере выступил с лекцией «Об итогах развития нового русского искусства» и со стихами. В Петербург Блок вернулся 8 октября вместе с А. Белым, который прожил в Петербурге примерно до середины октября, часто встречаясь с Блоками. О поездке в Киев см. в письмах Блока к матери от 9 и 13 октября 1907 г. (VIII, 213—215 и «Письма к родным», стр. 173—177) и в мемуарах А. Белого («Эпопея», 1922, № 3, стр. 284—306; «Между двух революций». Л., 1934, стр. 330—335).

В октябре-ноябре 1907 г. Блок написал статью «Литературные итоги 1907 года», где с горечью обрисовал картину творческого оскудения дворянской и буржуазной



Н. Н. ВОЛОХОВА
Фотография
Центральный архив литературы и искусства, Москва

интеллигенции, ее беспомощность перед лицом реакции, бесплодность религиозно-философских и эстетских словопрений: «А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране — реакция, а в России — жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны — в лоск исхудали от собственных исканий, никому на свете, кроме «утонченных» натур, не нужных,— ничего в России не убавилось бы и не прибавилось! ⟨...⟩ С религиозных собраний уходишь не с чувством неудовлетворенности только: с чувством такой грызущей скуки, озлобления на всю ненужность происшедшего; с чувством оскорбления за красоту, ибо все это так ненужно, безобразно» (V, 211—212).

Многочисленным альманахам в стиле «модерн» Блок противопоставляет «толстые журналы» второй половины прошлого века. «В те времена никто бы не потерпел того модернизма, который завелся в «Русской мысли», «Образовании», «Современном мире», как, впрочем, не потерпели бы ни современного Стасюлевича, ни современного «Русского богатства» в те блаженные времена, когда в квартире Н. А. Некрасова на Литейном проспекте велись горячие споры в демократическом папиросном дыму и писатели, стоя за конторкой, дописывали очередные главы своих романов для ближайшего номера. А теперь вот не только терпят, но и покупают и прочитывают альманахи, из которых добрая половина — одна литературная гнусность» (V, 220).

1908

127

1908. 17 февраля. Вечер ⟨Ревель⟩

Милая моя. Третий день кончается, как я в Ревеле [1]. Сегодня весь день болит голова и тоскливо. Вчера прочел маме драму [2], она очень одобрила, особенно — Елену [3]. Много говорила; я пишу об этом Н. Н.[4]

А ты сейчас играешь — в первый раз [5]. Как? Я жду письма.

Чувствую себя очень одиноко. Ходил по городу — скучный город. Писать даже не о чем, душа какая-то усталая, больная и пустая. Приготовляем мы с мамой сборник стихов [6].

У меня к тебе какое-то особенное, очень высокое отношение; так что подписаться под этим письмом я не умею.

[1] Блок навещал мать, жившую в Ревеле.

[2] «Песня Судьбы».

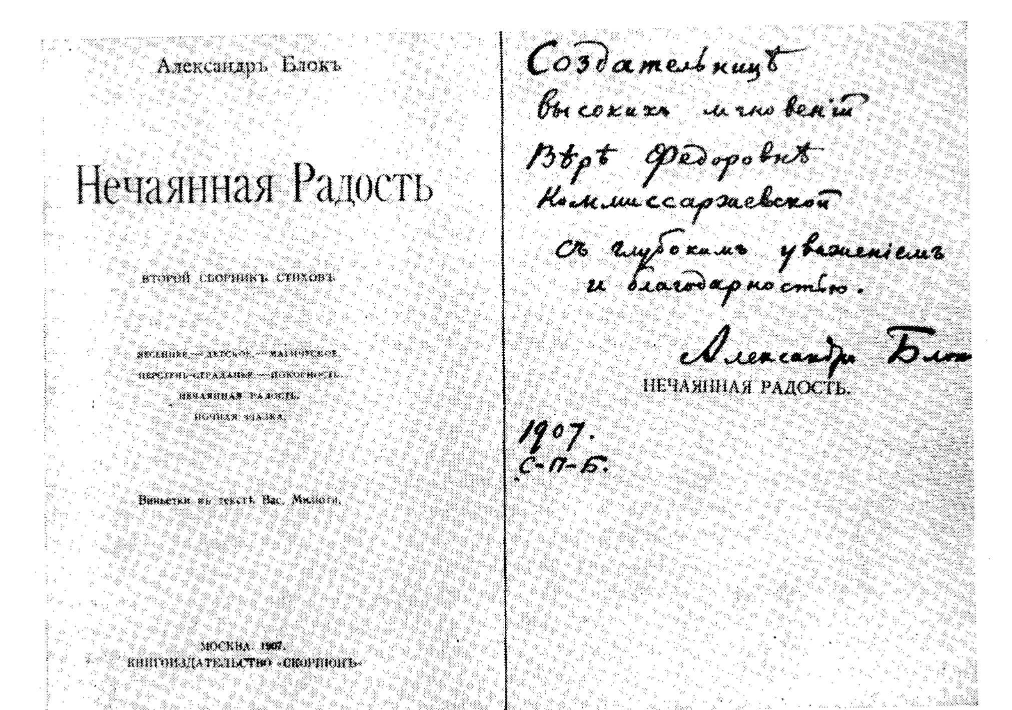
[3] Персонаж драмы «Песня Судьбы», прообразом которого была Л. Д. Блок.

Впоследствии Блок читал пьесу в кругу литераторов, внимательно выслушивая и обдумывая все замечания о произведении, которому придавал большое значение: «Я считаю, что здесь впервые «схожу с шаткой чисто лирической почвы» (как сегодня написал об этом Л. Н. Андрееву). И люблю теперь эту вещь более всех, написанных мной: она значительнее всех» (ЗК, 106). Здесь же Блок с какой-то особенной, застенчивой нежностью отметил: «На Елену никто не обратил внимания, кажется, — пусть так: милая моя останется укрытой от человеческих взоров — единственная моя».

О своих впечатлениях от чтения пьесы поэт писал матери 3 мая 1908 г.: «А я здесь один — кую свою судьбу и в прежней атмосфере влюбленности укрепляю мускулы духовные и телесные. Я живу «Песней Судьбы», которую на днях читал маленькому кружку (человек десять) и остался очень доволен впечатлением и отдельными критиками ⟨...⟩ Я собираю и тщательно выслушиваю все мнения как писателей, так и неписателей, мне очень важно на этот раз, как относятся. Это — первая моя вещь, в которой я нащупываю не шаткую и не только лирическую почву. Так я определяю для себя значение «Песни Судьбы» и потому люблю ее больше всего, что написал. Очень хочу прочесть ее тебе в новом, отделанном виде» (VIII, 240).

[4] Н. Н. Волоховой. Письма Блока к ней не сохранились.

[5] В декабре 1907 г. В. Э. Мейерхольд, незадолго перед тем покинувший театр В. Ф. Коммиссаржевской, собрал труппу для поездки по провинции. В труппу вошли: Л. Д. Блок, Н. Н. Волохова, В. П. Веригина, Н. А. Буткевич, Гордель, Ильинская, А. А. Юшкевич, А. А. Голубев, Б. С. Неволин, А. П. Зонов, А. И. Аркадьев, К. А. Давидовский, К. Э. Гибшман. Блок сообщил матери 27 ноября 1907 г.: «Знаешь ли ты, что Люба едет с Мейерхольдом на пост и на лето в поездку (с труппой) в западные города, потом — на Кавказ, потом, м. б., в Крым с Н. Н. ⟨Волоховой⟩ (летом). Она уже условилась с Мейерхольдом. Будет играть в провинции Коломбину, выходные роли и хочет — Клитемнестру. Н. Н. ⟨Волохова⟩ останется первый месяц поста здесь, а потом присоединится к труппе (на Кавказе). М. б., и я поеду?»(VIII, 218); *Коломбина* — в «Балаганчике» Блока, *Клитемнестра* — в драме Гофмансталя «Электра»; Н. Н. Волохова участвовала в поездке с самого начала. Л. Д. Блок выехала в поездку 15 февраля. Маршрут гастролей был следующий: Витебск, Минск, Могилев, опять


Александръ Блокъ

Нечаянная Радость

второй сборникъ стиховъ

Весенняя.—Дѣтское.—Магическое.
Перстень-страданье.—Покорность.
Нечаянная радость.
Ночная фіалка.

Виньетки въ текстъ Вас. Милюти.

МОСКВА 1907.
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «СКОРПІОНЪ»

Создательницѣ высокихъ мгновеній Вѣрѣ Федоровнѣ Коммиссаржевской съ глубокимъ уваженіемъ и благодарностью.

Александръ Блокъ

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ.

1907. С-П-Б.

БЛОК. «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».

М., «Скорпион». 1907

С дарственной надписью В. Ф. Коммиссаржевской: «Создательнице высоких мгновений Вере Федоровне Коммиссаржевской с глубоким уважением и благодарностью. Александр Блок. 1907. СПб.»

Институт мировой литературы АН СССР, Москва

Витебск, Смоленск, в дальнейшем — Николаев, Херсон, Одесса и Киев. Поездка труппы, возглавлявшейся В. Э. Мейерхольдом, оказалась малоудачной, материальный успех ее был ничтожен.

⁶ Третий сборник лирики — «Земля в снегу», вышедший в издательстве «Золотое руно» в июле 1908 г. Почему «с мамой»?

128

20 февр⟨аля⟩ вечером ⟨1908. Ревель⟩[1]

Что же ты мне не пишешь, моя милая. Послезавтра я уеду отсюда и в субботу буду в П⟨етер⟩б⟨ур⟩ге.

Пишу тебе с ревельского вокзала. По вечерам бываю тут или в кабачке и пью пиво. А днем — занимаюсь. Вообще — невесело. Результат — мы с мамой приготовили сборник стихов. Пусть он называется — «*Земля в снегу*». Первый цикл — «Подруга Светлая», первое стихотворение — «Люблю тебя, Ангел-Хранитель» [2].

Второе дело — я кончил вчерне «Семь принцесс» [3].

Чувствую себя грустно и пусто, хотя разговариваю с мамой. Должно быть, вообще, я сильно устал. Как-нибудь бы отдохнуть, пожить иначе и в новых местах.

Меня очень занимает, как ты играешь, довольна ли ты игрой, и можешь ли сделать какие-ниб⟨удь⟩ заключения. По тому, что ты не пишешь, я заключаю, что ты очень поглощена [4]. Но не расстроена ли, беспокоюсь.

[1] Было послано в одном конверте со следующим письмом от 23 февраля 1908 г.

[2] Это стихотворение, написанное 17 августа 1906 г. (в третью годовщину свадьбы Блока), обращено к Л. Д. Блок.

[3] В январе 1908 г. издательство «Шиповник» предложило Блоку перевести несколько пьес М. Метерлинка, а также ряд стихотворений из первого его сборника лирики «Serres chaudes» («Теплицы»). Блок приступил к этой работе, но не закончил ее. Наброски переводов не сохранились — погибли в 1918 г. при пожаре дома в Шахматове. «*Семь принцесс*» (1891) — пьеса М. Метерлинка.

О творчестве Мориса Метерлинка Блок не раз упоминал в литературно-критических статьях, отмечая, что бельгийский поэт и драматург прославился «описанием едва уловимых движений души, тончайших чувств в минуты любви, смерти, разлуки». «Метерлинк — один из тех, кому мы обязаны установлением тесной литературной связи между ранними романтиками начала XIX века и символистами конца века» (VI, 412—413).

[4] Приводим выдержки из писем Л. Д. Блок, посланных из Витебска. «Была уже «Беатриса» и «Балаганчик». Очень для меня незаметно, как на репетиции, а успеха не было никакого. Да и Аркадьев, который смотрел, говорит, что играли мы нехорошо. Перед «Балаганчиком» случился скандал: занавес еле поднялся на аршин и не пошел дальше, пришлось спускать большой и начинать опять, это очень помешало зрителям. После него не аплодировали, как и после «Беатрисы», всего несколько хлопков. Мейерхольд так волновался, что, играя священника в Беатр⟨исе⟩, вышел и забыл все слова, начал подавать усиленные сигналы суфлеру. Суфлер у нас очень смешной, пьяница и похож на Мазини. Вообще же у нас общий тон ужасно рабочий, целый день репетиции, все страшно устали, искусства как-то совсем не видно. Или работа, или хохочем как-то безрассудно, для отдыха⟨...⟩ Витебск смешной, точно большой Клин, и одна улица из Москвы, на которой мы живем в гостинице Бристоль, самой лучшей. У меня настроение очень странное — только работа, работа и очень приятно, когда можно посидеть, отдохнуть, и все забывается. С труппой дружественные отношения, очень хорошо относятся Зонов, Аркадьев, с Будкевич даже приятельские отношения... Вампира сыграла, говорят все, что хорошо, и мне приятно было, хотя весь спектакль шел ужасно, все путали все. Но публике нравилось» (письмо от 19 февраля; упоминаются: «*Сестра Беатриса*» — пьеса М. Метерлинка, «*Балаганчик*» — пьеса Блока, *Мазини* — известный итальянский певец). «Очень красивый Витебск, а мы и не знали ничего, кроме двух улиц до театра. Замучилась я совершенно за неделю от усталости, но сцену почувствовала только раз — когда очутилась в кресле одна перед театром в роли старушки в «Жизни Человека». Это была сцена, и такой позор от того, что я не играю так, как надо, что то, что я делаю, не искусство, что я вернулась в уборную, забилась в угол и долго ничего не было, кроме рыданий от всей глубины души. Но меня наши все принимают очень всерьез как актрису, это очень приятно и я горжусь. Относятся ко мне хорошо все, а часть — Зонов, Костин, Гибшман и Давидовский, которые все живут вместе и называют себя «наша квартира»,— и особенно, не без влюбленности, о чем очень смешно говорит Зонов. С Давидовским я затеяла легкий флирт, без этого невозможно: чтобы выносить всю эту безумную работу целого дня, все взвинчивают себя, по всем уборным беззаботный смех, хотя всем жизненно очень скверно, но тут все отпадает, от души и смех за кулисами, от души и флирт — но в той же области. До чего это реально — «актерский мир». До чего обоснован он, из всего человеческого существа, попавшего в такие условия, как работа на сцене,— по себе уже чувствую. За эту неделю игры как-то все свое прежнее было замкнуто, и жило все другое, и тоже настоящее и хорошее, право, потому что тоже чистое, тоже обоснованное. Все дело в том, чтобы за актерством не потерять свою человеческую душу, чтобы всегда можно было ее вскрыть в себе, а если и еще душа актрисы — еще богатство, еще новое. Рассказывать фактов не буду, ты узнаешь их от Н. Н., милый. Клитемнестра прошла все-таки мало заметно для меня⟨...⟩ Напиши в Минск, мы едем завтра. Мне будет еще роль интересная в пьесе Гамсуна «У царских врат», невеста⟨...⟩ Сегодня много говорили с Мейерхольдом и Аддой о театре. Мейерхольд хороший в конце концов, право» (письмо от 25 февраля. *Н. Н.* — Волохова, *Клитемнестра* — в пьесе Гофмансталя «Электра», *Адда* — А. А. Юшкевич, актриса).

129

23 февраля 1908. ⟨Петербург⟩

Милый друг мой.

Вчера в Ревеле я получил твое письмо, а сегодня пишу тебе уже из Петербурга. Прилагаю записку, которую не послал из Ревеля [1].

И здесь и в Ревеле — весна. Я чувствую ее.

Я очень много думаю о том деле, которым ты занята. У меня очень широкие и определенные планы в будущем. Вкратце — вот в чем дело: интеллигентный театр приходит к концу. Та интеллигенция, для которой играете теперь вы и остальные,— одинаково не может быть показателем реальности театрального дела. Современный репертуар — от Шпажинского [2] до Метерлинка — может быть подвергнут критике и подлинному суду — *не* перед лицом этой интеллигенции, для которой *все* равно забавно или скучно, а только перед лицом будущего: 1) отдаленного; тогда — нужно слушать Вагнера, Нитче, Ибсена, социалистов, философов и т. д. 2) пред лицом *ближайшего* будущего, в котором единственно реальным и имеющим почву учреждением по части театра будет *народный театр*. Только народ покажет истинную ценность той драматургии, о которой умирающая интеллигенция может судить только случайно и необоснованно. Вот почему так остро стоит вопрос о *мелодраме*, о *пользе* (русский утилитаризм), о *содержании*.

Статистика показала с очевидностью, что 1) театр необходим для народа, и в России развивается очень успешно народный театр, 2) что народу чужды и отвратительны какие бы то ни было тенденции и поучения со сцены, 3) что народ способен воспринимать и ценить именно тот пафос высокой драмы и трагедии (например, «Гроза» [3]) и высокой комедии (например, «Женитьба» [4]), который более не воодушевляет современную театральную публику, но о котором мечтают передовые люди эпохи.

Только в том театре, который имеет реальную почву под собой, 1) *сам собою* разрешится совершенно спорный для *нас* вопрос о нужности или ненужности Метерлинка, Гофмансталя, Ведекинда и т. д. [5]

2) Сами собой отпадут *модные* и *тоже* неразрешимые теперь вопросы о первенстве режиссера или автора, об актерских соревнованиях и интригах, доходящих до абсурда, и т. д.

Реальную почву может иметь теперь, конечно, только *народный* театр, в самом широком смысле (фабричный, сельский, солдатский и т. д.), потому что только *свежая* публика достойна уважения, а без публики — нет театра (независимо от всех возможных «Студий», которым можно предоставить самое широкое развитие). Потому необходимо приглашать всех вас ⟨стоющих⟩ к этой работе, в которой место нудных вопросов о количестве таланта, техники, голоса и т. д.— занимает *живая работа*.

На эту тему, я, вероятно, и прочту лекцию [6]. Мне очень интересно бы знать, что думает об этом Мейерхольд, и знаешь ли ты всю *нереальность* теперешней вашей работы (независимо от техники, навыка, ученья и т. д.). Поговори с Мейерхольдом об этом и напиши мне свое и его мнение [7]. То, что я говорю, более чем реально и, по-моему, истинно *празднично*.

В вашей труппе я считаю очень важными для дела *народного* театра — Наталью Николаевну [8], тебя (по всей вероятности) и (очень возможно) — Мейерхольда, изобретательность которого можно направить по очень хорошему руслу.

Ты довольна своей игрой в «Электре» [9]? Я сейчас не могу еще прислать тебе 30 рублей, но, когда получу, пришлю. Мама, верно, напишет тебе. Напиши ей неск⟨олько⟩ слов. Я в Ревеле купил у букиниста великолеп-

ный театральный журнал (старый немецкий) и картинки (между прочим, «Электра», «Медея» и мн. др.).

Милая, я бы очень хотел обо всем этом с тобой поговорить. А что же декоратор [10]?

[1] Т. е. письмо № 128 от 20 февраля 1908 г.

[2] Ипполит Васильевич *Шпажинский* (1844—1917) — плодовитый драматург, автор популярных в свое время, но малохудожественных пьес на исторические и современные сюжеты.

[3] Драма А. Н. Островского.

[4] Комедия Н. В. Гоголя.

[5] В сентябре-октябре 1907 г. Блок резко отрицательно отозвался о пьесах Ф. Ведекинда «Пробуждение весны» и М. Метерлинка «Пеллеас и Мелисанда» в постановке В. Э. Мейерхольда (см. V, 194—202).

[6] 18 марта 1908 г. Блок выступил в Театральном клубе с публичной лекцией о современном состоянии русского театра. Лекция эта легла в основу большой статьи Блока «О театре». В самом начале статьи Блок заявляет: «Тема моя — *русский драматический театр ближайшего будущего*» (V, 241). Характеризуя современный театр, Блок цитирует статью А. В. Луначарского «Социализм и искусство» («Театр. Книга о новом театре». СПб., 1908): «Итак, нужен или не нужен театр? Так же, как я знаю, что внешним образом все или почти все ответят мне: «Нужен», так же я знаю, что все скроют от меня свое самое тайное, самое глубокое сомнение. Ибо — где же *критерий?* ⟨...⟩ «Театр не вышел из своего угнетенного состояния. О нем много пишут и говорят, на него тратят много денег, но как культурная сила он остается величиной ничтожной. *Театр остается местом развлечения.* Это развлечение бывает иногда красиво, изящно, *не без идейного оттенка*, чаще грубо, вульгарно, низменно; *но уже одно отношение к театру как к развлечению губит его.* Драматурги знают «свою публику», публика привыкла к «своим драматургам», и вечера, миллионы вечеров в тысячах дорогих и простеньких театров мира представляют из себя такое же убивание времени, как винт».

Это — цитата из замечательной статьи Луначарского — о социалистическом театре» (V, 262). «Более, чем какой бы то ни было род искусства, *театр* изобличает кощунственную бесплотность формулы «искусство для искусства». Ибо театр — это сама плоть искусства, та высокая область, в которой «слово становится плотью» (там же, 270). Рождение нового в театральном искусстве Блок связывает с развитием лучших традиций народного театра и героической мелодрамы. Именно на этих путях видит он возможность идейного, творческого сотрудничества народного зрителя с прогрессивной частью интеллигенции: «В том пути, который прошел *русский народный театр* менее чем за сорок лет своего существования, я вижу реальнейшее предвестие театра ближайшего будущего, а в развитии *мелодрамы*, которая теперь на устах у людей самых противоположных лагерей,— первый шаг навстречу новому театру действия и страстей. Я только резюмирую кратко:

История народного театра показала с непреложностью, по меньшей мере, следующее:

1) Рабочие и крестьяне действительно нуждаются в театре и, при всей случайности постановки этого дела у нас, доказали, что они требуют от театра *не только* развлечения, а чего-то более высокого, я полагаю — высокого искусства, как это явствует, например, из эффекта постановки «Грозы» Островского или «Женитьбы» Гоголя.

2) Свежие зрители народных театров чуждаются всяких тенденций, как это явствует, например, из протеста германских рабочих на партейтаге социал-демократической рабочей партии в Бреславле «против стремления социалистических беллетристов кормить их изображением их утомления, нужды, унижения и т. п. Рабочие заявили, что далеко предпочитают старого Шиллера» (цитирую по статье Луначарского в той же книге «О новом театре») ⟨...⟩

Уже в самом понятии «*народный театр*» содержится указание на переходность эпохи. Понятие предполагает наличность «народа», который ни в чем не согласен с «интел-



«ЛЮБА И САША ДЕЛАЮТ ВЕЛИКОСВЕТСКИЙ ВИЗИТ»
Шуточный рисунок Блока
Центральный архив литературы и искусства, Москва

лигенцией», оторван от нее, не может подойти к ней так же, как и она никогда не соблаговолит «снизойти» до него. Мы знаем, что даже в наши дни понятие это наполовину устарело, что кадры «интеллигенции» неустанно пополняются все новыми силами, которые не сегодня-завтра возвысят свой голос, предъявят новые требования, запоют новые песни. Те из нас, кто ждет от них нового, свежего и сильного, должны быть во всякую минуту готовы к торжественной встрече» (там же, 272—275).

[7] В письме от 29 февраля Л. Д. Блок ответила: «Сидим в мансарде у этих младших актеров<...> А то у Мейерхольда, у него и серьезно говорим. О твоем письме, например. Я думаю, уже из того, что я тебе писала случайно, ты видишь, что твоя формулировка может служить заключением к моим собственным переживаниям и мыслям. Да, это так. О, как я люблю театр. Я совсем, совсем в родной стихии! И не чужая я ему, чувствую, что скоро я стану совсем приемлемой актрисой. Я играю теперь роль Натали Хо-

винд в «У царских врат» Гамсуна. Это хорошая роль, реальная и честная, меня радует безумно».

[8] Н. Н. Волохова.

[9] См. выдержку из письма Л. Д. Блок от 25 февраля (примеч. 4 к письму № 128).

[10] Вопрос относится к следующему месту письма Л. Д. Блок от 19 февраля: «Есть у нас декоратор Костин, который, кажется, понял, какая я особенная, говорил что-то о твоих стихах и что он меня по ним узнал, и все со мной разговаривает, у него старческое лицо, хотя он молодой, и он жалкий, только бы не влюбился». Константин Константинович *Костин* — театральный художник, позже работал в театре Корша.

130

〈27 февраля 1908. Петербург〉[1]

Милая. Я сейчас получил твое второе письмо. Солнечное утро (27). Мне хочется тебе писать не о событиях, а о тебе и себе. Дело в том, что зима была страшно тяжелая. Я чувствую, как весеннее солнце лечит какую-то глубокую, долго не заживавшую рану в душе. Иногда бывает восторженно, как в ранней юности. Я чувствую, что у меня опять станет свежей душа. Я постоянно думаю о тебе, и по-настоящему, до глубины, т. е.: «В царство времени все я не верю...» [2]. Для меня с новой силой необходим Вл. Соловьев. Меня вдохновляют все мои глубокие исторические воспоминания — Лидо [3], Германия и все, что я пережил когда-то. Мое знание очень углубляется. Мое знание о тебе — с особенной силой. В прежних столетиях я вспоминаю тебя. Но твое происхождение теряется в каких-то глухих тропах времен — приблизительно, на тех дорожках, где случайный народ ставил на горных подъемах для случайных путников — изображения богов, и они были для путешественников алтарями и вехами. Глубже мои исторические воспоминания не идут, и медлят здесь в нерешительности, т. к.— следующие предки твои непосредственно касаются астральных областей. И там твои пути уже совершенно скрещиваются с другими — и других цветов и сущностей,— но там такая сложность, что я еще не могу сделать выводов, хотя имею много подозрений о линиях, цветах и направлениях. Тебе, вероятно, сейчас это чуждо? Если нет, напиши. А. А. Юшкевич [4] знает в этой области чрезвычайно много — для женщины даже слишком.

Завтра — вернисаж Союза [5]. Сегодня мы идем с Н. Н. [6] на выставки Нового общества [7] и Борисова-Мусатова [8]. На днях выходит «Руно» с портретом и стихами [9]. В конце 3-й или нач〈але〉 4-й недели я читаю лекцию о театре [10]. Вышли пьесы [11] (пришлю скоро). Конверты и пр. привезет Н. Н. Перевожу Метерлинка («Алладина и Паломид» — очень замечательная вещь) [12].— Все, что ты пишешь о своем отн〈ошении〉 к театру и о его атмосфере,— мне близко и понятно. Нужны ли тебе деньги? Я могу скоро прислать.— Городецкий женился 15 февраля.— Сборник моих стихов [13] почти приготовлен. Таков «календарь писателя». Получила ли ты письмо о народн〈ом〉 театре? Напиши репертуар, числа и города, и, вообще, когда не трудно, всегда пиши.

[1] Датируется по числу, упомянутому в тексте, и по дате почтового штемпеля получения (29 февраля 1908 г.).

[2] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «У себя»:

В царство времени все я не верю,
Силу сердца еще берегу,
Роковую не скрою потерю,
Но сказать «навсегда» — не могу.

[3] Не совсем ясно, что именно в данном случае имел в виду Блок. *Лидо* — название морского побережья в Венеции. Судя по стихотворению Блока «Мы шли на Лидо в час рассвета...», написанному 11 декабря 1903 г., он применял это название к какой-то приморской части окрестностей Петербурга, связанной для него с воспоминаниями о встречах и прогулках с Л. Д. Менделеевой.

[4] Ада Адамовна *Юшкевич* (Ада Корвин) — актриса театра В. Ф. Коммиссаржевской, участница гастрольной поездки 1908 г., подруга Л. Д. Блок; позже выступала как танцовщица-«босоножка»; умерла в 1919 г. в Риге.

[5] Открытие ежегодной выставки Союза русских художников. Блок был на открытии и через несколько дней писал матери: «А выставка Союза удивительно хорошая, жаль, если ты не увидишь» («Письма к родным», стр. 197).

[6] Н. Н. Волохова, приезжавшая в Петербург на несколько дней.

[7] Выставка «Нового общества художников».

[8] Виктор Эльпидифорович *Борисов-Мусатов* (1870—1905) — художник, писавший в духе импрессионизма; его излюбленные сюжеты — пейзаж и быт старой дворянской усадьбы.

[9] В январской книжке журнала «Золотое руно» за 1908 г. был помещен большой цикл юношеских стихотворений Блока «За гранью прошлых дней», с приложением цветной репродукции известного портрета Блока работы К. Сомова.

[10] См. примеч. 6 к письму № 129.

[11] Сборник Блока «Лирические драмы» — изд-во «Шиповник». СПб., 1908.

[12] См. примеч. 3 к письму № 128. «*Алладина и Паломид*» (1894) — пьеса М. Метерлинка.

[13] «Земля в снегу».

131

7 марта ‹1908. Петербург›

Моя милая.

Хочу получить от тебя письмо. Немного беспокоюсь. Я живу очень тихо — дал зарок не пьянствовать. Ложусь и встаю рано, пишу большую лекцию, буду читать ее 18-го [1]. Андреев прислал мне «Царь Голод» с очень хорошей надписью [2]. Это — очень замечательное произведение.

Вспоминаешь ли ты обо мне?

[1] Лекция о театре, прочитанная в Театральном клубе.

[2] На экземпляре драмы Л. Андреева «Царь Голод» (изд-во «Шиповник», СПб., 1908), сохранившемся в составе библиотеки Блока (Институт русской литературы АН СССР), имеется следующая дарственная надпись автора: «Дорогому Александру Александровичу Блоку — с крепкой верой в его прекрасный талант и светлое будущее. Леонид Андреев».

Анализируя пьесу «Царь Голод» в статье «О театре», Блок писал: «Да, мы накануне «великого бунта». Мы— накануне событий, и то, что не удалось один, другой и третий раз — удастся в четвертый» (V, 258). «Та *действительно* великая, действительно мучительная, действительно *переходная* эпоха, в которую мы живем, лишает нас всех очарований, и на всех перекрестках подстерегает нас какая-то густая мгла, какое-то далекое багровое зарево событий, которых мы все страстно ждем, которых боимся, на которые надеемся. Кажется, ярче всех до сих пор трепет нашего рокового времени выразил тот же Леонид Андреев» (V, 257).

132

21 марта ‹19›08. ‹Петербург›

Я сейчас только получил твое письмо. Очень давно не получал — и беспокоился. Ты пиши мне чаще, хотя бы и коротко.

Я думаю о тебе каждый день. В твоих письмах ты точно что-то скрываешь. Но мне можно писать все, что хочешь. И даже — должно [1].



БЛОК

Фотография, 1907

С дарственной надписью К. А. Сомову (на обороте)

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

Я радуюсь принципиально вашему провалу [2]. Может быть, хоть кто-нибудь из вас очнется от сна. Беспочвенности и усталости я *одинаково* не принимаю к сердцу — им нет места среди *нас — художников*. И потому многим из вас я только могу пожелать: «что делаешь — делай скорее» [3].

О тебе я до сих пор не знаю — можешь ты или не можешь служить искусству. Может быть, да.

Моя лекция [4] имела, в сущности, большой успех. Читал я хорошо. Получаю все любовные письма [5]. Очень широкие планы на будущее и много реального дела. Живу очень замкнуто — не пью уже давно ни капли.

Прошу тебя писать мне, потому что я думаю о тебе больше, чем о ком бы то ни было. О тебе и о *долге*. Не забывай долга — это единственная музыка. Жизни и страсти без долга нет [6].

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ БЛОКА К. А. СОМОВУ
(НА ОБОРОТЕ ФОТОГРАФИИ, СТР. 224)

«Константину Андреевичу Сомову с нежной привязанностью, с любовным воспоминанием о милых сеансах. Александр Блок. 4 мая 1907»

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

[1] Блока встревожили неясные намеки в письмах Л. Д. Блок. Так, например, 11 марта она писала: «Конечно, вспоминаю я о тебе, милый, но творится со мной странное. Я в первый раз в жизни почувствовала себя на свободе, одна, совершенно одна и самостоятельна. Это опьяняет, и я захлебываюсь. Я не буду писать тебе фактов. Бог с ними. Знаю одно, что вернусь к тебе, что связана с тобой неразрывно, но теперь, теперь — жизнь, мчащаяся галопом, в сказочном весеннем Могилеве<...> Сцена — необходимое для меня совершенно. Я еще не актриса, но буду, буду ей. О, как бы хорошо, если бы ты ждал меня и не отрывал от себя. Мне так будет нужно вернуться. А теперь надо и хорошо, чтобы я жила моей безумной жизнью». Также — в письме от 16 марта: «Как ты, что думаешь обо мне? Мне так хотелось бы, чтобы ты жил хорошо, хотя бы мама была с тобой. Думай обо мне хорошо. Мне надо стать актрисой, а тут нельзя

знать преград, надо все, все принять. Мне надо, чтобы опять задрожало в груди вдохновение, как в молодости,— это-то и есть то, что делает актрису и этого у меня нет еще 〈...〉 Не хочется писать мои похождения — может быть, сейчас уже все кончено, может быть, и еще хуже будет — не знаю. Много хорошего в этой безалаберности все-таки».

[2] О провале гастролей Л. Д. Блок сообщала в письме от 16 марта: «Тифлиса не будет, мы очень прогорели, денег дали всем по 10—15 рублей, еле-еле выбраться из Смоленска. У нас осталось едва на носильщиков и извозчика в Николаеве и несколько копеек на еду». Дальнейший маршрут гастрольной поездки: Николаев — Херсон — Полтава — Екатеринослав.

[3] Цитата из Евангелия от Иоанна (XIII, 27) — одно из излюбленных Блоком изречений (см., например, стихотворение «Ну, что же? Устало заломлены слабые руки...», первоначальный набросок которого датирован 5 февраля 1908 г.).

[4] «О театре». К данному письму была приложена печатная программа лекции Блока, прочитанной 18 марта в Театральном клубе.

[5] «Получаю часто какие-то влюбленные письма от неизвестных лиц, и на улицах меня рассматривают»,— писал Блок матери 5 марта («Письма к родным», стр. 198).

[6] О «долге» как ритме нашей жизни, определяющем все сферы деятельности человека, о должном и недолжном в искусстве Блок писал в статье «Три вопроса», напечатанной в журнале «Золотое руно», 1908, № 2: «Каждый художник, я думаю, должен быть публицистом в душе»,— говорил Михайловский. И особенно свойственно это русскому художнику. Вечно проклятым для него вопросом был «утилитаризм», и не одному символизму пришлось ломать копья об этот камень, неизменно попадающийся на всех путях.

Перед русским художником вновь стоит неотступно этот вопрос *пользы*. Поставлен он не нами, а русской общественностью, в ряды которой возвращаются постепенно художники всех лагерей. К вечной заботе художника о форме и содержании присоединяется новая забота *о долге*, о должном и не должном в искусстве. Вопрос этот—пробный камень для художника современности 〈...〉 В сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, которое произвело его, художник находит силу ритмически идти единственно необходимым путем» (V, 237—238).

133

22 марта 1908. 〈Петербург〉

И второе твое письмо я получил. Мне оно необыкновенно радостно [1]. Я тоже спокоен и тоже много чувствую сил и молодости. Я совершенно разучился писать к тебе и пишу всегда не то, что хочу. Я хотел бы написать совсем другое, но ты знаешь и так.

[1] Приводим выдержки из двух писем Л. Д. Блок, посланных из Николаева. Из первого письма от 17 марта: «Дорогой мой, безумно тебя люблю и тоскую о тебе. Здесь нежный, весенний юг, голубой и розовый, мраки и огни кулис далеко, я одна с милой девочкой Адой, я свободна, смотрю на голубое небо и голубой разлив и тоскую о тебе. А горький осадок последних дней тает в душе, уходит. О, что, что ты скажешь мне? Как ужасно расстояние. Здесь я на краю света, небывалое что-то эта Россия. Нельзя ничего себе представить о ней, не видя. Вот Запад весь знаешь, весь чувствуешь а «в Россию надо только верить», до того она неуловима, неизвестна, неожиданна. Вот видела несколько народов и знаю, что они есть все неплохие, все новые, а что остальные? Вот теперь Николаев — плоский, раскидистый, белый. Хорошо, море близко, и о тебе, о тебе поется здесь, о чистом, нежном, ненаглядном. Хочется окружить тебя нежностью, заботиться о тебе, быть с тобой в Шахматове. А тут опять налетят эти огни кулис и «красные плащи»〈...〉 Но посмотрим, посмотрим, как встречу я их теперь. Забавно мы ехали с Адой, в третьем классе — грязном-прегрязном, с мужиками. После



ШУТОЧНЫЙ РИСУНОК БЛОКА (БЛОК И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК У ЕЛКИ)
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Харькова ехала целая компания малороссов с‹оциал›-д‹емократов› с суда по поводу какой-то забастовки. Так и пахнуло революцией, здоровенной такой, из глубины натуры...» («*В Россию надо только верить*»—неточная цитата из стихотворения Тютчева: «Умом Россию не понять, /Аршином общим не измерить:/ У ней особенная стать —/ В Россию можно только верить»). В письме 21 марта: «Мы исходили весь Николаев, были в порте — невыносимо хорошо: зеленый бесконечный Буг, переходящий в залив,— почти море и каменная набережная мола, восторг страшный. Вот мне хотелось тебе сказать, что опять я очень нежно-нежно с тобой... Мой ненаглядный, безумная я, измученная душа, но люблю тебя, бог знает что делала, но люблю, люблю, люблю и рвусь к тебе».

134[1]

4 апреля ‹19›08. ‹Петербург›[2]

Милая, ты знаешь сама, как ты свободна. Но о том, о чем ты пишешь, нельзя переписываться. Я совершенно не знаю ваших маршрутов и не имею понятия, куда писать. Это письмо пишу наугад. Твоего письма я не понимаю, т. е. не понимаю того чувства, которое было у тебя, когда ты писала. Может быть, не понимаю от своего теперешнего равновесия. Но, чем больше я в равновесии, тем больше знаю реальное.

Что тебе написать, совсем не знаю. Ты пишешь мне, как чужая,— не так ли? Знаешь ли ты, насколько важно для меня твое письмо и имела ли ты какое-нибудь отношение ко мне, когда его писала? Ты пишешь, что я могу спрашивать. Я спрашиваю прежде всего, представляется ли тебе все будущее совершенно вне меня, или ты просто можешь судить теперь только о близком будущем?

Только эти вопросы. И то — слишком трудно задавать их в письме. А что,— письмо твое написано из самой глубины? Или — ты не знаешь теперь своей глубины?

Я пишу очень сухо. И стараюсь только простейшее. Я не знаю, как ты можешь понять меня «*там*»? И можешь ли понять.

Ты пишешь до такой степени странные вещи о деньгах, о «честности» и т. п. Из этого я заключаю, что ты не понимаешь больше меня.

Писать это письмо мне трудно.

Куда писать [3]?

[1] На конверте помета Блока: «Очень нужное».

[2] Написано, вероятно, в ночь на 4 апреля или утром этого дня (см. письмо 136).

[3] Это письмо является ответом на следующее письмо Л. Д. Блок от 29 марта, из Херсона: «Милый, ты, должно быть, не получил одного важного моего письма из Могилева — тогда ты не говорил бы, что я что-то скрываю. Так, конечно, тебе не понятны мои письма. Я не писала там ничего прямо, зная, что ты не любишь знать точно все мое личное, вне тебя. Теперь должна сказать. Вот в Николаеве пришла нежность к тебе, а теперь опять живу моей вольной богемской жизнью. Я не считаю больше себя даже вправе быть с тобой связанной во внешнем, я очень компрометирую себя. Как только будет можно, буду называться в афишах Менделеевой. Сейчас не вижу, и вообще издали говорить об этом нелепо, но жить нам вместе, кажется, невозможно; такая, как я теперь, я не совместима ни с тобой, ни с какой бы то ни было уравновешенной жизнью, а вернуться к подчинению, сломиться опять, думаю, было бы падением, отступлением. и не дай этого бог. Ты понял, конечно, что главное тут влюбленность, страсть, свободно их принимаю. Определенней сказать не хочу, нелепо. Вернусь в Петербург в 20-х числах мая, тогда все устроим внешнее. Деньги твои получила; какие это, милый? Я ничего не помню, ты писал как-то, что должен, разве это так? А если присылаешь сам,— не надо, я не могу больше брать у тебя, мне кажется». Приписка: «Прошел день, и что написала — еще определенней: нельзя мне больше жить с тобой — нет почему бы и нечестно. Единственное для меня очень неприятное затруднение — это что мне будет удобно и просто, а тебя бросаю на кучу неприятностей,— это ужасно нелепая, хотя и мелкая, досадная задержка. Но мама будет в Петербурге на будущий год? Напиши, будешь ли ты с ней и где она? Я хотела бы написать ей. Ответь скорей и спроси, что хочешь знать, я все могу сказать тебе о себе».

135

Телеграмма

4 апреля 1908. Петербург [1]

Куда писать жду еще письма.

[1] Дата телеграфного бланка.

136

4 апреля ‹19›08. Петербург.

Люба, вчера я получил твое письмо и ответил на него наугад и очень случайными словами: такое оно произвело на меня действие. В ту минуту, как я получил его, все совершенно перевернулось; то же самое и сейчас — сегодня вечером.

Сегодня я послал тебе телеграмму. Самое досадное и ненужное, что никто не пишет мне адреса и я не имею возможности писать почти никогда — тебе. Неужели ваши театральные дела до такой степени плохи, что вы случайно мыкаетесь по каким-то городам, без всякого толку. Я слышу от самых посторонних людей о провалах и каких-то неблаговидностях. Не могу сказать, чтобы это было очень приятно. Для меня это начинает пах-

БЛОК
Фотография, 1907
Институт русской литературы
АН СССР, Ленинград



нуть какой-то крайней пошлостью, чрезвычайным легкомыслием и дисгармонией, вслед за которой легко может последовать обыкновенное «наплевать». Я бы мог очень много об этом говорить, но не время теперь, да и ты не поймешь.

Прошу тебя, прежде всего, не пиши теперь ничего маме, ей и так трудно жить, она в Ревеле, она со мной жить не может и я не могу тоже, вероятно. Я давно уже живу один, и единственное мое больное место — отсутствие твоих писем.

Мне писать опять трудно, как и вчера. Слишком много разнообразных чувств и мыслей. Но необходимо сказать тебе, хотя, может быть, и не дойду до твоего сознания.

Впрочем, очень немногое: если ты еще будешь писать о том же и если уж надо об этом писать, то нельзя ли более досказанно? Мне нужно знать,— полюбила ли ты другого, или только влюбилась в него? Если полюбила — кто это? По твоему письму я могу думать, что не полюбила, потому что человеку с настоящими чувствами не могут приходить в голову такие нелепости и такой вздор, как ты пишешь—о маме, о деньгах, о квартирах, о неудобствах. Таких вещей нельзя писать в *таких* письмах, по крайней мере,— *мне.* И все-таки я могу все допустить,— и подозревать, что письмо написано со страшным легкомыслием. И всего страшнее то, что теперь опять много дней не будет от тебя ни слова.

Право, квартирные вопросы — второстепенны, и твоя «заботливость» в таком письме, где ты пишешь, что «жить со мной — нет почему бы и нечестно»,— совершенно отталкивающая для меня.

Ты пишешь даже без запятых, потому в одном месте я могу истолковать письмо двояко, и по одному так, что не дай бог. Нельзя же писать *так* опять-таки, пойми, что все это сряду — почти насмешка.

Очень нелегко писать, не видя тебя. И неизвестно — куда. Но прошу тебя, ответь мне, если ты имеешь ко мне какое-нибудь отношение, и раз уж ты начала все это писать. Помни о том, что, во-первых, я считаю пошлостью разговоры о правах и обязанностях и считаю тебя свободной. Во-вторых, ненавижу того человека, с которым ты теперь.

Пиши заказными. Название города или ближайших городов лучше телеграфируй.

Этим летом будет 10 лет нашего знакомства. Напиши мне все главное откровенно и определенно. Всего хуже — не знать. Что бы я ни узнал, мне будет вдвое легче.

Благословляю тебя.

137

Телеграмма

14 апреля 1908. Петербург [1]

Телеграфируй как доехала [2].

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] 8 апреля 1908 г. Л. Д. Блок приехала в Петербург на несколько дней и объяснилась с А. А. Блоком; 12 апреля, в «Страстную субботу», она вновь уехала — в Киев, где продолжались ее гастроли. В ответ на данную телеграмму Блока она в тот же день телеграфировала из Киева: «Доехала отлично письмо отправила люблю тебя Люба». Приводим выдержки из письма Л. Д. Блок от 14 апреля: «Думаю о тебе очень нежно и, как клад, прячу твою любовь ко мне в сердце. А я, правда, разучилась чувствовать там, в глубине, потому и не могу тебе сказать, что люблю тебя; но и никого〈...〉 Хочу жить искренно, не лгать, как не лгу на словах, также до щепетильности, поступать искренно. И не боюсь я этого. 〈...〉 Дай мне быть уверенной в тебе, в твоем ожидании, как ты был уверен во мне».

138

14 апреля 〈19〉08. 〈Петербург〉

Сегодня пришла твоя телеграмма, и беспокойство прошло. А боялся я почему-то страшно. В пасхальную ночь томился и блуждал около факелов Исаакиевского собора и Петра. Конечно, именно в 12 час〈ов〉, когда я должен был быть один, меня поймали на улице совершенно чужие люди — и стали разговаривать о пустяках. Дул ветер, всю ночь шел ладожский лед, было холодно и некуда деваться. И вчера и сегодня тоже блуждал днем. По ночам — ужасные сны какие-то были. Я на праздниках, как черт перед заутреней, и до сих пор не прошло это ужасное чувство. Точно и в самом деле происходит что-то такое, чего душа чужда [1].

Я жду от тебя письма [2].

Твой

[1] Ср. письмо Блока к матери от 15 апреля 1908 г. (VIII, 236—237).

[2] Писем больше не было, а только телеграммы: «Совершенно не могу писать ничего не понимаю не беспокойся обо мне милый Люба» (из Херсона, от 20 апреля); «Вернусь числа седьмого беспокоюсь о тебе телеграфируй Мариуполь театр Люба» (из Павлограда, от 1 мая).

4.IV.08.

Милая, ты знаешь сама, как я свободен. Но о том, о чем ты пишешь, нельзя переписываться. Я совершенно не знаю ваших маршрутов и не имею понятия, куда писать. Это письмо пишу наугад. Твоего письма я не понимаю, т. е. не понимаю того чувства, которое было у тебя, когда ты писала. Может быть, не понимаю от своего теперешнего равновесия. Но, чем больше я в равновесии, тем больше знаю реальное.

Что тебе написать, советов не знаю. Ты пишешь мне, как чужая, — не так ли? Знаешь ли ты, насколько важно для меня твое письмо и имеешь ли ты какое-нибудь отношение ко мне, когда ты писала? Ты пишешь, что я могу спрашивать. Я спрашиваю прежде всего, представляется ли тебе все будущее совершенно без меня, или ты просто можешь судить теперь только о близком будущем?

Только эти вопросы. А то — слишком трудно задавать их в письме.

А что, — письмо твое написано из самой глубины? Или — ты не знаешь теперь своей глубины?

Я пишу очень сухо. И стараюсь только простейшее. Я не знаю, как ты можешь понять меня „такого"? И можешь ли понять.

Ты пишешь до такой степени странные вещи о деньгах, о „честности" и т. п. Из этого я заключаю, что ты не понимаешь больше меня.

Писать это письмо мне трудно.

Куда писать?

ПИСЬМО БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК 4 АПРЕЛЯ 1908 г.

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

139

Телеграмма

⟨1 мая 1908. Петербург [1]⟩

Будь спокойна жду тебя телеграфируй точно день возвращения. Саша [2]

[1] Дата телеграфного бланка.
[2] Л. Д. Блок вернулась в Петербург 7 мая.

140[1]

9 июня 1908. Шахматово

Милая моя. Я приехал сюда 4-го, а твое письмо получил только на днях [2]. Странно, ты пишешь, что тебе показалось, что я думаю о тебе. Я думаю каждый день — в Петербурге и здесь.

Странно жить здесь без тебя в пустом доме. Наши деревья все пышнее, сирень покрыта цветами, будут сильно цвести жасмины, ирисы и лилии. Только розы замерзли. Но отходят. Очень часто я хочу писать тебе. Но ты так далеко, и я многого не могу понять в твоем письме. Что значит, что ты все лето будешь *одна*?

К 1 июля я думаю все-таки опять вернуться в СПб. Большей частью я в очень бодром настроении. Но очень бесплодна жизнь.

Когда ты думаешь вернуться, и есть ли у тебя зимние планы?

Господь с тобой. Саша

Что и как ты играешь? — Бывает у тебя когда-нибудь желание приехать в Шахматово? Эти два письма я получил еще в П⟨етер⟩б⟨урге⟩ [3].— 150 р. Подгорному [4] послал.— Получила ли ты 50 р., которые я послал в Грозный 29 мая по телеграфу (до востребования)? Больше и раньше послать не мог, потому что Рябушинский [5] надувал, а Ваня [6] дал только Лизе [7] 100 р. Если тебе надо еще денег, напиши; у меня скоро будет много.

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Наш путь степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о, Русь!
И даже мглы ночной и зарубежной
Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
Нам в призрачном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь.

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль.
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

Театральный Клубъ

(Литейный, 42).

Программа

ЛЕКЦІИ О ТЕАТРѢ

Александра Блока.

Вторникъ, 18-го Марта 1908 года.

Взаимоотношеніе драматурга, режиссера и актера въ современномъ театрѣ.

Драматургъ XIX-го вѣка. Вражда его съ актеромъ. Писатель и старый актеръ.

«Модный вопросъ» — о режиссерѣ.

Противорѣчія и трепетъ «переходной эпохи». Ея порожденіе — новый актеръ. Гибельный духъ тоски въ современномъ театрѣ. Отсутствіе отвѣтственности, критеріевъ и чувства долга.

Мнѣнія о положеніи современнаго театра. Единственный выходъ изъ этого положенія. Пропасть между современнымъ зрительнымъ заломъ и сценой. Зрители близкаго будущаго.

Театръ — плоть искусства. Будущій театръ большого дѣйствія и сильныхъ страстей. Нѣсколько словъ о «народномъ» театрѣ и о «мелодрамѣ».

Начало въ 8 час. вечера.

Слѣдующія лекціи:

21-го Марта: **Иванъ Рукавишниковъ** — «Искусство-религія» (Введеніе въ трактатъ).

25-го » **А. А. Ростиславовъ** — «Красота старины». Старинные города и церкви.

В. Я. Курбатовъ — «Жизнь и смерть произведеній искусства».

28-го » **О. Г. Эттингеръ** — «Генрихъ Ибсенъ».

1-го Апрѣля: **Л. С. Бакстъ** — «Будущая живопись и ея отношеніе къ античному искусству».

Печ. разр. 11-го Марта 1908 г., за Спб. Град., помощн. его Лысогорскій.

Типографія Императорскихъ СПб. театровъ, Моховая, 40

ПРОГРАММА ЛЕКЦИИ БЛОКА О ТЕАТРЕ 18 МАРТА 1908 г.
Послано с письмом 21 марта
Центральный архив литературы и искусства, Москва

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови...

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь:
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

Александр Блок

7.VI.08 Шахматово [8]

[1] Вскоре после возвращения в Петербург (7 мая) Л. Д. Блок опять уехала (18 мая) — на этот раз на Кавказ, где продолжались ее гастроли (см. «Письма к родным», стр. 211). В письме от 19 мая она писала Блоку: «Пишу из Рязани, милый. Еду хорошо. Вчера весь вечер не понимала, куда и зачем еду. Теперь тоже не понимаю, но не думаю об этом».

[2] Приводим это письмо — из Грозного, от 28 мая: «Милый мой, мне сейчас показалось, что ты думаешь обо мне, и мне стало очень грустно и за тебя и за себя, за все. Опять я одна в далекой, далекой России, живу на свой страх, все беру, что идет мне навстречу, и знаю, знаю, что дорого заплачу болью и страданием за каждое свободное движение, за дерзость. Чувствую в себе окрепшую душу актрисы и рвусь играть. Все лето буду *одна* в Боржоме, захлебываюсь при мысли о работе, о воплощении того, что уже живо, я чувствую, в душе. К тебе у меня трепетное отношение, опускаю глаза, в душе, перед тобой. Но не от стыда— жизнь моя не хулиганская и не случайная. Хотела бы, чтобы ты написал мне в Боржом, в театр: право, я буду этого стоить там. Напишу оттуда. Господь с тобой, мой милый. Л ю б а».

О своей трудной жизни с Блоком Любовь Дмитриевна писала в воспоминаниях: «У нас с ним была общей основная черта наших организаций, которая и сделала возможной и неизбежной нашу совместную жизнь, несмотря на всю разницу характеров, времяпрепровождения и внешних вкусов. Мы оба создавали свою жизнь, сами вызывали события, имели силы не поддаваться «бытию», а за ним, тем более, «быту». Но это мелкая черточка по сравнению с нашей внутренней свободой, вернее — с нашей свободой от внешнего».

[3] Очевидно, Блок переслал Л. Д. Блок какие-то письма, прише шие на ее имя.

[4] Николай Афанасьевич *Подгорный* (1870—1947) — артист Московского Художественного театра.

[5] Н. П. Рябушинский, издатель журнала «Золотое руно». В это время в издательстве Рябушинского печатался сборник стихов Блока «Земля в снегу». «Поганое животное, именуемое Рябушинским, поставило меня в отвратительное положение, но теперь, кажется, мои угрозы подействовали, и 100 руб. у меня есть. Но мне и этого мало, чтобы выехать. Во всяком случае, я надеюсь на днях получить рублей 300-400, расплатиться, с кем следует, и приехать в Шахматово», — писал Блок матери 27 мая 1908 г. («Письма к родным», стр. 213).

[6] И. Д. Менделеев, брат Л. Д. Блок.

[7] *Лиза* — прислуга Блока.

[8] Стихотворение (первое в цикле «На поле Куликовом») было впервые напечатано в альманахе «Шиповник», кн. X (1909), с переменой в третьем стихе четвертой строфы: «В степном дыму блеснет святое знамя». Из чернового наброска этого стихотворения видно, как в блоковскую думу о России вплеталась глубоко личная тема опустошенного «мирного дома», связанная с Л. Д. Блок:

И вечно — бой! И вечно будет сниться
Наш мирный дом.
Но — где же он? Подруга! Чаровница!
Мы не дойдем?

Из окончательного текста это обращение к «подруге, чаровнице» было устранено.

141

Телеграмма

14 июня 1908. ‹Шахматово›[1]

Я в Шахматове все хорошо получил два письма пишу очень рад второму[2] Саша[3]

[1] Дата телеграфного бланка (отправлено из Солнечногорского).

[2] Приводим это письмо, посланное из Боржома 5 июня: «Мой дорогой, я здесь, одна, грустно, непонятно. Дождь, серый день, перед окном сейчас же высокая гора, лесом покрытая, зеленая; за спиной, через комнату, шумит мутная Кура и опять зеленая гора. И свежо очень. Приехала сюда из невероятной жары и пыли; ехала — не понимала и теперь опять не понимаю. Понимаешь ты — перед глазами громадный вопросительный знак. Там было просто и хорошо, а теперь уныло, и зачем, зачем все это? Весь день поется:

Все дышавшее ложью...
Предо мной к бездорожью...
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи твои...

Только очи — вижу тебя строгого и властного, перед которым мне так грустно теперь и больно, и с вопросом, мучительно, поднимаю на тебя глаза. Как же? Как же? Что же все это такое? Хорошо, что я буду одна долго, бесконечно, все уляжется, тогда пойму, должно быть; как мне хочется узнать о тебе, получить твое письмо, боже мой!‹...› Не знаю, можем ли мы быть вместе опять *теперь* и когда это будет, но люблю тебя и ты единственная моя надежда, и на краю света не уйти мне от тебя» (стихи в письме — цитата из стихотворения Блока «Верю в Солнце Завета» — 1902 г.).

[3] На эту телеграмму Л. Д. Блок в тот же день, 14 июня, ответила письмом, в котором писала: «Люблю тебя одного в целом мире. Часто падаю на кровать и горько плачу, что я с собой сделала? Что эта сцена? и все остальное‹...› И разрывается сердце при мысли, при крике: ведь это *я* же, при чем же тут все эти нелепости, ведь это я, я, я! Ты знаешь, о ком я говорю тогда, ты один в целом мире поймешь, когда я кричу всем сердцем: ведь это я же! Люблю тебя больно и сладко. Быть с тобой хочу больше всего на свете. Что здесь меня удерживает, не знаю. Может быть, страшная усталость воли. Одно знаю: быть с тобой, около тебя, и ничего, ничего другого не надо, и сцены не надо душе моей. Может быть, ты велишь идти туда или скажешь, что нельзя вместе, тогда приму опять все, но моя воля — быть с тобой. Но сколько муки я себе приготовила своим безумием, боже мой!... В душе моей растет какое-то громадное благословение тебе и всему Шахматову, всем вам. Благословенная обетованная страна и в ней желанный, любимый, милый мой ты. Пишу ночью, пишу любя тебя до слез, моя радость».

142

14 июня ‹19›08. Шахматово

Милая, только сегодня утром пришла твоя телеграмма, я ответил на нее. А твое письмо (второе)[1] я получил третьего дня и ношу с собой. На него я могу ответить тебе только, что думаю о тебе каждый день, тебя недостает каждый день, и я живу все время тем, что жду тебя. До сих пор я не могу определить, должен ли я жить один; я теперь переживаю эту одинокую жизнь и знаю, что она очень хороша, но бесплодна, бесплодна — другого слова не придумаешь. Может быть, нам нужно временами жить вместе. Теперь мне часто кажется, что мы можем жить вместе всегда, но — не знаю. Здесь очень тихо — жарко, сыро и пышно. Наш сад растет. Я бываю много один. Переделываю «Песню Судьбы». Может быть, даже и кончу ее к 1 июля, когда вернусь в Петербург. Туда меня тянет. Здесь трудно жить без тебя. Я думаю о том, что ты вернешься в августе и мы

вместе будем жить здесь осенью. Что ты думаешь об этом? Я не знаю, когда ты вернешься. Досадно получать письма, которые идут около недели, и самому досадно писать. Но у меня очень постоянная надежда на то, что мы могли бы прожить здесь золотую осень.

Меня тянет теперь опять в Петербург. У меня очень дружеские и настоящие, даже трогательные отношения с Чулковым (и, конечно, с Женей [2]). И хорошие отношения с Сюннербергом [3]. Может быть, устроим журнал (!) [4] Кроме того, Ф. Ф. Коммиссаржевский [5] будет в Петерб⟨урге⟩, надо обсудить «Праматерь» [6]. У Бравича [7] — оспа. Петербург необыкновенно красив теперь. Там привлекательно то, что легче переживать это какое-то *переходное* в жизни время — от встречи до встречи с тобой. Очень много средств забывать о времени и произвольно устанавливать дни и ночи. А здесь нет этих средств — без тебя.

Может быть, ты заметила, что я давно уже не умею писать тебе. Мое отношение к тебе уже не требует никаких слов. А вообще письма писать я умею, по-прежнему.

«Песнь Судьбы» все так же важна для меня. Но теперь еще по-новому, точно я еще больше ее пережил и смотрю на нее объективнее и свободнее. — С Н.Н. [8] я так и не простился, не писал ей и не получал от нее писем.

Теперь ты видишь, как я живу? Читала ли ты «Корабль» д'Аннунцио? Прочти — это очень искусная трагедия [9].

А что же сцена? Это очень важно для тебя?

Получила ли ты деньги из Грозного? Там лежат 50 р., посланные по телеграфу в конце мая. Надо ли тебе еще? Если надо, я пришлю из Петербурга.

Твои письма мне получать важнее всего, хотя и досадно, потому что — запоздалые. Настанет ли когда-нибудь время, что мы перестанем разлучаться?

Твой

В ночь, когда Мамай залег с ордою
　　Степи и мосты,
В темном поле были мы с Тобою,—
　　Разве знала Ты?

Перед Доном темным и зловещим,
　　Средь ночных полей
Слышал я Твой голос сердцем вещим
　　В криках лебедей.

С полуночи тучей возносилась
　　Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
　　Голосила мать.

И, чертя круги, ночные птицы
　　Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
　　Князя стерегли.

Орлий клекот над татарским станом
　　Угрожал бедой.
А Непрядва убралась туманом,

　　Что княжна фатой.
И с туманом, над Непрядвой спящей,
　　Прямо на меня
Ты сошла в одежде свет струящей,
　　Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече.

И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой Лик Нерукотворный
Светел навсегда.

Александр Блок

14 июня 1908
Шахматово[10]

[1] Письмо от 5 июня 1908 г. См. примеч. 2 к письму № 141.

[2] Е. П. Иванов.

[3] Константин Александрович *Сюннерберг* (1871—1942) — поэт-символист и философ, писал под псевдонимом: Константин Эрберг.

[4] Дополнительными сведениями об этом журнальном проекте мы не располагаем.

[5] Федор Федорович *Коммиссаржевский* (1882—1954)— режиссер, брат В. Ф. Коммиссаржевской, игравший руководящую роль в ее театре.

[6] «Праматерь» («Die Ahnfrau») — трагедия австрийского поэта-романтика Франца Грилльпарцера (1791—1872), написанная в 1817 г. Блок перевел эту трагедию по заказу В. Ф. Коммиссаржевской для ее театра, где она и была поставлена Ф. Ф. Коммиссаржевским и А. Н. Бенуа (премьера — 29 января 1909 г.).

[7] Казимир Викентьевич *Бравич* (Баранович) (1861—1912) — драматический актер и режиссер, в 1906—1908 гг. состоял в труппе театра В. Ф. Коммиссаржевской. Блоку принадлежит некрологическая статья «Памяти К. В. Бравича» (V, 470—472).

[8] Н. Н. Волохова.

[9] Блок горячо советовал прочесть эту трагедию д'Аннунцио также Е. П. Иванову и Г. И. Чулкову (см. «Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову». М.— Л., 1936, стр. 65; «Письма Александра Блока». Л., 1925, стр. 148). *Габриеле д'Аннунцио* (1863—1938) — итальянский писатель-декадент, впоследствии фашист.

[10] Стихотворение переписано матерью Блока. Рукой Блока — подпись и дата. Это стихотворение (третье в цикле «На поле Куликовом») было впервые напечатано в альманахе «Шиповник», кн. X (1909).

143

19 июня ⟨1908. Шахматово⟩

Милая, только вчера я получил твое третье письмо (от 8 июня). Страшно долго. Это мое письмо — третье. Получила ты? Я все думаю, что мы с тобой будем жить в Шахматове осенью, а зимой — в Петербурге, так, как мы говорили. Напиши мне, сломать ли стену до твоего приезда (и уничтожить столовую)[1]. По-моему, надо. Мож⟨ет⟩ быть, я займусь этим, когда вернусь в город (1 июля).— Скоро выйдет моя книга [2]. «Песню Судьбы» я, кажется, *кончу* здесь. Третий акт придумал. Если бы ты сейчас вернулась в Шахматово, я прожил бы здесь с тобой до осени. Я никого не люблю, кроме тебя.

Твой

Продолжаешь ли ты не верить в себя, как в актрису? Надоела ли тебе эта жизнь? Отчего в твоих письмах есть что-то тревожащее меня, как будто — легкомысленное? Или ты просто не умеешь писать?

[1] Речь идет о городской квартире в Петербурге (на Галерной ул., 41, кв. 35).

[2] Сборник стихов «Земля в снегу».

144

21 июня ⟨1908. Шахматово⟩

Сейчас я получил твое письмо [1], моя милая, и телеграмму [2]. Эти дни хожу и думаю. Все — безумие, глупости, обман, наваждение. Мы должны жить вместе и будем. Осенью — здесь, в Шахматове, а зимой — будем, будем жить вместе, в Петербурге. Вернусь скоро в Пбг. и буду ломать стену и устраивать тебе комнаты. Это меня очень заботит.

Если бы ты знала, как и сколько я думаю о тебе.

Сегодня кончил 3-ий акт [3]. Приехал Ферoль [4] с лесничим (мерить лес), лесничий живет в моей комнате, а я — в твоей. Пишу мало, сейчас едут на станцию. А ты будешь до конца выдерживать этот глупый сезон?

Все, что касается тебя, для меня всего важнее.

Твой

[1] Имеется в виду письмо от 14 июня 1908 г. См. примеч. 3 к письму № 141.

[2] Текст телеграммы — из Боржома, от 20 июня 1908 г.: «Получила деньги первому письму ужасно рада тоскую Л ю б а».

[3] Драмы «Песня Судьбы».

[4] Ф. А. Кублицкий-Пиоттух, двоюродный брат Блока (см. о нем на стр. 121 наст. тома). Мать Блока владела Шахматовом на равных правах со своими сестрами, С. А. Кублицкой-Пиоттух и М. А. Бекетовой.

145

24 июня ⟨1908⟩. Шахматово

Моя милая.

Время ползет без тебя какое-то тусклое, бесплодное. Здесь почти не перестает дождь — серый, осенний. Я начал сильно тосковать. Беспокоюсь о тебе, думаю постоянно о тебе. Жизнь тащится зачем-то,— и ты зачем-то в каком-то Боржоме; я совершенно уверен, что тебе там делать нечего. Эти дни я немного ждал тебя, думал, что ты оттуда уедешь. Что за охота проваливаться где-то на краю света с третьестепенной труппой? Не люблю я таких актеров, ох, как не люблю, заодно с Гете и Ибсеном.

Беспокоюсь о тебе, моя милая.

Тебе все еще грустно? Если бы ты вернулась сюда, я не возвращался бы в Петербург. А теперь — ворочусь через 6 дней, а зачем — не твердо знаю; больше потому, что без тебя не сидится в тишине. И что писать тебе,— не знаешь, интересно ли тебе вот в эту минуту, когда ты читаешь то, что я писал десять дней назад.

«Песня Судьбы» кончена вчера.— Почему ты пишешь, что приготовила себе мучение? Меня очень тревожит это; и мне не нравится то, что ты сомневаешься в том, как я тебя встречу.— Получаешь ты мои письма? — Это, кажется, уж шестое — и последнее из Шахматова.

Я как-то тоже устал. Мне во многих делах очень надо твоего участия. Стихи в тетради давно не переписывались твоей рукой. Давно я не прочел тебе ничего. Давно чужие люди зашаркали нашу квартиру. Лампадки не зажигаются. Холодно как-то. Ко многим людям у меня в душе накопилось много одинокого холода и ненависти (Мережковские, разные москвичи с г. А. Белым во главе и нек⟨оторые⟩ др⟨угие⟩) [1]. Мне надо, надо быть с тобой. А ты — хочешь ли быть со мной? То, что я пишу, я могу написать и сказать только тебе. Многого из этого я как-то не говорю даже маме. А если ты не поймешь,— то и бог с ним — пойду дальше так. Ты не име-

Зайчичекъ маленький
Скушай просвирку.
Никуда не бѣгай.
Сиди въ платочкѣ.
Потряхивай лапочками.
Сожмись въ комочекъ.
Занимайся тряпочками.
Кушай листочки
Читай книжки и бумажки,
Дожидайся Сашки.

ШУТОЧНАЯ ЗАПИСКА БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

ешь потребности устроить нашу жизнь так, чтобы и комнаты ожили? Или ты все еще не поймешь «быта»? Есть ведь на свете живой быт, настоящий, согласный с живой жизнью. Беспокоюсь о тебе.

Твой

Из твоих писем я понял, что ты способна бросить сцену. Я уверен, что, если нет настоящего большого таланта, это необходимо сделать. Хуже актерского «быта» мало на свете ям.

Коммиссаржевская играет мою (т. е. Грильпарцерову) Берту [2].

[1] В эти же дни (26 июня) Блок записал в записной книжке: «Хвала создателю! С лучшими друзьями и «покровителями» (А. Белый во главе) я внутренно разделался навек. Наконец-то! (разумею полупомешанных — А. Белый и болтунов — Мережковские)» (ЗК, 108—109).

[2] Центральную роль в трагедии «Праматерь» (см. примеч. 6 к письму № 142).

146

Телеграмма

28 июня 1908. Петербург [1]

Получил письмо теперь легче жду тебя жду.

[1] Дата телеграфного бланка.

147

29 июня 1908. Шахматово

Люба, я получил вчера твое письмо от 20-го. Все, что ты пишешь, мне страшно нужно, и без твоих писем трудно существовать [1]. Послезавтра уезжаю в Петербург и буду ждать тебя там. Если получу деньги, пришлю тебе. Приезжай только с тем, чтобы не возвращаться назад. Мы поживем немного в городе, а потом приедем в Шахматово и будем устраивать сад. Еще много в нем надо работать. Я тебе написать сегодня уж совсем не умею. И потому пишу только несколько слов. Когда же мы будем, наконец, с тобой?

Твой

Да, зимой мы будем жить вместе. Если бы ты знала, как ты необходима мне.

[1] В письме от 20—21 июня 1908 г. Л. Д. Блок писала: «Может быть, приеду в Петербург, когда ты будешь там, это мне будет легче, а то мучительно стыдно Шахматова, нашего дома и сада, пока я не очистила свою душу совсем от всего, чего так мучительно стыдно〈...〉 Я теперь хочу быть с тобой всегда, не расставаться. То, что я зиму буду в Петербурге (это конечно) с тобой, меня ужасно волнует, радует, наполняет надеждой на что-то настоящее, какое-то большое дело в самой жизни〈...〉 И сама я в горьком, горьком опыте становлюсь лучше, я знаю — не буду тебя шокировать, так бережно буду нести нашу жизнь».

148

5 июля 〈1908. Петербург〉

Милая, я в Петербурге, страшно беспокоюсь о тебе, Уезжай скорей, как только можешь, из этого ужасного места. Я прочел в «Речи», что ранен Неволин [1]. Когда же ты вернешься, наконец? — Здесь жарко. Я приехал 2-го. На Подсолнечной [2] получил твое письмо. Письма идут бог знает сколько времени — 7—1 дней. Что же твоя роль в старинной пьесе и что сцена [3]?

Только бы ты вернулась ко мне. Я могу много и сочувственно говорить с тобой о сцене, но теперь, прежде всего,— ты сама будь со мной. Неужели ты не вернешься раньше 1 августа?

Поклонись, пожалуйста, Неволину от меня, передай, что желаю ему поскорей выздоровать.

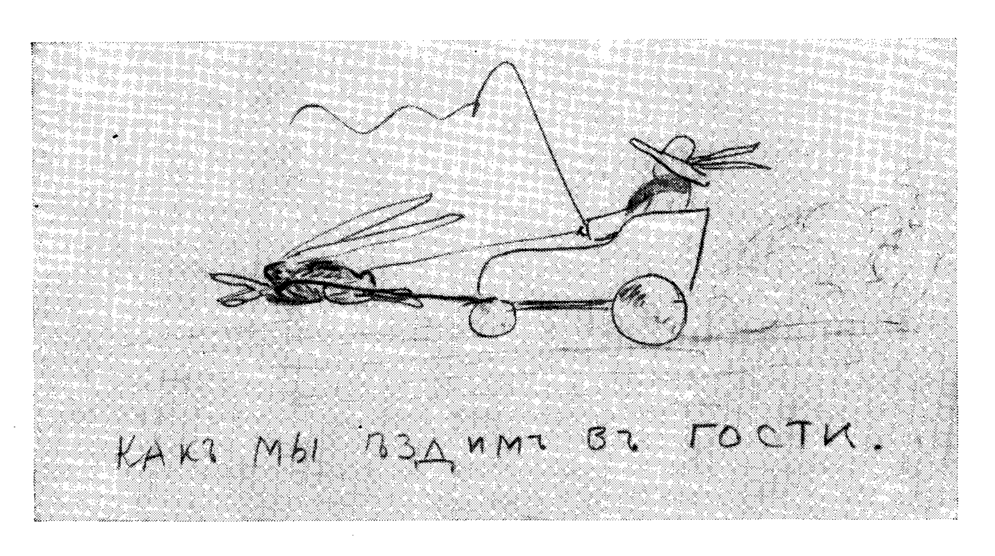
Милая моя, приезжай ко мне.

Твой

[1] Об этом событии Любовь Дмитриевна сообщила Блоку в письме от 11 июля 1908 г.: «Ты читал в телеграммах, что нашего Неволина чуть не убили случайно? Он ездил в Абастуман снимать театр, по дороге двое грузин напали на омнибус и убили чиновника, ехавшего с ним, ранили другого, у Неволина ухо было контужено, и он ехал с убитым на коленях два часа. Но это была месть случайная».

[2] По пути в Петербург.

[3] В письме от 24 июня Л. Д. Блок сообщила, что получила большую роль в пьесе «Когда б он знал»: «Пьеса старинная, вроде «Вспышки у домашнего очага» и «Что делать?» Чернышевского. Я играю милую, любящую женщину, ревнующую мужа, переодевающуюся в домино и маску и т. д. Уже репетировали. Я очень ее чувствую, кажется, найду тон. Только бы удалось сыграть первый раз в субботу. Уехать отсюда я думаю в конце июля, чтобы быть в Петербурге не позднее 1 августа. Раньше едва ли уеду, очень нужна в самом деле. А в Петербург приехать раньше Шахматова я продолжаю очень хотеть. Так лучше. Потом поедем туда вместе и проведем там осень, сколько захотим, наконец, ничто не будет мешать. А зимой вместе, вместе!»



«КАК МЫ ЕЗДИМ В ГОСТИ»
Шуточный рисунок Блока
Центральный архив литературы и искусства, Москва

149

Телеграмма

6 июля 1908. Петербург [1]

Все ли благополучно телеграфируй Петербург Саша

[1] Дата телеграфного бланка.

150

Телеграмма

9 июля 1908. Петербург [1]

Когда приедешь тоскую напиши [2].

[1] Дата телеграфного бланка.
[2] Ответная телеграмма Л. Д. Блок из Боржома от 10 июля: «Вернусь начале августа не беспокойся пишу Люба».

151

Телеграмма

17 июля 1908. Петербург [1]

Нет писем боюсь пиши Саша [2]

[1] Дата телеграфного бланка.
[2] Л. Д. Блок ответила телеграммой из Боржома от 18 июля: «Не беспокойся милый все хорошо пишу сегодня. Люба». В письме, посланном в тот же день, она писала: «Сезон кончается 10-го августа, приеду, значит, числа 15-го, 16-го или немного раньше, если не буду занята в последнем спектакле. У меня довольно апатичное настроение. Со сценой опять неудачи, я собой недовольна, хотя не огорчаюсь, только долго ждать, пока стану хорошей актрисой, и это скучно. Вернусь к тебе, будем вместе. Мне это очень хочется, но, видишь, сейчас нет такого захвата и в этом, как был<...> Милый, прости мне мою опущенность. Я вернусь к тебе, тогда все будет по-другому».

152

18 июля 1908. СПб.

Сегодня пришло твое первое письмо от 11 июля [1]. Какое мрачное для меня письмо. Все то, о чем я думаю, оно подтвердило. Мне жить становится все невыносимее. То, как я теперь живу, ненужно, холодно и пусто. Неужели же и ты такая же, как я. Ты пишешь уже так привычно о «волне своего сумасшествия». И в письме этом прежде всего — «Марья Ивановна» Чирикова [2] (поздравляю вашу труппу с победой искусства), а потом — все остальное. Да, так, вероятно, и должно быть. А что же значит, «верю в себя и тебя»? Тоже — по привычке?

Если тебе больно читать все это, то я пишу это не для твоей боли, а от своей. Знаешь ли, что я тебе скажу? Если я буду продолжать жить так, как теперь,— без особ<енных> событий, выпивая иногда, веря до глубины одному только человеку — Евг<ению> Иванову, не имея подле себя живой души,— этого ненадолго хватит: душа становится старой и седой. Из этого совсем не следует, что тебе нужно предпринимать что-нибудь.

Что же, действительно,— плод всех прошлых горьких, красивых и торжественных годов — Марья Ивановна, Боржом, Гельсингфорс, захудалая провинция, «зеленая скука» с «покучиванием», актерство, развязность, «свобода» от всего «рабского»... и от всего свободного? — Или это все — только временная, кромешная тьма и настанет другое?

Целый день я ехал по сияющим полям между Шахматовым, Рогачевым Бобловым. Только недавно. В лесу между Покровским и Ивлевым были все те же тонкие папоротники, сияли стоячие воды, цвели луга. И бесконечная даль, и шоссейная дорога, и все те же несбыточные, щемящие душу повороты дороги, где я был всегда *один* и в союзе с Великим, и тогда, когда ты не знала меня, и когда узнала, и теперь опять, когда забываешь. А то — все по-прежнему, и все ту же глубокую тайну *мне* одному ведомую, я ношу в себе — *один*. Никто в мире о ней не знает. Не хочешь знать и ты. Но без тебя я не узнал бы этой тайны. И значит к тебе относил я слова: «За все, за все тебя благодарю я...» [3], как, может быть, все, что я писал, думал, чем жил, от чего так устала душа,— относилось к тебе.

Пойми же, с каким чувством я посылаю тебе это письмо. Чувствовать я еще не совсем разучился [4].

[1] В этом письме Л. Д. Блок писала: «Милый, не пишу тебе вот уж сколько времени. Это потому, что опять захватила волна моего сумасшествия. Я чувствую себя актрисой и это меня сбивает, закруживает. Не пишу тебе, потому что не знаю, не понимаю, как совместить мои мечты о жизни с тобой с моей верой в себя как в актрису. Я играла Лидию в «Когда б он знал». Все очень хвалили, говорили именно то, что и я в себе чувствую<...> Теперь играю каждую роль с любовью. Была у меня роль без слов в «Марии Ивановне» Чирикова — Глашенька. Вышла живая и очень ярко, говорят, комичная. Еще Авдотью в «Детях Ванюшина». Завтра играю Христину в «Графине Юлии» Стриндберга.— Мне ужасно странно тебе писать все это актерское, все, что ты так не любил еще в последнее наше свиданье. Но ведь надо же, чтобы ты понял меня, принял из этого все хорошее, помог и мне отбросить сор (он есть, это я знаю). Но хорошее ты же поймешь. Я уверена, что когда увижу тебя, проживу с тобой немного в квартире, устроенной тобой, я смогу опять отречься от сцены (и ты говоришь, что я не чувствую быт, настоящий, да ты вспомни!), но этого не надо делать, то, что мне дано, нельзя отшвырнуть<...> Дела нашего товарищества идут пока очень неважно, вырабатываем всего 40 копеек на марку в месяц. Актеров мало и плохие<...> Несколько дней, как приехал Давыдов,— будет играть у нас три недели. Я почти не говорю с ним, смотрю и удивляюсь. Есть у меня зато «флирт» с милым мальчиком, о котором ты знаешь, мне не хочется называть и писать об этом, так это легко и не важно, может оборваться когда

угодно. Но я целуюсь с ним<...> Верь только в меня, не беспокойся о случайных моих выходках, я верю в себя и тебя». Упомянутый в письме *Давыдов* — известный драматический актер Владимир Николаевич Давыдов (1849—1925).

[2] Евгений Николаевич *Чириков* (1864—1932) — беллетрист и драматург, примыкавший к писателям-«знаньевцам», но в годы реакции перекочевавший в лагерь мещанской литературы, после Октября — эмигрант. «*Марья Ивановна*» — комедия Е. Чирикова, вышедшая в 1908 г. в изд-ве «Шиповник».

[3] Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Благодарность»:

За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей,
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

[4] На это письмо Л. Д. Блок ответила 26 июля следующим образом: «Саша, я думаю, что письмо твое 18-го июля со всеми упреками — только от боли, от того, что я далеко и мои письма совсем закрывают, скрывают меня, и ты меня просто не имеешь в виду, когда все говоришь это. Я и не сержусь и не обижаюсь несправедливостью упреков. В лицо ты не скажешь мне всего этого, когда увидишь. Я не буду больше писать тебе о сцене, пока мы не поговорим, ты все будешь понимать не так. Ты увидишь, что я по-прежнему я, что люблю тебя и хочу настоящей жизни. Только слова теперь такие мертвые выходят, что и писать не хочется. Буду стараться уехать скоро, как можно скорее, все еще не знаю, когда. Не могу удержаться, хочется тебе сказать, что мы играем скоро «К звездам», да, да Л. Андреева, здесь цензуру не соблюдают. Я играю Инну Александровну и рада ей очень».

153[1]

23 июля 1908. СПб.

Пишу тебе совершенно больной и измученный пьянством. Все это время меня гложет какая-то внутренняя болезнь души, и я не вижу никаких причин для того, чтобы жить так, как живут люди, рассчитывающие на длинную жизнь. Положительно, не за что ухватиться на свете; единственное, что представляется мне спасительным,— это твое присутствие, и то, только при тех условиях, которые вряд ли возможны сейчас: мне надо, что ты была около меня неравнодушной, чтобы ты приняла какое-то участие в моей жизни и даже в моей работе; чтобы ты нашла средство исцелять меня от безвыходной тоски, в которой я сейчас пребываю. Кажется, ни один год не был еще так мрачен, как этот проклятый, начиная с осени. Пойми, что мне, помимо тебя, решительно *негде* найти точку опоры, потому что мамина любовь ко мне беспокойна, да я и не могу питаться одной только материнской любовью. Мне надо, чтобы около меня был живой и молодой человек, женщина с деятельной любовью; если этого никогда не будет, то мне ничего не останется, кроме пустой и зияющей темноты, когда я растрачу все свои жизненные силы.— Только на такое опускание по наклонной плоскости я сейчас способен, потому, может быть, что не имею твердой веры в то, что ты придешь ко мне.

Едва ли в России были времена хуже этого. Я устал бессильно проклинать, мне надо, чтобы человек дохнул на меня *жизнью*, а не только разговорами, похвалами, плевками и предательством, как это все время делается вокруг меня. Может быть, таков и я сам — тем больше я втайне ненавижу окружающих: ведь они же старательно культивировали те

злые семена, которые могли бы и не возрасти в моей душе столь пышно. От иронии, лирики, фантастики, ложных надежд и обещаний можно и с ума сойти.— Но неужели же и ты такова?

Посмотри, какое запустение и мрак кругом. Посмотри трезво на свой театр и на окружающих тебя сценических деятелей. Мне казалось всегда, что ты — женщина с высокой душой, не способная опуститься туда, куда я опустился. Помоги мне, если можешь. Я даже работать не могу, не вижу цели. И эти дни все похожи один на другой, ужасно похожи. И, если подумаешь, что еще много таких, совсем тошно. Лечь бы и уснуть и все забыть.

Я тебе писал в остром припадке отчаянья, лег отдохнуть. Сейчас у меня, по-видимому, жар, должно быть — простудился. Серьезного ничего не чувствую. Посылаю тебе это письмо бог знает зачем, ведь меньше, чем через неделю не получишь. Я вышлю тебе денег, как только меня перестанет надувать вся издательская и театральная сволочь, а сейчас у меня — ни копейки. Если ты не решила совсем бросить меня, приезжай, как только можешь скорее. Никогда в жизни я не испытывал *таких* чувств одиночества и брошенности. Верно, предположения мои правильны, ты перестала помнить обо мне.

Перечитал письмо и все-таки посылаю. Телеграфируй, когда получишь. Я совсем измучен. Только бы поговорить с тобой скорее, что дальше — не знаю. Могу говорить и о сцене.

[1] На конверте — помета: «Очень нужное».

154

24 июля ⟨1908. Петербург⟩

Сейчас получил твое письмо и посылаю тебе 100 р. по телеграфу. Вчера отправил тебе письмо. У меня был сильный жар, теперь — меньше, сижу дома. Ты приедешь только 15-го? Как бесконечно долго ждать. Телеграфируй, когда долго не пишешь; я беспокоюсь смертельно — обо всем, потому что могу думать только о тебе. Да, если ты хочешь быть со мной, мы будем говорить и работать вместе. Так я думаю.

Мои дни ползут нестерпимо медленно. Ты не сердишься на те два письма, которые я послал тебе?

Саша

Твоя новая комната давно готова, ждет тебя.

155

24 июля. Вечер. ⟨1908. Петербург⟩

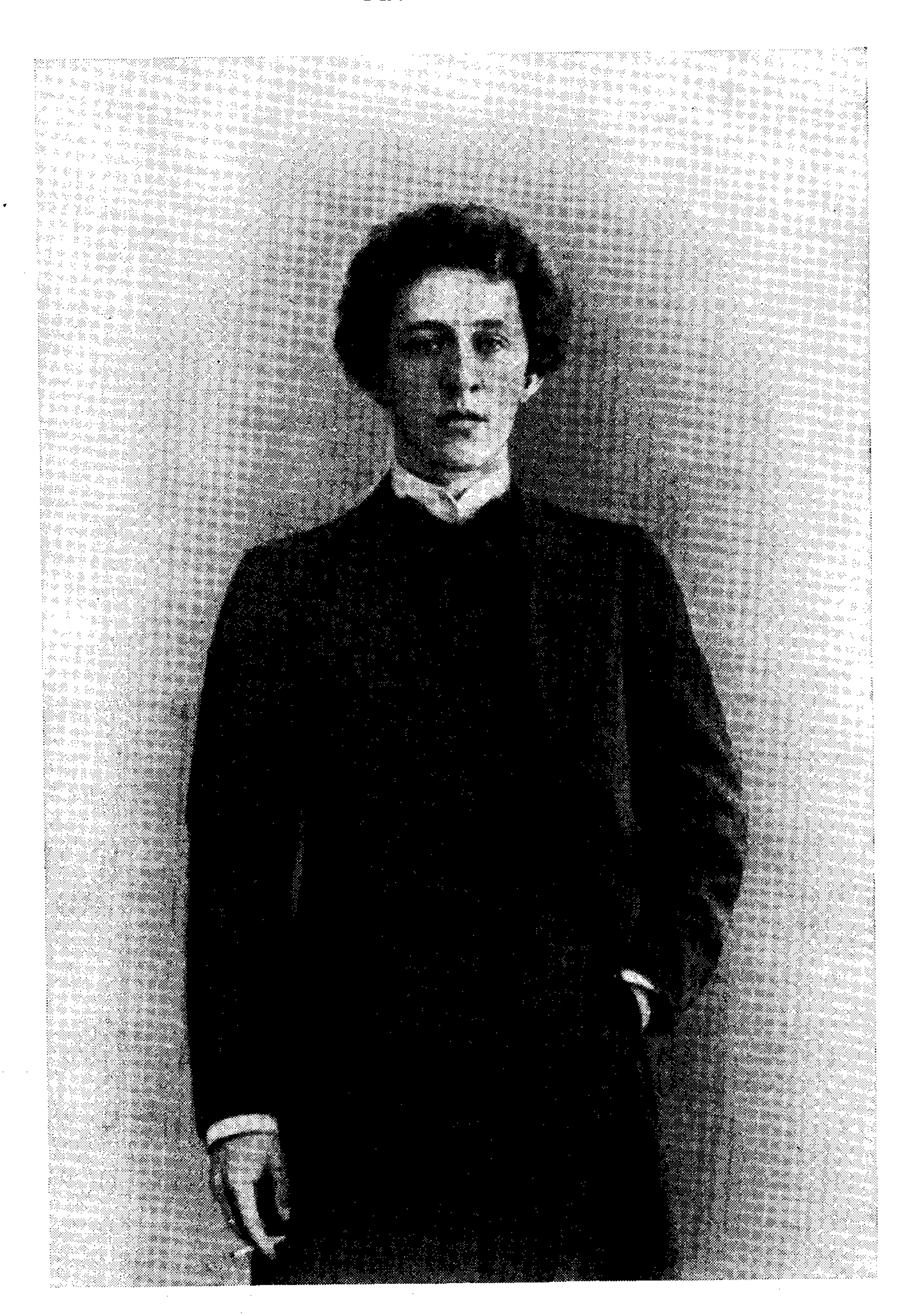
Сегодня я пишу тебе второе письмо. Знаешь ли, мы не видались почти 5 месяцев (нельзя же считать твои приезды) и до этого — $1^1/_2$ года.

Сижу второй день дома, хотя жар, кажется, прошел. Пишу прозу и стихи [1]. Но, главное, не могу тебя дождаться.

Все так же ли ты равнодушна ко всему, как пишешь в письме, которое я получил сегодня (от 18 июля)? И что ты думаешь о тех моих письмах, которые скоро получишь [2]?

Господь с тобой.

Саша



БЛОК
Фотография, 1907
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

[1] В июле 1908 г., по возвращении из Шахматова в Петербург, Блок написал стихотворения: «За гробом», «Мэри», «Друзьям» и «Поэты» (два последних датированы 24 июля), а также статью «Об одной старинной пьесе» (о трагедии Ф. Грилльпарцера «Праматерь»).

[2] 28 июля Любовь Дмитриевна написала Блоку: «Саша, поддержи меня, надо ужасно много силы. Что-то не так, мучительно не так. Но актрисой я быть должна, рано или поздно, это ясно. Я должна быть с тобой, это излечит сердце. Я на опасном

перепутьи, Саша, помоги. Я люблю тебя, милый<...> Я приеду к тебе, я отдам тебе всю свою душу и закрою лицо твоими руками и выплачу весь ужас, которым я себя опутываю. Я заблудилась, заблудилась. Не так, как ты писал в том письме, но все-таки ужасно. Я дострадаю этот сезон, и потом учи меня жить, учи, что делать. Милый, милый, милый! Вот сейчас мне стало легче, яснее. Так просто — кончить, кончить все здесь до конца и быть с тобой; я ведь принесу много и хорошего, узнанного. Все тебе. Вот это я даже не понимаю, но это так. Милый, напиши мне, напиши хорошо. Помоги. Тает в душе какой-то холод. Ты со мной. Я люблю тебя, Господь с тобой. Целую. Т в о я».

156

26 июля, вечер <1908. Петербург>

Если бы ты знала, каковы мои чувства и мысли, ты, может быть, приехала бы несколько раньше 16 августа. С каждым днем все тяжелее. Не знаю, как дождаться тебя, хотя бы пришлось убедиться воочию, что в тебе что-то *невозвратно* отошло, как я думаю (т. е., не в тебе самой, мож<ет> быть, а в твоей любви ко мне).

Всего ужаснее — неизвестность. Я вижу окончательно, что *так* я жить не могу. И пока я не убежусь твердо в том или ином (т. е., нужен я тебе, или ненужен) — все это время будет сплошной пыткой. Сначала чувствовал себя только нравственно тяжело, теперь и физически. Если б ты писала мне что-нибудь отрадное, ждать было бы легче. Но ты пишешь все тяжеле для меня, все «объективнее». Ради бога, Люба, не утяжеляй камня на сердце, ведь я не кукла. Пока у тебя «апатия», у меня — пытка. Реши что-нибудь. Ты старишь меня своими письмами. Если я тебе чужой, признайся себе в этом. Пока я не узнаю чего бы то ни было, я не могу ни работать, ни жить, ни думать. Такое «условное» одиночество — хуже каторги. Посылаю тебе это письмо на проклятый Кавказ, куда оно придет немилосердно поздно. Прости, что я мешаю тебе жить, прости. Может быть, писать все это — только еще отравлять тебя и себя. Но я, кажется, дойду скоро до равнодушия полного, отправлю к черту весь этот проклятый мир.

Целую твою руку. Т в о й [1]

[1] Ответная телеграмма Л. Д. Блок от 31 июля из Боржома: «Не тревожься милый письма получила понимаю кончаю здесь 17 буду спешить хочу домой сегодня играем К звездам Андреева волнует Л ю б а».

157

2 августа <1908. Петербург>

Может быть, правда, твои письма закрывают тебя от меня. Ведь я не упрекал, и ты не обижайся, ты знаешь ведь, что я не хотел тебя обидеть. Я все время полон мыслями о тебе и только на тебя и надеюсь. Правда, что я не вижу твоей сцены и говорю о ней, может быть, слишком легкомысленно. Но все это — от боли, которая была очень мучительна долгое время, а теперь надеюсь, что не очень долго осталось ждать, что ты уедешь раньше 17-го, и буду стараться ждать тебя тихо и сосредоточенно. В тот месяц я жил такой растрепанной, бестолковой и скверной жизнью; мне казалось часто, что ничего уже не осталось в мире, за что можно ухватиться. Но, может быть, и есть еще? И ты вернешься ко мне?

Ты расскажешь мне все о себе и о театре. Нам необходимо жить вместе и говорить много, помогать друг другу. Никто, кроме тебя, не поможет мне ни в жизни, ни в творчестве.

Я просмотрел «Песню Судьбы» еще раз. Отдам ее переписать и, кажется, пошлю, наконец, в Худож<ественный> театр [1]. Будь, что будет.



БЛОК Ф. К. СОЛОГУБ. К. А. СЮННЕРБЕРГ И Г. И. ЧУЛКОВ
Фотография, апрель 1908
Институт русской литературы АН СССР. Ленинград

Мне жаль только, что ты не прочтешь ее целиком и в новом виде до посылки. А, может быть, я и подожду с этим тебя. Приезжай, ради бога, скорее, как только сможешь, скорее. Мне пусто и холодно без тебя. А тебе не нравятся те стихи, которые я посылал тебе [2]?

Получила ли ты деньги?

Господь с тобой, моя единственная.

Твой

Я думал опять уехать в Шахматово, но теперь уж не стоит; ты ведь скоро приедешь? Знай, что каждый день для меня важен, без тебя точно жизнь проходит зря. И пиши мне чаще, насколько можешь, хоть по два слова. День приезда напиши. Я надеялся, что август мы проведем в Шахматове, и совсем пришел в отчаянье, когда узнал, что ты не приедешь 1-го, как писала. Ну, хоть сентябрь проведем, может быть, землю копать будем. Земля ведь многое объясняет [3].

[1] Драму «Песня Судьбы» Блок закончил к 1 мая 1908 г. Он мечтал увидеть ее на сцене Художественного театра и потому «отвечал уклончиво» В. Ф. Коммиссаржевской, которая просила пьесу для своего театра (см. VIII, 224—225). Тогда же, в мае 1908 г., Блок прочитал «Песню Судьбы» К. С. Станиславскому и В. И. Немировичу-Данченко. По предложению Станиславского он вернулся к доработке пьесы, в частности — свел в одну картину («На пустыре») две картины первоначальной редакции. В первой половине августа «Песня Судьбы» была, действительно, послана в Художественный театр. Вопрос о постановке ее оставался открытым до декабря 1908 г., когда К. С. Станиславский известил Блока, «что пьесы нельзя и не надо ставить».

[2] «Река раскинулась...» и «В ночь, когда Мамай...».

[3] Это письмо уже не застало Л. Д. Блок в Боржоме. Она выехала оттуда 4 августа и приехала в Петербург 9 августа. Вскоре, 20 августа, они оба уехали в Шахматово. Шахматовское уединение, как всегда, способствовало размышлениям поэта о проблемах современного общественного развития.

ШУТОЧНАЯ ЗАПИСКА БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Заметки Блока в записной книжке за сентябрь 1908 г., проведенный в Шахматове, свидетельствуют об исключительном интересе к проблеме народа и демократическим традициям русской литературы. Напр.: «*12 сентября.* Записывать просто разговоры. Клюев. Новая драма (тишина, зеркала вод в лесу, мужичья поступь). Мечты о журнале с традициями добролюбовского «Современника». Две интеллигенции. Дрянность «западнических» кампаний («Весы», мистический анархизм и т. п.). *Единственный* манифест и *строжайшая* программа. Чтобы не пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской. Распроститься с «Весами». Бойкот новой западной литературы. Революционный завет — презрение. ⟨...⟩ Написать доклад о единственном возможном преодолении одиночества — приобщение к народной душе и занятие общественной деятельностью. Только чувствуя себя гражданином,— и т. д.» (ЗК, 113—114). Этот план был реализован в ноябре 1908 г., когда Блок выступил с докладом «Россия и интеллигенция» («Народ и интеллигенция»— V, 318—328).

С тем же кругом идей связана запись 29 октября 1908 г. (проект выступления в Религиозно-философском обществе): «Нужно понять, что все обстоит необыкновенно, страшно неблагополучно. И если цвет русской интеллигенции ничего не может поделать с этим мраком и неблагополучием, как этот цвет интеллигенции мог, положим, в 60-х годах, бороться с мраком,— то интеллигенции пора вопрошать новых людей. И главное, что я хотел сказать, это то, что нам, интеллигентам, уже нужно торопиться, что, может быть, уже вопросов *теории* и быть не может, ибо сама практика насущна и страшна» (ЗК, 119. Ср. письмо к матери 26 октября 1908 г.— VIII, 256).

1909

158

⟨30 ноября 1909. Петербург⟩

Любе — зайцу — поручения [2]:

1. Сказать Мережковским [3], что я уехал.
2. Пойти к Ремизовым [4] и снести Ал⟨ексею⟩ Мих⟨айловичу⟩ книги.
3. Пойти к Ясинскому [5] (вт⟨орник⟩ и пятн⟨ица⟩, 5—8) и взять у него Теофила, если он не хочет его печатать. А, мож⟨ет⟩ быть, и хочет [6].
4. Пойти к Ивановым [7].
5. Сообщить также тете [8].
6. Написать вообще маме.
7. Сидеть!

Дом здравия д-ра Добрского. Аллея роз, 10 [9].

[1] Дата установлена по содержанию.

[2] Блок срочно выехал в Варшаву, получив известие о том, что отец его — профессор Варшавского университета Александр Львович Блок — тяжело болен и что положение его безнадежно (см. «Письма к родным», стр. 290).

[3] Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус.

[4] Алексей Михайлович Ремизов (1877—1957) и жена его — Серафима Павловна (1880—1943).

[5] Иероним Иеронимович *Ясинский* (1850—1931) — поэт и беллетрист, в эти годы редактировал журнал «Новое слово» (приложение к газете «Биржевые ведомости»), в котором сотрудничал Блок.

[6] «*Действо о Теофиле*» — переведенный Блоком в 1907 г. миракль средневекового трувера Рютбефа. Сохранилось письмо Блока к И. И. Ясинскому (без даты), в котором он писал: «Позвольте предложить Вам прилагаемое действо о Теофиле...» (Рукописное отделение Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). В «Новом слове» перевод Блока напечатан не был. Вскоре «Действо о Теофиле» было набрано для газеты «Слово», но и там не появилось. В ноябре 1911 г. Блок посылал газетный набор тому же И. И. Ясинскому для опубликования в сборнике «Стожары» (письмо Блока к Ясинскому от 5 ноября 1911 г.— там же), а в декабре 1912 г. затребовал у него текст «Действа» обратно (письмо от 6 декабря 1912 г.— там же). «Действо о Теофиле» было опубликовано впервые лишь в 1915 г., в сборнике «Стрелец».

В период работы над «Действом о Теофиле» Блок писал Брюсову 20 октября 1907 г.: «Пока посылаю Вам для «Голоса Москвы» только два своих стихотворения, из которых первое («Она пришла из дикой дали») прошу Вас передать для помещения в первом № приложений, а второе («Пожар») — в следующем, или как Вам заблагорассудится. Возможно, что до 1 ноября я не пришлю ни одной прозаической рукописи, потому что к 1-му должен перевести для старинного театра целый миракль XIV века в 600 стихов («Miracle de Theophile») (VIII, 216).

[7] Семья Е. П. Иванова.

[8] М. А. Бекетова.

[9] Адрес лечебницы в Варшаве, куда был определен заболевший А. Л. Блок.



БЛОК
Фотография с дарственной надписью: «Всеволоду Мейерхольду Александр Блок»
Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва

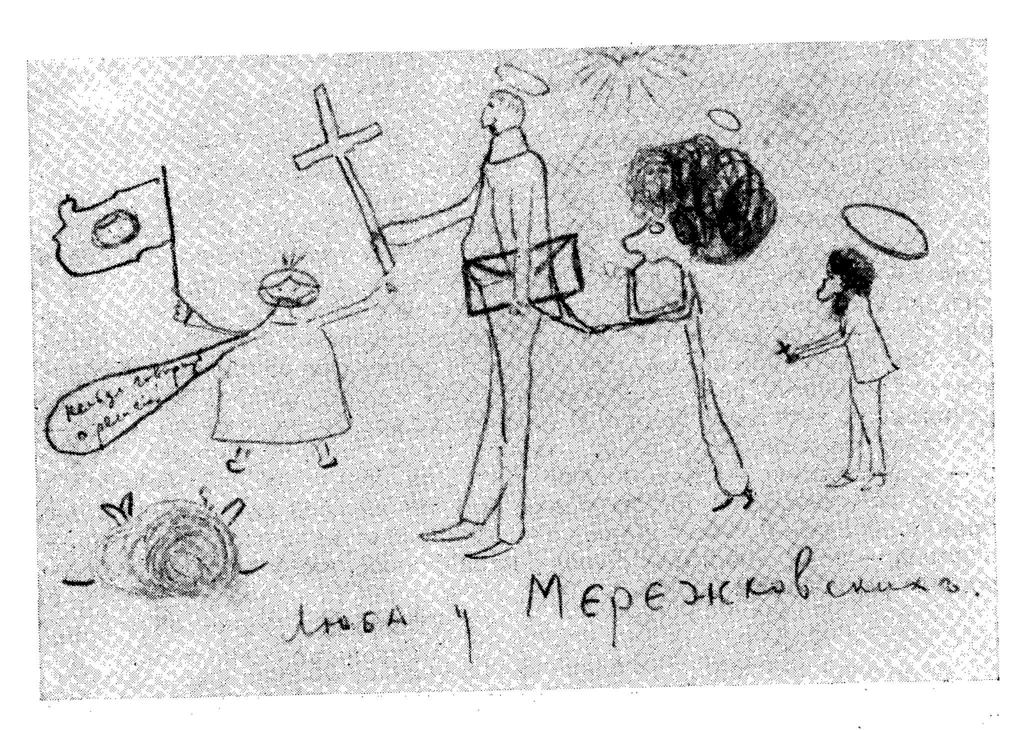
159

Варшава, 1 декабря <19>09

Люба, я застал отца уже покойным. Он умер в 5 час. дня. Ты, вероятно, получила телеграммы [1]. Он мне очень нравится, лицо спокойное, худое и бледное, и приподнятые плечи [2]. Ехать было страшно одиноко, все время тосковал и тоскую без тебя [3]. Останусь здесь на несколько дней, на сколько — не знаю. Во-первых,— похороны только в пятницу. Во-вторых,— буду разбирать его квартиру и дела. Ты напиши мне. Я остановился в Венской гостинице (Маршалковская 102, против Венского вокзала). Комната № 58 (чисто, стоит 2 рубля, гостиница известная). Сейчас мы со Спекторским [4] исходили пол-Варшавы.

Впечатления буду рассказывать тебе потом. Устал, в конце концов. Теперь, во всяком случае, гораздо легче, чем было в поезде.

Главное, ты будь благополучна. Напиши. Господь с тобой.



«ЛЮБА У МЕРЕЖКОВСКИХ»

Шуточный рисунок Блока (Д. В. Философов, З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский встречают Любовь Дмитриевну с крестами и нимбами над головами; она же несет на знамени изображение собственного лица и заявляет: «Нельзя говорить о религии!»)

Центральный архив литературы и искусства, Москва

[1] Л. Д. Блок писала Блоку 1 декабря в Варшаву: «...сегодня пришла телеграмма, что твой отец умирает».

[2] Ср. описание мертвого А. Л. Блока в III главе поэмы «Возмездие».

[3] Ср. запись Блока в записной книжке под 30 ноября — 1 декабря 1909 г.: «Отец лежит в Долине роз и тяжко бредит, трудно дышит. А я — в длинном и жарком коридоре вагона, и искры освещают снег<...> Ничего не надо. Все, что я мог, у убогой жизни взял, взять больше у неба — не хватило сил. Заброшен я на Варшавскую дорогу так же, как в Петербург. Только ее со мной нет — чтобы по-детски скучать, качать головкой, спать, шалить, смеяться<...> Подъезжаю к Варшаве. По обыкновению, томлюсь без Любы — не могу с ней расстаться» (ЗК, 161—162).

[4] Евгений Васильевич *Спекторский* (1875—1951)— юрист, профессор Варшавского университета, ученик и биограф А. Л. Блока, автор книги «А. Л. Блок — государствовед и философ» (Варшава, 1911). А. А. Блок не раз встречался с Е. В. Спекторским в Петербурге, а в декабре 1909 г., — в Варшаве. Известно три письма Блока к Е. В. Спекторскому 1909—1911 гг. (см. «Радуга», 1960). Впоследствии, находясь в эмиграции, Спекторский опубликовал в Югославии, на сербском языке, статью «Поэт Блок и его отец» («Српски књижевни гласник». Нова серија, XXVIII, 1933, стр. 431—437).

160

Варшава, 9 декабря <19>09

Люба, ты моя милая, я ужасно скучаю по тебе. Постоянно хватает за сердце. Между тем, придется, вероятно, пробыть здесь еще не менее недели. Очень много дел и вещей. Большая часть времени уходит на разбор-

ку и укладку квартиры. Хорошо, что ты мне пишешь, я получил уже три письма. От мамы только сегодня первое, она пишет, что ей опять хуже. Ты ей напиши и поддержи ее.

Разрешилась ли чем-нибудь твоя история с Ваней [1]? — Смерть Анненского, о которой я узнал только из твоего письма, очень поразила меня [2]. На нем она не была написана, — или я не узнал ее. Только что у Дризена [3] он произнес большую и, как всегда, блестящую речь о театре, бодро и громко, как всегда. У него была готова публичная лекция и две книги стихов [4]. — Я везу много вещей, нам надо будет, думаю, в январе переселиться на хорошую квартиру. Везу и тебе и себе старинные и очаровательные вещи. — Моя сестра и ее мать [5] настолько хороши, что я даже чувствую близость к ним обеим. Ангелина интересна и оригинальна, и очень чистая, но совсем ребенок, несмотря на 17 лет. М⟨ария⟩ Т⟨имофеевна⟩ удивительно простая и добрая. Я не прочь от знакомства с ними. А ты? — Я живу как-то по-новому, вижу много «обыкновенных» людей и — к удивлению — очень интересуюсь ими. Чувствую себя больш⟨ей⟩ частью молодым. Подумываю о том, что мы с тобой скоро поедем, например, в Рим. Я пишу маме, что на Рождестве поеду в Ревель, — я думаю — а ты? Пиши мне. Денег у меня больше, чем у тебя, но ты этого пока не рассказывай [6].

⟨Рисунок⟩ ⟨Рисунок⟩
Мильонщик. Секретарь.

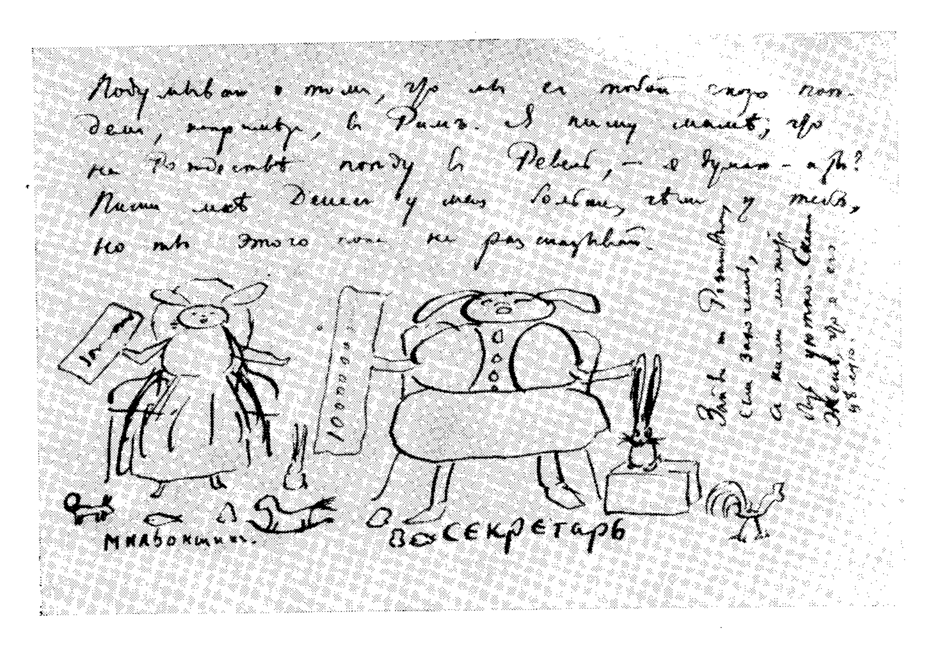
Зайди к Розановым [7], если захочешь, с ними может быть уютно. Скажи Жене [8], что я его целую.

[1] *Ваня* — Иван Дмитриевич Менделеев, брат Л. Д. Блок (см. о нем ниже — стр.320). Вопрос Блока об «истории с Ваней» был вызван тем, что сообщила ему Любовь Дмитриевна в письме от 4 декабря 1909 г.: «... пришел Ваня, начал опять, хотя очень немного, поругивать, — «Тропинка» ему на этот раз попалась под руку. Я ему и выпалила, очень глупо, что не надо приходить, чтобы ругаться. Он ушел разозлившись, но очень сдержанно, и мне стало стыдно. Я написала ему письмо, где все изложила, и искренно и прямо, по-моему хорошо, я переписала письмо, чтобы показать тебе. Совсем не было в этом всем того, что ты ненавидишь — подразумевания тебя, ты увидишь». В одном из последующих писем (от 12 декабря) Любовь Дмитриевна дополнительно сообщила Блоку: «С Ваней я встретилась у мамы, сначала будто ничего, потом страшно накричал на меня за то, что кадеты требуют, чтобы в судах говорили на инородческих языках, очень обидно, я ушла от мамы тогда, а на другой день получила открытку с извинениями». Суть этого столкновения Л. Д. Блок с братом заключается в том, что И. Д. Менделеев придерживался ясно выраженных реакционно-националистических взглядов и с этой точки зрения, в частности, осуждал новейшую русскую литературу и тех писателей, которые составляли ближайшее окружение Блока. «*Тропинка*» — журнал для детей, издававшийся близкими Блоку людьми: П. С. Соловьевой (Allegro) и Н. И. Манасеиной.

[2] Иннокентий Федорович *Анненский* (1855—1909) — поэт, литературный критик и филолог-классик, переводчик Эврипида и других античных авторов, пользовавшийся высоким уважением в литературной среде. Он внезапно скончался на улице от разрыва сердца 30 ноября 1909 г. Блок высоко ценил лирическое дарование И. Анненского (см. его рецензию 1906 г. на сборник стихов Анненского «Тихие песни» (V, 619) и письмо к Анненскому от 12 марта 1906 г. (VIII, 151).

[3] Николай Васильевич *Дризен*, барон (1868—1935) — театральный деятель и историк русского театра, один из учредителей «Старинного театра», для которого Блок в 1907 г. перевел «Действо о Теофиле». В доме Дризена происходили еженедельные литературно-театральные собрания (по средам).

[4] И. Ф. Анненский подготовил не две, а одну книгу стихов — «Кипарисовый ларец», которая вышла посмертно (М., изд-во «Гриф», 1910).



ШУТОЧНЫЕ РИСУНКИ БЛОКА НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ ЕГО ПИСЬМА К Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК 9 ДЕКАБРЯ 1909 г.
Центральный архив литературы и искусства, Москва

[5] Вторая жена А. Л. Блока — Мария Тимофеевна Блок, урожденная Беляева (1876—1922), и их дочь — Ангелина Александровна (1892—1918), с которыми Блок встретился на похоронах отца. «Моя сестра и ее мать мне очень симпатичны, так что я даже сблизился с ними,— писал Блок матери в тот же день, 9 декабря. —Сестра интересная и оригинальная и чистая, у нас много общих черт (напр⟨имер⟩— «ирония»), но в чем-то очень существенном — коренная разница, кажется, в том, что она — не мятежна; ее мать бесконечно добра, усталая и «безответная», но с характером... Мне было бы интересно не только продолжать знакомство с ними, но познакомить с ними и тебя и Любу» («Письма к родным», стр. 293). В дальнейшем Блок поддерживал близкие отношения с сестрой, хотя с трудом переносил ее реакционное — «гвардейское» и «православное» — семейное окружение. Он посвятил Ангелине Блок поэму «Возмездие» (во второй редакции 1911 г.), а впоследствии, в 1919 г., памяти ее — цикл стихов «Ямбы».

[6] После смерти отца Блок получил довольно значительное наследство, которое позволило ему обеспечить себе независимую жизнь вплоть до 1917 г.

[7] Семья В. В. Розанова (см. о нем примеч. 9 к письму № 38). Любовь Дмитриевна сообщила Блоку в письме от 6 декабря 1909 г.: «Вчера вдруг пришел Розанов днем, я так испугалась его любопытства, что не приняла его, уж не знаю, как это надо будет загладить».

[8] Е. П. Иванову.

161

Телеграмма

11 декабря 1909. Варшава [1]

Здоров писал не тревожься С а ш а [2].

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Ответ на телеграмму Л. Д. Блок от 10 декабря 1909 г.: «Не получаю писем здоров ли когда приедешь беспокоюсь Л ю б а».

162

‹11 декабря 1909. Варшава›
11/24 Grudzień 1909

Моя милая, напиши, как ты за меня испугалась, когда послала телеграмму? Я ответил сегодня утром телеграммой. Неужели даже заказные письма теряются? Это — четвертое [1]. Сегодня католический рождественский сочельник. Выяснилось, что выехать придется, вероятно, только еще через неделю, отчего я загрустил. Мне надоели Варшава и вещи, и я скучаю о тебе и о своем доме. Сейчас перешел в большую и более дорогую комнату (№ 47), в моей было невозможно спать от духоты. Пиши мне еще, твои письма меня ободряют. Когда приеду, телеграфирую.

Господь с тобой.

[1] Одно письмо Блока (посланное между 1 и 9 декабря), как видно, не дошло по назначению.

163

Телеграмма

15 декабря 1909. Варшава [1]

Телеграфируй здорова ли беспокоюсь писем нет [2].

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Ответная телеграмма Л. Д. Блок от 15 декабря 1909 г.: «Здорова все благополучно пишу часто жду».

164

Телеграмма

16 декабря 1909. ‹Варшава›

Моя милая, я приеду в субботу утром, часов около 9-ти буду дома. Пришлю еще телеграмму.

165

Телеграмма

17 декабря 1909. Варшава [1]

В субботу утром буду дома [2].

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Блок вернулся в Петербург в субботу 19 декабря.

1910

166

21 августа ⟨1910. Москва⟩ [1]

Люба, я думаю приехать в Шахм⟨ато⟩во во вторник. Довольно скучно здесь. Трудно без тебя. Но полезно еще остаться, хотя делать здесь совершенно нечего. Все время о тебе сегодня думал. Господь с тобой. Не умею ничего написать.

21 VIII

[1] Блок, живя в августе 1910 г. в Шахматове, на несколько дней ездил в Москву (вернулся 24 августа). Л. Д. Блок в это время уехала по домашним делам в Петербург.

В Шахматове Блок получил письмо от А. Белого, первое после разрыва в 1908 г. Непосредственным поводом к нему явилась статья Блока «О современном состоянии русского символизма», прочитав которую Белый «почувствовал *долг*» написать, чтобы выразить «глубокое уважение за слова огромного мужества и благородной правды» и добавлял: «Во имя правды прошу у Тебя прощения» («Александр Блок и Андрей Белый. Переписка», 1940, стр. 233).

6 сентября 1910 г. Блок ответил Белому. Он, в частности, писал: «Твое письмо, пришедшее с прошлой почтой, глубоко дорого и важно для меня. Хочу и могу верить, что оно восстанавливает нашу связь, которая всегда была более чем личной (в сущности, ведь сверхличное главным образом и мешало личному). Нам не стоит заботиться о встречах и не нужно. Я, как и ты, скажу тебе, что у меня нет определенного желания встретиться. ⟨...⟩ Также мне хорошо то, что Ты просишь прощения у меня, — но я не принимаю этого. Или — принимаю лишь с тем, что и... Ты меня простишь за то, чего мы никогда не скажем (и не должны сказать) словами, но что я знаю, может быть, лучше Тебя. Есть какая-то великая отрада в том, что *есть*, за *что* прощать друг друга; потому что, действительно, то, что было,— *было*, это *НЕ* пустое место, это «бес всех нас попутал».

Еще мне очень дорого твое отношение к моей статье. Оно меня поддержит более, чем чье-либо мнение; когда я писал эту статью (и не одну эту), я внутренно, почти бессознательно справлялся у Тебя, отсутствующего: «Так ли? не так ли?» Да, по-братски. Ну так правда торжествует» (VIII, 314—315).

167

Телеграмма

26 ⟨декабря⟩ 1910. Ревель [1]

Писем нет телеграфируй Саша

[1] Блок ездил в Ревель к матери (пробыл в Ревеле с 24 по 30 декабря).

В. Э. МЕЙЕРХОЛЬД

Фотография с надписью: «Александра Александровича Блока я полюбил еще до встречи с ним. Когда расстанусь с ним, унесу с собой любовь к нему прочную навсегда. Люблю стихи его, люблю глаза его. А меня он не знает... Вс. Мейерхольд»

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

168

28 декабря 1910. Ревель

Поздравляю тебя, маленькая Люба [1]. Подарков я тебе искал, но журналов нет. Все-таки я попробую завтра найти тебе что-нибудь небольшое. Не обижайся, что мало; вообще будь умной, здоровой и послушной. Два письма от тебя было, а сегодня опять нет. Я чувствую себя последние дни тоскливо. Приеду 31 утром.

Мама чувствует себя ничего. В Ревеле хорошо.

Господь с тобой.

[1] Поздравление с днем рождения (29 декабря).

1911

169

20 мая/2 июня 1911. Шахматов [1]

Люба, я о тебе все время думаю.

Когда я приехал в Шахматово, было серо, шел дождь; но тишина и свежесть. Первый день были неприятности с плотниками, но теперь пока наладилось. Главное построено — очень хорошо [2]. Еще до июня, по крайней мере, простроим. Впрочем, об этом тебе не стоит писать.

Сегодня солнце и ветер. Много птиц и всяких тварей. Все свежо, кроме лип, дубов и роз — их съели мыши. Все звери и люди ведут себя добросовестно, кроме зайца, который пробил лбом забор в саду и обгрыз яблоню.

Мне кажется, что я буду писать,— очень тихо. Единственно, что нет тебя. Если бы можно было не беспокоиться только, было бы совсем тихо.

Напиши мне умное письмо. Я еще не могу писать умного. Десны побаливают, я не ем мяса и мажу их. Сейчас пойду гулять. Господь с тобой.

Саша

Захожу к тебе в комнату. Грустно без тебя.

[1] 17 мая 1911 г. Блок уехал из Петербурга в Шахматово, а Любовь Дмитриевна — за границу.

Незадолго до отъезда Блок писал А.Белому, только что возвратившемуся из-за границы: «До ужаса знакомо то, что ты пишешь о первом впечатлении от России; у меня было подобное: моросящий дождь — и стражник трусит по намокшей пашне с винтовкой за плечами; и чувство, что все города России (и столица в том числе)—одна и та же станция «Режица» (жандарм, красная фуражка и баба, старающаяся перекричать ветер).—В этих глубоких и тревожных снах мы живем...» (VIII, 337). «Есть ли сейчас в России *хоть один человек*,— спрашивает Блок,— который здраво, честно, наяву и *по-божьи* (т. е. имея в себе в самых глубинах скрытое, но верное «*ДА*») сумел бы сказать «*НЕТ*» всему настоящему» (там же).

[2] Блок перестраивал дом в Шахматове.

170

23 мая/5 июня 1911. ⟨Шахматово⟩

Люба, я еще не привык к Шахматову, все не хватает чего-то, и потому тяжело себя носить. Не хватает, очевидно, тебя. Весна прохладная, но сегодня под сад прилетел махаон — желтый с черным. Нарциссы крупные, луга еще не цветут. Я брожу пока без дела [1]. Вчера приезжали Кублицкие [2]; вообще — тихо все, и постройка приближается к концу.

Я начал составлять III том [3]. Разбирал книги и письма. Пришло твое письмо и карточки из Вержболова. Напиши, когда и какие книжки тебе прислать.

24 мая

Сегодня едут за тетей [4]. Меня очень занимает новая собачка. Он ко мне привык и лижет руки. Сидит на цепи и жалуется детским голосом.

Господь с тобой, Люба.

Напиши адрес.

Саша

[1] Одновременно Блок писал В. Я. Пясту: «Здесь, по обыкновению, сразу наступила полная оторванность от мира. Письма и газеты приходят два раза в неделю. Знаете что? Если бы вы могли приехать сюда на несколько дней? Много места, жить удобно, тишина и благоухание. Вам было бы интересно и нужно, я думаю, увидать эту Россию: за 60 верст от Москвы, как за 1000: благоуханная глушь, и в земном раю — корявые, несчастные и забитые люди с допотопными понятиями. сами себя забывшие» (VIII, 337).

[2] Семья тетки Блока С. А. Кублицкой-Пиоттух (см. стр. 90 наст. тома), которая после того как Блок выкупил Шахматово (после получения наследства) приобрела себе в той же местности усадьбу Сафоново.

[3] Третью книгу «Собрания стихотворений»— для издательства «Мусагет».

[4] *Тетя* — М. А. Бекетова.

171

27 мая/10 июня 1911. 〈Шахматово〉

Люба, я не могу отвечать на твои интересные письма [1] такими же из Шахматова. Мир, как всегда, удален, неизвестно, что делается в нем, а мы тихо живем с мамой и тетей. Мужики нищие и несчастные, большей частью холодный май, дни тянутся долго, пушистая собачка плачет на цепи, постройка тянется, но мало беспокоит. Все это ты знаешь. Я брожу, занимаюсь много дописываньем старых стихов, которые мне почти все надоели; хочу скорей развязаться со II и III книгой [2]. Почти ничего еще не чувствую. Ем массу яиц и пью молоко.

Захожу каждый день в твою комнату.

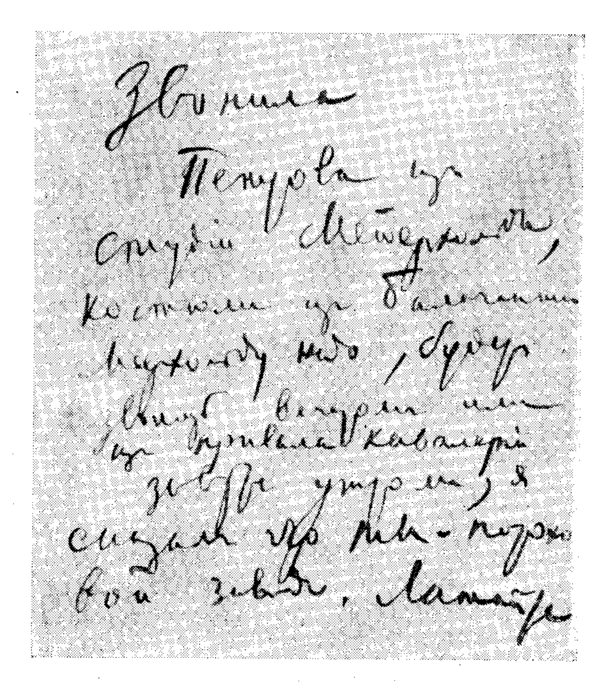
Написал Пясту просьбу, чтобы он приехал [3]. А книги тебе надо? Что, кроме «Грозы» и «Гамлета» [4]?

Твои два письма о параде и о Гамлете — очень хорошие и умные [5]. Пиши еще такие, когда тебе будет время. Мне очень нужно получать такие известия. Мне захотелось в Берлин после твоего письма.

Господь с тобой, милая.

Саша

[1] Приводим выдержки из писем Л. Д. Блок с дороги и из Берлина: «Милый мой, еду по Литве, около Ковно〈...〉 Литва похожа на наше, на Шахматовское, совсем. Поля и деревушки» (из Вержболова); «Три часа смотрела музей Фридриха. очень хорошо, внимательно и серьезно〈...〉 После обеда до 6-ти смотрела египетский музей и гравюры. Потом отправилась гулять в Tiergarten, это загородный парк, где вместо Tier'ов — статуи Kaiser'ов»; «Театр Рейнгарта я теперь поняла и знаю. Он тоже зрительный — и это так, как нигде не бывало. Не декадентские плоскости, тупые стилизации, а весь зрительный мир на сцене; часто бесконечное небо занимает почти всю сцену до низу, иногда звездное, иногда серое. Затем несколько великолепных актеров — пока знаю Моисси, Бассермана, Эйзольд (это актриса). Но слабое место всего театра сверху до низу — полное игнорирование красоты слова» (из Берлина, 5 июня н. ст.); «Вот только можешь ли ты поверить, что я по-твоему смотрю и твое вижу в искусстве? Ты как-нибудь уж поверь этому; если в сравнении с твоим пониманием и твоим достиже-


Звонила
Петрова из
студии Мейерхольда,
костюмы из Балаганчика
Мейерхольду надо, будут
звонить вечером или
из Привала кавалерии
завтра утром, я
сказал что ты — поро-
вой завод,

НАЧАЛО ЗАПИСКИ БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК (1914):

«Звонила Петрова из студии Мейерхольда, костюмы из «Балаганчика» Мейерхольду надо, будет звонить вечером или из «Привала кавалерии» завтра утром, я сказал, что ты — пороховой завод...»

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

нием мои порывчики кажутся тебе такими маленькими, будто их и нет, для меня-то они есть и большими кажутся, особенно теперь. Я уверена, что в ту же они точку. Я все время сама удивляюсь, как я все продолжаю развиваться и как быстро..» (из Берлина, 7 июня н. ст.).

[2] Вторая и третья книги «Собрания стихотворений».

[3] См. письмо Блока к В. А. Пясту от 24 мая 1911 г. (VIII, 339—341).

[4] «*Гроза*» — драма А. Н. Островского, «*Гамлет*»— трагедия Шекспира.

[5] В письме от 1 июня н. ст. из Берлина Л. Д. Блок подробно описала военный парад с участием кайзера Вильгельма II, который она наблюдала в первый день приезда в Берлин. В другом письме, от 3 июня н. ст., она делилась впечатлениями от спектакля «Гамлет» в театре Макса Рейнгардта: «Ну, а театр мой не обманул. Гамлет был трагедией Шекспира, Гамлет — Гамлетом, да так, что и ты смотрел бы. Подробности тебе не интересны. Играл Бассерман, Моисси ничего теперь не играет. Бассерман, очевидно, образец Моисси, только он старше, и его «пафос» не так цветист что ли, так сказать, как у Моисси. Но подлинный, шекспировский, трагический. Зумурун — пантомима с музыкой; она трагичная, с комическими штуками, от которых трагизм еще больше. Постановка уверенно ведет к цели, все смелости не для себя, а для идеи. Опять подлинное, подлинное искусство».

172

30 мая/12 июня 1911. ⟨Шахматово⟩
Духов день

Люба, вчера я был очень бодр и деятельно настроен, и понял очень много в своих отношениях ко многим. Прежде всего — к тебе.

Собирался писать тебе большое письмо, но сегодня уже не могу, опять наступила апатия. Уж очень здесь глухо, особенно в праздники некуда себя девать. И это подлое отсутствие даже почты, что теперь прямо тягостно, когда тебя нет.

Я хотел тебе писать о том, что все «*единственное*» в себе я уже отдал тебе и больше уже никому не могу отдать даже тогда, когда этого хотел временами. Это и определяет мою связь с тобой. Все, что во мне осталось для других,— это прежде всего ум и чувства дружбы (которая отличает-

ся от любви только тем, что она множественна и не теряет от этого); дальше уже только — демонические чувства или неопределенные влечения (все реже), или, наконец, низкие инстинкты.

Все это я мог вчера сказать еще определеннее, но я думаю, что ты и из этого поймешь то, что я хотел только точнее определить.

Накануне Троицы под вечер я зашел в нашу церковь [1], которую всю убирали березками, а пол усыпали травой.

Ты спрашиваешь все, нравятся ли мне твои письма. Да, почти целиком нравятся, иногда особенно. Мне интересно все, что ты думаешь, когда ты можешь это выразить в сколько-нибудь ясной форме. А в письмах — выражаешь.

Господь с тобой.

Саша

Я поставил около постели два твоих портрета: один — маленький и хитрый (лет — 17-ти), а другой — невестой.

Н. Н. Скворцова [2] прислала мне свой большой портрет. Вот девушка, с которой я был бы связан очень «единственно», если бы не отдал всего тебе. Это я также совершенно определенно понял только вчера.

Конечно, я знал это и прежде, но для всяких отношений, как для произведения искусства, нужен всегда «последний удар кисти».

Я чувствую себя все время на отлете.

Как ты думаешь, когда мне ехать, и встретиться ли нам именно в Quimper'е [3], или в другом месте. После твоих писем мне захотелось также и в Берлин.

[1] Церковь в селе Тараканово (близ Шахматова), где в августе 1903 г. Блок венчался с Л. Д. Менделеевой.

[2] Наталия Николаевна *Скворцова* (1891—?)— одна из почитательниц Блока. В 1910 г. она писала Блоку анонимные письма, по его словам —«иронические» и «очень умные». Личное знакомство их произошло 27 февраля 1911 г. в Петербурге, куда Н. Н. Скворцова приехала специально, чтобы встретиться с Блоком. «Ей 20 лет,— писал Блок матери,— она очень живая, красивая (внешне и внутренне) и естественная. Во всем, до мелочей, даже в костюме — совершенно похожа на Гильду и говорит все, как должна говорить Гильда. Мы катались, гуляли в городе и за городом, сидели на вокзалах и в кафе. Сегодня она уехала в Москву» (VIII, 333—334). *Гильда* — героиня драмы Г. Ибсена «Строитель Сольнес»). В дальнейшем между Блоком и Н. Н. Скворцовой завязалась оживленная переписка; из писем Блока к Скворцовой сохранилась малая часть (см. VII, 90—92; VIII, 377). В последний раз Блок и Н. Н. Скворцова встретились в Москве в мае 1920 г.; последнее письмо Блока к Скворцовой (не отправленное) относится к январю 1921 г. (не опубликовано; собрание В. Н. Орлова).

[3] *Кэмпер* — город во Франции (в Бретани), где Блок условился встретиться с Любовью Дмитриевной.

173

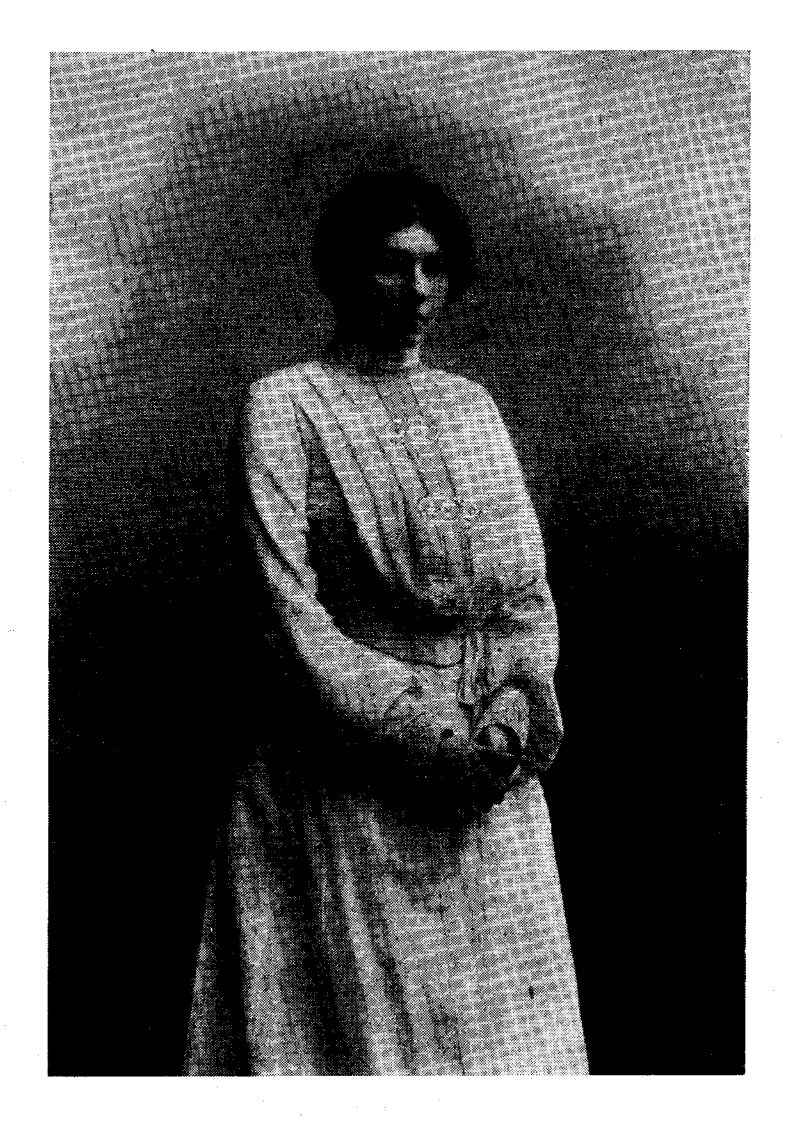
3/16 июня 1911. 〈Шахматово〉

Люба, с прошлой почтой пришли от тебя письма — из Парижа и из Берлина — с карточками. Получила ли ты мое poste restante * — в Париж? Напиши, когда мне ехать. Все бы хорошо, если бы ты была здесь.

Здесь теплеет и пышнеет. Сегодня была сильная гроза. Я бродил по лесам, вымок до пояса и нашел новую породу грушевки.

Сегодня отпустили плотников. Завтра покончат все остальные. Дом вышел красивый и удобный. Мы с мамой на днях ездили в тележке: в Бо-

* До востребования (*франц.*).



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК
Фотография, 1905—1906 <?>
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

рис-Глеб через Бородино, а возвратились через Соглево и Дубровки [1]. Я все смотрел на Бобловский дом с разных мест.

Появились тучи ласточек. Два раза влетали в мое окно. Им особенно хочется слепить гнездо над нашими окнами. Лепят, но я боюсь, что краска скользкая, как бы гнездо не упало [2].— Много майских жуков. Соловьи учатся.

Боря написал длинное письмо из Луцка о Мусагетских делах — с настоятельным приглашением приехать к ним (и от Аси). Они живут у Асиной матери. Мне это трудно теперь, я не поеду [3].

Корректуры «Ночных часов» [4] нет, как нет.

Мне предстоит еще видеть много интересного до встречи с тобой, но выходит как-то, что я еду за границу к тебе, это последняя цель, а все, что перед этим, только станции. Мне даже досадно, что это так.

Я хочу все-таки ехать так: Стокгольм, (озера?), Копенгаген — Эльсинор, (Берлин?), Антверпен и проч., Брюссель и проч., Париж (надо ли Руан и проч.?) — и Бретань.

Вечер удивительный.

Господь с тобой.

Саша

[1] Окрестности Шахматова.

[2] В воспоминаниях Л. Д. Менделеевой-Блок читаем: «Трепетная нежность наших отношений никак не укладывалась в обыденные, человеческие: брат — сестра, отец — дочь... Нет! ... Больнее, нежнее, невозможней... И у нас сразу же, с первого года нашей общей жизни, началась какая-то игра, мы для наших чувств нашли «маски», окружили себя выдуманными, но совсем живыми для нас, существами, наш язык стал совсем условный. Как, что — «конкретно» сказать совсем невозможно, это совершенно невоспринимаемо для третьего человека; как отдаленное отражение этого мира в стихах — и все твари лесные, и все детское, и крабы и осел в «Соловьином саду». И потому, что бы ни случалось с нами, как бы ни терзала жизнь,— у нас всегда был выход в этот мир, где мы были незыблемо неразлучны, верны и чисты. В нем нам всегда было легко и надежно, если мы даже и плакали порой о земных наших бедах.

Когда Саша заболел, он не смог больше уходить туда. Еще в середине мая он нарисовал карикатуру на себя — оттуда; это было последнее. Болезнь отняла у него и этот отдых. Только за неделю до смерти, очнувшись от забытья, он спросил вдруг на нашем языке, отчего я вся в слезах,— последняя нежность».

[3] *Боря* — Андрей Белый (Б. Н. Бугаев), незадолго перед тем женившийся на художнице Анне Алексеевне Тургеневой (*Ася*). Летом 1911 г. он гостил у матери жены — С. Н. Кампиони, на Волыни, возле Луцка, в поместье Боголюбы. Письмо А. Белого к Блоку от конца мая 1911 г. с приглашением приехать в Боголюбы и с просьбой принять близкое участие в делах издательства «Мусагет»— см. в книге: «Ал. Блок и А. Белый. Переписка». М., 1940, стр. 257—258.

В ответном письме 6 июня 1911 г. Блок анализирует причины своих сложных личных и идейных взаимоотношений с Белым и дает ныне широко известную характеристику собственного творческого пути: «...Единственно, что мне необходимо ответить Тебе, как самому проникновенному *критику* моих писаний,—это то, что таков мой *путь*, что теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что это должное и что все стихи вместе — *«трилогия вочеловечения»* (от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый лес — к отчаянью, проклятиям, «возмездию» и ... к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру. ⟨...⟩ Потому отныне *Я не лирик*» (VIII, 344).

[4] «*Ночные часы*»— четвертый сборник стихотворений Блока, готовившийся к изданию в изд-ве «Мусагет» (вышел в свет в октябре 1911 г.).

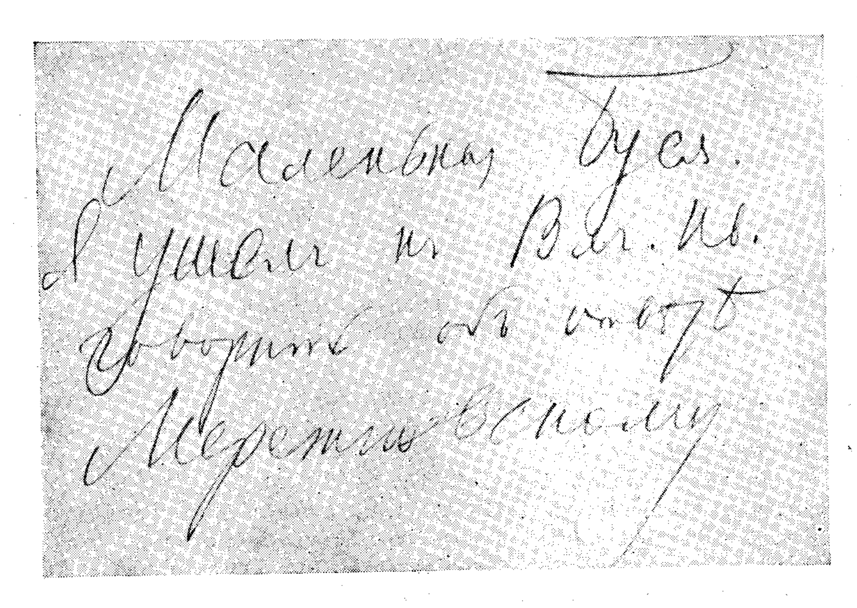
174

7/20 июня 1911. ⟨Шахматово⟩

Люба, ничего не могу написать тебе нового; только скучно без тебя. Очень редки даже письма. Последнее письмо, от 10 июня — было одно, вместо двух, как бывало из Берлина, и неприятное. Во-первых — все о Ремизовых и о Чулкове; а мне тяжело, что ты с ними встретилась; и вообще тяжело, когда ты с кем-нибудь видишься далеко от меня [1]. Потом, что-то дамско-парижское показалось мне в нем, даже безграмотное слово — «безусловно» [2]. Или—мне показалось только? Я чувствую нелепость в том, что я сижу на месте, а ты путешествуешь где-то одна. Наоборот было бы еще естественнее.

Находишь ли ты себя? Не плохо ли влияет на тебя Париж? Неужели ты еще с кем-нибудь видишься?

Дни мои тянутся без конца. Я продержал корректуру «Ночных ча-


Маленькая Буся.
Я ушел к Вяч. Ив.
говорить об ответе
Мережковскому

ЗАПИСКА БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК (1910):
«Маленькая Буся. Я ушел к Вяч⟨еславу⟩ Ив⟨анову⟩ говорить об ответе Мережковскому»
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

сов», скоро составлю второй и третий том [3] и уеду в Москву на несколько дней.

Ты не получила в Берлине одного моего письма — единственного интересного, которого я не хочу еще повторять [4]. Другое мне вернули обратно — пересылаю тебе его, все-таки.

Пиши мне, пиши, милая, господь с тобой.

А. Б.

Когда мне ехать? — Сегодня я опять катался в тележке.

[1] В письме из Парижа от 10 июня (н. ст.) 1911 г. Л. Д. Блок сообщала о встрече с А. М. и С. П. Ремизовыми, жившими тогда в Париже по соседству с Г. И. Чулковым. Л. Д. Блок избегала встречи с Г. И. Чулковым, с которым в свое время ее связывали романические отношения.

[2] Имеется в виду надпись, которую Л. Д. Блок сделала на изображении парижского отеля, где она жила. «Это преувеличенное раз в десять зрелище, отельчик мой маленький, но безусловно порядочный и приятный».

[3] Вторую и третью книги «Собрания стихотворений».

[4] Имеется в виду письмо от 30 мая 1911 г. (№ 172). Любовь Дмитриевна получила это письмо позже, о чем сообщила Блоку 20 июня 1911 г.: «Когда прочла, даже ослабела совсем — так ждала, так рада и так хорошо, что ты пишешь. Да, я понимаю, что ты пишешь об единственном».

175

10/23 июня 1911. ⟨Шахматово⟩

Люба, сегодня я очень устал: ездил через Аладьино и Ивановское в Михалево и вернулся домой мимо Боблова [1]. Все думаю о тебе. Очень скучно без тебя; кроме беспокойства,— всегда пустое место в жизни. Ты не получаешь моих писем; я получаю их — их возвращают из Германии. Но главного [2] все еще не вернули.

Прошлое письмо к тебе я написал в очень нервном состоянии. На след⟨ующий⟩ день пришли опять два письма от тебя — одно хорошее — о Версале, и без Ремизова и Чулкова [3]. Напиши мне, когда оставишь магазины в покое. Пойми, наконец, простейшую вещь: что все современное производство вещей есть пошлость и не стоит ломаного гроша, а потому покупать можно только книги и предметы первой необходимости.

Я читаю гениальную Историю франц⟨узской⟩ Революции Карлейля [4].

Мож⟨ет⟩ быть, ты и этого письма не получишь, потому что уедешь в Бретань? — Пишу кое-как. Я хочу ехать отсюда в 20-х числах в Петерб⟨ург⟩. Не могу решить, ехать ли прямо к тебе или проехать все предположенные страны. Скучно без тебя, милая.

Господь с тобой. А. Б.

Не знаю, поеду ли в Москву.

[1] Окрестности Шахматова.

[2] Имеется в виду письмо от 30 мая 1911 г. (№ 172).

[3] В письме от 16 июня (н. ст.) 1911 г. Л. Д. Блок подробно излагала свои впечатления о Версале: «Вчера я была в Версале. Это действительно Версаль, какой только может быть. Во дворце теперь национальный музей —«A toutes les gloires de la France» *, очень много военного прославляется; да и есть что, как вспомнишь все это по картинкам. Наш Gaston de Foix из Равенны умирает на громадной картине **; Наполеона много. *В Версале* — несколько зал с портретами деятелей революции (очень интересно, а меня уж очень задевает). Цел, недалеко от дворца, «Jeu de Paume» ***, где клялись états généraux ****. Все цело, как было, на одной стене картина известная этой клятвы и бюсты их главных, тут я проливала слезы. Целы в Трианоне комнаты, где жила и спала Мария Антуанета, тут же ее бюст разбитый в революцию и склеенный. Целы неприкосновенно комнаты Наполеона, т.е. не неприкосновенно, в том-то и штука тут, что дух улетел, его французы нигде не удержали, остроты-то музея Фридриха нигде нет. Но парки невыносимо хороши, уж мы с тобой вместе непременно должны там побывать. В Трианоне есть большущий парк в простом стиле, как мог бы быть в именьи в России, и сено сушится, и на нем сидят. Но главное — цветники, бесконечные, пышные, миллионы роз вокруг бассейнов, уж я ходила по ним, ходила. Есть в Версале роща Аполлона, настоящая. Входишь из таких розовых садов за железную решетку под деревья, и становится непроницаемо тенисто, дорожки вьются и все кусты зеленые до земли, и еще гирлянды плюща по земле, так что сплошная крупная темная и блестящая листва. Потом просвет на лужайку, за ней скала желтоватая и развалины таких же колонн, тоже поросли зеленью, а посередине — в гроте — Аполлон и музы мраморные, группой, внизу вода».

[4] Блок читал «Историю французской революции» Т. Карлейля в русском издании 1907 г. Экземпляр этого издания из библиотеки Блока испещрен его многочисленными пометами. В эти же дни (6 июня 1911 г.) Блок писал В. А. Пясту: «Зная по себе увлекательность Амфитеатрова (т. е. ему подобных), дружески советую не злоупотреблять им. Такие вещи не всегда проходят безнаказанно; можно совершенно незаметным образом испортить (на время, но не всегда краткое) часть души. Это касается, разумеется тех душ, на которых господь «издал эфирно-легкими перстами». Такую душу, между прочим, необходимо иметь не только поэту, но и историку и социологу. Знаете чудесную замену Амфитеатровых и К°? Это не менее легко, не менее увлекательно и вместе с тем невыразимо очищает душу: «История французской революции» Карлейля» (VIII, 347).

---

* Вся слава Франции (*франц.*).

** Картина, изображающая смерть французского полководца Гастона де Фуа, герцога Немурского (1488—1512), убитого под Равенной.

*** Зал для игры в мяч (*франц.*). Здесь в 1789 г. собрались депутаты третьего сословия.

**** Генеральные штаты (*франц.*).



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК С ШАРОМ
Рисунок Блока
Центральный архив литературы и искусства, Москва

176

13/26 июня 1911 г. ‹Шахматово›[1]

Люба, что за странность, что ты не получаешь моих писем? Я посылаю это заказным, хотя едва ли ты его получишь: вероятно, дошло хоть одно, и ты едешь в Бретань.

Я еду около 25-го в Петербург, хотя не получил от тебя ответа на свои вопросы. Завтра еду в Москву на несколько дней. Жара страшная. Везу Кожебаткину [2] рукописи второй и третьей книги. Приблизительно с нашего 23 числа (т. е. *с 6 июля*) пиши мне в Петербург,— и до 1 июля (*13-го*).

Твои письма доходят. Прошлое большое письмо опять меня встревожило; но, так как я не надеюсь, что это письмо дойдет, не пишу как (отдельные места, Ремизов, Чулков и пр.— не заграничное) [3]. Беспокоюсь о тебе постоянно. Происходит совершенно неестественная и нелепая вещь: ты ездишь и смотришь, не имея времени углубиться и найти себя; я сижу на месте и питаюсь мыслями, находя и тебя и себя и то, что нас обоих кроет и соединяет.

Уезжай на океан, купайся, смотри на воду и думай. Мне временами невыносимо тяжело, что ты с Ремизовыми, а особенно,— что тебя видел Чулков, и что ты, вероятно, слушала его двусмысленности. Когда я думаю о тебе особенно хорошо и постоянно, как *теперь*, мне особенно больно видеть тень легкомыслия в тебе.

В сущности, я пишу тебе так нервно, потому что уже потерял терпение от нелепости положения (что ты ездишь, а я сижу). Кроме того, проклятые письма мои не доходят, и ты теряешь связь со мной. Господь с тобой.

А. Б.

Сегодня я составлял книги [4] у тебя в комнате. Все будет кончаться «Равенной» [5]. Пробовал написать заключительные «Шаги Командора», но бросил [6]; все равно, выйдет не первого сорта, лучше «Равенны» не написать.

Да, мне очень не хочется, чтобы ты была без меня в чужих больших городах, особенно с русскими знакомыми. И знаешь что: твои письма из Берлина

были для меня чем-то необыкновенно нежным и ласкающим, а из Парижа — сплошная тревога. Я люблю Париж за революцию и за многое. Но *тебя* в *Париже* я не люблю. Ты теряешь в душевном весе, становишься средним человеком, какая-то суета нападает на тебя. Уезжай поскорее, милая [7].

[1] Это письмо было послано лишь 17 июня (см. следующее письмо).

[2] Александр Мелентьевич *Кожебаткин* (1884—1942)—секретарь издательства «Мусагет», где выходили книги Блока — сборник стихотворений «Ночные часы» и «Собрание стихотворений» в трех книгах.

[3] Имеется в виду письмо Л. Д. Блок от 18 июня (н. ст.) 1911 г., в котором она сообщала о посещении музея «Carnavalet» («где целые комнаты воспоминаний о революции и Наполеоне,— очень потрясает») и Люксембургского музея, о католическом богослужении и религиозной процессии, о посещении зоологического сада, а также о визите к Ремизовым, где Любовь Дмитриевна встретилась с Г. И. Чулковым. Об этой встрече Любовь Дмитриевна написала Блоку следующее: «Он поахал о моем приезде, что не узнал меня, что я похудела, и я, по-видимому, ему изволила понравиться, что было мне приятно в смысле того, что я сама знаю, что я теперь гораздо лучше на вид, и неприятно, что это Чулкову. Я краснела до ушей, но скоро он стал уходить, его никто не удержал».

[4] Т. е. сборник «Ночные часы» и третью книгу «Собрания стихотворений».

[5] *«Равенна»*— стихотворение Блока (из цикла «Итальянские стихи»), которым заканчивается сборник «Ночные часы».

[6] Стихотворение «Шаги Командора», вчерне набросанное осенью 1910 г., было дописано лишь 16 февраля 1912 г.

[7] В ответ на упреки Блока Любовь Дмитриевна писала ему 24 июня (н. ст.) 1911 г., «... ты прав, и защищаться мне нечего, конечно, я хуже в Париже, чем в Берлине, единственное, что могу сказать себе в утешение, что продержаться на такой настоящей высоте, как я была в Берлине, и всякому трудно, а мне так очень непривычно. Не знаю, как было бы, если бы Париж был первый в моем путешествии, а так — это правда, высокого я унесу из него только немногие минуты, а то эти две недели разменяла на мелочи. И хочу очень уехать скорей опять к высокому, к одиночеству, и так встретить тебя».

177

17/30 июня 1911. ⟨Шахматово⟩

Люба, посылаю тебе и прошлое непосланное письмо [1], хотя получил от тебя много нового [2]. Ты уже в Бретани теперь; я надеюсь, что тебе перешлют это из Парижа.

Вчера я вернулся из Москвы, где пробыл только два дня. Был в двух хороших местах: на Воробьевых горах и на концерте в Сокольниках (Бетховен). Но в Москве так жарко, что я не выдержал больше двух дней. И сегодня жарко, я чувствую себя вяло. Судя по твоим письмам, ты получила мое главное письмо в Берлин; но там сказано очень коротко, да я и не хотел говорить длинно [3]. Я думаю, ты и так понимаешь.

Пришли и химеры, и Notre Dame [4]. Ты думаешь жить и купаться на острове? Я боюсь, что это неудобно. Мне бы хотелось жить во время этого купанья (если купаться даже в Бретани, чего я еще не знаю) как-нибудь с удобством, вроде курортного. Не могу еще решить, как ехать и где купаться, посоветуюсь с доктором в Петербурге.— Бедный Алексей Михайлович [5]; напиши, если будешь им писать, что я его целую. А тебе кланяются Ангелина [6] и еще кто-то (просили в письмах).

Я пишу так вяло от жары. В твоих последних письмах много успокоительного и хорошего. Значит, я был прав относительно Парижа для те-

бя? — Нам нужно когда-нибудь пожить в Париже вместе и найти под хламом современности — древний, святой и революционный город. Я уверен, что это возможно.

Господь с тобой.

Саша

P. S. Я хочу ехать отсюда 27—30 (10—13 июля) в П⟨етер⟩б⟨ург⟩, а оттуда — через неделю — не больше.

Я в Москве никого не видал.

[1] От 13 июня.

[2] В письме от 25 июня (н. ст.) 1911 г. Л. Д. Блок писала, между прочим: «Сегодня я видела могилу Наполеона, я не буду ее тебе описывать, ты должен ее увидеть и обязан написать про нее стихи, потому что только так и только ты, я думаю, можешь о ней сказать; одно слово — могила героя». Там же — резко отрицательная оценка модернистской французской живописи: «Ну и уровень, я тебе скажу! Совсем даже и забыли, что есть искусство, не только что не пытаются его воплощать. «Много красивой живописи», как пишут в газетах, но ни воспоминания о прекрасном. Тут нет последних модернистов, но я видела маленькую выставку этого самого Ван-Донжена: орет во все горло, а толку никакого».

[3] Имеется в виду письмо от 30 мая 1911 г. (№ 172).

[4] Любовь Дмитриевна прислала Блоку серию почтовых открыток с изображениями знаменитых химер Собора Парижской богоматери.

[5] А. М. Ремизов, который в это время страдал от мучительной боли в руке (воспаление надкостницы).

[6] Сестра Блока — Ангелина Александровна.

178

21 июня/4 июля 1911. ⟨Шахматово⟩

Люба, с прошлой почтой пришло письмо о том, что ты уезжаешь в Paimpol (не знаю, где это) [1]. Я поеду через неделю отсюда. Чувствую себя почти больным от жары и жду только дождя. Не пишу тебе ничего поэтому и еще потому, что письмо может не дойти до тебя. Господь с тобой, милая.

Саша

К вечеру прошла гроза, легче дышать. Paimpol'а нет ни в указателях, ни на карте — где это?

Ты, может быть, спутала? — У меня есть хороший путеводитель Мейера (Париж и Сев⟨ерная⟩ Франция) и русский. Изучаю Париж и уже хорошо знаю его по путеводителям и по ист⟨ории⟩ Франц⟨узской⟩ революции. Простой город.

[1] *Paimpol* — приморское местечко во Франции, на берегу Ламанша.

179

30 июня/13 июля 1911. СПб

Люба, сейчас я приехал из Шахматова, разобрал вещи, пил чай. Нашел твои четыре письма (последнее от 7 июля). Прости, что я писал тебе злые письма, но в Шахматове всегда обо всем беспокоишься больше, чем где бы то ни было. Очевидно, тишина и глушь возбуждают беспокойство. Я еще не прочел хорошенько твоих писем, видел только, что в одном из них ты пишешь о кнутике [1].

Мне много дела, и я, пожалуй, не успею уехать отсюда раньше 7-го (20-го). Решил в одну из ночей в Шахматове, что поеду *прямо* к тебе (через Берлин и Париж); остановки при этом возможны, но короткие, м. б., только для перерыва почти четырехсуточной езды (твои Бедекеры лежат на столе, но мне их мало нужно). Потому — *не буду* телеграфировать тебе (ты получишь это письмо дня через четыре), не знаю точно дня отъезда и еще не купил Livre de caisse *.

Здесь мне нужно: Иванов, Пяст [2], *нервный* доктор (мама посылает, я согласен, у меня страшно расстроены нервы), который и посоветует, где купаться, аккредитив, паспорт и т. д.

Куда ехать, мы обсудим вместе, я хочу ездить и жить с тобой. И говорить будем. Не беспокойся обо мне, я тебя люблю. Господь с тобой.

А. Б.

Очевидно, приеду, действительно, незадолго до сдачи комнат; я и не хочу глуши, только хорошее чувство, что едешь на другой конец Европы — к маяку. Потом мы уедем, м. б., прямо в Quimper [3]? А оттуда — купаться в удобное место, где доктор. А, м. б., и нет, все будет видно.

В Шахм⟨атове⟩ провел день Сережа [4] — было очень хорошо.

[1] В одном из писем (6 июля) Л. Д. Блок писала: «Милый Лалачка, не посылай мне больше злых писем, они меня мучат невыносимо своей жестокостью; когда ты приедешь, я тебе их покажу, и ты сам увидишь, что они очень несправедливы и что так писать нельзя, когда находишься за 5 дней езды. Я *знаю*, что тебе диктует их *твое* нервное состояние, а не отношение ко мне, но это не помогает, и слова бьют прямо в сердце. Я об этом всем буду с тобой говорить, когда приедешь; тогда же сговоримся, как нам быть дальше... За время, когда я пишу это письмо, говорю с тобой, каким я тебя знаю, прошла боль от письма, в котором сказано, что ты не любишь меня, что я средний человек и потеряла душевный вес; подумай сам, зачем это писать за тысячи верст? После этого успокоительное и доброе письмо — совсем не то, что оно само по себе. Мой Лала, надо очень много силы, всякой, ты уж поверь, чтобы через три часа (я его получила три часа приблизительно назад) быть уже спокойной, видеть тебя, милого и любимого моего Лалаку, а не какого-то с кнутиком».

[2] О посещении Е. П. Иванова и В. А. Пяста Блок сообщил матери 5 июня: «Вчера был у Пяста в Парголове, а третьего дня — в Царском (у Иванова). То и другое было совершенно разно и очень хорошо» (VIII, 350).

[3] См. примеч. 3 к письму № 172.

[4] Сергей Михайлович Соловьев (см. о нем выше — стр. 90). В 1907 г. Блок, в связи с литературными разногласиями, прервал отношения с С. М. Соловьевым. Заочно примирились они осенью 1910 г., а встретились впервые после размолвки — в апреле 1911 г., в Петербурге. О своей поездке в Шахматово в июне 1911 г. С. М. Соловьев рассказал в воспоминаниях о Блоке («Письма Александра Блока». Л., 1925, стр. 35—37).

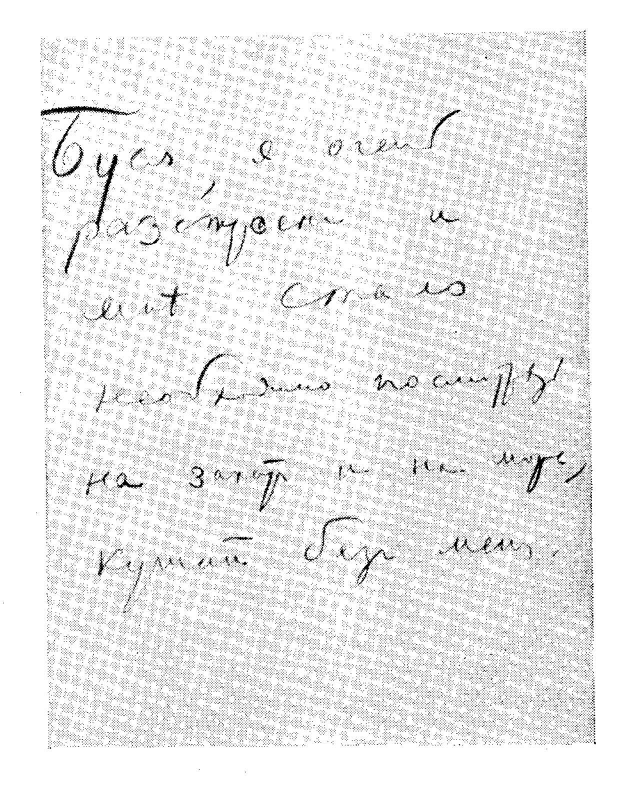
180

2/15 июля 1911. ⟨Петербург⟩
⟨суббота⟩

Люба, в Петербурге печально. Слава богу, я уезжаю к тебе во *вторник* (5/18) в 11 час. 15 мин. вечера. Взял билет прямо до Парижа. Не жди меня в определенный день, я может быть остановлюсь где-нибудь по дороге.

Аничков [1] рекомендовал мне нервного доктора, у которого я буду в понедельник. Все это скучно и не в том дело. Здесь такая летняя глушь и

* Сберегательная (чековая) книжка (*франц.*).



Буся, я очень
расстроен и
мне стало
необходимо посмотреть
на закат и на море,
Купите без меня.

ЗАПИСКА БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

тоска, что может иногда показаться, что весь мир такой [2]; но я уже чувствую, что поеду к маяку [3].

Господь с тобой, милая. А. Б.

[1] О Е. В. Аничкове см. примеч. 6 к письму № 121.

[2] На другой день, 3 июля, Блок писал В. А. Пясту: «Дело в том, что Петербург— глухая провинция, а глухая провинция —«страшный мир» (VIII, 350).

[3] Л. Д. Блок долго искала место, где бы поселиться для отдыха и куда должен был приехать к ней Блок. С этой целью она ездила по Бретани, посетила ряд приморских деревень и близлежащих островов. Блок хотел, чтобы место было тихое, «не нарядное» и «не элегантное». В конце концов Л. Д. остановилась на деревушке Аберврак (L'Aberwrach), расположенной на берегу Атлантического океана. Блок 5 июля выехал из Петербурга и через Берлин, Кельн, Париж и Брест 9 (22 по н. ст.) июля приехал в Аберврак, где ему очень понравилось. Поскольку пейзаж Аберврака привлек Блока, а в дальнейшем отразился в драме «Роза и Крест», приводим выдержки из писем Л. Д. Блок, непосредственно касающиеся этого местечка.

«...я остановилась на несколько дней в маленькой деревушке L'Aberwrach. Погода ужасная, туман и дождь — ничего не видно, но гостиница наша тоже в старой церкви, как в Венеции. Большая комната у меня с камином и есть другая для тебя, такая же, со скамеечками в стене у окна. Вид на море, через старую стену и калитку. Так — хорошо, боюсь, что плоско только здесь и мало моря⟨...⟩ Отсюда мы бы с тобой поездили по разным местечкам и где понравилось — там бы купались» (от 22 июня н. ст.).

«Милый мой, мне здесь очень хорошо. Море есть и оно говорит, здесь я его вижу и слышу. Надо подняться за нашу гостиницу на холм, тогда открывается полгоризонта моря, сначала скалы и островки, потом открытое море. Проходят на горизонте большие корабли — надо бы бинокль или трубу: не видно их, только дым и под ним что-то маленькое. Но направо от нас на Ile Vierge один из самых больших маяков во Франции, его видно хорошо⟨...⟩это тот самый, который светит на 75 километров⟨...⟩За одно я спо-

койна — это отель, в нем хорошо. На дворе стоит св. Марк из церкви с отломанной головой и львом ужасно смешным; перед окнами большая смоковница, есть фруктовый сад и огород〈...〉 Гуляя по берегу, я уже видела кого-то небольшого, кто бегает бочком, но их мало. Сейчас отлив, здесь очень большой, я его не люблю — все пустеет и некрасиво. А в приливе скачут белые волны по камням» (от 1 июля н. ст.).

«Милый, с каждым днем ценю больше найденный мною L'Aberwrach〈...〉 Гостиница, оказывается, в бывшем маленьком францисканском монастыре, разоренном в Революцию. Церковь стоит без крыши—в нее прячут обломки лодок и кораблей. Св. Марка обезглавили тоже в Революцию, его нашли в саду, а голову еще не нашли. Монастырь был основан в 1603 г.; наверно, балки и полы—того времени—вот ты увидишь〈...〉 Сегодня я ходила за 5 километров уж к самому подлинному океану. Во время отлива обнажаются камни и дно, и по ним можно дойти, как по дороге, до самых последних скал, и у самых ног будут разбиваться волны, а перед глазами только синий, синий океан. На горизонте (всегда только на горизонте) корабли, сегодня видела парусный, трехмачтовый—можно было разглядеть. Поближе — рыбачьи лодки〈...〉 Маяк горит не все время, а вспыхивает — ужасно ярко светит, как звезды» (от 2 июля н. ст.).

181 [1]

〈23 августа (5 сентября н. ст.) 1911. Антверпен〉[2]

Люба, rapide оказался действительно rapid'ом [3]. Я сижу в ресторане и собираюсь обедать, остановившись вот в *этом* поганом домище (под названием H〈otel〉 Metropole) [4].

Антверпен, кажется, гадок.
Днем бывает так же жарко. Попробую завтра посмотреть что-нибудь. Вечер немного прохладней парижского.

Господь с тобой. Люблю тебя.

Саша

[1] Письмо на трех открытках с видами Антверпена. Адресовано в Париж.

[2] Дата почтового штемпеля. После пребывания в Аберuраке Блок с Любовью Дмитриевной посетили Кэмпер и Париж.

Из Кэмпера Блок писал матери 20 августа: «Жизнь — страшное чудовище, счастлив человек, который может, наконец, спокойно протянуться в могиле», так я слышу голос Европы, и никакая работа и никакое веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся чудовищная бессмыслица, до которой дошла цивилизация, ее подчеркивают напряженные лица и богатых и бедных, шныряние автомобилей, лишенное всякого внутреннего смысла, и пресса — продажная, талантливая, свободная и голосистая.

Сегодня английские стачки кончаются (по-видимому), но вчера бастовало до *250 000* рабочих. Это —«всемирный рекорд». говорят парижские газеты и выражают удивление, что стачка достигла таких размеров в *самой демократической стране*! При этом одна Франция теряла до миллиона франков в день. Англия — нечего и говорить, потому что 60% английской промышленности сосредоточено в наиболее пострадавшем Ливерпуле. На сотнях *больших* пароходов сгнили фрукты, рыба и прочее. Не было *хлеба*, не было *света*. Все это сопровождалось бесконечными анекдотами, начиная с того, что лорды (у которых только что отнято их знаменитое veto) уверяли в парламенте, что *все благополучно*, — и кончая обществом эсперантистов, которые уныло сидели на чемоданах на лондонском вокзале и тщетно ждали поезда, мечтая о соединении всех народов при помощи эсперанто. Но они мечтали об этом в «самой демократической стране», где рабочие доведены до исступления *двенадцатичасовым* рабочим днем (в доках) и низкой платой и где все силы идут на держание в кулаке колоний и на постройку «супер-дредноутов». Именно *все* силы— в последние годы, когда Европе *НЕКОГДА* тратить силы ни на что другое, до того заселены все углы и до того прошли времена романтизма.



БЛОК
Фотография, 1907
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

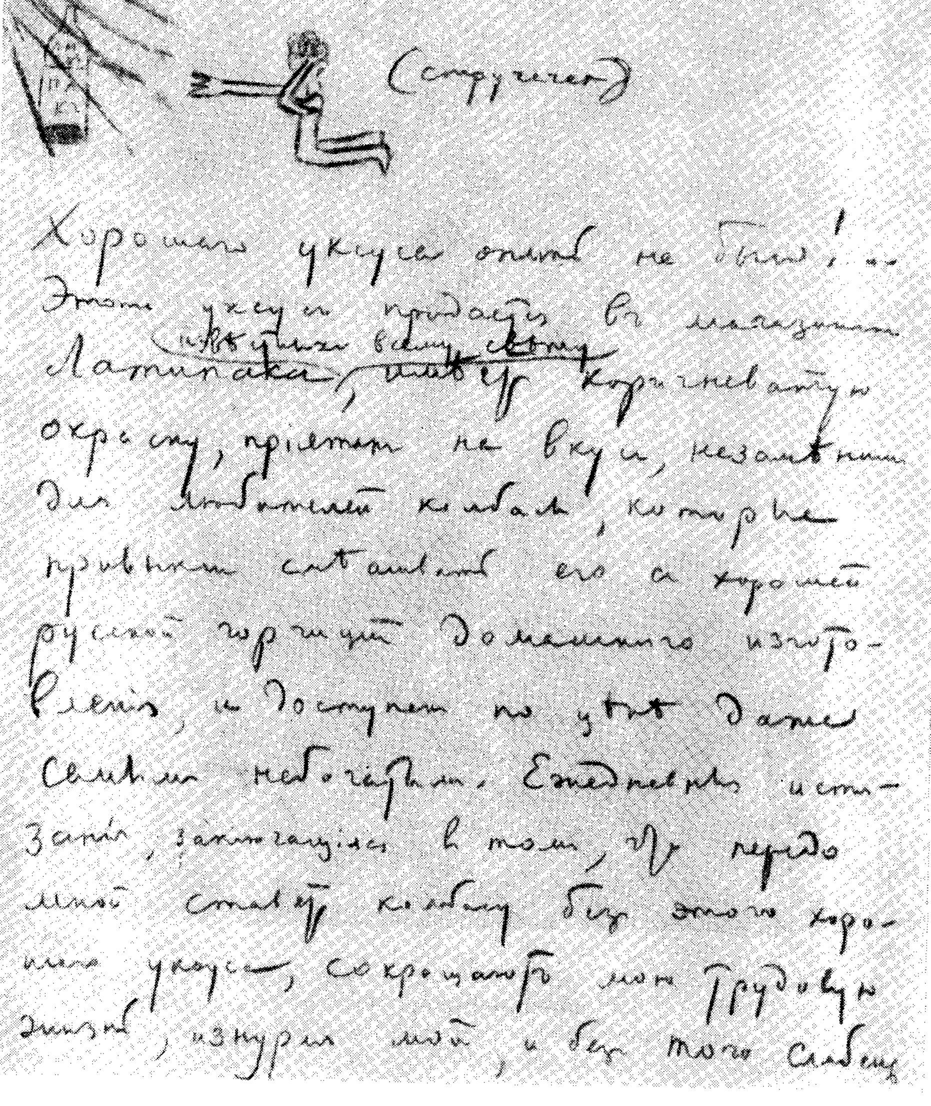
В Германии и Франции — нисколько не лучше. Вильгельм ищет войны и, по-видимому, будет воевать. ⟨...⟩ Газеты уже исчисляют флоты, военные гавани в Ламанше мобилизуются. Французы поминают лихом Наполеона III и собираются «mourir pour la patrie». Все это вместе напоминает оглушительную и усталую ярмарку, на которую я сейчас смотрю» (VIII, 365—366).

В Париже Блок намерен разыскать на задворках Notre Dame островок, где жили Бодлер и Теофиль Готье: «Теперь там в старом доме — польская библиотека и при ней — маленький музей Мицкевича (который читал в Париже лекции в 40-х годах). Иначе говоря, на этом островке, мало обитаемом и тихом, хотя и в центре Парижа, как бы поставлен знак; это — один из ферментов будущего — волшебное зеркало, в котором можно видеть духов Байрона, Мицкевича, революции французской и славянской, и т. д. и т. д.» (VIII, 367).

5 сентября (н. ст.) Блок уехал из Парижа в Брюссель, а Любовь Дмитриевна через неделю — прямо в Петербург.

[3] Курьерский поезд. Rapide — по-французски: стремительный.

[4] На первой открытке — изображение отеля «Метрополь».

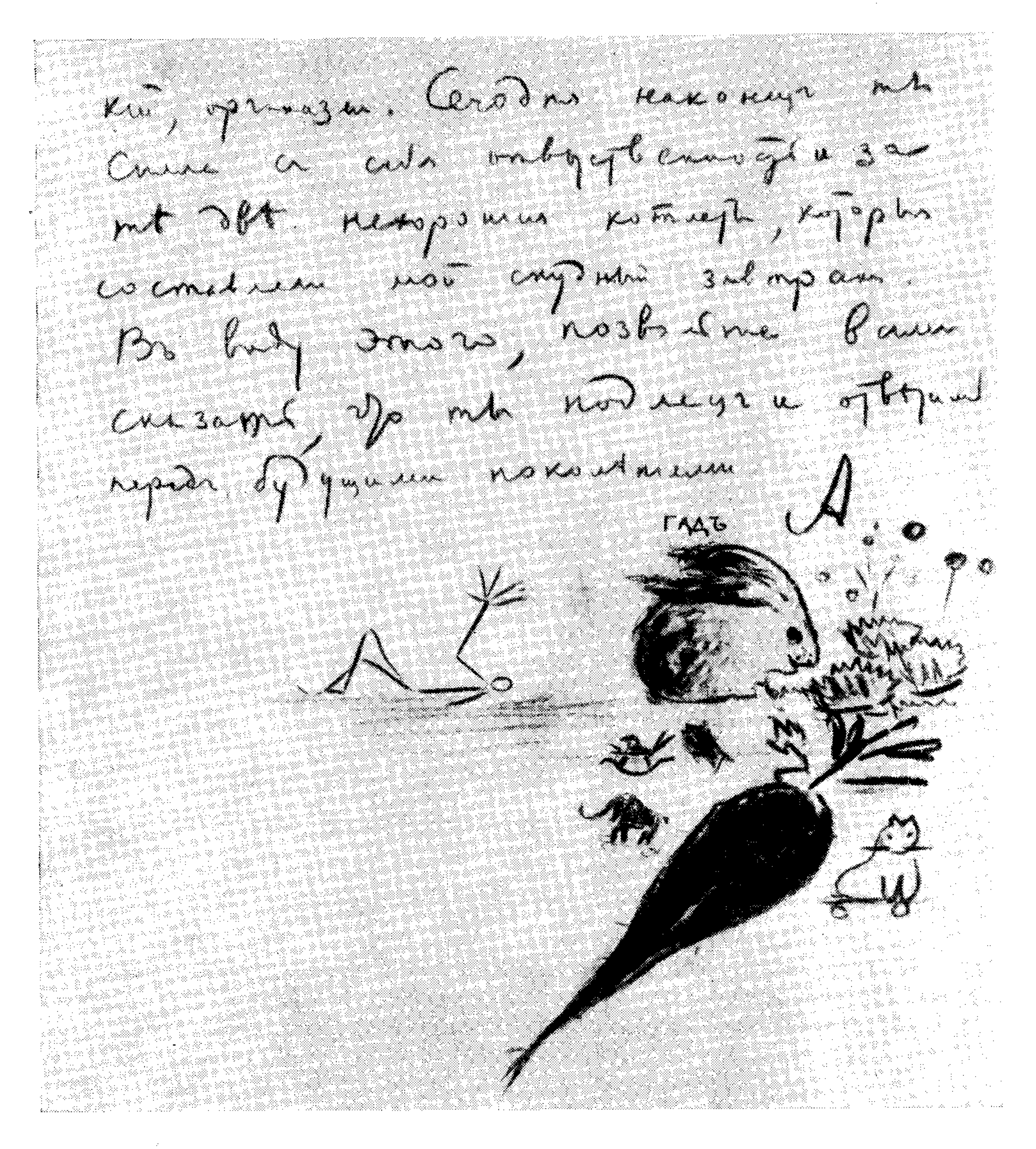

Хорошего укуса опять не было!..
Этот укус продается в магазине
Латипака, имеет коричневатую
окраску, приятен на вкус, незаменим
для любителей колбас, которые
привыкли сопоставлять его с хорошей
русской горчицей домашнего изготовления, и доступен по цене даже
семьям небогатым. Ежедневные истязания, заключающиеся в том, что передо
мной ставят колбасу без этого хорошего укуса, сокращают мою трудовую
жизнь, изнуряют мой, и без того слабый

ШУТОЧНАЯ ЗАПИСКА БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК С ЕГО РИСУНКАМИ
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

182

<24 августа (6 сентября н. ст.) 1911. Антверпен>
6. September. 1911. Anvers

Люба, я ошибся относительно Антверпена, он очарователен. Несмотря на жару (меньше парижской), я сегодня с раннего утра исходил почти весь город и музеи. Накупил фотографий и карточек. Здесь удивительная Шельда с кораблями, доками, кранами и запахом моря [1], собор, статуи, фонтаны, фламандская древность, уже близкая мне, и великолепный музей. Даже кое-что у Рубенса мне понравилось [2]. По-французски говорят



ШУТОЧНАЯ ЗАПИСКА БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК С ЕГО РИСУНКАМИ
Автограф (оборотная сторона)
Центральный архив литературы и искусства. Москва

туго, больше всего по-фламандски, часто по-немецки. Сейчас иду смотреть всяких миленьких [3], а потом перееду Шельду на пароме. Завтра поеду в Брюгге, или в Гент.

Господь с тобой, милая.

А. Б.

[1] Ср. в стихотворении Блока «Антверпен» (1914).

[2] «Музей так хорош, что даже у Рубенса не все противно»,— писал Блок матери в тот же день (VIII, 371—372). В статье «О «Голубой птице» Метерлинка», написанной в 1920 г., Блок говорит о «старой школе фламандской живописи», в том числе о Рубенсе (VI, 411).

[3] Имеются в виду звери в зооло ическом саду.

183

〈25 августа (7 сентября н. ст.) 1911. Антверпен〉
7 сент.

Люба, сегодня уезжаю в Гент. Вчера сидел усталый в зоологическом саду около бегемотиков (их 3) [1]. Вдруг знакомый шум. Поднимаю голову, а надо мной высоко Блерио. Покружился и улетел. Вздрагивает и покачивается, бедняжка [2]. Господь с тобой, милая.

[1] «От Бельгии я многого не жду, однако хочу увидать 18 бегемотов в зоологическом саду в Антверпене»,— писал Блок матери из Парижа (VIII, 371). В черновике стихотворения «Антверпен» есть строфа (вычеркнутая с пометой: «Это уж слишком»):

Спят львы, вздыхают бегемоты
В зоологическом саду —
Торговля, мир, покой, дремота,
Лишь я, чужой, чего-то жду.

[2] Блок был сильно увлечен авиацией и ее первыми успехами. Ср. заключительную строфу стихотворения «Антверпен»:

Но все — притворство, все — обман:
Взгляни наверх... В клочке лазури,
Мелькающем через туман,
Увидишь ты предвестье бури —
Кружащийся аэроплан.

184

〈25 августа (7 сентября н. ст.) 1911. Гент〉 [1]

Сегодня очень жарко. Сейчас уезжаю в Брюгге. Beffroi [2] в лесах. В музее хорошие примитивы и Босх [3]. Господь с тобой.

[1] Дата почтового штемпеля.

[2] *Beffroi* — одна из достопримечательностей Гента, сторожевая башня вышиной в 118 м, построенная в 1388 г.

[3] Акен Иероним *Ван Босх* (ок.1450—1516)— известный нидерландский живописец.

185

〈26 августа (8 сентября н. ст.) 1911. Брюгге〉
8 сентября

Вчера приехал в Брюгге.

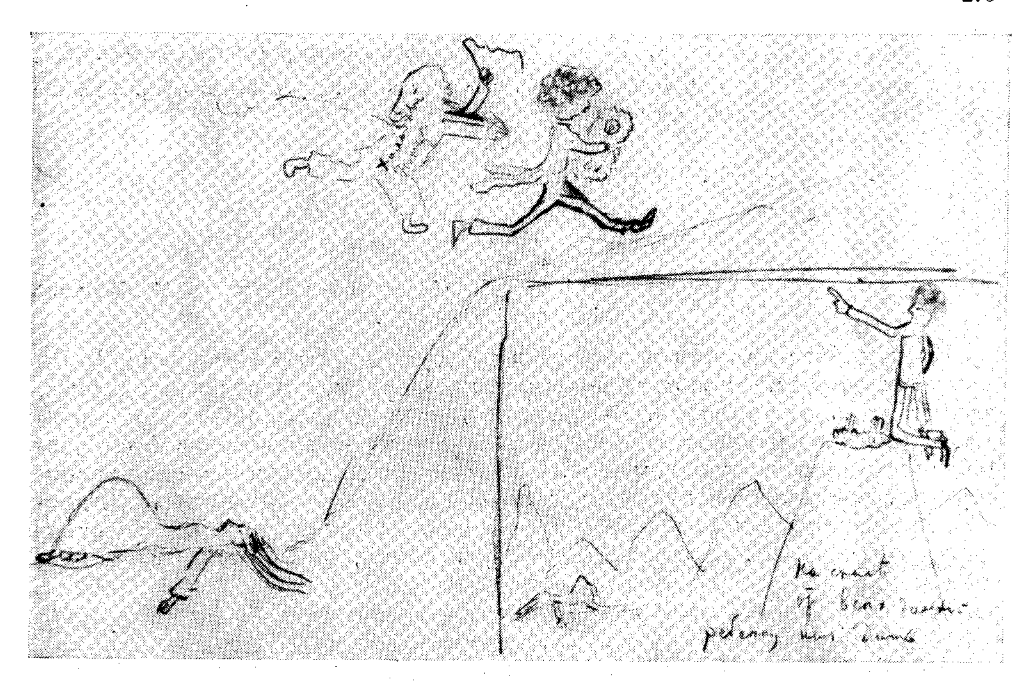
Что-то не очень нравится пока [1]. К тому же жара возобновилась. Сейчас пойду в музеи и в церкви.

Теперь буду писать тебе в Петербург, завтра ты уезжаешь [2]. А я завтра хочу перебраться в Голландию — через Флиссинген. В Амстердаме спрошу твое письмо. Мне хорошо в общем ездить одному, но также будет хорошо вернуться.

Господь с тобой, маленькая Люба. А. Б.

[1] Ср. в письме к матери из Роттердама от 10 сентября (н. ст.) 1911 г., «А вот Брюгге, из которого Роденбах и туристы сделали «Северную Венецию» (Venise du Nord), довольно отчаянная мурья. Лодочник полтора часа таскал меня по каналам. Действительно — каналы, лебеди, средневековое старье, какие-то тысячелетние подсолнухи и бузины по берегам» (VIII, 373).

[2] Из Парижа в Берлин.



ШУТОЧНЫЕ РИСУНКИ БЛОКА С ЕГО ПОМЕТАМИ НА МОТИВЫ СТИХОТВОРЕНИЯ «СПУСТИСЬ В ПОДЗЕМНЫЕ УЩЕЛЬЯ...» (21 НОЯБРЯ 1903 г.)
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

186

<30 августа (12 сентября н. ст.) 1911. Амстердам>
12 September 1911

Буся, я сегодня получил твое письмо и мамино. Ф<ранц> получил бригаду, штаб которой в Петербурге, а полки — в Петергофе и Ораниенбауме, так что они будут жить в Петербурге [1]. Мама страшно радуется этому, и я этому очень обрадовался, так что сегодня пришел в музей очень веселый.

А мне уже почти мучительно путешествовать. Во-первых, здесь меня окончательно сожрали мускиты, во-вторых — жара и грязь не прекращаются. Из Брюгге, который есть помойная яма, я тащился целый день по пропитанным пылью дорогам, ждал трамваев в разных клоаках — на пляже в Heyst'e, в L'Ecluse, на пристани в Breskens, потом три часа полз в «буммельцуге» [2] и остался ночевать в лучшем отеле Дордрехта, где, по кр<айней> мере, взял ванну. Дордрехт — очень милый, но ничего замечательного нет. След<ующий> день провел в Роттердаме, который мне больше всего понравился. На след<ующий> день сунулся в Гаагу и от отвращения не мог пробыть там дольше двух часов. Вчера же приехал в Амстердам. Мечтаю вернуться домой как можно скорее, в Данию едва ли поеду, в Берлине буду ждать твоего письма. Давно бы пора нам обоим быть в Петербурге, все это путешествие ужасно мучительно.

Ну, господь с тобой, милая. Я не понимаю, как ты могла жить в этом чудовищном Париже? Вчера из «Matin» [3] я узнал, что там было 36 градусов.

Напишу тебе еще из Берлина.

Господь с тобой.

А. Б.

[1] Франц Феликсович *Кублицкий-Пиоттух* — отчим Блока. Назначенный командиром стрелковой бригады, он получил возможность покинуть Ревель, пребывание в котором сильно тяготило мать Блока.

[2] *Буммельцуг* — медленный поезд (*нем.*).

[3] «*Matin*» — распространенная французская газета.

187

〈31 августа (13 сентября н. ст.) 1911. Берлин〉
13 сент. 1911.

Буся, сейчас приехал и не застал тебя, верно, ты в Петербурге [1]. На почте еще не был. Приношу две жалобы: во-первых, я искусан мускитами, так что страшно смотреть. Вчера, как угорелый, бросился из Амстердама, как только написал тебе письмо. Во-вторых — слоненок в Амстердаме запустил в меня клочком сена. При всем этом, я, едва переехав границу, почувствовал себя лучше, так люблю немцев. Пойду в ванну, отдохну и, может быть, поеду даже через Данию, смотря по тому, что ты напишешь о квартире [2]. А лучше бы поскорей домой, чтобы меня вычесали и огладили.

Господь с тобой, маленькая Буся.

А.

[1] Л. Д. Блок проехала из Парижа прямо в Петербург, не задерживаясь в Берлине (приехала в Петербург 30 августа ст. ст.).

[2] Л. Д. Блок искала в Петербурге новую квартиру. В телеграмме от 17 сентября (н. ст.) она сообщила, что нашла квартиру, но по возвращении Блока в Петербург они решили остаться на прежней, переменив только расположение комнат.

188

Телеграмма

〈31 августа (13 сентября н. ст.) 1911. Берлин〉
13 сентября

На почте нет письма от тебя, где ты?

Берлин

А. Б.

189

Телеграмма

3 (16 н. ст.) сентября 〈1911〉. Берлин [1]

Kein Brief telegraphier Berlin, Monopol Hotel Block *.

[1] Дата телеграфного бланка.

190

〈3 (16 н. ст.) сентября 1911. Берлин〉
16 сентября 1911.

Буся, Буся, слава богу, сейчас получил твою телеграмму [1]. Вчера и сегодня отчаянно стал беспокоиться, я четвертый день в Берлине — и никаких писем. Сегодня утром, наконец, получил от мамы. Сейчас бродил по улицам, сидел на вокзале, с ужасом читал газеты [2]. Зачем же ты не пишешь писем?

---

* Письма нет, телеграфируй Берлин отель Монополь Блоку (*нем.*).



БЛОК
Фотография, октябрь 1907 (Киев)
Собрание С. М. Алянского, Москва

Я собирался ехать в понедельник (послезавтра), потому что завтра «Гамлет» у Рейнгардта [3]. Ты, впрочем, не жди меня определенно во вторник; может быть, я еще отложу приезд, хотя здесь делать больше нечего. Я здесь отдыхаю, мускиткины укусы заживают. Целые дни я проводил в музеях, которые не по-луврски устроены [4]. Везу много фотографий. Очень много смотрел итальянцев и греческую скульптуру.

Вчера узнал о покушении на Столыпина, это усугубило мой ужас от отсутствия писем. Ну, Господь с тобой, мой бедный, маленький зайц, ты бегаешь и ищешь квартиру.

Я был в «Прекрасной Елене» [5] и в цирке. То и другое — посредственно. Надеюсь на Гамлета. Завтра же идет Валлкирия [6], так что я несколько разрываюсь между тем и другим.

Господь с тобой. А. Б.

[1] Текст телеграммы Л. Д. Блок от 3 (16 н. ст.) сентября: «Keine Wohnung gefunden schwer finden sonst alles gut Luba» («Квартиры нет трудно найти в остальном все хорошо Л ю б а»).

[2] «Вчера узнал о покушении на Столыпина. Зоологический сад помог преодолеть суматоху, возникшую от этого в душе»,— писал Блок матери в тот же день («Письма к родным», т. II, стр. 180). Председатель Комитета министров П. А. Столыпин, вдохновитель правительственной реакции, был убит в Киеве 1 сентября 1911 г. сотрудником охранного отделения Богровым.

[3] Макс *Рейнгардт* (1873—1943)— немецкий режиссер, сыгравший заметную роль в развитии театра нового времени. Свои впечатления от «Гамлета» в постановке М. Рейнгардта Блок подробно изложил в письме к матери от 5 (18 н. ст.) сентября:

«Вчера было очень хорошее впечатление в «Гамлете». Смотреть Александра Моисси во второй раз уже значительно хуже, чем в первый (он был Эдипом). Однако он очень талантливый актер. Это — берлинский Качалов, только помоложе и потому — менее развит. Впрочем, нужно иметь много такта, чтобы возбуждать недоумение в роли Гамлета всего два — три раза. Несколько мест у него было очень хороших» (VIII, 375).

[4] Блок писал матери из Берлина: «Все музеи художественные я уже смотрел. Здесь не то, что в Париже: искусство можно видеть и *понимать*... Хождение по музеям — целая наука и особого рода подвижничество; в Германии (и, надо отдать справедливость, в Голландии и Бельгии) музеи устроены почти идеально в смысле особого уюта и обстановки» («Письма к родным», т. II, стр. 180).

[5] *«Прекрасная Елена»*— оперетта Ж. Оффенбаха.

[6] *«Валькирия»*— музыкальная драма Р. Вагнера.

191

Телеграмма

4 (17 н. ст.) ⟨сентября 1911⟩. Берлин [1]

Nimm Wohnung, bleibe hier noch zwei-drei Tage *.

[1] Дата телеграфного бланка.

192

Телеграмма

6 ⟨сентября 1911⟩ Кибарты [1]

Приезжаю завтра утром.

[1] Дата телеграфного бланка, поданного на ст. Кибарты.

---

* Сними квартиру, остаюсь здесь еще два-три дня (*нем.*).

1912

193

31 мая вечером ‹1912. Петербург›

Маленькая, сейчас я получил твое письмо [1]. Мне пока недурно и спокойно. Чувствую себя хорошо, пишу, не знаю, как дальше пойдет. Обливаюсь каждый день холодной водой. Кухарка сносная, вчера обедал Пяст.

Вчера я проводил маму на вокзале [2]. Вечером мы с Пястом были в Старом Петергофе и смотрели закат в море. Туда же приехал на велосипеде Женя [3] (из Царского). Очень хорошо провели время.

Завтра у меня будет Руманов [4].

На днях приходил Вася [5], я не знал, что это он. Вера [6] сказала ему, что ты уехала «на дачу». Вам надо развесить афиши на станциях и на Финляндском вокзале (говорит Пяст, который хочет ехать на открытие [7]. А ехать ли мне,— все не могу решить).

Если бы мне удалось прожить долго так, как эти три дня, я бы поправился, отдохнул и наработал много. Особенной жары нет.

Господь с тобой, Люба.

А.

[1] Летом 1912 г. Л. Д. Блок принимала участие в гастролях, устроенных «Товариществом актеров, писателей, художников и музыкантов» под художественным руководством В. Э. Мейерхольда. Спектакли устраивались на территории Финляндии, в театре-казино курорта Териоки (ныне — Зеленогорск). Директором-распорядителем «Товарищества» был актер Б. К. Пронин. В состав труппы входили: актеры В. П. Веригина, Ю. Л. Слонимская, В. В. Чекан, А. А. Голубев, А. А. Мгебров, Н. А. Подгорный, В. П. Лачинов, М. П. Сазонов, К. Э. Гибшман, художники Ю. М. Бонди, Н. И. Кульбин, Н. Н. Сапунов, были близки к ней драматург и режиссер В. Н. Соловьев, композитор Ю. Л. Де-Бур, поэт и композитор М. А. Кузмин. В мае большинство участников «Товарищества» переселилось в Териоки, где была снята для всех большая дача. Л. Д. Блок поселилась на этой даче, а А. А. Блок в течение лета несколько раз приезжал туда. К этому театральному предприятию Блок с самого начала относился настороженно: «Переменилось много в духе предприятия, как мне кажется,— записал он в дневнике под 28 мая 1912 г.— Вначале они хотели большого идейного дела, учиться и т. д. Но не знали, были впотьмах, бродили ощупью. Понемногу стали присоединяться предприимчивые модернисты, и, *как всюду теперь*, оказались и талантливыми и находчивыми, быстро наложили свою руку и... вместо *БОЛЬШОГО* дела, *традиционного*, на которое никто не способен, возникло талантливое декадентское *МАЛЕНЬКОЕ* дело. Тут нашлись и руки и пафос. *Речи* были о Шекспире и идеях, *дело* пошло прежде всего о мейерхольдовских пантомимах, Кузмин с Сапуновым сватают Кроммелинков и т. д.,— до чего дойдет, посмотрим, не хочу осуждать сразу» (VII, 146).

[2] А. А. Кублицкая-Пиоттух уезжала в Шахматово.

[3] Е. П. Иванов.

[4] Аркадий Вениаминович *Руманов* (1876—1960)— журналист, представитель редакции московской газеты «Русское слово» в Петербурге. В 1912 г. он часто встречался с Блоком, которого редакция «Русского слова» пыталась привлечь к активному участию в газете (не только в качестве поэта, но и в роли публициста и критика). По предположению К. И. Чуковского, в первом стихотворении блоковского цикла «Пляски смерти» (1912) «под видом мертвеца выведен... Аркадий Руманов, ловкий и бездушный делец, талантливо симулировавший надрывную искренность и размашистую поэтичность души» («Литературная Москва». М., 1956, стр. 783).

[5] Василий Дмитриевич *Менделеев* (1886—1922)— младший брат Л. Д. Блок.

[6] Прислуга Блоков.

[7] Открытие спектаклей в Териоках было назначено на 3 июня, но затем перенесено на 9 июня (см. VIII, 391). Блок приезжал в Териоки и 3 и 9 июня. О своих впечатлениях от первой поездки он сообщил матери в письме от 5 июня: «Сидели у них в даче, она большая и пахнет, как старый помещичий дом, странно — столько разных людей живет вместе; все вместе ели, пили чай, ходили по их огромному парку. Так как ко мне все относятся хорошо и почтительно, мне было легко. Позже приехал Пяст, мы присутствовали на репетиции, я видел, как Люба танцует испанку,— танцует свободно и легко, хотя и по-ученически. Трудно судить без декораций и костюмов. Хотя у них еще ничего не налажено и довольно богемно, но духа пустоты нет, они все очень подолгу заняты, действительно. Все веселые и серьезные...» (VIII, 391). На открытии театра были показаны три «пролога», пантомима «Влюбленные», интермедия Сервантеса «Два болтуна» и арлекинада «Арлекин — ходатай свадеб»; в заключение состоялся концерт. Блок отозвался о спектакле отрицательно: «Мне ничего не понравилось⟨...⟩ Правда, прекрасную и пеструю шутку Сервантеса разыграли бойко⟨...⟩ пантомима, по-моему, очень бессмысленная и необыкновенно банально придуманная и поставленная Мейерхольдом. Спектаклю предшествовали две речи — Кульбина и Мейерхольда, очень запутанные и дилетантские (к счастью — короткие), содержания (насколько я сумел уловить) очень мне враждебного (о людях как о куклах, об искусстве как о «счастье»). Впечатление у меня было неприятное...» (VIII, 392; ср. VII, 149).

194

11 июня ⟨1912. Петербург⟩

Сегодня я думал утром, не приедешь ли ты? Пошел купить газеты; рецензий нет нигде, кроме «Речи», где Василевский [1] (которого я, впрочем, видел на станции) пишет сочувственно, а тебя два раза похвалил: говорит, что в пантомиме ты была «интересна», а в «Болтунах» «выделялась». Также одобрительно относится Зин⟨аида⟩ Венгерова [2], с которой я разговаривал на станции.

Ну, я знаю, что тебе некогда, ты приедешь после Мольера и Стриндберга [3]. Напиши мне, когда эти спектакли состоятся и хорошо ли ты играла в «Трактирщице» [4].

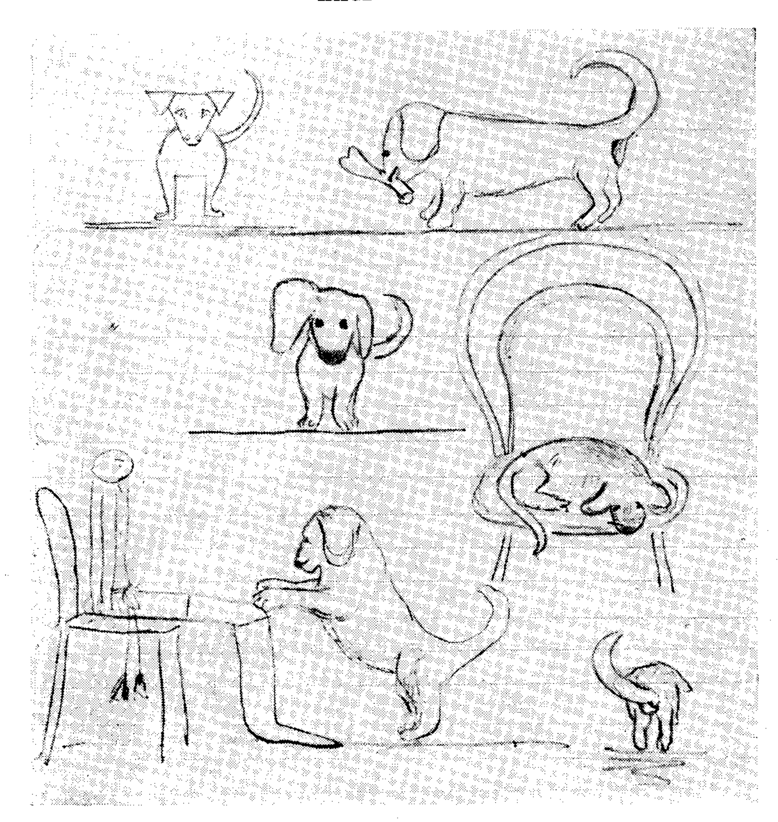
Целую твою маленькую ручку, Господь с тобой.

А.

P. S. Пришел один № твоего немецкого журнала, я не посылаю; тебе, вероятно, не до него.

[1] Лев Маркович *Василевский* (1876—1936)— поэт и журналист. В газете «Речь» 1912, № 157 от 11 июня помещена его заметка «Театр в Териоках» (подпись: Л. Вас—ий), в которой дважды сочувственно упомянута Л. Д. Блок («интересна» в пантомиме «Влюбленные» и «выделялась» в интермедии Сервантеса «Два болтуна»).

[2] Зинаида Афанасьевна *Венгерова* (1867—1941)— переводчица и литературный критик.



ШУТОЧНЫЕ РИСУНКИ БЛОКА
Центральный архив литературы и искусства, Москва

[3] В Териокском театре предполагалось осуществить постановки комедии Мольера «Мнимый больной» и драмы А. Стриндберга «Виновны — не виновны».

[4] «*Трактирщица*» («Хозяйка гостиницы»)— комедия Гольдони. Премьера состоялась 10 июня; Блок на этом спектакле не присутствовал.

195

14 июня ⟨1912. Петербург⟩

Милая моя,

ты не пишешь, и я не знаю, ехать ли в субботу или в воскресенье на спектакль [1].

Меня ловит Кузмин, Сапунов [2] и компания. Сейчас звали по телефону к вам с какими-то дамами и пр. Я не определенно отвечал, но не еду несомненно; во-первых, сейчас ко мне придут обедать Женя [3] и Александр Павлович [4]; во-вторых, я боюсь этой компании и для вашего театра и для себя; нечего мне там делать; говорят по телефону, что записали меня в комиссию по устройству «карнавала» у вас — на лодках, в парке и проч. Все это очень последовательно, состав вашей труппы таков, что интермедии и карнавалы в конце концов займут первое место, а остальное, если и останется, то затертое и загнанное.

Я этим, в конце концов, не возмущаюсь, все люди могут делать только то, что им предназначено. Меня заботит только то, как эта атмосфера коснется тебя.

Сейчас поздний вечер, ушли Женя и Александр Павлович. Иду опустить тебе письмо.

Господь с тобой.

А.

[1] Имеется в виду комедия О. Уайльда «Что иногда нужно женщине», шедшая 16 июня в постановке В. Мейерхольда и с декорациями Н. Кульбина. Блок был на этом спектакле и отозвался о нем следующим образом: «Маленькая моя играла светскую старуху в очень пошлой комедии Уайльда; спектакль, в котором чувствовалась работа, хотя и очень короткая, был весь опять ни к чему» (VII, 151).

[2] Николай Николаевич *Сапунов* (1880—1912)— художник, талантливый живописец и декоратор. Именно в этот день он трагически погиб — утонул в море возле Териок. Под свежим впечатлением известия о гибели Сапунова Блок писал матери: «Не беспокойся обо мне, когда прочтешь в газетах известие, что Сапунов утонул в море около Териок. Меня там не было, я не поехал, хотя за 6 часов до этого он меня звал туда по телефону устраивать карнавал. Мы с ним часто виделись последние дни, он был очень чистый и простой. На днях должен был писать мой портрет» («Письма к родным», т. II, стр. 203—204). 15 июня Л. Д. Блок сообщила А. А. Блоку подробности о гибели Сапунова: «Сегодня ночью утонул в море Сапунов. Приехал вчера вечером с Кузминым и двумя художниками к нам. Они поехали кататься на лодке с «принцессой» (Бэллой Назарбек.— *В. О.*), которой Сапунов увлекался. Лодка опрокинулась в 3-х верстах от берега, Сапунов один не умел плавать; они все растерялись, цеплялись за лодку так, что она все время поворачивалась и топила их. На помощь подоспел матрос в лодке, но когда он подъехал и стал спасать четверых, Сапунова уже не было. Тело ищут все время, но еще не нашли. Кузмин в ужасном состоянии, у него болезнь сердца и потрясение на него страшно подействовало. Кульбин ухаживает за ним и принцессой, которая в отчаянии,— Сапунов все время держался за ее руку и успел ей сказать, что он не умеет плавать, и что ему предсказано, что он утонет в море...».

[3] Е. П. Иванов.

[4] Александр Павлович *Иванов* (1876—1933) брат Е. П. Иванова, писатель и художественный критик, автор рассказа «Стереоскоп» (СПб., 1909; 2 изд.— Пг., 1918), высоко оцененного Блоком (VIII, 292). «А. П. Иванов, действительно, человек совершенно исключительный, как вся семья Ивановых,— писал Блок В. Н. Княжнину в апреле 1913 г.— Оттого только, что живут на свете такие люди, жить легче; в них — опора» («Письма Александра Блока». Л., 1925, стр. 202).

196

23 июня ⟨1912. Петербург⟩

Моя милая.

Сегодня я получил твое письмо [1]. Был на панихиде по Сапунове в Исаакиевском соборе, немноголюдной, но трогательной. Оттуда поехал в квартиру, где ремонт уже идет, просят обои, я обещал во вторник или в среду. Недели через три можно будет переехать [2].

Сейчас Руманов [3] угощал меня на крыше Европейской гостиницы, оттуда виден весь город. Книжки мои Сытин уже печатает [4].

Не знаю, поеду ли завтра смотреть тебя [5]. Буду тебя ждать во вторник утром — не правда ли?

Господь с тобой. А.

[1] Письмо от 22 июня.

[2] Блок готовился к переезду на новую квартиру (Офицерская, 57).

[3] О Руманове см. примеч. 4 к письму № 193.

[4] Имеются в виду две книжки стихов для детей —«Сказки» и «Круглый год», готовившиеся в издательстве И. Д. Сытина (при посредстве А. В. Руманова). Вряд ли

в июне месяце эти книжки уже печатались, так как вышли в свет они лишь в декабре 1912 г.

[5] В спектакле 24 июня Л. Д. Блок играла главную роль в пьесе Б. Шоу «Доходы мистрисс Уоррен». Блок на этом спектакле не был.

197

4 июля ⟨1912. Петербург⟩

Уезжаю сегодня в 7 часов в Шахматово через Клин [1]. Напиши после спектакля [2]. Господь с тобой, моя милая.

А.

[1] Блок уезжал в Шахматово на несколько дней (вернулся в Петербург 13 июля).

[2] Имеются в виду две интермедии Сервантеса —«Саламанкская пещера» и «Ревнивый старик»— в постановке В. Н. Соловьева («Вольмара Люсциниуса»), шедшие 8 июля.

198

18 июля ⟨1912. Петербург⟩

Моя милая, я пишу сейчас перевозчику, чтобы в понедельник 23-го пришел укладывать вещи, а во *вторник* переедем [1]. Пожалуй, тебе лучше приехать в понедельник же (перевозчик будет часов в 12) — посмотреть за укладкой твоих вещей.

Я не уверен, приеду ли до тех пор.— Весь Стриндберговский вечер произвел на меня такое цельное и сильное впечатление, что я мог бы написать о нем статью [2]. Расскажу тебе.

Господь с тобой, милая.

А.

[1] На новую квартиру.

[2] Имеется в виду устроенный териокским «Товариществом» вечер памяти Августа Стриндберга (скончавшегося незадолго перед тем — 1 мая 1912 г.). Вечер состоялся 14 июля. Перед началом спектакля поэт В. А. Пяст произнес вступительное слово. Затем была показана неизданная пьеса Стриндберга «Виновны — не виновны» в постановке В. Мейерхольда и художника Ю. Бонди. Блок присутствовал на вечере и подробно описал его в письме к матери от 15 июля: «Спектакль был весь праздничный и, несмотря на некоторые частные неудачи, был настоящий... Все первое действие Люба не сходила со сцены и, наконец, по-настоящему понравилась мне как актриса: очень сильно играла... Люба говорила, наконец, своим, очень сильным и по звуку и по выражению, голосом, который очень шел к языку Стриндберга. Впервые услышав этот язык со сцены, я поразился: простота доведена до размеров пугающих: жизнь души переведена на язык математических формул, а эти формулы, в свою очередь, написаны условными знаками, напоминающими зигзаги молний на очень черной туче... Режиссер (Мейерхольд) и декораторы (с помощью режиссера), по-видимому, это если не поняли, то почувствовали... Ничего, кроме сине-черного и красного. Таковы Софокл и Стриндберг» (VIII, 398—399). Блок познакомился с творчеством Августа Стриндберга в 1912 г. и относил это знакомство к числу «событий, явлений и веяний», особенно сильно на него повлиявших («Автобиография»). К 1912 г. относятся две статьи Блока— «От Ибсена к Стриндбергу» и «Памяти Августа Стриндберга» (V, 455).

В последней из них Блок так передает свои впечатления от внешности Стриндберга, от всего его человеческого облика: «Я смотрю на эти рабочие плечи, на непокорную голову и страдальческое лицо, и мне хочется назвать великого шведа просто: «старый Август». Этот большой упрямый лоб, эти сердитые брови, этот нос «простого» человека, рабочего, этот упорный взгляд строгих глаз, перед которым, кажется, должно притихнуть все мелкое, все нечестное, не умеющее сказать ни на что определенного «да» или «нет»... Ведь все это так дорого и так бесконечно близко нам; может быть,

никому так не дорого и не нужно, как русским, а русским писателям, в особенности.⟨...⟩ *товарищем* хочется назвать *старого Августа*; ведь он — демократ, ведь он вдохновляет на ближайшую работу и, главное, ведь огромное наследие, оставленное им,— общедоступно, почти без исключения ⟨...⟩ Наследие демократа—идейно, оно не может служить поводом ни для чьей корысти. Наследие Стриндберга открыто для веселой и мятежной юности всех стран» (V, 463—469).

199

1 августа ⟨1912. Петербург⟩

Моя милая, сегодня я получил твое письмо. Сижу здесь и все время занимаюсь квартирой, сделано уже очень много, но все еще не все. Здесь теперь не жарко, и я подожду (полок) еще несколько дней, а когда поеду [1], напишу тебе. От мамы ответ получен только вчера, она рада нашему приезду и пишет, между прочим, что ты должна «подпоясать» крестницу: «купить розовую ленту, розовых батистов или сатинов на рубашечки» [2].

Все мелкие куски, какие я разыскал, подклеены, стулья взяты, твой умывальный стол выкрашен белым и починен.

Я тут видел разных лиц, а первое посещение квартиры было самое дикое: отец Скворцовой, старый шестидесятник, привозил от нее предложение... жениться!.. [3].

Господь с тобой, милая. В Териоки я, значит, не приеду [4].

А.

[1] В Шахматово.

[2] У Л. Д. Блок была крестница в соседней с Шахматовом деревне Гудино.

[3] См. подробнее в письме к матери от 29 июля («Письма к родным», т. II, стр. 223). О Н. Н. Скворцовой см. примеч. 2 к письму № 172.

[4] 4 августа в Териоках, в бенефис Л. Д. Блок, шла комедия К. Джерома «Мисс Гоббс», смотреть которую сама Любовь Дмитриевна «не очень рекомендовала». (Афишу спектакля см. в наст. томе, стр. 315.) Блок писал матери 5 августа: «В Териоки я так и не ездил; вчера был Любин бенефис, мне было бы как-то неловко» («Письма к родным», т. II, стр. 226).

200

5 августа ⟨1912. Петербург⟩

Моя милая, я еду, наконец, 8-го в Шахматово. Очень соскучился о тебе и устал, приезжай туда поскорее [1]. Ты напишешь, в какой день приедешь, чтобы выслать лошадей? Господь с тобой, милая.

А.

Если что вспомню, оставлю тебе записку на столе.

[1] Л. Д. Блок приехала в Шахматово 14 августа. Через три дня, 17 августа, она вместе с Блоком выехала обратно в Петербург.

201

28 августа ⟨1912. Петербург⟩

Моя маленькая Бу, я думал, что ты приедешь раньше [1]. Ну, живи, в лесочке, маленький зайц, если там отдыхаешь. Мне скучно, а здоровье — ничего. Ты напиши точно, когда приедешь, чтобы я знал, когда можно звать рабочих и устраивать квартиру. Господь с тобой. Скучаю о тебе.

[1] Л. Д. Блок снова находилась в Териоках.



БЛОК В ШАХМАТОВЕ
Фотография, 1909
Собрание В. Н. Орлова, Ленинград

202

Телеграмма

5 сентября 1912. Петербург [1]

Беспокоюсь телеграфируй немедленно когда приедешь Саша [2]

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Ответная телеграмма Л. Д. Блок из Териок от 5 сентября: «Здорова приеду восьмого вечером Люба».

203

Телеграмма

5 сентября 1912. Петербург [1]

Ответа нет не знаю что думать жду телеграмму Саша [2].

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Ответная телеграмма Л. Д. Блок из Териок от 6 сентября: «Телеграфировала пятого приеду восьмого все хорошо не беспокойся Л ю б а».

204

1912 г. 12 ноября ⟨Петербург⟩

Сейчас пришло твое письмо [1]. Сегодня ночью я видел тебя во сне. Я думаю о тебе все время. Не нужно и невозможно писать тебе длинно, что я думаю. В кратких словах: я убеждаюсь с каждым днем и моей душой и моим мозгом, которые к старости крепнут и работают все гармоничнее, увереннее и действеннее, что ты погружена в непробудный сон, в котором неуклонно совершаются свои события: на Кавказе [2] ты ставила на карту только тело, теперь же (я уверен, почти нет сомнения) ты ставишь на карту и тело, и душу, т. е. гармонию. Каждый день я жду момента, когда эта гармония, когда-то созданная великими и высокими усилиями, но не укрепленная и подтачиваемая и нами самими и чужими, врагами,— в течение десяти лет,— разрушится. То, что ты совершаешь, есть заключительный момент сна, который ведет к катастрофе, или — к разрушению первоначальной и единственной гармонии, смысла жизни, найденного когда-то, но еще не оправданного, не заключенного в форму.

Переводя на свой язык, ты можешь назвать эту катастрофу — новым пробуждением, установлением новой гармонии (для себя и для третьего лица). Я в эту новую гармонию не верю, я ее *проклинаю* заранее не только лично, но и объективно. Она — низшего порядка, чем та, которая была достигнута когда-то, и в том, что это так, я клянусь всем, что мне было дорого и есть дорого.

Если ты сомневаешься в этом, то я — не сомневаюсь. Если ты веришь в установление новой гармонии для себя, то я готов к устранению себя с твоего пути, готов гораздо определеннее, чем 7 ноября 1902 года [3]. Поверь мне, что это не угроза и не злоба, а ясный *религиозный* вывод, решительный отказ от всякого компромисса.

Твое письмо лишь немногим отчетливее, чем прежние письма. Надо быть отчетливей, потому что каждый новый день теперь — есть *действие*, близящееся к тому или другому окончанию.

Прошу тебя оставить домашний язык в обращении ко мне [4]. Просыпайся, иначе — за тебя проснется другое. Благослови тебя бог, помоги он тебе быть не женщиной-разрушительницей, а — создательницей [5].

Александр Блок

[1] В конце 1912 г. отношения Блока с Любовью Дмитриевной снова осложнились; 2 ноября Любовь Дмитриевна уехала на неопределенный срок в Житомир. Блок имеет в виду следующее ее письмо из Житомира от 9 ноября: «Мое отношение к тебе стало мне здесь совсем ясно: пятнадцать лет не полетели к черту, как ты говорил; конечно, они на всю жизнь, и здесь я чувствую к тебе не только привычку и привязанность, но и возможность снова встретиться сердцем. Я не буду писать тебе длинного письма, не буду тебе объяснять, как все обстоит теперь,— я приеду после половины ноября и смогу тогда сказать тебе много. Я только хотела дать тебе знать о себе и о том, что я думаю о тебе — ты понимаешь как; что ты не чужой мне, как было в П⟨етер⟩б⟨ур⟩ге. Сейчас мне кажется, что я буду жить зиму в Житомире, но я не могу еще сказать, что решила это окончательно. И еще я не могу никак сказать, что с тобой порываю. А как все это устроить, мы поговорим. Господь с тобой. Целую тебя. Б⟨уся⟩».

[2] См. переписку А. А. и Л. Д. Блоков за 1908 г.



БЛОК, Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК И А. А. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ В ШАХМАТОВЕ
Фотография, 1909
Собрание В. Н. Орлова, Ленинград

[3] День решительного объяснения Блока с Л. Д. Менделеевой. В этот день Блок помышлял о самоубийстве (см. стр. 54—57 наст. тома).

[4] Блок имеет в виду ласковое обращение, которым Любовь Дмитриевна начала свое письмо («Дорогой мой Лала»).

[5] На это письмо Л. Д. Блок ответила телеграммой из Житомира от 14 ноября: «Получила письмо понимаю приеду девятнадцатого Л ю б а». В дневнике Блока под 20 ноября записано: «Милая моя вчера утром в 9 часов, когда еще темно, приехала. Несколько разговоров в течение дня...» (VII, 180). Однако вскоре же, 14 декабря, Любовь Дмитриевна снова уехала в Житомир (вернулась к Новому году — 31 декабря).

205

Телеграмма

24 декабря 1912. Петербург [1]

Здорова ли ты очень скучаю господь с тобой телеграфируй вестей нет [2].

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Ответная телеграмма Л. Д. Блок от 25 декабря: «Здорова писала не беспокойся господь с тобой».

206

Телеграмма

27 декабря 1912. Петербург [1]

Жду тридцатого утром телеграфируй в день отъезда господь с тобой [2].

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Ответная телеграмма Л. Д. Блок от 28 декабря: «Выезжаю двадцать девятого приеду тридцать первого утром господь с тобой».

1913

207

14 февраля ‹1913. Петербург›[1]

Я думаю, ты знаешь, что я хочу, чтобы ты мне писала[2]. У меня сейчас упадок духа, скучно. Раз слушал музыку — «Садко» — помогло [3]. Очень сильный мороз. Господь с тобой, милая.

А.

[1] 7 февраля 1913 г. Л. Д. Блок опять уехала в Житомир (VII, 216).

[2] В письме от 12 февраля 1912 г. Любовь Дмитриевна спрашивала Блока: «Милый, если хочешь, чтобы я тебе писала, напиши мне, я буду писать».

[3] «*Садко*» — опера Н. А. Римского-Корсакова. Ср. запись в дневнике Блока от 9 февраля: «Вечером —«Садко» в «Музыкальной Драме». Ничего нет нужнее музыки на свете, омытый ею, усталый» (VII, 216).

208

20 февраля ‹1913. Петербург›

Милая, сейчас получил твое письмо. Спасибо тебе, что ты пишешь и что так пишешь [1]. Нет-нет и забеспокоюсь о тебе, все думаю, где и как ты, часто думаю, скучаю иногда, каждый вечер хожу к тебе и окрещиваю твою кроватку. У тебя стало красиво, только очень холодно.

Оттепель полная, сильный ветер, пахнет весной. Я еще ничего своего не делаю, часто вижусь с Терещенкой [2] и все больше его люблю. Эти дни были бы интересны для тебя. Третьего дня были на первом представлении «Электры» [3] (в закрытом бенуаре, мама, тетя, Франц [4] и я) — все неправда, как и ждали. Хорошо написал Философов (в «Рус‹ском› слове») [5]. На Мейерхольда я не сержусь, потому что Гофмансталя испортить нельзя (Штрауса не понимаю). Еще больше возмущаюсь этим венским ‹...›, чем 4 года назад [6]. Но на очереди теперь — Мейерхольдова порча Софокла и Лермонтова [7]. Он погибнет, если не опомнится, не бросит *вовсе* кукольное и не вернется к человеку. Для последнего ему нужно, вероятно, *годы* поста, на что он не пойдет.— В последнем № «Масок» Коммиссаржевский написал длинную статью о книге Мейерхольда [8]. Там много личной злобы и мстительности, но, к сожалению, много и верного, *очень* верного, и, кроме того,— очень тяжкие улики.— Вчера были мы на открытии Зоновского театра [9]. Так плохо, что говорить не стоит, только одна актриса подает кой-какие слабые надежды (конечно, не Дымшиц [10]; фамилия ее — Фетисова [11], играла Русалку). Были там с Терещенкой, Волконским [12], Ремизовым и Философовым,— и все согласны. (М‹ежду› пр‹очим›, играл брат Гнесина [13]. Я не знал, кто это, и был в ужасе: старый провинциальный пошлый актер. Играют еще двое из Мариинского театра).

Много еще писем, планов, как всегда. Не люблю я актеров, милая, постоянно мне больно, что ты хочешь играть. Тут *стыдное* что-то. Спаса-

ет *только гений*, нет гения — стыдно, скучно, не нужно. Гениальный театр — искусство, не гениальный — неблагодарное ремесло. К Станиславскому поедем. Пьеса [14] с тех пор, как ты была, так еще никому и не читана. Мама почти все время больна, у нее часто жар.

Господь с тобой, милая и единственная.

А.

Спасибо тебе, пиши.

Новый адрес напиши. Не думаешь ли вернуться вскоре? Наш абонемент [15] начинается на второй неделе.— Время без тебя долго идет.

[1] Л. Д. Блок писала в письме от 17 февраля: «Все утро о тебе вспоминала и скучала о тебе очень. Я тебя люблю, Лала, я хочу, чтобы судьба перестала играть мной скорее, хочу быть с тобой и не расставаться. Вчера в газете «Киевская мысль» была заметка о том, что ты закончил «Розу и Крест»; всего строк 30 с верными сведениями о ней〈...〉Я еще не привыкла тебе писать и пишу мало, буду больше».

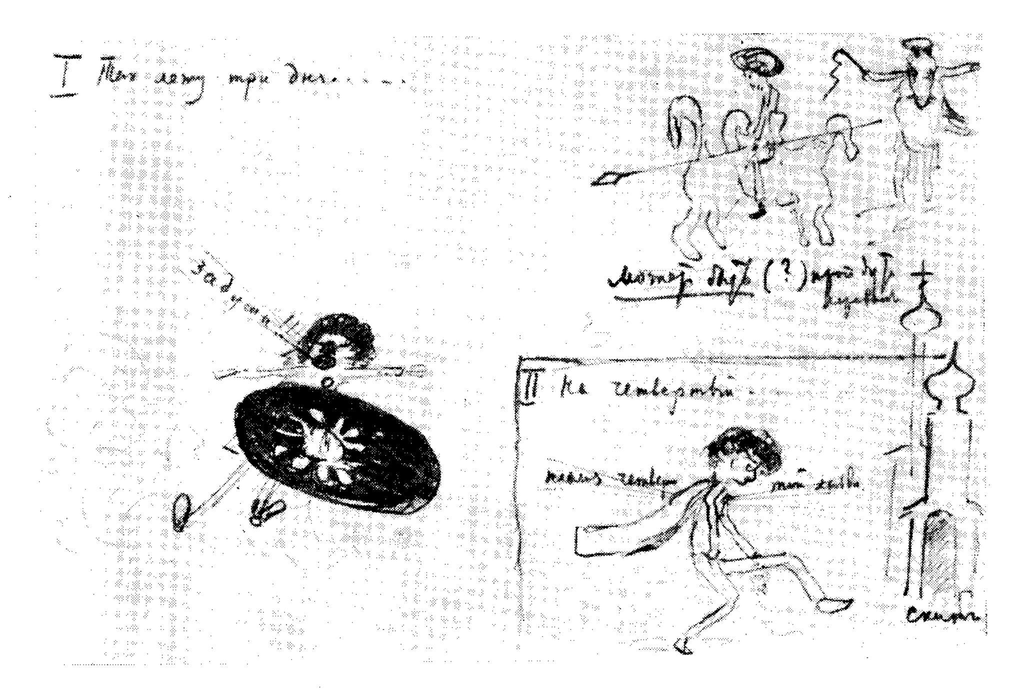
[2] Михаил Иванович *Терещенко* (1886—1958)— крупный капиталист, сахарозаводчик, в ту пору — чиновник особых поручений при директоре императорских театров; в 1917 г. министр финансов и министр иностранных дел в составе Временного правительства, после Октября — эмигрант. Блок познакомился с М. И. Терещенко через А. М. Ремизова в марте 1912 г., когда Терещенко, связанный с Мариинским театром, предложил Блоку написать сценарий балета из жизни провансальских трубадуров XIV—XV вв. для композитора А. К. Глазунова. В дальнейшем из этого проекта родилась драма «Роза и Крест», которую Блок писал в тесном общении с Терещенко. Дружески сблизившись с Терещенко, Блок внимательно прислушивался к его суждениям об искусстве. Художественные взгляды и вкусы Терещенко, носившие эстетский характер, бесспорно оказывали известное воздействие на Блока. Впоследствии, в 1919 г., он сам засвидетельствовал это, записав в дневнике: «Решаясь включить в «Театр» «Песню Судьбы», из которой я стараюсь выкинуть все уж очень глупое (хорошего и глупого времени произведение), я окончательно освобождаюсь от воли М. И. Т〈ерещенко〉. Мы с ним в свое время загипнотизировали друг друга искусством. Если бы так шло дальше, мы ушли бы в этот бездонный колодезь; оно — Искусство — увело бы нас туда, заставило бы забраковать не только всего меня, а и все; и остались бы: три штриха рисунка Микель-Анджело, строка Эсхила, и — все; кругом пусто, веревка на шею» (VII, 355).

Сохранился печатный оттиск драмы Блока «Роза и Крест» с авторской надписью: «Михаилу Ивановичу Терещенко эта пьеса, с ним глубоко связанная и ему молчаливо посвященная, — от любящего его автора, который никогда не забудет тех печальных и милых дней. Александр Б л о к. Январь 1914». (Впервые опубликовано в статье И. З и л ь б е р ш т е й н. Александр Блок: неизданное. — «Литературная газета», 1973, № 14, 4 апреля.)

[3] «*Электра*»— опера Р. Штрауса (1909) по либретто Г. Гофмансталя, была поставлена в Мариинском театре В. Э. Мейерхольдом с декорациями и костюмами по эскизам А. Я. Головина. В печати вокруг этой пышной постановки заранее был поднят большой шум как об из ряда вон выходящем событии театральной жизни. Однако опера не имела успеха в публике и после трех представлений была снята со сцены. Отзывы Блока см. VII, 220, 239.

[4] *Тетя* — М. А. Бекетова, *Франц* — отчим Блока Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух.

[5] В газете «Русское слово» № 40 от 17 февраля 1913 г. были помещены две статьи Д. В. Философова, касающиеся постановки оперы Р. Штрауса: фельетон «Электра и Вяльцева» и заметка «Электра». Впечатления от генеральной репетиции». Блок, очевидно, имел в виду вторую заметку, где было сказано, между прочим: «Постановка прекрасная, великолепная, но никакого отношения ни к драме Гофмансталя, ни к музыке Штрауса не имеющая». Вывод Д. В. Философова был такой: «До слез жалко эту бездну труда, знаний, таланта, брошенных впустую». Дмитрий Владимирович *Философов* (1872—1940)— буржуазный публицист и литературный критик, постоянный сотрудник Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, после Октября — эмигрант.



ШУТОЧНЫЕ РИСУНКИ БЛОКА НА МОТИВЫ ЕГО СТИХОТВОРЕНИЯ «Я УМЕР. Я ПАЛ ОТ РАНЫ...» (19 мая 1903 г.)

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

[6] Блок резко отрицательно относился к декадентскому творчеству австрийского драматурга Гуго фон Гофмансталя (1874—1929) (см. «Письма к родным», стр. 221).

[7] В газетах 1912 г. появились сообщения о том, что В. Э. Мейерхольд готовится к постановке трагедии Софокла «Электра» и драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад».

[8] Имеется в виду остро-критическая статья Ф. Ф. Коммиссаржевского «По поводу книги В. Э. Мейерхольда» («Маски», 1913, № 4). О Ф. Ф. Коммиссаржевском см. выше — стр. 237. Книга Мейерхольда —«О театре», СПб., 1912.

[9] Аркадий Павлович *Зонов* (1875—1922)— актер и режиссер, организатор общедоступного, рассчитанного на демократического зрителя «Нашего театра», открывшегося 19 февраля 1913 г. спектаклем «Русалка» (по драме А. С. Пушкина).

[10] Софья Исааковна *Дымшиц* (1885—1963)— драматическая актриса, жена писателя А. Н. Толстого.

[11] Ксения Александровна *Фетисова* — драматическая актриса.

[12] Сергей Михайлович *Волконский*, князь (1860—1937) — театральный деятель, состоял директором императорских театров в 1899—1901 гг., писал по вопросам театра.

[13] Григорий Фабианович *Гнесин* — драматический актер, брат известного композитора М. Ф. Гнесина.

[14] «Роза и Крест». 26 июня 1912 г. Блок читал пьесу Любови Дмитриевне, затем записал в дневнике: «...Я читал ей свою оперу, ей понравилось. Она сказала, что это—не драма, а именно опера, для драмы — мозаично. Это верно. Меня ввел в заблуждение мой несчастный Бертран, в его характере есть нечто переросшее оперу» (VII, 154). Ср. запись, сделанную позднее, 21 ноября 1912 г.: «Утром Люба подала мне мысль: Бертран кончает тем, что строит капеллу Святой Розы. Обдумав мучительно это положение, я пришел к заключению, что не имею права говорить о мистической Розе, что явствует из того простого факта, что я не имею достаточной духовной силы для того, чтобы разобраться в спутанных «для красы» только, только художественно, символах Розы и Креста. *Конца* судьбы Бертрана я продолжаю не знать» (там же, 181).

[15] В Мариинском театре.

209

25 февраля ⟨1913. Петербург⟩

Милая, сегодня пришло твое письмо. Пиши, милая, почаще. Теперь здесь тоже весна, часто солнце и тает, мне бывает хорошо. Думаю о поэме [1]. Мы все сообща все время делаем дела в «Сирине» [2], многое налаживается. Я хожу иногда за город. Получаю много писем.

О тебе думаю сквозь все с последней нежностью, все меньше хочу для тебя театра (вижу, думаю каждый день, как это теперь трудно и еще долго будет трудно — театральное дело), все больше хочу, чтобы ты была со мной. По-прежнему мы оба не знаем, что ты будешь делать, но все больше я знаю, что я — с тобой. Тебе, я знаю, теперь не во всем хорошо, также, как и здесь,— не во всем. Но везде бывает в чем-нибудь нехорошо, что же делать; «жизнь проходит, как пехота» [3], но в шаг ее врывается мазурка (лейтмотив поэмы) [4]; и все этапы жизни нам с тобой суждено пройти вместе, чувствовать все вместе [5].

Мне много говорят и пишут обо мне [6], так что эти дни я стал сам себе нравиться. Это можно себе позволить ненадолго.

Господь с тобой, моя милая.

А.

Я тебе писал недавно — о театре («Электра» и Зонов) [7].

[1] Имеется в виду поэма «Возмездие», над которой Блок интенсивно работал в течение 1911 г., но которую в 1912 г. оставил, отвлеченный другим замыслом (драмой «Роза и Крест»). В феврале 1913 г. Блок наметил новый план поэмы — в четырех главах с прологом и эпилогом, но вернуться к работе над поэмой ему удалось лишь в августе 1914 г.

[2] «*Сирин*»— издательство, организованное М. И. Терещенко и его сестрами, выпускало альманахи «Сирин» и сочинения символистов (А. М. Ремизова, Ф. К. Сологуба, В. Я. Брюсова, А. Белого). Блок наряду с А. М. Ремизовым принимал самое близкое участие в делах этого издательства. В эти дни он хлопотал об издании в «Сирине» романа А. Белого «Петербург» (роман был напечатан в альманахах «Сирин»).

[3] Стих, получивший окончательное оформление в 1916 г. в первой главе поэмы «Возмездие»:

Вся жизнь в столице, как пехота,
Гремит по камню мостовых...

[4] В плане поэмы «Возмездие», датированном 21 февраля 1913 г., читаем: «Два лейтмотива: один — жизнь идет, как пехота, безнадежно. Другой — мазурка». Мотив «мазурки» должен был трижды возникать в поэме (см. III, 461).

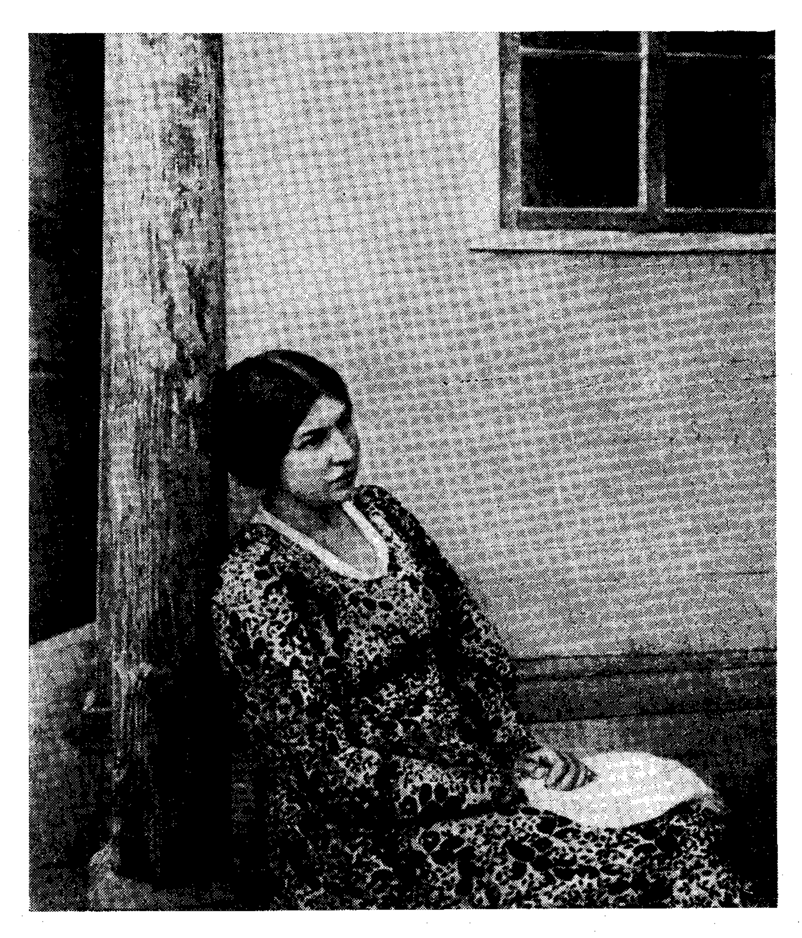
[5] 1 марта Любовь Дмитриевна писала Блоку: «Я тебе буду писать коротенькие письма, только чтобы сказать, что все так же думаю о тебе хорошо, что очень хочу, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты гулять ходил на солнце, чтобы работалось тебе так, как ты любишь, и обо мне чтобы ты думал, как теперь думал».

[6] В тот же день Блок ответил на письмо К. П. Цинговатовой от 15 февраля 1913 г. Корреспондентка благодарила Блока за все, что дает его поэзия — «солнце», в которое она «поверила» (ЦГАЛИ). «Спасибо вам,— отвечал ей Блок,— за ваше искреннее письмо. В нем много горького. Разве вы не знаете, что в жизни происходит непрестанное чудо: сегодня мы плачем, а завтра нам будет светло и легко.

Вы пишете: «Я не умею жить». А кто умеет?

Кто скажет нам, что жить мы не умели,
Беспечные и праздные умы?
Что в нас любовь и нежность не горели
И красоте не жертвовали мы? (Ф е т)» (VIII, 412).

[7] См. письмо № 208 от 20 февраля 1913 г.



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК В ШАХМАТОВЕ
Фотография, 1909
Собрание В. Н. Орлова, Ленинград

210

2 марта 1913. ‹Петербург›

Моя милая, беспокоюсь о тебе временами, ты редко пишешь.

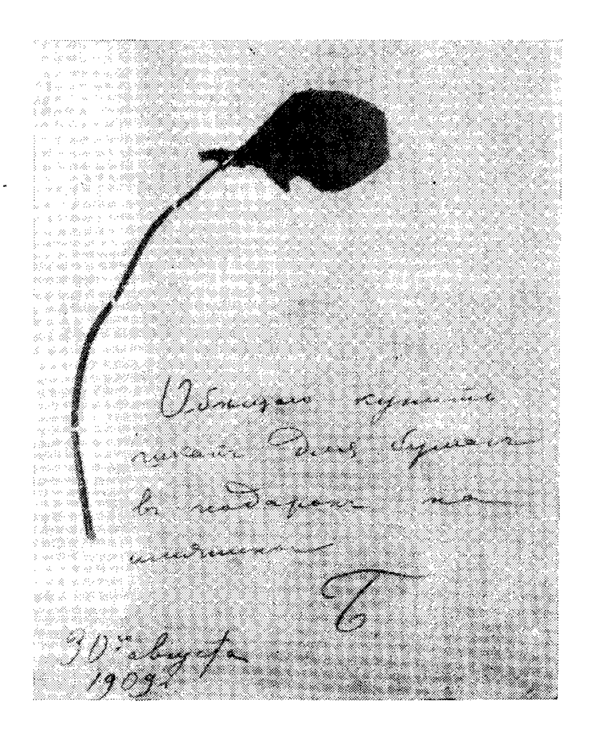
Я все провожу время с Сиринами [1]. Катаемся иногда. Вчера читал им поэму Пяста [2], потом вышел и застудил горло, голос пропал. Приходится отменить завтра Л. Андреева, который хотел прийти ко мне с женой, а послезавтра, вероятно, чтение пьесы [3] у меня (позвал я уже А. П. Иванова [4] с женой, Бонди обоих [5], Соловьева [6], Пяста, Княжнина [7], Чеботаревскую [8], Философова и Женю [9]). Вчера утром твоя мама спрашивала по телефону, дома ли ты, а вечером я с ней встретился на лекции Сологуба [10], она спрашивала, где ты, играешь ли ты,— я все врал, что не знаю.— Раз днем встретил одного неврастеника, В.-Ивановца [11] — в трамвае, он — вдруг сказал мне, что его портрет рисует Кузьмина-Караваева, только «не поэтесса, а генеральша» [12]. Мне стало страшно неловко и тяжело, я с трудом скрыл смущение. Вообще, пристают иногда, и к маме — тоже [13].

Посижу дома, буду делать компрессы.

Получаешь ли ты мои письма? Это, если не ошибаюсь, третье.

Ты не думаешь приехать? — Тоскую временами. Господь с тобой.

А.



Обещаю купить
гусей для Бумы
в подарок на
именины
Б.
30го августа
1909 г.

ЗАПИСКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК К БЛОКУ 30 АВГУСТА 1909 г.

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Нам бы летом куда-нибудь поехать вместе.

3 марта

Сегодня сижу дома — без голоса. Меня навестят мама, Терещенко и Ремизов. Господь с тобой.

[1] Имеются в виду М. И. Терещенко и его сестры — Елизавета Ивановна и Пелагея Ивановна.

[2] «Поэма в нонах» Вл. Пяста, напечатанная (с купюрами) во втором сборнике «Сирин» (1913). Отдельное издание поэмы, вышедшее в 1911 г., было уничтожено автором. Во второй главе этой поэмы фигурирует Блок (анонимно).

[3] «Роза и Крест». Чтение из-за болезни Блока было отложено.

[4] Об А. П. Иванове см. примеч. к письму № 195.

[5] *Бонди* — братья Юрий Михайлович (1889—1926) — режиссер и художник, сотрудник В. Э. Мейерхольда и Сергей Михайлович (р. 1891) — филолог.

[6] Владимир Николаевич *Соловьев* (1887—1941)— режиссер, драматург и театровед, сотрудник В. Э. Мейерхольда.

[7] *Княжнин*—литературный псевдоним Владимира Николаевича Ивойлова (1883—1942)— поэта, критика и историка литературы, с которым Блок поддерживал дружеские отношения. Позднее В. Н. Княжнин писал Блоку о своих впечатлениях от пьесы «Роза и Крест» и романа А. Белого «Петербург». Блок ответил Княжнину 3 ноября 1913 г.: «Спасибо Вам за слова о «Розе и Кресте», но не об Андрее Белом. Впрочем, все его ругают, я только одного человека встретил сочувствующего, кроме себя» (VIII, 429).

[8] Александра Николаевна *Чеботаревская* (1869—1925)—переводчица.

[9] Е. П. Иванов.

[10] Лекция Ф. К. Сологуба «Об искусстве наших дней» была прочитана 1 марта 1913 г. в зале Тенишевского училища.

[11] Кто имеется в виду, не установлено.

[12] «*Поэтесса*»—Е. Ю. Кузьмина-Караваева. «*Генеральша*» — мать К. К. Кузьмина-Караваева.

[13] «Пристают» — по поводу отъезда Л. Д. Блок из Петербурга.

211

〈3 марта 1913. Петербург〉

Дружочек мой, сижу один, скучаю без тебя, господь с тобой.

А.

3 марта, вечером

212

8 марта 1913. 〈Петербург〉

Милая, я иду сейчас на «Золото Рейна» [1] — мамин абонемент (мама была на моем, потому что я только вчера начал выходить из дому). Сейчас пришел с кладбища, смотрел Митину могилу [2].

Вчера был месяц, как ты уехала.

Пока я сидел дома, меня многие навещали: мама, Терещенко, тетя [3], Ремизов, Пяст, Клюев [4], Ге [5], Женя [6], Княжнин, посторонние.

Мама получила твою карточку 6 марта. А я получил твое письмо 4-го.

Завтра будет тетина «Кармозина» у Зонова [7], мы все опять пойдем. В среду наша «Валькирия» [8].

Мож〈ет〉 быть, я буду читать «Розу и Крест» в студенческой столовой — в пользу курсисток [9].

Пиши мне, милая, почаще, господь с тобой.

А.

[1] Музыкальная драма Р. Вагнера.

[2] Могила сына Л. Д. Блок, скончавшегося в младенчестве в феврале 1909 г.

[3] М. А. Бекетова.

[4] Николай Алексеевич *Клюев* (1887—1937) — поэт, с которым Блок переписывался и встречался с 1908 г. В дневнике Блока под 4 марта 1913 г. записано: «Пришла мама, Потом Клюев, *очень хороший*, рассказывал, как живет» (VII, 227).

[5] Николай Петрович *Ге* (1884—1920)— внук известного художника, художественный критик, давний знакомый Блока. В дневнике Блока под 5 марта 1913 г. записано: «...Обедал — Н. П. Ге. Много я ему говорил о Грибоедове» (VII, 227).

[6] Е. П. Иванов.

[7] «*Кармозина*»— драма А. Мюссе в переводе М. А. Бекетовой, поставленная в «Нашем театре» А. П. Зоновым. Свои впечатления от спектакля Блок изложил в следующем письме к Л. Д. Блок от 10 марта.

[8] Музыкальная драма Р. Вагнера (по абонементу в Мариинском театре).

[9] Это чтение не состоялось. См. запись в дневнике под 20 апреля 1913 г.: «...Звонила m-me Копельман и говорила, что теперь курсистки заняты экзаменами, так что лучше отложить чтение «Розы и Креста» до осени» (VII, 238).

213

10 марта 1913 〈Петербург〉

Моя милая, вчера мы все были на «Кармозине» [1], и, представь себе, многое было недурно. Очень плохи мужчины, а дамы — лучше. Кармозину играла Дымшиц [2], и некоторые фразы говорила совсем хорошо. Она 〈...〉 молоденькая, со слабым голосом, конечно, не без подражания Коммиссаржевской, с неуверенными жестами. В декорациях, очень простых и дешевых, есть своеобразный вкус. В труппе, как в самом Зонове, пленяет отсутствие пошлости (кроме некоторых актеров). Видно, что очень работают и о себе много не думают. Публики было немного, но успех был настоящий, тетка [3] довольна! Удивительно, что на этих актеров можно смотреть; а третьего дня еще меня оскорбляло какое-то порнографическое ломанье Ершова [4] в «Золоте Рейна».

При всем том, из всего, что я пишу о театре Зонова, можно вывести, что «они немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут» [5]. Однако, у меня была мысль предложить им «Розу и Крест»; мысль мимолетная.— Как-нибудь еще раз пойду в этот театр.

Милая, скучаю о тебе и беспокоюсь.

Ты когда приедешь?

Господь с тобой. Пиши мне хоть короткие письма.

А.

[1] См. примеч. 7 к письму № 212.

[2] См. примеч. 10 к письму № 208.

[3] М. А. Бекетова.

[4] Иван Васильевич *Ершов* (1867—1943)— оперный актер, получивший известность в ролях вагнеровского репертуара.

[5] Цитата из басни И. А. Крылова «Музыканты».

214

13 марта 1913. ⟨Петербург⟩

Моя милая, сейчас я вернулся с «Валькирии», усталый.

Третьего дня получил твое письмо, часто думаю о нем. Оно для меня — почва [1]. Если мы, действительно, вместе с тобой уедем куда-нибудь летом тихо отдыхать, это лето перестает мне представляться бессмысленным и пустым. Ехать куда-то за границу одному — такая ненужность, одинокое погибанье. Потом хорошо бы нам хоть ненадолго побывать в Шахматове — вместе. Мы так и не пошли гулять, потому что встретили на дворе тетю Соню [2] с документом из Москвы. Горло мое совсем прошло. Я гуляю, бывает солнце, иногда — необыкновенное небо. По-прежнему чаще всего вижусь с Сиринами [3].

Благодарю тебя за присылку портрета, но из него видно, что ты — обыкновенной породы. Может быть, фотограф тебя обманул?

Мережковский отвечает мне в «Русском слове» (12 марта) на мои статьи в «Рус⟨ской⟩ молве» [4]. Не могу прислать тебе, потому что не нашел нигде на улице «Р⟨усского⟩ слова», а мое мне нужно.

«Розу и Крест», может быть, буду на днях читать Дягилеву [5].

Господь с тобой, милая. А.

[1] В письме от 8 марта Л. Д. Блок писала: «Милый ты мой, об лете я так и думаю— куда-нибудь с тобой поедем, будешь купаться и поправляться».

[2] С. А. Кублицкая-Пиоттух.

[3] То есть с Терещенками.

[4] Имеется в виду статья Д. Мережковского «О черных колодцах» («Русское слово», 1913, № 59 от 12 марта), написанная в ответ на статьи Блока «Искусство и газета» («Русская молва», 1912, № 1 от 9 декабря) и «Непонимание или нежелание понять?» («Русская молва», 1912, № 15 от 23 декабря).

В последней статье Блок протестовал против упреков Д. В. Философова, который обвинял поэта в антидемократизме и отрыве искусства от жизни («Уединенный эстетизм»—«Речь», 1912, 18 декабря): «Это — утверждения Философова, к которым я, по моему убеждению, никакого повода не давал. Сознательно говорил я о *вульгарном*, метя именно в него, а не в демократию, о которой памятовал. ⟨...⟩То, что можно разуметь под демократией будущего, подобно радию; так мало этих веяний в мире, так легко они улетучиваются. Люди, которые будут жить после нас, назовут это, вероятно, другим именем,— священным. Но недаром Карлейль говорил так призывно о «демократии, опоясанной бурей» (V, 482). Цитата — из книги Т. Карлейля «Французская революция» (СПб., 1907, стр. 31).



В ШАХМАТОВЕ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ

Справа налево: Блок, И. Д. Менделеев, Ф. А. Кублицкий-Пиоттух, А. А. Кублицкий-Пиоттух, А. А. Кублицкая-Пиоттух, С. А. Кублицкая-Пиоттух, Л. Д. Менделеева-Блок, М. А. Бекетова

Фотография, 1909

Собрание В. Н. Орлова, Ленинград

[5] Сергей Павлович *Дягилев* (1872—1929)— художественный и театральный деятель, один из руководителей творческого объединения «Мир искусства», организатор русских художественных выставок и театральных выступлений за границей. Чтение «Розы и Креста» С. П. Дягилеву не состоялось. См. запись о Дягилеве (со слов М. И. Терещенко) в дневнике Блока под 12 марта 1913 г. (VII, 230).

215

17 марта 1913 г. ⟨Петербург⟩

Моя милая, сейчас я получил твое письмо. Как-то мне очень грустно эти дни, было тревожно, теперь грустно. Ничего я особенного не делаю и не могу делать.

Пиши мне почаще, хоть коротко, если долго еще не приедешь. Скучаю по тебе.

Господь с тобой, милая [1]. А.

[1] В ответ на это Л. Д. Блок написала 20 марта: «Лалака мой дорогой, получила твое письмо — ты пишешь, что грустно тебе. Милый, милый Лала, как я хочу, чтобы тебе не было грустно из-за меня, чтобы ты думал о моем отсутствии легко,— ведь ты же знаешь, что я вернусь и лето мы проведем вместе, товарищами. Я думаю о тебе всегда; сегодня утром читала «Ночные часы» и, конечно, проливала обильные слезы. Лала мой, но сейчас я еще не приеду».

216

20 марта 1913. ⟨Петербург⟩

Милый мой друг, я тревожусь о тебе, не знаю, как и зачем ты там живешь.

Вообще тревожусь. Бывает грустно и спутанно все.

Сейчас звонила Муся [1], спрашивала, вернулась ли ты? — Не понимаю, что им надо.

22-го у Мейерхольда собрание. Прислана записка на наши имена, там сказано:

«Милостивая дама и кавалер!

Три чудака нашли у знакомого старьевщика клочки истлевшего сценария под названием «Любовь к трем апельсинам» [2].

Не угодно ли Вам послушать, что из этого вышло».

Надоело это порядочно.

Если пойду, то с М. И. [3] Если он не пойдет, пожалуй, я испугаюсь.

Вчера Княжнин тоже осведомлялся, приехала ли ты.

Солнце, днем бывает почти жарко, а по ночам — прохладно, и Нева все еще стоит.

Господь с тобой, моя милая, пиши чаще, пиши. А.

На столе у меня опять цветы — большой букет от какой-то дамы. По-видимому, — от Щеголевой [4]. Я наугад послал ей в ответ тоже цветы.

[1] М. Д. Менделеева, сестра Л. Д. Блок.

[2] *«Любовь к трем апельсинам»* — дивертисмент, сочиненный К. А. Вогаком, В. Э. Мейерхольдом и В. Н. Соловьевым по сценарию итальянского драматурга Карло Гоцци. Эта пьеса была опубликована в феврале 1914 г. в первой книжке журнала «Любовь к трем апельсинам», издававшегося В. Э. Мейерхольдом.

[3] М. И. Терещенко.

[4] Валентина Андреевна *Щеголева* (Богуславская) (1878—1931)— драматическая актриса, адресат «Трех посланий» Блока (1908—1910).

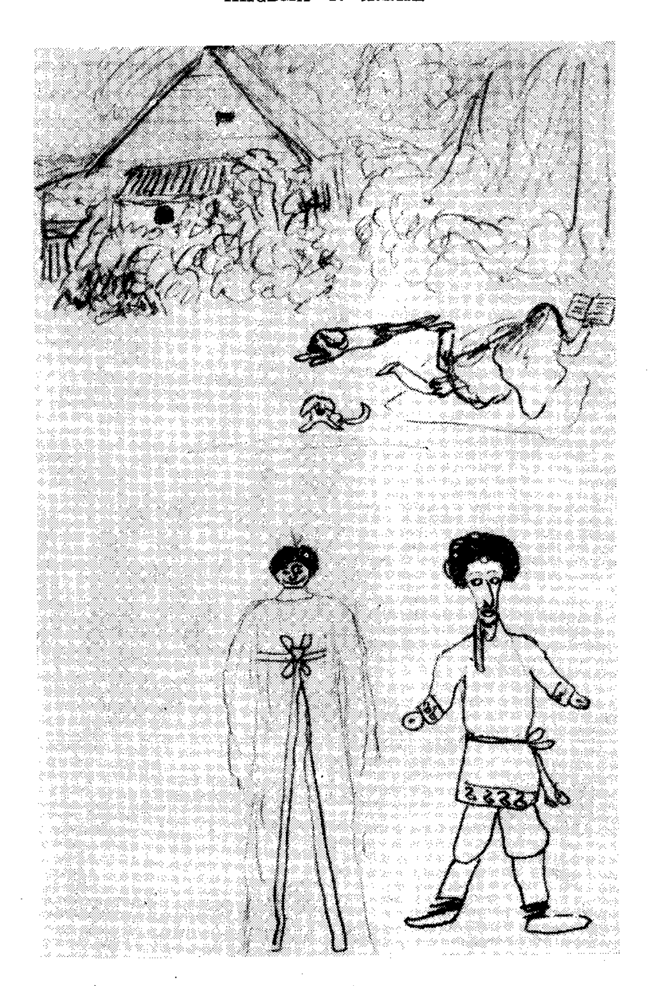
217

22 марта 1913. ⟨Петербург⟩

Милая, мне стало жить совсем горько. Жить тяжело, все враги кругом. Самый жестокий вид гонения — равнодушие [1]. Я очень устал и изнервничался. Твоя жизнь там меня тревожит и заботит. Не знаю, почему ты там, на меня оттуда веет забвением всего и смертью. Приехала бы; весна, я тебя бы покатал и сладкого тебе купил. Ты даже почти не пишешь. Господь с тобой.

А.

[1] 11 марта 1913 г. в «Дневнике» Блока записано: «Меня же злит и беспокоит все связанное с «литературной жизнью»:⟨...⟩Все говорят об оздоровлении, об «оживлении», о «нравственности». Пройдет год, *** удесятерятся. Они будут «бодро», много и бездарно писать во всех пятидесяти толстых журналах, которые родятся к тому времени. Критики же будут опять (как сегодня Вл. Гиппиус в «Речи») обмозговывать, «что случилось». Случилось...— *бездарность*, она, матушка. Все, кажется, благородно и бодро, а скоро придется смертельно затосковать о предреволюционной «развратности» эпохи «Мира искусства»... Пройдет еще пять лет, и «нравственность» и «бодрость» подготовят новую революцию (может быть, от них так уж станет нестерпимо жить, как ни от какого отчаяния, ни от какой тоски)... ⟨...⟩ То, что называют «жизнью» самые «здоровые» из нас, есть не более, чем *сплетня о жизни.* Я не скулю, напротив, много светлых мест было в эти дни. Биение сердца о милой» (VII, 228—229).



ШУТОЧНЫЙ РИСУНОК БЛОКА: БЛОК И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК В ШАХМАТОВЕ
〈1904—1905〉
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

В заметке, сделанной в день отправления данного письма, 22 марта, читаем:

«По всему литературному фронту идет очищение атмосферы. Это отрадно, но и тяжело также. Люди перестают притворяться, будто «понимают символизм» и будто любят его. Скоро перестанут притворяться в любви и к искусству. Искусство и религия умирают в мире, мы идем в катакомбы, нас презирают окончательно. Самый жестокий вид гонения — полное равнодушие. Но — слава богу, нас от этого станет меньше числом, и мы станем качественно лучше.

Тревожит и заботит Люба. Я буду, кажется, просить ее вернуться» (VII, 231—232).

218

23 марта 1913. 〈Петербург〉

Милая, вчера, чтобы разогнать тоску, пошел я к Мейерхольду один (Терещенку и Ремизова не звали). «Любовь к трем апельсинам», составленная М〈ейерхольд〉ом, Соловьевым и Вогаком по сценарию Гоцци [1], не произвела никакого впечатления: сухо и пестро. Были там Валентина Петровна [2], Пяст, Мосолов [3], Соловьев, два Бонди [4], Ярцев [5], Юрьев [6], Ракитин [7], Пронин [8], Лозинский [9], Левинсон [10], какие-то актрисы дека-



«ЛЮБА ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ ПОКУШАТЬ»

Шуточный рисунок Блока с его надписью

Центральный архив литературы и искусства, Москва

дентского вида и еще многие. Сидели, болтали. Бутерброды были, как у нас. Главное — был двухмесячный медвежонок. Размер его — вершков шесть. На руках у меня визжал и свиристел; во время чтения ревел в кухне, потом пил молоко, стоя и держа бутылку в руках, ночью все не мог заснуть, играл с бумажкой. Вообще, показал свою полную миленькость во всех отношениях.

Мейерхольды усталые, 28-го уезжают в Париж.

Вчера я получил очень замечательное письмо от какой-то дамы, оно меня поддержало.

А ты думаешь приехать? Господь с тобой, милая.

А.

Мне бы хотелось еще устроить одно чтение пьесы [11], чтобы ты присутствовала.

[1] См. примеч. 2 к письму № 216.

[2] Валентина Петровна *Веригина* (1882—1974)—драматическая актриса, подруга Л. Д. Блок.

[3] Борис Сергеевич *Мосолов* (1888—1941)— филолог, секретарь редакции журнала «Старые годы», театрал, близко стоявший к кругу В. Э. Мейерхольда.

[4] См. примеч. 5 к письму № 210.

[5] Петр Михайлович *Ярцев* (1871—1930)—режиссер, работавший с В. Э. Мейерхольдом в театре В. Ф. Коммиссаржевской, театральный критик.

[6] Юрий Михайлович *Юрьев* (1872—1948)—драматический актер.

[7] Юрий Львович *Ракитин* — драматический актер и режиссер; после Октября — эмигрант.



«ЛЮБА СЛУШАЕТ РАССКАЗ ОБ АНТИКИТЕ»

Шуточный рисунок Блока с его надписью

Центральный архив литературы и искусства, Москва

[8] Борис Константинович *Пронин* (1875—1946)— драматический артист, организатор литературно-артистических клубов «Бродячая собака» и «Привал комедиантов».

[9] Михаил Леонидович *Лозинский* (1886—1955)— поэт, впоследствии известный переводчик.

[10] Андрей Яковлевич *Левинсон* (1887—1933)— художественный и театральный критик; после Октября жил за рубежом.

[11] «Роза и Крест».

219

〈23 марта 1913. Петербург〉

Милая, я запечатал письмо к тебе и получил твое.

Беспокойно и грустно. Верно, ты и к пасхе не думаешь приехать. Ну, господь с тобой.

А.

220

Телеграмма

29 марта 1913. Петербург[1]

Телеграфируй очень беспокоюсь [2].

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] В тот же день Л. Д. Блок телеграфировала: «Милый не беспокойся все благополучно господь с тобой Л ю б а» и послала письмо, в котором, между прочим, писала: «Я была бы рада тебя видеть, *очень рада*, мой Лала, но на другой же день затосковала бы о том, что бросила бы, м. б., навсегда, и жизнь наша была бы совсем не такая, как может быть у нас, а с моими постоянными «надутыми рожами» и нервными гримасами,

кот⟨орые⟩ тебя совершенно выбивают из колеи. Помни, Лала, что лето я хочу провести с тобой, и так и будет, и после лета вернемся вместе в Петербург. Господь с тобой, мой родной, прости за то, что мучаю тебя, прости, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ знаешь, что я тебя люблю и что все, что во мне есть и было хорошего, все я отдала тебе».

221

30 марта 1913. ⟨Петербург⟩

Милая, сегодня я получил твои телеграмму [1] и письмо [2]. Пусть будет по-твоему, я не буду ждать тебя к пасхе.

Событий нет. 4-го апреля буду читать «Розу и Крест» в первом заседании нового общества (близкое участие принимают Недоброво и т. д.). Будет много народу, между прочим, все те, кому я давно собираюсь прочесть пьесу [3].

Событий нет, я говорю, потому что все омрачилось и за туманом не разобрать, с кем что делается [4]. И в природе был эти дни тоже туман — желтый, от ледохода [5].

Сегодня опять солнце.

Господь с тобой, моя милая. А.

[1] Телеграмма от 29 марта. См. примеч. 2 к письму № 220.

[2] Письмо от 27 марта, которое приводим полностью: «Дорогой мой Лалалка, получила твои письма. Милый, я не хочу еще уезжать отсюда. Я думаю, что в сущности ты понимаешь, как и почему я здесь, и пишешь о «забвении всего и смерти» только под влиянием того, что тебе очень скверно в ту минуту. Ты знаешь тоже, что если бы я почувствовала, что я *должна* быть у тебя, я могла бы разбить все свое и уехать к тебе, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ я люблю тебя и могу себя забыть для тебя. Но и ты меня любишь и отпустил меня сюда, и я так тебе за это «благодарна» (глупое слово, но я его чувствую всем существом). Ты не захотел отнять у меня счастье, которое судьба вдруг мне послала,— зачем, почему, что это? разве я знаю. Я только знаю, что это — не смерть, и не забвение, и совсем, совсем не измена тебе, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ это хорошее, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ связь с тобой я тут знаю, куда лучше, чем все последние годы рядом с тобой. Милый, я очень неуклюже говорю, но посмотри на эти все слова, как на условные знаки, которыми я стараюсь тебе сказать то, что, опять-таки, думается мне, ты сам знаешь. Господь с тобой, мой родной Лала, целую тебя. Б.»

[3] Имеется в виду «Общество поэтов», организованное поэтом и критиком Николаем Владимировичем *Недоброво* (1884—1919). Собрания этого общества, на которых читались стихи и доклады о поэзии, происходили вплоть до середины 1914 г. (см. неполный перечень докладов и выступлений в «Письмах Александра Блока». Л., 1925, стр. 212—213). В «Дневнике» Блока отмечено «... 4-го — чтение «Розы и Креста» в тяжелой обстановке. Успех. Присутствовало 70 человек» (VII, 235).

[4] В эти дни, как видно из дневника Блока, внимание его привлекли, в частности, два диспута: о современной живописи и о новейшей поэзии, устроенные 23 и 24 марта 1913 г. футуристическим «Союзом молодежи». На первом с докладом выступил Д. Бурлюк, на втором — В. Маяковский. В докладе «Пришедший сам» Маяковский резко критиковал символистов, в том числе — поэзию Блока. «Эти дни,— пишет Блок,— диспуты футуристов, со скандалами. Я так и не собрался. Бурлюки, которых я еще не видал, отпугивают меня⟨....⟩ Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм⟨...⟩

Футуристы прежде всего дали уже Игоря Северянина. Подозреваю, что значителен Хлебников. Е. Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это более земное и живое, чем акмеизм» (VII, 232).

[5] Запись в «Дневнике» Блока 30 марта: «Дни невыразимой тоски и страшных сумерек — от ледохода, но не только от ледохода. Вчера, беспокоясь, послал милой телеграмму, а сегодня получил ответ ⟨...⟩ Сегодня же получил письмо о *счастьи*» (VII, 234—235). См. выше — примеч. 1 и 2.



БЛОК
Фотография, 1911
Литературный музей, Москва

222

5 апреля 1913. ⟨Петербург⟩

Моя милая, я получил твои письма. Господь с тобой, я много думаю о тебе и, что думаю, не сказать словами.

Вчера я читал «Розу и Крест» среди врагов, светских людей, холодных «нововременцев» [1]. Внутренно очень боролся и, кажется, победил. Мне помогало присутствие близких — мамы и тети [2], Терещенок, Ремизовых, Пяста — и некоторых людей, сочувствующих мне. Всего было человек до ста — в актовом зале шестой гимназии. Думаю, что буду читать еще раз — в пользу курсов [3].

Столяр Гофман пишет, что стулья готовы. Если ты мне напишешь, сколько их, сколько за них платить и что с него требовать, я ему скажу, чтобы доставил, и заплачу.

Напиши мне. Мож⟨ет⟩ быть, я уеду куда-нибудь на часть Страстной и Пасхи, но, может быть, и нет; потому ты все-таки напиши мне.

Мне было тяжело эти дни, но сегодня я чувствую возбуждение от борьбы и думаю, что был вчера живым среди мертвых. Да, путь еще верный пока.

Господь с тобой, милая.

А.

[1] См. примеч. 3 к письму № 221.

Об этом вечере мать Блока писала приятельнице, М. П. Ивановой, 6 апреля 1913 г.: «Вот Сашино чтение было в такой нежданной обстановке лакированных ботинок, белых гвоздик и страшных личин светского разврата. Раскрашенные женские лица, наряды, улыбки. Мы, простые люди, чающие воскрешения, жались друг к другу в тоске. А на меня и, оказывается, и на Ремизова, смятение находило. Саша прорезал этот зараженный воздух своими стихами о Кресте, горящем над вихрями, о радости страданья». (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 539, лл. 76—76 об.)

[2] М. А. Бекетова.

[3] См. примеч. 9 к письму № 212.

223

10 апреля 1913. ⟨Петербург⟩

Милая, сейчас я получил твое письмо. Не знаю, уеду ли я. Мне тяжело.

Летом я хотел бы купаться в Адриатическом море, где-нибудь около Римини, или — на противоположном берегу. Это советует доктор. Впрочем, все это зависит от тебя, где и как ты будешь.

На днях мне звонил г-н Всеволодский [1] и спрашивал, дома ли ты. Сегодня он опять звонил без меня и спрашивал Сашу [2] твой адрес, который она не сказала, так как я не велел говорить. Он оставил номер своего телефона и просил передать тебе, что, по просьбе Мейерхольда, может устроить тебя «играть» на лето. Пожалуйста, ответь мне относительно этого господина и относит⟨ельно⟩ столяра.

Я, наверное, не уеду на праздники, решил сейчас.

Уеду, может быть, после,— не знаю [3].

Господь с тобой. А.

[1] Всеволод Николаевич *Всеволодский-Гернгросс* (1882—1962)—историк русского театра.

[2] *Саша* — прислуга.

[3] В этот же день, 10 апреля, Блок записал в дневнике: «Я купил путеводитель по Новгороду, но решил не уезжать до Пасхи» (VII, 236).

224

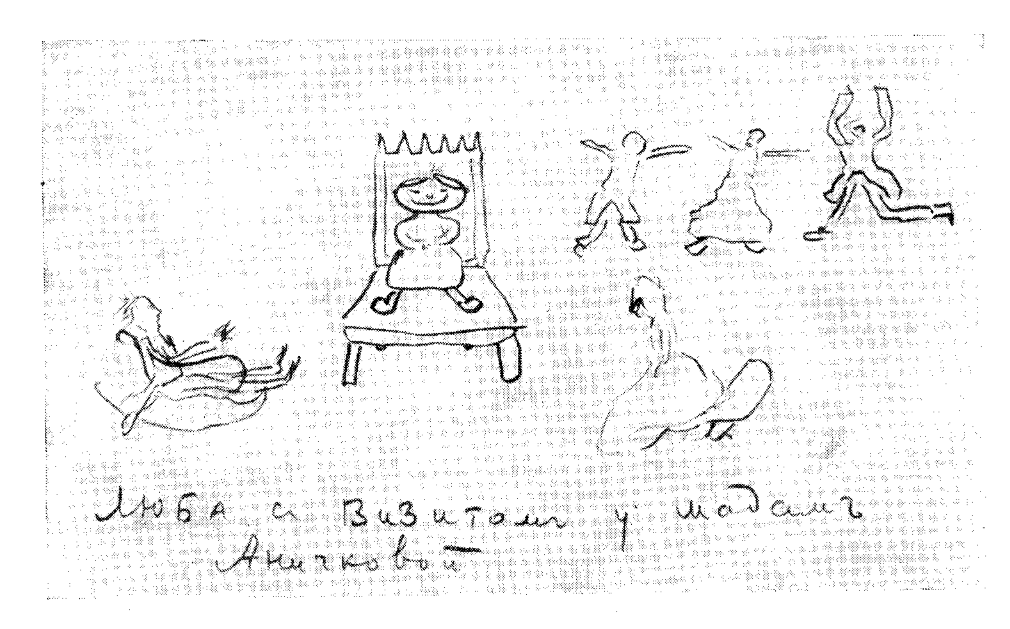
15 апреля 1913. ⟨Петербург⟩

Милая, ты опять долго не пишешь мне.

Праздник прошел тихо. В субботу ночью [1] я ходил с мамой и Францем по Исаакиевской площади. Ночь была теплая и туманная. Здесь совсем весна, днем бывает жарко.— В воскресенье обедал у мамы и вечером сидел. Сегодня иду к Ремизовым поздравлять их, там будут Терещенки.

Сегодня утром мне звонила Анна Ивановна [2], спрашивала твой адрес. Я сказал ей (любезно), что не знаю, и поздравил ее с праздником.

Веригина была у мамы на днях, говорила, что они не оставляют мысли о «студии Мейерхольда», ищут денег и имеют какие-то в виду, а Мейерхольд уехал [3] с надеждой, что с осени у него будет «студия».



«ЛЮБА С ВИЗИТОМ У МАДАМ АНИЧКОВОЙ»
Шуточный рисунок Блока с его надписью
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Еще говорят, что отцу Мгеброва предлагают уйти в отставку — из-за сына [4].

Вот все, что я знаю о твоих знакомых. Напиши мне, отвечать ли «г. Всеволодскому» [5] и что ответить столяру.

Мое отношение ко всему этому [6] ты знаешь. Ты напиши мне, главное, о себе самой, независимо от всего, что я считаю посторонним тебе. Можешь ли ты хоть приблизительно решить, каково будет твое лето, где и с кем ты хочешь быть.— Я пишу это и думаю, что пишу напрасно, и ты все равно не можешь ответить.

Господь с тобой. А.

[1] В пасхальную ночь. В дневнике Блока под 13 апреля записано: «Крестный ход был меньше, жандарм раздавил человека, ночь была прекрасна и туманна. Празднично было» (VII, 236).

[2] А. И. Менделеева, мать Л. Д. Блок.

[3] В Париж.

[4] Александр Авелевич *Мгебров* (1884—1966)— драматический актер, играл в Художественном театре, в театре В. Ф. Коммиссаржевской, в Старинном театре, в териокском «Товариществе» 1912 г., в студии В. Э. Мейерхольда. Выходец из военной среды, окончивший кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище, А. А. Мгебров сблизился с революционно настроенной молодежью и в 1905 г., будучи уже артиллерийским офицером, принял непосредственное участие в революционных событиях — в Петербурге и на Кавказе. Результатом этого явился длительный политический процесс, тянувшийся до 1913 г. Мгебров был арестован, судим военным судом и приговорен к расстрелу, от которого ему благодаря хлопотам отца, видного генерала, удалось спастись и затем выбраться за границу. Осенью 1910 г. по возвращении из-за границы, Мгебров был снова арестован и находился в тюремном заключении до весны 1911 г. Выйдя из тюрьмы, он очутился в очень тяжелом материальном положении, и в это время Блок оказал ему существенную поддержку. «В те дни светлым призраком вырос на моем пути Блок, широко и человечно подойдя ко мне,— пишет А. А. Мгебров

в своих воспоминаниях.— Он единственный протянул мне руку помощи, даже не зная меня хорошенько и только уважая как художника, попавшего в бесконечно нелепую и ненужную беду. Блок предложил некоторую сумму денег, чтобы облегчить положение...» (А. А. М г е б р о в. Жизнь в театре, II. М.—Л., 1932, стр. 224). На этом злоключения Мгеброва, однако, не кончились: в середине апреля 1913 г. он был снова арестован и в дальнейшем судим и приговорен к ссылке навечно, но и на этот раз благодаря хлопотам отца приговор был отменен «за давностью преступления» (см. там же, стр. 226—229).

[5] См. письмо № 223. В письме от 14 апреля Л. Д. Блок писала: «Г-ну Всеволодскому я прошу очень ответить *очень вежливо* и любезно, хотя бы через Сашу, что я уже своим летом не располагаю и очень благодарю за внимание и т. п.».

[6] Имеется в виду актерская деятельность Л. Д. Блок.

225

18 апреля 1913. 〈Петербург〉

Милая, ты хочешь, чтобы я написал тебе точно о лете, т. е., «что я хотел бы».

С конца апреля до конца мая я буду лечиться. В конце мая доктор велит сейчас же ехать купаться в море; думаю — около Римини. После купанья (месяц? — не знаю) советует ехать в горы (Карпаты в Галиции; этого я не знаю). После этого — я всего меньше знаю. Думаю, что хорошо бы побывать в Шахматове, а, по дороге, в Петербурге проездом увидаться с Терещенко, который будет здесь в июле. Наконец, возвращение в Петербург *осенью* для меня — самое больное место, так как Терещенко будет жить б〈ольшую〉 ч〈асть〉 будущей зимы в Киеве, а я без него Петербурга боюсь и предчувствую ужасную зиму. А так как все лето, как я его описал выше, предназначается для того, чтобы «отдохнуть» и приготовиться к зиме, то и лето мне представляется достаточно бессмысленным: приготовляться приходится к тому, чтобы набраться сверхъестественных сил, ибо меня будут, так сказать, травить прямо и косвенно *все* обстоятельства моей жизни.

Думать обо всем этом без ненависти я не могу, потому пора прекращать письмо.

Господь с тобой. А.

Это я не послал, но ответил 21-го — письмом, м. б., еще более нервным [1].

[1] Эта приписка к непосланному письму была сделана позже.

226

21 апреля 1913. 〈Петербург〉

Милая, сейчас я ждал Станиславского — читать «Р〈озу〉 и К〈рест〉». Он прихворнул и не пришел. На днях, может быть, завтра — придет. Это очень важно для меня и *внутренно* (а, мож〈ет〉 быть, и внешне) решит *все*: я способен верить *только ему лично* (в театре), остальное меня просто бесит — и твой Мейерхольд в том числе. Если Станиславский найдет возможность *сам* поставить и играть пьесу, я буду спокоен за все окружающее его (он — центр). Если нет, я опять закопаюсь в свою мурью, как все последние годы, буду писать до времени для себя, про себя, одного (хотя бы и пьесы) [1]. Положение театральное — и мое в частности — очень тяжелое, но я ничего не скрываю от себя, ни на какие половины не пойду.

Если бы ты была сейчас здесь, мне было бы легче. Но ты вот уже 2 ½ месяца «где-то», очевидно, меняешься, очевидно, вовсе забываешь *все*. Три дня назад я получил твое письмо, хотел ответить, но очень волновался и не ответил. Волнуюсь и теперь. Но — все равно, надо ответить. Ты спрашиваешь о лете. Мало знаю об этом, это зависит от того, какая ты. Весь



«ЛЮБА ИСПОЛНЯЕТ НАЗНАЧЕНИЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ»
Шуточный рисунок Блока с его надписью
На календаре: «1 янв. 1950», на часах –12
Центральный архив литературы и искусства, Москва

май я буду лечиться. В конце мая доктор велит ехать купаться в Средиземном море. Потом — в горы (Карпаты? Галиция?). Хорошо бы попасть в Шахматово. А впрочем, почем я знаю все это? *Осень* в Петербурге, начало того сезона, для меня — самое больное, самое неизвестное. Видел я на днях твою Веригину (у мамы), слышал проекты о «студии» г-на Мейерхольда, который, не зная ни слова по-французски, поехал ставить французскую пьесу в Париже [2] (*отношение к слову* — NB!). Все, все грозит мне несчастием и бедой той осенью — и твои сухие и торопливые вопросы прежде всего, и то, что тебя окружает (здесь и в Базарном тупике [3]), и все, что может и будет меня отравлять в ту зиму.

Г-ну Всеволодскому отвечено через прислугу. Г-ну Гофману ответил я. Я думал, подожду несколько дней, и отвечу спокойнее. Но нет, не выходит. Все — живая рана, посыпаемая солью. Господь с тобой.

А.

1 Московский Художественный театр в это время гастролировал в Петербурге. Ср. записи в дневнике Блока от 20 апреля 1913 г.: «После обеда ⟨19 апреля⟩, на холодном закате, я снес письмо К. С. Станиславскому с просьбой выслушать «Розу и Крест» в присутствии А. М. Р⟨емизова⟩ только... ⟨20 апреля⟩ посыльный принес необыкновенно милый ответ от К. С. Станиславского. Может быть, он придет завтра слушать «Розу и Крест»...Все утро прождал я К.С. Станиславского. В 1-м часу позвонил он—жар, боится, послал за градусником—будет сидеть дома, может быть,—завтра⟨...⟩ Как всегда, *вокруг центрального*: пока ждал Станиславского, звонок от Зверевой, которая хорошо знает одного из режиссеров студии Художественного театра—*Вахтангова*. Хочет познакомиться, хочет ставить «Розу и Крест» с «любым художником — Бенуа, Рерих» (!!??). Это через третьи руки, и этот «бабий» голос. Нервит и путает. Нет, решаю так:

пока не поговорю с Станиславским, ничего не предпринимаю. Если Станиславскому пьеса понравится и он найдет ее театральной, хочу сказать ему твердо, что довольно насмотрелся я на актеров и режиссеров, недаром высидел последние годы в своей мурье, никому не верю, кроме него одного. Если захочет — ставил бы и играл бы сам — Бертрана. Если *коснется пьесы его гений*, буду спокоен за *все* остальное. Ошибки Станиславского так же громадны, как и его положительные дела. *Если не хочет сам он*,— я опять уйду в «мурью», больше никого мне не надо. А Вахтангов — самая фамилия приводит в ужас. Буду писать до времени — про себя, хотя бы и пьесы. Современный театр болен параличом — и казенный (Мейерхольд; ведь *«Электра» прежде всего — БЕЗДАРНАЯ ШУМИХА*). Боюсь всех Мейерхольдов, Гайдебуровых (не видал), Обводных каналов (Зонов не в счет), Немировичей, Бенуа...» (VII, 238—239).

Через три года (в марте 1916 г.) Блок сделал ряд заметок о том, какой должна быть постановка «Розы и Креста» в Художественном театре. Он, в частности, писал: «Выяснить, чем я могу быть полезен при постановке «Розы и Креста». Одним из главных моих «вдохновений» была *честность*, т. е. желание не провраться *«мистически»*. Так, чтобы все можно было объяснить *психологически*, «просто». События идут, как в жизни, и если они приобретают *иной* смысл, символический, значит, я сумел углубиться в них» (ЗК, 285).

[2] В. Э. Мейерхольд ставил в Париже трагедию Г. д'Аннунцио «Пизанелла».

[3] *Базарный тупик* — житомирский адрес Л. Д. Блок.

227

22 апреля 1913. ⟨Петербург⟩

Милая,

вчера я написал тебе письмо нервное и озлобленное, а потом так тебя жалел, кроватку твою вечером окрещивал. Ты меня прости, мне теперь трудно все переносить. Когда-то ты ко мне возвратишься. И как мы лето проведем — и зиму.

Господь с тобой, милая. А.

228[1]

⟨23 апреля 1913. Петербург⟩[2]

Я открыл, потому что увидел почерк.
Хорошее письмо.
Ты не пишешь давно.

[1] Это — приписка карандашом на вскрытом Блоком письме прислуги Паши, которая писала Л. Д. Блок, что у нее родился сын и как проходили роды.

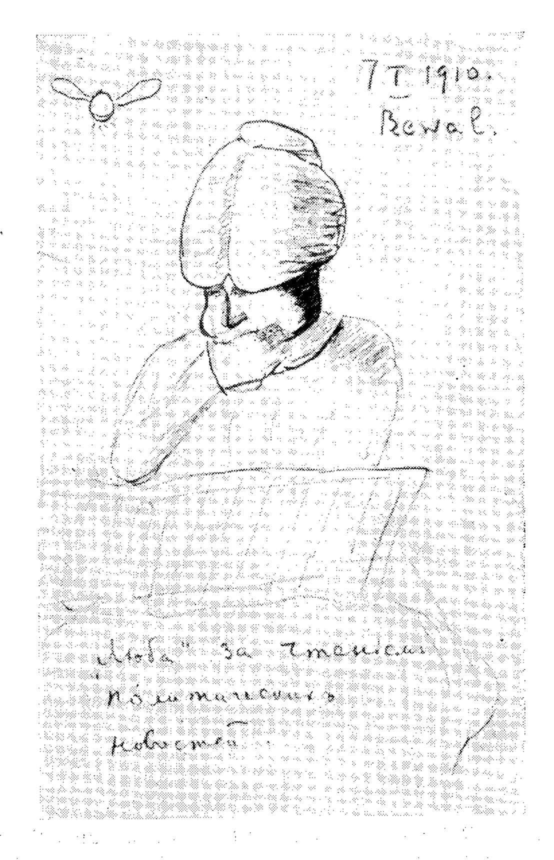
[2] Дата почтового штемпеля.

229

29 апреля 1913. ⟨Петербург⟩

Милая, ты ничего мне не пишешь. Я ничего не знаю о тебе, думаешь ли ты возвратиться, как и чем ты живешь.

Третьего дня у меня был Станиславский. Он сидел у меня *девять* часов подряд, и мы без перерыва говорили. Он прекрасен, как всегда, конечно. Но вышло так, оттого ли, что он очень состарился, оттого ли, что он полон другим (Мольером), оттого ли, что в нем нет моего и мое ему не нужно,— только он *ничего не понял* в моей пьесе, совсем не воспринял ее, ничего не почувствовал. Он даже извинялся, боялся мне «повредить» и т. д., говорил, что он не понял и четверти, что надо считать, что я ему рассказал только схему (я ему рассказывал уже после чтения все сначала, разжевывая, как ребенку, кое-что он понимал — холодно — фантазировал, представлял —



«ЛЮБА ЗА ЧТЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ. 7.I 1910. REWAL»

Шуточный рисунок Блока с его надписями

Центральный архив литературы и искусства, Москва

по-актерски, доходил даже до пошлости иногда). Он много рассказал мне о своей студии, работу которой я пойду сегодня смотреть с мамой.

С⟨таниславский⟩ не «повредил» мне, моя пьеса мне нравится, кроме того, я еще раз из разговора с С⟨таниславским⟩ убедился, что она — правдива. А все-таки — горько. Опять писать, держа все «под спудом», кругом — травля от старых и от молодых, тесный, тесный круг близких, непонимание тех, кто мог бы понять, полная неизвестность относительно жизни, и ты — далеко [1].⟨...⟩

Если б можно было узнать, когда кончится твое безвестное отсутствие. Господь с тобой.

А.

Из твоего письма (неделю назад) я узнал только, что ты опять что-то подозреваешь о маме, чего нет, опять какая-то ненужная путаница — «вечное возвращение» [2].

[1] Подробно о своей встрече с К. С. Станиславским и о чтении ему драмы «Роза и Крест» Блок рассказал в дневнике 27 апреля (VII, 240—245). Итогом грустных размышлений Блока после этой встречи служит его запись в дневнике от 29 апреля: «Печально все-таки все это. Год писал, жил пьесой, она правдивая. Баяны, Котляревские, Неведомские, Батюшковы, Яблоновские, будто сговорившись, объясняют успех футуристов тем, что «мы» («символисты» что ли)— гнилые, дряхлые. С них я не требую сочувствия. Но пришел человек чуткий, которому я верю, который создал великое (Чехов в Художественном театре) *и ничего не понял, ничего не «принял» и не почувствовал.* Опять, значит, писать «под спудом». «Свои» стараются (Станиславский. Философов — брюзжит, либеральничает. Мережковский читает доклады о «Св. Льве», одинаково компрометируя Толстого и святых. Гиппиус строчит свои бездарные религиозно-политические романы. А. Белый — слишком во многом нас жизнь разделила). М. И. Т⟨ерещен-

29 X 1911 Любе.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ

Ночные часы

Четвертый сборникъ стиховъ

(1908—1910).

Книгоиздательство «Мусагетъ»
Москва — MCMXI

БЛОК. «НОЧНЫЕ ЧАСЫ»
М., «Мусагет», 1911
Обложка с дарственной надписью Блока: «Любе 29 X 1911»
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ко〉 уходит в свои дела, хотя бы и временно. Остальных просто нет для меня — тех, которые «были» (Вячеслав Иванов, Чулков...)» (VII, 245—246).

[2] Л. Д. писала Блоку 22 апреля: «Я помню, что завтра мамины именины, но не поздравляю ее — м〈ожет〉 б〈ыть〉, она случайно не ответила на мою карточку к рожденью, а, может быть, ей и неприятно». «*Вечное возвращение*»— термин Ф. Ницше.

230

29 апреля 1913. 〈Петербург〉

Милая, я только запечатал письмо к тебе и сейчас же получил твое.

Неужели ты не приедешь *прежде* конца мая и совсем не поживешь со мной? Во-первых, мне совсем постыла эта пустая квартира. Во-вторых, надо же хоть сообразить все, опомниться. Я тут без тебя прожил долгую и трудную жизнь, от которой ты — за тридевять земель (опять волнуюсь и мучусь; эти вздорные слова должны идти тысячу верст, через две недели я получу ответ — опять не о том, что меня волнует, опять — из какой-то *летаргии*; с ума можно сойти; мне вовсе не сладко) 〈...〉

Куда ехать и когда, я не знаю. И не хочу знать (после этого ты опять будешь ждать «ласкового письма», какое пишется, когда в человеке еще, и еще, и еще раз все перевернулось вверх дном, и застыло в нежности, а душа... непоправимо устает и стареет от стужи, от неизвестности, от *сна* близких). «Просто нервы»... — нет, не просто [1].

О Станиславском я написал утром. О Мейерхольде — лучше не будем говорить. Двух пудов соли я с этим вторым Чулковым не съем [2]. Мне не надо прирожденных плагиаторов с *убогим содержанием* души, но с впечатлительностию, которая производит впечатление таланта. Буду, насколько хватит сил, работать «про себя». А когда станет невтерпеж — сопьюсь.

«Станиславский «сейчас» лучше, чем Мейерхольд!» (твои слова). Да ты очнись, пойми, до чего вы все заврались, не отличаете бриллианта от бутылочного стекла! Тоже — художниками хотите быть. А ведь, наверное, все там рассуждаешь о «театре», пожалуй еще, о «новом театре» (пошлые шаблоны, слова до дыр протертые, одно решето осталось).

Конечно, в моих словах есть и нервы, но не они одни — ты знаешь. Если бы ты приехала, хоть в середине мая.

Господь с тобой, милая.

Ответь мне. А.

⟨*На обороте*⟩ Май на печатке — «товарищи»[3].

[1] Л. Д. Блок писала 26 апреля: «...Как хорошо, что ты меня пожалел, написав то письмо. Я им совсем расстроилась и очень мне было тяжело, сколько я себе ни говорила, что тут много просто нервов».

[2] В том же письме от 26 апреля Л. Д. Блок спрашивала: «Что-то со Станиславским? Я знаю, как тебе это важно — что он скажет, и очень жду. И думаю теперь, что *сейчас* — он лучше, чем М⟨ейерхоль⟩д, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ с М⟨ейерхоль⟩дом надо бы сначала два пуда соли съесть, тогда бы его талантливость можно было повернуть, куда тебе надо».

Несколько ранее, 27 марта 1913 г., Блок записал о Мейерхольде: «...Мейерхольд сам, по-видимому, сомневается в себе все более. Их самих мучит их сухая пестрота, они ломятся с «театральностью» в открытую дверь и никак не хотят понять, что *человечность* не только не убьет, но возвысит и осмыслит правдивое в их «исканиях» (VII, 234).

[3] В то время при заклеивании писем Блок пользовался своими печатями, на которых, кроме названий месяца, были различные изображения. (На майской печати — две фигуры — «товарищи».)

231

1 мая 1913. ⟨Петербург⟩

Милая, третьего дня мы с мамой смотрели «Гибель «Надежды» Гейерманса[1] в Студии Моск⟨овского⟩ Худ⟨ожественного⟩ театра. Пьеса довольно фальшивая, но игра превосходная. Напоминает первые времена Худож⟨ественного⟩ театра. Все почти играют хорошо, но главное — ансамбль. Все сделано без помощи старших, только все воспитаны в той строгой дисциплине, которая только Худ⟨ожественному⟩ т⟨еатру⟩ свойственна. В публике — слезы. После постановок Мейерхольда и Зонова — отрадное чувство творческой работы, твердой почвы и *заслуженного* успеха. Мне было интересно следить за тем, как пользуются актеры приемами, которые подробно разъяснил мне Станиславский. В студии я встретился с Вл. Немировичем-Данченкой, и, в весьма любезной форме, дал ему понять все, что думаю о нем (разговор был о «Розе и Кресте», котор⟨ую⟩ он хотел узнать). Думаю, что путь в Худ⟨ожественный⟩ т⟨еатр⟩ мне закрыт окончательно, и сейчас мне очень тяжело от многого, и от этого тоже.

Очень жаль, что ты не видала студии и не увидишь. Там бы можно научиться чему-нибудь путному. Во всяком случае, дух *работы* (единственно поучительный) существует только там; а все остальное (и Мейерхольд особенно) — одно невежественное нутро.

Я пойду непременно смотреть также и «Праздник примирения» Гауптмана (другой режиссер — тоже молодой)[2].

Кроме того, мне дадут билет на Мольера[3].

Напиши мне, не приедешь ли ты в половине мая⟨...⟩

Господь с тобой, милая. Снег идет.

А.

11-го приезжает из Волынской губернии А. Белый с женой.

[1] Герман *Гейерманс* (1864—1924)— голландский драматург и романист натуралистического направления, социал-демократ, автор драмы из жизни рыбаков «Гибель «Надежды» (1900), шедшей с большим успехом в студии Московского Художественного театра в постановке Р. В. Болеславского и Л. А. Сулержицкого. Из актеров, участвовавших в спектакле, Блок особо выделил М. А. Чехова и Б. М. Сушкевича (см. VII, 246). Блок вторично смотрел этот спектакль 7 мая, вместе с М. И. Терещенко (VII, 249).

[2] «*Праздник примирения*» («Праздник мира»)— драма немецкого драматурга Герхарта Гауптмана (1862—1946), шла в студии Московского Художественного театра в постановке Е. Б. Вахтангова.

[3] На спектакль «Мнимый больной».

232

2 мая 1913. 〈Петербург〉

Милая, сегодня по телефону спрашивал г. Сазонов [1], в Петербурге ли ты. Я ответил, что ты будешь в конце мая, но сам думаю, что ты будешь прежде — в середине.

Пиши мне, мне тяжело. Господь с тобой.

А.

[1] М. П. *Сазонов* (1875—1959)— драматический актер.

233

4 мая 〈1913. Петербург〉

Милая, сегодня пришло письмо от тебя, и мне кажется, что ты приедешь скоро. Платье m-me Гибшман найдено, я пошлю его на этих днях [1].

Станиславский наговорил мне ужасных глупостей, говорят, он всегда так. Все-таки я не жалею, что ему читал [2].

В одной книге футуриста я нашел поэму, не длинную, касающуюся тебя. Вот она:

Бубая горя

Буба. Буба. Буба [3].

У меня для тебя есть маленькое яичко из белого кварца; когда я покупал к Пасхе, и тебе, Бубе, купил.

Вчера у мамы была Веригина с мужем, я пришел вечером и уговорил их идти в Луна-Парк, кататься по горам. Сначала Н. П. [4] струсил, мы проехали вдвоем с Веригиной, потом уговорили его. Впечатление чрезвычайное. Прокатились еще два раза, они скисли и ушли, а я так уж и катался до 1 часу ночи, пока меня не прогнали от кассы, которая запиралась.

Когда ты приедешь, мы вместе покатаемся.

Приезжай, милая, поскорее. Господь с тобой.

А.

Хорошо, что ты плакала над маминым письмом [5].

[1] Исполнение просьбы Л. Д. Блок. *М-те Гибшман* — жена актера, игравшего вместе с Л. Д. Блок.

[2] Речь идет о чтении драмы «Роза и Крест» К.С. Станиславскому (см. письмо № 229).

[3] «Бубая горя»— однострочная «поэма», состоящая из трех слов: «Буба. Буба. Буба», напечатана в книжечке поэта-футуриста Василиска Гнедова «Смерть искусству», 〈СПб.〉, 1913, стр. 6.— Этой справкой я обязан Н. И. Харджиеву. *Буба* — ласкательное прозвище Л. Д. Блок.

[4] Николай Павлович *Бычков* (1882—1971)— муж В. П. Веригиной, инженер.



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК
Фотография, 1912 ⟨?⟩
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

[5] Л. Д. Блок писала 1 мая: «Я получила письмо от мамы и очень от него плакала, оттого, что хорошо ко мне мама относится, а ответить не могу — сяду писать и опять «проливаю слезы» и ничего не могу сказать».

234

7 мая 1913. ⟨Петербург⟩

Моя милая, вчера, вернувшись с мольеровского спектакля [1], я получил твое письмо. Ну, хорошо, приезжай 26-го мая, что же делать; я тебя ни в чем не виню, напротив, иногда думаю, как бы тебе не было скучно со мной. Мне трудно все-таки жить.

Впечатление от вчерашнего спектакля у меня самое дурное; прежде всего, Мольер устарел. Затем — Бенуа — жизнерадостный труп, и трупом пахнет от его выдумок.

«Ансамбль» Х‹удожественного› т‹еатра› испарился, большая часть актеров (много новых) играет хуже, чем в Александринке. Любовники — Юрьевы [2] чистой воды. Станиславский восхитителен, минутами смертельно жаль его, попавшего в эту мертвецкую бездарностей и пошляков. Та «смерть Прекрасному», которой пропитан весь спектакль, заставляет ненавидеть все красивости; но и на красивости Бенуа, по-видимому, уже не способен. По крайней мере, от самых «показных» мест — тошнит. Минутами, кощунство. Я совсем разбит сегодня от этого впечатления, давно не было такой ненужной тяжести [3]. Сегодня пойду второй раз смотреть «Гибель «Надежды» с Терещенкой. Там будет Веригина, которую Станиславский зовет в студию, и я поддерживаю.

Когда еще ты вернешься. Три недели.

Господь с тобой, милая. А.

[1] «Мнимый больной» в Московском Художественном театре.

[2] Имеется в виду Ю. М. Юрьев.

[3] В дневнике Блока под 7 мая записано: «Впечатление от Мольеровского спектакля самое ужасное: хорош Станиславский (Арган), местами Лилина (Туанет), Лужский (Сганарель), кое-какие мелочи. Все остальное и прежде всего Бенуа — мертвое, ненужное, кощунственное. Судна и ночные горшки, ужасный перевод (Вейнберг). Мольер устарел, ансамбль Художественного театра исчез бесследно, вторые роли — хуже Александринки, молодые люди — Юрьевы» (VII, 248—249). Александр Николаевич *Бенуа* (1870—1960)— художник, оформлявший постановку «Мнимого больного» в Художественном театре.

В тот же день Блок написал Станиславскому. «...Я не хочу от вас скрывать, что спектакль в целом мне не понравился; нравились только вы, Лужский в Сганареле, иные частности у некоторых, а остальное было тяжело и ненужно. И Мольер устарел, решаюсь сказать это, потому что чувствую отчетливо, как вчера, так и сегодня. В студии вашей, напротив, было много впечатлений истинно прекрасных» (VIII, 422).

235

Телеграмма

12 мая 1913. Петербург [1]

Прошу тебя приехать около двадцатого двадцать четвертого позже вернется Т [2] и будут дела очень прошу телеграфируй [3] А.

[1] Дата телеграфного бланка. В дневнике Блока 10 мая записано, что в этот день он написал жене «отчаянные письма», которые, однако, не послал и сжег (VII, 249).

[2] М. И. Терещенко.

[3] Л. Д. Блок ответила в тот же день телеграммой из Житомира: «Прости милый не могу лучше приеду когда кончишь дела господь с тобой Л ю б а».

236

13 мая 1913. ‹Петербург›

Прошу тебя, если ты знаешь срок возвращения в Петербург, сообщить мне о нем, *независимо от моих дел*.

Содержание телеграммы мне непонятно [1]. А. Б.

[1] Имеется в виду телеграмма Л. Д. Блок от 12 мая — см. примеч. 3 к письму № 235. В письме от 16 мая Любовь Дмитриевна писала: «Конечно, нелепо, но отнять у себя еще два дня — я не могу. И вот сквозь все мое счастье здесь, сквозь отчаяние отъезда и долгой разлуки, которая мне предстоит, я сохранила для тебя такую нежность, так уверена была, что сумею быть тебе хорошим и полезным, ободрительным «товарищем»

ТЕРІОКИ.
ТЕАТРЪ „КАЗИНО".
Товарищество актеровъ, писателей, художниковъ и музыкантовъ

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕЧЕРЪ.
Въ Субботу, 4 Августа
БЕНЕФИСЪ Л. Д. БЛОКЪ
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ
МИССЪ ГОББСЪ
КОМЕДІЯ
ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА.
ПОСТАНОВКА К. Э. ГИБШМАНА
Начало въ 8½ час. вечера.
Цѣны мѣстамъ обыкновенныя.
Билеты въ кассѣ театра ежедневно отъ 7 до 10 час. вечера, а въ день спектакля съ утра до окончанія спектакля.

АФИША СПЕКТАКЛЯ «МИСС ГОББС» ПО ПЬЕСЕ ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА (БЕНЕФИС Л. Д. БЛОК, ТЕРИОКИ, 4 АВГУСТА 1912 г.)
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

этим летом... А теперь боюсь, что после всех этих «инцидентов», отсрочек и т. п.— ты и рад мне не будешь, одно расстройство— А если говорить о деле, так вот: я свой приезд назначила на 26-е, если тебе это удобно, так я приеду. ⟨...⟩ Должна тебе сказать, что мне в Петербурге делать совершенно нечего, если ты будешь очень занят ⟨...⟩, может быть, ты и отложишь мой приезд. Но это, как *ты* хочешь».

237

Телеграмма

16 мая 1913. Петербург[1]

Жду тебя двадцать шестого за границу может быть не ехать господь с тобой А.

[1] Дата телеграфного бланка.

238

Телеграмма

19 мая 1913. Петербург [1]

Милая отвечай беспокоюсь А.

[1] Дата телеграфного бланка.

239

Телеграмма

19 мая 1913. Петербург [1]

Две телеграммы без ответа здорова ли ты телеграфируй А.

[1] Дата телеграфного бланка.

240

Телеграмма

20 мая 1913. Петербург [1]

Не выезжай пишу сегодня письмо А.

[1] Дата телеграфного бланка.

241

20 мая 1913. ‹Петербург›

Милая, вчера я получил твое письмо [1] и телеграмму.

Ну, не приезжай теперь. Приезжай, когда захочешь. Я только прошу тебя писать мне не раз в восемь дней, а чаще. Если нечего писать, пиши только: «Я здорова» или что-нибудь в этом роде; или — телеграфируй также коротко, если забудешь написать письмо.

Я буду тебе сообщать, где я.

Я совсем был готов ехать за границу с тобой и потому волновался; знаю, что билетов достать все меньше вероятности, что в конце мая их придется ждать долго, и т. д. и т. д.

Последние недели стал уже понимать, что не стоит ехать за границу. Доктор позволяет сделать это во второй половине лета. Если ты согласишься тогда, я бы, может быть, поехал.

Пока я до конца мая буду лечиться; что потом, еще не могу решить; может быть, уеду куда-нибудь.

Настоящего дела, как было в прошлом году, у меня нет, все дела мелкие. Потому я устал и не знаю, что делать с собой. Ну, господь с тобой.

А.

Все-таки, напоминаю тебе, что, чем раньше и чем точнее я узнаю о сроке твоего возвращения, тем мне будет легче.

P. S. Если тебе надо поручить мне что-нибудь относительно вещей, сделай это *сейчас же*, потому что я скоро буду все убирать и запирать.

[1] Письмо от 16 мая. См. примеч. к письму № 236.

242

Телеграмма

23 мая 1913. Петербург [1]

Обдумай еще телеграфируй окончательно я рад но за границу скорее позже теперь не знаю А. [2]

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Любовь Дмитриевна ответила 23 мая телеграммой из Житомира: «Приеду вторник утром билеты за границу можешь взять теперь господь с тобой Люба». Она вернулась в Петербург 28 мая, 12 июня Блок с нею уехал за границу.



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК
Фотография, 1912 ⟨?⟩
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

243

Шахматово, 21 августа 1913[1]

Моя милая, я получил от тебя два письма, а сегодня получил телеграмму [2], которую захотел понять также и символически; захотел этого потому, что здесь мне кажется очень странным то, что ты постоянно ездишь в какие-то Бердичевы (точно — глупый сон). Иногда бывает от этого и грустно и тяжело. Мне и кинематограф не особенно нравится, надеюсь только, что если эти ⟨...⟩ предложат тебе представить что-нибудь непристойное, ты откажешься [3].

Не думай, что я ворчу или брюзжу, я просто часто думаю об этом, и постоянно думаю о тебе; часто мне кажется диким, почему ты не здесь и не со мной. Мне здесь жить очень хорошо, тихо, я понемногу собираюсь с мыслями, растерянными в паршивой Франции [4], но ничего еще не делаю; все очищаю сад от суши и гуляю. Засуха и жарко, дождь только сегодня пошел. Вот бы ты приехала, мы бы уехали вместе.

Сегодня я отослал исправленную корректуру первых двух действий «Розы и Креста» [5]. Твое письмо о Мейерхольде как-то не произвело на меня впечатления, показалось устаревшим что ли [6]. Мне бы нечего было отвечать ему даже; я совсем не чувствую внутренне его бытия, как художника, и очень боюсь его внешне, так как знаю, что есть в Александринке такой «режиссер». Да еще ты приводишь в письме мнение Вали [7]: Валя, она — Валя и есть, очень милая, но, в самом деле, нельзя же считать серьезно, что она относится к театру.

Ты не думай, что я все это пишу под влиянием злости или какого-либо аффекта. Нет, я просто мысленно пробуждаюсь, и многое возвращается в мою голову, только не возвращаются вовсе все эти странные понятия о том, что есть «новый театр», что есть кризис в сценическом искусстве, что есть разница будто бы в «идеях» разных модных режиссеров, и т. д., и т. д. Точно все это я видел в детстве во сне; сначала это была милая чепуха с мистическими оттенками, потом осталась голая чепуха, потом о ней все режиссеры написали книги, которые начали злить, а теперь... ей богу, все это прошло безвозвратно, и книги, и «опыты», и «студии», и осталось прежнее деление людей на людей с головой и сердцем и людей без сердца и без головы.

Сейчас заходил к нам, гуляя, Ваня, которому я страшно обрадовался, потому что он похож на тебя. Он пообедал; был очень мил и интересен; издает уже четвертую книгу; кажется, что он именно *делает* много [8]. Я его выспросил о Васе [9], который служит на заводе, хотя и недоволен этим; дела его пока благополучны, т. е., переданы из сената в окружной суд, и, следовательно, отложены, а, может быть, прекратятся вовсе; также, о Мусе, которая ездит по собачьим делам в Москву и собирается за границу [10].

По вечерам мы с мамой и тетей занимаемся шарадами, над которыми ты бы хохотала [11]. Мама все почти время чувствует себя плохо, бывают припадки, устает. Много хозяйничает.

Я с каждой почтой боюсь, что меня вызовут в П⟨етер⟩б⟨ург⟩ для театр⟨ально⟩-литерат⟨урного⟩ комитета [12]. Пока еще не было ничего, кроме письма от Ремизова о том, что Терещенко 19-го августа приезжает в Петербург, и о мелочах.

А может статься, что я все-таки скоро поеду — в конце августа или в начале сентября. Все-таки, на душе не очень спокойно. Да и ты, главное, со своими Бердичевыми и кинематографами; — ребячества. Боюсь я, что тебя так ветер носит.

Если бы ты знала, как здесь тихо и хорошо, ты бы приехала. После заграницы ценишь все подлинное особенно.

Зимы не вижу; боюсь; прежде всего, ворочусь — и возникнет «вопрос» о «Розе и Кресте» и о Мейерхольде; вопроса такого *нет*, но он *существует*, вот в чем несчастие! Изволь решать, «да» или «нет» относительно того, что — дым и призрак. Так вот постоянно в *городской* жизни бывает; глупо, нудно, неразрешимо, утомительно и... в конце концов, очень, очень неприятно. Что ты об этом думаешь? Да ты не поймешь, у тебя головка набита Бердичевым и Валей.

22 августа

Сегодня дождливо, все деревья радуются. Господь с тобой, маленькая Бу. Если будут письма (нужные), перешли мне. А то бы сама приехала.

À M-me Henriette Rodgers.

Chère Madame,

Veuillez, Madame, accepter dans votre maison mon petit [illegible], qui Vous aime plus, que moi. J'espère, Madame, que Vous comprenez bien que cette bête sale et mal élevée vaut bien d'être pendu dans la porte d'une boucherie; mais, comme je suis sentimentale (et excellente homme), malgré toutes les guerres et les révolutions je préférerais que Vous lui donniez quelques bonbons, sachant bien que Vous êtes charitable envers les animaux sauvages.

Votre (dévouée) B.

ШУТОЧНОЕ ПИСЬМО БЛОКА НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ ОТ ИМЕНИ Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ БЛОК

Письмо пародирует восторженное отношение Любови Дмитриевны к известной французской актрисе Генриетте Роджерс

Автограф, 1912 г. ⟨?⟩

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

[1] 3 августа 1913 г. Блок с Любовью Дмитриевной вернулся в Петербург из-за границы, 8 августа он уехал в Шахматово, а Любовь Дмитриевна задержалась в Петербурге до 14 августа, когда ненадолго уехала в Бердичев (вернулась в Петербург 22 августа).

[2] Телеграмма из Бердичева от 21 августа: «Еду в Петербург Л ю б а».

[3] В письме из Петербурга от 12 августа Л. Д. Блок сообщала: «...Я приглашена сниматься в кинематографе, и даже не с меня «деньги» берут, а мне дадут — за первый раз 25 (рублей, рублей, а не копеек!)».

[4] Перед отъездом из Парижа в Россию Блок писал матери 12 августа (н. ст.) 1913 г.: «Я сейчас сижу в том самом кафе и за тем самым столом, за которым сидел, когда попал в Париж в первый раз в жизни. Совсем иначе теперь. Париж нестерпим, я очень устал за эти дни; слава богу, с портными все кончено, и завтра днем мы уедем. В пятницу или в субботу будем в Петербурге. Корректуры, конечно, будут посылать в Шахматово, если будут издавать альманах теперь. У меня нет никаких известий из Петербурга. К сожалению, тут на днях было воскресенье, магазины закрывались, и мы поехали в вонючем таксомоторе в Версаль. Все, начиная с пропорций, мне отвратительно в

XVIII веке, потому Версаль мне показался еще более уродливым, чем Царское Село. Возвращались мы через Булонский лес, который весь вытоптан, ибо в демократических республиках буржуа могут, где им угодно, пастись и гадить. 〈...〉 Теперь напишу тебе из Петербурга. Долго мне там делать нечего 〈...〉, так что я скоро приеду в Шахматово» (VIII, 426).

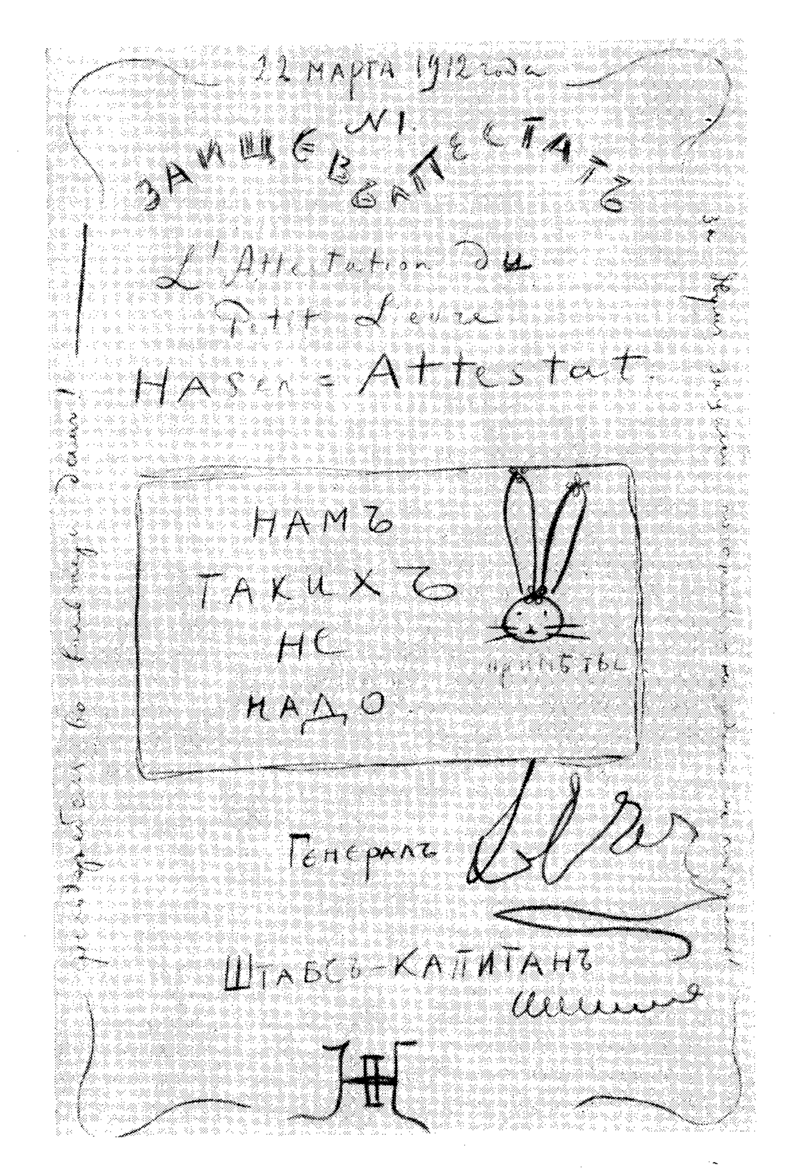
[5] «Роза и Крест» печаталась в первом сборнике «Сирин».

[6] В письме от 12 августа Л. Д. Блок писала: «Мейерхольд же очень, очень просит «Розу и Крест» для Александринского театра; и говорил, и по телефону торопил меня. Просит, чтобы ты позволил ее ставить и в таком случае дал бы ему сейчас же экземпляр, скоро приедет Теляковский, он хочет подготовиться и ему прочесть или показать, уж и не знаю, просить ли и мне тебя об этом,— имею в виду александринских актеров... А М〈ейерхоль〉д производит ужасно хорошее впечатление и на меня и на Валю: он бодр, твердо стоит на своей точке, не хочет размениваться — отказывается от предлагаемых постановок в «миниатюрах». Пребывание в Париже очень его помолодило и вдохновило. Он сам принялся за «студию», которую мы старались устроить в прошлом году, и уже нашел даровое помещение〈...〉 А всё-таки пусть играют «Розу и Крест»—хорошо посмотреть ее со сцены... Совершенной постановки когда еще дождешься. А М〈ейерхоль〉д сейчас «чистый», нет в нем дрязги и будней... Он просит, чтобы ты ему написал» (*Теляковский* — директор императорских театров, *Валя* — В. П. Веригина).

[7] В. П. Веригина.

[8] *Ваня* — брат Л. Д. Блок, Иван Дмитриевич Менделеев (1883—1936), физик-метеоролог и автор ряда философских работ, написанных в духе воинствующего идеализма («Мысли о познании», 1909; «Оправдание истины», 1910; «Метод математики. Логика и гносеология математических знаний», 1913; «От критицизма к этической гносеологии», 1914). Блок в молодости поддерживал с И. Д. Менделеевым дружеские отношения, посвящал ему стихи («Был вечер поздний и багровый...», 1902) и вступал с ним в споры по многим волновавшим обоих философским вопросам. Отголоском этих споров служит обращенное к И. Д. Менделееву стихотворение Блока «Заключение спора» (1903). В зрелые годы Блок был далек от И. Д. Менделеева, который в общественно-политических и литературных вопросах занимал реакционно-националистическую позицию, неприемлемую для Блока (см. примеч. 1 к письму № 160; ср. VII, 110—111). В 1911 г. Блок охарактеризовал И. Д. Менделеева как человека «умного и упрямого». Встречались они редко, но относились друг к другу с интересом. В бумагах Л. Д. Блок сохранилось письмо к ней И. Д. Менделеева, посланное уже после смерти Блока (28 июля 1922 г., из Боблова); оно посвящено характеристике Блока и проливает свет на отношение к нему И. Д. Менделеева. Приводим это письмо полностью:

«Люба, пишу тебе только сейчас — главным образом потому, что только теперь из письма мамы узнал твой адрес. Мне все хотелось сообщить тебе о том чувстве внутренней значительности, глубокой обаятельности личности Саши, которое я всегда испытывал, но которое по большей части скрывал за поверхностью мелких житейских отношений — и которое понял вполне только теперь. Я был всегда как-то уверен, что мы когда-нибудь встретимся и договоримся о главном окончательно, но все откладывал установить эти более глубокие отношения — может быть, до момента, когда моя внутренняя работа, только предчувствуемая в те времена, выяснилась бы для меня самого с достаточной полнотой. Только теперь я понял, как много значило для меня общение с Сашей, его личность, которая ставила перед моей совестью один из критериев отношения к вещам: часто, когда я писал и размышлял, я как-то невольно спрашивал себя — как бы принял это, как бы отнесся к этому Саша, и это чувство останется со мной всегда, ибо это — одно из тех чувств, которые навеки создают нашу собственную душу.— Я не могу здесь излагать подробно, но вот, что мне хотелось бы тебе сообщить из тех многочисленных выводов, к которым я пришел, следуя до конца научному индуктивному методу в области философии: *личность человека неуничтожаема*.— Конечно, не в той наивной форме, как это думают народные верования или популярный спиритуализм, но не менее реально и конкретно — мы жили и будем жить в бесконечной вселенной, и встретим вновь в иных мирах и иных плоскостях бытия своих близких, сохраняя полную тождественность самосознания, полную память о нашем земном бытии. Вот



ШУТОЧНЫЙ «ЗАЙЦЕВ АТТЕСТАТ № 1»,

«Выдан» Блоком Л. Д. Менделеевой-Блок 22 марта 1912 г. с пометами (сбоку): «Фельдфебеля в вольтеры дам!» и «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь!»

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

совершенно неизбежное следствие, к которому обязывает нас внимательное рассмотрение наличных фактов — более научно достоверное — как это ни кажется странным, чем существование внешнего мира или хотя бы чем вращение земли.— Я знаю, вы с Сашей подходили к этим проблемам с совершенно другими методами.— Но важно то, что *все методы* при достаточно глубоком проникновении в дело — здесь сходятся. Действительность не исчерпывается окружающим нас «балаганчиком» и имеет гораздо более глубокие духовные основы. Может быть, тебе интересно узнать, что, следуя самым ортодоксальным научным данным и методам, неизбежно приходишь к полному убеждению реальности духовного мира, убеждению, что за кантовским «миром явле-

ний» скрывается не пустота и не мертвая материя, а всепроникающий психизм. Наша земная жизнь действительно «только сон» — только эпизод бесконечного странствия, и мы все еще встретимся и будем встречаться вечно в иных мирах, в иных порядках бытия. Это — достовернее всего, что мы можем только знать.— О моих личных обстоятельствах, если хочешь, можешь узнать из моего письма к маме, которое, если хочешь, просмотри и, пожалуйста, передай по адресу.— Ив. Менделеев».

[9] *Вася* — младший брат Л. Д. Блок, Василий Дмитриевич *Менделеев* (1886—1922).

[10] *Муся* — младшая сестра Л. Д. Блок, Мария Дмитриевна *Менделеева* (*Кузьмина* (1886—1952). Она увлекалась разведением и изучением охотничьих и сторожевых собак и считалась в этой области крупным авторитетом.

[11] *Тетя* — М. А. Бекетова. О сочинении шарад в Шахматове в августе 1913 г. она рассказывает в своей биографии Блока: «В этот месяц, проведенный в Шахматове в полном уединении, мы развлекались шарадами... Блок увлекался ими совсем по-детски, смеялся, радовался... Уже к чаю приходил он с таинственным видом и немедленно начинал загадывать шараду, сотрясаясь от хохота и сияя от удовольствия. В конце августа приехала на короткое время Любовь Дмитриевна... В это время шарады были в полном разгаре. Любовь Дмитриевна много и весело хохотала над измышлениями поэта. При ней сочинил он длиннейшую шараду в духе романа 30-х годов, которую рассказывал целый день с утра и до вечера, придумывая все новые и новые стильные подробности» (М. А. Бекетова. Александр Блок. Изд. 2. Л., 1930, стр. 190—191).

[12] Блоку предложили войти в состав Литературно-театрального комитета императорских театров. Блок отказался от этого предложения; об отказе его сообщалось в заметке, появившейся в газете «День», 1913, 24 августа.

25 августа Любовь Дмитриевна писала Блоку: «Вчера позвонил Пяст, я подошла, он спросил, не приехал ли ты, сказал, что прочел в газете «День» известие о том, что ты отказался от Литературного комитета при императорских театрах, и огорчился этим». Одновременно Л. Д. Блок подробно сообщала о своей работе в кинематографе, к чему Блок, как видно из его письма, относился скептически: «Сегодня я снималась в кинематографе, и мне было очень интересно и весело, а сейчас вечером приятное, приятное чувство, что «работала» 〈...〉 Я представляла сегодня хорошую деревенскую девушку, обманутую барином, которого она любит. Ездили снимать в Лигово 〈...〉 Оно совсем хорошее, совсем русские березовые рощи, парк большой, старый и заброшенный барский дом с «архитектурой» и полуразбитыми статуями, мраморными скамьями. . . «и семейством премиленьких, белых — ну хоть и не зайцев, но кроликов, в одной из комнат первого этажа, где я играла. Выехали рано утром, вернулась только около пяти. Играть страшно, но очень увлекательно. К сожалению, день был пасмурный и, может быть, ничего не вышло. Как только я сыграла первую картину, все стали вдруг со мной особенно предупредительны и вежливы—это мне придало много смелости для дальнейшего».

244

2 сентября 1913. 〈Москва〉[1]

Маленькая Бу, прости, что я тебя так проводил [2]. Мне очень мрачно от этой торопливости, с которой приходится ехать, ничего не кончив. Дождь идет с твоего отъезда. Ты мелькнула какой-то тенью, ничего не удалось тебе сказать. Я приеду, вероятно, седьмого. Господь с тобой, моя Бу.

[1] Место отправления письма указано на почтовом штемпеле.

[2] Л. Д. Блок 22 августа вернулась из Бердичева в Петербург, в конце августа она на несколько дней приезжала в Шахматово (вернулась в Петербург 1 сентября).

1914

245

1 июня 1914. ⟨Петербург⟩

Люба, я взял себе билет на восьмое июня. Приезжай, уберем все. Поеду, если не раздумаю [1].

Господь с тобой.

А.

[1] 8 июня 1914 г. Блок уехал в Шахматово. Любовь Дмитриевна в это время играла под Петербургом, в Куоккала, в труппе А. П. Зонова. Время от времени она приезжала в Петербург.

246

3 июня 1914. ⟨Петербург⟩

Люба, получила ли ты мое письмо, что я в воскресенье уеду? Приезжай, жду тебя.

Господь с тобой.

А.

247

18 июня 1914. Шахматово

Любушка, я очень обрадовался твоему письму. Живу шахматовской жизнью — перевожу [1], читаю, иногда чищу сад, гуляю. Последнее особенно приятно, потому что думаешь обо многом и вспоминаешь многое. Отдыхаю постепенно.

Я получил письмо от Мейерхольда: барон Дризен артачится насчет «Розы и Креста» [2]. Придется ему писать [3], а потом с ним разговаривать. М⟨ейерхоль⟩д написал мне и сюда и в Петербург, так что, если найдешь его письмо на столе, не посылай мне. А остальные все-таки пришли (если хочешь, распечатай).

Здесь я нашел три тома «Чтеца-декламатора», если хочешь, привезу их тебе.

Напиши мне, как ты выписывала деньги в Guéthary [4]: с чеком, или без? Мож⟨ет⟩ быть, мне понадобится, а чеков у меня нет.

Вчера Арина [5] была в Боблове. Ваня [6] собирается к нам. Анна Ивановна [7], по ее словам, велела, как только ты приедешь, известить ее. У них опять рязанец с женой и ребенком, вместо Ефима [8]. Муся [9] тоже в Боблове.

Францу [10] было одно время совсем плохо, а теперь он в санатории в Крыму и немного поправляется.

Жаль, что тебе играть нечего. Я живу в твоей комнате. Если ты вздумаешь приехать, я тебе обрадуюсь и переселюсь в свою. Здесь почти все время засуха и жара, были небольшие грозы. Завидую тебе, что ты все-таки купаешься.

Господь с тобой, маленькая Бу.

А.

Вообще-то мне очень грустно.

[1] Блок 13 июня 1914 г. приступил к переводу «Легенды о св. Юлиане Страннопримце» Г. Флобера. Перевод этот остается неопубликованным.

[2] В. Э. Мейерхольд собирался ставить драму «Роза и Крест» в Александринском театре. Блок имеет в виду затруднения, которые драма его встретила в комитете цензуры; в частности, возражения вызывало самое заглавие драмы. В тот же день, 18 июня, Блок писал В. Э. Мейерхольду: «Спасибо Вам за все хлопоты и вести. Письмо Ваше я получил уже в Шахматове. Не очень все это весело. Сейчас пишу Дризену, как Вы советуете, только не могу назначить приезд на июль; я думаю, можно отложить совещание с Дризеном и до осени, если мне не удастся вернуться летом. Из трех поправок могу согласиться только на одну. «Что чернеет на чреслах у него?» Можно сказать: «Что чернеет на груди у него?» Особенно заглавия пьесы изменить невозможно. Поговорим» (ГБЛ, ф. 644).

[3] Приводим письмо Блока к цензору драматических произведений барону Н. В. Дризену от 18 июня 1914 г. (Рукописное отделение Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина): «Глубокоуважаемый Николай Васильевич. В. Э. Мейерхольд известил меня о Вашем любезном приглашении зайти в Комитет для переговоров об изменении некоторых мест в моей пьесе «Роза и Крест». К сожалению, я уже в деревне, но, если Вы не откажете принять меня осенью, я немедленно по возвращении явлюсь к Вам. Позвольте принести Вам глубокую благодарность за Ваше любезное предупреждение и просить Вас не скреплять пока пьесы Вашей подписью. Примите уверение в моем совершенном уважении и преданности Вам. Александр Блок».

[4] В местечке Гетари (южная Франция) Блоки жили летом 1913 г.

[5] Работница в Шахматове.

[6] И. Д. Менделеев.

[7] А. И. Менделеева.

[8] Работник в Боблове.

[9] М. Д. Менделеева.

[10] Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух.

248

13 июля 1914. ⟨Шахматово⟩

Любушка, напиши мне о себе, о театре; с кем ты видишься, была ли в Петербурге, знаешь ли о тамошних баррикадах [1].

Здесь не прекращается засуха и жара. По всей губернии, и, особенно, по нашему уезду, ходит сибирская язва, а прививок не хватает. Умерла Александра Григорьевна Коваленская [2], о чем телеграфировал Сережа [3]. Гостей у нас не было. У Франца, который все еще в Ялте, определилось окончательно хроническое воспаление почек. Ему в Крыму скверно, мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной, маме она не понравилась, а в Шахматове Францу жить нельзя. По всей вероятности, скоро придется ему выходить в отставку. Свою работу я понемногу делаю. Все время были разговоры о санаториях, сборы в Крым, квартирный вопрос; пока мама останется все-таки на прежней квартире.

Вот вкратце все невеселые сведения. Хорошо то, что здесь бывает необыкновенно красиво, и когда думаешь о чем-нибудь хорошем. Напиши мне. Господь с тобой.

А.

[1] В июле 1914 г. в Петербурге происходили массовые стачки на Путиловском заводе, сопровождавшиеся столкновениями бастующих с полицией.

[2] Александра Григорьевна *Коваленская* (1829—1914)— сестра бабушки Блока, Е. Г. Бекетовой, детская писательница; Блок в юности не раз гостил в ее усадьбе Дедово.

[3] Сергей Михайлович Соловьев — внук А. Г. Коваленской по матери.

Цѣна 5 коп.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

Тенишевскаго Училища

(Моховая, 33).

ПРОГРАММА.

7, 8, 9, 10 и 11-го Апрѣля (вечеромъ),

8 и 9-го Апрѣля (утромъ).

I

Въ 1-й разъ:

НЕЗНАКОМКА

пьеса въ трехъ видѣніяхъ Александра Блока.

Незнакомка — г-жи Бугаева, Клепинина, Филаретова (въ очередь).

Голубой — гг. Анго*) Горичъ (въ очередь). *) Голубев

Звѣздочетъ — г. Мгебровъ.

Поэтъ — гг. Горичъ, Кузьминъ-Караваевъ.

Посѣтители кабачка и гостиной: г-жи Л. Блокъ, Громанъ, Семенова, Трепалина, Ячменькова, Фетисова; гг. Александровскій, А. Бонди, Брейдбартъ, Буторинъ, Григорьевъ, Гульельми, Ковальскій, Кузьминъ-Караваевъ, Лингъ, Липскій, Оленинъ, Покровскій, Сергѣевъ Евг., Титовъ.

Два дворника: гг. Андреевъ, Ковальскій.

ПРОГРАММА ПЕРВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЬЕСЫ БЛОКА «НЕЗНАКОМКА»
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ТЕНИШЕВСКОГО УЧИЛИЩА В ПЕТЕРБУРГЕ (1914 г.)

Альбом Е. М. Мунт

Центральный театральный музей им. А. А Бахрушина, Москва

249

16 июля 1914. ⟨Шахматово⟩

Любушка, я послал тебе письмо на прежнюю дачу и в тот же день получил твое. Надеюсь, ты мое получишь. Мы ждем теперь письма от Франца, который должен решить, надо ли менять квартиру; он прислал об этом пока не совсем определенную телеграмму, так как, по-видимому, война [1] заставляет его еще более думать об отставке. Может случиться, что мы с мамой поедем к августу в Петербург искать квартиру. Тебе, должно быть, нельзя будет теперь заняться прислугой и ремонтом у нас, но, если бы можно было, я предпочел бы жить у себя, а не у мамы. Напиши мне, что ты об этом думаешь.

Жаль, что театральной практики у тебя нет [2]. Господь с тобой.

А. [3]

[1] Война началась 19 июля, но неизбежность ее ощущалась заранее.

[2] Л. Д. Блок писала 12 июля: «Я поживаю недурно, хотя все еще работы нет, мы пребываем в кабарэ. Зато играем при полных залах и сборы очень хорошие: прошлое воскресенье в один вечер мы играли и в Куоккале и Териоках и собрали 1200 р.— в один вечер! Жалованья мне платят 60 р., я с гордостью на них теперь живу⟨...⟩ Сегодня у нас Чеховский вечер с участием Чуковского; я только читаю стихотворение Бунина «Художник», очевидно относящееся к Чехову; мне его дал Чуковский».

[3] Приводим выдержки из писем Л. Д. Блок, передающие атмосферу предвоенных дней: «Вчера я провожала Кузьмина-Караваева в Житомир — не успел он отслужить, как опять в полк, из-за мобилизации; на этот раз к отцу, в 200 верстах от австрийской границы; не успеют объявить войны, как они уже будут в Австрии, на разведках. Война уже очень чувствуется здесь, по Финляндской дороге усиленно передвигаются войска... Хотя все-таки есть возможность, что войны не будет... все державы только хотят довести свою боевую готовность до последней степени, чтобы начать делить Австрию, на что идет и Германия, уступая Эльзас и Лотарингию Франции, получая всю немецкую Австрию, ну а дальнейшее деление само понятно. Не знаю, интересует ли тебя все это,— мы здесь прямо рвем газеты и читаем с начала до конца. Манифестации и подъем в П⟨етер⟩б⟨ур⟩ге не «Новое время» выдумывает — о нем говорят все, кто был эти дни в городе; я же видела только «манифестации» мальчишек и хулиган» (письмо от 18 июля); «Вот уже и война объявлена; говорят, скоро Финляндию объявят на осадном положении и всем надо будет уехать в 48 часов, я приеду тогда в Шахматово. Петербург окапывают и укрепляют. Часть гвардии (м⟨ежду⟩ пр⟨очим⟩, 2-ю див⟨изию⟩) провезли мимо нас в Финляндию, но это по ночам. Днем как будто ничего и не заметно, только очень угнетенное настроение в воздухе, но торжественное; больше не поют на манифестациях, а ночью, когда проезжают запасные, отчаянно кричат «ура» и плачут. Наш спектакль сегодня отменила полиция⟨...⟩ Вообще каждый день приносит столько нового, что не стоит загадывать» (письмо от 20 июля).

250

Телеграмма

20 июля 1914. Петербург [1]

Мы с мамой в Петербурге живу у себя приезжай Саша [2].

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Блок вернулся в Петербург 20 июля, сразу после объявления войны. В записной книжке отмечено: «20 июля. Манифест» (ЗК, 234).

251

10 сентября 1914. ⟨Петроград⟩

Моя милая, я здоров и занимаюсь литературой, насколько могу; и прислуга очень хорошая. У мамы до сих пор не был — с 30 августа. Так без тебя [1] все неблагополучно, и грустно и тревожно, что все как-то живешь «пока» и думаешь, что что-то наступит другое.

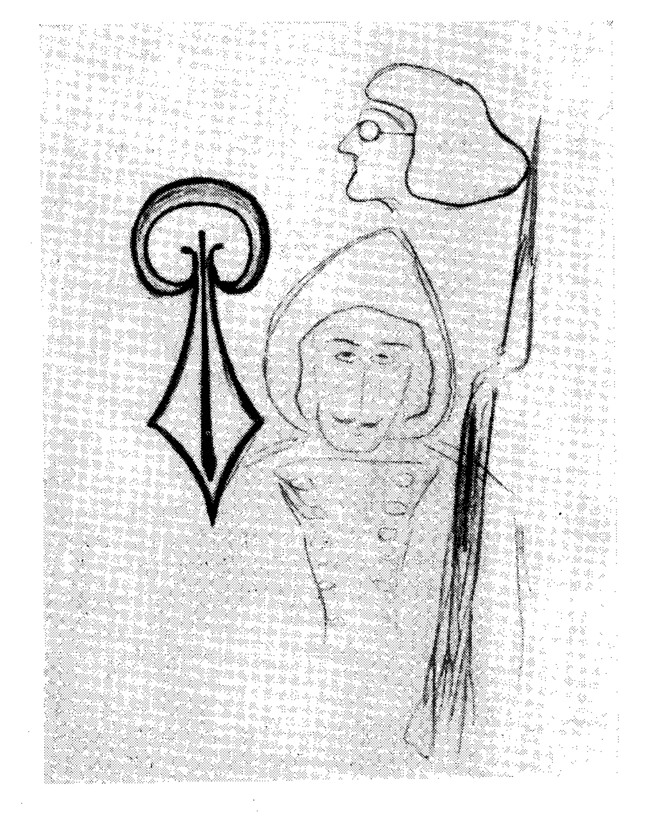
Напиши мне, не надо ли тебе чего-нибудь. Например, у тебя нет с собой ни одной книги. Может быть, посылать газету? Тогда я тебе подпишусь на «Русское слово». Если бы все это могло доходить, я бы сейчас же послал.

В твоей телеграмме из Киева, очевидно, спутали главное слово, так что я не знаю, в каком направлении вы уехали [2].

Пока получаю от тебя известия. Пиши, ты знаешь, как мне надо, господь с тобой, милая.

А.

ШУТОЧНЫЙ РИСУНОК БЛОКА К ДРАМЕ «РОЗА И КРЕСТ»
(Бертран и Изора)
Центральный архив литературы и искусства, Москва



[1] Л. Д. Блок вскоре после начала войны зачислилась в сестры милосердия; 22 августа она была назначена в 5-й Кауфмановский госпиталь, организованный на средства Е. М. Терещенко с семьей, и 3 сентября отправилась с госпиталем в расположение Юго-Западного фронта, в Галицию.

[2] Текст этой телеграммы (от 8 сентября): «Доехала хорошо смотрела город еду дальше к Кеве* часто пишу господь с тобой Л ю б а».

252

16 сентября 1914. ⟨Петроград⟩

Милая, завтра твои именины, поздравляю тебя и хочу тебя окрестить. Я не писал раньше поздравления, писал вообще только одно письмо (10 сент⟨ября⟩), потому что мало надеюсь, что ты получишь. От тебя я получил семь известий (писем и телеграмм), последнее — вчера (когда вы свернули на узкоколейную дорогу). Пиши, пиши, я о тебе думаю постоянно и постоянно с тобой. Я много занимаюсь в Академии наук [1], и это меня спасает. Стихи тоже пишу. Не знаю, где ты. Писать Терещенке пока погожу, потому что он, говорил Ремизов, должен был тоже выехать из Киева к своим отрядам [2]. Господь с тобой, милая моя. У тебя в комнатах очень хорошо — бело и тихо, я туда каждый день хожу.

А.

[1] Блок был занят подготовкой к изданию «Стихотворений Аполлона Григорьева». В записной книжке Блока под 13 августа 1914 г. записано: «Ап. Григорьев — начало мыслей» (ЗК, 236).

[2] М. И. Терещенко на свои средства организовал несколько санитарных отрядов. Блок хотел наладить через Терещенко переписку с Любовью Дмитриевной.

* Так в тексте.

253

21 сентября 1914. ⟨Петроград⟩

Теперь я знаю, где ты, милая, получил от тебя много интересных писем[1], но все еще только от 12 числа, в день твоего приезда.

Я все более погружаюсь в свою работу [2] и нахожу в ней единственное прибежище. Сижу по нескольку часов в день в Академии наук.

Терещенке я написал в Киев несколько дней тому назад [3], но ответа от него не получаю. Он, по слухам, уехал в действ⟨ующую⟩ армию.

17-го числа пришла открытка на твое имя с поздравлением от П. Ивановой (массажистки?).

Мама нездорова, у нее болит спина. Сегодня я поеду к ней. У меня столько работы, что я сегодня чувствую воскресенье.

Мало кого вижу, много ухожу в себя.

Господь с тобой, милая. А.

[1] Несколько позже, в ноябре 1914 г., Блок сделал извлечения из «военных» писем Л. Д. Блок и опубликовал их (с цензурными купюрами) в журнале «Отечество» под заглавием «Отрывки из писем сестры милосердия».

[2] Над подготовкой к изданию «Стихотворений Аполлона Григорьева».

[3] Письма Блока к М. И. Терещенко не выявлены.

254

23 сентября ⟨1914. Петроград⟩

Милая, от тебя нет писем очень давно, это меня беспокоит. Когда тебе некогда, ты пиши всего одно слово, чтобы я знал только о тебе. Хорошо, если бы ты от времени до времени телеграфировала.

Жизнь моя так однообразно идет, что мне нечего тебе рассказывать. Одно есть забавное,— что рядом с нами поселился Ершов [1].

В «Рус⟨ском⟩ слове» в воскресенье 21/IX были мои стихи: одно — «военное», а другое — русское, тебе известное [2]. Там же я прочел, как у вас стреляли в наших солдат из окон и испугался за тебя [3].

Снимок с вашего отряда помещен в журнале «Мир» (№ 38), но там нельзя никого узнать, я только догадываюсь, где ты (пятая среди сестер в третьем ряду), а, может быть, ошибаюсь. В «Огоньке» не было.

Господь с тобой, моя милая. А.

[1] Иван Васильевич *Ершов* (см. примеч. 4 к письму 213).

[2] В газете «Русское слово» № 217 от 21 сентября 1914 г. были напечатаны стихотворения Блока: «Петроградское небо мутилось дождем...» (под заглавием: «На войну») и «Грешить бесстыдно, непробудно...» (под заглавием: «Россия»).

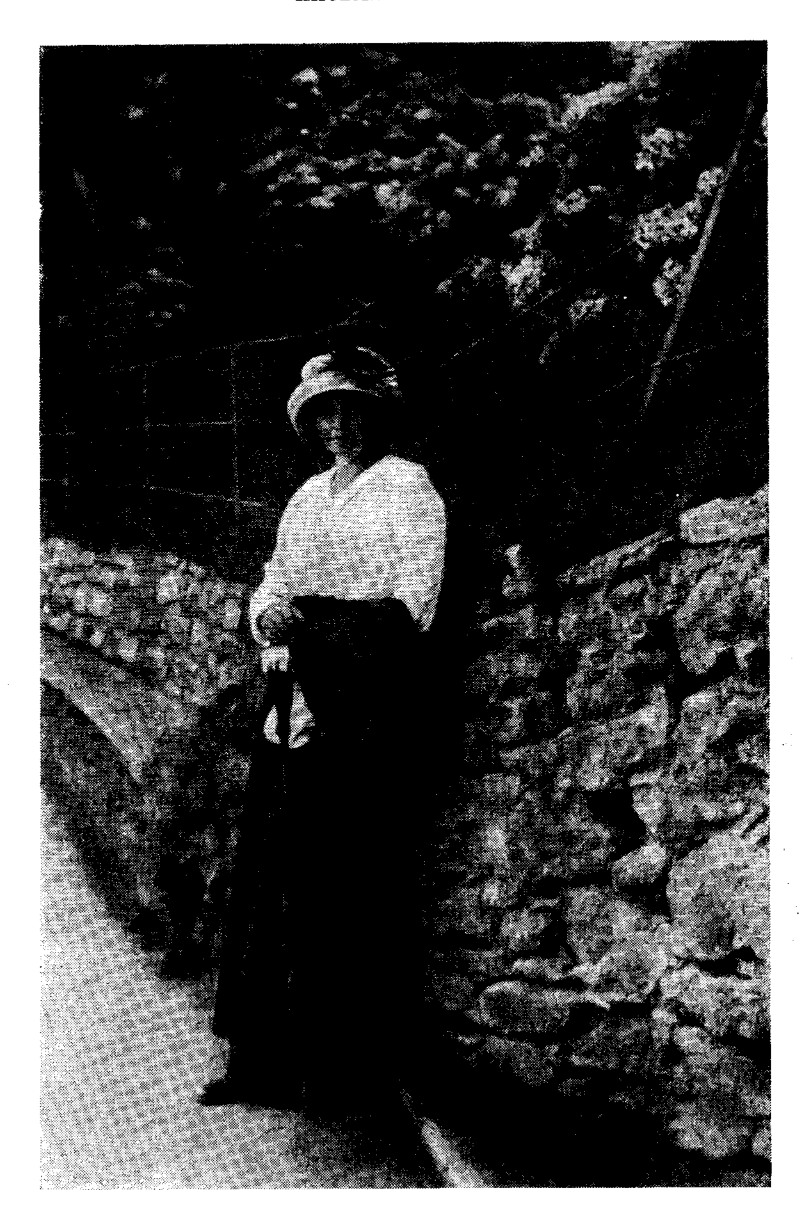
[3] Блок имеет в виду заметку «Стрельба по русским солдатам во Львове», в которой сообщалось, что 14 сентября какие-то злоумышленники стреляли из окон домов по русским солдатам.

255

29 сентября 1914. ⟨Петроград⟩

Милая, вчера только я получил твое письмо от 19-го. Начинал сильно бояться за тебя. Письмо шло 9 дней! Если тебе не будет времени написать подробно, то пиши, хоть иногда, короткие записки — «здорова», или такое что-нибудь. Иначе страшно беспокойно. Если бы ты писала раз в неделю подробно (вчерашнее письмо — страшно интересное), а другой раз — записку с обозначением числа, мне было бы легче.

Я тебе писал в последний раз 23-го. За это время о тебе справлялись: Врасская [1] (сказала мне, что «очень подружилась» с тобой), Веригина;



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК В БИАРРИЦЕ
Фотография, 1913
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

О. М. Мейерхольд [2] просила тебе поклониться и сказать, что часто вспоминает о тебе. Соловьев [3] справлялся. Вчера у меня обедали Мейерхольд и две собаки loup *, пришедшие с ним от m-me Сувориной [4]. Обедали более собаки, чем мы.

В студии, сказал Мейерхольд, налаживаются занятия [5]; многих прежних нет, особенно женщин — поступили в сестры, но появились новые. Собираются 4 раза в неделю, читают Соловьев (который завтра придет ко мне) и С. Бонди [6]. Бонди читает о стихосложении, более широко, чем

* Волк (*франц.*).

Гнесин [7]; не всегда вдаваясь в музыку, разбирает ритмы разных поэтов. Все это я выспросил у Мейерх⟨ольда⟩ для тебя.

Я все время занимаюсь Ап. Григорьевым. Видел Пяста, иногда — Дельмас [8]. Говорю со многими по телефону. Франца пошлют наверное, это вопрос только времени; вероятно, скоро [9]. Я иногда езжу в Петергоф [10], там у дворцов необыкновенная грусть и красота. Мама написала тебе только одно письмо, и то — плохое, говорит она; не умеет тебе писать.

Ответа от Мих⟨аила⟩ Ив⟨ановича⟩ [11] все еще нет, так что я пишу тебе по-прежнему. Пиши, милая, без твоих писем бывает иногда особенно трудно. Господь с тобой.

А.

30 сентября

Вчера не успел опустить письма. Посылаю сегодня. Господь с тобой, милая.

[1] Варвара Степановна *Врасская* (Стахова) — драматическая актриса; служила вместе с Л. Д. Блок сестрой милосердия.

[2] Ольга Михайловна *Мейерхольд* (Мунт) (1874—1940)— жена В. Э. Мейерхольда.

[3] В. Н. Соловьев.

[4] Анна Алексеевна *Суворина* (Мясоедова-Иванова)— драматическая актриса. Выступала в это время с концертными программами, которые в качестве режиссера подготавливал В. Э. Мейерхольд.

[5] На второй год своего существования студия В. Э. Мейерхольда расширила программу своих занятий (см. Н. Волков. Мейерхольд, т. II. М.— Л., 1929, стр. 362—372).

[6] О В. Н. Соловьеве и С. М. Бонди см. примеч. к письму 210.

[7] Михаил Фабианович *Гнесин* (1883—1957)— композитор, педагог и музыкальный деятель.

[8] Любовь Александровна *Дельмас* (Андреева) (1879—1969) (оперная актриса, исполнительница роли Кармен в опере Бизе. Блок познакомился с Л. А. Дельмас в конце марта 1914 г.; к ней обращен его стихотворный цикл «Кармен» и ряд других стихотворений 1914—1920 гг.

[9] Речь идет об отъезде отчима Блока — генерала Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух в действующую армию.

[10] В Петергофе были расположены части, которыми командовал Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух; Блок ездил туда к матери.

[11] М. И. Терещенко.

256

Телеграмма

5 октября 1914. ⟨Петроград⟩ [1]

Телеграмму получил спасибо тебе все благополучно Саша [2]

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Ответ на телеграмму из Львова от 5 октября, в которой Л. Д. Блок сообщала свой новый адрес и просила прислать ей газеты.

257

6 октября 1914. ⟨Петроград⟩

Милая ты моя, сейчас я получил твое письмо от 28 сентября, а вчера телеграмму. Напрасно ты думаешь, что «бубнишь все про одно» [1]. Только это и интересно теперь, по-настоящему. Это — единственное, что связывает людей. Для меня это, кроме всего, еще потому на первом месте, что касается тебя.

Витебскій Городской Театръ

Полный ансамбль Петербургской труппы „Театра Драмы“
Дирекція и режиссура Вс. Э. Мейерхольдъ и А. Р. Унгернъ.

Въ среду 20-го февраля
представлено будетъ

I.

ЭЛЕКТРА

Трагедія въ двухъ частяхъ Гуго фонъ Гофмансталя, пер. В. Пяста и В. Лачинова

Дѣйствующія лица:

Клитемнестра — — — — Л. Д. Блокъ
Электра } дочери ея — — Н. Н. Волохова
Хризотемида } — — В. П. Веригина
Эгистъ — — — — — К. А. Давидовскій
Орестъ — — — — — А. А. Голубевъ
Воспитатель Ореста — — — А. И. Зоновъ
Старый слуга — — — — К. Э. Гибшманъ

II.

АНТИЧНЫЕ ТАНЦЫ

Исполнитъ АДДА КОРВИНЪ

I. отдѣленіе.

1) а) Призывъ.
b) Плачъ надъ порабощенной Греціей
c) Юноша оставляетъ свою возлюбленную и отправляется въ далекій путь къ морямъ
Дѣвушка тоскуетъ по своемъ возлюбленномъ.
Музыка L. A. Bourgault-Ducoudray (Trente mélodies populaires de Grèce et D'orient.).

2) Дочь Сатаны (три вариаціи)
Морская царевна
Хороводъ лѣсныхъ нимфъ въ лунную ночь
Музыка Ребикова (Les rêves)

АНТРАКТЪ

II. Отдѣленіе.

1) а) мазурка } муз. Ребикова
b) Миніатюра }

2) Preludes, муз. Ребикова
a) Vivace.
b) Appassionato
c) Misterio

3) Prelude, муз. Шопена (op. 28) Andantino.

Постановка Вс. Э. Мейерхольда.
Декораціи К. К. Костина

Начало въ 8 час. веч.

Четвергъ 21 ГАДДА ГАБЛЕРЪ, драма въ 4 д. Ибсена

Пятница 22 ПОБѢДА СМЕРТИ, трагедія въ 3 частяхъ Ѳеодора Сологуба.

Суббота 23 спектакль Шолома Аша: 1) СЪ ВОДНОЙ (Давидъ) 2) ГРѢХЪ (эпилогъ къ «Давиду»)

Воскресенье 24 послѣдній спектакль, новая пьеса Гауптмана ЗАЛОЖНИЦА КАРЛА ВЕЛИКАГО, трагедія въ 4 д.

Дирекція Вс. Э. Мейерхольдъ и Р. А. Унгернъ.
Администраторъ М. А. Михайловъ.

Печ. разр. Тип. Насона и Б. Неймана

АФИША СПЕКТАКЛЯ «ЭЛЕКТРА» ПО ПЬЕСЕ Г. ГОФМАНСТАЛЯ С УЧАСТИЕМ Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК В РОЛИ КЛИТЕМНЕСТРЫ

(Витебск, 20 февраля 1913 г.)

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Боюсь, как бы ты не устала слишком. Думаю постоянно о тебе — напряженно думаю.

Сейчас я выхлопотал у Руманова [2] «Рус‹ское› слово» для тебя. Напиши мне, когда получишь и если получишь. Я хотел подписаться, но так—вернее. Думаю, что эта газета, во-первых, ближе немного (мож‹ет› быть, из Москвы почта идет скорее), во-вторых — дух ее хороший.

С неделю назад у меня был Соловьев [3]. Странный он человек. Я после него чувствую себя физически больным. Сидит он до тех пор, что приходится попросить уйти, машет руками перед лицом и болтает, путая слова, о десяти разных предметах в минуту. Вместе с тем он хороший, русский, несчастный довольно. Между прочим, он собирался тебе писать и говорил, что забыл передать тебе от матери складень, который сохранил кого-то в 12-м, 55-м и 77-м годах [4].—Они с Мейерхольдом и Ю. Бонди сочинили военную пьесу. Долго рассказывал: так себе, кажется, пьеса [5].

О К.-К. я тоже не знаю ничего, хотя за газетами слежу очень, и, между прочим, «с этой точки зрения» (прочитываю списки раненых) [6].

Бываю у мамы в Петергофе и она у меня. Занимаюсь Ап. Григорьевым. Больше все один, конечно; чувствую войну и чувствую, что вся она — на плечах России, и больнее всего — за Россию, а остальные — бог с ними — им бы только выпутаться из своих бед, а для нас они пальцем не шевельнут [7]. Люди знающие подтверждают это.

Господь с тобой, милая.

А.

Пиши, твои письма — всего важней и нужнее. Я тебе писал уже довольно много, верно — получишь зараз.

[1] Л. Д. Блок в своих письмах подробно описывала обстановку, окружавшую ее в военном госпитале.

[2] О Руманове см. примеч. 4 к письму № 193.

[3] В. Н. Соловьев.

[4] То есть во время больших военных кампаний — Отечественной, Севастопольской и Русско-турецкой.

[5] Имеется в виду сценарий военно-патриотического представления «Огонь» в 8 картинах с апофеозом (напечатан в журнале «Любовь к трем апельсинам», 1914, № 6/7).

[6] К. К. Кузьмин-Караваев в качестве вольноопределяющегося находился на фронте при своем отце — генерале. Л. Д. Блок жаловалась, то ничего не знает о судьбе К. К. Кузьмина-Караваева, а в письме от 14 октября сообщала Блоку: «К.-К. нашел меня и был у меня в госпитале. Это было 5-го. Их полк понес мало потерь, но лошади все замучены, и потому их поставили верстах в 40 от Львова на отдых и поправку. Они обошли П‹еремышль?›, были в Карпатах, все время в соприкосновении с австрийцами, но без крупных стычек. К. похудел очень, но загорел, и бодрый у него, военный вид. Отец его бережет, но все же посылал с опасным донесением ночью под огнем и в свете прожекторов и ракет. Меня отпустили, и я провела день с ним и его отцом, обедали в ресторане и были в чудном кинематографе!»

[7] Ср. в записной книжке: «*6 октября.* Последний срок представления в «День» отчета о своих чувствах, по возможности, к Бельгии, в стихах или в прозе. Я же чувствую только Россию одну» (ЗК, 242).

258

11 октября 1914. ‹Петроград›

Моя милая, я боюсь, что ты все еще не получаешь писем. Прошлое письмо я послал тебе с указанием места, но потом пошел к нескольким военным цензорам, и все они не советовали указывать. Пока еще распо-

ряжений о том, что можно писать, указывая место, нет. Пишу по-прежнему, иначе, боюсь, не дойдет.

«Рус⟨ское⟩ слово» тебе пошлют должно быть с двумя адресами (2 экземпляра). Если дойдут оба, тем лучше, у вас найдется, кому читать.

На днях я хочу попробовать послать тебе каких-нибудь журналов с картинками.

Мама и Франц скоро переедут сюда из Петергофа.— На днях звонила мне Веригина, справлялась о тебе. Муж ее поправляется.

Я продолжаю заниматься в библиотеке; печатаю стихи в журналах и газетах.

Пиши почаще. Сегодня опять уже шестой день, как нет письма.

Господь с тобой.

А.

259

13 октября ⟨1914. Петроград⟩

Моя милая, вот тебе всякие глупости от мамы и от меня. Это «оказия» — через маминых петергофских знакомых Раевских.

Сегодня, покупая у Вольфа [1] книги, я встретил Евреинова [2], который мне рассказал, что ты имела большой успех, когда пела частушки [3], и потом все их распевали в Куоккале. А ты мне этого и не рассказала.

Ты будешь получать, надеюсь, «Русское слово». Пишу тебе нередко. Пишет также мама, тетя [4], Веригина, кажется,— Соловьев [5].

Я встретил Елиз⟨авету⟩ Ив⟨ановну⟩ Терещенко. Мих⟨аил⟩ Ив⟨анович⟩ [6] на передовых позициях на Сане. Кто-то из уполномоченных К.К.[7] ранен.

Встретил Н. П. Бычкова [8]. Он уже ходит. Поскромнел как-то, переходит в автомобильную команду.— Ангелина [9] получила крест и работает здесь, в Обуховской больнице. Милая, пиши почаще, сегодня неделя, как нет вестей от тебя. Господь с тобой.

А.

[1] *Вольф* — книготорговая фирма.

[2] Николай Николаевич *Евреинов* (1879—1953)— драматург, режиссер и театровед, с 1925 г. жил во Франции.

[3] Летом 1914 г. в куоккальском театре.

[4] М. А. Бекетова.

[5] В. Н. Соловьев.

[6] М. И. Терещенко.

[7] Общества «Красный крест».

[8] Муж В. П. Веригиной.

[9] Сестра Блока Ангелина Александровна; она тоже работала сестрой милосердия.

260

15 октября ⟨1914. Петроград⟩

Милая, сейчас получил твое письмо. Наверно, ты отдыхала недолго и у тебя опять много раненых.

Сейчас я звонил к швейцару на Захарьевскую [1] и узнал, что Муся [2] уже недели две благополучно вернулась из-за границы, а А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ приехала сегодня из Боблова.

13-го мы с мамой послали тебе ящик с разными игрушками. Он должен приехать с поездом военного министерства.

Я продолжаю сидеть в Ак⟨адемии⟩ наук. Здесь уже мокрый снег.

Странно и грустно, что ты не получаешь моих писем. И твои редко — сегодня только на 9-й день пришло, хотя оно отправлено отсюда (то, которое ты передала едущему сюда господину).

Господь с тобой, милая.

А.

Попробую опять писать «Львов» [3].

[1] На квартиру А. И. Менделеевой.

[2] М. Д. Менделеева.

[3] По условиям военного времени, в письмах, адресованных в действующую армию, нельзя было указывать названия населенных пунктов.

261

19 октября 1914. ⟨Петроград⟩
Воскресенье

Милая, когда же ты получишь мои письма, газеты и ящик с глупостями?

Сегодня ночью мы провожаем Франца [1]. Он уходит с эшелонами. Мама поселилась уже здесь.

Твои письма страшно редко приходят.

Господь с тобой. Целую тебя. Скучаю о тебе.

А.

[1] Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух, назначенный командиром дивизии, уезжал в действующую армию.

262

26 октября ⟨1914. Петроград⟩

Милая моя, прошли ли твои ножки? Получила ли ты ящик?

У меня много и дел, и дум, и людей вокруг, и бывает всякое; бывает как-то весело и приходят надежды на будущее. Этому помогают прекрасные вести с войны за эту неделю.

Несколько дней я был простужен и сидел дома. С мамой вижусь часто. Франц пишет с дороги бодрые письма. Может статься, что вы с ним увидитесь.

Я по-прежнему все не знаю, как тебе писать и когда дойдет письмо, потому не пишу подробностей жизни. Да очень трудно писать об этом, хочу только, чтобы ты знала общее.

Ну, господь с тобой, милая, целую тебя.

А.[1]

[1] К этому письму была приложена вырезка из газеты «Биржевые ведомости» от 26 октября 1914 г.— стихотворение Блока «Последнее напутствие».

263

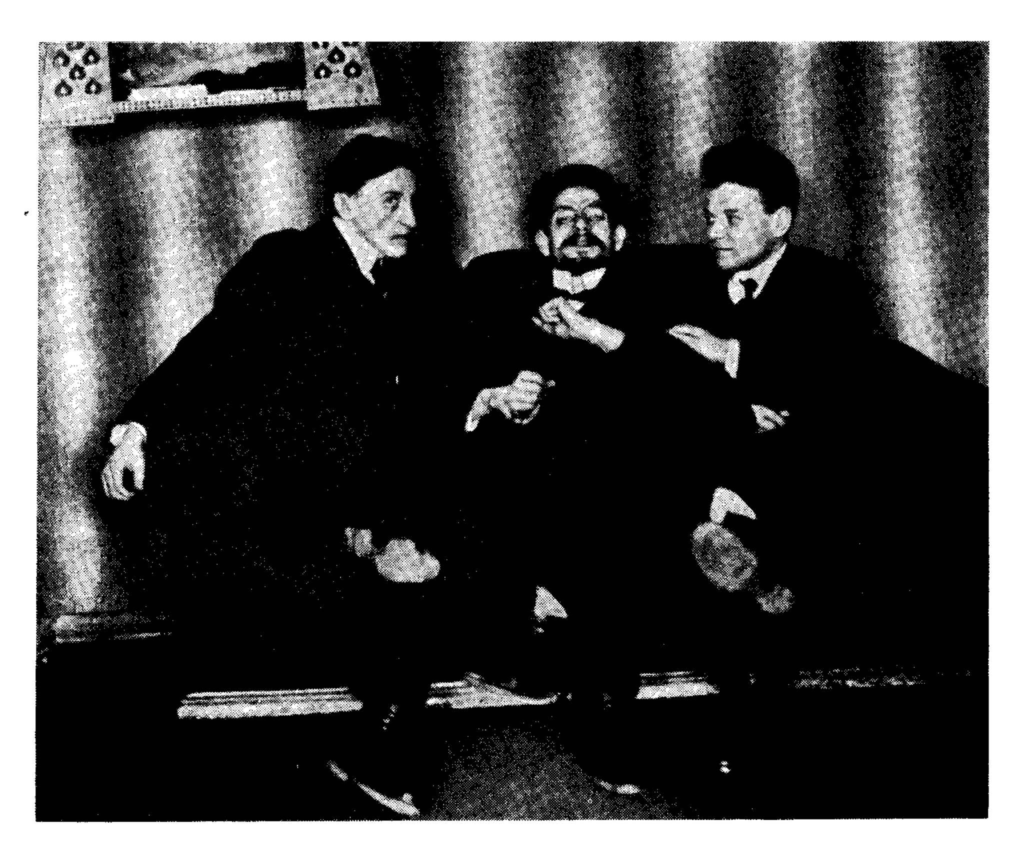
28 октября ⟨1914. Петроград⟩

Милая моя, посылаю это опять через маминых знакомых.

Не надо ли тебе денег или чего-нибудь теплого, или чего-нибудь из твоих вещей, белья или платья? Вообще, что бы ты хотела, сейчас же мне пиши. Письма от тебя нет опять восьмой день. Прошлое письмо шло через цензуру, было разрезано, да еще пробито, так что трудно читать.

Пиши, пиши мне. Телеграмму пришли. Господь с тобой, милая.

А.



БЛОК В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «СИРИН»
Фотография, 1913—1914
Центральный архив литературы и искусства, Москва

264

3 ноября ‹1914. Петроград›

Милая, я получил два твои письма — от 24 и 26 окт‹ября›. Очень странно, что ты не получаешь ящика, я думаю, что он лежит где-нибудь в городе, и его не доставляют к вам из-за массы посылок. Он приехал с поездом военного министерства (если приехал). Я уже говорил об этом Н. Б. Раевской, она справится. В ящике есть и журналы с картинками, м‹ежду› пр‹очим›, единственный заграничный модный, который был у Вольфа. Только «Les Samedi de la femme» [1] я упустил из виду, к следующей оказии достану, что можно. Тогда же пришлю свои стихи [2]. Недавно опять поехал к тебе маленький пакет, там только газеты («День»), журналы и письмо. Ящик был отправлен скоро после 13 октября, а посылка — после 28 октября.

Я купил группу госпиталя у Буллы [3]. Там ты вышла очень хорошо. Прилагаю плохое воспроизведение.

Встретил Анну Ивановну [4] на Невском, она много мне рассказала; у них все благополучно, ты знаешь, вероятно, что Муся — в Георгиевской общине [5], а Ваня — в Боблове. Про Васю я почему-то не спросил. Анна Ивановна тебе пишет часто.

Ф‹ранц› [6] уже прошел куда-то через вас, вестей оттуда что-то нет.

Я постоянно вижусь с мамой. Мы были с ней в «Снегурочке» [7] (в Музыкальной Драме). Дельмас пела Леля. Бывают у меня — она и Е. Ю. К.-К. [8]

Кроме того, я вижусь и говорю с очень многими людьми. Живу очень тревожно.

Господь с тобой, милая моя. А.

[1] «*Les Samedi de la femme*»— французская газета, которую Л. Д. Блок просила высылать ей.

[2] Любовь Дмитриевна просила Блока прислать ей третий том его стихотворений.

[3] Карл Карлович *Булла* (1853—1929) и Виктор Карлович *Булла* — владельцы фотографии.

[4] А. И. Менделеева.

[5] Георгиевская община сестер милосердия (в Петрограде), где работала М. Д. Менделеева.

[6] Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух. В письме от 31 октября Л. Д. Блок сообщила, что мимолетно встретилась с ним во Львове.

[7] «*Снегурочка*»— опера Н. А. Римского-Корсакова.

[8] Елизавета Юрьевна *Кузьмина-Караваева* (1891—1945)— поэтесса, близко стоявшая к акмеистическому «Цеху поэтов», впоследствии — православная монахиня (Мать Мария) во Франции, павшая жертвой фашистского террора. В сборнике стихотворений Е. Кузьминой-Караваевой «Руфь» (Пг., 1916) есть стихи, обращенные к Блоку (стр. 60). Ее содержательные воспоминания о Блоке были опубликованы в 1938 г. в Париже («Встречи с Блоком».—«Современные записки», т. 62,— за подписью: «Мария Мон⟨ахиня⟩»); перепечатаны в «Ученых записках Тартуского университета», вып. 209(1968).

265

9 ноября 1914. ⟨Петроград⟩

Милая, теперь твои письма стали приходить почаще. Я получил твое письмо о Франце, мама — тоже. Очень неприятно, что посылки так задерживаются и игрушек у тебя до сих пор нет. С тех пор посланы еще два пакетика, последний — с каким-то чиновником, тоже — по рекомендации m-me Раевской.

Я живу так, что невозможно описать в письме. Во всяком случае, очень «пышно» и очень неспокойно.

Среди тучи журналов есть один недурной — «Отечество»,— издаваемый Щеголевым и Гржебиным [1]. На днях я послал туда много отрывков из твоих писем, так что ты скоро будешь пропечатан, с маленькими хозяйскими исправлениями. Называться это будет «Из писем сестры милосердия» [2]. Первый № этого журнала я тебе послал.

Встретил я И. В. Жилкина [3], который рассказывает много хорошего про войну. Я думаю все чаще о том, чтобы поехать в Галицию, но когда и в качестве кого — не знаю.

Работа моя [4] подвигается, и стихи печатаются во множестве, так что я даже деньги получаю. Господь с тобой, милая.

А.

В рел⟨игиозно⟩-фил⟨ософском⟩ обществе и в некоторых иных «крессалат» [5] растет не по дням, а по часам. Я к этому окончательно не причастен.

[1] В издании журнала «Отечество», выходившего под редакцией историка и литературоведа П. Е. Щеголева и художника З. И. Гржебина, в 1915 г. появился сборник Блока «Стихи о России».

[2] См. письмо № 253, примеч. 1.

[3] Иван Васильевич *Жилкин* (1874—1958)— буржуазно-либеральный публицист, депутат Государственной думы; фельетонист и театральный критик; в годы империалистической войны — военный корреспондент при Обществе Красного Креста.



Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ
В КАЧЕСТВЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Фотография, 1914

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

[4] Над подготовкой «Стихотворений Аполлона Григорьева».

[5] «*Крес-салатом*» Блок иронически называл пустые словопрения в разного рода «обществах», «кружках» и «салонах».

266

17 ноября 1914. ⟨Петроград⟩

Крошка моя, сейчас я получил от тебя веселейшее письмо, а сам послал тебе вчера скучное[1]. Сегодня уже гораздо веселей опять. День рожденья[2] что ли так действует? Вероятно, еще и темные дни. Была промозглая оттепель.

Кроме того, сегодня я докончил некоторые неприятные дела — с «Шиповником»: получил с него часть денег, и стало спокойнее [3].

Мы говорим по телефону с Пел⟨агеей⟩ Ив⟨ановной⟩ Т⟨ерещенко⟩. Сирин что-то покрякивает (не то закрывается совсем, не то — на время войны). Это — секрет.

Получаю я, несмотря на все, много женских писем и цветы иногда. Маленький букетик ландышей стоит на столе перед твоим портретом (на группе госпиталя).

Ящика у тебя нет — вот что мне досадно. Я знаю, что приятно получать игрушки; там бы ты много нашла. Пакетик, тобой полученный, гораздо меньше. Второй пакет — тоже маленький. Я тебе коплю всегда картинки, и пошлю еще.

Кроме Пяста, на войну взяли Шуриного [4] мужа (на днях был призыв ратников 1 разр⟨яда⟩ до 30-ти лет).

Я принимаю пожертвования на «елку в окопах», организовано это «Бирж⟨евыми⟩ ведомостями». Сегодня мне уже приносили вещи. Напиши мне, если вспомнишь, где мои фуфайки? Я их не ношу и хочу послать на войну.

Вести о Франце пока хорошие. Мама стала уставать скоро, но бодрая.

Жизнь, пока что, летит и летит. Вокруг меня много любви, и даже — тень какой-то «славы». Что же будет дальше — с тобой и со мной *вместе*?

Господь с тобой.

А.

[1] Это письмо Блока до нас не дошло.

[2] Накануне —16 ноября — был день рождения Блока.

[3] С издательством «Шиповник» у Блока происходили расчеты по изданию «Писем» Флобера, в котором он редактировал переводы, сделанные А. А. Кублицкой-Пиоттух (см. «Письма к родным», т. II, стр. 259).

[4] *Шура* — очевидно, А. М. Никитина, подруга Л. Д. Блок. Ее муж — М. А. Бихтер (1881—1947)— пианист и дирижер.

267

19 ноября 1914. ⟨Петроград⟩

Ходил сегодня хозяин, делал приобретения для своего зайца [1]; 1 пакет гостинцу; 1 пакет курительный (10 четверок табаку — получше махорки, 10 трубок из корня, 2000 папирос Тары-Бары); 1 пакет — журналы с картинками и модные — новые, хорошие. Еще пакет будет — муфта (купит О. А. Мазурова [2] — от хозяина, плохая), конфеты от мамы и требуемые книжки; три своих [3] я послал уже с чиновником, неужели и он не довез? — Наливкой *не* торгуют, говорят — крепкий напиток. Да таким, как ты, вовсе и не надо наливки; еще слишком маленький.

Вчера был я у Терещенок. Елиз⟨авета⟩ Мих⟨айловна⟩ [4] рассказывала, что всех сестер у вас хвалят (старший доктор — Бутс). Елиз⟨авета⟩ Мих⟨айловна⟩ — страшно застенчивая вообще, ты ее тогда не поняла. Она говорила, что так стеснялась, что даже лиц не разглядела [5].

«Сирину» нашему конец пришел. Хотят закрывать (не говори об этом никому пока, если даже случится). Хозяин твой будет искать нового издателя [6]. А с Т⟨ерещенка⟩ми отношения еще будут лучше, может быть. Им такое дело не свойственно, не по нраву, и потому я, если жалею тут кого, то одного бедного Ремизова. Опять он остался на мели.

20 ноября

Муфту (из крашеного зайца, товарища твоего) мама сегодня переменила — серая подкладка лучше. Сегодня все свезу к доктору Мацкевичу [7] (четыре пакета).— Я получил твою записочку с фотографиями.

Господь с тобой, моя милая.

А.

[1] «Хозяин» и «Заяц» («Зайц»)— шуточные прозвища Блока и Любови Дмитриевны в их домашнем обиходе. Далее — о покупках, сделанных по поручению Любови Дмитриевны, в том числе — о табаке, трубках и папиросах для раненных солдат, находившихся на излечении в палате Л. Д. Блок. В письме от 30 ноября Любовь Дмитриевна благодарила за все, присланное Блоком: «Спасибо тебе, спасибо за хорошие посылки! Получала их во-всю. Журналы — замечательно пришлось по вкусу зайцу, конфеты уплетал за обе щеки — но и других угощал. ⟨...⟩ Папиросы уже раздавала, а табак и трубки еще нет,— их можно курить только в коридоре, а у меня сейчас мало ходячих. Но очень обидно мне, что стихов не получила — так ждала их. . . Неужели они пропадут! . .»

[2] Ольга Алексеевна *Мазурова* — давний друг семьи Бекетовых, гимназическая подруга М. А. Бекетовой.

[3] Три тома «Собрания стихотворений» в издании «Мусагета» (1911—1912).

[4] Мать М. И. Терещенко, на средства которой был устроен госпиталь, где работала Л. Д. Блок.

[5] Е. М. Терещенко и ее дочери встречали работников госпиталя в Киеве по пути их в действующую армию.

[6] В издательстве «Сирин» предполагалось издать собрание сочинений Блока. Об этом сообщалось в печати — см., например, «Дневники писателей», 1914, № 3/4 (май—июнь), стр. 78.

[7] Андрей Васильевич *Мацкевич* — военный врач, сослуживец Л. Д. Блок, приезжавший в Петроград в отпуск.

268

26 ноября ⟨1914. Петроград⟩

Милая моя, привез ли тебе доктор приятные штуки? Он не слишком охотно согласился на это, надо сказать. Табак есть в Львове, говорит он, и вообще есть многое. В следующий раз я буду стараться посылать тебе приятные штуки, каких там нельзя достать.

Весело ли тебе, как было? Мне весело. Я работаю, вижу людей и Л. А. Дельмас. Был в «Пиковой даме» [1] и в концерте. У меня провел вечер Вяч. Иванов[2]. Хожу в публичную библиотеку. Ф⟨ранц⟩[3] недавно был в Бохнии, его части участвовали уже в четырех удачных боях. С мамой вижусь каждый день. Она устает очень, нервы сильно напряжены и потому выносливость меньше. Много, много всякого.

Я ловлю себя на том, что по старой привычке боюсь всего «хорошего» для себя, плохо ему верю. И все-таки мне почему-то просто хорошо было долгое время: жизнь шла такими сильными, мерными и упругими волнами. Что ты думаешь про это?

Каждый вечер окрещиваю тебя и твою кроватку.

Ящик, оказывается, поехал с каким-то жуликом, и поехал не прямо в Львов, позже, чем был нами сдан Мейендорфам [4], так что очень вероятно, что его ты вовсе не получишь. Там были письма, хотя и неважные (мамы и мое), газеты, журналы, гостинцы, духи, почтовая бумага, мыло, картинки. Все, конечно, пустяшное, а все-таки, жаль, что ты не получила. С «оказиями» надо быть осторожнее.

Тебе не приходило в голову приехать отдохнуть на рождество?

Господь с тобой, милая, целую тебя и потихоньку за тебя тревожусь. Все-таки письма нет уже 8 дней (с того, кот⟨орое⟩ привез доктор).

Господь с тобой.

А.

Выдержки из твоих писем напечатаны в «Отечестве», № 4 (пришлю после). Цензура порядочно выбросила. Подписано — Л. Б. Один хозяин знает, кто за этой подписью укрылся[5].

[1] «*Пиковая дама*»— опера Чайковского. *Концерт* с участием Л. А. Дельмас.

[2] Вяч. Ив. Иванов жил в это время в Москве.

[3] Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух.

[4] Знакомые Кублицких-Пиоттух, через которых Блок направил посылку Любови Дмитриевне.

[5] См. примеч. 1 к письму 253.

269

3 декабря 1914. ⟨Петроград⟩

Милая моя, я уж начинал за тебя бояться: две недели нет письма. Сейчас говорил по телефону с Татьяной Никол⟨аевной⟩ Рузской [1], она меня несколько успокоила. Она поедет не раньше 16-го, я ей передам тогда маленький пакетик для тебя — журналы с картинками. Довез ли тебе доктор посылки?

Мы с мамой занимаемся Флобером [2], я продолжаю заниматься Григорьевым и всякими своими стихами, и все это перемешивается с тучей событий, встреч, отношений, так что жить не скучно, но очень тревожно. Мейерхольд выпускает, наконец, к празднику 4-ый № «апельсинов». Я уже продержал корректуру «Кармен» [3]. Мне говорили, что Мейерх⟨ольд⟩ и Соловьев поссорились с Бонди, так что никто из Бонди даже в студии не бывает. Не знаю уж, почему так. М⟨ейерхоль⟩д и О⟨льга⟩ Мих⟨айловна⟩ [4] просили тебе кланяться.

Ходил я к П. Б. Струве, разговаривал с ним [5]. У меня был Вяч. Иванов. Пяст — в Свеаборге [6]. Была у меня дама (одна из давно пишущих) — актриса, красивая. Второй раз очень, бедная, плакала, я с ней строго говорил.

Собираю пожертвования. Надо приготовить стихи к Рождеству — Сытину [7] и другим. Дела много. Получаешь ли «Русское слово»? Не думаешь ли приехать.

Н. П. Бычков [8] в автомоб⟨ильной⟩ роте в Гельсингфорсе. Письма твои пропечатаны в «Отечестве». Мама набрала на свою дивизию груду теплых вещей.

Господь с тобой, милая, пиши мне. А.

[1] Сестра милосердия, сослуживица Л. Д. Блок, дочь известного генерала.

[2] Перевод писем Флобера для издательства «Шиповник».

[3] В № 4/5 журнала В. Э. Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам» был напечатан стихотворный цикл Блока «Кармен».

[4] О. М. Мунт — жена В. Э. Мейерхольда.

[5] Петр Бернгардович *Струве* (1870—1944)— буржуазный экономист и публицист, в прошлом легальный марксист, после 1905 г. лидер кадетской партии, редактор журнала «Русская мысль», после Октября — эмигрант, активный деятель контрреволюции. Переговоры Блока со Струве касались сотрудничества в «Русской мысли».

[6] На военной службе.

[7] То есть для издававшейся И. Д. Сытиным газеты «Русское слово». Здесь, в рождественском номере (25 декабря 1914 г.), был напечатан отрывок из поэмы «Возмездие»— «Два века» («Век девятнадцатый, железный...»).

[8] Муж В. П. Веригиной.

270

5 декабря ⟨1914 Петроград⟩

Милая, вчера пришло твое письмо, которому я очень обрадовался. Писем не было больше двух недель.

Сегодня приехал Раевский [1] и привез какие-то тревожные вести о Франце. Я сейчас посылаю тебе телеграмму [2], а потом увижу Раевского у мамы. Между прочим, он в восторге от тебя.

Т. Н. Рузская [3] говорила мне, что госпиталь неповоротлив и потому его едва ли двинут. Потому то, что ты пишешь мне по этому поводу, для меня неожиданно [4]. Пожалуйста, если двинут, сообщи мне *телеграммой*; если нельзя будет указать точно место, все-таки сообщи самый факт. Тогда я буду тебе писать опять «Действ⟨ующая⟩ армия».

Рассылаю по газетам стихи к Рождеству. Господь с тобой, милая моя, милая.

А.

[1] Знакомый Кублицких-Пиоттух, приехавший из действующей армии.

[2] Эта телеграмма до нас не дошла.

[3] См. примеч. 1 к письму № 269.

[4] Л. Д. Блок сообщала в письме от 30 ноября: «Говорят, мы здесь не долго будем; двинут нас вперед. Давно это нам говорили, но теперь как-то и я поверила, что это будет — очень нужны госпитали поближе к делу. Но, конечно, это будет далеко не передовые позиции, а какой-нибудь городок, поближе к линии боев. Это хорошо, нас встряхнут немножко, а то очень уж удобно мы тут расположились».

271

13 декабря 1914. ⟨Петроград⟩

Милая, вчера я получил твое письмо, из которого явствует, что ты не получала моей телеграммы, посланной 5 декабря (с оплач⟨енным⟩ ответом). Я спрашивал, когда проехал Франц, ты этого знать и не могла. Франц уже здесь, очень бодрый и хороший, опять уедет.

О тебе я тревожусь, хотя определенных данных нет. И слухов я не слушаю [1]. Людей, особенно враждебных войне, вижу я очень мало, но кажется, что постоянно нахожусь в какой-то кампании; такая во мне буря всяких чувств и мыслей.

Пишу статью о Григорьеве [2]. «Выпиваю» иногда. Описать-то нечего, а кажется, так много.

Главное, ты *будь*. Пиши почаще. Я тобой очень горжусь, ничем так, как тобой. Господь с тобой.

А.

Если двинут куда-нибудь, телеграфируй.

Получила ли ты посылку, если не ящик, то маленькую (прежнюю — с чиновником)?

Завтра буду звонить сестре Рузской.

Господь с тобой.

А.

[1] Л. Д. Блок писала 3 декабря: «Кажется, военные события собираются сгуститься; так, по крайней мере, по слухам,—и мы будем очень недалеко от них».

[2] «Судьба Аполлона Григорьева»— вступительная статья к собранию его стихотворений.

272

15 декабря ⟨1914. Петроград⟩

Милая моя, тебе этот гостинец передаст лучше г-н Лихутин, делопроизводитель из штаба дивизии Ф⟨ранца⟩[1]. Т. Н. Рузская[2] скоро поедет, но, кажется, Лихутин прежде, а, кроме того, проще послать с ним, с ней боюсь я связываться, она все-таки барышня, потому церемонии требуются.

Конфеты пополам — от мамы и от меня. Журналы тебе, какие хозяин поспел набрать.

Я все пишу — статью о Григорьеве. Кажется, никогда так не было трудно и интересно вместе с тем.

Посылаю тебе свои книги[3], вместо зажиленных чиновником. Первый том — без обложек, но стихи там все; ты его, верно, не будешь читать. Потом отдай кому-нибудь, если хочешь. У меня уж мало осталось, а нового издания долго ждать[4].

Перед праздниками грустно становится.

Господь с тобой, милая. Целую тебя.

А.

[1] Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух.

[2] См. примеч. 1 к письму № 269.

[3] Три тома «Собрания стихотворений».

[4] Новое издание «Стихотворений» и «Театра» в четырех книгах вышло в 1916 г. в издательстве «Мусагет».

273

23 декабря ⟨1914. Петроград⟩

Поздравляю тебя, моя милая, маленькая Бу, с праздником и с рождением вашим. Вчера у меня была сестра Ранд[1] (которую сначала, конечно, не пустили, а потом бегали за ней, и она второй раз лазала на лестницу). Передала всякие поздравляки. Сейчас я их разошлю. Ты, надеюсь, получила уже от хозяина и от мамы конфеты, журналы и хозяйские сочинения (вторично).

Хозяин твой простужен и, так как дома усидеть не может, все не поправляется.

Франц, вероятно, около 2-го января должен возвращаться и заедет к тебе опять, если будешь на старом месте.

Бедный Пяст уже здесь и совершенно больной. Кажется, он сошел с ума опять[2]. Кроме матери, к нему в госпиталь никого не пускают. Я все еще не могу разделаться с Аполлоном Григорьевым.

Послал тебе под бандеролью № 4—5 журнала доктора Дапертутто[3]. Мейерхольд сунул мне в дверь целую пачку. Далее порога он не ходил, так как у меня были гости (Л. А. Дельмас).

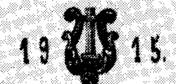
Твои тепленькие вещи я поищу тебе и пришлю или с Ф⟨ранцем⟩ или с сестрой Ранд.

Видел я у мамы Сережу Соловьева, который приезжал читать доклад в Р⟨елигиозно⟩-ф⟨илософском⟩ общ⟨естве⟩[4]. Он очень хорошо говорил о тебе: что в тебе было в те времена мальчишеской мистики действительное основание для веры в тебя.

Когда я слышу об этом, или вижу, что склонны так думать, мне делается очень хорошо и грустно. Я-то знал это прежде всех и знаю до сих пор; — и теперь знаю, когда жизнь разделила.

Ты приедешь и играть будешь[5]. Мои праздники будут заключаться в том, что у мамы будет пьянино, и я буду слушать пение Л. А. Дельмас. С⟨естра⟩ Ранд просила сообщить тебе, что с⟨естру⟩ Брикс[6], которой надавали в Львове поручений, так и не нашли здесь.

Господь с тобой, милая, целую тебя.



19 15.

ТЕАТРЪ ПУТИЛОВСКАГО ЗАВОДА.

Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ 14-го Іюня

СПЕКТАКЛЬ

Общества Изящныхъ Искусствъ

Безъ вины виноватые

комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ А. Н. Островскаго.

Дѣйствующія лица:

I дѣйствія

Любовь Ивановна Отрадина . . . . . . Л. Д. Басаргина.
Таиса Ильинишна Шелавина, подруга Отрадиной . . . . . . А. Н. Косогорова.
Аннушка, горничная Отрадиной . . . . . . Р. К. Марева.
Арина Галчиха, мѣщанка . . . . . . В. Ю. Викторова.

Остальныхъ дѣйствій:

Елена Ивановна Кручинина, извѣстная провинціал. актриса . . . . . . Л. Д. Басаргина.
Нилъ Стратонычъ Дудукинъ, богатый баринъ. А. А. Богдановскій.
Муровъ . . . . . . М. Е. Карамазовъ.
Нина Павловна Коринкина, актриса . . . К. А. Фетисова.
Григорій Незнамовъ } актеры провинціальнаго театра. Н. Н. Буторинъ.
Шмага } Л. В. Глумовскій.
Петя Миловзоровъ, первый любовникъ . . . А. А. Степановъ.
Иванъ, слуга въ гостиницѣ . . . . . . Л. Н. Леонидовъ.
Галчиха . . . . . . В. Ю. Викторова.

Между первымъ и вторымъ дѣйствіями проходитъ 17 лѣтъ.

Начало въ 8 час. вечера

Въ антрактахъ играетъ оркестръ музыки Путиловскаго Завода подъ управл. П. Д. Полякова.

Администраторъ Я. А. Гречневъ.

Печ. разр. 10 Іюня 1915 г. за Петр. Град. [illegible] Лысогорскій.
Типографія П. П. Гершунина, Коломенская, 43.

АФИША СПЕКТАКЛЯ «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» ПО ПЬЕСЕ А. Н. ОСТРОВСКОГО В ТЕАТРЕ ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДА (1915 г.)

Л. Д. Менделеева-Блок (сценическая фамилия — Басаргина) выступила в роли Отрадиной-Кручининой

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

[1] Софья Евгеньевна *Ранд* — сестра милосердия, сослуживица Л. Д. Блок, приезжавшая в Петроград в отпуск.

[2] В. А. Пяст был подвержен приступам психического заболевания. «Военная служба моя была крайне непродолжительна,— писал он в воспоминаниях.— В Свеаборге 〈...〉 я тяжело заболел. Был в декабре переведен в Николаевский госпиталь в Петербурге, а поправившись, был признан к военной службе негодным. Пока я лежал в госпитале, А. А. Блок проявил по отношению ко мне самую нежную заботливость» (Вл. П я с т. Воспоминания о Блоке. Пг., 1923, стр. 70).

[3] «Любовь к трем апельсинам». *Доктор Дапертутто* — литературный и сценический псевдоним В. Э. Мейерхольда.

[4] Доклад С. М. Соловьева «О современном патриотизме» состоялся в Религиозно-философском обществе 21 декабря 1914 г. Блок на докладе не присутствовал.

[5] Л. Д. Блок писала 19 декабря: «Должна тебе сказать, что теперь, когда у меня всего 6 больных, я вижу, что очень не прочь вернуться домой; кроме того, мне отчаянно хочется играть; точно зудит во всех жилках».

[6] Тоже сослуживица Л. Д. Блок, которую она охарактеризовала как «авантюристку».

274

31 декабря 1914. 〈Петроград〉

Милая моя, с Новым Годом. Крещу тебя и думаю о тебе. Сегодня пришло твое письмо от 26-го. Очевидно, так надо, как решилось с вашим госпиталем. Мне очень понятно, что ты можешь почувствовать «измену», если уедешь [1]. Потом зато, когда кончится, у тебя будет сознание, что исполнено большое дело. Ну, господь с тобой.

Между тем Мейерхольд вознадеялся, что ты приедешь. На днях он звонил мне, поздравлял с праздником, благодарил за стихи (в апельсинах) [2] и просил написать тебе (он твою карточку получил), что как раз эти дни особенно о тебе думает, просит передать тебе «нижайший поклон», слышал, что ты можешь приехать (от Вал〈ентины〉 Петр〈овны〉) [3]. Говорил с Веригиной о том, что тебя страшно не хватает в студии, что там все как-то «расстроенно» оттого, что «этих людей нет», что он «страшно ждет» тебя.

Все это, я думаю, искренно, насколько хватает силы искренности в бедной его душе, запутанной. Жаловался он, что едва оторвется от своих дел, пугается массы писем, на которые не ответил, а не ответил потому, что страшно думать, страшно оставаться одному — с самим собой (такой был смысл). Вместе с тем, когда я ему стал, по обыкновению, выражать свое непонимание духа «апельсинов» и, в частности, пантомимы Соловьева [4], он стал говорить, что согласен — действительно Соловьев слишком впадает в «пустоту», но ему (М〈ейерхольд〉у) эта пустота не грозит, и они будут издавать журнал и в буд〈ущем〉 году, «до последней капли крови».— Кстати, я слышал, что скоро состоится «выступление студии»; об этом было написано и в газетах.— Я тебе послал № под бандеролью, а теперь (с Францем) на всякий случай посылаю другой.

Дела Мейерхольда, кажется, недурны. Хоть с Сувориной [5] он поссорился, он ставит теперь «Двух братьев» Лерм〈онтова〉 в Мар〈иинском〉 театре (играет Давыдов) [6] и пьесу З. Гиппиус [7] в Алекс〈андринском〉 — играет Савина [8] и Рощ〈ина〉-Инс〈арова〉 [9]. О своей «ссоре» с Бонди [10] он хочет поговорить со мной, когда увидимся (я все его не пускаю из-за статьи о Г〈ригорье〉ве, которую вчера, наконец, вчерне кончил). «Ссора», говорит он, довольно глубокая. Я тоже думаю. Поговорим.

Теперь о другом: хозяин твой нашел в сундуке только шапку, а кофточку в шкапу [11]. Та ли это кофточка? Кроме того, хозяин рылся в письм〈енном〉 столе своего зайца, рылся, так сказать, с закрытыми глазами,

чтобы чего заячьего не прочесть. Цель его была — отыскать абонементные билеты Мар⟨иинского⟩ театра: надо обменять 4 или 5 января, в посту пойдет вместо Вагнера Римский-Корсаков. Поиски хозяина не увенчались успехом; очевидно, судьба; пусть пропадет наш абонемент; я думаю с нашими «связями», если захотим, когда-нибудь новый добудем.

Сладкого не шлю по уговору с зайцем. Только журналы и тепленькое.

Я тут на праздники деньгу зашибал из газет. Почему-то моя «популярность» возрастает (как во время революции, так теперь, во время войны). Уважают и деньги шлют. Григорьев мой скоро будет сдан Некрасову в Ярославль (за 500 р.) [12]. Корректуры Флобера (нашего с мамой) [13] идут непрестанно, в феврале выйдет толстенный томище. С вечерами пристают. От одного, кажется, не отбояриться: придется читать патриотические стихи около 20-го янв⟨аря⟩ в Городской Думе в пользу лазарета искусств (устраивает Сологуб [14], с которым мы в полном мире и согласии говорим по телефону и либералов, вроде Батюшкова [15], ругаем). Либеральные литераторы пустились основывать общества попечения о «жертвах войны» и здесь и в Москве. Все это у них выходит вяло. Издают благотворительные сборники, в которых тоже приходится участвовать.

Сам Проппер [16] хозяину визит сделал (за 10 фунтов сахару). За то же Верховный Главнокомандующий благодарил телеграфно Проппера, Родзянку [17] и хозяина твоего [18].

Пяст, говорят, поправляется. Но все-таки он свихнулся, по-видимому, так же, как в 1906 году [19]. Я боюсь за Женю [20]: теориям и «деятельности» его конца нет; обо всем-то он скажет запутанно, сбивчиво и апокалипсически.

Брат Городецкого (Александр — Кури́цын) умер. Он с весны лежал парализованный. Осенью я писал ему ободрительное письмо [21].

Ломятся ко мне барышни и литераторы. Я не пускаю.

Ночь на Новый Год

Думаю о тебе, моя милая, и еще два имени — одно — мама, а другое — ты знаешь [22]. Кажется, никогда так тяжело мы с мамой, Францем и тетей [23] не встречали Новый Год. Мама — в ужасном состоянии, больна и измучена, как никогда еще не была. Франц нервничает перед отъездом. Мы с Л. А.[24] пришли вечером, она пела, потом я проводил ее домой и вернулся встречать Новый Год. Разошлись мы около часу. Я вернулся домой, окрестил твою комнатку, потом говорил по телефону. Потом—Мейерхольд позвонил, поздравил меня и передал телефон Ильяшенке [25]. Кажется, она хотела пококетничать, но тон мой не очень располагал. Страшную значительность всего происходящего я чувствую. Сейчас третий час ночи. Еще какая-то барышня звонила по телефону, не говоря имени. Я попросту прикрикнул и повесил трубку. Швейцар передал мне сейчас книжку и карточку для тебя — от Жени [26]. Как видишь, и ему невесело.

Господь с тобой, милая моя и дорогая Люба, целую тебя и крещу. Сохрани тебя бог.

[1] Л. Д. Блок писала 26 декабря: «У нас определилось положение — мы во Львове, переезжаем в новое здание⟨...⟩ А я опять не чувствую никакой возможности уехать— опять чувствую это, как измену, как бегство, а мне этого ничуть не хочется».

[2] Цикл «Кармен» в журнале «Любовь к трем апельсинам».

[3] В. П. Веригина.

[4] «Арлекин, пристрастный к картам»— интермедия с балетом, музыкой и пением, напечатанная под псевдонимом «Вольмар Люсциниус» в журнале «Любовь к трем апельсинам», 1914, № 4/5. Блок ошибочно назвал эту пьесу «пантомимой».

[5] Об А. А. Сувориной см. примеч. 4 к письму № 255.

[6]Драма М. Ю. Лермонтова «Два брата» была впервые представлена по инициативе Литературного фонда в ознаменование 100-летия со дня рождения поэта, на сцене Мариинского театра, в постановке В. Э. Мейерхольда, с декорациями и костюмами А. Я. Головина и с участием известного актера В. Н. Давыдова (1849—1925). Состоялся единственный спектакль — 10 января 1915 г.

[7] «Зеленое кольцо».

[8] Мария Гавриловна *Савина* (1854—1915)— выдающаяся драматическая актриса, выступавшая на сцене Александринского театра.

[9] Екатерина Николаевна *Рощина-Инсарова* (1883—1970)— драматическая актриса, в 1913 г. перешедшая в Александринский театр из московского Малого театра; после Октября — в эмиграции.

[10] Очевидно, имеется в виду Ю. М. Бонди, режиссер и художник.

[11] Исполнение просьбы Л. Д. Блок.

[12] «Стихотворения Аполлона Григорьева» под редакцией и со вступительной статьей Блока вышли в издательстве К. Ф. Некрасова (Москва—Ярославль) в ноябре 1915 г.

[13] Письма Флобера в издании «Шиповника» (в 1915 г. вышла часть I —«Письма к племяннице»).

[14] Этот вечер — «Писатели — воинам» в пользу лазарета деятелей искусств, состоялся в Александровском зале Городской думы 25 января 1915 г. В газетной хронике особо отмечалось, что в этом вечере (наряду с Ф. Сологубом, А. Ахматовой, Е. Чириковым, И. Северянином, Н. Тэффи, Ю. Слезкиным, М. Кузминым, О. Мандельштамом и др.) приняли участие «и столь редко появляющиеся пред публикой сказочник А. Ремизов и поэт Ал. Блок». В отчете о вечере сказано, что Блок «с большим успехом» прочитал два стихотворения— «Два века» (Вступление в I главу поэмы «Возмездие») и «Россия» («Грешить бесстыдно, непробудно...»).— См. «Биржевые ведомости», веч. вып. от 24 и 26 января 1915 г.

[15] Федор Дмитриевич *Батюшков* (1857—1920) литературовед, критик и публицист. В представлении Блока Ф. Д. Батюшков служил живым воплощением самого духа буржуазного либерализма.

[16] Станислав Максимилианович *Проппер* (1855—1931)— один из крупнейших воротил газетного мира, владелец распространенной газеты «Биржевые ведомости».

[17] Михаил Владимирович *Родзянко* (1859—1924)— председатель Государственной Думы.

[18] Шутка насчет «пожертвований на войну» (Блок, очевидно, пожертвовал 10 фунтов сахару); сведения о пожертвованиях публиковались в газетах, в частности — в «Биржевых ведомостях».

[19] См. примеч. 2 к письму № 273.

[20] Е. П. Иванов.

[21] Александр Митрофанович *Городецкий* (1886—1914)— младший брат поэта Сергея Городецкого, художник и поэт, близкий к ранним футуристам. Письмо Блока к нему не выявлено.

[22] Имеется в виду Л. А. Дельмас.

[23] М. А. Бекетова.

[24] Л. А. Дельмас.

[25] Лидия Степановна *Ильяшенко* (р. 1894 г.)— драматическая актриса, участница студии В. Э. Мейерхольда.

[26] Е. П. Иванов.

1915

275

2 января ⟨1915. Петроград⟩

Ну, милая, Франц завтра едет [1], и я отправляю твой пакетик.

Напиши ты мне, где мои теплые шапки? Я рылся в сундуках и не мог найти, до сих пор ношу «цирилиндаль».

Живу я, живу — самым сумасшедшим образом.

Господь с тобой. Крепко тебя целую.

А.

[1] Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух возвращался из отпуска в действующую армию.

276

9 января 1915 [1]. ⟨Петроград⟩

Милая моя, жить эти дни трудно, устал я, больше забот, чем радости. Литература безысходная.

У мамы — жар, ко всему прочему. Она сильно простужена.

О тебе говорила мне (по телефону) Е. М. Терещенко. Видела ли ты Франца, получала ли картинки и тепленькое?

Григорьева [2] я кончаю, скоро буду сдавать в печать.

Господь с тобой. Пока больше не пишу, грустно [3].

А.

[1] У Блока описка: 1914.

[2] Сборник стихотворений Аполлона Григорьева.

[3] Л. Д. Блок ответила 19 января: «Последнее твое письмо грустное. Товарищ мой, мне это очень тяжело; так хорошо было, когда твои письма были бодрые⟨...⟩ Я вполне *определенно* это подумала и возьму отпуск в феврале или марте, смотря когда удобнее по работе».

277

12 января ⟨1915. Петроград⟩

Милая, я тебе 9-го написал преунылое письмо, прости меня, очень бывают нервы расстроены. Сейчас получил твое — от 6-го. Очень, очень хорошо ты встретила Новый Год [1].

Жизнь моя богата.— Мама лежит больная, еще придется пролежать с неделю: сильная инфлуэнца и бронхит. Я много провожу с ней времени.

Французских журналов поищу. Разве ты все видишь журналы, которые я тебе посылал?

«Сирин» окончательно ликвидируется — теперь уже это не секрет. Так вот вся литературная моя жизнь состоит из пестрых полос. Какая-то теперь будет полоса? Собственно, я доволен, что получил меньше всех

матерьяльных выгод от Терещенок, будучи близким к Сирину в течение двух лет. Так отчетливее и лучше. У меня к ним доброе чувство, думаю, что и они обо мне не думают плохо.

Господь с тобой, маленькая Бу, милая моя, целую тебя.

А.

[1] В письме от 6 января 1915 г. Л. Д. Блок сообщала: «Новый Год я встречала совсем необыкновенно: ушла одна в наш парк; там среди березок и елочек стоит ниша с мадонной и перед ней скамеечка — стоять на коленях. Была тихая ночь, чуть морозная; вдали — огни нашего госпиталя,— от них тихий свет на мадонне. Я стояла на коленях перед ней — и так легко-легко, ясно пришел Новый Год; но в очень высоком строе. Конечно, как полагается при всякой «мистике», по снегу носился черный пес, кружил, но не нашел меня и «исчез» до прихода Нового Года».

278

21 января 〈1915. Петроград〉

Маленькая моя, вот тебе глупости. Журналы — все, какие мог достать (русских ты писала не посылать). «Femina» [1] прекратилась на время войны. Я был и у Мелье и у Вольфа [2].

Конфеты частью от мамы, которая тебя целует. Она недавно встала, все еще слабая довольно.

Некто П. Жуков из Уфы прислал мне книжку «Л. Андреев и А. Блок», весьма лестную для меня [3]. Вчера был я в гостях ночью: у Сологуба с Л. Андреевым блины ели. Большую часть рукописи А. Григ〈орьева〉 отправил Некрасову [4]. 25-го читаю на вечере (афишу прилагаю) [5]. Мережковский мне звонил, говорил, что выкидывает из собр〈ания〉 соч〈инений〉 ругательную статью обо мне [6]. Кроме того, тьма литературных мелочей. Такова моя «карьера».

Жизнь же моя совсем в другом и в лучшем.

Был я у О. А. Терентьевой [7]. Она, кажется, человек дельный и серьезный.

От Франца сегодня письмо только от 9-го, что он доехал и дивизия в резерве. Где — неизвестно.

Было тут много разговоров с Мейерхольдом (стихи для апельсинов) [8] и Соловьевым (письмо его прилагаю) [9]. Н. П. Бычков отправляется в Варшаву и В. П.[10], кажется, поедет за ним (звонила к маме).

Если еще что было, то не упомню сейчас. Пиши почаще немножко, целую тебя, господь с тобой, милая.

А.

[1] «*Femina*»—французский модный журнал.

[2] *Мелье* и *Вольф* — владельцы книжных магазинов.

[3] Павел Дмитриевич *Жуков* — в 1915 г. преподаватель русской литературы в Уфимской гимназии. Книжка его — «Л. Андреев и А. Блок» (Уфа, 1915)— содержит два раздела: первый посвящен драме Л. Андреева «Не убий!», второй — драме А. Блока «Роза и Крест». В предисловии П. Д. Жуков следующим образом обосновал свое обращение к этим произведениям: «Статьи о пьесе Л. Андреева «Не убий!» и Ал. Блока «Роза и Крест», не связанные внешне, спаяны, как убедятся читатели, внутренним единством критического лозунга: «За вечное против моды!» Блок и Андреев — два полюса текущей литературы, по мнению автора. Андреев — Бестужев-Марлинский современности. Все кричащее, ходульное, все рассчитанное на эффект, наконец, все, что вызывается и создается модой, претворено в Л. Андрееве (во второй период его деятельности). Он — писатель типический, как угодливый фельетонист, торопящийся удовлетворить спрос и мнящий себя одинаково глубоким во всех областях знания и жизни. Популярность Андреевых—Марлинских затмевает перед читателем имена истин-



«АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ. СТИХОТВОРЕНИЯ»
Редакция и статья Блока. Пг., 1916. С дарственной надписью Блока: «*Любе*. 15 декабря 1915 г.»
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

ных поэтов, скромных, сторонящихся шума людских аплодисментов. Их надо, быть может, перед обществом оправдать, иногда объяснить, и во всяком случае необходимо пропагандировать». В качестве такого «истинного поэта» современности П. Жуков и выдвигал Блока, характеризуя его в следующих выражениях: «Незамеченный писатель в наши дни, незаслуженно забываемый — стихийный, крупный талант» (стр. 31). В книжке П. Жукова дана очень высокая оценка драме «Роза и Крест» и особо отмечено художественное мастерство Блока. Вывод, к которому пришел автор в результате своего критического анализа, таков: «В стихе Блока бьется сама жизнь с ревом океана и завыванием вьюги, с минутной усталостью и преодолевающим оптимизмом — преобладание поднимающихся размеров. Фабула и язык, идея и стих тесно сплетаются в гармоническое целое, в итоге создав превосходное произведение, которое, быть может, не найдет отклика в толпе так же, как не находили его и поэмы Пушкина, заслоненные блеском Бенедиктова и Бестужева-Марлинского, но обретет его в веках, когда время сотрет мишуру ложного и временного» (стр. 47). На экземпляре книжки, посланной Блоку (собрание В. Н. Орлова), имеется следующая дарственная надпись автора: «Глубокоуважаемому Алексанру Александровичу Блоку от П. Жукова в знак почтения и признательности. Уфа. $19\frac{7}{\mathrm{I}}15$». На стр. 31 есть помета Блока, относящаяся к следующему тексту П. Жукова: «Всеобщее признание критикой его, Блока, таланта делается как-то холодно, нехотя. Нельзя отрицать его таланта, его значительных красивых строк, но он не родственный критикам поэт. «Что-то очень хорошее написал мой Саша,— пишет его мать-старушка своей сестре, нашей знакомой,— но — я не понимаю: дура что ли». И это откровенное признание можно распространить на наших критиков» (под знакомой П. Жукову сестрой матери Блока имеется в виду, очевидно, С. А. Кублицкая-Пиоттух). Против этих строк Блок написал на полях: «Мама этого никогда не писала. П. Д. Жуков говорит о своей ошибке в письме. Я прошу ее исправить, вложив листок в книгу». Просьба Блока, по-видимому, не была исполнена: в известных

комментатору экземплярах книги П. Жукова такого листка с исправлением ошибки не обнаружено. Письмо Блока к П. Д. Жукову не выявлено. Впоследствии, в первые годы советской эпохи, П. Д. Жуков жил в Петрограде и поддерживал с Блоком личные отношения. Об одной встрече его с Блоком рассказал В. М. Саянов в статье «Голос поэта» (газета «Вечерний Ленинград», 1946, № 184 от 7 августа).

[4] Константин Федорович *Некрасов* (1873—1918?)— племянник поэта, владелец издательства, выпускавшего книги в Москве и Ярославле.

[5] См. примеч. 14 к письму № 274. Афиша вечера при письме не сохранилась.

[6] Речь идет о статье «Балаган и трагедия», напечатанной в 1910 г. в газете «Русское слово» (№ 211). Эта статья не вошла в сборник Д. С. Мережковского «Было и будет» (1915).

[7] Ольга Александровна *Терентьева* — сестра милосердия, сослуживица Л. Д. Блок, приезжавшая в Петроград в отпуск и доставившая Блоку письмо от Л. Д.

[8] Блок редактировал стихотворный отдел журнала «Любовь к трем апельсинам». В первой книжке журнала за 1915 г. он поместил цикл стихотворений своего старого друга А. В. Гиппиуса (под псевдонимом: Александр Надеждин).

[9] Приложенное Блоком письмо В. Н. Соловьева до нас не дошло.

[10] В. П. Веригина, жена Н. П. Бычкова.

279

28—29 января 1915. ⟨Петроград⟩

Милая моя, на днях я получил твою записку от 24-го, ее мне прислали с посыльным, но без меня. Я не знаю, где живет сестра Перцова [1], и не могу ее поблагодарить. Сегодня получил твое письмо о том, что ты попадешь в передовой отряд, и о том, что ты меня жалела, получив мое кислое письмо. Все это очень взволновало меня. Я *думаю о тебе* — думаю сквозь всю мою жизнь, которая никогда еще не была такой, как теперь. Думаю, что не только в письме, но и на словах я не скажу тебе о своем, потому что никому, и даже тебе, говорить не надо; а, что главное, ты и сама поймешь [2].

Ты извести меня заранее, когда можешь приехать, все тебе будет чистенькое и тепленькое: теперь здесь большие морозы, и в твоих комнатах, которые я окрещиваю каждую ночь, душистый, почти морозный воздух, тишина невозмутимая, так что я каждую ночь чувствую это сызнова — после «своей половины». Мейерхольд продолжает спрашивать, приедешь ли ты; я отвечал, что нет (еще вчера).

3 марта — 6 месяцев с твоего отъезда. Тогда можно вернуться и *совсем*, не правда ли?

Господь с тобой, милая. А.

[1] Сестра милосердия, сослуживица Л. Д. Блок.

[2] Блок имеет в виду свои отношения с Л. А. Дельмас.

280

30 января 1915. ⟨Петроград⟩

Моя милая, вчера вечером пришло еще твое письмо — от 27-го — с оказией. Оно меня опять взволновало и растрогало [1]. Пропуская многие и твои и свои мысли, я отвечаю тебе, что только жизнь сама все устроит и поможет там, где, кажется, всего труднее. Пора уже это знать, когда столько пережили.

А разве тебя опять «бросило»? — меня не бросило, а привело [2]. Все, что со мной теперь, должно быть, я уже не «увлекаюсь», я уже не играю и не «придумываю» (на 35-м году).

Может быть, ты, впрочем, пишешь не о новом, и я просто не понял тебя.— Жизнь увлекательна, жизнь страшна, но — и милостива.

Теперь — вот что: Ан. Н. Чеботаревская [3] (мы теперь в дружбе) все придумывает, как тебе известно, разные затеи. На этот раз она придумала устроить (разумеется, в пользу раненых) чтение «Розы и Креста» по ролям — чтобы читали литераторы, а актеров — поменьше. Сологуб хочет что-то читать (Бертрана?). Говорят, будто М. Ф. Андреева [4] очень любит пьесу, хотела ставить, и с ней заведут разговор — издалека. Я напомнил о Нотмане [5] и о тебе. Если ты приедешь, ты, может быть, вздумаешь прочесть Изору? (если не М. Ф. Андреева). На всякий случай пишу тебе об этом. Устраивать хотят на 4-й неделе поста. Я тоже какую-нибудь роль буду читать. Зал Петровского училища на Фонтанке — небольшой. Тщетны были мои уверения, что публика заснет. Игоря Северянина [6] предлагают в Алисканы (не спросясь его). Обо всем этом еще будут разговоры.— М. б., публика и не заснет, я ведь сужу по себе; на деле мы теперь «делаем сборы». На всякий случай подумай об этом, захочешь ли прочесть Изору. Тут же Каратыгин [7] что-нибудь пропиликает (музыку Базилевского [8] что ли?).

Господь с тобой, милая, господь с тобой. А.

[1] В письме от 27 января Л. Д. Блок писала: «Я об тебе думаю постоянно, мне трудно рассказать как — а только знаю, что больше всего на свете люблю тебя, куда бы меня ни бросило...».

[2] Речь идет о Л. А. Дельмас.

[3] Анастасия Николаевна *Чеботаревская* (1876—1921) — писательница и критик, жена Ф. К. Сологуба.

[4] Мария Федоровна *Андреева* (1872—1953) — драматическая актриса, жена А. М. Горького.

[5] Генрих Федорович *Нотман* — актер студии В. Э. Мейерхольда.

[6] *Игорь Северянин* — литературный псевдоним поэта Лотарева Игоря Васильевича (1887—1941), главы группы эго-футуристов.

[7] Вячеслав Гаврилович *Каратыгин* (1875—1926) — композитор, пианист и музыкальный критик.

[8] Юрий Петрович *Базилевский* — композитор, написавший музыку к драме Блока «Роза и Крест» для Московского Художественного театра. См. примеч. 8 к письму № 281.

281

9 февраля 1915. ⟨Петроград⟩

Писем твоих давно нет, моя милая (последнее получил с оказией 3 февраля), и я, в связи с событиями, тревожусь.

За это время побывал я, наконец, у Жени [1], обедал там. Потом — был с Зин⟨аидой⟩ Ник⟨олаевной⟩ Гиппиус на репетиции «Зеленого кольца» [2]. Очень хороша темная Александринка, сцена, артистич⟨еское⟩ фойэ и коридоры. Савина на репетицию не приехала. Я говорил с Рощиной-Инсаровой. Еще из «известных» играют Петровский [3], Домашева [4] и Юрьев. Мейерхольд говорил хорошую речь актерам. Все это было преинтересно, но, с точки зрения «воплощения Зин. Гиппиус», пожалуй, безнадежно. Зин⟨аида⟩ Ник⟨олаевна⟩, как ты можешь представить, говорить с актерами не умеет, конфузится, как девочка, и цепляется за меня [5]. Потом пили мы чай с двумя Дмитриями [6], вернувшимися из рел⟨игиозно⟩-фил⟨ософского⟩ собрания. Нам с ней было все-таки веселее, чем им.— В четверг (12-го) я пойду, надеюсь, на спектакль студии (не один), а 16-го — на «Зел⟨еное⟩ кольцо» (тоже не один) [7].

⟨...⟩ Корректуры Флобера и Григорьева.

Оттепель, весна. Жизнь богатая, тревожная. Жить хорошо, но о тебе я беспокоюсь. Господь с тобой, пиши, милая.

А.

P. S. Сейчас пишу Анаст. Н. Чеботаревской письмо с отказом устраивать чтение «Р⟨озы⟩ и К⟨реста⟩». Слишком у нас разные вкусы [8]. ⟨...⟩

[1] Е. П. Иванов.

[2] *«Зеленое кольцо»* — драма З. Гиппиус, готовившаяся к постановке в Александринском театре (режиссер — В. Э. Мейерхольд). Драма была посвящена «исканиям» и судьбе тогдашней молодежи; тема эта живейшим образом интересовала Блока, на эту тему он много беседовал с З. Гиппиус, что отчасти отразилось и в посвященном ей стихотворении «Рожденные в года глухие...» — в первоначальном его варианте:

Мы все — невольно или вольно —
Свидетели великих лет,
Мы знали голос колокольный,
Вы, вновь родившиеся,— нет.

[3] Андрей Павлович *Петровский* (1869—1933) — драматический актер и режиссер в Александринском театре с 1904 по 1917 г.

[4] Мария Петровна *Домашева* (1875—1952) — драматическая актриса.

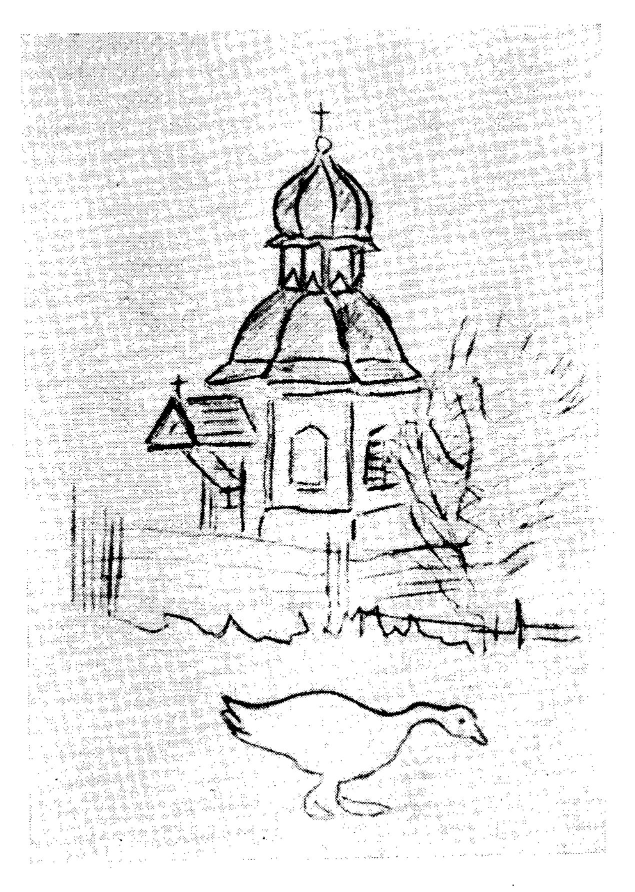
[5] З. Н. Гиппиус в статье «Зеленое — белое — алое», присоединенной в качестве послесловия к драме «Зеленое кольцо» (изд-во «Огни», П., 1916; первоначально в газете «Биржевые ведомости», утрен. вып., 1916, 23 апреля), писала об этой репетиции: «Мне удалось видеть только одну репетицию, и ту без второго акта (савинского), дней за десять до представления. Мы поехали в театр часов в 10 вечера, вдвоем с А. А. Блоком (пьесу он, конечно, знал раньше, и она ему была приятна). По дороге вспоминали «Балаганчик» на сцене Коммиссаржевской, под режиссурой того же Мейерхольда, лет десять тому назад.—«Вы были довольны своей пьесой?» — спрашиваю.— «Вам доставляло это удовольствие?» — «Нет».— Блок говорит мало, но всегда очень определенно. Тихая репетиция в пустом полутемном театре — приятное зрелище, спокойное. Все не налажено, все не так,—но видишь самую работу налаживанья, видишь умелых людей, и очень любопытно наблюдать... Плохо налаживалось самое «Зеленое кольцо», сцена собрания: «Смотрите, как они ничего не понимают»,— шептал мне Блок. «Они даже не понимают прямого смысла слов, которые произносят. И оттого — ни стать ни сесть...» Мейерхольд видел не хуже Блока. И после этой сцены собрал в фойе молодежь (подлинную молодежь, иные еще только школу кончали). «Вы поймите,— взволнованно убеждал он молодых артистов,— вы поймите, что центр этой сцены — *«вместе»*. Каждый должен чувствовать себя живой частью одного живого целого...» Я не помню точных слов, и всей технической стороны речи Мейерхольда, но суть ее здесь переданная, была именно такова...» (стр. 143—145).

[6] Имеются в виду Д. С. Мережковский и Д. В. Философов.

[7] То есть с Л. А. Дельмас.

[8] Вот это письмо: «Нет у меня желания предпринимать чтение «Розы и Креста». Пьесу эту надо — или играть на сцене, или читать про себя по книге. Никакой середины я не вижу. Вы предлагаете то гобелены, то столы, закрывающие чтецов до подбородка, то Мандельштама, то Игоря Северянина; из всего этого я вижу, как разно мы к этому относимся. Есть во всех делах своя мистика, и отношение к «Розе и Кресту» у меня сложное, и, как во всем для меня важном, такое, что я предпочитаю не делать опытов и прятать, пока не найду действительного (или — хоть приблизительного) согласия воль и вкусов и темпераментов, и т. д., и т. д. ⟨...⟩ Да и музыки Базилевского я не знаю, сам судить о ней не могу, а человека, которому я бы поверил относительно музыки к этой пьесе, сейчас около меня нет. По всем этим причинам, оставим это дело» (VIII, 439).

ДЕРЕВНЯ КОЛБЫ
Рисунок Блока. 1916
Центральный архив литературы и искусства, Москва



282

Телеграмма

15 февраля 1915. ‹Петроград› [1]

Телеграфируй писем нет. А.[2]

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Ответная телеграмма Л. Д. Блок из Львова от 15 февраля: «Здорова благополучно писала Люба».

283

19 февраля 1915. ‹Петроград›

Милая моя, милая. Кроме телеграммы, которую я получил в тот же день, когда послал тебе свою, я получил от тебя два письма: второе — вчера (с оказией, от 14-го).

Ты пишешь, что я должен не беспокоиться. Это ведь только способ выражения — беспокойство. Теперь особенно — все, что я о тебе чувствую — превышает все беспокойства; т. е. беспокойство достигло предела и перешло уже в другое, в какой-то «огненный покой» [1], что ли. Благодарю тебя, что ты продолжаешь быть со мною, несмотря на свое, несмотря на мое. Мне так нужно это.

Сегодня я собирался написать тебе зараз о студии и о «Зеленом кольце». Только очень уж сегодня все во мне спутано и обострено, не могу писать подробно.

На спектакль студии [2] я пошел, как всегда, с открытой душой, с желанием, чтобы мне понравилось, и мне, как всегда, страшно не понравилось

почти все. ⟨...⟩ узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая и хотела бы любить, но не знает источников истинной любви. Так как нет никакого центра, нет центрального огня, который и есть *любовь* и *воля*,— мне и тяжело и скучно от никчемного «легкого веселья», и я не могу простить подробностей, которые простил бы, мож⟨ет⟩ быть, если бы меня хоть немного «обожгли» тем огнем, в котором все и без которого ничто не мило. Молодые и пожилые люди претенциозно кривляются: глуповатая хорошенькая мордочка Ильяшенки [3]; инженерша Вал⟨ентина⟩ Петровна [4] послушно валяется по полу. Нотманские [5] ноги мелькают в течение всего вечера, так что тошно от повторяемости мельканий. Бедная угреватая Ада Корвин [6] печально кривляется. Какая-то больная старуха сидит на столе на корточках. Изобретательности настоящей нет, воображение бедное и больное. Жакомино [7] — гений рядом с ними. Один его жест стоит всей студии. Неталантливые люди и некрасивая фантазия. О, если бы люди умели сузиться, поняли, что честное актерское ремесло есть большой чин, а претензии на пересаживанье каких-то графов Гоцци на наш бедный, задумчивый, умный север, *РУССКИЙ* [8] — есть только *бесчинство*. Все это больно, потому что Мейерхольд — славный, и несчастный калека Соловьев — тоже.

В «Зеленом кольце» [9] Мейерхольда вовсе не было, а были Гиппиус, Савина, Домашева и нек⟨оторые⟩ другие. Актеры сыграли пьесу в четверть ее роста. Пьеса неумелая, с массой недостатков, и все-таки — какого она *роста*, какой *зрелости*, даже в руках актеров!

После об этом. Господь с тобой, милая. А.

[1] Источник цитаты не установлен. Может быть, Блоку запомнились слова «Я увидел *покой огневой*...» из стихотворения А. Миропольского «В магическом круге», напечатанного в альманахе «Северные цветы на 1901 год». М., 1901, стр. 107.

[2] Спектакль студии В. Э. Мейерхольда, показанный в первый раз 12 февраля 1915 г. Программа спектакля состояла из интермедии Сервантеса «Саламанкская пещера» и ряда «этюдов», «пантомим» и «клоунад» («Уличные фокусники», «История о паже, верном своему господину», «Две Смеральдины», «Мышеловка», «Офелия», «Арлекин — продавец палочных ударов», «Три апельсина». «Женщина-кошка, птица и змея» и др.) в духе и манере итальянских народных представлений и комедиографии К. Гоцци. Спектакль шел в постановке В. Э. Мейерхольда и В. Н. Соловьева и в декорациях работы художника А. В. Рыкова.

[3] Л. С. Ильяшенко — см. примеч. 25 к письму № 274.

[4] В. П. Веригина, жена инженера Н. П. Бычкова.

[5] Генрих Федорович *Нотман* — актер, участник спектакля.

[6] См. письмо № 130, примеч. 4.

[7] *Жакомино* (Джакомо Чирени) (1884—1956) — итальянский цирковой артист, клоун, выступавший в Петербурге; в 1916 г. вернулся на родину.

[8] Подчеркнуто трижды.

[9] Премьера драмы З. Гиппиус «Зеленое кольцо» в Александринском театре состоялась 18 февраля 1915 г. См. письмо № 281 и примеч. 5 к нему.

284

Телеграмма

4 марта ⟨1915⟩. Петроград [1]

Когда приедешь жду не пишу А.[2]

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] Ответная телеграмма Л. Д. Блок от 5 марта из Львова: «Приеду не раньше недели здорова пиши Л ю б а».

285

6 марта 1915. ⟨Петроград⟩

Воображаю, как ты устала, милая [1].— Жду тебя, соскучился о тебе, постараюсь натопить твои комнаты. Здесь опять морозы. Вчера получил твою телеграмму и письмо. Пожалуй, ты и этой записки уже не получишь. Кроме этих стихов из «Рус⟨ской⟩ мысли»[2], я послал тебе альманах «Стрелец» [3]. Брось его там, если получила.

Господь с тобой, телеграфируй, когда выедешь [4], жду тебя, маленький, милая моя.

А.

[1] Л. Д. Блок писала 3 марта: «Я ужасно хочу уехать отсюда, и думаю, что не вернусь сюда больше, поэтому жду К⟨узьмина⟩-К⟨араваева⟩ повидаться перед отъездом; оттого еще не еду⟨...⟩ А уехать хочу, п⟨отому⟩, ч⟨то⟩ не только устала адски, но уж очень соскучилась по настоящему «своему», здесь ведь все-таки все время заставляешь себя, заставляешь...».

[2] Стихи при письме не сохранились. Имеется в виду цикл «О чем поет ветер», напечатанный в «Русской мысли», 1915 № 2 (февраль), с посвящением: «Посвящается моей жене».

[3] *«Стрелец»*. Сборник первый. Под редакцией Александра Беленсона (Пг., 1915). В этом сборнике впервые объединились под одной обложкой поэты-символисты и футуристы (Блок, Сологуб, Ремизов, Кузмин, Д. Бурлюк, Каменский, Крученых, Маяковский, Хлебников). Блок напечатал в «Стрельце» стихотворение «Из жизни моего приятеля» («Жизнь проходила, как всегда...») и перевод «Действа о Теофиле» Рютбефа.

[4] Л. Д. Блок телеграфировала 14 марта: «Выезжаю сегодня вечером Л ю б а». В дальнейшем она в течение летнего сезона 1915 года (начиная с 7 июня) играла в передвижной труппе А. П. Зонова, выступавшей в пригородах Петрограда в самом городе,— между прочим, на Путиловском заводе. В связи с последними выступлениями Блок писал матери 13 июня 1915 г.: «Люба разговаривала с представителями рабочих Путиловского завода, и все, что она рассказывала об этом, показывает мне, что она попала в хорошее и большое дело» (VIII, 477). Блок посетил один спектакль, устроенный на Путиловском заводе,— «Без вины виноватые» А. Н. Островского («Письма к родным», II, стр. 272).

286

9 июля 1915. ⟨Шахматово⟩[1]

Маленькая моя Бу, я получил два твоих письма, второе — с тяжелыми известиями — сегодня [2]. Сегодня вообще с войны вести невеселые; пишет Франц и мамина знакомая дама.

Здесь прекрасно жить, мне бывает легко, как давно не бывало, когда чувствуешь только природу кругом. Но часто все-таки и не легко, очень уж мысли мои спутаны и невеселы, и «возраст критический».

Сейчас я пишу ночью, в твоей постельке. Гуляю я мало, больше около дома брожу. Пилил и рубил, сначала было трудно, теперь уже окреп.

Тебе бы тут было хорошо. Воздух, жара, груды клубники и виктории, розы белые цветут так, как ты говорила. «Получаешь» [3] ли ты хоть от игры? Ты не написала, был ли успех Островского и Горького [4].

Мама не хорошо себя чувствует, хотя бодрится. Теперь еще у нее болит нога, так что ходить нельзя.

Гудинский Владимир [5] спрашивал меня, оказался ли «подлинным» портрет митрополита Платона, и намекал, что ты его не покупала. Что ему сказать? Мож⟨ет⟩ быть, отдать, если спросит или — купить?

Попов в Ильин день решили не звать — гора с плеч. С собаками история — ничего не едят, скитаются; Топка от любви к Розе превратился в скелетик.

Тетя[6] ездила в Сафоново[7]. Мужики вместо водки добывают иногда одеколон. Все сплетни о войне, слышанные в городе, известны и здесь. В Казанскую служили молебны о даровании победы.

Сенокос у нас, трава великолепная.

Господь с тобой, маленькая моя Бу, пиши хозяину.

А.

10 июля.

[1] Блок 30 июня уехал в Шахматово.

[2] Л. Д. Блок писала 7 июля 1915 г.: «Сегодня я получила телеграмму от Кузьмина-Караваева о том, что 3-го июля убит его брат, а он сам контужен снарядом в голову,— это он пишет в письме, сидит в обозе; надеюсь, что контузия легкая, судя по почерку.〈...〉 Очень тяжело.»

[3] Словечко, принятое в домашнем обиходе Блоков («получаешь удовольствие»).

[4] Л. Д. Блок играла в комедии А. Н. Островского «Без вины виноватые» и в драме М. Горького «Мещане».

[5] Видимо, некто Владимир из деревни Гудино, расположенной неподалеку от Шахматова.

[6] М. А. Бекетова.

[7] Имение тетки Блока С. А. Кублицкой-Пиоттух.

287

24 июля 1915. 〈Шахматово〉

Моя маленькая Бу, ты давно не писала. Как ты сыграла Василису Мелентьеву[1] и что еще будешь играть?

У нас с 14 до 17 был Франц[2]. Он получил дивизию (вторую стрелковую Финляндскую). Теперь она уже в бою.

О войне ты, я думаю, знаешь не меньше плохого, чем мы.

Были в гостях Кублицкие (кроме Фероля)[3].

Давно уже не жарко и идут дожди.

Может быть, приедет Л. А.[4]

Сенокос еще не кончен. Рабочих совсем нет.

Я очень много тебя вспоминаю и скучаю по тебе. Мне кажется, что ты приедешь сюда осенью, хоть не надолго, если я останусь здесь.

Мама долго лежала, у нее болела нога. Она часто видит тебя во сне.

Господь с тобой, Бу.

А.

[1] Героиня исторической драмы А. Н. Островского и С. А. Гедеонова «Василиса Мелентьева».

[2] Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух приезжал в Шахматово из действующей армии, в отпуск.

[3] Семья С. А. Кублицкой-Пиоттух, жившая по соседству — в усадьбе Сафоново. *Фероль* — Ф. А. Кублицкий-Пиоттух, двоюродный брат Блока.

[4] Л. А. Дельмас. Она провела в Шахматове несколько дней в конце июля.

288

〈Между 11 и 14 августа 1915. Петроград〉[1]

Прости, милая, что я так расстроил тебе все своим неожиданным приездом. Напиши мне, когда вернешься[2]. Во мне все так переломано и исковеркано, если бы ты знала.

Не о пустяках тут речь[3].

Господь с тобой.

А.

Мы оба — слепые, ослепшие.



«ДЕРЕВНЯ КОЛБЫ, ЧАСОВНЯ»
Рисунок Блока с его надписью, 1916
Центральный архив литературы и искусства, Москва

[1] 10 августа 1915 г. Блок выехал из Шахматова в Петроград и пробыл там до 14 августа. Это недатированное письмо, он, очевидно, оставил дома, перед своим отъездом. На конверте — надпись: «Любе».

[2] Л. Д. Блок, по-видимому, уезжала навестить К. К. Кузьмина-Караваева, который был контужен в бою (см. примеч. 2 к письму № 286). Она вернулась в Петроград 22 августа.

[3] Ср. письмо Блока к Л. А. Дельмас от 12 августа 1915 г. («Звезда», 1970, № 11, стр. 199—200).

289

4 сентября ⟨1915. Шахматово⟩

Моя милая, не знаю радоваться ли за тебя, что ты поступила к Яворской [1]. Тут я вижу хорошее в том, что у тебя под рукой дело; еще, что ты на войну не поехала; это уж для меня.

Здесь — осень, клены золотые. Все время я мудрю с садом.

Очень хорошо, что ты удалила прислуг. Мать я не видал, но дочь мне очень не понравилась.

Не могу себе представить, где спрятаны карточки актрис [2]. Напиши, как ты думаешь, где?

Очень долго не было от тебя письма, так что я стал сильно бояться.

Пока что, мы с мамой собираемся возвращаться в конце месяца.

А я твое окно чинил, все тебя ждал.

Получил письмо от Княжнина; у него родилась дочь; а у Пяста умер младший сын — мой крестник [3].

Может статься, что ты получишь (на свое или на мое имя) разные части книги Ап. Григорьева — для Княжнина. Он тебе будет звонить, ты ему передай или перешли [4].

Я беспокоился, что не оставил тебе денег; дам, воротясь.

Когда открывается сезон? Что еще будешь играть?

Спасибо тебе за поздравление [5]. Я был в этот день в Сафонове [6].

Напиши мне адрес Пяста, если он *новый* (Княжнин скажет).



ШАХМАТОВО. ДОМ И САД
На переднем плане — М. А. Бекетова
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

6.IX.

Сейчас еду в Москву за плитой.
Напиши. Господь с тобой.

А.

И маме напиши.

[1] Лидия Борисовна *Яворская* (Барятинская) (1872 — 1921)—известная драматическая актриса, с 1900 г. владелица и руководительница «Нового театра». Л. Д. Блок писала 27 августа: «А ты радуйся на своего зайца: его наняли к Яворской за 80 руб.— а ты говорил: цена ему «пять»... Нет, я, правда, очень довольна. Меня пригласили на определенное положение —«grande-dame и другие роли» (так написано в контракте); вчера уже получила роль в «Школе злословия» Шеридана, идет для открытия. После Яворской — роль моя самая интересная: м-с Кэндер. Вчера я и контракт подписала, и репетировать уже начали. Режиссер — Воротников. Мне Яворская очень нравится: воплощенная воля, худая, безобразная, хрипучая, умная, и как какая-то шрапнель — летит к цели и ничто на свете ей не помешает... С ней очень полезно мне будет «общение»: научусь, я чувствую, хотеть посильнее теперешнего». В дальнейшем роль м-с Кэндер у Л. Д. Блок отобрали.

[2] Любовь Дмитриевна просила Блока привезти ей из Шахматова хранившиеся у нее карточки актеров: «особенно большие — Дузе, Сара Бернар, Яворская».

[3] Блок писал В. Н. Княжнину 6 сентября 1915 г.: «Поздравляю Вас с рождением дочери. Мне было бы страшно, если бы у меня были дети. Теперь особенно, после того, как я узнал (из Вашего письма), что сын Пяста умер: он — мой крестник. Пускай уж мной кончается хоть одна из блоковских линий — хорошего в них мало» («Письма Александра Блока». Л., 1925, стр. 206).

[4] Блок передавал В. Н. Княжнину на просмотр отпечатанные листы книги «Стихотворения Аполлона Григорьева». В. Н. Княжнин был знатоком жизни и творчества Ап. Григорьева.

[5] Со днем именин.

[6] Усадьба С. А. Кублицкой-Пиоттух, тетки Блока.

290

8 сентября ⟨1915 Шахматово⟩

Милая, я получил твое письмо на станции, воротясь из Москвы [1]. Было очень холодно и я, читая письмо, пил чай в трактире. Письмо тронуло меня очень: все так трудно, и вдруг — ты обо мне соскучилась [2].

Ко всему происходящему бедная тетя [3] получила письмо от дворника, что ее квартиру опять обокрали. Аннушка [4] уезжает, потому что, повидимому, украли ее вещи. Вероятно, и мы с мамой останемся здесь не так долго, как думали. Потому — нанимай прислугу. Может быть, годится какая-то знакомая Аннушки — Маша. Найди ее через Аннушку (она приедет 11-го).

Не нанимай только двух, пожалуйста, и с одной тошно.

В Москве пока нет только газет и трамваев (кроме военных заготовлений).

Господь с тобой, это все-таки нехорошо — себя рекламировать; слава богу, только, что об этом никто не узнает, потому что газеты эти никому не известны [5]. Напиши мне, маленькая Бу.

А.

Я опустил предыдущее письмо в Москве.

[1] Блок 6 и 7 сентября провел в Москве (по хозяйственным делам).

[2] Л. Д. Блок писала 4 сентября: «Напиши мне скорее, как ты и как у вас? Я по тебе соскучилась чего-то... Буду рада, когда ты приедешь, хотя я очень, очень рада, что ты так долго живешь в лесочке, и живи там подольше!»

[3] М. А. Бекетова.

[4] А. И. Шелгунова, прислуга М. А. Бекетовой, прожившая с ней свыше тридцати лет.

[5] Л. Д. Блок послала в письме от 4 сентября вырезку из газеты «Биржевые новости» — анонимную заметку, в которой речь шла о ней как о талантливой актрисе (под псевдонимом: Басаргина). При этом она писала: «Посылаю тебе заметку из «Биржевых новостей» (это, увы, не «Биржевка» ⟨то есть не широко распространенная газета «Биржевые ведомости».—*В. О.*⟩, а дрянь, которую никто не читает). Вот на какие штучки я пустилась! Эту поместил К⟨узьмин⟩-К⟨араваев⟩ через товарища, а Ивойлов ⟨В. Н. Княжнин⟩ обещал подобную в «Петр⟨оградском⟩ курьере»⟨...⟩ Пожалуйста, покажи маме и тете, какой твой «дура́ка» рекламист. Я только сейчас поняла, как хорошо, что я взяла псевдоним: могу проделывать все эти глупости, а твое имя, конечно, я никогда не решилась бы трепать по газетам».

291

14 сентября 1915. ⟨Шахматово⟩

Поздравляю тебя с именинами, моя маленькая Бу. Напиши мне, как ты и что?

Тетя [1] собирается уезжать 20-го, а мы с мамой — на неделю позже [2].

Я сегодня тебя, моя Бу, видел во сне.

Господь с тобой.

А.

[1] М. А. Бекетова.

[2] Блок вернулся в Петроград 29 сентября.

1916

292

31 марта 1916. ⟨Москва⟩[1]

Москва, Тверская 33, гостиница «Мадрид и Лувр», комн⟨ата⟩ 52.

Маленькая Бу, вот мой адрес, напиши, как ты, что? Почти ничего не пишу тебе, маме подробнее описал, спроси у нее письмо. Мне здесь хорошо. Не знаю, когда приеду, мож⟨ет⟩ быть, и к Пасхе. Комната большая, хорошая. Все, кажется, еще дороже, чем у нас. Сегодня снег пошел.

Я приглашен каждый день обедать к Станиславскому, с ним и без него. Вчера обедал, Лилину[2] видел мельком (она играла). Сын и дочь застенчивые. Много он мне рассказал про Мейерхольда — совсем не хорошего.

Сегодня я кончаю чтение пьесы со многими комментариями[3]. Что дальше будем делать,— не знаю.

Господь с тобой, Бу, напиши записочку. А.

[1] Блок с 29 марта по 6 апреля 1916 г. был в Москве, в связи с постановкой драмы «Роза и Крест» в Художественном театре. В эти дни он прочитал пьесу актерам, изложил ее главную идею и присутствовал на первых репетициях. Более подробно о своих московских встречах и впечатлениях он рассказал в письмах к матери от 31 марта и 4 апреля (см. VIII, 459—560, и «Письма к родным», т. II, стр. 278).

[2] Мария Петровна *Лилина* (Алексеева) (1866—1943) — драматическая актриса, жена К. С. Станиславского.

[3] В письме к матери от 31 марта 1916 г. Блок сообщал: «Несмотря на то, что к вечеру устаю до неприличия, чувствую себя в своей тарелке. Каждый день в половине второго хожу на репетицию, расходимся в 6-ом часу. Пока говорю, главным образом, я, читаю пьесу и объясняю, еще говорят Станиславский, Немирович и Лужский, а остальные делают замечания и задают вопросы» (VIII, 459).

293

27 июля ⟨1916. Поезд, около Гомеля⟩[1]

Подъезжаю к Гомелю, тепло. Мамин унив⟨ерситетский⟩ значок сломался, купи маленький (на Загородном 42 — 2 р. 50 к.), пришли через неск⟨олько⟩ времени. Не торопись с этим, у меня есть еще один. Господь с тобой, милая.

А.

[1] 7 июля 1916 г. Блок был призван на военную службу и зачислен табельщиком в 13-ю инженерно-строительную дружину Всероссийского союза земств и городов; 26 июля он выехал в расположение дружины (станция Лунинец Полесских железных дорог, в районе Пинских болот).



БЛОК СРЕДИ СОСЛУЖИВЦЕВ ПО 13-Й ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДРУЖИНЕ БЛИЗ СТАНЦИИ ПАРОХОНСК (БЕЛОРУССИЯ)

Фотография, 1916

Литературный музей, Москва

294

Утро 28 июля ⟨1916. Гомель⟩

Люба, уж не ищи универс⟨итетского⟩ значка, я купил его в Гомеле. Скоро еду.

А.

295

2 августа 1916. ⟨Парохонск⟩

Люба, я о тебе страшно соскучился. 2 дня я жил в деревне, теперь — в княжеском именьи. Блох понемногу истребляю, а скуку — нет. Ко всему привык, точно живу здесь месяц. Писать часто едва ли буду. Очень много «нового», но все — то же самое, тебе, вероятно, известно это чувство.

Напиши, напиши. Адрес такой: Полесских жел⟨езных⟩ дорог, ст⟨анция⟩ Лунинец, 13-я Инж⟨енерно-⟩Стр⟨оительная⟩ Дружина В⟨сероссийского⟩ З⟨емско-⟩Г⟨ородского⟩ С⟨оюза⟩, мне. Когда у меня будет дело, я буду, вероятно, в друг⟨ом⟩ месте, но адрес будет тот же.

Летают аисты (но и другие птички) [1].

Такса зовут здесь Фокой, а полицейск⟨ую⟩ собаку — Фрикой; мы — товарищи, господь с тобой.

А.

[1] «*Другие птички*» — немецкие аэропланы.

296

4 августа 1916. ⟨Парохонск⟩[1]

Люба, один из моих товарищей едет в Петерб⟨ург⟩ и потому я могу написать тебе всякие нецензурные подробности. Мы живем в имении князя Друцкого-Любецкого[1] «Парохонск», верст в 12 от позиций. Я живу в главном доме, сплю, ем, скучаю и ничего не делаю. В 3-х верстах — станция Парохонск на реке Бобрике (как и мы). Это — последняя станция, куда доходят этапные поезда (из Лунинца), дальше идут уже только воинские, часто слышна канонада (глухая), в ясную погоду утром и вечером посещает нас аэроплан, бросающий бомбы гл⟨авным⟩ обр⟨азом⟩ на мост у Парохонска и в ст⟨анцию⟩ Лунинец, где 90 путей. В мост ни разу не попал. В доме и флигелях стекла выбиты, одна бомба упала в палисадник месяца 3 назад. При мне бомб у нас еще не бросали. На горизонте видна иногда дозорная колбаса (привязанный шар), ночью — ракеты и прожекторы. Болот много, но мы сравнительно высоко. Тишина глубокая, несмотря на наших рабочих, которых еще мало. Единственный передовой отряд (их должно быть 4) работает в Чернове (верст 30 от нас наискосок — все это есть на штабной трехверстке, если не продадут, достань у кого-ниб⟨удь⟩ по протекции) — близко от позиций (верст 5—6). До с⟨их⟩ п⟨ор⟩ неизвестно, попаду ли я в передовой отряд. Табельное дело очень просто, но не комфортабельно (как жизнь здесь). Рабочие неизв⟨естно⟩ когда будут. Пока хозяйство анекдотическое. Строят телефоны и ватерклозеты. Ем много и, кроме казенного, еще пью молоко, иногда грызу шоколад, угощают конфетами и т. д. В деревне «Камень», куда я приехал на мешках с мукой по узкоколейке из Ловчи (169 верст), я прожил всего два дня, здесь отсыпаюсь. Приехала вчера начальникова жена. Начальник милый, совершенно безвольный, помощник его — инженер, поляк, светский, не милый, но тоже безвольный. Пока что — я «помощник коменданта». Такой должности нет, потому я, погуляв и изредка расквартировав вновь прибывших, пью чай и болтаю в той или другой конторе. Именье большое и запущенное; обед в 1 час, ужин в 7 (или все опаздывает), встаю в 7, в 8-ом (вначале в 6). Живу в одной комн⟨ате⟩ с Егоровым, Влад⟨имиром⟩ Ник⟨олаевичем⟩ (сын профессора — техник), паном Протасовичем (тоже техник) и студентом Книпгаузеном (теперь заведует обозом). Рядом живет Идельсон[2] (прис⟨яжный⟩ пов⟨еренный⟩, товарищ Фероля[3] по гимназии и Пяста впосл⟨едствии⟩) и мн⟨огие⟩ др⟨угие⟩ — кто с текущих счетов, кто студент, всякие. Все это интересно маме, а мне — не очень. Говорят, мы здесь надолго.

7 августа

Три последних дня я провел веселее. 4-го мы с таким же свободным от занятий табельщиком Зайцевым решили ехать на позиции, выпросили лошадей, сделали круг верст 20. До позиций не доехали, было жарко, но видели настоящие окопы и проволоку, ездили по болоту и по полотну ж⟨елезной⟩ д⟨ороги⟩ и т. д. 5-го я был командирован с начальником обоза (студентом) покупать бензин. Поехали на грузовом автомобиле, вернулись только вчера (без бензина, но с разными мелкими покупками), сделали верст 80. Шина лопнула, застревали в болотах и песках, ломали мосты, чтобы проехать, ночевали в Лунинце в офицерской гостинице (бесплатно). Я загорел отчаянно, на солнце было градусов 35. Шатались безуспешно по интендантск⟨им⟩ складам ⟨...⟩ лавкам и путям ж⟨елезной⟩ д⟨ороги⟩. Вечером и на след⟨ующее⟩ утро обстреливали там аэропланы — очень красивые разрывы шрапнели вокруг аэроплана. Оба раза его прогнали, и бомб он не сбросил.

У меня до с⟨их⟩ п⟨ор⟩ нет ни одного письма — ни от тебя, ни от мамы. Адрес — ст. Лунинец Полесских ж. д., 13-я Инж⟨енерно⟩-Стр⟨оительная⟩ Дружина А. А. Блоку.

Вчера я купался после поездки в перв⟨ый⟩ раз как следует — очень приятно. Под усадьбой — река Бобрик, есть места с песчаным дном.

От лошади я, оказывается, не отвык, и мало устал, проехав 20 верст по жаре — всеми аллюрами.

Вчера вечером у нас пели русские и малоросс⟨ийские⟩ песни — мне очень нравилось.

Однако — скучно. Я бы предпочел жить иначе.

Ну, господь с тобой. Больше нечего писать. Скучаю о тебе, напиши мне, Бӧ.

А.

Письмо перешлет Иван Владим⟨ирович⟩ Гебельт.

Когда-ниб⟨удь⟩ пришли сладкого и как⟨ую⟩-ниб⟨удь⟩ закуску — здесь друг друга угощают [4].

[1] Иероним Эдвинович кн. *Друцкой-Любецкой* (1861—?)

[2] Наум Ильич *Идельсон* (1885—1951) — юрист и математик; в 1917 г. сослуживец Блока по Чрезвычайной следственной комиссии.

[3] *Ферoль* — двоюродный брат Блока, Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух.

[4] К письму приложена карта, нарисованная Блоком (см. стр. 365).

297

9 августа ⟨1916. Парохонск⟩

Сегодня уезжает в П⟨етер⟩б⟨ург⟩ И. В. Гебельт. Он едет гл⟨авным⟩ обр⟨азом⟩ по делу о воинской повинности; относит⟨ельно⟩ большинства из нас (в том числе отн⟨осительно⟩ меня) поступил запрос из Минска. Воинская повинность еще угрожает, начальник примет разные меры, но нельзя быть уверенным в благополучном исходе.

Вчера я опять ездил верхом на прелестной лошадке. Сегодня пролетел аэроплан, вероятно, как всегда, к Лунинцу, нами мало интересуется, и мы недурно замаскированы.

Больш⟨ей⟩ частью, все-таки, скучно, моя Бу. Напиши ты мне, ездила ли в Москву, писала ли тебе что-ниб⟨удь⟩ мама и ты маме, будешь ли играть где-нибудь [1]. У меня некоторые дни длинны, как недели, кажется, что прошло много времени. Дела в дружине еще не налаживаются, рабочие уходят, мы уже вызывали стражников.

При всем этом — мир и тишина поразительные, как будто нигде ничего не происходит.

Господь с тобой. А.

[1] Л. Д. Блок должна была поехать в Москву для устройства своих театральных дел, но пыталась наладить их в Петрограде, в частности — в театре П. П. Гайдебурова.

298

11 августа 1916. ⟨Парохонск⟩

Сегодня мы уезжаем в отряд большой компанией. Там у меня будет, мож⟨ет⟩ быть, дело. Вероятно, скоро перейдем на новое место, можем оказаться и совсем в другом — дальше. Письма будут только с оказией; до сих пор еще ни одного письма я не получил.

Эти дни я много ездил верхом, пробовал диких лошадей, вообще недурно провел время.

Господь с тобой, моя маленькая Бо. А.

299

14 августа ⟨1916. Деревня Колбы⟩

Люба, мы здесь живем отрядом — очень примитивно, но хорошо и дружно. От позиций почти так же далеки, как были. Начальник симпатичный. Народу нас немного — кроме рабочих — человек 10 только. Я почти отчаялся получить письма — до с⟨их⟩ п⟨ор⟩ нет ни одного. Пиши по тому адресу, который я тебе дал,— с маркой и скажи маме об этом. Деревня наша уже другая, скоро будет еще другая, письма и пищу присылают из «штаба» — верст 35. С болота неподалеку от нас виден город, занятый неприятелем, кругом стоят войска. Вообще же, болота совсем не таковы, как их представляешь себе — на разной высоте, не сплошные, частью сухие. Рядом с нами — судоходная река.— Жизнь совершенно новая, я ее «переношу» с легкостью и не без удовольствия, кроме скуки временами. Писать об этом трудно, настолько все иначе, чем у вас. Господь с тобой, пиши все-таки, думаю постоянно.

А.

300[1]

16 августа ⟨1916. Деревня Колбы⟩

Письмо передаст или позвонит, чтобы прислали за ним — Ник⟨олай⟩ Мих⟨айлович⟩ Федоров. Стоим в деревне Колбы, на днях переедем в Лопатино (рядом с лесом, где сейчас работы). У нас уж 250 рабочих, и еще идут. Кажд⟨ый⟩ день верхом езжу. С равнины виден Пинск, слышны пушки и пулеметы. Карточки [2] отдай маме. Живем в деревне в хорошем домике — довольно дружно и весело (Идельсон — прис⟨яжный⟩ пов⟨еренный⟩, Егоров — сын проф⟨ессора⟩, Попов — студ⟨ент⟩, Глинка — правн⟨ук⟩ композит⟨ора⟩, Игнатов и я). Жить проще, не нужно стесняться Друцкого-Любецкого [3], едим хорошо, здесь веселее.

Господь с тобой, маленькая Люба. А.

Сейчас еще нет семи часов утра, а мы давно встали.

[1] К письму приложен рисунок Блока—«Деревня Колбы, часовня» (см. стр. 357).

[2] Фотографические снимки.

[3] Владелец поместья, где размещался штаб 13-й дружины.

301

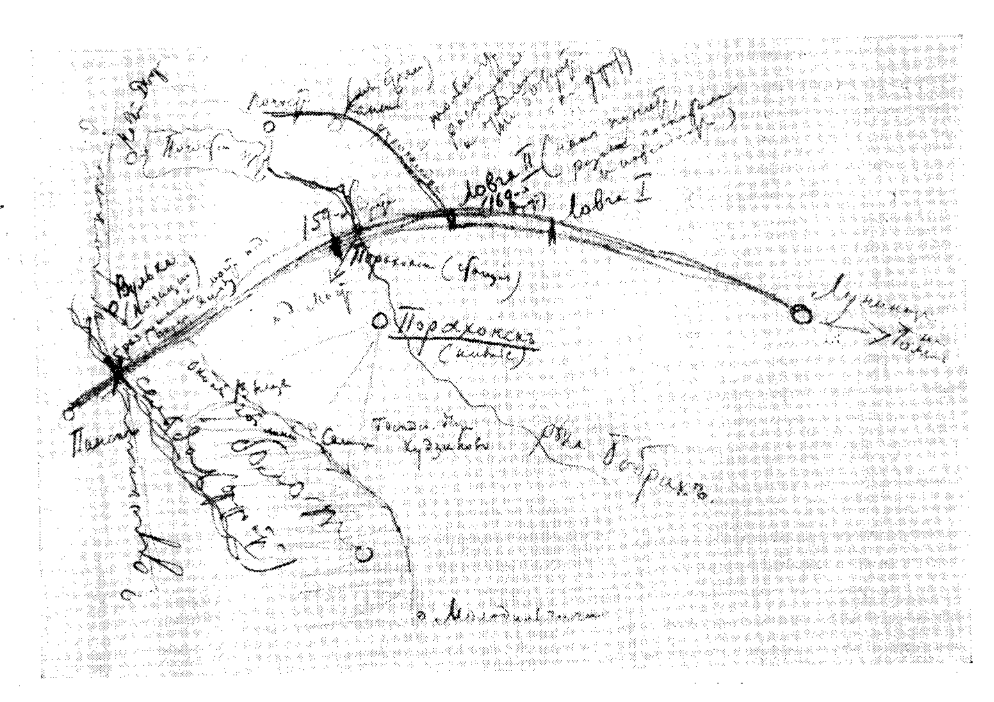
4 сентября 1916. ⟨Деревня Лопатино⟩

Любонька, у меня давно нет известий ни от тебя, ни от кого. Я днями мало думаю, потому что занят здешними интересами (малоинтересными), а вдруг вспомню и испугаюсь. Напиши ты мне записочку, если мама будет передавать письмо Глинке, он привезет мне. Если хочешь, пошли мне шоколаду или печенья, твой шок⟨олад⟩ кончается, я ел сам и всех угощал, кроме того, еще покупал. Напиши мне о себе и о том, что ты думаешь о мамином здоровье, за маму я беспокоюсь. Подробности я описываю в письме к маме. Господь с тобой, скучаю о тебе, хочу тебя увидеть.

А.

Посоветуйся с кем-ниб⟨удь⟩, с Княжниным, напр⟨имер⟩, или с Ал. Н. Чебот⟨аревской⟩, как бы оградить мои книжные интересы, чтобы Пашуканис [1] не надул. Не слыхала ли чего о «Р⟨озе⟩ и К⟨ресте⟩» в Х⟨удожественном⟩ т⟨еатре⟩? Собираются ли меня вызвать [2]?

Дай Глинке через маму рублей 50, я хочу купить, когда буду в Лунинце, шведскую куртку — становится холодно [3].



КАРТА ПРИФРОНТОВОГО РАЙОНА: ПАРОХОНСК И ОКРЕСТНОСТИ
Рисунок Блока, 1916
Центральный архив литературы и искусства, Москва

[1] Викентий Викентьевич *Пашуканис* (ум. в 1919 г.) — владелец издательства «Мусагет», где в это время печатались книги Блока (три тома «Стихотворений» и том «Театр»). Любовь Дмитриевна, исполняя просьбу Блока, читала корректуры и вела переписку с В. В. Пашуканисом. Она писала Блоку 9 августа: «...Я тоже об тебе скучаю, а как нарочно корректуру читала отдела «Родина» и очень много пришлось реветь. Но только я все диву даюсь — какие, Лалака, ты стихи хорошие сочиняешь! И как это я про них могу временами забывать?!..». И в другом письме (без даты): «Думаю о тебе и о себе часто твоими стихами, и до слез мне нелепо, что мы потеряли какую-то «нитку», и когда-то еще поймаем».

[2] В Москву — для участия в репетициях драмы «Роза и Крест» в Художественном театре. В письме от 1 сентября Л. Д. сообщила Блоку о встрече с Л. Я. Гуревич, близко стоявшей к Художественному театру: «На днях я в театре встретила Л. Я. Гуревич; она была мила со мной, как всегда, радовалась моему поступлению, но, главным образом, весь антракт мы проговорили про «Розу и Крест». Она виделась со Станиславским, и ей очень надо поговорить с тобой об результатах этой встречи: у нее такое впечатление, что он сам очень хочет ставить, у него хорошие декоративные планы и ему надо, чтобы его в этом поддержали. А план его и мне особенно нравится, я давно об этом слыхала, и мне кажется, к «Розе и Кресту» этот прием очень подошел бы: это декорации, достигаемые одним светом. Ну, грубо говоря: если нужно сцену под деревом, перед рефлектором ставят узоры листьев, и на сцене — настоящая тень от дерева, вместо окна, свет через раму и т. д., уж они, конечно, сумели бы извлечь бесконечные эффекты из этого приема. Вот Л. Я. и просит тебя непременно ей позвонить, когда будешь в городе». Репетициями «Розы и Креста» руководил В. И. Немирович-Данченко. В телеграмме от 21 октября 1916 г. он сообщал Блоку: «Для репетиций вы пока не нужны, но очень желательно поговорить мне с вами, я только теперь окунулся в работу, пишу письмо». В тот же день В. И. Немирович-Данченко писал Блоку: «Вам пока не надо приезжать для репетиций. То есть актеры еще не чувствуют в авторе необходимости. Вот как шла работа. Весной,

после Вас, артисты сделали репетиций 15. С тем и разъехались на лето. Осенью театр был занят старым репертуаром, а с конца сентября репетиции «Розы и Креста» возобновились, но уже сразу со мной. Я прослушал сначала что было сделано, и, совсем не удовлетворившись, начал вести репетиции (вернее, беседы) по-иному. Кажется, волнение было хорошего качества. Потом произошел перерыв: я захворал дней на 8. И вот только недавно начали уже просто репетировать, как бы покончив с беседами. И то, что мы сейчас делаем, для Вас еще не представляет интереса. Когда же мы сделаем «рисунок углем», когда станет ясно, какими возможностями обладают артисты для приближения к поэме, тогда надо будет вести репетиции в *постоянном* Вашем присутствии. Это будет не раньше конца ноября» (Вл. И. Немирович-Данченко. Театральное наследие. 2. Избранные письма. М., 1954, стр. 338).

[3] После этого письма в переписке Блока с женой образовался невосполнимый пробел, так как дальнейшие письма Блока (не более десяти), посланные из действующей армии, были утрачены. Л. Д. Блок с середины сентября 1916 г. по середину февраля 1917 г. играла (под фамилией Басаргина) в Оренбурге, в труппе З. А. Малиновской. Во время переезда из Оренбурга в Петроград у нее украли чемодан, в котором находились, между прочим, и письма Блока, относящиеся к указанному периоду и посылавшиеся из дружины и из Петрограда (в конце сентября 1916 г. Блок приезжал в Петроград в отпуск; 2 ноября — вернулся в дружину). В письме от 13 ноября 1916 г. Любовь Дмитриевна так ответила на не дошедшие до нас письма Блока: «Твои открытки с дороги получила; ох, как я понимаю, что ты пишешь... Да, да, дряхлая старость, только не как конец всего, а как единственная возможность стать опять молодыми, такими, какими мы были, пока не перегрузили свою жизнь всяким, всяким — пусть даже хорошим...».

1917

302

14 февраля ⟨1917. Парохонск⟩

Люба, сейчас я узнал из тетиного письма, что ты приедешь в Петербург [1]. Тетя [2] знает, какого рода неприятности постигали нас здесь [3]. Пока все более или менее уладилось. Я бы, если бы знал, что ты в городе, стал бы проситься в отпуск, чтобы увидеть тебя и съездить к маме в Крюково [4]. Когда ты просила денег, я телеграфировал маме, потому что у меня не было [5]. Если бы ты телеграфировала мне теперь, когда приедешь в город, о том, что ты там, для меня бы это было крайне важно. Не знаю, можно ли будет уехать скоро по тысяче причин, но я очень хочу этого и хочу видеть тебя. Я устал порядочно от бестолковости, которой здесь много. Господь с тобой, я буду ждать телеграммы; Парохонск, Тринадруж [6].

А.

[1] Из Оренбурга.

[2] М. А. Бекетова.

[3] Имеются в виду осложнения, возникшие в 13-й инженерно-строительной дружине. По разъяснению М. А. Бекетовой, «дело касается злоупотреблений с продовольствием для рабочих, раскрытых отчасти при посредстве Блока, вследствие чего его ожидало очень нежелательное для него повышение, которое не состоялось. Кроме того, были слухи, исходившие из штаба начальника инженеров армии и из совета В. З. Г. С. в Минске, о возможности расформирования дружины в виду некоторых недочетов в ведении отчетности и работ» («Письма к родным», т. II, стр. 481).

[4] Мать Блока находилась в это время в санатории для нервных больных в поселке Крюково (под Москвой).

[5] В телеграмме к матери от 23 января 1917 г. Блок просил: «...Пошли Любе триста рублей Оренбург» («Письма к родным», т. II, стр. 329).

[6] То есть: «Тринадцатая дружина».

303

Телеграмма

20 марта 1917. Петроград [1]

Приехал [2] беспокоюсь что ты когда вернешься Блок [3]

[1] Дата телеграфного бланка.

[2] 19 марта 1917 г. Блок приехал в Петроград в отпуск.

[3] Ответная телеграмма Л. Д. Блок из Москвы: «Приеду конце недели побываю Крюкове лето служу Пскове Люба» (в Крюкове, под Москвой, в санатории жила мать Блока).

304[1]

22 апреля 1917 〈Петроград〉

Из Москвы я торопился [2], надеялся застать тебя, вернулся 18-го, а ты уж накануне уехала [3]. Я уже успел погрузиться в тоску и апатию, не знаю, зачем существую и что дальше со мной будет. Молчу только целые дни. Сколько уж лет я тебя не видел, как скучно и неуютно без тебя, а уж скоро старость. Так всегда — живешь, с кем не хочешь, а с кем хочешь, не живешь. Спасибо тебе за «Старые годы» [4] и за разные другие заботы, единственный мой Бу. Очень без тебя трудно и горько. Зачем это? Господь с тобой.

А.

[1] На обороте листка напечатано:

«Но иногда мечтой воспламененный,
Он видит свет, другим не откровенный. (Баратынский)».

[2] Блок ездил в Москву (уехал 9 апреля) по вызову Художественного театра, в связи с постановкой драмы «Роза и Крест».

[3] Л. Д. Блок 17 апреля уехала в Псков, поступив на службу в тамошний театр.

[4] «Старые годы» — журнал для любителей искусства и старины (выходил с 1907 по 1916 г.). Вскоре, в январе 1918 г., размышляя о судьбах буржуазной интеллигенции, Блок записал в дневнике: «...Приходится переоценивать не только их «Старые годы» (которые, впрочем. никогда уважения не внушали: буржуйчики на готовенькой красоте), но и «Мир искусства» и пр. и пр.» (VII, 319).

305

23 апреля 1917. 〈Петроград〉

Бросила бы лучше, неустойку заплатим [1]. Едва ли тебе приятно там. Ты прости, что я беспокою письмами, но не знаю, как дальше жить будем. Пожили бы немного вместе. Мож〈ет〉 быть, впрочем, это слабость; но если эта война будет еще продолжаться, я им сумею отомстить. Я знаю, в сущности, что зову тебя в ужасную жизнь, но не могу не звать, потому что только за тебя хватаюсь. Ты мне нужна, как воздух, без тебя нечем дышать.

А.

Тут бы можно в как〈ом〉-н〈ибудь〉 театре устроиться, или приготовляться к зимнему сезону.

[1] Совет бросить службу в Псковском театре; «неустойка» — антрепренеру.

306

Телеграмма

3 мая 1917 Петроград [1]

Пишу писал дважды писем не получил Блок.

[1] Дата телеграфного бланка.

307

3 мая 1917. 〈Петроград〉

Сегодня пришла твоя телеграмма, я тебе ответил [1]. Твоих писем не было, двух писем от меня ты тоже не получила. Трудно теперь сообщаться.

Я обратился к Терещенке с просьбой, но ответа не получаю и мало надеюсь на него, потому что как раз эти дни длится кризис, ему не до того,



Зимний Дворец,
май
1917.

БЛОК

Фотография, 1917

На обороте надпись Блока: «Зимний дворец. май 1917»

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

да и хочет ли он, сомневаюсь. Это — немного слишком высокая инстанция для таких просьб, но я обратился к нему, потому что очень люблю и ценю его, он меня любит тоже (в Москве мы виделись). Он — настоящий художник, таких почти не существует [2].

Повторять ли тебе просьбу о приезде? Нет особенной нужды для тебя сидеть там, а что еще будет дальше, я не знаю.

В ту минуту, как я это пишу, принесли твое письмо от 22-го, вскрытое военной цензурой. Тебе там хорошо, я вижу, жалко звать тебя, маленького. Из того, что ты пишешь о «старозаветных» барышнях [3] и из того, что письмо нагло вскрыто, я вижу, что в Пскове пахнет войной, т. е. гнилью и разложением, боюсь, что пахнет даже всеми теми пошляками, которые арестованы [4]. Как ты пишешь странно, ты не проснулась еще. Уезжая отсюда, ты мне писала об угрозах ленинцев. Неужели ты не понимаешь, что ленинцы не страшны, что все по-новому, что ужасна только старая пошлость, которая еще гнездится во многих стенах [5]?

Пришла квитанция на твои вещи, они только 14 апреля посланы из Оренбурга большой скоростью, багажом не приняли. В обществе, куда я заходил, обещали прислать сейчас же, когда они придут, прямо в квартиру. Будет стоить дорого (рублей 100), но деньги у меня есть. Хочешь денег? Я пришлю.

Тетя [6] уедет 7-го, я почти не вижусь с ней; но когда она уедет, станет как-то беспочвеннее в квартире. Что делать с Маней [7]? Все это неважно; но как-то все один, да один, думаешь свои мрачные думы, как бы не застигло врасплох «оно» (разумея под этим что-нибудь хаотическое и бессмысленное, все к той же войне что ли относящееся, не знаю). Про дела свои как-то не хочу тебе писать сейчас; пока на плечах картон с галуном, нет почвы настоящей, каким-то подлецом и пошляком себя чувствуешь. А я бы еще пригодился кое на что.

Франца отрешили от дивизии («омоложение») и дали ему запасную бригаду.

Господь с тобой, моя Бу. А.

[1] См. телеграмму № 306.

[2] Блок, не получая увольнения из 13-й инженерно-строительной дружины, крайне тяготился неопределенностью своего положения. Будучи в апреле 1917 г. в Москве, он после долгого перерыва встретился (14 апреля) с М. И. Терещенко — в ту пору министром финансов Временного правительства (см. VIII, 483). По возвращении в Петроград, 30 апреля, он обратился к Терещенко с просьбой содействовать его освобождению от службы в дружине. Черновик письма — в записной книжке: «Михаил Иванович. Моя служба в 13-й инженерно-строительной дружине противна мне своей неопределенностью и бесполезностью. Срок отпуска истек, меня вызывают и грозят откомандированием. Быть рядовым я не сумею, идти в военное училище, кажется, поздно, да вряд ли из меня выйдет полезный офицер. Выполнять свое назначение в таком положении я не могу, так как я военнообязанный и не хочу укрываться. Если найдете возможным, прошу вас помочь мне делом или советом найти выход из моего положения» (ЗК, 319—320). Не получая от М. И. Терещенко ответа (как раз в эти дни во Временном правительстве разразился первый «кризис», связанный с мощными выступлениями народных масс под лозунгами: «Долой войну!» и «Вся власть Советам!»), Блок записал в записной книжке 5 мая: «Терещенко не отвечает; тут есть и то, что он *не хочет.* Я обратился к нему не потому, что он высокая инстанция, а потому, что я его люблю и он по отношению ко мне был всегда жестоко-честен. Но если он не хочет, я не отступлюсь от своего «дезертирства»: я семь месяцев валял дурака. Если меня спросят, «что я делал во время великой войны», я смогу, однако, ответить, что я делал дело: редактировал Ап. Григорьева, ставил «Розу и Крест» и писал «Возмездие» (ЗК, 321). Через два дня, 7 мая, Блок, без какого бы то ни было участия М. И. Терещенко, был назначен одним из литературных редакторов стенографического отчета Чрез-

вычайной следственной комиссии, учрежденной Временным правительством для расследования деятельности бывших царских министров и сановников.

[3] Л. Д. Блок писала из Пскова 22 апреля: «Я живу у двух старых барышень, у которых пансион для маленьких детей, они бывшие институтки, старозаветные, приветливые и любезные хозяйки до крайности‹...› Если ты приедешь на время или подольше‹...› всем будет очень удобно. А Псков — слов нет, какой хороший. Ну, точно маленький итальянский городишко; хожу по улицам с тем же чувством... Все церквушки такие не выдуманные, так органически выросли из земли — точно «хорошие» белые грибы, и у них такой же «простой профиль», как у твоего зайца, но тоже полон содержания и значения, как и у него; и очень много миленькости».

[4] В связи с мощными выступлениями петроградского пролетариата 20—21 апреля по поводу «ноты Милюкова», обращенной к западноевропейским правительствам и обещавшей им участие России в войне «до победного конца», буржуазия организовала свои контрдемонстрации. Антинародный и контрреволюционный характер этих демонстраций был настолько обнажен, что Временное правительство под давлением народных масс вынуждено было произвести аресты среди наиболее активных демонстрантов.

[5] В письме от 17 апреля, уезжая из Петрограда в Псков, Л. Д. Блок писала: «Мне очень беспокойно, и я хотела бы с тобой быть, помочь тебе в это головоломное время... Теперь я уже боюсь, чтобы ты оставался здесь— ведь грозят Ленинскими действиями многие рабочие‹...› Если тебя убьют, Лала, я тоже скапучусь—это я опять чувствую. Я тебя очень люблю».

[6] М. А. Бекетова.

[7] Портниха, жившая у Л. Д. Блок.

308

8 мая 1917. ‹Петроград›

В кратких словах: я один из 3-х редакторов Чрезв‹ычайной› следств‹енной› комиссии, хожу в Зимний дворец, читаю письма Николая Романова, работаю дома и должен работать, соблюдая тайну. Надеюсь присутствовать на допросах. Жалованье — 600 рублей.

Если будет время, я бы приехал к тебе, моя маленькая Бу. Но я бы очень хотел, чтобы ты жила здесь, все-таки. Если деньги тебя беспокоят, то, как видишь, не стоит о них думать; а ты бы тут лучше могла как-нибудь пристроиться или приготовиться к зиме. Господь с тобой.

А.

Картинки тебе для развлечения[1]. Я один живу.

8 мая 1917.

[1] На листе письма наклеены вырезанные Блоком картинки (см. фото на стр. 373).

309

14 мая 1917. ‹Петроград›

Вчера я получил твое, милая, письмо. Все это прекрасно, что ты пишешь о своей жизни там, и то, что ты не проснулась, и то, что ты утром ходишь к Псковскому детинцу, и что обо мне думаешь (я заслужил это, — представь себе, я в этом уверен, — несмотря на всю свою жизнь, более мрачную и более дикую, чем твоя [1]). То, что ты пишешь, подтверждает мои вечные мысли о тебе. Но я тоже скажу, — что же мне притворяться? Мне страшно недостает тебя, все чаще, несмотря на то, что моя жизнь наполнена до краев (я все еще пишу тебе об этом, кажется 5-й или 6-й раз). Иногда, так тебя не хватает, трудно сказать, например, сейчас; у меня есть тихий час, посидеть бы с тобой. Завтра опять будет очень ответственный день, я буду и во дворце и в крепости [2]. Я вижу и слышу теперь то,

чего почти никто не видит и не слышит, что немногим приходится наблюдать раз в сто лет. Я надеюсь пока удержаться здесь, хотя меня опять треплют (скучно описывать возникшую обо мне переписку [3]). У меня очень напряжены мозг и нервы, дело мое страшно интересно, но оно, действительно, трудное и берет много времени и *все* силы. Жить так внешним образом (в смысле прислуги и пр.) я тоже мог бы здесь без тебя (не скрываю), хотя кое в чем иногда хотел бы помощи (не в пустяках, право, просто иногда времени не хватает на пустяки). Но время такое, положение такое, что не знаешь, что завтра будет; все насыщено электричеством, и сам насыщен, и надо иногда, чтоб был рядом такой, которому веришь и которого любишь. Все это я о себе (по обыкновению, но мне суждено постоянно исходить из себя, это — натура и входит в мой план), но я все жду, чтобы совпало; и жду этого я, никогда не ошибавшийся. Господь с тобой.

А.

Говоря «деловито»: Л. Я. Гуревич [4] здесь и делает то же, что я, рано или поздно мы с ней встретимся. Кажется, и Гайдебуров [5] тут (?) [6]. А провинциальная антреприза летом в России 1917 года — что такое?

Все твои письма «вскрыты военной цензурой». С вещами твоими — без движения. Маню я посылаю иногда и прошу ее исполнить некоторые поручения.

[1] Отвечая на письмо Блока от 3 мая, в котором он упрекал Любовь Дмитриевну в том, что она «не проснулась еще», Любовь Дмитриевна писала 11 мая: «Что же мне притворяться? Вероятно да, еще и теперь не проснулась я: сегодня Вознесение, я встала рано, в 7 ч⟨асов⟩ и пошла на Детинец; там растут березы и сирень, зеленая трава, на остатках стен, далеко под ногами сливаются Пскова и Великая, со всех сторон белые церквушки и голубое небо,— мне было очень хорошо, только отчаянно хотелось, чтобы и ты был тут и видел».

[2] Чрезвычайная следственная комиссия работала в Зимнем дворце; для допросов арестованных министров и сановников члены и работники комиссии выезжали в Петропавловскую крепость.

[3] Начальник 13-й инженерно-строительной дружины Л. Н. Лодыженский возражал против откомандирования Блока в распоряжение Чрезвычайной следственной комиссии. В середине июня Блок писал матери: «Исполнительная комиссия» дружины, наконец, откомандировала меня, прислав мне выписку из протокола заседания, где сказано, что они «выражают глубокое сожаление по поводу утраты редкого по своим качествам товарища», и считают, что, «если состав Верховной Следственной Комиссии будет пополняться такими людьми, то Революционная Демократия должна быть спокойна и уверена в том, что изменники и деспоты отечества не избегнут справедливого приговора народного Правосудия» (VIII, 502).

[4] Любовь Яковлевна *Гуревич* (1866—1940) — литературный и театральный критик, давняя знакомая Блока. Она также входила в число редакторов Чрезвычайной следственной комиссии.

[5] Павел Павлович *Гайдебуров* (1877 — 1960) — драматический актер и режиссер, руководитель «Передвижного театра».

[6] Упоминания о Л. Я. Гуревич и П. П. Гайдебурове связаны с просьбой Л. Д. Блок похлопотать об ее определении в какой-либо из петроградских театров,— в частности, при посредстве этих лиц.

310

23 мая 1917. ⟨Петроград⟩

Милая, я решил послать к тебе Маню [1], хотя вещи не присланы. Если сама не соберешься приехать, и она очень нужна тебе, оставь ее у себя; но лучше, пусть она вернется: во-первых, я не справлюсь с вещами, которые придут же рано или поздно; во-вторых, и главное, я хочу полу-



В кратких словах: я один из 3-х редакторов Чрезв. Следств. Комиссии, хожу в Зимний Дворец, чрез мебели Николая Романова, работаю дома и должен работать, соблюдая тайну. Надеюсь присутствовать на допросах. Жалованье — 600 рублей.

Если будут деньги, я бы приехал к тебе, моя маленькая Бу. Но я бы очень хотел, чтобы ты жила здесь, всетаки. Если деньги тебя беспокоят, то, как видишь, не стоит о них думать; а ты бы тут лучше могла как-нибудь пристроиться или приготовиться к делу.

Карминых нет.
Нет развлечений.
Я один живу.

Господь с тобой...

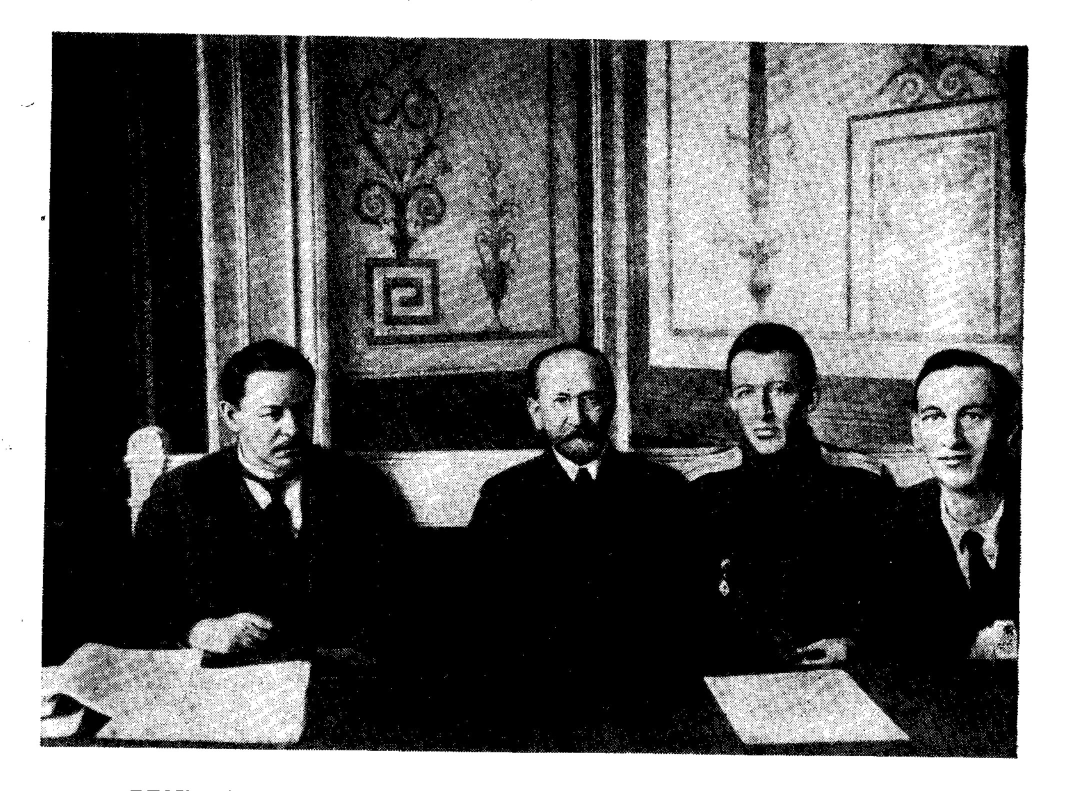
А.

8 мая
1917.

ПИСЬМО БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК 8 МАЯ 1917 г.

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва



БЛОК НА ЗАСЕДАНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Рядом с Блоком (слева) академик С. Ф. Ольденбург
Фотография, 1917
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

чить от тебя письмо, не вскрытое военной цензурой, как все, приходящие по почте.

Мане я дал 20 рублей, возьми у нее сдачи, если она с тобой останется. Посылаю тебе журнал и письмо, которые ты получил, и денег 300. Когда еще денег надо, напиши.

Я устал от многих навсегда неизгладимых впечатлений; особенно в камерах Трубецкого бастиона — у Вырубовой, у Протопопова, у Воейкова [2], у директоров департамента полиции, и многих других. Я слушал Горемыкина [3], над которым сейчас работаю, что особенно ответственно. Раза три в неделю я бываю во дворце и в крепости, а остальные дни работаю дома, так что выехать никуда не могу.

Не навестишь ли ты своего хозяина, если не думаешь совсем переехать к нему [4]? Я бы и на твоем месте хотел быть ближе к центру, когда в стране так тревожно. Сейчас — никакие неожиданности не исключены (в том числе, и театральные). А говоря не официальным языком,— вместе, вместе надо быть, скучаю без тебя; комната твоя — чужая, загроможденная, и в ней — не твой беспорядок. Обнимаю тебя, целую тебя, маленькая Бу.

А.

Мама завтра переезжает в Шахматово [5]. Напиши ей, если не очень лень, несколько слов.

[1] Портниха, жившая в доме Блока.

[2] Анна Александровна *Вырубова* (Танеева) (1884—?) — фрейлина императрицы Александры Федоровны, фанатическая поклонница Распутина. Александр Дмит-

ПИСЬМО БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК 21 ИЮНЯ 1917 г.
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

риевич *Протопопов* (1866—1918) — последний царский министр внутренних дел, ставленник Распутина, крайний реакционер. Владимир Николаевич *Воейков* (1868—?) — генерал, дворцовый комендант и доверенное лицо Николая II.

[3] Иван Логинович *Горемыкин* (1839—1917) — министр внутренних дел (1895—1899) и председатель Совета министров (1906 и 1914—1916).

[4] Любовь Дмитриевна приехала в Петроград утром 3 июня на два дня; уехала 4 июня вечером.

[5] Из санатория в Крюково.

311

Телеграмма

24 мая ⟨1917⟩. Петроград [1]

Вещи пришли Блок

[1] Дата телеграфного бланка.

312

28 мая 1917. ⟨Петроград⟩

Моя маленькая Бу, прежде всего — о вещах. Я дал Мане 100 р., в прошлый раз дал ей на дорогу 20 р., спроси с нее и возьми себе, что останется.

Я не склонен особенно оспаривать то, что ты пишешь. Могу сказать только одно: если это действительно правда (а в этом много правды, но есть и другие), это только усугубляет трагедию России. Есть своя страшная правда и в том, что теперь носит название «большевизма». Если бы ты видела и знала то, что я знаю, ты бы отнеслась все-таки иначе; твоя точка зрения — несколько обывательская, надо подняться выше [1].

Мне на днях или через некоторый промежуток времени надо идти в войска (если ты читала приказ Керенского). Я еще никаких решений не принял и не вижу ясно, а много работаю. Вчера обошел я 18 камер. Когда мозги от напряжения чуть не лопаются (кроме того, что нужно держаться определенной умственной позиции, надо еще напрягать внимание, чтобы не упустить чего-нибудь из виденного и слышанного), тогда легче, а, когда отойдешь, очень не по себе: страшно одиноко, никому ничего не скажешь и не с кем посоветоваться. Не знаю, как дальше все будет, не вижу вперед.

А.

[1] Имеется в виду письмо Любови Дмитриевны, без даты, посланное с оказией и полученное Блоком 25 мая 1917 г.

313

21 июня 1917. ⟨Петроград⟩

Милая, сейчас пришло твое письмо от 15-го, вскрытое. Работаю я много, бывают дни интересные, бывают просто трудные, пустых почти не бывает. Вообще, за это время моей жизни будет, что вспомнить, хотя я очень устаю временами и чувствую, как меняюсь, старею что ли, и государство затягивает меня в машину.

У меня лежат для тебя два журнала и еще книжечка в подарок.

Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия. Мы так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от 300-летней болезни. Наша Демократия в эту минуту, действительно, «опоясана бурей» [1] и обладает непреклонной волей, что можно видеть и в крупном и в мелком каждый день. Я был на Съезде Советов С⟨олдатских⟩ и Р⟨абочих⟩ Д⟨епутатов⟩ [2] и, вообще, вижу много будущего, хотя и погружен в работу над прошлым — бесследно прошедшим.

Все это — только обобщения, сводка бесконечных мыслей и впечатлений, которые каждый день трутся и шлифуются о другие мысли и впе-

ПИСЬМО БЛОКА Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ-БЛОК 20 ИЮЛЯ 1917 г.
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

чатления, увы, часто противоположные моим, что заставляет постоянно злиться, сдерживаться, нервничать, иногда — просто ненавидеть «интеллигенцию». Если «мозг страны» будет продолжать питаться все теми же ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и перестанет быть мозгом, и его вышвырнут — скоро, жестоко и величаво, как делается все, что действительно делается теперь. Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа? А могли бы своим опытом, купленным кровью детей, поделиться с этими детьми.

Господь с тобой, милая.

А.

[1] Слова Т. Карлейля.

[2] Блок присутствовал на заседании съезда 16 июня (в помещении Первого кадетского корпуса на Кадетской линии Васильевского острова). Свои впечатления он изложил в дневнике и в письме к матери 16 июня Блок, в частности, записал: «Вечером,

подойдя к кадетскому корпусу на 1-й линии, где заседает Съезд советов солдатских и рабочих депутатов, я увидал Муравьева, едущего в коляске. В «мандатном бюро» мне необыкновенно любезно выдали корреспондентский билет, узнав, что я — редактор Чрезвычайной следственной комиссии. По длинным коридорам, мимо часовых с ружьями, я прошел в огромный зал, двухсветный наверху. Был еще перерыв. Зал полон народу ‹...› На том месте, где всегда торчал царский портрет,— очень красивые красные ленты (они — на всех стенах и на люстрах) и рисунок двух фигур: одной — воинственной, а другой — более мирной, и надпись — через поле — С‹ъезд› С‹оветов› Р‹абочих› и С‹олдатских› Д‹епутатов› ‹...›

Говорил с молодым преображенским солдатом, который хорошо, просто и доверчиво рассказал мне о боевой жизни, наступлении, окопах, секретах, лисьих норах; как перед наступлением меняется лицо (у солдата — синее), как потом надо владеть собой, как падают рядом, и это странно (только что говорил с человеком, а уж он — убит). Что он хотел «приключений» и с радостью пошел, и как потом приключений не вышло, а трудно (6 часов в секрете на 20-градусном морозе). И еще — о земле, конечно; о помещиках Ряжского уезда, как барин у крестьянина жену купил, как помещичьи черкесы загоняли скотину за потраву, о чересполосице, хлебе, сахаре и прочем. Хорошо очень». В записи от 18 июня — «Перед окнами — жаркая праздничная пустота, а утром — собрались рабочие Франко-русского завода под знаменем с надписями: «Долой контрреволюцию», «Вся власть в руки Советов Солдатских и Рабочих Депутатов» (VII, 262—264).

Муравьев — Николай Константинович Муравьев (1870—1936) — известный юрист, председатель Чрезвычайной следственной комиссии.

О революционном Петрограде этих дней Блок писал матери 19 июня 1917 г.: «На деле — *город все время находится в состоянии такого образцового порядка, в каком никогда не был* (мелкие беспорядки только подчеркивают общий порядок) ‹...› Я работаю очень много» (VIII, 502).

314

30 июня — 1 июля ‹1917. Петроград›

Моя милая, когда получишь эту записку, если сама не думаешь навестить хозяина, прислала бы Маню с письмом. Тогда я во-время получу письмо, а она свезет тебе журналы и денег, которых, я думаю, у тебя нет.

Господь с тобой.

А.

Не пиши иначе, как заказными.

315

‹3 июля 1917. Петроград›

Милая, посылаю книжку и журналы (2). Сейчас так устал во дворце, что ничего не могу писать.

Господь с тобой. А.

3 июля.

Пришли Маню за деньгами (я писал).

316

16 июля 1917. ‹Петроград›

Милая моя, приезжай, я тебя очень буду ждать к 1 августа, велю убрать твою комнату. Получила ли ты деньги? Я их послал по почте, потому что, говорят, все равно, телеграммы идут почтой.

Господь с тобой. А.



БЛОК И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК НА БАЛКОНЕ СВОЕЙ КВАРТИРЫ (ПЕТРОГРАД)
1919, фотография С. М. Алянского
Собрание С. М. Алянского, Москва

317

20 июля 1917. ⟨Петроград⟩

Милая, я тебя очень жду. Когда Маня приехала с сундуками, меня это взбудоражило. Конечно, очень много надо решить, и о тете [1], и о разном. Писать об этом не стоит, лучше, не торопясь, поговорим. Когда так долго не видишься с тобой, часто нужно многое сказать, обо многом советоваться, потом это заслоняется другим, входишь в другую колею. Что со мной будет (в смысле войны), я еще совершенно не знаю; пока — дела много,

из-за этого многое забываешь. Так много с тобой не сказано, что даже, когда пишу, одолевает торопливость. Как хорошо, что тебе надоело быть «провинциальной актрисой» [2], у меня к этому много бывает разных чувств. Ну, до свиданья, выезжай, как только можешь скорей [3].

[1] Вопрос о том, где будет жить М. А. Бекетова.

[2] «Как мне не терпится уехать отсюда и перестать быть «провинциальной актрисой»,— писала Л. Д. Блок 18 июля.

[3] Л. Д. Блок вернулась в Петроград 1 августа 1917 г. В письме от 18 июля она писала: «Наконец, и мне очень хочется пожить около Лалы, понабраться «настоящего», да и время такое, что надо быть вместе, как ты писал и как я чувствую теперь».

Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок:

«Жить рядом с Блоком и не понять пафоса революции, не умалиться перед ней со своими индивидуалистическими претензиями — для этого надо было бы быть вовсе закоренелой в косности и вовсе ограничить свои умственные горизонты. К счастью, я все же обладала достаточной свободой мысли и достаточной свободой от обывательского эгоизма. Приехав из Пскова очень «провинциально» настроенной и с очень провинциальными «ужасами» перед всяческой неурядицей, вплоть до неурядиц кухонных, я быстро встряхнулась и нашла в себе мужество вторить тому мощному гимну революции, какой была вся настроенность Блока. ⟨...⟩

Я отдала *революции* все, что имела, так как должна была добывать средства на то, чтобы Блок мог не голодать, исполняя свою волю и свой долг — служа Октябрьской революции не только работой, но и своим присутствием, своим «приятием».

Совершенно так же отчетливо, как и он, я подтвердила: «Да, дезертировать в сытую жизнь, в спокойное существование мы не будем». Я знала, какую тяжесть беру на себя, но я не знала, что тяжесть, падающая на Блока, будет ему не по силам,— он был совсем молодым, крепким и даже полным юношеского задора».

О ВСТРЕЧАХ С ЛЮБОВЬЮ ДМИТРИЕВНОЙ БЛОК И О СУДЬБЕ ХРАНИВШЕГОСЯ У НЕЕ АРХИВА ПОЭТА

Сообщение И. С. Зильберштейна

1925 год, Ленинградский университет. В те времена студентам жилось слишком вольготно. Поэтому почти каждодневно значительно больше часов, чем на университетских лекциях и на занятиях в семинарах, я проводил в Пушкинском Доме, — благо находился он тогда рядом, на крошечной Тифлисской улочке, куда выходила тыльная сторона университета.

В те годы мне казалось, что все самое интересное для меня на свете находится именно в том небольшом здании на Тифлисской улочке. Александр Блок обессмертил хранилище бесценных реликвий русской культуры в своем стихотворении «Пушкинскому Дому», написанном за полгода до кончины. В моей памяти постоянно воскресали чудесные строки этого стихотворения, которые я знал наизусть:

Имя Пушкинского Дома,
    В Академии наук!
Звук понятный и знакомый,
    Не пустой для сердца звук!

Это — звоны ледохода
    На торжественной реке,
Перекличка парохода
    С пароходом вдалеке.

Это — древний Сфинкс, глядящий
    Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
    На недвижном скакуне.

Завершалось стихотворение строками, которые навсегда остались в сердцах всех тех, для кого Пушкинский Дом был родным домом:

Вот зачем такой знакомый
    И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
    В Академии наук.

Вот зачем, в часы заката
    Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
    Тихо кланяюсь ему.

В этом заключительном четверостишии мне чудилось некое прощание великого поэта с любимым городом, — ведь то было самое последнее стихотворение Блока, а жизнь его завершилась через шесть месяцев. Кстати сказать, недавно была отыскана рукопись воспоминаний научной сотрудницы Пушкинского Дома Е. П. Казанович, в которых рассказывается о том, как было написано Блоком это стихотворение (см. журнал «Звезда», 1977, № 10).

Самым лучшим из всех дорогих мне людей в Ленинграде я считал Б. Л. Модзалевского, создателя и главного хранителя рукописного отдела Пушкинского Дома, человека неиссякаемой доброжелательности, беспредельного внимания к начинающим литературоведам. Его неизменная готовность помочь советом способствовала, в частности, написанию мною вышедшей в 1926 г. книжицы «Из бумаг Пушкина. Новые материалы».

Бывал я и в находившемся тогда в распоряжении Пушкинского Дома здании на Миллионной улице (ныне улица Халтурина, 22) — там устраивались выставки и научные заседания (этот особняк в начале прошлого века принадлежал князю Д. С. Абамелеку, — его дочери Анне в 1832 г. Пушкин вписал в альбом стихотворение «Когда-то (помню с умиленьем) /Я смел вас няньчить с восхищеньем»).

Вспоминаю устроенный в этом здании в августе 1926 г. литературный вечер, посвященный пятилетию со дня кончины Александра Блока. В программе вечера было анонсировано и выступление Любови Дмитриевны с чтением стихов поэта. Поэтому мы, молодые литературоведы, никогда не видевшие ее, собрались в сторонке от парадной мраморной лестницы, чтобы вблизи рассмотреть эту легендарную женщину, которой молодой Блок посвятил свои лучшие стихи и чье имя навсегда вошло в его жизнь.

Уже в первую минуту своего появления Любовь Дмитриевна поразила нас — высокого роста, величественная, преисполненная чувства собственного достоинства, с гордо посаженной головой. К тому же она была одета в красивое черное платье... И не только наше внимание приковывала к себе Любовь Дмитриевна на протяжении всего вечера, — все те, кто тогда пришел, не уставали рассматривать ее в упор, как рассматривают художественное произведение... Лишь позже, узнав, что в молодые годы Любовь Дмитриевна была актрисой, я понял: в том, как она держалась, была некая театральная условность, которая нередко свойственна актрисам и в жизни, даже тогда, когда они покидают сцену.

Смутно помню манеру, в какой Любовь Дмитриевна читала произведения Блока — его лирические стихи и отрывок из «Двенадцати». Но хорошо запомнил, как после окончания вечера ее провожал до извозчика, уже ждавшего у подъезда, Б. Л. Модзалевский. Мы, молодые, не отстававшие от Любови Дмитриевны и шедшие за ней следом, слышали их разговор: Борис Львович спрашивал Любовь Дмитриевну о дальнейшей судьбе архива Блока, говорил, что будет рад, если творческие рукописи и переписка поэта поступят в Пушкинский Дом. Ответ был лаконичен: архив еще не приведен в порядок, а в дальнейшем, возможно, будет отдан в Пушкинский Дом.

В начале 1928 г. Б. Л. Модзалевский скончался. Его светлой памяти я посвятил выпущенную издательством «Academia» в том же году мою книгу «История одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева». А два года спустя, по предложению М. Е. Кольцова, замечательного советского писателя, лучшего фельетониста того времени, возглавлявшего «Журнально-газетное объединение», я переехал в Москву.

При помощи Михаила Ефимовича весной 1931 г. мне удалось осуществить самую сокровенную мечту молодых лет моей жизни — приступить к созданию сборников неизданных материалов по истории русской литературы и общественной мысли. Этим сборникам мы дали название «Литературное наследство», а их выпуском, по указанию М. Е. Кольцова, занялось «Журнально-газетное объединение». Вскоре в работу включился С. А. Макашин, и началась наша многолетняя совместная деятельность по подготовке и изданию томов «Литературного наследства». В те годы большое участие в этой работе принимал наш товарищ, ныне покойный, И. В. Сергиевский.

За первые пять лет существования «Литературного наследства» мы выпустили тринадцать книг (№№ 1—26). Некоторые тома были сборными, другие тематически едиными, — в их числе пушкинский, весьма объемистый (около 1200 страниц и 337 иллюстраций), превосходно отпечатанный в Гознаке; в отдельном томе обнародованы неизвестные произведения и письма наших прогрессивных писателей XVIII в., специальные тома были посвящены разработке темы «Гете и русская культура», Н. А. Добролюбову и Н. Г. Чернышевскому, М. Е. Салтыкову-Щедрину...

Но материалов по русской литературе XX в. мы не касались (если не считать публикации в сборных томах двух интереснейших писем Леонида Андреева к А. М. Горькому, статьи «Валерий Брюсов и первая русская революция» и нескольких ранее не выявленных произведений В. В. Маяковского). И только в 1936 г. мы с И. В. Сергиевским решили заняться подготовкой тома неизданных материалов о видных мастерах русского символизма — Александре Блоке, Андрее Белом, Валерии Брюсове. Начались поиски материалов, и это привело меня к Л. Д. Блок.

До сих пор живет во мне то чувство благоговения, с каким я впервые подходил к дому на б. Офицерской улице и переступал порог квартиры, где всего пятнадцать лет назад жил и творил великий поэт, где он скончался. Познакомившись же с Любовью Дмитриевной спустя десять лет после того, как впервые увидел ее на вечере памяти Блока, я, откровенно говоря, был огорчен: за эти годы она очень пополнела, в ее лице уже не было прежнего обаяния, а главное — Любовь Дмитриевна выглядела много старше своих лет, хотя ей тогда было всего 54 года.

В нашей первой беседе, как и в некоторых дальнейших, принимала участие В. П. Веригина, приятельница Л. Д. Блок, — с молодых лет они дружили. Передавая Любови Дмитриевне в подарок наш пушкинский том, я сказал, что мы собираемся выпустить «символистский» том «Литературного наследства», уделив в нем значительное место публикациям и сообщениям о Блоке. Ознакомившись с оглавлением пушкинского тома, Любовь Дмитриевна стала перелистывать книгу, а увидев цветное воспроизведение великолепного портрета Н. Н. Пушкиной, исполненного акварелистом В. Гау спустя восемь лет после гибели поэта, не отрываясь смотрела на эту превосходную репродукцию. Перелистав еще несколько страниц, Любовь Дмитриевна вновь вернулась к той репродукции,— видимо ей запал в душу пленительный портрет Н. Н. Пушкиной.

Что же касается цели нашей встречи, то мы договорились, что Любовь Дмитриевна предоставит для публикации в подготовляемом томе юношеский дневник Блока, а также те из писем Белого, которые мы решили напечатать вместе с некоторыми ответными письмами Блока (копиями последних мы уже располагали). Договорились и о том, что комментирование этих материалов будет поручено В. Н. Орлову (кстати сказать, оказавшему нам большую помощь в создании «символистского» тома). Тогда же Любовь Дмитриевна показала подлинник юношеского дневника Блока, все адресованные ему письма Белого — их сохранилось двести, причем многие были весьма пространными. Впервые увидел я и рисунки Блока — робкие и неумелые, они вместе с тем производили трогательное впечатление; особенно хороши были его шаржи на жену и на писателей того времени.

Вторая наша встреча ознаменовалась новыми результатами.

В то время в Москве уже существовал основанный В. Д. Бонч-Бруевичем Литературный музей. В качестве его директора Владимир Дмитриевич сумел за немногие годы собрать ценнейшие архивные фонды. Несмотря на пожилой возраст, делал он это с удивительной самозабвенностью, которая передавалась всем, помогавшим ему приумножать рукописные богатства нового музея. Принимать в этом участие довелось и мне. Так, еще до знакомства с Любовью Дмитриевной, во время моих многочисленных поездок в Ленинград с целью разыскания материалов для очередных томов «Литературного наследства», мне удавалось находить для Музея множество ценнейших рукописей и даже целых фондов, в их числе богатейший архив писателя, литературного критика и редактора журнала «Библиотека для чтения» А. В. Дружинина. В этот архив, кроме содержательных дневников Дружинина, входило множество писем к нему П. В. Анненкова, В. П. Боткина, И. А. Гончарова, Д. В. Григоровича, Аполлона Григорьева, М. Н. Каткова, Н. А. Некрасова, А. Н. Островского, И. И. Панаева, А. Ф. Писемского, А. Н. Плещеева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. А. Фета и многих других литературных деятелей того времени. Отыскал я также и приобрел для Литературного музея дневники и творческие рукописи поэта и драматурга М. А. Кузмина, архив художника К. А. Сомова, в котором сохранились сотни писем выдающихся деятелей творческого объединения «Мир искусства»... Немало было мною получено для Музея и по Блоку: у его ближайшего друга Е. П. Ива-

нова («рыжий Женя») приобрел адресованные ему 73 письма поэта (1904—1920), два письма к М. П. Ивановой (1911—1912), а также фотографию Блока с надписью ей; у П. П. Щеголева* — 20 автографов стихотворений Блока; у поэтессы и переводчицы В. Е. Аренс — пять писем Блока, к ней обращенных; в семье поэта и беллетриста В. И. Кривича-Анненского удалось получить принадлежавший ему альбом, в котором наряду с записями А. А. Ахматовой, Андрея Белого, М. А. Волошина, А. М. Горького, Вячеслава Иванова, А. Ф. Кони и В. Г. Короленко был автограф стихотворения Блока «Над черной слякотью дороги»; у антиквара Ф. С. Соколова приобрел два автографа Блока — стихотворение «Никто не умирал. Никто не кончил жить» и письмо к В. А. Пясту от 3 марта 1913 г., а также 17 изданий поэмы «Двенадцать» на разных языках; у букиниста А. С. Молчанова — ту же поэму, изданную в 1918 г. издательством «Алконост» с дарственной надписью Блока пушкинисту П. О. Морозову. Тогда же удалось получить для музея две редчайшие фотографии Блока-гимназиста: одна запечатлела его на рыбной ловле, другая — с конюхом, верхом на лошадях, направляемых к озеру на водопой. Наконец, я отыскал несколько подлинников иллюстраций Ю. П. Анненкова к первому изданию поэмы «Двенадцать», выпущенному в 1918 г. (В архиве В. Д. Бонч-Бруевича, который находится в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, сохранились мои письма, где отражено проводившееся мною в те годы интенсивное выявление для Литературного музея архивных материалов и произведений изобразительного искусства — ф. 369, картон 274, ед. хр. 6).

К тому же я вел в Музее редакторскую и авторскую работу по некоторым задуманным нами с Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем изданиям, в частности, по томам «Летописей», в которых публиковались ранее неизвестные творческие, эпистолярные и документальные материалы русских писателей прошлого.

Вот почему во время второй встречи я попросил Любовь Дмитриевну уступить музею подлинники всех писем Белого к Блоку (охватывающих период времени с 1903 по 1919 г.) с тем, чтобы в дальнейшем их переписку можно было бы опубликовать отдельным томом в «Летописях», выпускаемых Литературным музеем. Любовь Дмитриевна согласилась с этим предложением. Тогда же В. П. Веригина вручила мне для Музея свои «Театральные воспоминания о Блоке».

Нужно ли говорить, как я был рад тому, что увенчались успехом мои хлопоты не только для «символистского» тома «Литературного наследства», но и для Музея, как был счастлив В. Д. Бонч-Бруевич, когда я привез и передал ему подлинники писем Белого к Блоку, воспоминания Веригиной. Забегая вперед, скажу, что в 1940 г. вышел в свет том «Летописей», который назывался «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка», со вступительной статьей и комментариями В. Н. Орлова. Весьма трудоемкая работа по выпуску этого издания, выходившего в сложных условиях, лежала на мне. Книга эта до сих пор является незаменимым пособием для тех, кто занимается изучением русской литературы нашего века. С полным основанием Андрей Белый считал, что его переписка с Блоком «блестящий литературный дневник эпохи».

На протяжении 1936 и 1937 гг. я продолжал бывать у Любови Дмитриевны. Она часто жаловалась на плохое состояние здоровья, тем не менее много писала о балетном искусстве, мечтала выпустить книгу о замечательной ленинградской балерине Галине Кирилловой и почти не пропускала спектаклей с ее участием.

Вспоминается весна 1938 г., когда я привез в подарок Любови Дмитриевне один из первых экземпляров нашего «символистского» тома (№ 27-28; хотя он датирован 1937 г., но вышел в начале следующего года). Том произвел на нее самое благоприятное впечатление еще, видимо, потому, что некоторые опубликованные в нем материалы были прямыми свидетельствами о ее молодости, овеянной чудесной поэзией, но и отягощенной нелегкими личными переживаниями. О ней много говорилось в юношеском дневнике Блока, где сохранились черновики неотправленных четырех его

---

* Павел Павлович Щеголев — сын Валентины Андреевны Щеголевой, которой посвящены три стихотворения Блока; сохранилась также ее переписка с поэтом.

писем к Любови Дмитриевне, а также посвященные ей стихи; она незримо присутствовала и в опубликованной в томе части переписки Блока и Белого, которая свидетельствовала, что отношения друзей едва не завершились дуэлью из-за Любови Дмитриевны... В дальнейшем она просила подарить ей несколько экземпляров тома, предназначавшихся, вероятно, матери, художнице А. И. Менделеевой, младшей сестре, М. Д. Кузьминой, В. П. Веригиной.

Поскольку творческие рукописи покойного мужа и его дневники Любовь Дмитриевна, как она мне тогда говорила, считала нужным в дальнейшем передать Пушкинскому Дому (впоследствии они туда и поступили), я начал с ней во второй половине 1938 г. переговоры о приобретении Литературным музеем всех сохранившихся в архиве Блока писем, принадлежащих перу литераторов и общественных деятелей. Вскоре переговоры завершились положительно, и весной следующего года весь этот фонд, куда входило, кроме ранее приобретенных двухсот писем Андрея Белого и писем Любови Дмитриевны к Блоку, еще свыше двух тысяч ста документов, был приобретен мною для Музея и привезен туда его секретарем К. Б. Суриковой вместе с описью, составленной владелицей архива.

В этом фонде сохранились письма 440 корреспондентов Блока. Но до сих пор они изучены лишь в малой степени. Между тем в них есть сведения уникального характера. Так, некоторые из этих эпистолярных документов свидетельствуют о том, что до нас не дошло множество писем Блока, порой интереснейших. Приведу такой пример. В указанном фонде оказалось 71 письмо С. М. Городецкого. Прочитав их, можно сделать вывод, что ответных писем Блока было почти столько же. И хотя ни одно из них до нашего времени, возможно, не сохранилось, об их содержании можно получить представление, ознакомившись с письмами Городецкого. Вот одно такое его письмо к Блоку от 28 июня 1906 г. (цитирую частично):

«Дорогой Александр Александрович.

Ваше письмо — самое важное, что совершилось за последнее время в литературе. Его будут воспроизводить в историях литературы. Вы — последнее, что надо было своротить с места во что бы то ни стало *. Это письмо — то, чего я неминуемо ждал после «Балаганчика», подведшего итоги. Только я ждал сразу в поэзии, но так еще лучше, решительнее ⟨...⟩

Наступает великое время, выходит народ. И этому времени — свое искусство, тоже великое. Я не знаю, что такое символизм, но что какой-то круг завершен, это слишком ясно. Уже плотники выводят крышу и зовут хозяев, а они придут и прежде всего сломают дом... Новое искусство только начинается и едва-едва можно указать некоторые его признаки: 1) сохранение всего существенного из только что законченного периода, 2) наибольшая общедоступность.

Теперь о Вас, т. е. не о Вас, а о Блоке. Оставляя восторженную аудиторию Блока в стороне, я возьму мнение людей, видящих дальше переживаемого момента... Вчера ⟨Вячеслав⟩ Иванов сказал мне: «Смотрите, как Блок идет к реализму». Сегодня Вы пишете: «искусство должно изображать жизнь», «Фома ⟨Гордеев⟩» — последнее нужное произведение» (напомню только одну фамилию: Леонид Андреев). Может быть, для Вас действительно дорога к большому искусству лежит через «реализм». Всякий идет своим коридорчиком, зато когда встретимся под общей крышей — небом, будет нечаянная радость, может и чаянная.

Против жизни только одно средство — жизнь. Вы не верите, что кто-либо напишет нужное? И не верьте, во-всю. Вы думаете, что Вы не писатель? И думайте. Нужно переживать начисто. Жизнь не иссякнет, только новые формы примет. Еврипид зарыл идол Диониса, выросло дерево, он сломал — в руках змея, и т. д. Не пишете стихов и не пишите. Придет само.

Вы были одним из ярких воплощений минувшего периода, теперь — крутой поворот, теперь нет никакого сомнения с наступлением нового — после письма...

* Речь идет о неизбежном для Блока переходе к новому периоду творчества, о котором он, очевидно, писал в своем не дошедшем до нас программном письме.

Очень хотел бы от Вас:

1) более подробного выяснения «секрета» Горького;

2) » » » тезиса, что «искусство должно изображать жизнь» (поскольку Вы согласны с формулой: явление жизни — семя художественного произведения) «и проповедывать нравственность» (и то и другое слово очень далеки мне);

3) Есть-ли какая-нибудь возможность получить «Нечаянную радость» раньше ее выхода, в виде ли корректуры, или в виде рукописи?

Все это при условии, что у Вас будет охота писать.

Крепко целую Вас, кланяюсь Вашим.

Сер. Городецкий».

Где это замечательное письмо Блока, на которое так горячо откликнулся Городецкий? Не хочется думать, что оно погибло.

В приобретенном мною весной 1939 г. для Литературного музея огромном фонде писем к Блоку сохранилось 44 письма Н. А. Клюева. Но ни одно ответное письмо пока не известно.

Можно привести еще ряд примеров, когда письма корреспондентов Блока служат свидетельством того, что целые связки писем самого поэта начисто отсутствуют. (Не теряя надежды разыскать утраченные письма Блока, мы будем благодарны читателям, если они смогут оказать редакции «Литературного наследства» содействие в этом отношении).

А сколько любопытнейших пометок Блока на адресованных ему письмах!

Таковы лишь некоторые примечательности этой весьма значительной и важной для изучения биографии и литературных связей Блока части его архива, которую удалось получить у Любови Дмитриевны весной 1939 г. для Музея, возглавлявшегося В. Д. Бонч-Бруевичем. И как важно для дальнейших научных разысканий по Блоку, что этот огромный фонд писем, ему адресованных, не разошелся по отдельным автографам, а сохранился таким, каким его сохранял до конца дней своих сам поэт.

С 10 по 18 сентября 1939 г. я находился по редакционным делам «Литературного наследства» в Ленинграде. Узнав, что Любовь Дмитриевна нездорова, решил ее не беспокоить, но не удержался и дня через три по приезде позвонил по телефону. Она попросила зайти к ней, и обязательно в тот же день, вечером. К моменту моего прихода на столе лежали аккуратно разложенные связки писем: это было переписка Блока с Любовью Дмитриевной. В тот вечер она и ознакомила меня впервые с подлинниками этой переписки, которая охватывала период времени в шестнадцать лет и содержала свыше трехсот неизданных писем Блока и свыше трехсот сорока писем Любови Дмитриевны к нему.

Даже после беглого просмотра этого фонда в течение трех-четырех вечеров стало ясно то огромное значение, которое имеет переписка Блока с женой для его творческой биографии, для истории русской литературы и театра того периода. Письма юного поэта поражали великой влюбленностью в жизнь и поэзию. А какая в них радость бытия, сколько ликующего счастья... Они воспринимались как стихотворения в прозе, составлявшие нерасторжимое целое с теми поэтическими шедеврами, которые юный Блок посвящал возлюбленной, включая многие из них в свои письма. Когда я в первый раз прочитал некоторые его ранние письма в те незабываемые вечера на Офицерской, в моем сознании они слились в единую и чудесную лирическую исповедь одного из самых пленительных русских поэтов. Кроме того, эти письма воспринимались как своего рода авторский комментарий к ранним циклам стихотворений Блока. Весьма значительный интерес представляли и его позднейшие письма к Любови Дмитриевне. Но наиболее волнующее и на всю жизнь сохранившееся впечатление у меня осталось от знакомства с ранними письмами Блока к ней, которые как бы слагались в главки единой прозаической поэмы. Характерно, что сам Блок писал невесте: «Ты принимаешь мои письма, как повесть. Значит, так надо» (см. наст. том, стр. 158).

Что же касается писем Любови Дмитриевны к мужу, которые она также показывала тогда, то меня прежде всего порадовал самый факт их сохранения ею, к тому же, по-видимому, без каких-либо изъятий. И это при всей роковой сложности отношений

Блока с женой. Мне было хорошо известно, как нередко жены, подруги, родственники великих художников слова после их смерти уничтожали свои письма к ним. Быть может, именно так поступила Наталья Николаевна, ни одно письмо которой к Пушкину до сих пор не известно (если не считать ее приписки к письму матери, адресованному поэту). Но ведь эти письма были ей возвращены. Спустя всего лишь пять дней после гибели Пушкина, когда царь уже поручил В. А. Жуковскому рассмотрение бумаг покойного, Наталья Николаевна обратилась к Василию Андреевичу с письмом, в котором содержалась только одна конкретная просьба: «Я буду просить Вас возвратить мне письма, писанные мною к моему мужу». В связи с этим 5 февраля 1837 г. Жуковский отправил шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу письмо, где были такие строки: «Супруга покойного просила меня собрать все письма и записки, ею писанные к мужу, и возвратить ей. Полагаю, что этих писем рассматривать не следует». Ответ Бенкендорфа гласил: «Письма вдовы покойного будут немедленно возвращены ей, без подробного оных прочтения, но только с наблюдением о точности ее почерка». Значит эти письма тогда же были отданы Наталье Николаевне. Но за 140 лет, прошедших с того времени, не удалось отыскать каких-либо следов тех писем! Вот почему можно предположить, что Наталья Николаевна их уничтожила. Нет сомнений, что Эвелина Ганская полностью истребила свои письма к Бальзаку, а их было, по-видимому, около пятисот. И всего лишь два таких ее письма случайно уцелели в книгах, принадлежавших великому романисту. Та же судьба постигла, очевидно, письма Полины Виардо к Тургеневу, — пережив Ивана Сергеевича на двадцать семь лет и владея его архивом, она самым бесцеремонным образом распорядилась творческими рукописями и письмами, ему адресованными, уничтожила, по-видимому, его дневники, где могли быть нелестные отзывы о ней, а также по каким-то причинам решила избавиться от своих писем к Тургеневу (их должно было быть свыше трехсот, а сохранилось около десяти). В литературе известны около ста писем Валентина Серова к жене; что же касается ее ответов, то она сама предала их огню. По каким-то причинам были уничтожены письма матери Блока к нему,— а их насчитывалось свыше шестисот.

Но несмотря на то, что семейная жизнь Блока и его жены сложилась отнюдь не так лучезарно, как начиналась, Любовь Дмитриевна сохранила и дневники мужа, и его письма к ней, а также свои письма к нему, хотя во всех этих документах имелось немало прямых свидетельств тех трудностей, которыми был отмечен их совместный жизненный путь.

Завершив просмотр переписки Блока с женой, а также различных изобразительных материалов, я стал убеждать Любовь Дмитриевну уступить все это Литературному музею. Она, видимо, и сама, до нашей беседы, пришла к этому решению и потому на мое предложение сразу ответила согласием. Но тут же поставила основное предварительное условие для переговоров на эту тему: сохранить за ней пожизненное право публикации переписки. Таким образом, музею предлагалось лишь приобретение автографов. Но так как названная Любовью Дмитриевной сумма за их передачу была по тем временам весьма значительной, мы решили отложить завершение переговоров до возвращения из отпуска В. Д. Бонч-Бруевича, который ожидался 4 октября 1939 г.

В Москву я вернулся 19 сентября, а через девять дней, 28-го числа, получил телеграмму В. П. Веригиной о скоропостижной смерти Любови Дмитриевны. В тот день я должен был встретиться в Москве с известной музейной деятельницей Н. Е. Добычиной. Но необходимость срочного отъезда заставила меня отправить ей записку, — она уцелела в архиве Н. Е. Добычиной, хранящемся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (ф. 420, картон 12, ед. хр. 54):

«Дорогая Надежда Евсеевна.

Только что получил телеграмму из Ленинграда о смерти Любови Дмитриевны Блок. Меня просят немедленно приехать по вопросу о судьбе архива А. А. Блока. Вернусь я 1 числа. Тогда же Вам позвоню, — и вручу Вам то, что Вы просили.

Всего доброго. И. Зильберштейн.

28. IX. 39.»

По приезде в Ленинград я пришел на Офицерскую, где находилась В. П. Веригина. Она мне рассказала, что 27 сентября решила навестить Любовь Дмитриевну, которая плохо себя чувствовала. Несколько раз стучала в дверь, но ответа не было. Снова постучала, и тогда открылась дверь, за которой стояла бледная Любовь Дмитриевна. А еще через минуту она упала на пол без признаков жизни.

В Ленинграде я связался с единственной сестрой покойной, М. Д. Кузьминой, и рекомендовал передать переписку Блока с Любовью Дмитриевной, а также другие материалы на хранение А. И. Менделеевой, их матери. Мария Дмитриевна сочла предложение правильным и тут же стала складывать в чемодан автографы, рисунки, фотографии. Для меня было полной неожиданностью, когда я увидел рукопись воспоминаний Любови Дмитриевны «И быль и небылицы о Блоке и о себе», а также большой конверт с какими-то бумагами, на лицевой стороне которого была ее завещательная надпись.

1 октября я вернулся в Москву, рассказал вскоре возвратившемуся из отпуска В. Д. Бонч-Бруевичу о всем происшедшем. Но отправиться в Ленинград я смог лишь 14 ноября, причем поехал с твердым намерением привезти оставшиеся материалы блоковского архива. Переговоры длились около двух недель, так как первоначальное решение А. И. Менделеевой и М. Д. Кузьминой свелось к тому, что они воздержатся от передачи всего этого фонда в Литературный музей ввиду сложности отношений Блока с Любовью Дмитриевной и преждевременности оглашения документов. Но после многократных подробных обсуждений возникшей проблемы Менделеевы изменили свою точку зрения, причем решающую роль в этом сыграл тот факт, что Любовь Дмитриевна выразила согласие на передачу в Литературный музей своей переписки с Блоком и других материалов, связанных с этой перепиской. Удалось также уладить вопрос о материальной компенсации за все передаваемое. Затем была составлена подробная опись, и в конце ноября весь этот драгоценный фонд я привез в Москву и передал В. Д. Бонч-Бруевичу.

Сохранился мой «Отчет о приобретении переписки А. А. Блока с женой и других материалов из архива Блока для Государственного литературного музея», на имя директора музея, датированный 30 ноября 1939 года; отчет находится в фонде этого музея, хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ф. 612, оп. 1, ед. хр. 113). Здесь, в частности, перечисляется то, что было тогда мною привезено (цитирую дословно):

«1) 305 писем А. А. Блока к Л. Д. Менделеевой-Блок за период времени с 1901 по 1917 г. (в счет не вошли конверты).

2) 343 письма Л. Д. Менделеевой-Блок к А. А. Блоку за тот же период.

3) Конверт с интимными записками Блока к жене и его рисунками. На конверте надпись: «Не открывать. Сжечь после моей смерти. Это только лично мое. 30. XI. 1931 г. Л. Блок». В конверте 168 автографов и рисунков Блока *.

4) Рукопись воспоминаний Л. Д. Блок-Менделеевой «И быль и небылицы о Блоке и о себе» на 239 страницах (здесь имеются также стихотворения Л. Дм., ее дневниковые записи о последних месяцах жизни Блока, ряд писем к ней).

5) Реликвии, относящиеся к начальному периоду взаимоотношений Блока с Л. Д. Менделеевой: первая записка Л. Дм. к Блоку, программа литературно-музыкального вечера 7 ноября 1902 г., на котором произошло их решительное объяснение; прядь волос Л. Дм.; часть ее платка; две любительские фотографии, изображающие Л. Дм.; вырезанные Блоком автографы Л. Дм. из ее студенческих книг и тетрадей; Евангелие, подаренное Блоком Любови Дмитриевне.

6) Десять писем разных лиц к Блоку (дополнение к собранию писем к Блоку, ранее приобретенному музеем).

7) Подлинный рисунок Г. Маркова, изображающий А. А. Блока и сделанный с натуры в 1911 году. Местонахождение рисунка до сих пор было неизвестно (см. «Литературное наследство», 1937, № 27-28, стр. 551). На рисунке сохранился автограф А. А. Блока.

---

* В конверте оказались мелкие записки и рисунки бытового характера.

8) Пакет с фотографиями отца поэта — А. Л. Блока, относящимися к различным периодам его жизни, 8 №№.

9) Пакет с фотографиями матери Блока — А. А. Бекетовой, на которых она изображена в девичестве, с первым мужем — А. Л. Блоком, со вторым мужем — Ф. Ф. Кублицким-Пиоттух, а также в старости. На некоторых фотографиях сохранились ее дарственные надписи первому мужу. Всего 26 №№.

10) Пакет с исключительно ценной коллекцией фотографий Блока периодов его детства, юности и студенческих лет. По всем данным это единственная сохранившаяся до наших дней подборка иконографии молодых лет Блока. Всего 40 №№.

11) Пакет с фотографиями А. А. Блока в последний период его жизни. Часть из них до сих пор не издана. Всего 10 №№.

12) Пакет с фотографиями друзей Блока: А. Белого, В. Соловьева, Мих. Соловьева. На конверте надпись рукою Блока. Всего 3 №№.

13) Пакет с фотографиями Л. Д. Менделеевой-Блок периода ее молодости. Всего 14 №№.

Следует указать, что на многих фотографиях сохранились пояснительные записи рукою Блока».

Завершается мой отчет словами:

«Таково вкратце содержание рукописного и иконографического фонда по Блоку, полученного мною от М. Д. Кузьминой-Менделеевой».

Печальная судьба могла постигнуть и этот драгоценный фонд архива великого поэта: спустя два месяца после того как все перечисленные в моем «Отчете» материалы уже находились в Литературном музее, в феврале 1940 г. А. И. Менделеева и М. Д. Менделеева-Кузьмина стали требовать возвращения некоторых из них обратно. У меня сохранилась (так как по просьбе В. Д. Бонч-Бруевича я ездил в Ленинград для урегулирования этого вопроса) их переписка, связанная с таким неожиданным требованием. И только благодаря нашей настойчивости и, прежде всего, решительному характеру Владимира Дмитриевича, весь этот фонд сохранился в неприкосновенности, а не разошелся по рукам, как нередко, к сожалению, случается. Благодаря этому и появилась возможность создать данный том «Литературного наследства». Об этом еще в давние годы мечтали мы с В. Н. Орловым, который на подаренном мне экземпляре книги «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка» сделал надпись, где, назвав меня «крестным отцом» этого издания, выразил надежду, что и том переписки Блока с женой предстоит «крестить» мне же.

В 1941 г. решением Советского правительства был основан Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, куда поступили, в частности, все рукописные материалы Литературного музея. Но ЦГАЛИ отнюдь не ограничился тем, что стал хранителем ранее собранного — его руководители и научные сотрудники своими поисками и находками чрезвычайно обогатили полученные фонды и в десятки раз приумножили их число. Именно за последнее пятнадцатилетие работа ЦГАЛИ по выявлению и собиранию интересных рукописных материалов, освещающих русскую и советскую культуру, приобрела огромный размах; его фонды часто пополняются ценнейшими поступлениями не только отечественного происхождения, но и полученными из-за рубежа. Вот почему за короткий период своего существования ЦГАЛИ вырос в одно из наиболее значительных архивохранилищ нашей страны.

Весьма увеличился за это время и блоковский фонд ЦГАЛИ. Сейчас в нем хранятся подлинные автографы многих поэтических творений Блока, рукописи его пьес, переводов, статей, речей, очерков, докладных записок, рецензий, отзывов, автобиографий. Что же касается подлинников писем Блока, то их количество в последнее время выросло на 300 единиц хранения, а обращены эти письма к тридцати пяти корреспондентам, в том числе к Леониду Андрееву, Иннокентию Анненскому, Анне Ахматовой, Николаю Гумилеву, Сергею Есенину, В. Ф. и Ф. Ф. Коммиссаржевским, В. А. Пясту, А. Н. Чеботаревской, Георгию Чулкову. В ЦГАЛИ собрано множество документов, связанных с Блоком, исполненных им рисунков, воспоминаний о нем, фотографий, книг с его дарственными надписями...

Располагая самой большой частью сохранившейся до нашего времени переписки Блока (свыше трех тысяч номеров), ЦГАЛИ выступил инициатором создания коллективного научного описания всех творческих рукописей поэта, его дневников, записных книжек, переписки, рисунков, портретов, оригиналы которых находятся в государственных архивах и музеях нашей страны, а точнее — в пятнадцати различных местах хранения. Подготовку к печати первых двух выпусков возглавил ЦГАЛИ: в одном из них приводятся сведения о подлинниках писем Блока, в другом — писем к нему. Это описание выполнено на высоком уровне научными сотрудниками соответствующих архивохранилищ, общее же руководство подготовкой издания осуществлено кандидатом филологических наук К. Н. Суворовой. В описании дается аннотация каждого письма: приводится его дата, неправильно установленные даты в изданных письмах уточняются, в случае отсутствия даты в оригинале неизданного письма — она определяется; приводится первая фраза письма, а если оно не издано — даются его краткое содержание и фамилии упоминаемых в письме людей; приводятся пометки Блока на письмах к нему; указываются публикации даже в тех случаях, когда цитировался только отрывок из письма; отмечаются неверные прочтения и пропуски слов, малейшие неточности, допущенные в появившихся в печати эпистолярных документах Блока. Короче говоря, эти два выпуска, на подготовку которых затрачен большой исследовательский труд, будут служить ценнейшим пособием не только для изучающих биографию и творчество Блока, но и для всех, кого интересуют документальные материалы, освещающие литературную жизнь тех десятилетий.

Первое из этих описаний недавно вышло в свет: ««Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Под редакцией В. Н. Орлова. Выпуск 1. Письма Александра Блока». Вскоре появится второй выпуск, в котором впервые дано описание всех сохранившихся писем, адресованных поэту.

Самые положительные результаты принесло многолетнее сотрудничество «Литературного наследства» с ЦГАЛИ. Целый ряд наших томов мог быть создан потому, что это замечательное архивохранилище и его научные сотрудники неизменно уделяли «Литературному наследству» большое внимание и во многом способствовали осуществлению и реализации наших планов.

Большую помощь в создании данного тома «Александр Блок. Письма к жене» оказала директор ЦГАЛИ Н. Б. Волкова. В настоящее время ведется совместная работа над подготовкой капитального двухтомника «Литературного наследства», который называется «Александр Блок. Новые материалы и исследования». В этом двухтомнике будут также впервые обнародованы неизданные творческие рукописи Блока и его письма, хранящиеся в других архивохранилищах Советского Союза и в личных коллекциях.

Через три года исполняется сто лет со дня рождения Александра Блока. Выход двухтомника «Литературного наследства» и будет приурочен к этой славной дате.

Среди высказываний Блока последних лет жизни есть одно, которое всегда будет читаться литературоведами, текстологами, архивистами с особенным волнением и чувством высокой ответственности. 1 января 1918 г., отвечая на анкету «О праве литературного наследования» (VI, 7), Блок признал народ бесспорным и единственным наследником всего, что было и еще будет создано поэтом. Его заключительные слова — незабываемый завет исследователям и издателям Блока: «Когда умру — пусть найдутся только руки, которые сумеют наилучшим образом передать продукты моего труда тем, кому они нужны».

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Все ссылки на произведения Блока даются по изданию: Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах под общей редакцией В. Н. Орлова, А. А. Суркова, К. И. Чуковского. М. — Л., «Художественная литература», 1960—1963 (указываются только тома — римскими цифрами и страницы — арабскими).

ЗК — Александр Блок. Записные книжки 1901—1920. М., «Художественная литература», 1965.

«Письма к родным» — Письма Александра Блока к родным. С предисловием и примечаниями М. А. Бекетовой. Л., «Academia», 1927.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (Москва).

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ*

Составила Е. М. Львова

I. ПОРТРЕТЫ

БЛОК И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК

---

* Список условных сокращений:

ГИАЛО — Государственный исторический архив Ленинградской области, Ленинград.

ГЛМ — Государственный литературный музей, Москва.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, Ленинград.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, Москва.

БЛОК И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК В РОЛЯХ

БЛОК И Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ

II. АВТОГРАФЫ

БЛОК

Л. Д. МЕНДЕЛЕЕВА-БЛОК

III. РИСУНКИ БЛОКА

ШУТОЧНЫЕ

IV. ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ БЛОКА И ЕГО КНИГИ С ДАРСТВЕННЫМИ НАДПИСЯМИ

V. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

VI. ПОРТРЕТЫ РОДНЫХ И СОВРЕМЕННИКОВ БЛОКА

В. Э. Мейерхольд. Фото с надписью: «Александра Александровича Блока я полюбил еще до встречи с ним. Когда расстанусь с ним, унесу с собой любовь к нему прочную навсегда. Люблю стихи его, люблю глаза его. А меня он не знает... Вс. Мейерхольд». ИРЛИ — 256

VII. РАЗНОЕ

Извещение о свадьбе Блока и Л. Д. Менделеевой, 17 августа 1903 г. ИРЛИ—180—181

Программа лекции Блока о театре. (Петербург, 18 марта 1908 г.) Послано с письмом 21 марта. ЦГАЛИ — 233

Афиша спектакля «Мисс Гоббс» по пьесе Джерома К. Джерома (бенефис Л. Д. Блок, Териоки, 4 августа 1912 г.). ИРЛИ — 315

Афиша спектакля «Электра» по пьесе Г. Гофмансталя с участием Л. Д. Менделеевой-Блок в роли Клитемнестры (Витебск, 20 февраля 1913 г.). ИРЛИ — 331

Программа первого представления пьесы Блока «Незнакомка» в концертном зале Тенишевского училища в Петербурге, апрель 1914. Из альбома Е. М. Мунт. Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва — 325

Афиша спектакля «Без вины виноватые» по пьесе А. Н. Островского в театре Путиловского завода (14 июня 1915 г.). Л. Д. Менделеева-Блок (сценическая фамилия — Басаргина) выступила в роли Отрадиной-Кручининой. ИРЛИ — 343

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Составила Е. М. Львова

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПИСЬМА 1901—1903 гг.

1901

1902

1903

II. ПИСЬМА 1907—1917 гг.

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

В книге 120 иллюстраций

Литературное наследство

Том 89

АЛЕКСАНДР БЛОК
ПИСЬМА К ЖЕНЕ

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редакторы издательства
Е. В. Белова, В. Ч. Воровская

Художник *Ю. А. Марков*

Художественный редактор *С. А. Литвак*

Технический редактор *Л. Н. Золотухина*

Корректоры
В. А. Бобров, В. Г. Петрова

ИБ № 5465

Сдано в набор 29.07.77.
Подписано к печати 08.12.77. А-13904
Формат 70×108[1]/16. Бумага типографская № 1
Гарнитура обыкновенная. Печать высокая
Усл. печ. л. 36,4. Уч.-изд. л. 33.
Тираж 50 000 экз. Тип. зак. 2680
Цена 4 р. 60 к.

Издательство «Наука»
117485, Москва В-485, Профсоюзная ул., 94а

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

В издательстве «Наука» готовится справочник:

«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО» ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ

«Литературное наследство» — фундаментальное научное издание, посвященное публикации ранее неизвестных материалов по истории русской литературы и общественной мысли.

В «Литературном наследстве» впервые опубликованы тысячи творческих рукописей, писем, дневниковых и мемуарных источников, биографических и других документов, которые охватывают почти все этапы развития отечественной литературы XVIII—XX веков.

Исследования и сообщения, статьи и обзоры, напечатанные в «Литературном наследстве», ввели в научный оборот множество документальных материалов, освещающих неизвестные страницы творческой биографии выдающихся писателей, среди которых Радищев, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Герцен, Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Островский, Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Горький, Брюсов, Блок.

В 90 номерах «Литературного наследства» около 50.000 страниц, свыше 12.000 иллюстраций, а количество исследователей, принимавших участие в этих книгах, доходит до 972.

Путеводитель будет состоять из следующих разделов:

1. Аннотированная роспись содержания всех книг
2. Именной указатель
3. Указатель иллюстраций
4. Список исследователей
5. Перечень статей и рецензий о томах «Литературного наследства»

Заказы на это издание направлять по адресу: 103012, Москва, Б. Черкасский пер. 2/10, Центральная контора «Академкнига».